

Ама
КУЗНЕЦОВА



KONT 03

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

АЛЛА КУЗНЕЦОВА

КОЛХОЗ

Романы

Омск
2012

УДК 821.161.1-14
ББК 84(2Рос=Рус)6-5
К 89

На обложке:

С.А. Лебедев. Лист II. Из серии «Деревенские будни». 2010 (г. Уфа).
Работа экспонировалась на Всероссийской выставке
«Пастель России» (Омск, 2011).

Кузнецова А.В.

К89 Колхоз. Романы/ Вступ. ст. С. Гончаренко. – Омск, 2012. – 616 с.
ISBN 978-5-7205-1179-1 (в пер.).

В книгу известного сибирского прозаика Аллы Кузнецовой вошли четыре романа, написанные в разное время: «Сад», «Колхоз», «Мокошь» и «Я вам пишу...».

«Умение создать собственный мир и рассказать о нём только своими словами – самое драгоценное свойство настоящего творца... – пишет в предисловии Светлана Гончаренко. – ...Любая страница прозы Кузнецовой светится её собственными, ею изобретёнными красками; герои с их броскими фамилиями и неповторимыми речами встретятся только у Кузнецовой; сюжеты, где и скудный деревенский быт, и невероятные прорывы во времени и пространстве одинаково естественны, тоже чисто кузнецовские. ...В своих творениях Кузнецова строит и населяет разномастным людом свою особую деревню...»

Книга предназначена для взрослого читателя.

УДК 821.161.1-14
ББК 84(2Рос=Рус)6-5

ISBN 978-5-7205-1179-1 (в пер.)

© Кузнецова А.В., 2012
© Министерство культуры
Омской области, 2012

Россия. Сибирь. Деревня Кузнецово

ЧЕТЫРЕ РОМАНА АЛЛЫ КУЗНЕЦОВОЙ О ТРУДНОЙ ЖИЗНИ В ПРЕКРАСНОМ МИРЕ

Судьба писателя, который вырос в провинции, как ни странно, не может быть непредсказуемой. Она имеет не три развилки, как у былинного богатыря на распутье, а всего лишь две. Едва дар осознаёт себя, является миру и становится очевиден не только автору, возникает нужда в изучении и преодолении вещей, возможно, естественных, но порой невыносимо тяжких. Редакции. Издательства. Критика. Книжный рынок. Это пёстрый, самодостаточный и шумный водоворот, который поглощает громадное количество текстов, и на виду чаще крутятся самые легковесные щепки или вовсе пустые фантики; если в фантик хоть что-то завернуто – не обязательно конфетка – у него есть все шансы пойти ко дну. Самая могучая книжная воронка вертится и гудит в Москве, вот провинциальный писатель и устремляется туда. Он пробует выбиться в люди. Он суетится, знакомится с нужными людьми, часто хватается за всякую ерунду, кажущуюся делом; он бьётся если не за славу, то хотя бы за место в свите редактора толстого журнала. Иногда успевает. Иногда делается знаменитым. Гордо ставит в конце биографической справки: «В настоящее время живёт в Москве». Это первый путь.

Второй путь не столь энергозатратен, но тоже непрост. Воронка провинциальной литературной жизни вращается туже, на мелких местах. Писатели, увы, в основном читают друг друга. И то не всегда. Иногда они ссорятся по самым удивительным поводам, но земляки всё равно их не очень замечают. Настоящих критиков нет вовсе. Слава не светит. Пресса занята хоккеем, журналы о местной культуре – многочисленными фестивалями, телевидение – способами похудения. Издаются местные авторы чаще к юбилеям. Тиражи 20–50–100 экземпляров очень в ходу. И тишина.

Зачем я повторяю эти всем известные вещи? Затем, что в руках у вас книга прекрасного прозаика, которого знают мало. Это несправедливо, но неудивительно. Алла Кузнецова писателем стала в Омске, но давно живёт в родной деревне, территориально относящейся к не слишком литературной Тюмен-

ской области. Живёт вне всякой суеты, сохраняя стоическое достоинство. Её печатали «Сибирские огни». Правда, этот знаменитый некогда журнал можно отыскать лишь в недрах библиотек. Местные журналы и того заметнее, локальнее. Отдельные издания романов Кузнецовой – мизерного тиража. Разбросаны ли они «в пыли по магазинам», как горевала о своих книжках молодая Цветаева? Нет. Кузнецову ценят сибирские писатели. Но много ли нас? И все ли справедливы?

Между тем книги Кузнецовой – того уровня, который сделал бы её главной звездой небольшой европейской страны. Или громким именем в современной русской прозе. Если бы, если бы... Почему никому не приходит в голову номинировать Аллу Кузнецову на «Нацбест» или «Русский Букер»? Вы читали книги их номинантов и лауреатов? Прочтите какой-нибудь «Цветочный крест» и сравните с этой книгой.

Но даже местными скромными премиями Алла Кузнецова не избалована. Нет у неё тех причудливых наград и регалий, которыми так веселит наше время, и к маленьким брежневым, накопившим и нахлопотавшим себе титулов на целый абзац мелким шрифтом, она не принадлежит. Её путь лишён экзотических поворотов. Чтобы не упустить фактов, я приведу здесь краткую биографическую справку, которая абсолютно точна, поскольку составлена другом Аллы Васильевны Людмилой Барахтянской.

Алла Васильевна Кузнецова родилась в деревне Кузнецово Голышмановского района Тюменской области 15 ноября 1943 года. Там же в отчем доме она живёт и сейчас, создавая произведения, поразительно похожие на жизнь, которая красива так, как красива природа, замечательно описанная в самом маленьком рассказике.

С самого детства главными игрушками Аллы были книги: сначала просто деревянные плашки, оставшиеся от строительства, затем и сами книги, купленные матерью, а после приносимые из школьной библиотеки. Круг чтения расширялся, и уже к четырнадцати годам она знала Блока и Бунину, Чехова и Пушкина, Джека Лондона и Шишкова. Она уже и сама придумывала сюжеты, рассказывая подружкам содержание своей ещё не написанной книги. В четырнадцать была написана первая повесть, которая сегодня, конечно же, не сохранилась, но героиней которой сохранил своё имя в её главном романе «Вечер», который был издан в 2005 году.

В газетах «Тюменская правда», «Литературная Россия» впервые были опубликованы её стихи. Эти уже далёкие теперь 65–67-е годы прошлого века.

Много лет Алла Васильевна работала журналистом в различных

районных газетах. Была некоторое время редактором альманаха «Иртыш» Омской писательской организации. Последние двадцать лет живёт в деревне, занимается литературной работой.

Когда в 1978 году у неё родились двойняшки, это стало стимулом к написанию детских книжек: «Кружевная вода» и «Как Маша телят пасла». Есть у неё цикл детских стихов, пока не изданных, несколько повестей, ждущих благоприятного часа...

В этом скромном жизнеописании нам важны лишь некоторые детали. «Я поэт. Этим и интересен» – настоящие писатели согласны лишь с таким подходом к их биографии. Вся жизнь их в их книгах, даже если это не нон-фикшн и не эстетизированные а-ля Буковски истории из собственной жизни (их успешно привил русской литературе Эдуард Лимонов). В случае Кузнецовой и неотразимое влияние биографии, и в то же время неслияние творчества с рутинной голых фактов очевидны. Главное – это мощные деревенские корни, которых никаким обстоятельствам не выкорчевать. Они питают живыми соками реальности райское дерево фантазии, и оно цветёт у Кузнецовой странным своим цветом на краю знакомого, урожайного огорода русской деревенской прозы.

Родившись в деревне, поработав и на ферме, и на кирпичном заводе, и на железной дороге, Алла Кузнецова всё-таки стала профессиональным писателем. Её одарённость всегда была очевидна. Она училась в Литературном институте им. А.М. Горького. Много работала в прессе, особенно районной (свои первые стихи опубликовала в областной молодёжной газете «Тюменский комсомолец» в 1961 году). Потом были и «Искра», и «Ленинец», и «К победе коммунизма», и прочие издания со столь же колоритными на современный слух названиями. И редактором Кузнецова была, и журналистом. Это давало кусок хлеба, но таило опасность приучиться к дежурному многописанию, расхожим штампам, нетребовательности к себе, потому что содержание в полевых условиях «районки» было не просто выше формы, а вовсе ни о какой форме не заботилось.

Ничего подобного с Кузнецовой не случилось. Кажется, всё в её писаниях устроено как раз «от противного» – не стёртый газетный слог, а ювелирная отточенность фразы, где каждое слово на месте и сияет первоизданно. Не суета «нужных тем» и «актуальных проблем», а то вечное, без чего бессмысленна повседневность. Но не с газетных ли времён живёт в писательнице отвращение к казённой шумихе, вздорным «лозунгам дня», идиотизму официоза, барабанному треску спускаемых сверху инициатив. Уморительно смешные и горькие картины политических раскатов,

докатившихся из столицы в сибирскую глушь, переживает она вместе со своими героями и с сарказмом наблюдает, как «власть в стране опять вывернулась кверху шерстью». Колхозная жизнь с пресловутыми зигзагами «линии партии», а потом приватизация и строительство капитализма в отдаленно взятой деревне порождают самые фантастические сюжеты Кузнецовой. В сюжетах этих, впрочем, искусственного нет ничего. Нет и никакой политической фронды – лишь изумление перед несовершенством и причудами человеческого разума.

Талант Кузнецовой заметили довольно рано. Вышли книги в Омске, а в 1988 году и в Москве. Это был успех. С тех пор Кузнецова работает много, несмотря на то, что «кверху шерстью» вывернулись и книгоиздание, и литературный быт, и отношение к писателю в обществе. Но если в самом деле рукописи не горят, то никакие внешние обстоятельства не сделают плохую, но модную книгу хорошей, а хорошую ненужной. Книги Аллы Кузнецовой хороши, потому и необходимы.

В этот том отобраны четыре романа Аллы Кузнецовой, написанные в разные годы. Два из них выходили крошечными тиражами благодаря самоотверженным усилиям друга и ценителя творчества Кузнецовой Людмилы Барахтянской, которая и для этого издания сделала много. Все четыре романа очень характерны для писательницы и вполне демонстрируют её неповторимую творческую манеру.

Об этой манере стоит сказать особо. Автор нераскрученный (или недостаточно раскрученный – ах, какая издэвка заложена в это слово теми, кто крутит!), да ещё из провинции, рисуется в воображении многих читателей таким добросовестным трудягой, бытописателем серых будней, печальником тусклых руин и скончавшихся идеалов. Про таких обычно пишут: «Этот голос искренен, но негромок и скромнен».

Ничего подобного не повернется язык сказать об Алле Кузнецовой. Она очень яркий писатель. Захватывающе яркий! Умение создать собственный мир и рассказать о нём только своими словами – самое драгоценное свойство настоящего творца. Этого не наработаешь ни усердным трудом, ни тотальной начитанностью. А вот любая страница прозы Кузнецовой светится её собственными, ею изобретёнными красками; герои с их броскими фамилиями и неповторимыми речами встретятся только у Кузнецовой; сюжеты, где и скудный деревенский быт, и невероятные прорывы во времени и пространстве одинаково естественны, тоже чисто кузнецовские. Её фамилия созвучна названию родной деревни (так часто бывает в Сибири). Это кажется знаком судьбы. Теперь в своих творениях Кузнецова строит и населяет разномастным людом свою особую деревню. Казалось бы, на крестьянскую тему корифеями высказано всё – попробуй не повтори чу-

жих слов! У Кузнецовой всё выходит настолько по-своему, так необычно, что удивиться – что же это такое?

Деревенский постмодерн – «хоть слово дико» и признано многими чуть ли не бранным, но не найду другого. Вот только ничего модного, ничего нарочитого, ничего подстроенного в угоду сиюминутным поветриям у Аллы Кузнецовой нет. Она органична редкостно. Но что делать, если «у нас всё переверотилось и только укладывается», да и не укладывается скорее, а переворачивается снова и снова и уж который век. Но, может быть, это и есть живое бытие? Прошлое и настоящее лежат в кусках, в лоскутах, и непонятно ещё, что за узор из всего этого выйдет. Постмодерн, да и только. Или нет? Всё-таки постмодернисты играют в бисер в руинах, на свалке былой культуры. Им кажется, что остались лишь игры разума. Всё – сюжеты, формы, слова уже придуманы и мертвы, и им не больно, когда их ломают в крошку и складывают то кучками, но вроссыпь. Но ведь остались и люди! Они живут себе и не подозревают, в какую эпоху угодили; много чего с ними происходит. А «улица корчится безъязыкая».

Писатель всегда чутко слышит время – даже тогда, когда ему говорят, что это просто ветер в ушах шумит. Ветер истории никогда не стихает в прозе Кузнецовой, и всегда он немного безумен, всегда норовит опрокинуть, озадачить человека. Каких только дум не нанесёт, каких песен не насвистит! И вот в романе «Я вам пишу...» сам Пушкин бродит по сибирским роцам и скандалит с женой в заброшенном доме. Вот карнавално-печальный «Колхоз». Вот кентавры ржут в деревенской конюшне «Мокоши». Вот «Сад», где в печальной и достоверной истории сироты Полины, правнучки лихого ушкуйника, вдруг мелькают краем судьбы то Даниил Андреев среди московского пожара, то поэт Марина Ивановна в елабужской бесприютности.

Нет, не игра всё это, не плод досужей начитанности – это было, это растворено в нашей крови, в нашем сознании и питает нас. Наши предки в нас, и потому других нас быть не может. Корень-то, корень жив! И поражает смещение воображаемого – и пристально рассмотренного, сиюминутного, натурального. Это не стилизации вроде мастерской «Кыси» Татьяны Толстой. Кузнецова деревенский быт – и старый, и теперешний – не по книжкам знает до капельки, до травинки, до гвоздика. Деревенская изба, магазин, улица, конюшня, водокачка – всё это у неё самое настоящее, всё живёт не в условном безвременье, а в конкретном году, в определённом закоулке великой и неласковой эпохи. И рядом природа, мерцающая звёздами и снегами, вечно и мерно дышит, и человек дыханию этому сочувствует – он её часть.

А человек у Кузнецовой разнообразен, живописен, непредсказуем,

неблагообразен часто, но жив, жив! Её герои в простоте своей знать не знают, что деревня обречена, вымерла, состоит из трёх изб и полутора старух и что в голос оплакивают всё это писатели в столицах. Нет в прозе Кузнецовой того заунывного тона, каким принято писать о селе после того, как ушли или смолкли, отложили перо главные мастера-«деревенщики». Уныние есть смертный грех. Жизнь есть дар. Видеть жизнь великолепной и удивительной – тоже прекрасный дар. Редкий к тому же! Дух витальности, неистребимой жажды жизни, столь свойственный русскому человеку – даже какому-нибудь никчемному на первый взгляд, даже обездоленному, – с удивительным пониманием и сочувствием понят и передан Аллой Кузнецовой. И потому так затейливы и колоритны её герои. А уж как пронзительно хороши места, в которых они живут! «Кто не видел зимнего леса или сада в инее, тот ничего не видел!» Вечная красота мира не умирает и не блёкнет ни стылрой ноябрьской ночью, ни в слякоть, ни в морось. Сибирскую нашу природу, от которой, морщась, бегут теперь на недельку куда-нибудь в Таиланд или на Бали, Кузнецова пишет тончайшими, первозданной свежести красками. И очень верными, без излишеств, без химической аляповатости. Так ныне мало кто сумеет.

Итак, читателя этой книги ждёт удовольствие от встречи с настоящим мастером. Кузнецова – отменный стилист (правда, почему-то образцом стиля многими признан протокольный Борис Акунин; но я имею в виду истинное чутьё языка!). Названия книг Кузнецовой всегда просты, даже аскетичны, зато слог ярок, изощрённо гибок, богат – авторский голос, не теряя своеобразия и цельности, может быть то грубовато-насмешливым, то утончённо-лиричным, то проникновенным, то бесшабашным. Солёный юмор и трагизм, смех и высокая поэзия всегда рядом. И изумление перед вечной красотой мира, смысл которой и понят-то быть не может, настолько он независим от всяких смыслов, которые есть лишь людские приспособления для выживания.

Надеюсь, прочитав четыре романа, собранные в этом томе, читатель разыщет и другие книги Аллы Кузнецовой – «Гармонь и осень», «Вчера был дождь», «Горькая ягода», «Созвездие Волопаса», «Вечер», «Военно-полевой романс». Есть две её прелестные книжки для детей – «Кружевная вода» и «Как Маша телят пасла». Книги эти все духоподъёмны и дарят радость, хотя и тяжкого, и трагичного в них немало. Ведь разные у людей судьбы, и часто очень горькие. Но есть счастье, доступное всегда и всякой человеческой душе, – ощущать космос, облекающий нас и в нас живущий.

Светлана ГОНЧАРЕНКО

*За этот ад...
Пошли мне сад.*

Марина Цветаева

САД

Роман-притча

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

Жил-был когда-то развесёлый человек Варлашка Грязной, счастливо грабивший по большим дорогам Сибири, и однажды со своим подлым отрядом шатии-братии воззвал идти на Петербург.

– На Питербурх! – ревел он, мотаясь на бочке из-под дёгтя, сияя татарским серебром, нашитым сикось-накось на изгрёбную рубаху, показывая кнутовищем совсем не в ту сторону, где был Петербург, и коверкая малахай над ухом.

– На Питербурх! – стонала шатия, опившись бражки и обожравшись утятинной, потому что в те времена уток было так много, что когда они поднимались с болот, то закрывали собой солнце и наступала ночь. Немецкий звездочёт Себастьян Сирениус, наблюдавший ход небесных светил на ишимских просторах, в своём трактате писал: «...И возникла тьма после выстрела из ружья, потому что ружейный звук всколыхнул воды и согнал с них пернатую живность, которая тучей встала между землёй и небом...»

Пан Гжельский, пропивший вотчину под Полтавой и кинувшийся в благословенную Сибирь за поживой, а потому немедленно примкнувший там к шайке гулящих людей и служивший у них, как он сам приказал навеличивать себя, комиссаром, стоял в сторонке подбоченясь, глядел в землю и, вроде над чем-то ухмыляясь, держал во рту свой смоляной панский ус.

После митинга он вошёл в балаган вождя, сел на чурку и назидательно обронил:

– Разговор есть, товарищ Грязной.

Варлашка черпал кринкой из осиновой бадьи клюквенную бражку и, сдувая утонувших в ней комаров, пил и кусал за сальный зад варёную утку.

– Чо за разговор? – не очень приветливо спросил он комиссара.

– Ты знаешь, где Петербург? – посмотрел на него пан Гжельский.

– А чо его не знать-то? Знаю.

– И знаешь, как идти туда? С топориками да гирьками на ремешках?

– Ну и чо!.. Мы вона какие товаришшы! Аль забыл, как зятя аж самого Хичима уничтожили! Пикнуть не успел...

– В Петербурге царская гвардия. Лучшая в мире...

– Ничо! – махнул Варлашка кринкой. – Мы с севера завернём, со стороны стужи. Гвардия-то, небось, тоже из мужиков набрана. Мёрзнет, у печки греется. А мы тут как тут.

Пан Гжельский изобразил кислую гримасу, достал географическую карту и прошёлся четвертями, измеряя расстояние от вагайских займищ, в которых гужевала разбойная орава, до Петербурга, обозначенного ясным знаком двуглавого орла.

– Ну и дале чо? – пошатнулся к карте Варлашка. – Всего четыре четверти? Шага нету!..

«Дурак, пся крев!» – мысленно выругался пан Гжельский, заткнул карту за пояс уланских рейтуз, почерпнул браги и выпил её вместе с комарами.

Ночью товарищи точили ножи. В чёрной согре пластали костры, пламя кипело и бабахало, бросалось в небо охапками искр, и жутко и заполошно что-то хохотало вдали. Полководческая дурь Варлашки Грязного не давала пану Гжельскому спать.

«И что дураку не живётся по-человечески? С одного Хичимого зятя столько алмазов огребли! На три состояния хватит! Загубил нехристя и ушёл в леса, на болота. Отоспался на заимках – опять на дорогу. Короли да султаны целые армии кладут за свои амбиции, а мы то купчика, то ханчика шмякнем. Велика беда, пся крев!» – ворочался он на овчине, слушая вжиканье точила и дикий хохот за лесом. Потом на-

бросил на плечи кацавейку с галунами и вышел к народу. Собираясь на Петербург, народ пока не пьянствовал. Пан Гжельский выбрал из костра головёшку, прикурил от неё и спросил:

– И что, братцы, собираетесь в Петербурге делать?

– Как што? Барышням титьки шшупать! – откликнулся желтоглазый кашевар Чумаз.

Вокруг заржали, пан Гжельский вздохнул, покачал локонами, сел на корточки к огню и, вежливо отнимая у кашевара вилы, которые тот насаживал на берёзовый черенок, заговорил...

Через час товарищи выволокли пьяного и сонного вождя из балагана, впихнули его в бочку из-под дёгтя, с которой он взывал к военному походу, заколотили доской и свалили с обрыва в Вагай. Качаясь на воде, Варлашка дрыхнул ещё долго, потом очухался, расшиб бочку с матерками, выплыл, отхаркался, отваялся в тальниках, с зубовным скрипом переживая своё свержение, и пошёл блуждать в матёрых травах пойменного луга под свадебные танцы журавлей. Блуждал он недолго, потому что чёрт его привёл к подворью мельника Ильи Пластова. У Ильи было две дочери – красивая, но сухорукая Дуня и Феклуша с гребнем в волосах и козьими глазами. На Феклушке Варлашка и женился, сочинив про себя, что он солдат, идёт с Кавказа домой и всё никак дойти не может.

– Да уж и не дойду теперь, – сказал он, прогуливаясь по хоромам мельника с перинами да розанами. – Ноги дале не несут чо-то...

Глава вторая

Перед свадьбой у него с Ильёй произошёл разговор по поводу фамилии. Варлашка заявил, что Фёкла Пластова должна стать Грязной, на что Илья пробубнил:

– Нет, грязной она не будет. Мы всю жизнь в чистых ходили. Да и не фамиль это твоя вовсе, а прозвище.

Голос Ильи, в котором отдавался рык зверя, убавил в Варлашке скок, и он быстренько смекнул, что спорить не следует, как не следует спорить с любым человеком, который устоял на земле при помощи бычьего труда и проследовал в труде через пространство, до крови нашоркав ляжкой плечо, потому что тащил мир к спасению... Потому он потупил взгляд и смирился. Однако, прислушиваясь к шуму в душе, возразил:

– Тако надо найти каку-нить среднюю фамиль, чтоб не быть Фёкле Ильинишне грязной и не рожать грязных сыновей. Но и мне тоже не годится выщолкиваться под фамилией жены. Мужик ить я!

Тут он нахмурился, вспомнил, что мужик, и увереннее пригрозил:

– А то ить я могу опять потеряться в траве Вагая!

Хорош удался собой Варлашка! Черноволос, ростом высок, ниже пояса по-мужски узок, а в самом поясе-то хоть перерви, но красила его изнутри та самая чертовщина, по которой испокон веков ревут и сохнут дурные бабы. И сообразительный Илья, зная, что ежели этот дьявол бросит Феклушку, уже окровавив с нею постель, то её, козлуху, не шибко кто и подберёт, скорее всего, никто не подберёт, тоже потупил очи и буркнул:

– Ладно. Время ишо есть. Чо-нить выдумам.

– Ат, дело! – крикнул Варлашка и моргнул Феклушке тащить на стол огурцы и самогонку.

В тот же день отдал ему Илья чернозёмную елань, отгороженную от буйного леса пряслон.

– Елань эта – поскотина. И таперича ты её владелец, – пояснил он лихоимцу-зятю. – Думай, чо говорю! Жил ты в грязи, а помрёшь на воле.

«Нет, это я жил на воле, а теперь помру в грязи. Потому что земля и есть грязь», – вздохнул Варлашка, совсем

не думая о елани и составляя план, как бы у купца Гурьяна украсть золотой самовар.

Позже отдал ему Илья и четыре мельницы-ветрянки, а сам, не на шутку спугнутый внезапным добром зятя, которое, как на дрожжах, начало подниматься в доме, вместе со своей мельничихой Авдотьей Митревной удалился в Абалак, где сам Илья кормил голубей, а Авдотья вязала скатёрки.

Глава третья

Этак и было обсказано в поэме внука Варлашки, прапорщика Васи Поскотина, тоскующего в петербургской казарме по сибирской тишине. Вася сочинил поэму, раскрасил её птичками и узорами и заплёл золотым шнурком, выдернутым из парадного аксельбанта. Поэма лежала в комодке семейства Поскотиных до самого пришествия советской власти. Как-то раз из-за золотого шнурка она и была вынута из комоды. Шнурок местные активисты опознали как кисть рабоче-крестьянского знамени. Поэму конфисковали, а потом за насмешку над знаменем конфисковали и офицерско-кулацкий рассадник Поскотиных. Из многочисленных их отростелей уцелела одна лишь внучка – Полюшка. Спасла её от ссылки в Обдорск нищуха Паруня, кочующая по баням и овинам, зимой и летом форсившая в овчине и долгополой посконной юбке и всей своей фигурой напоминавшая картинку из церкви. Одно время Паруню как представительницу самого низшего сословия местные активисты поместили в какой-то свой комитет или ячейку, однако воинствующие безбожники, углядевшие в Паруне библейский персонаж, дружно вычеркнули её из списков комитета. Проистекло разногласие. Паруню допросили, кто она такая вообще и по чьему усмотрению облачается в религиозные одежды, явно демонстрируя опиум для народа.

– Анахоретка я! – ответила Паруня. – А вышла из погорельцев. Погорельцами мы приехали на Вагай, построились

и опять сгорели. Мне же явился ангел Господень и наказал: «Странствуй и ходи по земле и думай о той жизни, которая плавает над тобою».

Активисты переглянулись, переморгнулись, кто-то повинтил пальцем свою башку сбоку, мол, чего тут возмёшь с дуры, и отпустили Паруню «ходить по земле», как элемента, не созревшего политически по причине слабого мозга. Заодно принялись выяснять, что означает слово «анакоретка», маленько потолковали и пришли к единому мнению, что это слово синоним слова «проститутка», и успокоились.

Тем временем анакоретка Паруня вышла из учреждения, извлекла из кустов плетёную корзинку, где с овчинной соской во рту спала годовалая Полюшка Поскотина, повесила корзинку на руку и пошла по земле... К вечеру она пришла в большое село, где среди тополей сияла смертельной белизной стена Божьего храма. Боязливо ступая по кирпичной дорожке, залитой то воронье-чёрной тенью кустов, то красным светом вечернего солнца, она вошла в ограду.

Двери храма были заперты. Паруня постояла на высоком заплёванном церковном крыльце и пошла искать попа. В саду ей встретился дьяк.

– Кого, матушка, ищешь? – спросил он и, нагнувшись к ней, подсказал: – Ори пуще! На днях грохнули колокол на землю, я стоял ближе всех и оглох. Так что ори пуще!

– Дитёнка вот записать надо! – прокричала в ухо дьяка Паруня. – Родителей-то сослали на Северный полюс, а эту забыли, в корзинке оставили... Записать надо в архив!..

– Эва! – усмехнулся дьяк. – Все архивы запечатали и увезли, а батюшку тоже сослали на Северный полюс. Видишь, на дверях-то замок? Кресты лишь и оставлены. Сказывают, завтра китайцев пригонят, они и свернут. Свои-то не лезут, ишо Бога боятся.

– Всё равно дитёнка записать надо! Что же она незаписанной-то жить будет! – прокричала Паруня.

– Надо записать, – согласился дьяк. – Давай, матушка, запишем.

Он огляделся, нашёл в траве пожелтевшую бумажку, вынул из-за уха чернильный карандаш и со слов Паруни начеркал:

«Посконина Полина Васильевна. Уроженка советской власти».

Потом отдал бумажку Паруне, перекрестился на золотые кресты храма и заплакал.

Так никогда и не узнала Полина, кто же переврал её фамилию – или глухой дьяк, или сама Паруня, назвавшая её в честь своей посконной юбки.

Глава четвёртая

Паруня любила движение. Особенно летом, когда месяц огнём сверкал в кружевном лесу, она ходила по дорогам, находившись, снимала свой реможный тулуп где-нибудь под боярышником, поджигала гнилушку, чтоб уморить гнус, и, размочив в воде хлебный огрызок, кормила Полюшку. Сама жевала картофельные скорлуши, полевой чеснок и всякую травку, лазила на боярышник в колючие сорочьи гнёзда за яйцами. Если яиц не было, шла к болоту убивать лягушек. Сваренные с чесноком лягушки были похожи на маленьких человечков. Полюшке казалось, что это чьи-то детки, не успевшие вползти в людей, чтоб напиться людской воды и выползти обратно.

«Хорошо, что мы их съели, а то выползли и голодали бы», – думала она, объедая лягушечью косточку, радуясь, что спасла ещё одного человечка, сидя у головёшки, где дым ест глаза, а комары едят тело.

Месяц пылал в небе. Болотные травы шевелились во сне и жаловались. Лаяли в полях лисицы, будто хохотали глупые бабы, не отыскавшие ни сорочьих гнёзд, ни лягушек.

Паруня сидела, уронив подол своей юбки в горячую золу, и разговаривала с лесом:

– Большой голод пал на землю, и стал на земле ад. И нам вот теперь надо жить в аду, чтобы понять, кто мы такие. Потому что в сытости мы одни, а в голоде – другие. А человеку надо разделяться на две половинки, чтобы с той и другой стороны поглядеть на себя и решить, что ему надо в целом. Это скот един, а человек не един. Он друг в друге, как матрёшка, и всё разный. В глубокую яму мы попали сейчас... И месяц с краю ямы, и лисье гавканье милостыней протянуты нам... Ходить нам надо по земли-и-и, попадая то в яму, то в рожь. А рожь-то, поди, уж молочко вылила! Пойдём-ка, Полинька, за аржаным молочком!..

Паруня поднималась с пенька, вытряхивала из золы подол обгоревшей юбки, жулькала в руках палёный лоскут, мирясь с ним, как с роковой метой (раз она из рода погорельцев, то огонь должен всегда следить за нею), брала за руку Полюшку и вела её к простору, сквозившему с севера через верхушки берёз.

Поле светилось, и месяц стоял в самом дальнем его углу, как на божнице. Рожь не спала, жила своей жизнью, перемигивалась серебристыми огоньками. Её молочко было пресным, едва сластило и больше утоляло жажду, чем голод. Полюшка силилась высосать каждый колосок, ещё не выведивший пыльцу, не потяжелевший от зёрнышек.

– Чем больше мы сосём молока, тем больше убиваем хлеба? – спросила она.

– Нельзя человеку без греха и шагу ступить. Везде грех и соблазн. От голода он скотину бьёт и растение сжирает, а накормив плоть, ищет избавления от её рёва, – ответила Паруня. – И всё-то человеку надо знать! А зачем? Или всяк грех ему даётся для познания. Грехами питает познание своё человек. Через грехи он познаёт себя, через себя познаёт Бога. Да как познать Бога, ежели у нас есть начало и конец,

а у Бога нет ни конца, ни начала... Как обструганная палка узнает всё о дремучем лесе?

По полю бегали искры, месяц тонул в позолоте, Паруня и Полюшка всё сосали и сосали рожь, и, едва шевеля распухшим языком, Паруня говорила во мгле:

– От этого скотьего корма у меня уж и горло ободрано, и язык спалён, я же в голоде прежнем и, чем задавить его, не знаю. Пойдём, Полинька, под окошками петь. Может, нам и подадут за песни...

Но им не подавали. В избах люди тоже ели скотий корм. В глазах их сияла бездна. Из бездны никто не отзывался и не слышал пения, потому что над бездной носилась смерть. Песня же – достояние жизни, и смерть не знает, что это такое...

– Наш народ вымрет, – сказала Паруня.

– Почему? – спросила Полюшка.

– Потому что надо есть. Есть надо для того, чтобы думать. Бездумный человек – человек мёртвый.

Однажды им подали кашу из лебеды, и они сели отдохнуть в полыни. Глядя на верхушки полыни, Полюшка подумала: «Я – букашка!..».

– Паруня, кому лучше – букашке или человеку? – спросила она.

– Как знать! – вздохнула Паруня. – Мы ничего не знаем о букашке, а букашка не знает о нас.

– Вот худо-то! – вздохнула и Полюшка.

– Чем же худо-то? – спросила Паруня.

– Что ничего друг о друге не знаем, а то помогли бы как-нибудь.

Пока они говорили, каша засохла в чашке и, когда Паруня её выколотила, приняла очертания туманности Андромеды.

– Погибнем мы от этой каши. Она тоже ссохнет в нас и превратит в вечность. Давай лучше полежим на земле и подумаем о небе.

Жёлтый цвет полыни шатался вверху, блестела скорлупой, суетилась чёрная жужелка, что-то искала для себя

в земных ямках и трещинках. Полюшка следила за нею, думая о её желудке, требующем назыма, а не хлеба.

– Надо пойти в колхоз, – сказала она. – Люди собираются вместе, чтобы жить было легче.

– Каин и Авель тоже собрались вместе, чтобы жить было легче. Но Каин убил Авеля и расплодил нас, которые по сей день не знают, как собраться и жить вместе, и всё равно собираются.

– В колхозе кормят...

– Если рабов кормить не станут, то робить будет некому. Я же люблю думать, – сказала Паруня.

– А я пойду в колхоз! – заплакала Полюшка. – Мой желудок такой пустой, что я даже не знаю, где он и находится.

– Иди! – разрешила Паруня, достала из-под головы котомку и подала её Полюшке.

– Я хочу прийти в колхоз без имущества! – высказалась Полюшка.

– Котомка для тебя, как часть тела. Без неё ты всё равно что без лёгких или без сердца. Бери! – равнодушно, думая о своём, приказала Паруня.

Полюшка взяла котомку и пошла через полынь в сторону колхозного тока. На току бабы в красных косынках веяли зерно.

– Я пришла работать в колхозе. Дайте мне пожевать зёрнышек! – попросила она.

– Ишь чо! – удивились бабы. – У нас сосчитано каждое зёрнышко, мы и сами-то не жуём. А насчёт работы спроси у председателя. Вон он – в галифо с кожаной жопой.

Председатель долго смотрел на Полюшку и молчал.

– Что ты молчишь? – спросила она.

– Да вот думаю, сколько тебе лет – пятьдесят или пять. Туловом представляешь ребёнка, а лицом пожилую бабу. Может, ты вилипутка?

– Мне девять лет! – заявила Полюшка. – А кажусь пожилой, потому что сморщилась от голода.

Председатель покачал головой и приказал поварихе:
– Накорми её горошницей!

Глава пятая

Гремел гром, и до самого леса картошка дымилась в лиловом мраке. Высокая трава, похожая на хвойные деревья, раскинув ветки, спала в полях. Бабы в красных косынках, которые от грозовой синевы становились то чёрными, то фиолетовыми, пололи траву. Агроном в таких же штанах, как у председателя, ходил между баб. Иногда он останавливался, что-то рвал, жамкал, нюхал, прятал в планшетку.

– Как звать эту траву? – спросила его Полюшка.

– Щирица, – ответил агроном. – Её корень ощеряется в земле и заглатывает все удобрения. Её надо умертвлять так же, как врагов народа.

– А почему все женщины в колхозе носят красные платки? – опять спросила Полюшка.

– Потому что наш колхоз называется «Коммунар», а красный цвет символизирует пролитие крови за народное счастье.

– За чьё счастье? – не поняла Полюшка.

– За твоё. Тебе тоже надо выдать красную косынку.

– Я согласна, – сказала Полюшка и принялась изо всех сил умертвлять щирицу, выдёргивая её из земли и бросая под ноги. Вскоре руки её опухли и стали зелёными. Гром где-то гремел над лиловой картошкой, и оттого, что он гремел и цвела картошка, хотелось жить всегда и делать что-то великое – и боясь этого величия, и восторгаясь им.

Потом бабы обедали под навесом, покрытым сырой пахучей травой. Полюшка сидела вместе со всеми вокруг медного таза и таскала из него ложкой варёную капусту. Наевшись капусты, бабы легли спать, а она снова пошла полоть щирицу.

– Ты куда? – спросила её повариха. – Все отдыхают, и ты отдыхай.

– Я не хочу отдыхать, – сказала Полюшка.

– Гроза вон накатывается. Тебя может одну среди картошки громом убить. Помогай мне ложки мыть. Будешь ещё полхлёбку?

– Буду, – сказала Полюшка и стала мыть ложки.

Вечером ей тоже дали красную косынку, и она пришла к Паруне на пустырь.

– Ну, что там в колхозе? – спросила Паруня.

– Я принесла тебе поесть, – сказала Полюшка и вытащила из котомки комок горошницы, завёрнутый в репейный листок. – Видишь, на меня надели красный платок, чтобы я стала заметной со всех сторон.

– Человек – не чертополох, чтобы носить на голове красное. Он должен жить втайне, – сурово заметила Паруня и равнодушно принялась есть горошницу.

– Айда к нам! – попросила Полюшка. – Всё-таки не погрёшь среди людей.

– Смерти нет, – ответила Паруня. – Есть лишь одно Божье вдохновение, и мы этого вдохновения плоды.

Она съела горошницу вместе с репейным листком, встала с земли и подпоясала свою овчину.

– Пошто ты съела репей? – засмеялась Полюшка. – Он же горький!

– Тебе ли говорить о сладком и горьком! – усмехнулась Паруня и взяла в руки костыль. – Всё, что мы ели с тобой, было ни горькое, ни сладкое, а никакое. Пошли, что ли, в колхоз!

Ночевали они под навесом. Ночью шумели осины. В отблесках молнии шевелилась серыми отрепьями щирца и кричали грачи. Потом полил весёлый звонкий дождь. Полюшка заснула на пахучем сене и увидела сон, будто она играет в оркестре русских народных инструментов. У всех были гармошки и балалайки, лишь одна Паруня играла на скрипке, точь-в-точь такой же, на какой прошлой зимой играл цыган в церковном алтаре. Только теперь это уже был не алтарь,

а сцена избы-читальни с кулисами из икон. Лики святых на иконах разукрасили смолой и вместо ореолов нарисовали чёрные кудри. Цыган играл что-то непередаваемое на человеческом языке. Понять его могли улетающие журавли над осенним полем... Слушая его скрипку, Полюшка зарыдала. Паруня увела её из поруганной церкви, тоже слёзно утешая:

– Мы думаем, что это мы надсмеялись над Богом. А это он изуродовал нас, как в стенгазете.

Во сне Паруня стояла рядом с Полюшкой, играя что-то плясовое. На её скрипке вместо струн было натянуто мочало.

– Паруня обновила скрипку! – прокричала Полюшка.

– Нет, это я обновилась сама! – захохотала Паруня и подмигнула ей.

Полюшка проснулась и села на сене. Дождь кончился. Грозовая туча стояла вдаль, завалив синевой и небо, и землю. Там было высоко и страшно. Паруня тоже не спала, тоже сидела и думала.

– О чём ты думаешь? – спросила Полюшка.

– Я устала жить в таком виде, – вздохнула Паруня.

Туча закрывала даль, но вот там, по стене дождя, потекло что-то огненное и расцвело, как мак... Выходило солнце.

– Сколь живу, такой восход вижу впервые, – удивилась Паруня. – Да он никогда одинаковым и не бывает. Солнышко-солнышко! И ты когда-нибудь перестанешь жить в таком виде. Только это будет так далеко, что почти этого не будет.

Приехала повариха, распрягла лошадь и, оглянувшись на Паруню, призналась:

– А я тебя знаю. Я была ишо девкой, когда ты носила своего ребёнка в корзине. А потом его у тебя не стало...

– Вот он, мой ребёнок! – показала на Полюшку Паруня. – Это я её носила в корзинке, а сейчас она выросла.

– А-а! – удивилась и повариха. – А я подумала, поди, выбросила...

Приехали бабы на двух подводах и опять пошли рвать щирцу. Было сыро, душно, ноги проваливались в грязь,

и казалось, что все бабы ходят в чёрных ботах. Вырванная вчера щерица всю растопорщила свежие листья и зубатым розовым корнем впиалась в землю.

– Работа наша бестолковая, – сказала Паруня. – Мы рвём сорняк, а он рвёт нас. Зачем так работать?

Она ушла с поля, села на меже и стала глядеть в небо.

Верхом на лошади приехал уполномоченный, он проехал по меже, увидел Паруню и спросил:

– Ты чья?

– Ничья, – ответила она.

– Это ты саботируешь колхозников? К чему ты их призываешь?

– Я их призываю не работать бессмысленно. Мы рвём щерицу, а она после дождя отрастает снова. Её надо уносить на межу, составлять в суслоны, а когда она высохнет, сжигать вместе с семенем. А так мы втаптываем семя в землю и усиливаем его размножение. Это бессмыслица.

– Если мы не познаем бессмыслицу, то как познаем смысл? – спросил уполномоченный. – Работай и не думай! Если все станут думать, то работать будет некому.

– А ты не думающий и не работающий. И сам не знаешь кто.

Глава шестая

До самой поздней осени они с Полюшкой работали в полях, ночуя под навесом, откуда начинался вид на земную волю.

Перед снегом им дали жильё – кулацкий дом без пола и потолка. Стёкла в доме были выбиты активистами в отместку за унижение революции при царском режиме. Дом стоял в центре деревни, и председатель сельсовета приказал его скорее заселить, чтобы он своей фигурой не смущал сельсовет.

Паруня с Полюшкой замазали щели в печке, поставили

трубу и, октябрьской ночью греясь у огня, сели есть картошку. Только что выпал снег, но было тепло. Ветер лениво ворочал заснеженный тополь, в окошко, заткнутое тряпицами, слава богу, не дуло. Полюшка, макая картошку в соль, старалась думать, что сейчас весна, а не тоскливая сизая осень.

– Вот здесь выроем землянку, – говорила Паруня. – Складём у входа каменку, чтоб жар шёл прямо в землянку. Набьём пустые мешки соломой. Будем спать на них, как на перине. Перезимуем! На болотах спали, в конопле да в копёшках... А весной состроим избу. Раскатим заплоты, они вон какие крепкие, из сосны. Из них такую избу поставим, что и кулаку Ермоше не снилось!..

– Стр-р-рашно! – призналась Полюшка.

– А в чистом поле не страшно?

– Там небо, а здесь углы. И в каждом углу сам Ермошка блазнится.

Паруня мыкнула и вдруг нахмурилась. Лицо её тоже стало страшным, похожим на коровий череп.

– Страшно очутиться после смерти снова в колхозе «Коммунар», – сказала она. – А потом умереть и снова очутиться. И так вечно. И никакой щелочки, даже махонькой проломинки в стене, чтобы подсмотреть за иной жизнью – какая она?

– Зачем на неё смотреть? – спросила Полюшка.

– Для отдыха, – вздохнула Паруня. – Для чего-то же смотрит арестант на голубей из окошка своей тюрьмы...

Она разгребла палкой головёшки, подбросила ещё дровец и, прикорнув к горячей печке, спрятала Полюшку под подол своего тулупа.

Проснулись они от заунывного стога и хрюска и сразу поняли, что это стонет и дребезжит обледенелый тополь. Во всех окошках ярко переливались звёзды. Совсем близко горел Орион, его скелет с перебитым кострецом стоял в вершине тополя, от длинных его ходуль по снегу вились белые огни...

– Подморозило! – выговорила Паруня. – Пойдём-ка, Поля,

в баню к Анисьевым. Они вечер, кажись, топили. Переночуем в бане, а завтра попросимся жить на конный двор.

– Пойдём! – обрадовалась Полюшка и, нагнувшись, чтобы поправить проволоку, которой была перевязана сырмятная подмётка к её ноге, покосилась на окошко и вздрогнула – показалось, кто-то заглянул в дом...

– Чего ты? – спросила Паруня.

– Кто-то смотрит на нас...

– Айда! – приказала Паруня. – Держись за полу, а то уснёшь.

Они вышли и остановились. Вся деревня, с пряслами, халупами, кучей хлама фигурно пылала. Тяжёлый и сырой с вечера тополь, теперь пролизанный морозным огнём до каждого сучочка, до каждой дырочки, звякал льдинками, жалуясь на обман природы. Выходила луна. С севера несло сквозняком, стеклянная кора на ивах и изгородях трескалась и мерцала.

– Айда! – повторила Паруня. Лёд звонко лопнул под их ногами, тень, оскверняя снег аспидом, побежала рядом.

Баня Анисьевых сияла ледяной черёмухой. В оконце топилась лунная печь. Звеня снегом по всему косогору, Паруня и Полюшка подошли к бане, едва отдёрнули пристылую дверь и, натываясь на лунные иголки, уклались на полке. В бане было тепло, пахло веником и гнилой требухой, наверное, помыльем, скатанным из коровьих кишок и поставленным в шайке преть на каменку.

Паруня развернула тулуп, подмостила в изголовье веник и легла, уставив в окошко ноги в обутках. Полюшка тоже легла, но снег на улице брызгал, блестел и не давал спать. Вдруг кто-то подошёл и опять заглянул в окно.

– Паруня! Ты видела? – еле живая от страха, шепнула Полюшка. – Кто это?

– Ленин, – вяло пробормотала Паруня.

– А почему он ходит?

– Потому что не схоронен. Слез с витрины, шляется по всему эсэсэсэру и в окошки глядит. Спи!

В трубе заохало, шевельнулась сажа. Полюшка начала думать, что вот они с Паруней лежат в тёплой бане, а где-то голый Ленин ходит по голой земле, и она вдруг увидела стеклянные поля и человечка со стеклянными рёбрышками, похожего на лягушонка, которого она когда-то съела под боярышным кустом...

Прошуршал за стенами снег. В трубе вовсе заплакало, завывало. Ветер подул сильней, заметая следы Ленина снежной мишурой... К утру баня выстыла. Дрожа от холода, Полюшка увидела, что Паруня сидит, обнимая колени и глядя в окно. Полюшке показалось, что Паруня умерла, и ей стало страшно.

– Паруня, ты живая? – окликнула она её.

– Жива-а-а! – шёпотом пропела Паруня.

– А что сидишь-то так?

– Как?

– Как чурка...

– Думаю, вот и сижусь.

– О чём?

– О Боге.

– Ты и так всегда думаешь о Нём...

– Когда я думаю о Боге, то не хочу есть.

Днём они ушли на конный двор и стали жить в избушке. Полюшку записали в школу, а Паруне велели возить мочало. Всю зиму она возила его из колхоза «Коммунар» на районную торговую базу, весной повезла с торговой базы в колхоз. Летом ей дали новую телегу и заставили возить мочало снова на районную базу. Однажды с возом она подъехала к берёзе, свила из мочала верёвку и задавилась. Перед смертью на берёсте Паруня накарябала гвоздём: «От бессмыслия жизни».

Глава седьмая

Бессмыслие земного существования всё более удивляло и Полину Посконину. Постигая бессмыслие учения в шко-

ле, она не могла понять, как учителя руганью и окриками принуждают испуганных детей изучать жизнь по мёртвым материалам.

«Что мне до жизни Пушкина, когда мне нечего есть?» – думала она, читая и перечитывая одну и ту же строчку «нескоро ели предки наши» и не зная, зачем и для кого она была написана...

– Случайно из хаоса возникшая жизнь уже в процессе эволюционного развития приобретает как бы разумное движение. Природа мудро распоряжается естественным отбором, оставляя лишь пригодные образцы для их дальнейшего существования. Так, ребята, учитель исправляет ошибки в ваших тетрадях, – рассказывал на уроке старичок в железных очках, Евлампий Лукич.

– А кто распоряжается природой? – спросила Полина.

– Природой? Гм! Гм! Природа... э-э... сама себя контролирует, разумно используя свои законы для своего развития, – ответил Евлампий Лукич.

– А почему тогда природа не развивает человека? – спросила опять Полина.

– Человека развивает общество! – сердито сказал Евлампий Лукич. – В нашей стране человек развивается свободно, а в капиталистических странах он не развивается совсем, потому что живёт под страхом угнетения.

«Если природа разумно использует свои законы, значит, у неё есть ум, – думала Полина. – Тогда это уже не природа, а что-то другое, понять которое мы не можем. Раз не поймём, то и не объясним».

Об угнетателях и угнетённых торжественно, как на трибуне, говорил и учитель истории Тихон Яковлевич Порошков, по прозвищу Тяп.

– Только Октябрьская революция принесла равноправие в общество, освободив женщину от домостроевского ярма, и наравне с мужчиной призвала её в ряды построения светлого будущего!..

За равноправие сам Тяп жестоко поплатился. За уроки труда, на которых он заставлял учеников сколачивать табуретки, лишив таким образом дополнительного заработка Марию Петровну, которая на своих уроках труда заставляла учеников вышивать карикатуры на автора «Домостроя» – попа Сильвестра, Тяпа под руководством Марьи Петровны в день Восьмого марта в школьной конюшне шибко избили женщины-учительницы.

О происхождении Полины Посконинной никто в школе не знал. Считали, что она дочь или внучка Паруни-дурочки, задавившейся на берёзе за растрату мочала, и потому записали её в комсомол. Комсомольцы-школьники помогали комсомольцам-колхозникам – пилили дрова, рвали турнеп и лён, играли в пьесах и много говорили на собраниях. Сказала и Полина:

– Мы живём в пьесе, которую сочинил для нас Владимир Ильич Ленин.

Назавтра к избушке на конном дворе, где, заткнув уши ватой из телогрейки, чтобы не слышать гогот мужиков, лущущихся в карты, Полина за печкой изучала образ Чичикова, подкатил тарантас, запряжённый тройкой лошадей. В тарантасе сидел мужчина с квадратным лицом и прямоугольными плечами. Похвалив картёжную игру мужиков и напомнив, что карты всё-таки пережиток самодержавия, мужчина увёз Полину в райцентр.

Там её спросили, какую пьесу Ленина она имеет в виду.

– Нашу счастливую жизнь! – тотчас же смекнув, что не для счастливой жизни привезли её сюда, бойко оттарабанила Полина. – В каком ещё государстве земного шара приедет товарищ в общественное колхозное заведение за сопливой девчонкой и повезёт её кататься на тройке через осенние леса нашей Родины!..

Воцарилась интересная пауза. Во время паузы вошёл ещё один прямоугольный мужчина с огненно-красными шпалами на гимнастёрке.

Он рывкнул так, что зазвенел графин без воды:

– В Орлопанове склады с зерном горят, а они, понимаешь ли, тут... Отпустите девчонку!..

Домой шла Полина пешком. Вокруг благоухали осинники, в небе кричали печальные птицы. На елани возле деревни горел костёр. У костра сидел радостный пастух Андриюша-дурак и палкой в котелке мешал варево, пахнущее навозом. Рядом с ним, пьяно запутавшись рогами в сухом пустырнике, лежала скотина с вывороченным нутром и опутанная кишками.

Андриюша увидел Полину и стал ещё радостнее.

– А я быка колхозного заколол! – доложил он. – Вот, кишки варю. За мясо-то в тюрьму посадят, а за кишки ничо! Чо глядишь так? Садись кишки ись! Или быка жалко?

– Мне не быка, мне жизни жалко! – промолвила Полина.

С того дня она перестала ходить в школу. Учительнице Варваре Никодимовне, прибывшей за ней в избушку и спросившей, почему она не изучает образ Чичикова, Полина ответила:

– Зачем мне Чичиков? Он изо всех сил старается быть рабовладельцем. Выходит, наше государство тоже рабовладельческое, если заставляет изучать образ Чичикова? Если бы наше государство...

Далее Варвара Никодимовна не дослушала и убежала из избушки. Никогда ещё в жизни она не дышала так привольно, как сейчас, радуясь и ликуя, что изучать образ Чичикова в школе они будут теперь без Польки Поскониной.

Глава восьмая

Зимой Полина жила на конном дворе, зарабатывая в день половину трудодня за то, что возила сено и воду для племенной кобылы Танкетки. Весной её послали работать плужницей к трактористу Кольке Семенихину и переселили снова в дом кулака Ермошки.

В доме Полина отгородила у печки угол, вкатила сосновый чурбан и застелила его бумажным плакатом, на котором сытые паренёк с девкой по пояс в сугробе махали рукавицами и орали во всю мочь: «Больше снега – больше хлеба!».

Весной тихо шли лиловые дожди и пели соловьи в зелёных вербах. В одну из соловьиных ночей Колька остановил гремящий на весь простор «колёсник» и свистнул:

– По-о-олька, подь сюды!

Полина слезла с плуга и, сонно спотыкаясь на пахоте, подошла к трактору.

– Ну-к, отойдём! – кивнул Колька в сторону и, когда они ушли далеко от «колёсника», спросил:

– Слушай, ты по-немецки говоришь?

– С кем говорить-то? – удивилась Полина. – Немцев у нас нет. Из пришельцев одни самоходы из Полтавы, и книг на немецком тоже нет. А тебе зачем?

– Ну хоть немного говоришь?

– Ну.

– Слушай, научи меня.

Колька огляделся и увёл Полину ещё дальше.

– Скоро война будет с Германией! – шёпотом сообщил он.

– Да ну! Мы вон как с Германией дружим, хлеб ей везём и масло...

– Потому и везём, что война будет. Это на случай, чтоб пленных кормить. Как только война начнётся, я сразу же в плен сдамся...

– Ты же комсомолец! – с ужасом прошептала Полина.

– А там-то кто узнает, что я комсомолец? Сдамся и всё!

Колька снял картуз, вытерся им и, глотая сырой весенний воздух, жадно заговорил:

– Я, Польшка, жрать хочу! И в поле, и дома жрать хочу! Часто во сне вижу, что всё жую и жую! Белый хлеб, колбасу, пряники, мармеладки... Так жую, что, проснувшись, чувствую, как челюсти болят. Вот как жрать хочу! Зимой

к дядьке Панкрату в гости ездил под Саратов. Он там в посёлке живёт вместе с немцами. Ну, с теми, которых при царе завезли к нам. Во живут! У них и сало всякое, и колбаса, и пиво. А у нас? Ни хера нету! Сжирают, потому что все жрать хотят. Вот и надо к немцам бежать, чтоб хоть нажраться досыта. Как война начнётся, я сразу же умоваю. Научи меня немецкому!

– Да я и сама его плохо знаю... Самостоятельно изучала по вырванным листочкам...

– Хоть немного!

– Ладно! – буркнула Полина.

– Ты жрать хочешь? – спросил Колька.

– Я спать хочу, – проговорила Полина, – я, Колька, всё время спать хочу, потому что никогда не высыпалась. В лесу с Паруней спали – комары заедали. В бане спали – Ленин в окошко заглядывал. В избёшке мужики в карты зубились, да ещё в стенку Танкетка копытами била. Как начнёт молотить, я проснусь. Дай, я поплю немножко, вот тут, прямо в борозде...

– Не, Полька! Ты чо! Курятников может пригнать. Он же на Танкетке гоняет. Она знает тебя, учует твой запах и припрётся прямо в борозду. Ты чо!

Колька вздохнул, огляделся и торопливо шепнул:

– Давай лучше немецкий учить!

– Ой, Колька, поехали пахать! – взмолилась Полина. – На плуге хоть трясёт, а тут я совсем задремала.

– А немецкий?

– Потом, Колька! Потом...

Немецкий язык они учили по ночам, остановившись посреди пашни. Если светила луна, учили при луне. Если ночь была тёмная, жгли керосиновое тряпье.

Полина писала головёшкой на берёзе и говорила:

– Дер химмель ист мит волькин бедект. Повторяй за мной!

– А как по-русски? – спрашивал Колька.

- Небо покрыто облаками.
- Небо покрыто облаками, – повторял Колька.
- Ты по-немецки повторяй!
- А зачем повторять по-немецки, что небо покрыто облаками? Оно и так покрыто облаками, что ни херишша не видно...
- Так ты же немецкий учишь!
- Я жрать хочу! Если я буду говорить, что небо покрыто облаками, то они подумают, что я сытый человек, и жрать мне не дадут. Давай дальше!
- Повторяй за мной! Кляйнэ вайсэ фриденштаубе ком рехт баль цурюк...
- Это как?
- Маленький белый голубок, возвращайся назад.
- Маленький белый голубок, возвращайся...
- Ты на немецком говори!
- Вот они и скажут на немецком: «Возвращайся-ка, голубок, на хер от нас подальше!». И пинанут к своим. А свои расстреляют! Давай дальше! – сердито орал Колька.
- А дальше я не знаю! – сердилась и Полина, отбрасывая головёшку вместе с берёстой.
- Слышь, Полька, а что это во-о-он там мелькает? Цветёт что-то... Пошли сожрём! – говорил Колька, взглядываясь в рассветную синеву. Полина тоже глядела и сердилась ещё больше.
- Это туман клочками плавает!

Глава девятая

Война началась тем же летом. Колька ушёл на фронт и, видно, насовсем. Изучив железо, Полина села на его гремучий «колёсник» и начала таскать плуг, на котором дремал парнишка из рода Фопкиных. Под дребезг трактора, провявшая керосином, гарью, в солидоле и во вшах, на рассвете

Полина начинала видеть какие-то брызги в лесу. Земля катилась боком, небо со звездой вставало то слева, то справа...

«Это я на самолёте полетела куда-то...» – думала Полина, никогда не летавшая и никогда не выдавшая самолёта.

Она останавливала «колёсник» и сквозь его гром и лай кричала плужнику:

– Сёмка-а! Спи-и-им!.. Спим две минуты-ы-ы-ии!

Сёмка Фопкин уже во сне падал с плуга. Сама Полина спала, упав головой на баранку «колёсника», который гремел, дребезжал и ходил ходуном под нею. За две минуты ей снилось одно и то же: что трактор заглох посреди давно вымершей земли, что она заводит его, но вот оторвалась бобина и убила её... Она просыпалась и орала:

– Сёмка-а-а! Поехали-и-и!..

И опять, вихляя, дребезжа, с железным рёвом и гавканьем тащился по пашне «колёсник», и опять туда-сюда качался, ухватившись за рычаг, плужник Сёмка Фопкин, и в лесу что-то цвело огнём и брызгало, и земля боком катилась в лес...

Однажды её вызвали в бывшую церковь, где когда-то играл на скрипке цыган. Ныне, где он играл, стоял стол под красной материей. За столом сидел постный товарищ в военной гимнастёрке. Иконостас с кучерявыми святыми был уже залеплен плакатами, на которых, весело смеясь, в пилотках набекрень, румяные красноармейцы кололи тараканов в немецких касках.

– Товарищ Посконина? – спросил товарищ. – Почему не платим налог?

– Как не платим? – испугалась Полина. – Я всё заплатила. Триста шестьдесят яиц от курицы, а курицу зарезала. Она ведь столько не наладёт в год, а платить за неё приходится... Сто литров молока сдала, полторы шкуры с овечки, мясо... Всё сдала и заплатила по квитанциям. Вот, нагишом осталась!

– Идёт самая кровопролитная война на земном шаре, и нагие женщины нас не интересуют. Нас интересует уклон от налога.

Товарищ надсадно вздохнул и постучал карандашом по столу.

– Да как же! – ещё больше испугалась Полина. – У меня всё заплачено, всё в квитанциях записано...

– У тебя не заплачено полтораста рублей за сад!

Товарищ стукнул кулаком по столу, скрипнул ремнями и, сильно взволнованный, закурил «Казбек».

– За... за что? – открыла рот Полина.

– За сад!

– За... за... сад? За какой... сад?

Полина села на что-то и тут же вскочила, потому что села на фуражку товарища, прижулькнула её и уж вовсе тоскливо, как перед смертью, подумала: «Пропала я! Теперь ещё и за фуражку налог выпишут!».

– Аккуратнее надо жить, товарищ Посконина! – хмуро заметил товарищ, взял фуражку и начал её выправлять. – Наела тело, не знаешь, куда его и пристроить. Спишь и видишь себя нагишом... А между прочим, у тебя в усадьбе процветают фруктовые деревья. Не какой-нибудь плодово-ягодный кустарник, который по закону тоже обкладывается налогом, а фрукты! Они и вовсе обкладываются налогом, как, между прочим, проживание крупного и мелкокопытного скота.

– У меня никакой скот не процветает. Даже курицу вон засекала, – со слезами залепетала Полина. – А что касается деревьев, то лишь один тополь под окошком и проживает...

– Не тополь, а фруктовые деревья! – крикнул товарищ и опять стукнул по столу. – Вот заявление на тебя поступило, что содержишь фруктовые деревья и не платишь за них налоги, по всей видимости, торгуя фруктами у воинских эшелонов. Следующих на фронт, между прочим! Спекулянтка!

– Я – трактористка, а не...

– Всё, Посконина! Чтоб в первой декаде налог уплатила! Иначе передадим дело в суд по делу спекуляции и ходатайство о конфискации имущества.

Товарищ снова стукнул по столу и надел фуражку. Счучен-

ная и плохо выпрямленная, она придавала его постному лицу задиристый петушинный вид. Но Полине было не до смеха. Она вышла из церкви, забыв, зачем сюда приходила...

«Торговка фруктами! Торговка фруктами!» – лишая рассудка, звучал голос товарища.

«Спекулянт-ка! Спекулянт-ка!» – блеял целый хор товарищей.

Полина знала, что фрукты на свете есть, что растут они где-то в жарких странах. При царе купец Ширшов возил их оттуда, и Паруня, поевшая на своём веку и лягушек, и фруктов, говорила, что арбузы пахнут стылой зимней рекой, только река эта с сахаром. Яблоки брызжут соком, как капуста, а груши похожи на варёную репу. Но очень-очень слабо. Почти не похожи.

В школе их учили, как прививать грушу к яблоне. Даже рисовали схему, как в яблоневый надрез вставлять грушевую почку. Они шли на пришкольный участок, заглядывая в схему, и прививали осину к боярке...

Учительница рисования Рафаэль Иохимовна приносила на урок картинку с изображением морей, барышень, собачек и винограда и всегда заставляла перерисовывать только виноград. Она требовала его рисовать настолько документально, чтоб зёрнышки было видно. Ребятишки слюнявили зелёные карандаши, тыкали чёрные точки, но зёрнышки не получались.

– Ваш виноград будто мухи обосрала! – небрежно бросала Рафаэль Иохимовна и приступала к продвижениям между партами.

– Это хорошо, что вы никогда не видели винограда! – витал её смешливый голосок. – Очень хорошо! А поскольку он для вас не существует, то является как бы вашим идеалом. Чем больше вы будете к нему стремиться, тем совершеннее он будет в вашем представлении. Великий Рэ-эмбрант тоже никогда не видел Святого семейства, потому он его так документально и нарисовал!

На одном из уроков Полина как-то добилась докумен-

тального изображения чёрных семечек в виноградинах, за что вечно голодный матерщинник Санко Козлов бухнул её глобусом по голове, да так, что от документального фрукта у неё самой начался в брюхе клёкот.

«А, может, у меня виноград растёт! – охнула Полина. – Он же ползучий, как хмель. Рафаэль Иохимовна тогда показывала картинку... Поди, вьётся где-нибудь по пряслу... Виноград! В Сибири! В Голом районе!.. Да ведь кто-то известил органы. Раз известил, значит, правда, что-то растёт!..»

Полина забыла о постном товарище, о его фуражке и о похлёбке из саранок, давно булькающей дома на печке-буржуйке, и побежала в огород, с таким шиком обозванный товарищем усадьбой. Усадьба была широка и живописна – с провалившимся погребом возле хлева, с хлевом, упавшим на дорогу, так что народ проторил себе тропку прямо по его крыше, а подводы, объезжая хлев, всегда одним колесом попадали под гору. На бане росла лебеда, с хлева в лебеду лазили овечки. Тут, где в крапиве ржавели колёса от локомотива, валялись граммофонная труба, прялица с ангелочками в уголках, статуэтка какого-то древнего героя с лепестком вместо срама, стекло какой-то посуды, даже сквозь грязь заманивая в свой пасмурно-сухой пламень, медный чайник без дна, дышло с железной цепью, цветочатый мех гармошки с мурашками внутри. Изгородь валилась то на север, то на юг. Коля, как пьяные мужики, едва держась на ногах, брели куда-то... В одном месте их подпирал батог, в другом – рукоятка от «колёсника», в третьем – пёстрый телёнок, пробуровивший башкой худые жерди да так и завязший до вечера...

Полина и сажала-то всего соток десять картошки, да лук, да моркошку. Остальное место пустовало, и жирный чернозём, как маслом, кормил разудалые репы да всё ту же проныру-щирицу.

В поисках фруктовых деревьев она прошла вдоль пьяного прясла, палкой разнимая траву и глядя под ноги. Но так ничего и не нашла.

«Значит, кто-то сделал на меня поклёп», – тоскливо думала она, соображая, за что же поклёп, как его разгадать и что увидеть под намёком на какие-то фруктовые деревья. Может, чьи-то курицы несутся в её огороде и кто-то решил, что она собирает яйца в свой карман? Или клад? Клад! Закопал Ермошка клад, целый сундук добра, а она, Польшка Посконина, шастает по этому добру и не знает... Фруктовые деревья! Не клад, а деревья! Сундук кишмиша, урюка, сушёных дынь, черносливов, яблонев и груш... Как там ещё сказывала Паруна? Веников... пряников... Фиников! Кукишек, что ли?.. Фиги-финики... И тут-то из дальнего глухого угла огорода побластился зыбкий и ясный голубой воздух. Словно быстрая вода пролилась с неба и оставила свою пену на мёртвом остистом репейнике.

Она не побежала туда, а стала подкрадываться к тому цветку, боясь напугать и уже никогда больше не увидеть его неизвестно откуда и неизвестно зачем прилетевшей сюда жизни. Она подкралась и остановилась... Что это? Что? Что его вознесло над окаянным мусором, отребьем и нищетой, пустырной голью, акульим хамством щерицы, зажгло неведомой силой, вынесло пламя из семени? Пробилось с ним из бездны, из ничего, зацепило и оставило на краю ада!

– Чу-удо! – протянула Полина, уже догадываясь и догадкой остужая и разочаровывая себя, что никакого чуда нет, что цветущее деревцо – всего лишь отросток бывшего кулацкого сада, вырубленного всё теми же активистами, которые выбили и стёкла в доме, взбаламученные мщением за собственные тяпы-ляпы в судьбе. И что это был за сад, оставивший после своей смерти такое удивительное дитя с таким рискованным для его жизни кружевцом на голове!..

– Да вроде и сада-то у Ермошки не было. Да какие сады у нас, в Сибири? Так себе, рощицы, лесочки, – проговорила Полина. – Осина да боярка. Верба да черёмуха. А завлекает как! А пахнут как!.. Полтораста рублей! Где я возьму такие деньги? Господи! Уж, бля, кто-то увидел и донёс! Видать, раз-

бирается в садоводстве. Поди, знает, что деревцо фруктовое! Только какие фрукты цветут небесным, лазоревым цветом?.. Полтора́ста рублей! – всхлипнула Полина и сникла от горя. Так ей стало жаль деревцо! И отдала бы она эти деньги, деревцо стоит не полтора́ста, оно бесценно с его невиданным цветом, иной статью, поступью в пространстве, воздухе, ветвлением, молодой, блескучей корою... Полтора́ста рублей! Всего лишь... Ячмень, полученный на трудодни и принесённый со склада в мешке, она продала на базаре, а на деньги, прибавив к ним выручку за ячмень, проданный в прошлом году, тут же на базаре купила сто штук яиц и сдала их государству. Потом всё лето по ночам, отъездив по парам на «колёснике», нанималась косить сено и приносила на покос кринку молока, но также относила её на молоканку, сдавая государству. Порося́нка держала сама, когда перед октябрьскими праздниками хромой Филька Запорошин заколол его, мяса на порося́нке оказалось точь-в-точь столько, сколько и требовалось для уплаты налога. Полина отрезала на студень уши, а голову без ушей отнесла в соседнюю деревнёшку Ёковку и отдала самоходам за пимы, подшитые трофейными стельками.

Деревцо! Деревцо! Как бы легко и сквозисто ни выюжил твой цвет, как бы ни сияло, ни светилось ты новорождённой корою, надо было срубить тебя!.. Денег для уплаты рокового налога у Полины не было, менять и продавать нечего, одна лишь похлёбка из лесных саранок, позлащённая луковой шелухой. Если не уплатить налог, всё равно придут активисты и дерево срубят. Ещё и следышек спалят, выкорчуют, иначе земная мочь выбросит на свет трепетные зелёные побеги, а потом и ангельский цвет соберётся вверху.

Полина притащилась в дом, сняла с печки похлёбку, от азартного длительного кипения выхлеставшую через край чугу́нки, дотянулась под скамейкой до тяжёлого зазубренного топора, насаженного на топорище прямо, как на палку, безо всякого плотницкого поката, и снова потащилась в проклятый огород...

Грязная косматая ворона вспорхнула с крылечка, перелетела на кол и, как Иван Корейша, раскатила дурью: «Мор-рр!...».

«Изрублю и сожгу в печке, – думала Полина. – Приедет постный товарищ, а я скажу ему: "Какие фрукты? Какое фруктовое дерево? Ступайте сами в усадьбу и смотрите! Найдёте – описывайте имущество в составе чугулки с саранками. Не найдёте – извините любезно". Ах, как жалко, что нет Паруни! Что бы сделала на моём месте Паруня? Что бы сказала?»

Теперь на фоне грозового облака деревцо не голубело, а синело, парило, реяло среди серого прошлогоднего бурьяна. Полина подобралась к нему и увидела, что сермяга её в репейных шишках. На ощупь обирая с себя репы, она всё глядела на деревцо, даже не зная, как оно называется, и не думая, какие оно приносит плоды, главное, что оно пришло к ней, росло в её огороде и цвело для неё! Оно, одно на всём свете – её!..

Полина взялась одной рукой за его тоненький ствол, другой подняла топор, но рубить не стала – топор оказался уж слишком позорным!

«Срубить, так хорошим, как у дяди Екима. Чтоб не мучить, а сразу. Таким же рубить – всё равно что зарезаться тупым ножиком. Исчучкать да измумлить», – решила она и отправилась за острым топором к плотнику Екиму Афанасьевичу. Но тут же и передумала, зная, что дерево надо срубить тайно, без свидетелей. Потому что оно втайне всегда будет жить и цвести для неё, прощая свою гибель. А при свидетеле, при белом дне, она словно выведет его на казнь, повалив в цветку, как бы раздев донага. Вот тогда оно исчезнет навеки.

Полина вспомнила, что через неделю её вызовут для уплаты налога. Может, дать деревцу ещё неделю пожить, а уж потом и срубить. Пусть хоть отцветёт... Нет, вот этого-то она как раз и не сделает. Потому что через неделю появи-

ся завязь, а для неё, живущей сиротою, ничего нет гадливей и страмней, чем уничтожить изначальное рождение плода, при рождении осиротить его!

«Нет, рубить надо сейчас!» – повернула она назад, но, подойдя к деревцу, остановилась...

Деревцо цвело, и пчёлы кружились над ним, и цвет, и пение, кружение пчёл, и грозовая синь облаков, и сладкий, хмельной запах майской земли – всё это было собрано в единое целое, из которого нельзя, невозможно ничего изъять, ничего нельзя выдернуть, не нарушив его единства, отчего зависело единство и её жизни, лад души и плоти её, что являлось не чем иным, а смыслом существования, смыслом, как молнией, озарившим её сейчас. Пусть в плоти, в осадке, в чернозёме планеты! Но если бы сейчас не пели, не звенели, не кружились пчёлы, не пылала синева и не цвело дерево, отзываясь в сердце сладостью, болью, тревогой, у неё ничего, кроме этого осадка, этой тяжёлой, чернозёмной ноши, и не осталось бы...

Но и нести с собой по жизни деревцо никак нельзя, нагружать себя ещё и им, лишним налогом. Придут активисты и срубят... Ну и пусть рубят! «Лишь бы не я. Не я! Нет уж, лучше я. Сама! Ночью срублю...» Ночью не будет ни пчелиного гула, ни синевы, да и самого цветочка на дереве не увидит она. Ночью она не нарушит единства, потому что во тьме не найдёт его...

Глава десятая

Ночью поднялась буря. Проснувшись от холода, ошетилившегося во всех щелях дома, и грохота тополиных веток по железной крыше, Полина, надевая сермягу, нашарила в потёмках топор у печки, куда поставила его с вечера, и побежала в огород.

Ветер выл и гудел. Меж его свирепыми порывами слыша-

лось громкое щёлканье соловья. Расходясь мутным золотым огнём в дальних лесных вершинах, поднималась, мерцала сквозь листву ущербная луна, над самой головой, прикрывшись доспехом, как апельсиновой коркой, стоял Телец. С севера надвигалась туча, заливая чёрным потоком тот край деревни, елань, колхозный склад, где тоже что-то тряслось и мигало, наверное, коптилка в оконце у сторожа. Свитый из кудели фитиль то буйно полыхал, то едва тлел, и сторож постоянно взбалтывал коптилку с керосином.

Полина прошла вдоль прясла и сразу же наткнулась на знакомое деревцо. Теперь оно гнулось на ветру и мело верхушкой по земле, мотаясь из стороны в сторону, словно его таскали за волосы, и цвет его то пропадал где-то в репьях, проваливаясь в них, как в яму, и в яме летал белым снежком, то наскакивал на окровавленный горячечный бок луны и сразу становился чёрным, сожжённым.

Полина ухватила его верхушку, наступила на неё ногой и махнула топором. Топор оскользнулся, проехал мимо, дерево ушло из-под ноги и унесло свою верхушку снова. Полина опять поймала деревцо, уцепилась за хлипкую ветку, ветка оборвалась, и Полина, поправляя платок, упавший на затылок, внезапно почувяла, как её опажнуло горьковатой свежестью, какой обычно пахнет мартовский вечерний краснотал, оттаявший и повлажневший после долгих зимних морозов.

Она выпрямилась, посмотрела на небо и вспомнила далёкий ледоход. Стояли они с Паруней на крутом берегу Емца и глядели на льдины, поблёскивающие в лучах заходящего солнца то алым, то малиновым сахаром, плывущие по красной воде, степенно и неумолимо коверкая на своём пути прясла затопленных заречных огородов и взъерошенный, утонувший по самые верхушки тальник.

– В дальние страны поплыл, – сказал кто-то на берегу. – Туда, где цветут сады...

И так хотелось сесть тогда на льдину и тоже поплыть по Емцу, зачарованно ожидая, что за первым же поворотом реки

откроется вид на цветущий сад, блаженно не ведая, что река движется на север, к вечному холоду и мраку, в котором ходят льдины, похожие на города... И тогда вот так же повеяло свежестью горькой талины, опьянило, ударило в голову, заставило больно биться сердце от сладостного весеннего счастья. Она так и не поняла, откуда принесло тот сквозной холодок – с дальних лугов, также затопленных водою, с неба ли? А, может, душа этого дерева, которое она собралась рубить сейчас, уже тогда прошла рядом с нею и, покружив, вернулась опять, чтобы воплотиться в лазоревом цвете на радость ей, сироте, нищенке? Цветок – это и есть душа дерева. В человеке тоже есть цветок – его душа. Только он не видим, самим человеком не видим. А дерево, может быть, и видит его, своим особым зрением, каким-нибудь чувством, также непонятным и непостижимым для человека, как ангел.

«Дерево видит цветок в нас, а мы видим цветок дерева. То, что мы видим друг в друге, втайне, через небо, и роднит нас...»

Росток, цвет, плод – вот извечный круг всего живого. Его бессмертия. Но ежели изыметь цвет и не дашь плоду оставить семя, то разорвёшь этот круг, покусишься на бессмертие.

Истина эта ошеломила Полину. Никогда не едавшая плодов с дерева, она вдруг воочию увидела их. Вот она в золотом осеннем мраке уносит их домой, разрезает на половинки, как разрезают яблоко в сказке, выкладывает семечки на блюдце и ставит на подоконник, чтобы обсушить от сока. Затем всю зиму хранит их в холщовом мешочке и весной снова сажает в углу своего огорода, среди непаханой залежи. А осенью вновь собирает плоды. Какие они? Всё лето она будет ходить и смотреть, какой краской они начнут наливаться, что больше возьмут – чёрной земли или крови животных?

Луна поднялась, зловеще и ясно озарив бушующий лес. Казалось, кто-то ходит в небе со зверем, рвущимся на волю из золотой горячей сетки, и она, Полина Посконина, с тяжёлым куском железа, надетым на шершавый берёзовый об-

рубок, стоит в ногах этого зверя и, пленённая собственным страхом перед ним, забыв обо всём, глядит на косою огонь ущербной луны.

«И я в этой сетке тоже, и меня носят. Не выбросили же, как гайку какую-нибудь. Значит, я кому-то нужна, если не выбросили», – думала она, глядя, как, попавший на лунный край, мгновенно проясняется сквозистый рисунок лесных вершин, как золотое пламя выдувает из них темноту.

«А может, забудут о налоге? Какой это сад? Тычинка... Пристращал постный товарищ, что налог придётся платить. Предупредил, чтоб сад не вздумала разводиться от этой тычки. Молодая я, вот и пристращал. Небось, сорокалетнюю бабу не напугал бы».

Догадка, что ей пригрозили налогом за фруктовое дерево, которого сроду нет в её огороде, а есть лишь хлипкий саженец, занявшийся цветом впервые, иначе она и сама заметила бы его, если бы он цвёл не впервые, придушила её тревогу. Конечно, с ней пошутили. Так иногда шутят взрослые с ребёнком, что-то намеренно преувеличивая в его игре.

Дома она легла спать. Ветер бушевал всю ночь. Ветви с грохотом ездил по кровле, скребли окно, и выло, визжало пустое ведро на колодезном журавле. Однако Полина не могла уснуть, как бы ни укачивали её ветер и пьяная зыбь лунного света. Что-то болело в ней, терзало сердце, будто она прикоснулась к чему-то такому, что изогнуло её жизнь, провело какой-то иной путь от её тёмного тоннеля. И если в тоннеле стоял беспросветный мрак, то боковой путь озаряла белая пурга. Она не знала, что это за пурга. Круженье звёзд или цвет, но знала, что это послано ей, чтобы в её жизни отделить свет от тьмы, чтобы в свете, в цвете увести её, поднять, вознести над сирой, убогой рухлядью прясел, избушек с лебедой на крышах, над кромешной крапивой, вознести, возвысить для того, чтобы дать понять ей, что она крылата. А крылата потому, что нага, гола, что на земле её ничто не держит. Она не земная – звёздная.

И трепетал, бился, не стоял на месте золотой возок звезды. С её скарбом? С дарами ли Господа, уготовленными для неё?

Глава одиннадцатая

Первая лава бомбардировщиков прошла над Юго-Западным районом Москвы, кроваво и дымно наследив в нём. Когда без бомб, с облегчённым мурчанием самолёты летели обратно, крайний справа опрометчиво наскочил на косо свет прожекторов и застрял в нём – махоньким оловянным крестиком, будто утерянным самим Антихристом, под фальшивой личиной разгулявшимся во спасение православной, пусть и опанутой поверхностным безбожием страны...

Забрызганный разрывами зенитных снарядов самолётишко продолжал лететь. Прожекторы упорно вязали его, держали под мышки, и – надо же! – один самый яростный осколок пробил бензобак, алчно и злостно выпорхнул оранжевый лепесток пламени, и тотчас же смолистая жирная дорога начала круто сбегать к земле с победных небес.

Пилот тянул к фронту, но не дотянул. Где-то в тылу истерзанных, измотанных красноармейских частей со смертной надсадой грянул взрыв, и над останками аса распустились буйные мазутные кудри.

Их увидели летуны повторной лавы. Объятые мщением, они поклялись смести Москву, как Карфаген. Вторгаясь в заградительный вал зенитного огня и вынырнув из него, бомбардировщики начали опорожняться над Садовым кольцом. Центр Москвы замельтешил кровавыми глазами Армагеддона. Но темно, темно было и здесь, лишь огромное, бесформенное, распротёршее крылья Нечто таскалось на перевязи прожекторов.

На этот раз Даниил в метро не спустился, надо было дорисовать шрифт. Он упоительно и вдохновенно разветвлял

его, завивал в узоры, выкладывал по кирпичику, строил и сам, как молодой олень, шёл сквозь него, как через лес, раздувая ноздри, шалея от наплыва сил, горения крови, набрякшей в венах его сильных рук. Лес, лес... Муромский, рязанский, гатчинский... Чёрная позолота дубов брала обликом Дионисия, костром пылал одинокий явор, в дорожной лужице отражалась ломкая белизна берёз, и стоял, молчал, утомлённый летними грозами, теперь обнажённо-звучный, как струны, шитый проседью паутины осинник.

Шрифт был славянский. Он будто тоже вышел из леса, отряхиваясь от золотых соринки, вился багрецом, взбитый, сквозной, схожий с вышивкой на царских одеждах, и чёрный, вороной, повторенный в резьбе своего багряного собрата, они вплетались друг в друга, как два хоровода – один княжий, пурпурный, воинский, другой – суровый, монашій, крестьянский, приподнявший голову, изумлённый огнём слетевшего ангела в углу своей чёрной сотки...

Шрифт рисовался для заголовка воззвания, собирающего под свою сень всю страну огромную. С топорами, вилами, с автоматами – на смертный бой!..

Даниил взглянул на часы, времени оставалось мало. До полуночи надо было успеть вернуться в полк. Его отпустили для работы над шрифтом, и он не зря обряжал заголовки воззвания в славянскую вязь, требуя, приказывая, умоляя через её прорези увидеть седые века Родины – крепостные псковские стены и храмы Владимира, кресты Киева, бурливую, волнистую днепровскую синь, неоглядные, непознанные, звериные снега Сибири...

Он собрал кисточкой лишнее кружево с последней буквы, сел, любуясь сотворённым и рассеянно думая совсем о другом...

Даниил жил уже у врача Доброва в Москве, и в один день золотой осени поехали они с няней за город. После длительных дождей дорогу сильно размыло, ехали на извозчике, больше стороной, чем по дороге. Остановились у егеря Ермолая, кото-

рый хорошо знал Шевченко-Велигорскую, бабушку Даниила. В тот страшный, безысходный восемнадцатый год у него были и грибы, и картошка. За грибами Даниил с няней и приехали. В гиблой, запутанной самыми невероятными слухами Москве ему, двенадцатилетнему мальчику, одарённому провидческой интуицией, жилось не так тяжело, как взрослым. Он ускользал в свой мир, плотно прикрывая за собой дверку и не впуская уличный мрак в золочёную горенку, где до самого потолка, переливаясь росой, цвела роза. Роза мира, называл её Даниил. Её он видел, кажется, ещё витая в тумане монады.

С вечера за грибами не пошли, умотавшись, намаявшись в дороге. Сидели у печурки, Ермолай подкладывал дрова, весело рассказывал о лесных чудрах. Осенний клён стоял под окном, затеняя вечерний свет плакучей листвой. Было тепло, тихо, сказочно, лишь шуршал, шелестел вкрадчивый голос Ермолая.

За грибами направились рано, на рассвете. Пока шли через полянку к мутной тёмной дубраве, Даниил насобирав целое лукошко маленьких пузатых боровиков, но в самой дубраве, за дорогой, где на блёклом небе чётко и остро, словно выстриженный ножницами и ярко раскрашенный, наклепленный на серый фон, плотно зеленел ельник, Ермолай обещал коробка рыжиков и опят. Туда и шли. Но вдруг остановились, не смея шепнуть слова, нечаянно наступить на сучок... По грязной дороге через дубраву двигалась колонна людей. Все они были босы, многие в кровоподтёках, кто в натальном белье, кто в мундире. Кое у кого на плечах взблэскивали золотые погоны, даже были Георгиевские кресты. Колонна шла и молча тащила с собой волну чавкающей, чмокающей осенней грязи. Она была бесконечна, в несколько сот человек. Сопровождали её вооружённые, идущие цепями с боков люди, затянутые в голую чёрную кожу, с чёрными повязками на рукавах, где красными рваными буквами стояло слово «террор». Точно таких же чёрных людей Даниил видел в Москве. Они чеканили мёртвыми, безголосыми шеренгами

и несли над головой чумно-чёрные транспаранты, на которых из кровавой прорвы зияло то же – террор.

Ермолай испуганно подал знак спрятаться за дубы. Колонна прошла, а они всё стояли, слушая мокрый шелест листопада и звеньканье синиц. И лишь Ермолай вздохнул и перекрестился:

– Офицеры... Краса России. Вот так мы дошли до Цареграда!..

Он стянул с головы треух и заплакал, уткнувшись в него лицом.

– Их расстреляют? – спросил Даниил, но ему никто не ответил.

Той же ночью в Москве он услышал:

– Восстань, Господь, во гневе Твоём! Подвигнись против нашествия врагов моих, пробудись для меня на суд, который Ты заповедал! Сонм людей станет вокруг Тебя, над ними поднимись на высоту... Изыми, Господи, возмездие, изыми из пустынь и мировых кругов и заключи в него нечестивых!..

Молилась няня, и сурово, холодно смотрели траурные глаза Христа, лишь трещал, шевелился огонёк свечи, будто робко и медленно падал дубовый листок в лесу.

...Странно, Даниил не услышал завывания сирен воздушной тревоги. Он очнулся, когда трепетное зарево взбухло в окне и в комнате всё стало красным...

«Я же опоздал в полк!» – было первой его бешеной мыслью, он вскочил, схватил шинель, шапку, быстро скатал ватман со шрифтом в трубу и, держа его в руке, бросился в дверь. Отсвет пожара бушевал на лестнице, испуганная кошка прыгнула из-под ног, где-то в суматошном крике заходила женщина.

Даниил выбежал из подъезда и сразу же наткнулся на карнавально-рассыпчатый, ядовито-малиновый, зелёный, серафический кустарник сигнальных ракет. Гудело, выло и рвалось где-то впереди, совсем рядом, наверное, на соседней площади отрывисто била зенитка. В распахнутой шине-

ли Даниил помчался по улице, горящий завал преградил ему путь, он кинулся в обход, где бегали пожарные.

– Куда? – крикнул один из них. – Нельзя сюда! Нельзя!..

– Я опаздываю в полк! – прокричал Даниил, доставая из кармана гимнастёрки пропуск. Но пожарный не успел разглядеть его – осыпанная цветением разрывов лавина бомбардировщиков заходила снова.

– Ложись! – рявкнул пожарный.

Но Даниил стоял как вкопанный и глядел безумными глазами на огромный маховик, перемалывающий Москву в огне и вое, в обломках, копоти, захватывающий лопастями деревья и руины домов, всё живое и неживое сбрасывая на землю мешаниной, и гребущий снова...

В голове сверлило и выжигало: «Читай! В исполинском размахе вращается жёрнов возмездья, несутся и гаснут созвездья, над кровлями воет сполох. Свершается в небе и в прахе живой апокалипсис века. Читай! Письмена эти – веха народов, и стран, и эпох».

«Изыми, Господи, возмездие из пустынь и мировых кругов, изыми...» – пришёптывал голос с того света, отдаваясь в ушах чавкающей, чмокающей осенней грязью, кровью, болотами, трясинами трупной гнили, человечины...

.....
Ладожский лёд гудел под ногами ударной 196-й стрелковой дивизии. Впереди, озаряемый ночными пожарами, в гирляндах багровой изморози, при каждой вспышке отпечатываясь собственным скелетом на небосклоне, лежал Ленинград. Гул вражеской артиллерии, бьющей по городу день и ночь, стоял сплошным рёвом.

Торопились... Маршем, пробежками, чтобы ночью пройти по Ладоге. Лёд звенел под ногами красноармейцев. Катились орудия. Ездовые сдержанно погоняли лошадей.

Враг ломал зубы о гранит набережных, о каменные сферы, о фронтоны суровой геометрии, о наплывы льда на Нев-

ском, на Васильевском, о металлические рубцы вздыбленных противотанковых заграждений.

«За городом город покорный облёкся в дымящийся траур...»

Это Ленинград! Непокорный!

«Но странным и чуждым простором ложатся поля снеговые. И смотрит загадочным взором и ангел, и демон России».

Торопились... Пробежками. Маршем. На мёртвой окраине города грянул взрыв. Шквал снега, мёрзлой земли, металла, собранных в смертоносный букет, обдал жаром германского мартена, серой тартара.

«А-а-а-а!» – торжественно обнесло «Реквием» Моцарта.

Даниил вскинул голову и увидел над собой облако и, живой, трепетный, хранимый, одержимый высочайшей любовью к России, стылой, голодной, погружённой в снега, ошетилившейся штыками, как волчьей шерстью, ликуя, подумал: «Сад... Кто-то насадил для моей души сад!...».

Глава двенадцатая

Пришло лето, и жить стало грустно. Природа, явившись во всей своей красоте, опять напомнила человеку, что он должен быть счастливым, потому что созерцание и обдумывание этой красоты и есть счастье, а без созерцания, без соучастия в ней кому она нужна? И кому нужен человек? Особенно грустно и тягостно становилось жить по ночам, когда горела заря, а в лугах плакали птицы.

В одну из таких ночей Полина осталась одна в поле и решила заночевать в избушке, утонувшей вместе с крышей в зелёной полыни. В избушке жили, наверное, ещё зимой, когда молотили лён. Теперь же там было пусто и прохладно, лишь синей картиной мерцало окно. В нём голубым мелом

светился ствол берёзы, и в золотых бликах вдали двигалась сумрачная рожь.

Полина размотала из мазутной тряпицы ломоток хлеба, провонявшего керосином, и съела его с луком и холодной картошкой, равнодушно глядя на берёзу и мгlistую даль. Ей хотелось спать, она уже дремала, но доедала хлеб, что и не давало заснуть окончательно. Потом залезла на нары, сколоченные в углу из осиновых горбылей, пошуршала соломой и повалилась, как убитая... Она уже крепко спала, когда вдруг кто-то захохотал. Полина проснулась и прислушалась, сползла с нар и в страхе, внезапно окатившем её, остановилась посреди избушки.

«Вроде никого нет. Никто не хохочет. Это тоска моя хохочет надо мною».

Она долго стояла, чем-то похожая на ледяную сосульку, светясь каждой своей косточкой, и, если бы кто сейчас заглянул в окошко, так же в страхе отшатнулся бы прочь, будто увидев мертвеца.

Колыхалась рожь в мрачных, зловеще-красных бликах. Где-то там, на краю поля, шёл дождь.

Хохот раздался снова. Он прозвучал жалобно и беспомощно, и Полина догадалась, что это не хохот, а лает какой-то зверёк, подкравшийся к избушке, учуявший человека и напуганный то ли человеческим запахом, то ли собственным любопытством.

Полина постучала по стеклу. Лай смолк, но раздался опять. Она попыталась разглядеть, кто же лает – лиса или ещё кто-то... За окошком прошуршало. Там, где шёл дождь, вспыхнула молния, озарив алым лихорадочным блеском мутную глубину небес. Полине совсем стало страшно одной в тёмной избушке. Она уже покаялась, что пришла сюда. Надо было ночевать под навесом, где оставила трактор. Но и там одной тоже страшно. Хотя можно было бы испугать лису или кого там ещё, брякнуть по железу или завести трактор...

Она вышла, подняла с земли берёзовый, обгоревший

с одного конца сучок и, прогоняя зверька, стала шумно ворошить полынь. И верно, из-под ног что-то юркнуло, серое, лохматенькое, похожее на кошку или на хорька, мелькнуло в рожь и затявкало, захохотало оттуда, дразня и зовя за собой.

Полина побежала следом, решив догнать зверька. Почему-то показалось, что это одичавшая кошка, прожившая в избушке до лета, выросшая среди лисят и научившаяся скулить и гавкать по-лисы.

Зверёк петлял во ржи, иногда попадал под ноги, но, как только Полина ловила его, он тут же выскользал из рук, прятался и снова хохотал и тявкал. Вдруг он выскочил на межу, и она увидела, что это лисёнок. При свете зари вспыхнул его глазок и шерсть стала красной, как и всё было красным, попавшее в полосу света, стоящего на севере.

– Да зачем он мне! – сказала Полина. Но лисёнок тявкнул и остановился. Она снова кинулась за ним. Лисёнок отбежал и снова остановился. Она опять побежала за ним... Дальше, на меже, начинался матёрый, тучный чернобыльник, а за ним стоял тёмный, с багровыми просветами лес. Лисёнок внезапно сгинул. Полина поискала его и вдруг поняла, что заплутала. Она осмотрелась, сломила ветку и, отмахиваясь от комаров, направилась туда, где горела заря. Но очутилась в мелком густом раakitнике и принялась кружить в нём. Куда бы она ни ткнулась, перед ней оказывалось то болото, то ещё более частый раakitник или непроходимая боярка... Места были вроде знакомые и в то же время как бы чужие, словно в них что-то переставили, напутали, и вот теперь попробуй разбери, где вход, где выход... Лес стал мокрым, лоскутным, ноги обожгло... Валилась роса, и, кажется, светало.

«Вон где я! – удивилась Полина. – У Поганой лывы!»

Лыва на самом деле славилась своим дурным местом. Здесь всегда плутали, в основном из-за густых кустов и болота, которое и прозвали лывой. Старые люди сказывали, что здесь много перебывало всяких чудес, главным образом жутких, непотребных. Что только не блазнилось – и висельники,

и утопленники, хотя никто в этих краях сроду как следует не выдавал ни висельников, ни утопленников. Под лужей находились залежи торфа, он гнил, зыбался, а над стоячей, с прозеленью водой болота казались чудища. Иной человек со страху принимал за скелет сухую берёзу. Полина наслушалась этих историй и потому не очень-то боялась. Однако сейчас и ей стало не по себе.

«Это от усталости, – подумала она. – Не спала всю ночь, за лисёнком бегала. Надо уйти к трактору и отоспаться до восхода солнца. Раскласть дымокур и отоспаться...»

Вдруг впереди что-то проехало. Полина остановилась, но потом пошла туда и увидела свежие комья земли, вывернутые будто плугом, но мелко, только стронувшим дернину. Завоняло псиной и тухлыми яйцами. Среди росы и лесной свежести этот запах был особенно резок и неприятен. Полина прошла ещё и остановилась на краю ямы. На дне ямы с остями бурой шерсти лежал скелет какого-то животного. Череп напоминал лошадиный, но с рожками. В глазницах стояла жёлтая вода, на кончике короткого хвоста чернел торчок шерсти, совсем другой, видно, чужой, не принадлежавшей этому скелету. Полину удивила свежая земля, она поняла, что скелет откуда-то перетащили. Но кто перетащил? И откуда? И куда подевался тот, кто перетащил?

Её неожиданно охватила оторопь. Она попятилась от ямы, так, пятясь и натываясь спиной на кусты, опять вышла к болоту. Рядом с болотом, в цветущем вязолистнике и крапиве, вилась тропинка. Стуча зубами и от холода, и от страха, Полина во весь дух припустила по ней и остановилась только в поле, вымокнув по пояс в крапиве и в росистых яровых. Из носа у неё повалила кровь. Полина не удивилась – кровь носом шла часто, скорее от недоеданий, недосыпания, а может, от чего другого – она не знала.

«А где лисёнок-то?» – вспомнила она. Лисёнок исчез, наверное, убежал к себе в нору. Может быть, тоже испугавшись того, чего испугалась и она...

Становилось всё светлее, всё золотистой, вот и малиновый шип солнца пробился вдали сквозь посевы, и полилось по всей земле яркое море света, струясь по гребням лесов, по далёким лугам, зажигая каждую лужицу, каждое болотце.

Минуя избушку, Полина прошла к навесу, где мокрый от росы стоял её «колёсник». Но спать не пришлось. Приехал водовоз, потом пригнали ребяташки к колодцу поить лошадей из ночного, и началась обычная рабочая суматоха.

– А ты чо вся в крове? – спросил бригадир Полину. – Нос, чо ли, разбила?

– Кровь носом идёт, – ответила Полина.

– От трактора отстраняю, – сказал бригадир. – Потому что не положено в крове...

Позднее, очухавшись от пережитого, Полина сходила к Поганой лыве, однако не нашла там ни ямы, ни скелета с рогами, ни свежевспаханной борозды.

«Значит, показалось, – думала она, выбираясь на дорогу из болотного чернотала. – Значит, тут на самом деле кажется. Топь, няша... Вот и бурлят в ней пузыри. А молитвы ни одной не знаю. Война идёт, а молитвы не читаем. Худо».

Глава тринадцатая

Постный товарищ приехал в Петровки, когда колхоз косил клевер за Глухим болотом и Полина деревянными вилами-тройчатками подавала на стожок сено. На жарком июльском солнце клевер пересох, труха облаком стояла в воздухе, и потому сено торопились сметать, чтобы не прибыл какой-нибудь надсмотрщик из района и не выявил среди колхозных оборванцев врагов народа, умышленно подгребающих клевер на самый солнцепёк. Уже сметали три стожка, завели четвёртый, уже удалая мастерица по раскладке сена на стожке Утька Налобина, култыхаясь от картошки, свалившейся после обеда куда-то в один угол её просторного брюха, топ-

талась на самой середине, набивая под ноги хрусткий и колкий, как кострика, клевер, уже сёстры Настя и Тайка Кизякины подтащили на носилках последнюю копёшку с самого дальнего солнцепёка, как в поле поднялась пыльная вьюга и все увидели пару вороных коней, тарантас и кучу в тарантасе со смутными очертаниями человеческой фигуры.

Колхозники у стожка ахнули, замерли, а Утька Налобина покачнулась на верхотуре, картошка в её брюхе переехала с места на место, и она упала на левый бок.

– За кем-то едут! – раздался смертный голос, и все почему-то посмотрели на сестёр Кизякиных, прибывших в колхоз из Смоленской области и успевших повидать немцев в живом виде.

– Ну и какие они? – спрашивали сестёр в колхозе.

– Да никакие. Люди как люди, – отвечали сёстры.

– Кровь, поди, пьют?

– Нет, воду.

– А лопают-то чо? Младенцев, поди?

– Шоколад.

– А это чо такое?

– Плитки такие. Сладенькие.

И Тайка Кизякина рассказала, как немец ел сладенькую плитку, потом отломил кусочек и дал попробовать ей. За сладенькую плитку сестёр и услали подальше от линии фронта – в сибирский колхоз, где уже побеседовали с ними о натуральном виде немецких захватчиков и о кусочке, который попробовала Тайка... Теперь сёстры отвечали коротко и ясно.

– Ну и какие немцы? – спрашивали их.

– Звери.

– Молоко, поди-ко, наше лакают?

– Кровь!

– А жрут? Мясо да яйца?

– Младенцев!..

– А говорят, шоколад...

– Шоколад! Как же! – встревала немедленно Тайка. – Дал

мне один немец шоколадки с целью моего отравления, так я тут же выхаркнула, гордо подумав: «Пусть он лучше бомбой разорвётся в моём рту, чем я съем его!».

– Работать надо! Работать, товарищи! – разом заорали сёстры, схватили вилы и с лозунгом «Забьём ещё один гвоздь в гроб фашизма!» принялись бросать сено на стог, где барахталась Утька.

Тарантас неумолимо приближался, золотыми огоньками загорелась сбруя на вороных рысаках, а кучей оказался мохнорылый товарищ в кожанке. Он сидел на передке тарантаса и правил лошаадьми, а позади, спрятавшись в его тень от солнцепёка, трясся постный товарищ.

Увидев его, Полина провозгласила народу:

– Дышите свободнее! Это за мной!

Тарантас скатился в ложину, кони, танцуя краковяк, мягко ступили на кошенину и подкатили к стожку.

– Здравствуйте, товарищи колхозники! – рывкнул мохнорылый товарищ.

– Здравствуйте, товарищи защитники! – дружно проревели оборванцы.

– Работаем?

– Работаем!!!

– Во имя труда на земле – смерть фашизму!

– Смерть фашизму!

– Сме-ерть!..

– Смерть!..

– Чтоб он лопнул бы окаянный!..

– Навязался на нас, вшивец!

– Молодцы! – похвалил постный товарищ. – А теперь доложите мне, где тут скрывается уклонщица от налога Полина Посконина?

– А я и не скрываюсь! – немедленно отозвалась Полина и выступила вперёд. – Я – вот она!..

– Поедем в контору, – сказал товарищ. – Сворыкин, подвинься! Садись, Посконина, рядом с товарищем Сворыкиным!

Полина воткнула в землю вилы и села на передок, возвысившись с одной стороны, потому что передок был сильно принижен товарищем Сворыкиным с другой стороны. Кони понесли вдаль, поднимая пыль и топая копытами.

– Ты почему, Поскониная, нас отрываешь от работы? – спросил из тарантаса постный товарищ.

– Это вы отрываете меня от работы. А я вас несколько никуда не отрываю, – ответила Полина.

– Как же не отрываете? – возмутился постный товарищ. – Война идёт. Каждый трудовой час – могила для Гитлера. А мы должны терять трудовые часы и ездить в поисках тебя по территории.

«Каждый час – могила для Гитлера, – размышляла между тем Полина. – Это уж сколько для него могил-то накопано! Вся страна в могилах. Это на сколько частей надо делить Гитлера, чтоб закопать его во все могилы?»

– Почему по сю пору налог не уплатила? – спросил товарищ.

– Денег нету.

– Надо достать деньги и уплатить налог.

– Где их достанешь, если их нет?

– Как же их нет, если они есть. Я вот, например, получаю аккуратную зарплату. И Сворыкин получает. Есть деньги на свете, Сворыкин?

– Хлл-лл! – булькнул горлом Сворыкин.

– Деньги есть у каждого, кто работает, – продолжал постный товарищ.

– Мы тоже работаем, а денег нет, – сказала Полина.

– Хл-л! – снова булькнул Сворыкин.

– Вы работаете для себя, а мы работаем для государства, – поправил её товарищ. – Есть разница?

– Мы работаем для колхоза, – поправила и Полина.

– А колхоз – это вы и есть! – уточнил постный товарищ.

«Мы колхоз, а вы государство. Тогда зачем вяжетесь к колхозу и обдираете его? Живите со своим государством без

колхозной сметаны», – подумала Полина и дальше разговаривать не стала, решительно отделив себя от государства.

Приехали в контору, то есть в бывшую церковь, на стенах которой уже не было тараканов в немецких касках, а были карикатуры на Гитлера, выполненные чернильным карандашом прямо по извёстке: Гитлер-головастик, Гитлер-заяц косой с советской морковкой в зубах, Гитлер-толстобрюхий буржуй, Гитлер-косоглазый, Гитлер-косоухий, Гитлер убегает от советского танка со звездой, Гитлера берёт в плен Арина Родионовна. Поскольку никто не видывал, как выглядит Арина Родионовна, нарисовали её с партизанской чёлкой на лбу и с наганом в руке. На руке почему-то четыре пальца...

Постный товарищ сел за стол, выложил бумаги, тоже достал наган и положил его рядом с бумагами.

– Так почему, Посконина, налог не платим за фруктовый сад? – спросил он, одним глазом глядя Полине в лоб, другим на Гитлера с морковкой, и только сейчас Полина заметила, что он тоже косой, как Гитлер.

– Денег нету, – ответила она.

– У всех деньги есть, у тебя нет...

– И у всех нету.

– Зато у всех и сада нет.

– И у меня нет.

– Врёшь! – стукнул наганом по столу постный товарищ. – По закону ты обязана платить за фруктовую поросль в твоей усадьбе! Люди вон за малину платят налоги. А кто не хочет, вырубает её к е...не матери! Мы с фашизмом кровь льём – не до сладостей! Люди на фронтах гибнут, а мы будем малину да всякий фрукт разжёвывать. Так, по-твоему? Бойцы в окопах вон сухари грызут, а мы малину будем посасывать, как мещанское сословие... За агитацию мещанского образа жизни в военное время знаешь, что полагается? Рас-стрел-лл!..

И постный товарищ для убедительности снова пристукнул наганом, да так громко, что Полина съежилась и стала похожа на чёрный сучок, хоть мажь лаком и ставь на широ-

кий стол под красным матерьялом рядом с наганом. «Знаю, что расстрел», – хотела промолвить она, но не промолвила. Лишь по той причине, что сейчас жизнь её вроде преобразилась в древесный скрюченный сучок. Значит, казнь для неё уже свершилась, а второй казни, когда сучок могут сбросить со стола в печку, она не хочет...

В это время совсем близко загремел гром и стёкла в бывшей церкви задребезжали.

– Дождь собираца! – заглянула в дверь техничка Матрёна. – Вона, Зенка-дурочка под софу спряталась. Думает, бонбят...

– Собирайся! – приказал постный товарищ. – В район поедем разбираться с твоим уклоном!.. Сворыкин! Дрыхнешь, что ль?

– Ел!

Когда кони во весь мах вынесли тарантас за деревню, гром грохотал уже над головой, чёрная туча, заслонив половину леса, напознала спереди и молнии полосовали её вкривь и вкось... От Сворыкина, завалившего ягодицами весь передок тарантаса, воняло прокисшей редькой, сквозь щель лопнувшей по шву кожанки трясся красный человеческий жир.

– А наган-то! – обернувшись, крикнула Полина. – Наган-то в конторе оставили!..

Постный товарищ, спеленавший себя плащ-палаткой, схватился за пустую кобуру и посинел от страха.

– Наза-ад! – заорал он Сворыкину. – Наза-ад, п...дюк срачный! Наган забыли!..

– По закону военного времени, знаете, что за потерю нагана полагается? – прокричала Полина.

– Молчать! – рявкнул постный товарищ.

А она продолжила:

– Бойцы под танки с гранатами бросаются, чтоб последний патрон сэкономить, а вы оружие легкомысленно забываете...

– Молчать!

– Не буду молчать, а напишу товарищу Сталину, как вы оружием разбрасываетесь.

– Стой, Сворыкин! Убирайся, на х... отселева!

– Я уберусь! Но если за сад, которого у меня сроду нет, вы не станете требовать налог...

– Пошла ты со своим налогом! Катись отселева! Сворыкин, спихни её к х...ям!

Но Полина уже и без услуги Сворыкина скатилась с передка тарантаса и покатилась в канаву – в кустики и ромашки. А тут ещё налетел дождь и заслонил своей стеною вид на землю, лишь прощально мелькнули башлык постного товарища и мясо Сворыкина.

...В брызгах грязи ворвался постный товарищ в бывшую церковь и сослепу налетел на танк со звездой, гнавший Гитлера по просторам.

– Наган! – забазлал он. – Наган!

– А нету нагана, – ответила техничка Матрёна, шлёпая мокрой тряпкой по полу.

– Как нет нагана! – забазлал постный товарищ громче. – Тут был наган и нету!..

– Дак Зенка-дурочка в туалет выбросила. У ей немцы мать с отцом на глазах расстреляли, вот она и боится всякого оружия. Избавляца от его...

– Сворыкин!

Наган ушёл на дно. Сворыкин разворотил уборную по дощечкам. Потом вычерпывали содержимое ведром. Наган обнаружили и долго мыли в бочке с водой, под дождём и громом. Потом его купали в реке, где купались Сворыкин с постным товарищем. Потом купали коней и снова купали наган. Потом сушились под солнцем вместе с наганом. Потом поехали.

Глава четырнадцатая

Полина попала головой прямо в воду и, всхлипывая и икая, вдруг поняла, что сила и правда на этом свете одна –

зло. Доброго человека топчут и размазывают по стенке, а злой топчет сам. Добрый пронюнит всю жизнь, а злой будет ездить на белой лошадке, жить в светлице с окнами в сад. В настоящий сад. И никакого налога платить не станет, потому что он – злой. Да со злым и связываться никто не захочет. Дерут шкуру и тычут мордой в говно человека добренького, нюню.

«А кто нас нюнями делает? Поиск правды. Правды же нет. Значит, мы ищем пустое место. Пятый угол, как у звезды Солломона. С одной стороны звезды можно увидеть человека, а если звезду перевернуть, то увидишь козла. Или дьявола. Это ещё Паруня говорила, чертила на земле звезду и показывала, как на уроке геометрии. Паруня много знала, потому что много ходила по земле...»

Полина залилась слезами и, со злости уцепившись за какой-то жидкий кустик, ещё раз утвердившись в правоте своего открытия, что правда на свете – сила и зло, вырвала кустик вместе с грязью. Потом она шла домой и тащила кустик по земле, совершенно забыв о нём, пока не кончился дождь и луч солнца не прокатился огненной волной по равнине. И тут она увидела, что тащит талинку. Хилую, зелёную, с чередой длинных атласных листочков. Похожую на пальму в руке Пресвятой Богородицы при её вхождении в иерусалимский храм.

Талинка... Детка талового куста, чернотала, краснотала. На черноталовом кусту вербочки начинают сверкать ко дню Благовещенья. Про них есть в народе загадка – белые овечки бегут по свечке. Сейчас загадками-то совсем не говорят. Боятся. Она однажды загадала, а Тимка Жук с восторгом ответил – партизаны. Конюх, дядька Пафнут с выбитым на фронте глазом и оторванным ухом, сурово осадил Тимку: «Партизаны – бойцы атеистического склада. Они по свечкам не бегают. А бегают партизанскими тропами с пулемётами в руках и берут немецкие комендатуры. Это немцы по свечкам бегают. Потому что воспитание их складено из религиозного дурмана».

На Пафнута послали документ куда следует, где обсказывалось о жизни Пафнута и ставились под сомнение его глаз и ухо. Красной нитью присутствовала теория, что ухо Пафнут оторвал себе сам, а глазом наткнулся на сучок, когда убежал от немцев. Но главное его вредительство в том, что немцев он зачислил в ранг святого сословия. (См. бегут по свечке!) Это ведь прямиком в рай! За что? За фашистские зверства! «Надо к Пафнуту приглядеться и изъять его из общественной жизни». Пафнута не изъяли, установив, что глаз его не выткнут сучком, а выбит пулей. «Под огонь своих попали», – опять брякнул Пафнут. «Свои войска не могут стрелять по глазам своих же войск!» – как следует внушили Пафнуту и на всякий случай оторвали второе ухо. Теперь Пафнут шьёт хомуты и загадок больше не разгадывает. «Язык мой – враг мой!» – лишь однажды вздохнул он наедине с мышами. Однако назавтра к нему явился товарищ в кожанке и сделал внушение: «Если язык является нашим врагом, то каким манером мы будем призывать к защите Родины!». – «А чо призывать? Воевать надо!» – подумал Пафнут, но смолчал. Теперь он не говорит вообще. Замолчал. Навсегда.

И тут же её печальная жизнь озарилась гениальной догадкой.

– Магушка ты моя сердешная! – радостно заревела Полина и прижала талинку к сердцу. Да ведь талинка и прочие другие талинки и кустики спрячут её туманное деревцо от всякого бдительного догляда. Потому что они растут быстрее и нахальнее.

Всю ночь она таскала от реки ивовые прутики, выдирая их вместе с илом. И к утру засадила весь угол огорода. Потом привела активистов Тюньку-Шиму и Алёшу-кемсика. Активисты ходили по огороду, переписывали сорняки, щупали ивовые тычинки, нюхали, писали, что грушами не пахнет... И сочинили документ, что фруктов в огороде товарищ Поскониной не произрастает, а произрастает картошка. Но это – корнеплодовое дерево...

Ночью Полина спала на аржаной соломе под овчиной. В окне польхали зарницы, в подполе причитал домовый. Он сидел на завалинке и сильно тосковал о бывшем своём хозяине кулаке Ермоше. Полине казалось, что плачет горлышко от бутылки.

«Плотники, когда рубили дом, горлышко от бутылки в потайной паз вставили. Чтоб чудился плач, будто домовый поёт. А всё оттого, что кулак Ермоша не допьяна напоил плотников», – думала она сквозь сон.

Глава пятнадцатая

Звероватая осень принохивалась к Елабуге. В берёзовой роще иссякла зелень, растаял призрак черёмухи. К исходу лета отломили верхний сук – сорный и заржавленный, он стоял, упершись верхушкой в землю, неприглядно оголив изнанку обезображенной древесины.

На центральной улице чахли ноготки. С началом войны о них забыли, они выживали по-своему, пробиваясь сквозь толщу сорняков, уже раскисших и похожих на грязь после первых заморозков.

Уродства жизни, на которые теперь грубо натолкнулась Марина Ивановна, выступали из всех своих углов, и где они выступали, была грязь, грязь... Будто обмазанный чёрным тестом проехал мужик на телеге, что-то провёз, кажется, брёвна, похожие на обрубки тел. Очередь у лабаза растекалась размазнёй. Что-то давали, наверное, съедобное, потому что люди орали особенно алчно, толпясь несколько часов в нетерпении, чтобы, наконец, унести домой и съесть. Даже не глядя, Марина Ивановна знала, что дают грязь, хлябь, первооснову мира. И от того, сколько потребуется времени для эволюции, чтобы этот щёлочно-серый недovesок воплотить в благоразумное существо, у неё помутилось в глазах.

Увидев её, очередь застыла, словно скатилась на полнос... Она прошла по другой стороне улицы и всё равно услышала:

- Белогвардейка!..
- Самим жрать нечего, ещё белогвардейцев корми...
- Кто она такая? Откуда?
- Из Чистополя. Писарша какая-то...
- Эй ты! Белогвардейская харя! У-у-у!..

Марина Ивановна свернула на другую улицу и по грязному тротуару с налипшими жёлтыми листьями берёз направилась к окраине Елабуги, в золотистый лесок. Рубчатые готические вершины ёлок чернели вблизи, с коромыслом тяжеловесных ягод пробивалась навстречу пламенная рябина.

Марина Ивановна села на кривой берёзовый ствол и закурила папиросу, безразлично глядя на березняк и ёлки, уже освободив себя от совсем недавнего страстного жизнелюбия, переохладив клокочущую, вулканическую страсть слова, которая кипела и пылала в ней, из косной неразберихи собирала образ, она сама довершала его, возводила на высоту, взбивала руном, оно серебрилось в бойницах горних её строений, и аргонавты, мореплаватели сверяли по нему свой путь...

*За этот ад,
За этот бред
Пошли мне сад
На старость лет...*

Сад, елабужский перелесок, сад, с которого содрали покровы, немощный и захудалый от малокровия, которому недодали в существовании облома, каскада летнего ливня. Какое дерево идёт на гильотину? Дереву, как и человеку, предписано на роду быть или опорой в храме, или столбом гильотины. Дом мой – гроб мой. В нём мрачно, как в душе, как в России. Ни зазора, ни просвета. Богом начертано было иное... Расписанное Богом выбросили в мусорный ящик. Материя упразднится, галактики свернутся, всё возвратится в исходную точку. После очередного Большого Взрыва всё

повторится, но в повторе произойдут отклонения. Господь внесёт поправки красным карандашом в судьбы двух престелстных венских детей – Моцарта и Марии-Антуанэтты. Игра на клавесине в четыре руки... «За этот ад пошли мне сад!» Музыка Марии-Антуанэтты!.. Овации, приливом покачнувшие Аполлона и его четвёрку лошадей на фронтоне Большого театра.

Её везли на казнь со связанными руками, в крылатом чепце. В чепце молочницы, в котором она раздавала молоко нищим в окрестностях Трианона, надеясь быть неузнанной, но все знали, что она – королева. Издѣвка Конвента как раз и состояла в том, чтобы надеть на её голову чепец молочницы.

Сходя с парохода в Казани, Марина Ивановна почувствовала, как дрогнули её колена. Невидимое елабужское чудо-вище подставило ей подножку. Она споткнулась... Так же споткнулась Мария-Антуанэтта, выходя из зала суда, где её приговорили к смерти. Дрогнули ли её колена, когда она поднималась на эшафот?

Марина Ивановна спускалась. Мария-Антуанэтта поднималась. По одной и той же лестнице. Для одной – принявшей образ пароходных сходней, для другой – ступеней на эшафот. Что-то Бог перепутал или намеренно позабавился в своих черновиках. Вот в чём причина – в черновиках! Забытых на Земле, в пыльной глухой кладовке Земли. Спешил достраивать другую галактику, излюбленную свою, перепи-санную набело четырнадцать, нет, восемнадцать раз!

Три судьбы, три одинаковых возраста. Почти одинаковых – Марина Ивановна постарше. Три неизвестных могилы... «Третья будет моя, неизвестная».

Черновая слякоть России, черновой хлам, пустырь, околица, околесица. Ку-ро-ле-си-ца. Слепок курослепа. Слеплюсь сослепу в грязь. Сопьюсь сослепу... Осыплюсь осыпью. Осяду в остья. В острые осколки астероида. Останусь! Усохшим устьем Камы – кому? Комом Камы – кому? Кайманы

в Каме... Карман пуст. Пусть! Кайман в кармане... Хамы! Хм!.. Не храмы, а хамы.

Странно смотрел Борис, куда-то вбок, косил, смотрел так, будто виноватый, а поскольку виноватым себя не чувствовал, то играл в вину, складывал из неё поэму. Достать чернил и плакать!.. Играть в лейтенанта Шмидта. В Баумана. Ивайловский и слышать не хотел о Баумане! Рейнер так бы не смотрел, он не умел смотреть вбок. Ангел не борется с теми, кто смотрит вбок. Иаков только однажды боролся с ангелом. Рейнер – каждый день. Ангел тоже носил вмятину, полученную при борьбе. Хромал? Это Люцифер хромал. А ангел? Да, хромал. На правую ногу. Люцифер хромал на левую ногу. Ангел, боровшийся с Рейнером, хромал на правую. Борис... Борис не боролся. Борис служил. Он не боролся даже со Словом, он прислуживал Слову. Достать чернил и... Он плакал чернилами и чувствовал свою вину, что плакал чернилами. Чернил чернилами. Кого? Чернил Лермонтов. Убийцу Пушкина. Борис не чернил. Борис белил, забеливал. Он будет белиль Запад, и там его белил услышат запах. Это так похоже на стихи к Чехии. К маленькой, не-чле-но-раз-дель-но говорящей перед Гитлером-Голиафом Чехии... Запад – это даже не Европа. Это заокеан. Законный. Узаконенно-законный за океаном...

Но вот что до жути казалось странным, странным и страшным – её словно изгоняло из слов, они впервые как будто не нуждались в ней, становились самостоятельными, неуправляемо-хаотичными, и весь мир, который она носила в себе, отстранялся, заслонялся, отходил от неё, оставлял в грязи, в сорном наплыве полноводной реки, её тащило, сносило куда-то течением, чёрной волной Волги... Или Стикса?

«Я лишняя. Есть дети человечества. Есть сироты его. Я сирота!»

Перелесок становился мутным, уже не золотым, а жёлтым. С рябин капала кровь. Они держали связки кровавого

мяса. Через них в глубокий тыл Бог посылал образ фронта сорок первого года. Что-то будет с Москвой... Всё страшное, что могло быть, уже случилось. Царская, барская Москва, тоска. Когда это было? Было ли? Было. Отбило печень. Душу. Сердце. Значит, уже ничего не было. Убиенные, убелённые лебединым станом. Обескровленная, бесплотная, бесприютная – это я. От глада, от гада. От потерянного града. От Иерусалима ли, Москвы ли... Чистополь-Чистополь. Чистилище,местилище, узилище.

Лохмы перелеска шевелились на скалистом обрыве Стикса, безголовый урод, ощерив рот, сверкал поддельной фиксой. И не было никакого Харона. Надо решаться одной, вплавь через полярную воду, в полярную ночь, через полюс – в тот сад. Такой мне сад на старость лет... Тот сад? А может быть – тот свет?

Да и не Стикс это вовсе. Стикс – возвышенно, из мифологии. А это – болото. Чаруса, трясина. Заглотит, удавит, обхватит за шею. Россия, чаруса, топь, бездна, прорва, ад...

Гордый орлиный профиль гожд для золотой монеты. Это было так начертано Богом, явившим его над Россией и отдёгнувшим руки, потому что ожёгся. Перечеканил, передержал. Я не из пены. Я из плена. Нетленна!.. Я – из Вселенной. Сюда, в болото, в Коми – комом. В Каму – канула...

Пречёрная, пречистая ель. Из какого дерева был тот клавесин? Из какого дерева была та гильотина? Из сосны Булонского леса или из сада Тюильри? Антуанэтта... Марина Ивановна называла её через «э-э», отдающееся эхом, нотой, голосом, тишиной Трианона. «Антуанэтта!» – повторял за нею весь стиль рококо, уже погружённый на дно. Ещё слышалось его дуденье в раковину, гуд Тритона из-под толщи океана, времени – э-э-э!.. В Вандее, на берегу моря, похожем на пожар от красных парусов рыбацких лодок, Марина Ивановна слышала этот зов.

В письме к Натали Барни она писала той – единственной, которой не хватало сейчас с её мужеством, силой, в жёлтом

перелеске, на тоскливой земле. Натали Барни была, как вуаль, через которую светилась та – единственная. Во дворце Марии-Терезии за клавесином два прекрасных белокурых ребёнка, две головы, как два сада, две ветви, предназначенные для Ноева ковчега, что берег есть, берег с клавесином, моцартианой и той мелодией, написанной Марией-Антуанэтой, от которой заходило сердце. Это расписание двух судеб, составленное Мариной Ивановной. Бог ошибся, забыл. Человек исправляет ошибки Бога, помнит поэт.

Они встретились, обе живые, они задели друг друга плечами, локтями. Одна поднималась в рай, другая сходила в Аид. Одна упала в котёл преисподней, другая ушла в небо через ворота гильотины. Обе оставили мир, ибо мир слеплен из грязи. Из грязи и гниения, из червей, пожирающих плоть. Биологический мир, слякоть, тлен. Но какое дело душе до него!..

«Господи! Если Ты отступился от помазанницы Твоей, то кто поверит, что Ты не отступишься от других, пусть и созданных по образу Твоему. Или они созданы не по Твоей воле, без Твоего спроса. Не из пены, не из праха Ты выдул меня, из Слова, потому что вначале было Слово. А пену я уже сотворила потом. Она всегда была чёрной пеной Стикса, лишь отсвет пустой страницы отбеливал её. Озарял, и она, как метель, веяла, запорошив виски. О, это потом, потом, в начале третьего тысячелетия переврут мой образ на обложке книги моих стихов с бумагой, отзывающейся колокольным гулом, переврут красиво и неприступно, окровавив мой образ, заключив меня в красный угол загробного мира. Я выйду оттуда – не я, не узнаю себя отсюда – из елабужского перелеска, из голода, с одним рублём, истасканностью своею по многим-многим рукам, похожим на ветошь, по длине – на портянку... Я сама себя переписала набело на аспидной доске».

...Штырь этот всегда ей бросался в глаза. Возможно, на него вешали хомуты. С первого раза, едва переступив порог,

она увидела именно его. Петля – ведь это замкнутый круг. Кошмар вечности. Выход из него есть через крест, через смерть по-христиански. «Но я уделила себя замкнутому кругу... бесконечности... вечности...»

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая

Уже после войны мохнатой августовской ночью Полине кто-то постучал в окно. Она проснулась и вышла на крылечко, испуганно слушая движение росы в воздухе.

– Кто там?

– Я, – ответил мужской голос. Чёрная фигура отвалилась от окошка и двинулась к ней.

– Кто ты? – спросила она.

– Я.

Она ждала его, ещё ничего не зная о нём, храня сладкий страх для него в своём сердце. Он листопадом крался по её следу, когда осины горели в сумраке печального вечера. Весной цвела черёмуха, и ей становилось жалко весны, не одухотворённой её любовью...

– Чего тебе? Я живу одна... Нищая, – сказала Полина. – Ты пришёл откуда-то. Я не знаю тебя.

– Я – Колька Семенихин. Не узнала? Пусти ночевать!

– Колька! – громко воскликнула Полина от великого разочарования. – А говорили, что ты убитый...

– Убитый, да воскресший, – сказал Колька, шумно продвигаясь в дом мимо неё.

Полина зажгла лампу и начала смотреть на него. Колька сидел, задымлённый щетиною по всему лицу, в грязном ватнике, и злобно тоже смотрел на неё.

– Ну, и как там, на войне-то? – спросила опять Полина, тоскливо чувствуя в себе, что вместе со страхом перед мужской загадкой уходит и нежность к земной юдоли.

– Ты откуда будешь-то? – продолжала спрашивать она, в который раз поняв одно и то же, что самый жестокий обман на свете – это жизнь человека и если есть в ней какая-то ра-

дось, так это то, что об этой жизни придумал сам человек. Но больше всего он придумал плохого.

«Я загадку в Кольке разгадала ещё в полях. Он всегда хотел жрать», – подумала Полина.

– Ниоткуда, – ответил Николай и принялся снимать сапоги.

– Ниоткуда бывают только дети, – заметила она.

– Ты-то одна живёшь? – спросил он.

– Один живёт только Бог. А я живу с колхозниками.

– Пожрать дай что-нибудь...

– А немцы-то тебя не накормили?

– Накормили. Тухлой кониной и человечиной. Меня кормили и сами ели.

– А мы и того не видели, – сказала Полина и достала из печки картошку в воде. – Ешь!

Николай съел картошку и сказал:

– Давай жить вместе.

Полина подумала, чувствуя, как заходила в ней заполошная варнацкая кровь, и обречённо вздохнула:

– Давай...

Ночью ей приснилась Паруня. Она легла между ними и посоветовала: «Читай свою жизнь, как книжку, которая написана ещё до твоего рождения. И, читая, ты забудешь себя».

«Зачем мне это забывать?» – спросила Полина.

«Потому что в забвении весь смысл», – ответила Паруня, встала и, наступив на Кольку, вылетела в окно.

– Ты помнишь Паруню? – спросила его утром Полина.

– Это дурочку-то? – хмуро буркнул он, натягивая сапоги.

– Она не дурочка! – обиделась Полина.

– Самая натуральная дурочка. Всё ходила по деревьям с корзинкой и палкой. Палкой от собак отбивалась, а в корзинке носила сушёных лягушек. Не поймёшь, кто и была – то ли монашка, то ли блядь. И робить не хотела. Как на работу послали, так и задавилась. Говорят, неделю вешалась, пока мясо на ней не прокисло...

– Давай разойдёмся! – сурово сказала Полина, сняла с гвоздя грязный ватник и шмякнула его под ноги Кольке.

– Ты тоже дура, – разозлился он, подбирая ватник. – Тебе бы с твоей бабьей скоростью давно пора занять мужика с золотыми погонами, он бы тебя за это на божнице держал. Ведь мы, мужики, баб и любим за то, что они дают нам по одиннадцать раз за ночь...

Он не договорил, потому что Полина плеснула в него кипятком из чугунки.

– Надо же, сосчитал! А я и не помню, – сказала она, когда Колька с визгом и матерками выскочил во двор.

Вечером он пришёл к ней и принёс сало и калач.

– Я люблю тебя, потому что весь день ждал, когда наступит ночь, – сказал он, раздвигая ей колени.

Ожог от кипятка на его лице, смазанный жиром, лоснился и сверкал, как лаковый. Сквозь щетину виднелась пороховая пыль, ввевшаяся в подбородок.

Ночью Полина осторожно спросила:

– А где калач взял?

– Катька дала. Я ей огурцы помог в кладовку стаскать, – равнодушно ответил Колька, глядя на зелёную звезду в чёрном окне и мрачно думая о чём-то своём.

«А я ведь теперь без него и не проживу, – думала Полина и тоже глядела на его острые скулы, посеребрённые светом ночи. – Присушил он меня чем-то, а чем – стыдно сознаться...»

Через месяц, когда в поле рвали лён, Полина нашла его в суслоне с кладовщицей Катькой Бахлаевой. Оглушённые своими вскриками и стенаниями, они не услышали её шагов, и она долго смотрела, как Колька вилял голым задом на Катьке, обнявшей его за шею полными белыми ногами в сыромятных обутках. Насмотревшись, Полина ударила его ногой в таком же обутке в голый, дрожащий и мокрый бок и побежала к лесу, стыдясь багряных осин и золотого неба. Сознание её не работало, след по краю болота плёлся за ней криво и пьяно...

Всю ночь, запершись в бане и разведя печную сажу в пузырьке из-под чернил, которые продавались ещё в царское время, при сосновой лучине Полина писала заявление в НКВД. В сочинении говорилось, что её земляк Семенихин Николай Михайлович ещё накануне войны брал у неё уроки немецкого языка, готовясь за пайку хлеба служить фашистским захватчиком. И вот после окончания войны прошло уж пять лет, как вдруг Семенихин явился к ней, не имея при себе ни медалей, ни орденов, ни знаков различия и тем более ни похоронного листа, регистрирующего его убийство, потому что в деревне Семенихина считали убитым. И потому она, колхозница Полина Посконина, просит органы НКВД разобраться с туманной личностью гражданина Семенихина, принёсшего на своём подбородке лишь одну пороховую пыль, а пыль эта, может быть, и от советского пороха, когда гражданин Семенихин через разрывы гранат убежал в немецкие окопы.

Она просушила листок над лучиной, сложила его вчетверо, торжественно переломив серую корявую бумагу, и утром понесла в районный центр, в органы НКВД.

Уже показались высокие тополя в посёлке, и татарским минаретом в красной кирпичной кладке торчала водонапорная башня, и залихватски кричал паровоз, со свистом и фуканьем толкая вагоны к элеватору, как вдруг полоса весёлого летнего ливня перегородила ей дорогу... Она сбежала под мосток, переброшенный через лесной ручей, подождала, когда кончится дождь, и полезла в карман. Вместо письма там лежал сырой комок бумаги, замаранный сажей, облепившими карман опилками и охвостьем, и, держа его в руке, Полина подумала, что это одна из страниц книги о ней, написанной ещё до её рождения...

«И слава Богу, что её никто не прочитал, кроме меня самой, – дождь помешал...»

Удивлённо глядя на малиновый восток, на ясные леса, на поля, в которых быстрым сверлом сиял и бурлил только что

пролетевший дождь, она гадала: «Дождь... Откуда дождь? И иней утром был, и синицы в окошко не стучали, и загнетка горела жарко. Что за дождь? Откуда он?».

Явившийся счастливой метелицей в осеннее сонное утро, он улетал и мелькал опереньем...

По дороге домой её догнал керосинщик из Глухарёво Вася Гачихин.

– Садись, Польшка! – весело крикнул он, остановив лошадей и подвигаясь на промасленном передке фургона. – Откуда в такую рань хлещешь?

– Со станции, – нехотя ответила Полина и, поднявшись по грязному и тоже промасленному колесу, села рядом с Васей на керосиновое пятно.

Вася пошевелил вожжами и спросил:

– Всё фруктами торгуешь?

– Какими фруктами?

– Как какими? У тебя же сад! Фрукты растут. Яблоки, груши, кышмыш!..

Вася издевался над нею. И не только Вася, многие. Зная, что никакого фруктового сада у неё нет и в этих местах быть не может, смеялись и язвили с особым старанием.

– Смотри, как бы Колька по пьянке не вырубил твои яблоки и груши, – весело продолжал Вася и, подмигнув ей, спел:

*А па-ад а-акном кудрявую ре-ебину
Отец срубил по пьянке на дрова-а-а!..*

– А я, что, не баба? У меня, что, Кольки не должно быть? – со злобой спросила Полина, слушая за спиной, под самым ухом масляное шлёпанье горячего в железных бочках, которое вёз Вася Гачихин в свой колхоз-развалюху.

Она тайком, будто бы стараясь согреть руку, полезла за пазуху, где у неё вместе с пятирублёвкой был спрятан драгоценный коробок спичек. Коробок был цел и сух, и она так

же медленно и украдкой потянула его, схоронив в кулаке и будто бы глядя на Васю и слушая его, а на самом деле следя за керосиновым кляпом, воткнутым в железное днище одной из бочек. Она уже зорко наметила, к какому самому жирному его лоскуту легко и быстро поднести горящую спичку, чтоб пламя взвыло и бухнуло единым рывком, чтоб люди, прибежавшие сюда, не нашли даже ключьев ни её, ни Васи...

Огненно-свекольный, несказанного узора пылавший на солнце в переливчатых дождевых каплях калиновый куст вдруг бросился ей в глаза, и она, открыв рот, забыла, о чём только что думала и говорила... Караковые кони лёгкой рысцой везли фургон с бочками горючего, звенели и пели колёса, натываясь на корни берёз, и сами берёзы золотисто сквозили на светлом небе, и Вася Гачихин что-то плёл глупое, непристойное, запрокидывая лохматую башку и закатываясь хохотом на весь лес, а она всё смотрела на куст калины, в который раз счастливо убеждая себя, что в этом мире, кроме вони и похоти, есть нечто иное, которое выше и этого мира, и, может быть, многих миров с налипшей плесенью материальной жизни, с её назьмом и ложью из-за назьма.

И как жалок тот, кто стремится занять собой всё, что выше и его, и этого мира. Можно трактором, плугом, танком, железом невиданной мощи снести, смести этот куст, можно выжечь его корень и отравить глубинную жилу воды, питавшую его, но что-то открывшееся в тебе до неистребимости, ненасытности духовного взлёта, счастья ушло, ушло, пусть даже от умершего тебя, истлевшего и ставшего таким же назьмом, тленом, ушло, отлетело, никем никогда не пойманым вечным пламенем своим освещая такую же вечную ночь!..

Господи! Не пайка хлеба, не жалкая обезьянья любовь Кольки Семенихина, не постыдные доносы на него или кого другого, не жёлтенькие, розовенькие, синенькие квитанции на налог правят миром... Миром правит вечность! И если её луч, посланный ею, коснулся и тебя и в него попало, воспа-

менилось всё, то вечность отметила и тебя, и всё, увиденное в её луче тобою!..

У развилки Полина слезла с фургона и молча, не сказав Васе ни слова, пошла прямо в поле, где молотили хлеб. Весь день, то подавая вилами снопы в барабан молотилки, то хлебная похлёбка с остывающим прямо на губах скотским жиром, то валясь в душистую солому для малой передышки, она как бы со стороны, свысока, отстраняясь, в счастливом и желанном своём отступничестве видела мельканье людей и снопов на фоне огненного осеннего неба...

Глава вторая

Тоскливой тёмной ночью, когда душа горюет над нищетой природы, Полину кто-то толкнул изнутри. Она прислушалась, не смея дышать и пошевелиться. Толчок повторился. Кто-то ожил в ней, кто-то отобрал у неё чрево и стал жить в нём, толкаясь и кружась, потому что там темно и тесно, а здесь – небо и звёзды.

«Он родится затем, чтобы уйти с Земли!» – полыхнуло в ней. Она задрожала, затрепетала и схватилась руками за горячий лоб.

Это он! Он будет летать и рассказывать о жизни на Земле, потому что о ней, наверное, никто не знает... Откуда он взялся? Небось, кружил соринкой над полем вместе с богородицыной пряжей и упал в кашу, которую ел дезертир Колька Семенихин. Сколько времени ему пришлось жить внутри Кольки, пока, наконец, яркий поток сладострастия не вынес его!.. Полину вдруг охватил ужас, что его могло бы вынести в другое чрево, и он тогда бы не стал летать, а ездил бы на «колёснике», как его носитель Колька Семенихин.

Полина поднялась, надела телогрейку и вышла на улицу. Звёздная ночь объяла её со всех сторон, и она подумала, что надо чаще ходить под звёздами, приучая к ним своё дитя ещё

в чреве. Тогда он станет жить среди них, как дома. Но ведь и её кто-то занёс сюда! Полина слышала от людей, что родом она из варнаков, из вольницы. А отчего вольница приходит на Землю? Потому что есть люди, которым всегда тут угарно и душно, и земной путь – не их путь.

Ночь проблёскивала, стекала с неё, покалывая холодом, серебрила деревья и крыши. Пустые скворечни на высоких шестах возносились в небо и, открыв рот, что-то слушали там. Дереву, даже мёртвому, дано слышать то, что не дано слышать человеку. Но это тому, кто не летает. Кто летает, слышит всё. И чаще он слышит голоса тех, которые жили до него и которые будут жить потом.

«Он будет летать, чтобы глядеть на нас с неба. На сад!..»

Сад, загулявший буйной зеленью на половине огорода, вдруг остановился, одумался и начал прибирать себя. Куда-то подевались, отошли в сторонку, уступая место благородным деревьям, суетные мелкие тальники. Ветром обломало сухорукость берёз и осинок, шумно заговорили они в певучем согласии с соснами, и стало сладко щемить сердце от одного взгляда на рябинки, словно забытые, горящие по осени давно не ношенным знатным багряным нарядом. Но исчезло деревцо в голубом кружочке своего цветка. Сколько Полина ни искала, найти его так и не смогла. Когда она носила из леса берёзки и сосёнки, оно ещё трепетно жило. И вдруг ушло.

Он взлетит и увидит его!.. Он увидит узорный путь бабочки – чьей-то души, порхающей в разноцветных травах, и соновую шишку, собранную в единое целое, неделимое, увидит её, как купол предначертанного храма, и хитро состроенную корзиночку цветка-горечавки, в которой, может быть, запрятана подсказка устройства Вселенной, и яблони в саду, доверчиво присаженные сбоку, но ещё дикие, колючие, как тёрн, как боярышник, потому что всё дикое – ершисто и щетинисто, чтоб не сразу даваться в руки и не попасть впросак, и тополь, позлащённый наградами, как воин, взявший Берлин, ещё молодой, ещё звенящий, с высокодержавной вершиной в облаках...

Он будет летать, как летала в снах сама Полина и видела лучистые течения больших рек и переливы малых речушек, города, засахаренные снегами, пустыни, в страхе перед которыми она, лесной человек, всегда просыпалась и кричала... Он поднимется выше, чем поднималась она, и сразу увидит всё Чёрное море и Байкал, о котором Полина наслышалась столько былин и небылиц. Забайкальские бродяги, доживающие свой век тайком от советской жизни по чёрным банькам и балаганам, рассказывали, что в Байкал, когда полная луна делает притяжение воды, уходят целые поезда. Машинисты паровозов, помрачённые луной и Байкалом, теряют железную дорогу и едут, как во сне... Вода же в Байкале до того чистая, что видно даже молоточки на пуговках машинистов, погружённых на дно вместе с паровозами.

А если подняться ещё выше, то увидишь и всю Землю, такую же круглую, как мячик, скатанный из коровьей шерсти. А если ещё выше... Он будет летать так далеко, что Земля ему станет казаться соринкой, попавшей в глаз. Он полетит и узнает действие небесного механизма и, вернувшись, предостережёт от какой-нибудь беды, в которую регулярно попадает Земля, обновляясь, меняя людей... Ему за это дадут орден! Он его наденет, и они пройдут по деревне под руку – он в фуражке с золотыми листьями, она – в красном платье до пят. Теперь вот в моду вошли короткие юбчонки... А как они уродуют баб!.. У Нюрки Басарыгиной толстые колени. Она идёт и шевелит ими, как свиной. А у Шурки-Черемных будто спички вставлены. Срам глядеть! Обличьем баская, а ноги кашеевы. Нынче, ежели наденешь долгое платье, то обзовут буржуйкой и продёрнут в стенгазете за искажение лица общественной жизни.

Он будет ле... А в чём он будет летать? Наверное, в особом средстве, не пропускающем воздух чужих планет.

Так, в раздумьях о полётах, Полина выбралась на пустырь и, озябшая от ночного холода, принялась собирать хлам. Потом нашарила в кармане коробок спичек и запалила костёр.

Огонь с пением блеснул в ночи и, распушив хвост, побежал в небо. Лопнул под её пятой сучок, тесно стало смоле в сосновом обрубыше, она собралась на его конце в пузырь, вылилась саламандрой и, вилия змеиным тельцем, стрельнула в норку.

«Ой-ой-ой!» – заголосила молодая ветка.

«Ш-шшш!» – шикнула на неё старая кора.

Ночь цвела, всё шире разворачивая своё полотнище над нищетой природы, костёр слизывал и сглатывал ошмётки темноты, лопотал, разговаривал, и весело перебежали блики по лицу Полины, стараясь показать её перед миром как можно разнообразнее.

В её нутре толкнулось опять. Видно, тот, кто толкался, увидел свет костра через стенки её плоти и расправлял крылышки...

Глава третья

Навалилась свежая эпоха. От её имени в клубе говорил постный товарищ, хотя уже не постный, а, наоборот, отвеивший пузцо над краем штанов и надевший шляпу с учётом требования эпохи.

– Товарищи! – сказал он. – Мы живём на самой широкой местности земного шара, а голодаем, как волки. Хватит нам недоедать и хватит недопивать!

Все захлопали и долго хлопали, потому что шибко понравилось последнее слово из воззвания постного товарища.

– Давайте вывернем наизнанку каждый клочок земли и посеём на нём... королеву!!! Накормим себя, свою скотину и многострадальный народ Африки, проданный в рабство Мобуте и Чомбе. Хватит жить с пустыми кишками, товарищи!

Потом был концерт с танцами некоторых народов. Чтецы, вздрагивая от негодования, клеймили в стихах империализм. После чтецов выступила любимая всем Голым районом ис-

полнительница сатирических куплетов Леонелла Шармацовская.

*– Где-то в пальмовом лесу
Лопал Чомба колбасу! –*

серебряным голоском оповестила она со сцены под гармошку и, переждав наигрыш, пообещала, как от сводки Совинформбюро:

– Этим чомбам кирпичом бы!..

Затем акробаты, по пьянке спутавшие Голый район с Москвой, стали показывать карикатурные изображения из жизни империалистов. В самый разгар показа в клуб ворвался парнишко Федька Урываев и, поддерживая реможные портки, заорал во всю мочь:

– Спу-у-утник лети-и-ит!..

Все бросились бежать из клуба, ломая скамейки и наступая друг на друга. Полина тоже побежала вместе с народом, не сразу определив в небе туманную точку, с зыбким покачиванием плывущую к горизонту.

– Спутник летит! – базлал народ, убегая вперёд за туманной точкой.

– Спутник летит! – орали в поле трактористы, соскакивая с грохочущих механизмов посреди пашни и несясь за спутником.

Лишь техничка Дуня Дурова осталась в клубе одна и начала поднимать сломанные скамейки.

– Вы не допускаете зловредность технического прогресса, который отрывает людей от заслуженного отдыха после коммунистического труда? – спросил её постный товарищ в шляпе.

– Это не зловредность, а кукишка Америке! – ответила Дуня и ткнула кукишем впереди себя:

– Вот нате!..

– Что же кукишем-то по направлению Москвы тычете? – спросил постный товарищ. – Прямо в лицо партии и правительству.

– Я ткнула в воздух, а не в партию, – сказала Дуня. – Пущай знают кровопивцы, что мы тоже не лаптем таперича шти хлебаем!

Постный товарищ подумал, о чём-то соображая, и, сообразив, что Америка – это запад, а Дуня показала кукишкой именно туда, согласился:

– Вы на верном пути, товарищ персонал.

Проводив спутник за горизонт, народ катился досматривать художественную самодеятельность. Опять на сцене выламывались пришлые акробаты и чтецы ставили клеймо на голую задницу империализма. Леонелла Шармацовская зычно начинала:

*– Оборона – наша честь,
Дело всенародное.*

И, маршируя, подняв руки, обращалась к залу:

– А теперь все вместе, товарищи!

И товарищи рывкали:

*– Бомбы атомные есть!
Есть и водородные!*

Глава четвёртая

...Над Южно-Уральским военным округом по направлению Тоцкого полигона шёл самолёт с атомной бомбой на борту. Намечалась генеральная репетиция прорыва условной неприятельской обороны через ядерный взрыв. Сорокатысячное войско, включая танковые и артиллерийские соединения, но главным образом пехотные части, ждало вместе с десятками

тысяч домашних животных – лошадей, коров, овец, свиней, кошек, собак, собранных сюда как подопытный материал, на котором решено было проверить действие взрыва.

Стояла золотая середина сентября. Розовый утренний воздух трепетал над равниной, чудна, зелена была дубрава, созданная ещё по указу Петра, чтобы преграждать доступ губительным суховеям к здешним плодородным почвам.

Новизна предстоящих испытаний вселяла тревогу, однако тревога радовала, подзуживала к действию, которое непременно должно было привести к победной концовке. Интуиция особо чувствительных людей, одетых в военную форму, тоскливо подсказывающая, что скоро наступит не концовка, а конец, в устав не входила и не учитывалась. Она немощно и бескрыло перепархивала по позициям, стараясь предупредить о неминуемом... И лишь одни собаки, посаженные на привязь, чувствуя это, начинали выть.

Не снижаясь с большой высоты, самолёт дошёл до цели. Сброшенная бомба взорвалась в воздухе, в трёхстах пятидесяти метрах над землёй, как и планировалось тактическим расчётом.

Колоссальный шар накалённого малинового цвета, поддерживаемый огненным столбом, начал восходить к небу, по форме своей преобразуясь в гриб и с чудовищной силой всасывая в подножие всё, что находилось внизу...

– В атаку! – разнеслись по позициям команды.

Танковые колонны на всей скорости устремились в «прорыв». Ударная волна перевернула их, как солому, и снесла башни. Человечье мясо тут же оплавилось вместе с бронёй. Сварилась листва на дубах, а ближе к эпицентру взрыва их размело щепой на многие километры.

Лопнули, вытекли глаза у подопытных животных, разметало горящих заживо лошадей и коров, клубились дымом ослепшие, обезумевшие овцы.

Защитные каски пехоты отекали, как растаявший воск, оплыли батареи вместе с боевыми расчётами, стали кляксами пулемёты и автоматы.

Невидимая грязь радиации начала расползаться, как Крабовидная туманность, вселяя в живые организмы канцерогены, лишая людей способности к размножению. А если кто счастливо сумел избежать такой способности, то воспроизводил гибриды, увековеченные Кирюшечкой Тирятиным, живописцем из Назаровской психиатрической лечебницы, что под Рязанью...

Глава пятая

Всех выгнали на подъём целины. И опять выступал постный товарищ:

– Начнём вершить великие дела с этого пустыря! Вскопаем его зябь и засеем, чтоб дать стране миллиард пудов зерна, равняясь на просторы Казахстана! На подвиг, товарищи!

Все принялись копать, и лишь одна Полина усомнилась в подвиге.

– Кто же поднимает зябь, когда летит осенний снег? – спросила она. – К тому же зябью называется вспашка после уборки урожая. А это непонятно что. И опять же копаем не в своё время, потому что семена сорняков осыпались и лежат на земле толстым слоем. Мы сейчас закопаем их, а весной они взойдут и сожгут зелёным пожаром всё, что будет здесь посеяно.

– Я знаю, что вы завербованы ещё Колчаком и постоянно подрываете деятельность советской активности, – строго заметил постный товарищ, нахмутив лоб под каракулевой шапочкой-пирожком, надетой им ввиду летающего снега. – Вы живёте спокойно лишь благодаря разоблачению культа личности. Потому вас пока не трогаем. Но учтите, свобода, как и кинокартина, тоже имеет конец.

– Колчак не мог меня завербовать. Он погиб в Гражданскую войну, а я родилась в коллективизацию. Вы плохо знаете историю, товарищ! – дерзко возразила Полина, пользуясь случаем, что её пока не трогают.

– А я и не собираюсь изучать историю белых врагов. Из-за твёрдых принципов партийной сознательности, – продолжил постный товарищ. – Работайте, Посконина! И не навешивайте государственную измену!

Копали весь день. Перекопали пустырь и начали копать болото. Мужчина, тоже в шапочке-пирожке, представившись агрономом Чирикиным, сился морщить нос так, чтобы он как можно больше походил на нос Никиты Сергеевича Хрущёва, вытаскивал иногда из портфеля школьную линейку и измерял глубину вскопки.

– Тридцать сантиметров! – объявлял он и сильнее морщил нос. – Это очень исключительно. Отвальный пласт плодородного ила даст нам возможность посеять здесь картошку. Картошка уродится самой максимальной эфемерности, то есть рассыпчатости, и разойдётся по детским садам...

Он замолчал и устремил взгляд на дорогу, по которой, шваркая подшитыми пимами, в плюшевой жакетке, с «балеткой» в руке шагала интересная старуха. Народ выпрямился над целиной и тоже устремил взгляд, пока не признал блаженную Федозу – мать передового водовоза Кузьки Аляпина.

Когда-то Федоза участвовала в конфискации добра капиталистов и помещиков. Комитет бедноты, в котором она заседала, перечислял имущество купца Шандарыхина. Сам Шандарыхин вместе с золотыми самоварами, следуя за белой армией, откатился на восточный бок Земли и бросил на произвол судьбы свои подвалы с гарусом и фарфором. Теперь комитет записывал всё в пользу национализации.

Молодая Федозка сидела тут же, шмыркала носом и крутила нечёсаной головой, не переставая глядеть на горы хрустала, серебряные вилки и ложки, на бабьи платья с кружевами и прочее богатство, при виде которого у неё текло изо рта...

Комитетчица Сима Гурьянова подала ей бусы на золотой верёвочке и спросила:

– Ндравятся?

– Ишо как ндравятся! – шмыркнула носом Федозка и зайкала, заахала, надкусила бусинку и чуть не сломала зуб.

– Оне твёрдые, как кирпич! – предупредила Сима и слабенько подморгнула. – Бери, девка! Эти бусы тебя в люди выведут. Только спрячь аккуратно, чтоб злые люди не отобрали.

– Ладно! – обрадовалась Федозка, схватила бусы и пошла домой одна в осеннюю чёрную ночь. Идёт и видит на дороге человека с батогом. Сердце её задрожало, кровь замёрзла от страха.

«Сейчас он меня убьёт и бусы заберёт», – подумала она, разорвала верёвочку и сглотила бусинку за бусинкой, спрятав их в себе самым аккуратным образом.

– Федозка, это ты? – спросил человек, и по голосу она узнала отца родного. – А я пошёл стретить тебя, потому как Прошка, сын прикащыка Антипа Ванихина, прибежал и наказал стретить, потому как ты с бриллиантами идёшь. Что комитет наградил тебя... Где бриллианты-то?

– Каки бриллианты? – остановилась Федозка.

– Каки?.. Бисер-то!.. Где бусы-то, полоротая! Давай их сюды скоряя!.. Это же голимые бриллианты!..

– Дак я их, тятя, сглотила ведь...

– Как сглотила? Кто тебя просил? Придурошная! Айда домой скоряя!..

Отец пригнал Федозку домой, скормил ей горшок кислых щей и заставил тут же опорожниться на ведро. Федозка опорожнилась, но бусы не вышли.

– Простокишей напоить надо и сразу вылетят, как миленькие! – скомандовала мать и споила Федозке полведра простокваши. Федозку продрало, но бусы опять не вышли.

Отец наказал ходить за Федозкой и промывать через сито всё, что будет из неё идти... Шло одно и то же, но бусы где-то прятались.

– К фершалу надо, – сказала мать. – Фершал поймёт. Где кровь свернулась, там и бусы лежат.

Фельдшер прослушал, постучал и ничего не нашёл.

– На что жалуетесь, мамзель? – спросил он.

– На понос, – ответила Федозка. – Понос замаял, потому что тятя с мамой заставляют есть одну простокишу.

Так и прожила она всю жизнь с бриллиантами внутри себя. То, что на них можно было построить дворец да ещё и пятистенки впридачу, тронуло Федозу в уме.

– Ты куда, баушка, пошла на ночь глядя? – спросил агроном Чирикин.

– В Америку! – прокричала Федоза. – Самблее показываться! Показать меня самблее решили!..

– А-а! – протянул Чирикин искомандовал немедленно найти водовоза Кузьку Аляпина, чтоб вернуть мать на место.

Глава шестая

После работы народ погнали кормить рассольником и поить бражкой. В рассольнике плавали солёные огурцы, приправленные коровьим салом. Сало, как всегда, стыло во рту и на ложках и растоплялось снова только в желудке. Зато бражка действовала добросовестно.

Непьющая Полина жевала огурец в сале и грустно думала: «Работаем, работаем, то сеем, то копаем, то косим, а живём всё хуже и хуже. В войну трактористам хоть пайку хлеба давали, а теперь и хлеба нет».

Куда хлеб девался? Колышется пшеница «белотурка», волнуется пшеница «краснотурка», разливаются золотистые моря ржи, цветёт горох от края и до края, а хлеба всё равно нет. Народ ломится к хлебным магазинам, занимая место в очередях с вечера. Знаменитый учитель Пал Палыч Марцинкявичус справлял юбилей в районном ресторане «Звезда над нивой», ему принесли гладиолусы и манку в пакетиках, перевязанных бантиками. Говорят, целый мешок насобирал из

этих пакетиков. Центнер манки. Будет теперь жить-поживать. На юбилее потребляли блюда из макаронных изделий – лапшу, макароны с маргарином, с коровьим салом, макароны с картошкой фри, макароны с крапивой, уху с лапшой, лапшу в тесте... Где-то тесто раздобыли. Сказывали, манку размочили, ещё и блинов напекли, подавали их с коровьим салом. На дверях райкома партии ночью кто-то дохлую кошку на верёвочке вывесил. На кошку, как на партизанку, дощечку надели. И дёгтем написали: «При Ленине родилась, при Сталине крестилась, при Хрущёве от голода на х... задавилась!». Не шибко ищут, кто кошку-то повесил. Все следователи в очередях стоят за хлебом. Народная судья Васса Болбина тоже стоит. За ней прокурор товарищ Скважин томится, потому что мужчина внушительных габаритов. «Ничо, пуцай стоит! – злорадствует народ. – Хлеба-то, наверное, ешелоны сожрал в жизни. Потому такой и внушительный». На каждом ларьке, на каждой сельповской лавке написано объявление: «Хлеба нету!». Вот и сейчас копали, копали, пришли покушать, а покушать нечего. Пьют целинники бражку. Думают, она на хлебе, а она на табаке.

Полина тяжело вздохнула и отодвинула подальше недоёденный рассольник. Её лицо с отпечатком мысли приглянулось агроному Чирикину, и он, ставший бдительным от бражки, тесно придвинулся к ней и спросил:

– О чём думаете, ночная красавица?

– Да вот, – вымолвила Полина, – сею да пашем, а хлеба как не было, так и не будет. Когда-то мне приходилось лягушками питаться. Теперь и лягушек всех перекопали в болоте вместе с костями.

– Хлеб надо вырастить. Это лягушки сами растут, – ответил Чирикин. – А потом вы зря пеняете, что кушали их. Лягушки – самое дефицитное блюдо во Франции. А у них, между прочим, действовал великий Марат – друг народа.

– Вот он и довёл народ-то до лягушек, – сказала Полина.

– Я соблазнился вашим видом, а вы подрываете веру

в Великую французскую революцию! – обиделся Чирикин и отодвинулся от Полины.

На другой день к ней зашёл Колька Семенихин. Он выложил на стол два зелёных дряблых яблочка и сказал:

– Говорят, ты в положении, и, как я мыслю, положение твоё от меня. Рожай, но алименты я платить не буду. От меня по всему району бабы в положениях. Если я стану всем платить алименты, то буду нагишом ходить.

– Что же ты расплодился так? – спросила Полина. – Не мужик, а пороз.

– Потому что я один сюда пришёл с войны. И то пребывал в немецком плену. Я один, а вас много. Думаешь, легко заниматься одному воспроизводством родонаселения в районе...

– Ты был не в плену! Ты воевал у немцев! – ошпарила его гневом Полина, как тогда кипятком из чугунки.

– Я воевал у тех, кто меня кормил! – злобно припечатал Колька.

– Предатель Родины!..

– Родина там, где кормят. Пошла бы на фронт, поняла бы... Ешь вот фрукты для развития положения и не брякай лишнего. Я тебе положение сделал, чтоб ты не умерла в сиротстве, – сказал Колька и вышел навсегда.

Глава седьмая

Вторая ударная армия бродила в кольце окружения. На тридцатый день боец Семенихин обглодал очередную осину и причислил себя к лику святых. Кости его уже давно не совпадали друг с другом. Сердце, подключённое к обескровленной системе, едва дорабатывало последние сутки. Винтовку без патронов он тащил по земле, боясь бросить, зная, что за это будет расстрел. А жить ещё хотелось!..

Он докосмылял до поляны и увидел дым. На кочке под сосной сидел такой же боец и в котелке варил свой ботинок.

– Свинья, – прохрипел он и потыкал ботинок палкой.

– Где свинья? – спросил Семенихин.

– Вот, – сказал боец. – Чистая свиная кожа. Если не мазать ботинки сапожной ваксой, из них при высокой температуре вытопится жир. Я варю уже восьмой ботинок. Все снял с убитых бойцов. Тебя тоже убьют. Так что отдай мне свой ботинок. А обмотки оставь. Слышишь?

Боец поднял голову, прислушался и потянул носом. Где-то далеко слышалась автоматная стрельба, словно бросали горох по железной крыше.

– Это немцы прочёсывают лес, – пояснил боец.

«Мне всё равно», – подумал Семенихин и покосмылял дальше. Протастившись несколько шагов, он остановился, прислонясь к сосне и держа за ремень грязную винтовку. Сонно прислушиваясь к себе, к монотонному звону, исходящему из его существа, он поднял глаза, надеясь что-нибудь съесть на сосне... На уровне его роста сосна была вся обглодана, и дальше тоже все сосны были обглоданы. Они шевелили вершинами и белели мёртвой древесиной, отчего в бору казалось светло. А Семенихин сначала подумал, что это сияет солнце.

Он легко и медленно ополз книзу, увидел на кусту объеденного черничника букашку и решительно принялся ловить её. Букашка елозила по голым веткам, то прятаясь в них, то вздрагивая ртутью, и никак не ловилась, словно какими-то своими хитрыми приборами, встроенными в её существо при сотворении мира, чувствовала приближение хищной руки и знала, что её хотят лишить жизни.

– Стерва! – пробормотал Семенихин. – Жирная стерва.

Он представил, как поймает букашку, положит её в рот и начнёт давить языком, ощущая кислую вязкость, какая ощущается при поедании незрелой брусники. За всё это время в пожирании насекомых он знал, что жуки и тараканы, обитающие в болотах, на вкус сладковаты и отдают тиной, луговые мотыльки и бабочки пресны, их можно сожрать це-

лый мешок, так и не поняв, что сожрал – мешок мотыльков или цветочков. Червяки-землемеры, шагающие по берёзам, берёзами и пахнут. Лучше бы съесть берёзовой коры... Но берёзы тоже обглоданы.

А вот эта стерва выросла среди брусники и черники и для приспособления к жизни налилась кислинкой их ягод. Стерва!

Семенихин поднял руку и стал медленно опускать её и вдруг захватил в горсть всю верхушку куста, урвал его, просвистев сквозь пальцы голыми прутьями... Букашка, однако, исчезла бесследно... Он посидел, облизывая ладонь, жадно принюхиваясь к своему ещё живому мясу, надсадно, в тяжёлом порыве сглотнул слюну, которой прибавлялось всё больше и больше и на которую он исходил весь, вытягиваясь мыльной вожжой, чувствуя, как и его самого пожирает незримое, напористое чудовище, грызущем прокатываясь через глотку, тычась в пустой ёмкости желудка, ползёт по лабиринту кишок и снова карабкается вверх – через глотку, через рот, сбиваясь в слизистый клубок...

Он отломил ветку от черничника и стал жевать её, свирепо двигая челюстями, стараясь вывести их из строя, как мельничные жернова, со всей ненавистью к их исправности, тогда как сам он уже давно вышел из строя, давно разваливается по костям, по суставам, и лишь сухожилия связывают его ветошное тело. Он ненавидел себя, свои пустые недра, объединённый чудовищем костяк, выветренные позвонки, оральную дыру, заляпанную клочьями бороды, пальцы, которыми он даже не смог убить букашку. А что уж говорить о фашисте!.. Он готов был сожрать себя... Если отрезать от себя кусок мяса и сварить его в котелке!.. Кровью он не изойдёт, потому что крови в нём уже нет. Главное, надо правильно придумать, что отрезать без ущерба для тела. Например, икру правой ноги. Пока правой, потому что левая у него главная. Мясо с приправой черничника, пусть голого,

пусть никакого. Но – мясо!.. В нём вдруг вспыхнуло адским светом и затикало, отчётливо и мелко, как часики взрывного устройства. Свет объединенных понизу стволов пошёл кругом, дребезжащий смешок его собственного иррационального существования проехал в нём и начал развинчивать, разваливать всё то, из чего он состоял.

Семенихин с неожиданной живостью встал, почти вспрыгнул, быстрым движением поднял винтовку и пошёл обратно.

Боец сидел на кочке всё так же и грыз сваренный ботинок. Увидев Семенихина, он зыркнул огромными от голода глазами и ослабил в полубезумной ухмылке:

– Свинина, земляк!..

Семенихин приблизился и молча стал смотреть на него, потом поднял винтовку и, крепко держась за конец дула, ударил его прикладом по голове. Потом ударил ещё раз и ещё, пока, наконец, не понял, что убил, и, радуясь убитому, вынул нож и начал вырезать мясо из голени вместе со штаниной.

Он не помнил, как съел сваренный кусок, лишь чувствуя, как тело его наполняется теплом, как шибко стучит кровь в голове. Сытость его сморила. Он спал весь день рядом с убитым бойцом. Вечером едва стащил обмундирование с его заостренных мощей и, снова вырезав кусок мяса, варил, а потом, оглушённый буханьем крови в голове, спал, укрывшись его шинелью...

Так он ел и спал, ел и спал, не чувствуя, что ест падаль с запашком. И однажды увидел солдат... По ночным горшкам, надетым на голову, по рукам в кожаных перчатках, держащим короткоствольные автоматы, и термосам у поясов он понял, что солдаты чужие... Страшно напуганный ими, он вскочил и бросился в чащу, как сытый зверь.

– Halt! – крикнули ему.

Он остановился.

– Komm zu! – сказали ему.

Он подошёл.

Солдаты стояли над полусъеденным голым человеком, один из них, с крестом в петлице, с пуховым шарфом под воротником шинели, взглянул на него и брезгливо спросил:

– И ти са это фюеешь?

– А за кого мне воевать? – спросил Семенихин.

– Са фюрер! Са феликуй Deutschland. Керманий!..

– А жрать дадите? – спросил Семенихин.

– И шрать! И пиф-паф татим!..

Немец обернулся и что-то приказал своим. Другой немец ответил ему таким же, только более сердитым и судорожным лопотанием, брызнув слюной изо рта. Потом вытащил из ранца каравай русского хлеба, отщипнул от него и бросил к ногам Семенихина.

– На четференьках! – скомандовал крестonosец.

Семенихин упал на четвереньки и подобрал ртом хлеб...

Ему снова отщипнули и бросили. Он снова подобрал ртом уже под гогот и ржачку.

К вечеру его пригнали в деревню, где толпились орды таких же оборванцев, но уже со споротыми с пилоток звёздочками. Их сгуртовали в группы и погнали куда-то... Потом одели в немецкую форму, начали кормить кониной и учить стрелять из немецкого оружия, а через месяц бросили в прорыв на красноармейские окопы. Они дрались со всей яростью, какая может быть только в одном человеческом существе, не щадя ни себя, ни немецких пуль, и люто мстили даже сдавшимся в плен за всех съеденных болотных тварей, за обглоданные сосны и осины, за ремни и ботинки, сваренные в котелках... Тот выдающийся бой засняли немецкие кинооператоры и отправили плёнку для просмотра Адольфу Гитлеру как вещественное доказательство исключительной доблести его солдат.

На обеде у графа фон дер Шеленбурга заводной, эмоциональный фюрер, провозглашая тост за сынов Третьего рейха, от восторга уронил слезу прямо в своё травяное блюдо.

Глава восьмая

Весной у Полины родился сын Алёша. Но сидеть ей с ним не пришлось. Она пошла на ферму догонять по молоку Америку. Коров доили вручную, в её группе было двадцать голов. У всех коров были звёздные имена. Шло покорение космоса, и, чтобы не зачислили в остаток человечества, земные имена никто не давал. Детям тоже присваивали звёздные клички. Так, у Шурки Телятиной родилась дочь – Венера, а у Ваньки и Маньки Ивановых сын – Орион. Всех троих родителей наградили значками коммунистического труда, будто бы за отличный труд. Но все знали, что наградили их за звёздные клички детей, потому что они работали безо всяких отличий, как все...

Пока Полина доила коров, Алёша спал в пустой кормушке, увязанный в бумазею и траву-могар. Он всегда спал, видимо, боясь проснуться, а проснувшись, слышал железный звяк цепей, на которые были привязаны коровы, и пискотню крысят, дерущихся под кормушкой.

Перед каждой дойкой начиналось собрание. Партийный секретарь товарищ Губишин взывал:

– Товарищи! Приложим все творческие усилия и выдоим коров до капли! Догоним и перегоним Америку по надоям молока и привесу мяса!

После каждой дойки опять же шло собрание.

– Товарищи! Сегодня катастрофически снизились надои молока! В среднем по ферме надой составил три килограмма и сто один грамм с ноль целой и семь десятых. Так мы с вами Америку никогда не догоним!

– Пора пасти коров под звёздами! – выступила Шурка Телятина.

– Так ишо снег на елани лежит, – сказал кто-то.

– Зато звёзды вон как сверкают! – громче выступила Шурка. – Догоним Америку, зальём ей шары молоком и полетим звёзды завоёвывать!..

За этот крик Шурку наградили ещё одним значком с изображением собак, сгоревших в спутнике Земли, – Белки и Стрелки.

С фермы шагали, оглушая окрестность:

– Мы покоряем пространство и время!..

Дома, сидя с Алёшей у титьки и дожидаясь, пока сварится картошка, Полина размышляла над покорением...

«Вот идёт поезд через пространство. От Москвы до Владивостока. Поезд ушёл, а пространство осталось. Как он может его покорить? Покорить – это заставить работать на себя, как пленных немцев строить дорогу. Вместе с мобилизованными по зову сердца колхозниками. Или вот: поезд пришёл на станцию в двенадцать часов дня. Пять минут первого он ушёл. А время осталось. Вот уж десять минут первого, вот уж двадцать минут второго... Никто его не покорил. Поезд идёт сам по себе, а время идёт само по себе».

За подробным разъяснением Полина обратилась к учительнице Космее Павловне.

– Надо литературу изучать, товарищ Посконина! – свысока ответила Космее Павловна. – Покорение пространства происходит в космосе, при перелётах от звезды к звезде. Потому что на Земле пройдёт пять тысяч лет, а звёздный корабль в космосе за этот период пролетит всего пять лет. Вот тебе и покорение пространства! Вот тебе и покорение времени, милочка моя! Понятно?

– Понятно, – согласилась Полина, ничего не поняв.

– А ты почему не посещаешь шараэм?

– Чего?

– Ша-ра-эм! Школу рабочей молодёжи...

– Так я уж не молодёжь...

– Не имеет значения! – пресекала Космее Павловна. – Надо работать и учиться! У нас теперь не ест не только тот, кто не работает, но и тот, кто не учится!

– У меня грудной ребёнок. Куда с ребёнком-то.

– В школу! Пусть лежит на парте вместе с тобой, пока ты читаешь учебники. Учиться надо.

– А чему учиться в вашей школе! Как работорговец Чичиков ест барана с кашей? Или как ядро французов попало в самую гущу русских и убило целую кучу солдат? А они опять сомкнулись гущей и пошли на чужие пушки. И опять ядро прилетело в самую серёдку... А что бы дуракам-то не рассыпаться, как горох, и не идти на французов-то россыпью?.. Ядро и пролетело бы мимо. И французам убыток, и наши целы. Или покорять пространство на звёздном корабле. Тут пять тыщ лет пройдёт, там пять лет. Да ведь такой корабль ещё не построят. На каком, интересно, он горючем полетит? Это всё, Космея Павловна, пустое красноречие. И говорят так красиво, чтоб отвлекать народ от голода. Как говорила Паруня, когда она думает о Боге, ей есть не хочется. Нам тоже хочется есть и, чтобы не так сильно хотелось, мы говорим о полётах на какие-то звёзды!.. – высказалась Полина и вышла вон, пристукнув за собой дверь. Дверь отъехала, и в щель подуло сиверком.

– Хэ! Умница какая! – только и хэкнула вслед Космея Павловна и, поскольку дверь регулярно отъезжала, привязала её на чулок к гвоздику...

Глава девятая

Если Паруня, отвлекаясь от голода, думала о Боге, то сейчас, отвлекаясь от голода, думали о безбожии. И не только думали – жили этим. Безбожие стало смыслом жизни каждого. На политзанятиях с доярками и скотниками, пользуясь отсутствием на них Бога, Космея Павловна открыто говорила, что Бога нет.

– Как можно говорить, что Бога нет, если нам не дано Его видеть? – спросила Полина.

– С чего это ты взяла, что не дано видеть? – воскликнула Космея Павловна и усмехнулась так, что стало страшно. – Всё на свете видели, а Бога бы не увидели. Потому и не уви-

дели, что его нет. Что сказал Юрий Гагарин? «Бога не видел». А уж он слетал вон куда!

– Но пчела тоже не видит человека.

– Как это не видит? – возмутилась Космея Павловна. – Не видит, а кусает. К тому же пчела – насекомое, а человек – существо. Оба относятся к одушевлённым предметам. Стало быть, оба друг друга видят и друг за другом наблюдают.

– А раз он – существо, то и жизнь признаёт только в существах, – никак не могла уняться Полина, перекладывая Алёшу от титьки к титьке. – А Бог – не существо. Бог – какая-нибудь сила.

– Хэ! – опять презрительно хэкнула Космея Павловна. – Силу-то вот, милочка моя, как раз и видать. Если Леонид Жаботинский подымает штангу, то разве мы этого не видим, товарищи?

Товарищи дружно посмотрели на Полину, как на полоумную.

– Мне тесно среди вас! – сказала она и ушла с политзанятий.

– Учтите, товарищ Посконина, – объявил ей за это ещё один партийный секретарь Дрынов. – Если бы вы управляли космическим кораблём, мы бы вас не допустили к работе. Но вы управляете коровами. А корова – животное лояльное. Ей абсолютно наплевать, какие гнутся линии в вашей неблагоприятной голове.

– Если бы я управляла космическим кораблём, я бы улетила от вас жить на другую планету...

– Не приспособились бы со своей неблагоприятной головой!

– Ну уж если я среди вас приспособилась жить, то на любой планете приспособилась бы ещё лучше!

Алёша спал. Полина смотрела на него и думала: «Ты будешь летать... А... зачем? Чтобы Космея Павловна уродовала твои подвиги на своих уроках? Потому что космеи павловны у нас так же бессмертны, как подвиги героев. Нет,

никуда ты не полетишь. Не пушу! Учиться надо сено косить и коров доить».

Опять вспоминалась Паруня, которая говорила, что жить надо втайне, втихомолку. Человек, живущий втайне, знает много. Толкотня среди людей отбирает человека от самого себя. На виду живёт один чертополох. Да и то кто знает, какая тайна у чертополоха? Как ярк, как запашист его цветок! Сказано, что он отгоняет нечистую силу, чёрта пугает. Оттого и – чертополох.

«Если мы стали жить на виду, то, видать, тоже чёрта пугаем. Стали страшнее чёрта, что он нас боится. Вот до чего дожили. Стыд-срам. Но ведь и летать надо. Только зачем человеку летать? Чтоб разбиться? Это птице суждено летать».

Полина задумалась: если её сын будет летать, то всё перевернут не только о нём, перевернут и о ней. Все слова, сказанные другой Космеей Павловной, спишут для неё. Потому что списывать будут такие, как Космея Павловна. А если они будут косить с Алёшей сено, про них никто и ничего не соврёт.

...Выйдут они рано утром по росе, пойдут полевой дорогой. Начнут косить с пустоши, где трава заматерела, задубела на солнце. Косить её надо, пока держится роса, смягчает траву, клонит в одну сторону, и косить следует с той стороны, откуда трава клонится. Цветочки радужные, медовые, горькие, всякие. В полдень сядут они обедать под берёзку. Развяжет Полина белый платок, вынет яйца, огурцы, лук-порей, молоко в бутылке поставит рядом, хлебец разломит. Ешь, сынок! Расти богатырём! Русым, кареглазым! И никто не заставит тебя плести всякую всячину – видел ты Бога, не видел. Никого это не касается: ни Бога, который видит тебя, и ни тебя, которая знает, что Бог её видит...

Глава десятая

Однажды весной к Полине нагрянули люди с блокнотами в руках.

– Мы приехали описывать ваш сад, – сказали они.

– А что его описывать-то? – испугалась Полина. – Там и описывать нечего. Одни дички расплодились, даже нарощенного фрукта нет...

– Не волнуйтесь! – улыбнулись ей. – Началось озеленение страны, и неблагоприятие ваше с описями кончилось. Ведите нас в сад.

Сад застыл и прислушался, что о нём стали говорить... А говорить они стали много. О кислородном голодании, которое застанет планету, если уберут с неё все растения. О радиации, когда Земля будет проходить через рукав Персея. Там, говорят, очень повышенная радиация и потому надо срочно заняться садами и огородами, чтобы через их покров не проступило зловредство излучения и не повредило человеку. К садам и огородам призывают потому, что в стране опять наступает очередная голодуха.

«Всю землю на целину перевели, изморили её и выветрили, теперь вспомнили о садах и огородах».

– Мы слышали, у вас растёт хлебное дерево? – спросила её моночка с блокнотом.

– Не знаю, не видела, – ответила Полина.

– А что-нибудь съедобное растёт?

– Растёт. Ягода бз... то есть чёрный паслён.

– А к ней применимы усилия дегустации?

– Применимы. Но она ещё не взошла. Будет всходить после дождей. А сейчас лишь одна пыль, – ответила Полина.

– Да! Да! – поддакнули люди и двинулись осматривать сад, называя берёзки молодками, едва начинающий виться хмель – хулиганом и даже пригрозили ему пальцем. От смородины оторвали листок и пожевали, на осину засмотрелись из-за зависти.

– Ах! Мне бы такие клипсы! – пискнула моночка и прыскачила, чтобы достать ветку с бордовой, рассыпчатой серёжкой осины.

Тополь обозвали полиролем, боярышник – ежевикой,

ежевику – боярышником... Потом уехали, подарив Полине на память камень с горы Хамелеон из Коктебеля.

Вечером опять пришёл Колька Семенихин.

– К тебе вроде гости из Москвы приезжали. Если ещё раз приедут, так не разевай рот, а регистрируйся с кем-нибудь. Поедешь в Москву жить и меня заберёшь отсюда, – сказал он.

– Если ты ещё раз ко мне придёшь, я убью тебя вот этим сувениром, – ответила Полина и замахнулась на Кольку камнем с горы Хамелеон.

– Ты никогда не блстела умом, а блстела только голой жопой. Прощай, дура!

О саде стали печатать в газетах. Но поскольку сама Полина на это не отзывалась, боясь, как бы в её саду не начали искать хлебное дерево, как в своё время приказывали уплатить налог за дерево фруктовое, то попечатали и забыли. Помнили о ней лишь одни пионеры. Со всех концов они присылали ей семена, корешки, почки, отростки и щипки каких-то растений. Ни одно из них ни в саду, ни в огороде не прижилось. Пионеры тоже куда-то подевались. Наверное, выросли.

Потом кто-то пустил слух, что никакого сада в сибирской глуши и никакой бабы, выростившей там хлебное дерево, сроду нет. А всё это выдумали газетные писаки, чтоб отчитаться перед дорогим Никитой Сергеевичем Хрущёвым. Мол, государство по его приказу благоухает в цвету и плавает в зелёных облаках садов и огородов.

– Ось гарно! – воскликнул Никита Сергеевич, слушая отчёт советника по кукурузе, и тут же распорядился заплатить газетным писакам так, чтоб и они, как он сам, каждый день кушали каши на сливках. И уехал в Крым, откуда приехал расстригой...

В это время в здешних местах возник незнакомый человек в чёрном пальто с молоточками на плюшевых отворотах, и все приняли его за железнодорожника.

– Нет, я Хирам Абиф, – представился незнакомец. – Я командирован к вам строить символику.

Глава одиннадцатая

Кто не видел зимнего леса или сада в инее, тот ничего не видел!

Поднялось солнце, взмутив клубы розовой снежной пыли по деревьям, загорелся воздух просеки, и вся просека стала похожа на дорогу в рай. Золотыми наградами сверкнули звериные следы. Со взбитой пеной, опутанной пламенной канителью по всем иглам и закорючкам, вышел из зимней могилы боярышник. И зацвёл опять, но как зацвёл!.. Глядишь и спрашиваешь: «За что мне это! За что мне отдано это царствие, мне, брэнному, грешному человеку, ничтожному в горнице твоей, Боже! Ничтожнее пылинки, снежинки, сиявших так, что и во сне не приснится...».

Весь хлам, весь бурелом, который в осеннюю слякоть уныло проглядывал по всему миру, и нечистый дух, который где-то кривлялся и подсказывал, что жизнь кончена, и сорная бумажка, подхваченная ветром с задворок, которая, как договор о продаже души, мелькала в лесу своей докучливой серостью, теперь вьётся, мельтешит и горит грудами серебра и топазов. В сплошных кружевах до пят стоит на поляне сосна. Искромётной алмазной стружкой, набранной в ветвистый узор, глядится с берега в полынью ива... Глядишь и гадаешь – которая из них настоящая? Так тиха и безропотна гладь воды, что та, которая стоит в ней, опрокинувшись верхушкой книзу, более правдоподобна, чем та, которая переливается спутанным огнём над нею...

Прокричал ворон, будто пронёсся опричник в небе. Скатился заяц с бугра, да так быстро, что и не знаешь – был заяц или померещился? А иней всё валится, валится, собирает снежинку к снежинке, искринку к искринке, вот уж целой гроздью они облепили сухой остов дерева, и заиграло оно рождественским светом, возрадовало, заставило оглянуться на себя!.. Каждая мелкая травинка собралась в огненный пух и стала недотрогой, каждый пенёк нарядился в горящий мех, каждая колочка выставила напоказ царский венец. А сад!..

Напыщенный и вельможный, мерцающий, мигающий, распушившийся зимним цветом, он стоит, приоткрывая в своих алмазных тучах лазейки, чтобы наша душа могла порснуть сквозь них в золотистую даль и, вернувшись, рассказать о ней чарующую небылицу...

Но это ещё не всё. Впереди ещё – лунная ночь! Вот она, извечная наша смутьянка – луна. Золотом выкатилась она из кармана Творца, показывая нам один и тот же отпечаток и закрывая себя с другой стороны чёрным платком вечной ночи. Луна – это интрига. С её восходом пейзаж принимает загробную окраску. Теперь всё превращено в мир теней и через тени всё преувеличено. Каждая вмятина, каждая царапина на снегу мигают серебряными зрачками и преграждают путь к отступлению, искушая блистаньем своих сокровищ. Витают серафим, бесшумно вплетаясь в пение тишины и оставляя белые борозды от своих крыльев. Жар-птицы сидят в лесу, белый пал идёт по равнинам...

Загорелось, вскипело разломом, вызвало трепет в сердце, и снова накрылось полноводной тенью дерев, и опять развалилось глыбами мела в потоке толчёных алмазов, попавших под нещадное лунное око... Это – символика. Задуманная по спиральной архитектуре Немврода, она должна уйти в высоту. Но ещё не уходит из-за нехватки стройматериала. Ещё в стадии строительного зачатия разбросана глыбами по земле. Жёлтым пятнышком затесалось в лунные жемчуга и мраморы окошко светёлки. За бутылкой плодово-ягодного вина, вероломно бьющего по темени после первого стакана, сидит сам Хирам Абиф. Напротив него учитель физики Елизар Филыч. Тема разговора – символика, которую никак невозможно завершить.

– Я произвёл ошибку, – признался Хирам Абиф. – Потому что взял за основу спираль. А что такое спираль? Спираль – это бесконечность. Или дорога в никуда.

– Бесконечность – это восьмёрка, – уточнил Елизар Филыч.

– Восьмёрка – парадоксально законченная бесконечность! – более щепетильно поправил Хирам Абиф.

– Хм! Хм!

– Хм! Хм! Восьмёрка заставляет нас выдвигать гипотезу о пересечении прямых линий в пространстве.

– А-а-а! – ударил себя по лбу Елизар Филыч. – Как просто! А я раньше об этом никогда не думал!.. Какое, значит, надо пройти непостижимое уму расстояние, чтобы где-то потом пересечься, потом описать кривую, вернуться уже через другое пространство, снова пересечься в исходной точке, опять описать кривую, пересечься и так далее и так далее. То есть наша вселенная может иметь форму восьмёрки!..

– Это уже две вселенных, – сказал Хирам Абиф. – Их зеркальное отражение друг в друге.

Елизар Филыч ахнул снова, извлёк из-под стола вторую бутылку плодово-ягодного вина, сколупнул ножиком красный сургуч с горлышка и, оглушая тишину бульканьем, налил вино в оловянные кружки.

– Увлечение сие чревато дурдомом, – удивлённо оповестил он. – Две вселенные в одной форме. Мы – правосторонние, а наше отражение – левостороннее. То есть мы с тобой, Хирамушка, сидим в той половине, только ты справа, а я слева. Или не сидим, а просто отражаемся.

– Всё так. Потому что наше отражение друг в друге и есть бесконечность. И мы никогда из этого отражения не выйдем. Будем плутать по нему, постигая собственные иллюзии. Это закон!

– Как? – склонил набок голову Елизар Филыч. – Закон. Императив. Да. Ог-ра-ниче-ни-е. Да. Кошмар бесконечности. Потому что в ней заключена бесконечность страдания человека. И выхода никакого. Да. Потому что – закон. Но выход есть – через благодать.

Он поднял кверху палец и провозгласил:

– Освобождение. Потому что закон – свод правил. Они могут действовать и неверно, через насилие, через принуж-

дение. Благодать – дело совести и согласия со своей душой. Это красной нитью проходит через весь Новый Завет.

Елизар Филыч отпил винца, склонил голову на другой бок и продолжал:

– Меня послали на лесоповал. Это закон. Да. Я пошёл в лес по своей воле. Это уже благодать. Через благодать, через свободу выбора, а потому и через свободу совести преодоление ограничения, выход из темницы, из круга, из восьмёрки. Из барака!

Хирам Абиф, деликатно улыбнувшись, приготовился возразить. Но Елизар Филыч опередил его:

– Знаю! Знаю! Допускаешь, что в лес пошёл преступник... Вышел из тюремного барака и драпанул в лес. Отчего преступник? Оттого, что пре-сту-пил. Что преступил? Закон. Ограничение. Заграждение из колючей проволоки. Преступники – порождение закона, потому что преступают его принуждение. Всем детям, например, доступна благодать, но потом железные тиски закона заключают их в свою окружность, в свою восьмёрку. Вся наша жизнь, Хирам, э-э... Хирам...

– Иванович, – подсказал Хирам Абиф.

– Вся наша жизнь, Хирам Иванович, состоит из свода законов, из кодексов и начисто лишена благодати. Я постигал это, отгородившись гальванометром, чтоб школьный сторож Тришка Мурышкин, нештатный стукач службы госбезопасности, не подсмотрел в окошко, что я изучаю Новый Завет, и не настучал на меня. А... символика – что это? Закон или благодать?

– Это символ, – ответил Хирам Абиф. – Потому что постижение наших иллюзий мы стараемся воплотить в какой-нибудь символ.

– Для истолкования символа требуется определённая культура, – задумчиво промолвил Елизар Филыч. – Без культуры истолкования символ превращается в идола. Истолковывая символ и сообразуясь с грамотным его истолкованием,

развиваются народы. Идолу же поклоняются дикари. А как ты, Хирамушка, истолкуешь то, что строишь сам?

– Это порыв. Порыв, который переживает наш народ при завоевании Космоса.

– Мгм!.. А после завершения сего порыва куда ты поедешь? Какой ещё строить порыв? И где?

– На Ангару.

– Да! – согласился Елизар Филыч и подмигнул куда-то в угол. – Была бы святая Русь, а строить на ней всегда что-нибудь найдётся. Порывы какие-нибудь. Ударные бригады... Мгм! Вольных каменщиков. Вон, Енисей перекрывают. А зачем его перекрывать? Пускай течёт, как хочет. Перекроем, да что-нибудь не так сдвинется в земле-то... Или в головах. В головах-то уж точно сдвинется. С соответствием насилия над природой, над естеством. Данте таких насильников посадил в отдельный котёл в смоле кипеть.

– Э-э! – махнул рукой Хирам Абиф. – Пойдём-ка, поглядим на луну!

Они выкарабкались из светёлки и остановились. Блестели снега. В лесах бушевало безмолвное кипение. Немошно помигивали далёкие звёздочки.

– Посмотрите на луну! – сказал Хирам Абиф.

– На луне пожар! – воскликнул Елизар Филыч.

– Да, на луне пожар, – вздохнул Хирам Абиф. – Это всё горит храм Соломона, который я когда-то построил на земле. Он горит уже тысячи лет и не может сгореть.

На луне и правда что-то горело. Белые языки пламени валились на землю, шипели в снегу и исходили молочным паром. Елизар Филыч наклонился и подобрал один из них, изумляясь, что в руке ничего нет.

– Мы мало с тобой выпили, Хирам Иванович, – сказал он.

– Если мы будем пить, то ничего не построим. Или построим, да не то, – ответил Хирам Абиф.

– Мы потому и пьём, что строим не то, – ответил и Елизар Филыч.

Глава двенадцатая

Весной стряслась беда – начала помирать Федоза.

– Понос и рвота, – установил фельдшер. – Симптомы незрочной жизни. Надо везти в районную больницу. Там просят клизмой и примут решение.

В больнице Федозу усыпили, вспороли брюхо и начали перебрасывать кишки с места на место.

– Вот он, падла! Чуть не лопнул! – объявил хирург, выловил в брюхе аппендицит и ловко отрезал его от системы. Брошенный в пустое ведро, аппендикс звякнул.

– Чижёлый, холера тя возьми! – удивилась уборщица, когда понесла ведро к помойной яме.

Очнувшись, Федоза спросила:

– Чо у меня было, батюшко?

– Аппендицит, – ответил хирург. – Ты, наверное, как курица жила. Стёклышки клевала.

– Всяко жили. И как курицы, и как свиньи. Годы-то, батюшко, всяки были. Всяку срамоть ели, вот и засорили себя.

– Теперь жить будешь долго. Просветлили тебя! – пообещал хирург.

.....
Тёмным вечером в окошко сестёр Милашкиных негромко брякнули.

– Хто тама? – сдвинув занавеску, спросила старшая – Варька.

– Прохожий, – донеслось с улицы. – Пустите переночевать.

Варька задёрнула занавеску, подумала, что воровать у них нечего, живут они бедно, и велела младшей – Гланьке, здоровущей девахе, весом в центнер:

– Ну-ко, отвори! Пушшай заходит.

Прохожий, блёклый мужичок, из-за блёклости непонятно какой – молодой или пожилой, бочком толкнулся в дверь,

постукал у порога мёрзлыми пимами и звонко сморкнулся в поганое ведро.

Дед Курилка поворошил на печке, сел, свесил ноги в овчинных ковриках и спросил:

– Откель будешь, добрый человек?

– Из Сибири...

– Да и мы Сибирь тоже.

– Из Восточной. Из Забайкалья.

– А прозвишшо-то твоё како?

– Прозвишшо странное, сказывать не стану. А зовут Ермилом. Фамиль тоже не скажу, потому что не помню. Забыл. Меня все по прозвишшу звали.

– Поди, бродяга?

– Нет. Старатель.

– Вона чо! Поди, на приисках робил? На золотых?

– Ха-ха! – исторгнул гордый смешок Ермил и добавил с молодецкой расстановкой: – Ким-бер-ли-ты раз-ра-ба-ты-вал!..

– А это чо тако?

– Ал-ма-зы!!!

– Вона чо! – постарался свистнуть дед, но зубов у него не было, потому он не свистнул, а всего лишь прошипел...

Сёстры переглянулись и переморгнулись.

– Поди, в баню хошь? – находчиво спросила его Варька. – У нас баня истоплена. Лён сушили, дак истопили. Иди мойся! В бане-то жары-ынь!.. Вода горячая и холодная есть. В шайке под скамейкой шшолок заварен.

– Во-от спасибо! Помыться-то надо бы!.. Я, деушки мои красные, чистый так-то. Без вшей и мандавошек! – благодарно растянул Ермил, снял шубейку, шапчонку, пошарил в котомке и вытащил чистые тряпки.

– Ну-ко, Гланька, проводи человека в баню! Да возьми серники, зажги тама пимигалку, токо лён не спали. Мойся на здоровье да ужиной тебя потчевать будем.

Гланька надела пимы и попёрла старателя в баню, а Варь-

ка торопливо принялась искать в его шубейке, порылась в котомке, ничего не нашла и плюнула.

– В шапке ишшы! – шепнул Курилка. – Шапку-то он оставил. Вон, на гвозде вешатца!..

В шапке оказалась какая-то тяжесть.

– Комок какой-то! – шепнула и Варька. – Под мерлушку зашитый...

– Пори! – скомандовал Курилка.

Вернулась Гланька, тоже начала пороть шапку, вытащила в прореху камень, покрутила его туды-сюды и надхватила зубами, повредив что-то во рту и заорав от боли...

– Олмаз! – шёпотом рявкнул Курилка. – Ну-ко, дай пошшупать!..

Варька подала ему камень, дед подержал его в руке и зашептал, брызгая слюной:

– Олмаз, девки! Олмаз!..

– Прячьте скоря! А я побегу, задавлю Ермила в бане, – кинулась к двери Гланька, но дед пригрозил ей Страшным судом.

– Одурела, чо ли? Креста на вороту нет, чо ли! За душегубство в смоле скипишь на том свете, дура! Зашейте в шапку-то кирпич!.. Вот, возьмите с печки. Отшибите молотком такой же размер, а олмаз спрячьте! Да скоря! Скоря! Полодырки!..

Девки тут же откололи от кирпичика кусок, моментально зашили его вместо алмаза и шапку на гвоздь повесили.

Ермил из бани пришёл через час. Красный, как мак, умытый и блаженный. За ужином хохотал, много врал и щипал Гланьку за жопу.

«Вот баба так ба-а-аба! Умиротворить-то её у меня, поди, силов не хватит, а покататься-то я на ей покатаюсь бы!.. Титьки-то торчком стоят. Ишо, поди, целка...» – думал он, уминая картошку с груздями и припивая бражкой.

Покататься Гланька ему не дала, дальше щипков за ягодичы не пустила, загнула каралькой и отнесла на перину. Утром

Ермила напоили морковным чаишком и вывели на большак. Он шёл до почтовой станции, чувствуя помутнение в голове, отчего голова его держалась как-то набок. Ермил передвинул шапку, и голова наклонилась на другой бок. Он потрогал шапку: камень был на месте.

«Счас приеду в Москву, снесу алмаз жидам-евелирам. Хорошо возьму! Первым делом справлю себе бархатный смокинг, костылёк с набалдашником. Закачусь в ресторан "Яр", завлеку цыганку Лялю... Ночи на две! Музыканта с балалайкой найму. Чтоб частушки нам пел с Лялей. Брошь от Лямурье, шампанское со штями... Э-эх!» – веселился он, то и дело передвигая на башке шапку с тяжестью.

А Варька с Гланькой в тот же день прибежали с алмазом к купцу Шандарыхину.

– Глите-кося, Севолод Севолыч, что мы нашли!

– Где? – спросил купец и жадно цапнул алмаз.

– Под горой, в крапиве таскался...

– Врёте, дуры! Такие камни под горой в крапиве не скаются. Тем более в нашей крапиве! Сколько просите?

– Нам бы коровёшку, – насмелилась промолвить Варька.

Купец крикнул работника и приказал пригнать к избе Милашкиных корову и овечку, а сам с алмазом уехал в Париж. Там он пошёл свататься к маркизе Симоне де Шалатье, но маркиза и слышать не пожелала про неумытого медведя. Тогда Шандарыхин показал ей бриллиантовые бусы. Маркиза немедленно бросилась на колени, заломила руки и залилась слезами, умирая от любви, и бегом побежала за ним в Сибирь.

На другие бриллианты, на которые ушёл остаток алмаза, Шандарыхин завёл конезавод в Башкирии и открыл череду публичных домов в Омске – с каменным нижним этажом для кухни и танцев и деревянным верхом для работы...

А Варька с Гланькой всё чилькали свою коровёшку да пасли овечку в кустах, пока революция не освободила их от этой повинности...

Глава тринадцатая

Погибли космонавты, и путёвкой в Москву, чтоб проститься с ними, наградили передовых комсомольцев Венеру Телятину, Ориона Иванова и Алексея Посконина. Как только они приехали, сразу же наступили на толпу. Заблудиться было негде – вся толпа валила в одну сторону. Они взялись за руки, и их потащило... Пока тащило нормально, но вот из переулка влилась новая толпа, подняла их, какое-то время несла на себе, и вдруг все трое провалились на дно, хотя дна не достали... Вокруг всё ревели. Алёшка изо всех сил старался выскрестись из человеческого теста, но половину его уже засосало, одна нога попала в чей-то карман, другая тащилась просто так, глаз чуть не выколола дамская причёска, к горлу подбирался змей, сползающий с чьей-то татуировки и тоже задыхающийся в давке, по спине сбегала ртуть...

– А-а-а!.. – дурниной орала столица.

Алёшка тоже заорал, открыл рот, и тут же по нему мазнул голый женский зад и поплыл, возносясь на кружевные ворота...

Точёные ножки, спутанные панталонами и содранным платьем, истерично переступали с ангелочка на ангелочка... Комсомолец зажмурился от стыда, но его немедленно жамкнуло так, что глаза чуть не вылетели из тела...

– А-а-а-а!..

– Ко-ко... шельёо-ок-ко-оо... коше...!

– Товарищи, опомнитесь!

– А-а-а!..

– Выпустите меня отсюда на хх...у-у-у...ой!

– Душу свиснули!

– Манька!

– А!

– Вон, кажется, Евтушенко...

– Он, Саш, стихи уж написал... В газете опубл...

– О-о-о-ой!

- Вы что меня по затылку возите!..
- Пощадите инвалида...
- Не трожьте мои груди, ко-зёл-л!..
- Вы своими грудями всю площадь перегородили...
- Милиция!
- Бабушка помирает!

Алёшка натренированными руками совхозного скотника уцепился за дамские плечики, вскарабкался на них, шагнул и поскользнулся на чьей-то лысине, мощно скребнув боком по чугунной поросли ворот.

– Куда прёшь? Не видишь, что это райские ворота! – гаркнул Пётр и шибанул его по башке ключами.

«Ба-амм!» – отдалось в ушах. Он воспарил и далеко под собой внизу увидел котёл. По краю котла расходились веером голубые ёлочки, в белой рубашке мертвел Иван Великий, в аквариуме Дворца съездов мелькали золотые рыбки, на Музее революции лежал снег, и где-то там, в пекле, клубился поток червей, налипал сам на себя и давил себя, стекаясь в одну впадину, отгороженную частоколом оловянных солдатиков...

«Черви!.. Вот что ждёт нас всех!» – сделал открытие Алёшка, подумал о глупости жизни, полетел по небосводу, сделал несколько кругов и опять начал снижаться на кружевные ворота, на которые налипло уже много народа.

– Знаете, я раньше была атеисткой, – шепнула ему голожопая дамочка, как только он сел с нею рядом. – А теперь я поверила в Бога. Меня уже раздавили, но Бог вытолкнул меня из толпы.

– Как вам не стыдно разводить мракобесие? Пришли хоронить космонавтов и поверили в лясы! – пристыдил дамочку Алёшка.

– Подумайте, о чём вы говорите! – накинулась на Алёшку другая дамочка в золотой оправе без стёкол, потому что стёкла выдавили в толпе. – Мракобесие! Это мрак и бес. А гражданочка говорит о Боге. О светлой стороне своих озарений. Надо же, мракобесие! Хм! Хм!

– Вы, наверное, из колхоза? – учтиво спросил Алёшку человек с медалью, но с оторванным рукавом вместе с рукой, и высокомерно оглядел Алёшку с головы до пят.

– Если бы существовал Бог, то все приборы в его присутствии непременно зашкаливали бы! – поддержал Алёшку румяный верзила, сидящий верхом на голове змея-искусителя, обвинившего райскую яблоню.

– Не глазейте на меня так! Я из института ядерной физики! – приструнил он дамочку в золотой оправе.

– Бог – это искусственный разум! – пискнул из гущи чугунного винограда старичок с разбитым сердцем. – Существует гипотеза, что квазары не что иное, как действие искусственного разума. Мы тоже придём к этому.

– Уже пришли! – продребезжало и нырнуло в листву.

– А вы откуда это знаете? Про квазары-то?

– Я, извольте, редактировал рукопись известного астрофизика Иосифа Шкловского. Там как раз говорилось об этом. Но по цензурным требованиям всё пришлось вычеркнуть, – живо отозвался старичок и плаксиво вздохнул.

– А почему вычеркнуть? – возмутился верзила. – Что тут такого?

– Да потому что подрывают устои марксизма-ленинизма!

– Квазары-то?

– Квазары-то!

Откуда-то прикатилась голова, покаталась туда-сюда и укатилась обратно.

– Чья это голова? И откуда она взялась? – спросил человек с медалью.

– Одного жирондиста. Тело его в могиле, а голова катается здесь, – ответил пискливый старичок.

– А где мы, товарищи, находимся? – спросил мужичок в коротком галстуке, только что прилетевший снизу и засевший в зарослях.

– Мы находимся перед самым раем, сидим на его воротах, – пояснили из листвы.

– Между адом и раем? То есть в чистилище?

Опять прокатилась голова, и все отметили, что старомодностью своей она совсем не похожа на современные головы.

– Господа! И на этом свете тоже скучно! – вздохнуло в листве. – Куда бы человек ни направился, он повсюду тащит за собой мокрый и обтрёпанный хвост скуки!

– А вы кто, товарищ?

– Я? Николай Васильевич Гоголь. Вы знаете, я боялся быть похороненным заживо. Но я умер. Меня отнесли на Новодевичье кладбище и закопали, как положено. По-христиански. В ту же ночь несколько мистификаторов разрыли могилу, перевернули меня в гробу и опять закопали. Теперь вот ходит миф, что я похоронен всё-таки живым...

– Так надо об этом сказать людям! – воскликнул верзила из ядерной физики.

– А кто нас услышит из оных пустынь! – вздохнул Николай Васильевич, сел на собственное надгробие и задремал на нём.

В это время возник призрак с лицом, отравленным опиумом, и зелёными волосами.

– Я, граждане Советского Союза, нахожу беспомощным и скучным изображение реальности, ибо в реальности меня ничто не удовлетворяет. Вашей правильной и отвратительной действительности я предпочитаю неправильные и феерические порождения моей фантазии.

Что ты вспахало, мужичьё?

Зачем к работе вновь стремишься?

Адъё.

– Кто такой?

– Придурак какой-то из девятнадцатого века.

– Враг народа! – приварил к воротам мужичок в коротком галстуке. – Что ты вспахало, мужичьё! Поля мы вспахали! Целину подняли!

Ворота вдруг затряслись, затрещали. Ободранный народ пополз на них из котла, зубами и руками хватаясь за чугунные нашлапы. Подняли вой и стон раздавленные, размятые до крови, до костей. Сирены пожарных машин заглушили все вопли, пожарные в касках водой из брандспойтов начали смывать червей с площадей и улиц, забивая ими переулки и тупики, входы в метро и подъезды домов, опрокинули котёл с человечьим варевом, снова прошлись брандспойтами, и летнее солнце весело заиграло над мокрой Москвой.

На Ярославском вокзале Алёшку ждали Орион и Венера. Ориону сломали ребро, он ещё не знал об этом и стоял, морщась от боли, подпоясав себя галстуком. На Венере разодрали платье. Поглядывая на вокзальные часы, она нетерпеливо ходила перед составом, закутавшись в газеты.

– Куда же он делся? – спросил Орион. – Через пять минут отправка.

– Сейчас придёт, никуда не денется. Все же документы у тебя.

– Может, заблудился? – спросил Орион.

– Может, заблудился, – ответила Венера.

Состав медленно тронулся. Орион и Венера влезли в вагон.

– Девушка, у нас парень остался, не успел к поезду, – обратился Орион к проводнице.

– Проходите, проходите, – сердито оборвала проводница. – Приедет ваш парень.

...Ражие молодцы в брезентовках грузили трупы на самосвалы. Поднимая здорового парня, замешкались, определяя, от чего он скончался.

– Вроде не раздавили. Цел кругом.

– Может, сердце? Сердце отказало?

– Молодой, кровь с молоком. С комсомольским значком... Голова лишь пробита чем-то. По самому темечку, как гаечным ключом.

– Апостол Пётр ключами заехал, – хохотнул один и крикнул, подзывая третьего: – Серёга! Помоги забросить!

Неопознанные трупы людей, раздавленных толпой при прощании с погибшими космонавтами Волковым, Добровольским, Пацаевым, хоронили в общей яме, вырытой бульдозерами. Где эта яма находится, никто до сих пор не знает...

Глава четырнадцатая

Ехала по берегу моря в город Сочи Космея Павловна. Ехала и глядела на море.

«Какое это чудо природы – притяжение Земли», – мысленно умничала она и, ушибленная гениальной догадкой, умничала дальше: «Если бы не было притяжения, море бы выплеснулось в космос. А на Луне оно бы плавало на высоте шести метров, потому что на Луне мы весим в шесть раз меньше, чем на Земле...».

Морская волна набегала на берег, молитвенно сложив руки, преклоняла колена в своих необозримо-складчатых, кружевных юбках, вставала, и, медленно подбирая подол, отходила, и, запрокидываясь к небу, шептала:

*Слышит Нептун между тем, как шумит возмущённое
море,
Чует, что воля дана непогоде, что вдруг всколыхнулись
Воды до самых глубин, и, в тревоге тяжкой желая
Царство своё обозреть, над волнами он голову поднял.
Видит...*

Поезд резко замедлил ход. По вагонам побежали люди в военной форме без знаков различия и, оттесняя пассажиров от окон, начали опускать чёрные дерматиновые занавески.

– Что-нибудь случилось, товарищи? – свесившись с верхней полки, тревожно возроптал кудлатый товарищ и, не получив ответа, сам себе обиженно ответил:

– Что-то случилось...

В темноте вагона захныкал ребёнок. Влюблённая парочка наконец-то кинулась в объятия друг друга. Заматерился мужик, уронив со столика бутылку пива вместе с колбасой. Старушка, вязавшая носок, ткнула спицей себе в ухо. С фонарём в руках вышла проводница и внушительно попросила:

– Прошу всех соблюдать тишину!

– А что случилось-то?

– Военно-морские учения, – ответили из угла вагона. – Видели корабли вдали?

– Учения под городом Сочи? Невероятно!

– Воздух! – гаркнул пьяный скиталец и тут же упал в темноте.

– Чьи это руки?

– Ничьи. Это мои руки...

– А это чьи?

– И это мои...

– Ты что, сороконожка?

– Осьминог.

Поезд шёл. Колёса в тормозных колодках зловеще шипели, обдавая морской воздух запахом горящего сероводорода. В тишине шушукались и крестились. Пьяный скиталец запел, но его вытащили за ноги в рабочий тамбур и заткнули рот содержимым мусорного ящика.

– Зона! – кто-то всплакнул, вспомнив былое.

Колёса побежали торопливее, весело перекликаясь и постукивая на стыках, и вот уже слились в одно шумное журчание, в гул. Вагоны шатнуло увереннее. Опять засуетились военные люди, поднимая дерматиновые занавески и открывая виды из окон на морские равнины...

– Смотрите! Смотрите! – зашептал кто-то, да так энергично, словно завёл «Варшавянку». И все увидели на морском валуне орясину с цыганским рылом, в белейшем махровом халате, казавшемся ещё белее от черномазой хари, с пудовой золотой цепью во всю грудную клетку, приобретённой за четверть нефтепромыслов тюменской земли...

- Любовник!.. Любовник Гали Брежневой...
- Да у них тут с ним база!..
- Резиденция!
- Любовник!..
- Ка-а-акой кра-асаве-ец!..
- А ты дума-аала!..
- Попадись на зоне такой любовник, мы бы его оприходовали, ща бля!..
- Ка-а-анкретна-а, фраер!
- Ш-ш-ш!

Космея Павловна расплющилась в окне, но поезд изогнулся на повороте и закрыл от неё чудо с золотой цепью... В Сочи она долго не могла прийти в себя от видения на морском берегу и для успокоения нервной системы принялась посещать лекции диссидента-доходяги. Испитой, золотушный диссидент в недавнем прошлом работал сантехником в Кремле и много знал. За знания, которыми он охотно делился среди друзей, его так же охотно списали в золотари черноморского курорта. Он сидел под шелковицей частного сектора, отпивал из горлышка сомнительное кахетинское и негромко рассказывал о внешнем облике Генерального секретаря.

– А челюсти ему специально такие вставили. Вредители же кругом. Специально, чтоб пародировать выговор. Особенно охоч до пародий московский театр сатиры и юмора. Сами-то ни в зуб ногой, ни в попу пальцем, вот и передразнивают знаменитых людей. Вообще-то Леонид Ильич хороший мужик. Хлебосол! Писсуар я у него ремонтировал. Заело что-то. Понятно, охрана кругом, глаз с меня не сводят. Он заходит, пописал, посмотрел на меня и говорит: «Что, парень, страдаешь? Пьёшь, наверное, и нормы не знаешь?». И тут же дал сто рублей. На опохмелку. Свой человек, что тут скажешь! Выглядит ещё свежо, нормально, потому что ванны из парного молока принимает и Джуна его лечит.

Космея Павловна приехала домой, перегруженная информацией и колготками. Она говорила о Гале Брежневой, которая

завезла цыганский хор на всё черноморское побережье, о Леониде Ильиче Брежневем с кожей новорождённого мальчика, потому что его купают в парном молоке. «Молоко, – прибавила от себя для пушего впечатления Космея Павловна, – текёт по секретному трубопроводу прямо с фермы. Отвинтишь краник, подставишь тазик и обкатишься молоком до самых ног...»

Наслушавшись информации, доярка Райка Федулова напилась пьяной и объявила забастовку:

– Товарищи рабочие совхоза! Я не желаю купать Брежневем в парном молоке за низкую оплату труда! – орала она в кормозапарнике. – Пущай и мне платят триста рублей, как агроному Чирикину!

Райку увезли в вырезвитель и поставили смирительный укол. Проснувшись она на железной койке в унылом свете голого электричества и обнаружила себя в замкнутом пространстве. Под самым потолком пространства заржавленными экскрементами было начертано выразительное слово из трёх букв. Через верхнее стекло двери на Райку взирала любопытная медичка.

– Чо напилась-то? – спросила она.

– Весь народ пьёт, а я, что, рыжая! – ответила Райка, мотнув взвинченными кверху крашеными чёрными волосьями. – И я выпила тоже, чтоб шагать в ногу вместе со всеми. Да и как, бляха, не пить! Если Бога и того где-то потеряли в космосе...

– Освобождайся! Кровь буду брать из пальца на случай сифилиса! – приказала медичка.

– А за что меня взяли-то сюда? – спросила Райка.

– Брежневем грозилась купать в молоке...

Космею Павловну за распространение информации посадили в символику, над входом которой прибили табличку «Клиника». Первое время Космея Павловна всё спала. Потом рыдала. Потом засмеялась и запела. Потом, открыв рот, стала смотреть сквозь зарешеченное окно на божьих птичек, летающих на просторе...

Глава пятнадцатая

Иртыш бушевал и громил свою клеть, в которой пребывал со дня великого потопа. Все воды ушли, а его оставили. Он грыз берега и рвал свою чёрную рубаху, поднимал гриву и лез через тальники, попутно отхватывая то избушку на косогоре, то сам косогор, и, шмякнув его под ноги, в брызгах и пене валил дальше – на север, к полюсу, грозя разобраться с макушкой планеты. Волны его вкатывались в Обь, и великая река, усмиряя его норы, приглаживая властной рукой буйные кудри, вольно лилась по просторам Западно-Сибирской низменности, думая думу и озарённая изображением осинников.

Оленья семья однажды подступила к ней и напилась воды, смешанной с осенними красками, и заболела, поражённая изнутри неопознанным микробом, и подохла.

Смелые люди загнали лося в камыш и избавили его от существования при помощи крупнокалиберного пулемёта. Затем довели на вертеле до золотой скорлупы и образцово скушали, гримасничая от самогонки. А дома у них что-то сдвинулось в кишках и полушария в голове сменились местами...

– Не ешьте диких зверей! – возопил призыв. На заборах расклеили листовки о разведении хека и спинки минтая в местных болотах. «Товарищество и ко-ко» выпустило книгу о пользе бифштексов из толчёных ракушек за подписью гурмана Жувьена Дамьена. Китайский знаток разносолов Сяо-Ме Хаулинь издал кулинарный труд по очистке селезёнки змеиным салом.

На вокзалах раскинули рот объявления: «Не пейте сырую воду! Сырая вода – источник расстройств!».

В самую распутицу брели по дикому берегу Иртыша изгнанные когда-то за тунеядство из столицы пилигримы. Брели, содрогаясь от разгневанного гудения весенней воды. Иртыш играл мускулами, кувыркался через голову, как акробат,

бурлил, кипел, вязал узлы на перекатах, бил наотмашь по холму скотского захоронения. Кости и черепа коров бухали в волны...

– Что это, бабуля? – спросили пилигримы у заплесневелой тобольской черницы.

– Ето? А ето, сынки, будет скотья братска могила. Пострадало тут множино скота ишо в двадцатых годах от болести. И болеть ту теперя зовут по имени нашей местности – сибирская язва.

В толпе пилигримов погодился ветфельдшер, изгнанный с улицы Беговой, названной так в честь близлежащего московского ипподрома. Ветфельдшер следил за здоровьем чистокровных рысаков на ипподроме, загребал оглушительные гонорары и вместе с артистом Игорем Ильинским делал ставки на легендарного Анилина.

– Полундра! – крикнул фельдшер. – На дебаркадер-рр!.. Грузим мослы в первый транспорт и вверх по течению, в пески Каракумов, Кызылкумов, в балаганы Аромашевского района, в сектор Газа!..

Коровьи кости несло да несло. Их видели советские подводники в течении Гольфстрим и американские подводники под Севастополем. Наука выловила и установила: динозавры.

Глава шестнадцатая

Пока наука устанавливала, чьи это кости, власть в стране опять вывернулась кверху шерстью. И захромала, теперь уже на обе ноги. Приполз ваучер... Он опоганил лютики на лугу, объел посадку сосёнок, сожрал начисто всю капусту в огороде доярки Райки Федуловой и уполз в болото, затаившись там и примазав за ухо рыжий чуб, начал выглядывать узкими, заплывшими от перекорма глазками, кого бы ещё сожрать... Но Райке было не до него.

В разгуле приватизации, когда постный товарищ разобрал всю символику и Космея Павловна, освободившись от созерцания голубков и синичек сквозь зарешеченное окно своего гостиничного номера, пришла с песнями домой, а агроном Чирикин прибрал к рукам необъятные поля и сенокосы, мельницы, пекарни, избушки на токах, тропинки и дороги в полях, Райке Федуловой досталось колесо от трактора К-700. Она прикатила его к себе в ограду, теперь сидела и думала, что делать дальше.

«Продам, – наконец решила избавиться от колеса. – Кто-нибудь в районном центре купит на клумбу. Ромашки или васильки в колесо-то посеет. Эка красота настанет! А ещё краше, ежели кто для покрытия крыши возьмёт. Чтоб молния не попала».

Она вспомнила своё изучение молнии в школе...

– Федулова, к доске, – бывало, взвизгнет учительница. – Ну-ка, расскажи нам о действии электричества в повседневной жизни общества!

– Электричество – это молния! – утвердит Райка, да так энергично, будто сама ударит молнией, и понесёт далее:

– Она попадает в сухие берёзы и в одиноких людей. Лучше всего от молнии надо прятаться под резиновыми покрытиями, потому что молния боится резины.

– Откуда ты это выудила? – избоченясь и глядя на Райку с немислимым интересом, спросит учительница.

– Потому что Мишка-электрик, когда притрагивается к электричеству (а молния – это самый высший разряд электричества), то всегда надевает резиновые перчатки.

– Эн-да-а! Как ты, Федулова, расцениваешь пользу электричества на службе разума?

– Разумно надевать резиновые перчатки. Без перчаток электричество служить не будет. А в грозу носить резиновые сапоги и ходить кверху ногами...

– Очень хорошо! Просто очень замечательно! Садись, два!

«А что толку, если другие пятёрки получали? Всё равно доят вместе со мной коров. А раз я двоечница и привыкла к трудностям ещё со школьной жизни, то и коровы у меня лучше всех, и надои самые высокие. Зато у пятёрочников коровы лягаются, бодаются и газеты читают», – сколько раз приходила к такому выводу Райка.

Интересно проходила на ферме приватизация! Сначала директор совхоза приватизировал всех коров и отправил на мясокомбинат, объявив дояркам, что отныне они – свободные люди. Агроном Чирикин, как уже было упомянуто, приватизировал половину земли, главный охотовед района – всех зайцев, метеослужба, вдруг возвысив себя в службу метеоритную, заявила, что все полезные ископаемые на площади района, пусть даже хлам и лом, принадлежат ей, потому что занесены метеоритами. Инженерия мигом заграбастала все приборы – «амперы», карданные валы и даже счётные палочки в детском саду.

Зато коллективу совхоза отдали на разграбление целый трактор К-700, утонувший в органических удобрениях да так и простоявший лет двадцать, не ударивший гайкой о гайку, новёхонький, целёхонький, правда, без крыши, потому что крышу по причине сильной ржавчины склевали вороны... Из коллектива кто приватизировал радиатор, кто гидравлику, тоже склёванную, только не воронами, а земными грызунами, потому что склёвана она была по-другому, чем крыша.

Райке в частную собственность досталось колесо. Она прикатила его и стала думать, как перекатить колесо в... это... как его... в бизнес! И надумала покатить в райцентр. Катил два дня и три ночи, ночуя в кустах вместе с колесом и прислушиваясь, не шуршит ли где ваучер...

В райцентре пузырилась и шкворчала активная жизнь. По всем улицам народ тоже катал колёса. Кто продавал сковородки, полученные за труд вместо денег, потерянных страной-ротозейкой, кто торговал аптечными весами, приспособившись тут же взвешивать на них картошку и взвешивать

ваться сам, кто фокусничал, приглядываясь к пустым чужим карманам, кто матерился, кто спал в канаве, кто хохотал над всем...

Покатила своё колесо по улицам и Райка и закатилась в дебри объявлений.

«Долой КПСС!» – первое, что прочитала она в саду райкома партии.

«Вася» – было вырезано тут же на берёзке.

«Куплю ваучер».

«Продам ваучер».

«Капитализм – это параша!» – гласило на одной стене.

«Капитализм – это дерьмо!» – гласило на другой стене.

«Да здравствует КПСС!» – грянуло с забора.

«Америку – на мыло».

«Интересно-то как!» – отметила про себя Райка, прислонила колесо к балюстраде учреждения и пошла читать надписи.

«Ищу спутницу жизни розового цвета. Надя».

«Где деньги, падлы?»

«Скоро прилетит Тунгусский метеорит и найдёт, где закопаны деньги».

«Патыралас тылушка. Краснай. Сы просыдьё на башка. На лэвым капыт родынка. Кто ныйдёт, таму спасыб. Тэмурлен Ачханыв».

«Твоя телушка, чумурлек, ку-ку! Демьян Бедный, в натуре вредный, блин!»

«Не ходил бы ты, Демьян, во солдаты! Во солдатах дедовщина, матерщина, прапора и фраера!»

«Куплю ваучер».

«Магазин "Интим" переехал с подвала улицы Пролетарской на задворки нефтебазы. Вход со двора. Заглядывать в окошечко и спрашивать товарищ Фельтиолу».

«Борис, борись!»

«Борис, берегись, нна!»

«Продам ваучер».

«Где деньги, чмошники?»
«Шапки долой! Я иду!»
«Ну, блин! Ща, в натуре!»
«Продаются имитаторы для женщин и мужчин камерного склада. Цена договорная».
«Ха-ха-ха!...»
«Между прочим, не смешно совсем. Смеётся тот, кто отстал от западного развития».
«Куплю ваучер».
«Борис, брысь».
«Миша + Паша = небо голубое».
«Будите Сталина, козлы!»
«Где деньги, суки?»
«Денег нету, а выпить охота...»
«Пей из лоханки!»
«Граждане, к оружию! Людовик XVI-й».
«Остановка Хоуд-Роуд».
«Продам ваучер».
«Я и так отдам. На х... он нужен».
«До ча дожили. Срамно ходить по площади главного центра».
«Работа на дому. Шелушить крапиву от малокровия».
«Крови и так нет. Её всю выпили демократы».
«Граждане, к оружию!»
«Ежели тебе дать оружие, ты убьёшь меня, а я убью тебя. И опять останется тот козёл, который дал нам с тобой оружие».
«Куплю ваучер».
«Ща, нна-а!»
«Районная больница работать не будет ввиду забастовки».
«Пожарная часть никого обслуживать не будет ввиду голодовки».
«Продам себя. Цена договорная».
«Слава КПСС».

«Хватилась она, когда ночь прошла».

«Товарищи! Не позволяйте делать из Родины свалку международных радиоактивных отходов!»

«Голосуйте за Чичирицына!»

«Куплю ваучер».

«Сдаюсь внаём вместе с квартирой».

Райка побродила и пошла обратно, где оставила колесо. Колеса не было. Она поняла, что его украли, и написала на заборе грязью:

«Страмцы!»

Потом пошла на автовокзал, чтобы уехать домой.

– Где деньги? – спросил шофёр. – Я без денег не повезу.

– Денег нет, – ответила Райка.

– Расплачивайся натурой. То есть бартером.

Райка отпорола от кацавейки рукав и отдала шофёру, который он взял на стельки для жены.

Глава семнадцатая

Джон Алан Хэй заканчивал оформление документов по замораживанию собственного тела в изоляционно-анабиозной капсуле сроком на двести лет. Оставалось последнее – определить место захоронения, и по этому вопросу у Джона Хэя была назначена встреча с представителем Пентагона, профессором Гарри Мауклендом.

Джон Хэй, купивший три тысячи акров лунной поверхности и аккуратно заплативший налог вперёд, включая время своего анабиоза, подумывал о захоронении на Аляске, рядом с шахтами сейсмического оружия, втайне надеясь этим подстраховаться. Уж что-что, а Аляску, которая останется полигоном в будущем для хранения и постоянной модернизации военных ноу-хау, родные янки станут беречь как зеницу ока и от арабских посягательств, и от вторжения инопланетян.

Из самых секретных источников Джон Хэй знал, что сейчас на Аляске идёт разработка затопления Ирака в зоне Персидского залива и ноу-хау по затоплению уже применили на практике, к великому огорчению затопив свой Новый Орлеан...

– Итак, сэр, я полагаю, на такой срок времени, который выбрали вы, надо определиться с местом захоронения как самым стабильным, – обратился профессор к своему знатному клиенту.

– Я решил, что этим местом будет Аляска, – ответил Джон Хэй и, поймав в глазах Маукленда хитроватый огонёк, сказал нетерпеливее:

– Вечная мерзлота, стерильность атмосферы, отсутствие поселений, хотя бы в таких масштабах, как в умеренных широтах страны, надеюсь, самое подходящее место для хранения капсулы с моим телом в течение двух веков.

Гарри Маукленд продолжал молча смотреть на него, меняя излучение во взгляде.

– Видите ли, сэр, – начал он тем снисходительным тоном, с каким терпеливо обращаются к очень влиятельным людям, но непонятливым или наивным.

– Я понял, – предупреждая снисхождение к своей особе, перебил его, однако, Джон Хэй. – На Аляске захоронениям препятствует Пентагон. Тогда...

Он возвёл глаза к потолку и сказал с обречённым вздохом:

– Тогда на Луне. У меня там в личном пользовании числится три тысячи акров земли... луны. Пока не разработанных, но капсула с моим телом займёт самое скромное место на этих целинных угодьях.

Гарри Маукленд осторожно улыбнулся.

– Лунный вариант потребует колоссальных затрат, – продолжая улыбаться, заговорил он. – Вы воскреснете прежде времени, узнав их сумму. Посудите сами, для доставки капсулы на Луну потребуются космический корабль, экипаж аэ-

ронавтов, модуль для спуска, само захоронение... Впрочем, вы, сэр, представляете его?

– А что тут представлять? – искренне удивился Джон Хэй. – Выкопать в грунте углубление, погрузить капсулу и зарыть снова. Без действия дождя и ветра, которых на Луне нет, это сохранится миллиард лет в первозданном виде. Без намёка на коррозию!

– Всё так, – искусно скрывая раздражение, проговорил Маукленд. – Но нужна консультация с НАСА. Ведь на Луне совсем другое тяготение. Там грунт весит в шесть раз меньше, чем на Земле. Он будет подниматься вверх и медленно оседать снова. У нас нет ни одного эксперимента по рытью лунной могилы...

– Почему могилы? – вздрогнул Джон Хэй.

– Простите, сэр, захоронения.

– Ну и что? И корабль, и работа аэронавтов, и модуль, и консультант НАСА – всё будет оплачено.

– Сэр, позвольте мне высказать свои опасения, – с холодной иронией заметил Маукленд. – Когда вы оживёте через двести лет, вы оживёте нищим. Потому что все ваши средства уйдут на полёт к Луне с капсулой вашего тела.

Гарри Маукленду надоело объяснять, он лишь поморщился и жёстко, кратко высказал одно:

– Это нерентабельно!

– В таком случае, – начал Джон Хэй и смолк, растерянно и нервно перебирая пальцы, потерявшись и совершенно не зная, что говорить в таком случае...

– Я вам посоветую Северный Урал, – пришёл ему на выручку Маукленд.

– Северный Урал, – издал вопль ужаса Джон Хэй и даже привскочил на месте.

– Северный Урал, – спокойно утвердил Маукленд, почти-тельным жестом руки приказывая Хэю сидеть и не дёргаться.

– Но... – жалко заморгал Хэй, бессильно размяк, раскис и почти прослезился.

– Я не должен вам сейчас говорить об этом, но...

Маукленд развалился в кресле, в горестной мимике поднял белёсые брови и, понизив голос, начал объяснять:

– При инверсии земного шара весь материк Северной Америки вместе с Аляской уходит под воду. Урал и Сибирь перемещаются в Южное полушарие, где в климатических условиях, близких к субтропическим, весь этот континент ожидает самое благоприятное процветание. Капсулу с вашим телом захоронят при жесточайшей зиме, а вынут среди пальм и бананов.

– Но русские...

– Русских, как филимистян, к тому времени на Земле не останется. Они окончательно уморят себя, спиваясь и деградируя. Поверьте мне как эксперту по производству биологического оружия. Сейчас на микробиологическом уровне идёт самая интенсивная разработка пивных напитков, при употреблении которых разрушается интеллект, а у подростков, регулярно и без меры потребляющих напитки, интеллект разрушается полностью. Потребитель сам себя превращает в дебила. Как видите, никаких ядерных боеголовок, объёмных бомб и прочей устаревшей дребедени. Население России само сделало выбор, без всякого принуждения. Оно вымирает по доброй воле, оставляя нам свою территорию и недра.

Гарри Маукленд широко улыбнулся и развёл руками. Заметно потрясённый и побледневший Джон Хэй лишь промямлил:

– Но это, господин профессор, преступление...

– Когда корабль несётся на рифы, нет никакого преступления в поисках средств спасения, – подхватил Маукленд.

Явно подавленный Джон Хэй после длительного молчания по-прежнему растерянно выдавил:

– Лучше уж на Луне... А где гарантия, что через двести лет Северный Урал станет субтропической зоной? А если не станет? Если русские, превратившись к тому времени

в поголовных дебилов, как папуасы, выбросят мою капсулу куда-нибудь... в какой-нибудь заброшенный колодец? Тогда что...

– Урал уже наш, – строго прервал Маукленд. – В результате полной и безоговорочной экономической оккупации.

– Может, в Андах? – замялся Джон Хэй. – Знаете, русские такой непредсказуемый народ...

– Анды нам не принадлежат, – снова прервал Маукленд. – Ко всему прочему, место захоронения на чужой территории надо арендовать. И где, сэр, здесь гарантия, что капсулу с вашим телом не выбросят в пропасть какие-нибудь неотёсанные гаучо?

Насупленный и озадаченный Джон Хэй помолчал и вдруг заявил:

– Я расторгаю контракт. Потому что не верю ни русским, ни гаучо. А вам, профессор, больше всех не верю. Ваши теории – всего лишь теории. Жизнь уже неоднократно показала, что развитие действительности, словно по усмотрению какого-то глумливого разума, идёт в противоположном направлении со всеми вашими расчётами и теориями.

– Однако ваш капитал, – возразил Маукленд, – он теряет значимость при планетарном экономическом кризисе и общей инфляции, тогда как при вашем анабиозе он сохранится вместе с вами.

– Тогда я его вкладываю в приобретение ещё трёх тысяч акров на Луне...

– Но Луна уже вся раскуплена!

– Я покупаю обратную сторону Луны!

«Идиот!» – подумал Маукленд и поджал губы.

– Дело ваше, сэр! – пренебрежительно вздохнул он. – Покупайте хоть всё красное Пятно на Юпитере.

Но Джон Хэй уже вышел. Через несколько дней он выгодно купил участок на обратной стороне Луны со скидкой в тридцать процентов, азартно ликуя, что провёл НАСА – главного распорядителя по продаже небесных тел Солнеч-

ной системы и совсем не зная, что скидку сделали из-за того, что купленный участок никогда не освещается солнцем...

Глава восемнадцатая

В секретном подмосковном центре тайного ордена Газпрома один из его членов, Иван Иванович Тентюкин, тоже оформлял документы на захоронение своего тела в анабиозной камере на неопределённое время.

Допивая третью бутылку водки и доедая седьмую порцию домашних пельменей со сметаной, икрой из рыжиков и маринованными опятами по-алжирски, невзначай закусывая блинами, испечёнными на гречневой опаре и толщиной в палец, копчёным молодым кабанчиком, заваленным в Барвихе, с поверженным лицом по захоронению Евграфом Петровичем Сваловым, обмахиваясь закарпатской утиркой и расстегнув голландскую рубашу на брюхе, Иван Иванович говорил, то картинно мечтая, то потаённо сожалея:

– А что, Петрович, оживёшь, например, этак годиков через пятьсот, встанешь из гроба...

– Почему из гроба-то?

– Ну, из захоронения этого... Или как там? Во, дела! Земля-то уж не та, что теперь. И народ не тот. Может, уже на четвереньках ходить будут! А чо!.. Возьмут да изменят поле тяготения, прибавят в весе или изобретут что-нибудь, тяготение-то на Земле и увеличится. В сто раз! А!.. Весишь килограмм, станешь вешать центнер. Ха-ха-ха! Трезвенниками ведь станут, Петрович!

– Почему трезвенниками-то? – опять сердито спросил Евграф Петрович, блуждая осоловелым взглядом то по сметане, то по кабанчику и не решаясь, что бы ещё съесть, потому что всего он уже съел вдосталь и теперь сидел сиднем, зная, что ноги его не унесут с такой ношей в брюхе.

– Да потому что для питья алкогольных напитков требу-

ется стойка по вертикали! – заключил Тентюкин и поднял кверху палец для наглядного показа вертикального изображения.

– Лежать будут, – промычал Евграф Петрович. – Лакают же собаки...

– Так собаки же воду лакают – не водку!

– Приспособятся. Мозги-то на что человеку дадены? Для приспособления к перипетиям жизни. Может, орган какой откроется в процессе перипетия. Хобот какой-нибудь или член...

– Интересно! Давай захоронимся вместе! Только надо ещё одну бутылку взять. Проснёмся через пятьсот лет с бутылкой, встанем из гробу и выпьем за воскрешение...

– Почему из гроба-то?

– Ну, из капсулы этой! Какая разница! Давай! Чо бздишь-то?

– Да я не бзжу. Чо я хоронить себя буду сорока лет? Я, может, ещё сорок проживу!..

– Так ты проживёшь всего восемьдесят лет, а если захоронишься, то пятьсот сорок! Однозначно!.. Есть смысл или нет смысла? Пятьсот сорок лет прожить!..

– Каких пятьсот сорок, если пятьсот из них я в морозильной камере лежать буду! – сильно нервничая, вскричал Евграф Петрович и возбуждённо ткнул вилкой в кабанчика.

– А это разве жизнь? Ты просто будешь находиться в спячке, как ёжик. И в две тысячи пятисотом году проснёшься по хронометру! Во, дела!..

– Не-е-е, Иван! Не-е-е!.. И даже не уговаривай! – замотал головой Евграф Петрович и выставил вперёд руки, пытаясь отодвинуться подальше от две тысячи пятисотого года или хотя бы отгородиться от него.

– Замораживайся один! – с морщиной недовольства на переносице посоветовал он, опять ткнул вилкой в кабанчика и, не скрывая пылкой любви к жизни, начал вылавливать склизкие опята.

– Смертельный номер! – провозгласил он, так и не поймав в маринаде ни одного опёнка. – Одного не пойму, почему по-алжирски? Я у тётки Сарычихи под Рязанью тоже такие же ел. Никаких различий!

– По-алжирски потому, что эти опята привезены из Алжира, – объяснил Иван Иванович и очень тяжело и печально вздохнул.

– В Алжире разве растут опята? – удивился Евграф Петрович.

– Опята растут везде. Даже в стерильной Германии. Только там сорвал опёнок и тут же поставил его на место.

– Это как? – уж совсем удивился Евграф Петрович.

– А вот так. Сбил грибную охоту, дай её сбить другому.

– И другой тоже на место ставит? – не переставая удивляться, спросил Евграф Петрович.

– Ставит. Куда он денется? Такова дисциплина.

– Так они же зачервивеют, опята-то!..

– Не зачервивеют. Им уколы делают.

– Кому? Опятам?

– Опятам, чтоб весь грибной сезон стояли под ёлочками, как живенькие. А где они не растут, макеты изготавливают, из каучука или пластика.

– Смертельный номер! – вскричал снова Евграф Петрович. – Ну, немцы!..

– Чо говорить, стерильная нация! – подтвердил Иван Иванович. – Я много стран исколесил. Пьют-то везде хорошо. Другое дело – что пьют. Вот шотландское виски, что это? Самогонка!

– Да не ври!

– А что? Самогон. Выдержанный по инструкции, выгнанный из порядочных компонентов, с отшибленным сивушным запахом, закреплённый в специальных дубовых бочках. У меня прадед кержак был. В томской тайге жил. Так он из кедровых орехов гнал. Вот самогон так самогон! Виски по сравнению с той самогонкой – дорожная лыва!

Он ахнул подряд стопки три водки и злобно поморщился:

– Нет, не буду я один замораживаться! Не буду и всё!

– А контракт? – спросил Евграф Петрович, сильно испуганный тем, что контракт по замораживанию с толстосумом из ордена Газпрома придётся расторгнуть и тогда положенных денег он не получит.

– Да хер с ним, с контрактом! Только я один замораживаться не буду! Встанешь из гроба и выпить даже не с кем...

– Почему из гроба-то? Заладил! Какой гроб, когда всё продумано по системе самых новых технологий...

– Из гроба, из технологий... Сказал – не буду и не буду!

– Ну, Ива-а-ан! – развёл руками Евграф Петрович и осуждающе пошлёпал губами. – У тебя семь пятниц на неделе, как я погляжу. Живи, копти, если не желаешь уходить в бессмертие!

– А ты-то что не хочешь уходить в бессмертие? – ехидно ухмыльнулся Иван Иванович. – Все расходы я беру на себя. С тебя и копейки не потребуется. Мямля ты, а не мужик!

– Да разве дело в деньгах! – скривился и поёжился Евграф Петрович. – У меня ведь здоровьишко слабое, лёгкие барахлят. Заморожусь, а они возьмут да откажут...

– А собрался ещё сорок лет жить! – властно осадил его Иван Иванович. – С такими лёгкими много не наживёшь.

– Поживу! – возразил слабым голосом Евграф Петрович. – Тут-то воздухом дышу. Где молочка парного попью. Вон тётка Сарычиха три коровы держит. Где винца красненького, с водичкой... Красное винцо убивает палочку Коха. Салатик съем, ягоды, малину, клубнику. Земля, витамины. Земля – мать наша священная!

Евграф Петрович вдруг осенил себя крестом и всхлипнул.

– Трус я, Ваня, – признался он сквозь всхлип. – Однозначный трус! А ты человек отважный! Сильный духом! Иван Кожедуб! Был такой лётчик в советской стране! Ты пролежишь пятьсот лет в земле и встанешь как огурчик!

– Почему в земле? – более властно спросил Иван Иванович. – Вместо новых технологий ещё закопаете меня в землю, как покойника! Вам верить-то... Прости, Господи! Капитал на затраты технологий разворуете, а меня в землю закопаете!..

– Ну, Ва-аня! – пропел-проплакал Евграф Петрович. – У тебя же тут семья остаётся, родня... Как это мы возьмём и разворуем!

– Родня-то в первую очередь и разворует! – вставил Иван Иванович. – Они спят и видят меня замороженным, чтобы деньги хапнуть. Я же замораживаюсь тайно, без всякой родни! В контракте как указано?

– Ладно, ладно! – замахал руками Евграф Петрович. – Поспи чуток. Хватил лишку. Отсюда мнительность и недоверие. Алкоголь, знаешь ли, расшатывает нервную систему, подрывает веру в людей, в идею...

– Слушай! – отчаянно перебил Иван Иванович. – Вот про идею-то ты к месту заикнулся. У меня идея! Давай заморозим со мной кого-нибудь!

– Кого заморозим-то? – растерянно пожал плечами Евграф Петрович.

– Да Борю Моисеева!..

– Как это?

– Да так. Возьмём и заморозим.

– Без его согласия?

– На хрена согласие? Схватим и заморозим.

– Как это схватим? Он же под охраной.

– Охрану купим.

Евграф Петрович откинулся на спинку стула, расслабил пояс штанов, попыхтел, побрякал пальцами по столу и закончил тоном классного руководителя:

– Нет уж, все эти шуры-муры меня не касаются. В контракте указано одно лицо. Так что давай, замораживайся.

Иван Иванович выпил ещё водки, отставил пустую бутылку и спросил:

– Капсула с моим трупом... телом... одним словом, со мной где храниться-то будет? На каком месте? Чтоб вылезти потом из неё и знать, где находишься. А то ведь и заблудиться можно.

– На Аляске! – радостно сказал Евграф Петрович. – Там вечная мерзлота. Будешь лежать, как живенький. Проснёшься и пойдёшь в индейский посёлок пить виски.

– Так и посёлки останутся? – пробурчал Иван Иванович. – Деревеньки, посёлки...

– А ты думал...

– А я думал, города на ходулях! – гаркнул Иван Иванович.

– Встанешь и увидишь. Города ли на ходулях, посёлки ли на колёсиках.

Евграф Петрович закурил, выпустил тучу дыма и, спохватившись, что у него барахлят лёгкие, тут же погасил сигарету.

– Хе-хе! – однако заметил его оплошность Иван Иванович. – Слабые лёгкие!

Стараясь не обращать внимания на его каверзный смешок, Евграф Петрович, будто бы умирая от зависти, протянул:

– Счастливый ты человек, Иван! Всё-то увидишь! Всё-то узнаешь! Поживёшь и опять заморозишься. Поживёшь и опять... Какие будут президенты, какие страны, люди, кушанья...

– Да то же самое и будет, что сейчас! – одёрнул Иван Иванович. – Та же жрачка, та же срачка. Богатые и бедные. Бедные и богатые. Лежать пятьсот лет в мороженом виде, как минтай, бляха-муха, чтоб потом разморозиться и увидеть то же самое...

– Жа-аль! – всхлипнул Евграф Петрович. – Такие деньги... Куда вот ты с ними?

– Луну куплю! – припечатал Иван Иванович.

– Зачем она тебе?

– Смотреть буду!

– Так смотри за бесплатно.

– Нет уж. Я буду знать, что это моя Луна. Моя! Купленная за кровные, заработанные. Я пацаном ещё начинал в Заполярье. Имею полное право Луну купить.

Иван Иванович сбросил со стола пустую бутылку и ожесточённо повторил:

– Имею право!..

Глава девятнадцатая

В один из осенних дней в Голом районе появился человек. Был он молод, на вид приятен, высок, черняв, однако не по годам с лицом озабоченным и задумчивым. Если брать нынешнюю молодёжь, которая до тридцати лет не гнушается вести образ жизни маменькиных недорослей, таскаясь то за подолом жены, то матери, как лялька, то и вовсе по несовременной задумчивости лица его можно было принять за какого-нибудь служителя секты, блуждающего в поисках высшей правды по просёлкам и большакам.

Его уже видели в здешних местах, обратив внимание как на представителя другой человеческой породы. Молодой человек будто что-то искал и не находил, отчего лицо его принимало выражение то раскаяния, то насильственного смирения.

Вечером его подвозил на «Ниве» фермер Андрей Козяев. На перекрёстке незнакомец вышел, спросил дорогу на Тартарку и полями направился туда. Деревни он не нашёл и заплутал. Ночевал в копёшке соломы, а утром снова искал Тартарку, и опять не нашёл, и, догадавшись, что снова сбился с пути самым безнадёжным образом, пошёл куда глаза глядят.

Минуя один пустырь за другим, с яблоньками-дичками и сорной сухостойной сиренью, с ямами, заваленными рухлядью, битым стеклом и кирпичом, что свидетельствовало о бывших здесь когда-то жилищах, улицах и погребях, уже к концу дня странствующий молодой человек увидел далеко

в стороне плотную лесную заросль, по осеннему разноцветью, смешению стройной зелёной хвои с апельсиновой листвой клёнов похожую на дендрарий. Решив, что это, скорее всего, лесничество или заповедник, он пошёл прямо туда через елань, не вытоптанную скотиной, и, обогнув болото, запорошённое серым пухом осеннего рогоза, наткнулся на ветхую, почерневшую, провалившуюся в бурьян изгородь.

За деревьями показался дом, большой и тоже старый, под тесовой крышей, но тоже ветхой, замшелой, кое-где плохо залатанной то ржавой жостью, то драным толем.

Среди деревьев кто-то ходил, что-то собирая в корзину. Незнакомец перешагнул через поваленную изгородь и, оберегаясь сухого репья, пробрался через бурьян.

– Эй, хозяин! – окликнул он и подошёл ближе, увидев, что это женщина – седая, старая, с чертами лица, отекаемыми сурово и сухо, в прошлом, видать, красавица, не утратившая, однако, в красоте того одухотворения, которое к исходу жизни придаёт таким лицам повелительность пророчиц и возвышенность аскезы.

– Простите, хозяйка, – извинился молодой человек. – Не подскажете, где я нахожусь?

– А где вам надо находиться? – услышал он в ответ и улыбнулся:

– Да сам не знаю...

Он остановился и представился:

– Виктор Гжельский.

– Поляк, что ли?

– Корни польские. Родился и вырос в Ленинграде. Университет, правда, окончить не успел. Помешала перестройка. Теперь нужны деньги, а денег нет.

– А я Полина Васильевна Посконина.

– Очень рад.

Гжельский огляделся с почтительным вниманием, увидел на земле сплошной ковёр из красных листьев и вопросительно взглянул на хозяйку с корзиной, полной листвы.

– Это образ моего сына, – ответила Полина и поставила к ногам корзинку, которую держала у груди, как головной убор при воинском церемониале.

Гжельский продолжал смотреть на неё с молчаливым любопытством.

– Его растоптали в толпе на похоронах космонавтов, – сказала Полина.

– Каких космонавтов? – спросил Гжельский.

– Вы не знаете. Космонавты погибли в семидесятых, а вы родились, наверное, позже.

– Да. Я родился в семьдесят восьмом, – кивнул он. – Но я помню, что-то говорили о гибели космонавтов. У них, кажется, разгерметизировалась спусковая кабина.

– Не знаю.

Полина помолчала, подняла корзинку и, выкладывая листья, сказала:

– Вот мой сын.

Гжельский встал рядом с нею и начал разглядывать багряный портрет, созданный так необычно и, наверное, так правдиво, что весь портрет был словно залит кровью.

– На него смотреть надо с высоты, – отозвалась Полина. – Я каждую осень выкладываю его листьями осин, собираю красные листья черёмухи и боярышника. Будто снова и снова рождаю его.

Гжельскому показалось, что она утирает с лица сына кровь, и вдруг представил его – растоптанного, окровавленного на улице Москвы.

Полина выпрямилась и посмотрела на него, и он понял, что она угадала его мысли.

– Вы к кому-то приехали? – спросила она.

– Да как вам сказать...

Гжельский вытащил из кармана сигареты, закурил и, пряча обгоревшую спичку обратно в коробок, сказал с лёгкой усмешкой:

– Где-то в здешних местах мой предок оставил клад. Вот и план местонахождения клада он тоже оставил...

Он вынул из внутреннего кармана куртки дряхлую бумажонку и очень осторожно, боясь, как бы она не рассыпалась в руках, начал разворачивать.

Полина подошла, заглянула в план и сказала:

– Теперь не найти.

– Да-а, – вздохнул Гжельский, глядя на оранжевый закат. – А где тут деревня Татарка? Деревня или село.

– Татарки уже давно нет, – ответила Полина.

– А здесь тоже была деревня?

– Была...

Полина подняла голову, посмотрела на яркие золотые вершины, на лиственницы, уже обнажённые, но ещё роняющие хвою, на мослатые ивы и повторила:

– Была.

– А вы родом отсюда или приезжая? – поинтересовался Гжельский.

– Отсюда. Я, мил человек, нигде не бывала, никуда не ездила.

– Это плохо, – сказал Гжельский.

– Почему плохо?

– Человек должен что-то посмотреть в своей жизни.

Он скомкал свою потухшую сигарету, втолкал, вмял окурок в коробок спичек, не осмелясь бросить его на землю, скорее всего потому, что под ногами пламенел образ погибшего сына Полины, и невесело признался:

– Хотя мир везде одинаков. Есть хорошие люди, есть плохие. Ничего по существу не меняется. В Америке ли человек живёт, в Китае ли, он одинаково обречён на существование. А существование однообразно.

По лицу Полины прошёл какой-то свет. И, думая о чём-то дальнем, наверное, об этом свете, источнике, его родившем и отправившем, как посланника, она проговорила:

– Когда человек поднимается на высокую гору, он всё

внизу видит маленьким. Когда он поднимается на более высокую гору, он и эту гору тоже видит маленькой.

«Это, конечно, её слова. Но очень похоже на Лао-цзы», – подумал Гжельский и спросил:

– Вы, наверное, много читали?

– Нет, – вздохнула Полина. – Мне некогда было читать.

– Некогда всем, – вздохнул и Гжельский. – Но для чтения всегда можно найти время.

– А что читать? – спросила Полина с усмешкой. – Правдивые книги безрадостны, а радостные лживы. Человек не хочет радостной правды.

– Как воскрешение Христа, – подсказал Гжельский.

– Это надежда. А надежда может и не сбыться. Значит, уже не правда, – сказала Полина.

Гжельский подумал и согласился:

– Да, это так.

– Вы, наверное, есть хотите. Идёмте, накормлю вас. Да и ночуйте у меня. Дом вместительный, комнат много. Но живу я в одной. Всю жизнь живу, хотя дом не мой.

Полина взяла пустую корзину и пошла через сад, ярко и затейливо обогранный закатом сквозь деревья.

– Вы так одна и живёте? – спросил Гжельский за чаем.

– Почему одна? С садом, – сказала Полина. – Мы мало знаем окружающий нас мир. Очень мало. Но каждое дерево, каждый куст помнит всё, что свершается на свете. Человек может что-то утаить от человека. Но от дерева утаить невозможно. Оно всё запомнит, всё сохранит.

– Но дерево можно срубить, – слегка улыбнувшись, напомнил Гжельский.

– Да, срубить. Срубить и сжечь в печке. Оно станет золой, изойдёт дымом. И расскажет земле через корни, через золу, расскажет небу всё, что помнит, что знает. Люди творят скверну, не стесняясь деревьев. А надо бы стесняться и оглядываться на них.

Полина помолчала и продолжила:

– Возьмите музыку. Она передана людям через деревья. Через инструменты, сначала деревянные. Через гусли и дудки. Мы не знаем души дерева, потому и не знаем, что такое музыка. Её не видно. Её только слышно, как душу дерева. И не только дерева, но и нашу.

– Интересно вы рассуждаете, – сказал Гжельский. – Очень интересно.

Ночью светила луна, и он не спал.

«Клад-то где-то тут», – думал он неустанно и даже несколько раз вынимал из кармана пожелтевшую бумажку, на которой был начертан план, тщательно разглядывал её, ничего толком не понимая.

«А, может, Полина давно его уже отрыла. Живёт же она на что-то. Хотя живёт очень бедно. Чай и тот без сахара. Да картошка с постным маслом. Вроде не прижимистая. На пенсию тянет... Или сам предок давно вывез драгоценности. План-то, конечно, начертил, а потом, может быть, сто раз смотал в Сибирь. Уехал же он на что-то в Питер!.. Но бабушка говорила, что уехал он на другие деньги. А бумажку с планом отдал ей, наказал найти... Найти! Иголку в сене!..»

Луна заливала окно и комнату, в которой Полина постелила Гжельскому. Чувствовалось неудобство и жёсткого топчана, и тощего тюфяка, и лёгкого, на «рыбьем меху» одеялишка... Вчера в копне спалось куда удобнее. Мягкая солома обволакивала теплом, где-то внизу царапалась мышь, навевая дрему и сладость покоя. Здесь же было как-то голо и сиротливо. Но и это не было главной причиной бессонницы – спать не давал клад. Едва Гжельский закрывал глаза, ему начинали мерещиться груды драгоценностей – радужными огнями мигали алмазы, кровянили рубины, змеились жемчужные ожерелья, лениво и самодовольно светилось золото... Гжельский погружал в них руки и вздрагивал от холода и жути, снова вынимал бумажку и, чиркая спичками, озлобленно изучал её...

«Блажь всё это! – закуривал он очередную сигарету. – Ни-

чего нет! Если что и было, давно уже изъято и прожито. Прожито и пропито».

Вконец измученный тревогой и бессонницей, он набросил на плечи куртку и вышел, встретившись лицом к лицу с луной, и долго глядел на неё, заметив, к немалому своему изумлению, как она медленно и сонно движется по небу, наезжая на верхушки деревьев, стеклянно оголяет их и движется дальше, высветляя следующую путаницу ветвей и живописные лохмотья увядающей листвы.

– Не спите? – услышал он, вздрогнул от неожиданности и оглянулся. Полина стояла, опершись обеими руками на высокую палку, и от лунного света, казалось, была одета во всё белое...

– Да не спится что-то, – поёжился и поправил куртку Гжельский. – Я думаю, что никакого клада давно нет. Возможно, это жестокая шутка со стороны моего предка. Какой клад? Откуда он его взял? Как я слышал от бабушки, он был лодырь и пропойца. Картёжник и гордец, как все шляхтичи. Да и путаник отменный. Но вот что загадочно – к таким людям деньги рекой текут. Они удачливы, счастливы, богаты. Спят на лебяжьих пухах. А сейчас, когда в моду вошло раздельное питание, конечно же, соблюдают его, потому что денежны...

Гжельский оглянулся на Полину и замолчал. Она уходила, не слушая его...

1991–2006 гг.

Кузнецово

*Славите, славите,
Вы меня не знаете.
Зачем я пришёл?
За горячим пирогом!
Не дадите пирога –
Уведу корову за рога.
Телёнка за хвост –
Уведу в колхоз.*

Колядка

Слишком смешно, чтобы быть правдой.

Даниил Строгов

*– Постойте! Наперёд скажите мне,
что это вы читаете?*

Н.В. Гоголь

КОЛХОЗ

Роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

Тёмной ночью ехал в поле Сима Сивцов и упала звезда с неба и сожгла половину телеги. Приехал Сима домой, распряг лошадь и, бросив телегу посреди конного двора, спрятался от народа. Его искали весь день, потому что надо было снова послать в поле, а более того учинить допрос, по какой причине он повредил пожаром принадлежность колхозного гужевого имущества. Слушая крики бригадира Аркаши Сохомина, который приходил домой и приказывал ему явиться на работу, Сима сидел в заречных кустах и сквозь крапиву следил, как над водой танцуют стрекозы, а вечером, чувствуя, как переворачивается вместе с землёй к звёздам, вышел на открытое место и начал постигать мироздание.

«Неужель мы всего лишь шар?» – думал он, глядя на небесные светила и стараясь отгадать, почему одна звезда золотая, другая серебряная, а большинство белые, будто засыпанные снежной порошей, и все мигающие, как живые.

«Если мы шар, то крутимся вокруг себя и нет никакого переда и зада. И если мы крутимся, то и переживаем одно и то же. И если посмотреть со стороны, сидя, например, на каком-нибудь веществе пространства, то ничего нового и интересного нет. Всё новым кажется нам самим, когда мы выходим на свет из темноты материнского брюха. И если не думать об устройстве мира, то мир тут же приедается хуже горькой редьки. А если думать, то мы всегда что-нибудь о нём придумываем, чего и в мире не бывает».

Сима вышел на лесную дорожку и побрёл по ней, глядя в небо. Кутерьма Млечного Пути то настигала его сверху, то реяла следом, и тогда казалось, что Сима тащит за собою хвост. Всё было черно, как черно бывает только в августе. Молчаливо возвышались растения, вспоминая в печальной

дрёме, как славно они отжили лето, хотя ещё многие цвели и оформляли семена. Охмелевший от тепла и собственного восторга цокал кузнечик. Измеряя пространство размахом крыльев, перелетала сова, плескалась в омуте рыба, потому что тоже хотела взглянуть на Млечный Путь и снова уйти под воду, опутав себя его канителью. Всё шевелилось и засыпало, шуршало или шепталось во сне, слепленное когда-то из звёздного теста и живущее по закону его брожения.

«Если нет ни переда, ни зада, то куда мы идём? – думал Сима. – Мы никуда не идём – мы ходим. Нас призывают идти те, кто тоже никуда не идёт. Мы ходим, они сидят и смотрят на нас. А я вот никуда не хочу идти. Захочу и сяду!»

И Сима сел прямо на дорогу. Потом лёг, прилепясь ухом к земле. И тут же медленно и грузно, приливом огромной волны в ухо лизнуло. И он понял, что это тепло земли, её ну-тро, ожидавшее, когда наконец его начнут слушать, бултыхнулось в заточении, подкатилось к человеку и лизнуло его своим языком. И Симе вдруг захотелось тут лежать всегда, впутавшись ногами в лесные травы и чувствуя на щеке маслянистую прохладу подорожника, а потом и самому стать листком, слететь с ветки, истлеть и изойти в вечность...

Глава вторая

Колхоз «Заветы Ильича» славился собраньями и Дарьей Петровной, которая лицом своим изображала Маленкова, нынешнего руководителя государства. Когда развешивали портреты и в соседнем колхозе «Пятиконечная звезда» портретов не хватало, то живописец из Ельчик-Геройска Пшебыш Пшебышевский срисовывал с Дарьи Петровны дополнительный портрет Маленкова. Дарья Петровна сидела в конторе на табуретке и, не моргнув глазом, глядела вперёд, а народ, прильнувший к окнам, глядел на неё. Потому Пшебыш Пшебышевский нарисовал Маленкова на фоне

трудящихся масс. Уполномоченный из райкома рассмотрел портрет и сказал:

– Нужно знамя! Трудящиеся массы без знамени не ходят. Куда они, туда и знамя.

Пшебыш моментально нарисовал знамя. Но места для знаменосца не нашлось – всё место было уделено телу Дарьи Петровны. Тогда знамя поплыло в небе само собой, наклонившись к левому глазу Маленкова. Когда зажигали керосиновую лампу, в глазу сверкала кровь и народ шептал – это кровь Сталина! Зато на клубе блистал плакат, где по красному сатину зубным порошком было увеличено: «Сталин – предатель Родины!». Пониже углём по брёвнам разливалось:

*«Берия, Берия
Вышел из доверия.
А товарищ Маленков
Надавал ему пинков.
А товарищ Ворошилов
Посадил его на шило!»*

Дарья Петровна Загроздина числилась сельским библиотекарем, но за каждую отсидку под внимательным и пытливым взглядом Пшебыша Пшебышевского получала от колхоза пудовку зерна. За смотрины ей тоже причиталось кое-что, когда делегации из других колхозов желали взглянуть на подобие освободителей самих себя. Тут им и подводили Дарью Петровну, нарядив её в галстук и пиджак, показывая из-за трибуны по пояс, потому что на нижнюю часть не налезали никакие штаны. Показывать Маленкова в юбке считалось насмешкой. Освободитель-то он освободитель, да ведь освободил пока от налогов, а не от местных властей, которые Маленкова в юбке тут же расценят как подстрекательство к смущению.

Ещё колхоз «Заветы Ильича» славился тем, что заветы

Ильича совершенно не выполнял. Например, к чему призывает Ильич? Учиться, учиться и учиться. В колхозе же никто не учился. Главный пропагандист неучения кудлатый, косматый, сердитый дед Осип к месту и не к месту любил сказануть:

– Чему учиться? Нечему. Баре при царе вона как учились! А куды оне делись? Никуды. Учились, а отстоять себя не могли. Зато рабоче-хрестьянская армия ничему не училась и свалила их с ног. Пошто так? Пото, что за правду воевали. Человек должен учиться одному – правде! В книжках одне вры. Пото, как книжки пишет не Бог, а такие, как мы с вами. Один пишет так, другой этак. Человек читает и шатается из стороны в сторону.

– А Ленин? Ты что, против Ленина? – спрашивали его. – Ленинская-то правда одна на всех.

– Дак эть так же говорили о Сталине, а шас пишут, что он предатель, – отвечал дед Осип и, не желая больше говорить, убирался в свой угол.

...Вечером, поднимая пыль над колхозом, прошло стадо коров. Проскакал табун жеребят-трёхлеток. Гремя всеми гайками, проехала полуторка. У пчеловода Игнатия Исаковича завели патефон, и сёстры Фёдоровы запели: «При народе, в хороводе...», колхозная техничка Анисья направилась постукивать батожком в кособокие избушки, громогласно извещая:

– На собраннѐ! На собраннѐ!

Книгочей Илюха Шипучин, читающий враньѐ у раскрытого окна, спросил:

– На какую тему собраннѐ?

– На тему вредительства, – сообщила Анисья и пошла дальше, оглашая в торжестве своей работоспособности:

– На собраннѐ!

По колхозу действует самоличный приказ председателя Фадея Формовича Никудышина – кто на собрание не явится, с того вычтут трудовень. Потому бригадир плотницкой

бригады Василий Карелин, построивший в прошлом году внушительный и самый лучший на колхозных пространствах клуб – со сценой, кулисами, входами и выходами, с кинобудкой, перильцами в шишечках, гребешках и звёздочках, сидит и жестоко кается: «На хера мы со своей бригадой построили этот клуб! Стояла бы прежняя избушка-читальня, расположенная по законному габариту вместить десять человек! Пришли бы эти десять человек, а я бы не вошёл. Выпал бы из общего состава. И умотал бы огородами к Зинке и жулькал бы её всю ночь!.. А то вот сиди в просторном помещении и жди, когда в него наберётся триста посетителей...». Василий тяжело вздохнул, огляделся вокруг и встретился с маслянистым взором Зинки, которая думала то же самое, что он, и сильно страдала. «И тебя пригнали?» – спросил он её взором. «И меня пригнали», – послала в ответ Зинка горячее послание. «Просидим щас до полуночи, а там баба придёт с молоканки – и хер нам не любовь». – «Завтра!» – с отчаянной надеждой взмолился взор Зинки. «А завтра в Машиновку еду, лес принимать. Хер нам не любовь!..» – «Тогда послезавтра!..» – «Послезавтра, может, живой не буду. Лес повезём на ЗИСе с прицепом. Прицеп хлябает. Подопрёт на спуске в сухом логу, погибнуть можем...» – «Я на могилку ходить буду. Кажин день. С васильками...»

Но вот раздался звук колокольчика. Вообще-то это вредительский колокольчик, принадлежавший когда-то владельцу ямщины Пашке Хабару. Намешано в колокольчике много разных металлов. И золото, и олово. При особой, специально выученной походке ямской тройки колокольчик вызвякивал: «До-лой боль-ше-ви-ков! До-лой боль-ше-ви-ков!». Так на этих лошадях Пашка Хабар и укатил с армией белых в дальние страны. А колокольчик оторвался. Подбирать его Хабар не стал – не до колокольчика было. Нашли его весной ребятишки, копавшие саранки в лесу. Шли по дороге, названивая им и выучивая что-то уж совсем непригодное для устоев общественной жизни. Бабы расшифровали не-

пригодный звяк, отобрали колокольчик и отдали его в сельсовет. Из сельсовета его перенесли в ликбез – будить тех же баб на уроках. Из ликбеза – в коммуну, из коммуны – опять в сельсовет. Потом в школу, потом на мельницу, потом ещё куда-то, пока, наконец, не обнаружили как кулацкий фрагмент и не определили в колхоз. От постоянных скитаний и бездомности колокольчик тронулся в уме, забыл свои членораздельные выговоры и начал болтать что попало... Но, кто хотел услышать своё, тот слышал. Так, например, Василий Карелин слышал: «Зин-зин-зин-ка-а!..». Фадею Формовичу блазило: «План-н-н-н-нплан-н-н!». Всё-таки умел говорить проклятый колокольчик! Итак, зазвонил он, призывая к соблюдению тихого времени.

– Товарищи колхозники! Собрание, посвящённое в честь безответственного отношения к колхозному богатству, считаю открытым! – сказал Фадей Формович и, соответствуясь с трагичной умственной обстановкой, подумал: «Богатство, мать его за ногу! И кому Маленков надавал пинков, никогда не узнаю». Он сел и кивнул счетоводу Михаилу Викентьевичу Мошину, чтоб тот говорил дальше.

– Для ведения собрания прошу избрать предьзюм! – сказал Михаил Викентьевич. – Кто за то, прошу поднять руки!

Руки подняли все.

– Единогласно! – объявил Михаил Викентьевич. – В предьзюм выдвигаю библиотекаря Дарью Петровну и бригадира строительной бригады Василь Касьяныча. Кто за них, прошу поднять руки!

Опять все подняли руки.

– Прошу избранных в предьзюм занять почётные места на сцене!

На сцену, крупногабаритно опираясь на трость, изготовленную из бамбуковой лыжной палки, с поперечиной наверху в виде змейки, которая была вовсе не змейкой, а пространством украшения, спиленного когда-то с колчаковских саней, заставляя охать и просить пощады приступеньки, Дарья Пет-

ровна начала подниматься к столу под красным сатином. Василий Карелин, перебирая своими ногами ноги сидящих колхозников и выгибая свой путь полукругом, чтобы в толпе и толчее пощупать у Зинки титьку под жакеткой, тоже устремился на сцену, запрыгнул туда без всяких приступенок, сел за стол и подмигнул Зинке.

– Теперь надо избрать председателя и секретаря, – продолжил Михаил Викентьевич. – У кого на этот счёт возникли соображения?

– В председатели предлагаю выдвинуть Левонида Данилыча, а в секретари Дарью Петровну Загроздину! – выкрикнула передовая доярка Шурка Чахныстина и оглянулась на парторга Леонида Данилыча, правильно ли назвала тех, кого приказывал он назвать. Леонид Данилыч в одобрении склонил голову, Шурка покраснела, что не произвела ошибки в названии, и, вытянувшись на скамейке в одно целое, стала торжественно ждать, что скажут ещё.

Леонид Данилыч Кунцев самостоятельно вошёл на сцену.

– Слово для доклада, – сказал он, – имеет бригадир Аркадий Степанович Сохомин.

Аркаша Сохомин, всю визжа и скрипя новеньким протезом по причине утерянной на фронте ноги, тоже взобрался на сцену, крикнул и, будучи скромного роста, почти весь потерялся за трибуной, мотнув оттуда головой в манере китайской игрушки.

– У нас нонче Серафим Сивцов сжёг колхозную телегу. Приехал с поля на одном передке, бросил телегу посередь конного двора и ушёл домой дрыхнуть. Сколь ни бегали к нему домой, дома его не обнаружили. Мать Фёкла Петровна тоже не знает, куда он скрыл...

– Не знаю! Её-божки, не знаю! – крикнула Фёкла Петровна.

– Я думаю объявить розыск! – сказал Аркаша. – Может, ходит в займище и сено поджигает...

– Да ты ково говоришь, Аркатей Степанович! – взревела Фёкла Петровна. – Телегу жжёт, а чем? Симка-то у меня не-

курящий и непьющий. При помощи чего сожгёт? Али вот сено поджигает... Он, поди, не полудурок у меня!

– А пошто телега сгорела? – взревел и Аркаша и скрипнул протезом так, что у Дарьи Петровны стрельнуло в ухе.

– А хто его знает! Сгорела и всё! Её, может, на конном дворе подожгли, а вы на Симку спираете! Ишо из-за этого людей на собранье согнали! – крикнула Фёкла Петровна.

– Товарищ Сивцова, выраженья для своей речи подбирайте! – вставил замечание Леонид Данилыч. – Стоняли рабов на строительство пирамид в Египте при царском самодержавии, а товарищей колхозников пригласили на собрание!

– А неизвестно, кто ишо пирамиды-то строил, рабы или Бог! – не унималась Фёкла Петровна. – Рабы-то, поди, жили не лучше нашего, так где силов наберутся, чтоб кирпичи таскать на верхушки пирамид! Мне Симка казал картинки с этими пирамидами. Тут техника нужна или Бог!

– Сивцова! Тебе слово никто не давал! – разъярённо потерял терпение Леонид Данилыч.

– А я его сама взяла! – ответила Фёкла.

Дарья Петровна дотянулась до ручки, макнула пером в чернильницу и написала на листочке: «По-моему, рано тов. Маленков народ освободил. Это опять приведёт к брожению и какой-нибудь агитации». И, воткнув ручку в чернила, подвинула листочек Леониду Данилычу. Он написал на листке и подвинул Дарье Петровне. «Вы севодни одни ночуете?» – прочитала она и раздумянулась, расплавилась и развалилась, потеряв опору для организма. «А чево?» – написала она в ответ. «Хотел придти в гости». – «Приходите». – «С винцом...» – «И ирисками. Я приувеличенно уважаю ириски».

– ...Телегу сделать – не раз плюнуть. Колёса, шпицы к ним, ступицы к колёсам, ось выточить, расход дёгтя на смазывание оси, – разносил между тем Аркаша по собранию, загибая пальцы на левой руке, потом стал загибать на правой, перечисляя, из каких куражей состоит телега, и опять начал

загибать пальцы на левой руке. Курок, оглобли, гужи, досчитался до хомута, дуги, седёлки...

– Да это уж сбруя, а не токо телега! – сказал дед Осип.

– А какая р-рразницы! – раскатил Аркаша. – Если к телеге относится!

– Найти Симку и заставить отремонтировать! – крикнул кто-то.

– Телегу Симка не отремонтирует. Тут нужен тележный мастер.

– Вот пушшай и помогает мастеру! – посыпалось со всех сторон.

– Найти в принудительном порядке!

– При оказании сопротивления связать вожжами...

– А чо меня искать? Я – вот он! – раздалось вдруг. Все повернули головы к двери и увидели Симу Сивцова.

– Ну-ка, пройди наперёд народа и объясни, как ты сжёг колхозную телегу? Новеньку! Ишо не раскатанную как следоват на наших куветах! – гаркнул Аркаша и даже протезом притопнул.

– Да я не сжигал её, – ответил Симка. – Пала звезда с неба и сожгла...

В клубе стало тихо, так тихо, что слышалось, как у кого-то в брюхе заворчало. Народ застыл, потому что угодил в свидетели какого-то полоумия, и лишь учительница начальной школы Марья Ивановна Мурзаева, тикая мыслишкой, попыталась вспомнить, какое же полушарие у Симки не срабатывало, и он всегда Жилина называл Костылиным, а Костылина – Жилиным.

Прикоснувшись к полоумию, народ испугался, как бы его за это не раскулачили в колхозе...

«С чего замолел? Звезда с неба... Ишь, чего? Фр-рр! Да у них сроду недотёпство родословное!.. Вон и Феклушка про пирамиды забалюкала. Бог построил! Ежели Он чего и построил, так мы сроду не узнаем», – думал Фадей Формович и всё старался посмотреть на Симу Сивцова, но свет керо-

синовой лампы освещал только посетителей президиума, да ещё одна лампа на стене светила на пухлый образ Георгия Максимилиановича Маленкова.

– Охо-хо! – простонал вдруг где-то во мгле клуба Данило Прохорович Буров, делатель телег со ступицами и «шпицами».

– Насчёт ча мы сѣдни заседаем здесь, товарищи малолетки? – спросил Данило. – Насчёт того, што Симка-малолеток телегу жжѣт? Неужель нельзя меня завтра нарядить обладать телегу в щот трудодней Симки? Ково ты, Аркашка, разорался здесь, как при начале войны? Балабонишь, што в ушах зашумело. Сделаю я вам телегу. Ишо красивше! Ча думаешь, Фадей Формович? Так?

– Так! – согласился Фадей Формович, очень сильно удивившись, что сам-то он как раз и не додумался до этого. Но, чтобы не считать собрание бессмысленным, он встал и произнёс:

– Считаю собрание закрытым!

Глава третья

Данило Буров знал цену людям и потому их ни во что не ставил. Вот Аркашка Сохомин, хромой, верезгливый, ещё за Родину воевал, и ногу ему немец отстрелил в правильном порядке. Наверное, надоел немцу, прыгал и верещал перед самым окопом. Он и шибанул по ноге, чтоб сидел на месте. Или Фадей Формович... Надумал собранья собирать. Это перед районным начальством. Раз собранья идут в колхозе, значит, колхоз передовой. Идѣт в ногу с начальством. А в поле в овѣс овсюг намешан, спорынья замарала рожь. Фадейко хитрый! Заставит народ прополоть посевы у дороги, потому что райком только по дороге и ездит. Проедет, видит, всё чисто, и в газете «Сталинец» похвалит. Теперь не «Сталинец»... «Маленковец», поди. Эха-ха!..

Умственно обличая начальство и прочее человечество, Данило пришёл на конный двор и сразу же увидел телегу.

– Эха-ха! – вздохнул он с великим презрением к бестоло-чи, так и не научившейся ездить на телегах.

– Материальная часть! – сказал он, осматривая тележный передок с оглоблями и двумя колёсами. Всё понимающий и во всём на свете разбирающийся, Данило ничего не понял и ни в чём не разобрался сейчас. – Непонятно, как-то сжёт Симка эту телегу! Словно отрезал передок и просмолил место отреза. Да не прямо отрезал, а загибулиной. И где задняя часть? Эха-ха! Эха-ха!.. Сидел, выпиливал где-нибудь в поле, стараясь вогнать народ в загадку. Работать неохота! Выпиливать загибулины время есть, на работу – нет.

Значит, будем делать так. Возьмём вон ту телегу без оглобель и передних колёс, прикорнувшую в ленивом бездействии у стены амбара. Возьмём, значит, и поставим вместо передка этой телеги, а обгарыш с просмоленным отрезом снимем... Кха-ха!.. Значит, так... – Данило взялся за тележный курок, скрепляющий обгорелый передок с осью, и отдёнул руку, будто её прострелили стрелой.

«Радикулит холерский. С малолетства руку корёжит», – подумал он и взялся за курок снова. Перед глазами пыхнуло белым, искра, выскочившая из железного курка, перевернула Данилу в воздухе и понесла вверх ногами в небо. Он увидел конный двор, деревню, колхоз, вышел в плотные слои атмосферы, потом вообще из атмосферы ушёл, зажмурился от солнца в зловещих красных клиньях и полетел куда-то, кувыркаясь, как одуванчик... Страшный по величине туманно-голубой шар стоял над ним, и Данило всё хотел поймать его руками, но руки плавали отдельно от тела. Он крикнул. Крик свернулся трубочкой и улетел. «Да где же это я?» – в страхе подумал Данило, но думка тоже улетела вместе со страхом. Данило снова закричал, однако крика не получилось. Вдруг откуда ни возьмись протянулась ясная игла, проткнула его и, подцепив, как стрекозу, положила закладкой в книгу. Млечный Путь высыпал на него

мешок толчёного мела, книга захлопнулась. «Пусть сохнет!» – услышал он над собой и открыл глаза. . .

Кажется, смеркалось. Шелестел осинник, на пеньке сидела ворона. «Карк-ркра! Кр-р!» – сказала она.

«Поди, ангел?» – подумал Данило, сел в траве и огляделся. Руки-ноги были целы, лишь с одной ноги слетел сапог да маленько кружилась голова и подташнивало, видимо, Данило Прохорович всё-таки хлебнул солнечной радиации.

«А вражной этот Симка! И Феклушка вражная! Едва к телеге притронулся, как из сознания выбило и унесло куда-то в просторы. . .»

Данило поднялся и огляделся опять. Находился он в собственном огороде. За огородом начинался осинник, а дальше лежали поля, в которых цвела сурепка.

«Так это я с самого утра лежу здесь? День-деньской летал где-то, в чёрной прорве. Фадейко прогул за это поставит. Эха-ха!.. Надо домой добираться. Жрать ведь хочу».

Жена Глафира, увидев его в одном сапоге, очень сильно взбунтовалась. Данило открыл рот, чтобы объяснить ей необъяснимое, но слова родного языка мгновенно забылись, словно выдуло ветром, их заменили новые, цепляясь клешнями друг за друга и проворачиваясь, как зубчатые колёса, пробуксовывая и шипя, и он заговорил на языке царя Давида. . .

– Ты вроде непьющий мушцына, а налакался! – прямо-таки озверела в гневе жена, но, увидев, что Данило вроде не пьян, а безумен, гнев её сменился на сочувствие. Она торопливо кинулась раздевать его, уложила на перину, накрыла тулупом и побежала кипятить боярышник, который всегда употреблялся в их семействе для разумной жизни.

Глава четвёртая

Ещё при жизни Сталина, после коллективного просмотра кинокартины «Кубанские казаки», всем в колхозе было веле-

но работать с песнями. И все пели. Бабы, таская на загорбке мешки с зерном, пели «Гулял по Уралу Чапаев-герой», покосники, когда косили траву, драли горло «Смело, товарищи, в ногу!». Что пели трактористы, никто не слышал, потому что рёв тракторов заглушал не только человеческий голос, но и всех пташек в лесу. Песнопение колхозников отметила идеологическая линия и поощрила ещё одним показом «Кубанских казаков» – на этот раз бесплатно, в ограде конторы, под открытым небом.

Посмотреть на дармовщину прикосмылял даже дед Осип, сел на берёзовый чурбан впереди всех зрителей и начал смотреть, мотая головой и выражая неудовольствие к тому, что показывали.

– Ты чо, дед, башкой трясешь, как козёл! – толкнул его сзади молодой зритель Васька Варламов. – Сиди прямо!

Осип обернулся и сказал:

– Казаков не вижу!

– А это чо? Гордей Гордеич! Галина Ермолаевна!

– Это артисты, а не казаки! Артисты из погорелого кятра! – ответил Осип, поднялся с чурки, шебаркнул костылём Ваську по лбу и удалился с бесплатного просмотра.

«Вот до ча прижамкнули народ, что и Кубань запела совецки песни!» – нехорошо думал он, продвигаясь к своей избе тёмной улочкой.

Безобидно помигивали звёздочки в чёрном августовском небе, шумела на мельнице вода, и где-то далеко-далеко, наверное, в Воронкином логу, выли волки. Дед Осип добрался до своей избы, сел на лавочку у палисадника и стал слушать вой волков, смешанный с пением кинокартины.

...Когда-то и он был молодым да хватистым, погибче Васьки Варламова. Не деревенским хулиганом, а бойцом Красной Армии! Служил кавалеристом и ездил на вороном жеребце Уголино. Это по документации жеребец значился как Уголино, а боец Оська Шварнов звал его Уголовником. И вот, значит, получили они приказ следовать на Кубань.

Прибыли на рысях из-под Царицына, все красные молодцы, загоревшие, как негры, под волжским солнцем. Особый истребительный эскадрон. Приказано было взять станицу Богородскую. Население станицы уничтожить, а имущество конфисковать в национальную пользу.

Теперь стыдно вспомнить – взяли станицу, седые старцы в черкесках, с пиками охраняли храм на площади. Истребители-кавалеристы посшибали им головы шашками и пошли уничтожать население, состоявшее из баб и ребятишек и поголовно спрятавшееся в кукурузе. Изрубили их и затоптали конями вместе с кукурузой, а к вечеру прибыло начальство на двух тачанках. Кавалеристам велели конфисковать церковное убранство. Осип и сейчас помнит, как вытаскивали они серебряные оклады, сдирали расшитые полотенца (расшиты же они были золотой ниткой и жемчугами), волокли кресты, усеянные яхонтами и рубинами, и сбрасывали в кучу у церковного крыльца. Никто не выл и не голосил – все были изрублены. Если кто уцелел, молчал в тряпочку, прячась в степной балке или в садах, уже заросших крапивой по причине советской власти.

У кучи с серебром и золотом выставили охрану и наказали ждать обоз, следующий из Екатеринодара. Обоз пришёл под утро, и состоял он из множества подвод под усиленной охраной красноармейцев. Истребительному эскадрону приказали сменить охрану и следовать с обозом до Белой Глины. Лошадей велели оставить на месте.

Оська Шварнов, уже повоевавший с Махно и Деникиным и повидавший всякие куражи и представления как у красных, так и у белых, насторожился, прислушиваясь к подсказке своего сердца. Жаль было расставаться с Уголовником, верой и верностью служившим своему седоку. Упросил он командира взять с собой коня. Комэск по фамилии Задача пошёл на уступки. А если уж честно сказать, побаивался Оськи, влившегося в революцию прямо из уланского полка, когда война ещё вовсю полыхала на русско-германских

рубежах. Злодейская и хитрая черта пролегла в характере Оськи. И как только он служил в уланах, где все были благообразны и открыты лицом!..

«Притворщик! Клянусь РСДРП, что притворщик! – думал товарищ Задача. – Не верит он в наше святое революционное недоразумение, как не верит, что помещики и капиталисты – угнетатели трудящихся масс, а царь – советский иждивенец!»

В общем, взял с собой Уголовника в обоз Оська Шварнов. Шли они с обозом всю ночь и дошли до Белой Глины к утру, а там их тоже ждёт истребительный кавалерийский отряд с возами конфискованного золота и серебра.

Эскадрон Задачи оставили на месте, а тех отправили дальше – до города Сальска. Вот тут-то и понял Осип Шварнов, что не зря так усиленно трепетало его сердце.

Эскадрон не успел ещё пообедать, как заставили строиться и пешедралом погнали в степь, будто бы в засаду. Вот-де с минуты на минуту нагрянут белобандиты, которые уже вынюхали путь продвижения обоза с конфискованными ценностями... Топали-топали и притопали в степную балку, оцепленную пулемётчиками на тачанках. Не то комиссар, не то ещё какая-то штабная нечисть в кожаной амуниции, просверкав золотым пенсне и золотыми протезами во рту, приказал строиться цепью и сдать оружие, то есть винтовки и шашки. Потом приказали раздеться, подогнали к обрыву балки и затараторили из пулемётов в спину.

Оська упал под обрыв до выстрелов, и в общей шумихе проглазели, что он живой... А раз живой, то сумел как-то уползти в камыш. Оттуда видел, как пулемётчики лопатами отваливали глину обрыва на трупы. И не уйти бы Оське никуда из этой голой степи, если бы не прибежал Уголовник. В одних кальсонах и рубахе скакал он на нём неведомо куда. На рассвете увидел белую мазанку и парализованный тополь под окном.

– Эй, хозяева! – негромко окликнул Оська и, услышав в ответ рык, чуть не свалился с коня в ужасе. Рычало нечто...

Оська вытянул шею и заглянул во двор через высоченный плетень. Дюжий малый, нагишом, в чём мать родила, с цепью на шее, на четвереньках бросился от крыльца ему навстречу.

– Хозяева-а-аа! – изо всей мочи завизжал Оська.

Из мазанки выскочила молодайка и, к большому его ужасу, топнула ногой на малого с цепью и скомандовала:

– А ну, тикай! Тикай, я кажу!

И, выпроводив малого в дыру под стеной, спросила Оську:

– Ты хтось такой?

– Я... я... – держась за гриву Уголовника, чтоб, упаси боже, не лишиться чувств от такого представления жизни, Оська в свою очередь спросил её: – Это кто такой?

– Та кобель! – отмахнулась молодайка.

– Какой же это кобель?.. Это же человек!

– Для тэбэ чоловик. Для мэнэ ни. Що тоби треба?

– Переодеться, – сказал Оська. – От расстрела сбежал.

Видишь, в одном нательном белье...

– Ты червоный чи бильый? – пытливо оглядывая его вместе с конём, опять спросила молодайка.

– Сам не знаю...

Она подумала и сказала:

– Гарно.

В белой мазанке-халупке было чистенько и убрано. На подоконниках цвели фуксии. Чёрная икона из переднего угла смотрела строго, с осуждением. Цветные половички лежали на земляном полу, у стен собирали на себя пыль веники полыны, расставленные, видимо, против блох.

– Как тебя зовут? – спросил Оська.

– Катря.

– А я Осип.

– Ось и гарно.

– Ты казачка?

– Не совсем. До пупа казачка, а ниже пупа – молдаванка.

– А кобель?

– Гиря. Чоловик мой.

– Муж, что ли?

– Был муж. Та с ума сошёл. Вот и сидит на увязке.

Она достала из сундука шаровары и белую, расшитую болгарским крестом по вороту и обшлагам рубаху. Оська переоделся, слегка утонул в просторной рубахе и попросил поесть.

Катря вынула из печки горшок с кукурузной затирухой и посадила его за стол.

– Хлиба немає, – сказала она. – Ижь так.

Оська съел полгоршка затирухи и озабоченно спросил:

– Что же мне делать-то, Катря?

– К морю иды. Тут Азовское море скоро будет. Нанимать-ся на шхуну и плыть в Америку, – посоветовала Катря. – Наши-то из здешних мест усе уплыли в Америку.

«Это ваши беляки уплыли. А я красный, зачем мне Америка?» – подумал Оська, решив немножко пожить здесь, прийти в себя от всего увиденного и услышанного, а там как-нибудь пробираться в Царицын, в свою часть.

– Я поживу тут у тебя недельку, – сказал он.

– Опасно так жить, – ответила Катря. – Банды рыщут по степу. Здоровый чоловик, мобилизуют к себе.

– А ты меня тоже посади на цепь, – сказал Оська. – И будет у тебя два кобеля.

– Опасно, – ухмыльнулась она.

Днём он нарубил ей в саду сухого тальника, стаскал во двор и уложил поленницей. К ночи Катря отправила его спать в сарайчик, где лежало сено.

– А ты ко мне придёшь? – игриво спросил Оська и крепко пощупал сначала одну её грудь, потом другую.

Катря ничего не сказала, лишь голосисто, на всю хату расхохоталась. Он ушёл, постелив себе мерлушковый тулупчик, и, сладко размякнув в дремотном покое, вытянул ноги.

Среди ночи его будто ударили по голове. Оська сел, при-

слушиваясь к цвирканью цикад, и осторожно, по-мышьи начал выбираться из сарайчика. Из-под халупы, где находилась нора Гири, лилась полоска света и слышался тихий говор. Оська подкрался ближе и заглянул в щель. Катря и Гиря, также одетый в шаровары и белую вышитую рубаху, сидели за низеньким столиком. На столике стоял кувшин то ли с молоком, то ли с вином, лоснились глиняные чашки с варениками, золотился штабелёк отварных кукурузных початков и душисто перехватывал в носу парок, исходящий от свежего хлеба.

«Во живут! В гражданскую войну!» – успел лишь удивиться Оська.

– С недильку казал, – говорила Катря. – А я думаю, що много. Та и хто вин такой, не знамо.

– Пускай завтра тикае, – отозвался Гиря, набулькал из кувшина в деревянную кружку и крупно проглотил.

«Вино пьют! – мысленно ахнул Оська. – В гражданскую войну!!!»

– Неразумно размовляешь! Он утикае и приведэ до нас яку-нэбудь банду. Що робить тогда будэм?

– А що?

– Убьешь его нынче. Пидешь в сарайку и убьешь. А мясо кабанчику скормым.

«Ого!» – прогремело громом в голове Оськи. Он так же, по-мышьи, отполз от халупы, подобрал ивовый кол, притащенный им же самим сегодня с дровами, сиганул под мерлушку и притворился спящим.

Под утро дверь в сарае скрипнула. Шерстистая степная звезда заглянула в широко открытые глаза Оськи, шепнула: «Не спи!» – и спряталась за плечом добротного человечье-го силуэта. Оська вскочил, как укушенный. Гиря мазанул железным крюком по его ногам, но Оська подскочил снова, и крюк махнул в пустоту. Гиря упустил его, дал спрятаться в темноте, и, пока с сопеньем и пыхтеньем вглядывался, держа крюк наготове, Оська оглушил его по башке ивовым колом,

не теряясь, оглушил ещё и ещё раз, покуда человечесий силуэт не скукожился в проёме двери и мохнатая звезда снова не мигнула лукаво.

Оська шмыгнул из сарайчика, трясущимися руками кое-как взнуздal Уголовника, вскочил на него и погнал в степь.

Проскакав версты две, он услышал позади такой же бешеный топот и догадался, что это гонится за ним Гирия. Страх сковал его по рукам и ногам – Гирия очухался, сейчас он его нагонит и удушит. Это сама смерть решила поиграть с ним, сначала дала удрать от расстрела, теперь нагоняет и топочет следом... Сколько времени скакал, Оська не помнит, и, когда Уголовник начал спотыкаться и даже два раза упал на колени, он понял, что проскакал немало. Это были те самые камыши, в которых он прятался от расстрела. Возвращение в балку, где казнили его эскадрон, едва не лишило Оську рассудка.

«Куда теперь?» – спрашивал он себя, сидя на обрыве и глядя на восток – в родную сторону. По степи валила горластая орда, свистела и лопотала. Скрипели арбы, визжали бабы. Шли цыгане.

Оська пристал к ним и тоже пошёл по степи, держа в поводу Уголовника. Год он болтался с цыганами, а через год вернулся домой, залез на печку и притворился дураком. Но вокруг стоял такой гам, что ещё на одного дурака никто не обратил внимания.

Глава пятая

На следующий день после собрания в контору зашагнул Сима Сивцов с обращением к Фадею Формовичу:

- Мне нужна справка о добровольческом уходе из колхоза.
- Не понял, – сказал Фадей Формович.
- Я хочу жить не в колхозе. Я хочу жить на земле.
- А колхоз где расположен? На Луне?

– Колхоз расположен на колхозной земле. А я хочу жить на земле в общем плане. Как живёт, например, зверь. Опять непонятно?

Фадей Формович долго смотрел на Симу и, вздохнув, сморщил лицо в гримасе страдания, покачал головой:

– Ты вроде умный парень. И скворешник наладишь, и лыжи загнёшь, и пимы подшить сможешь, а живёшь без смысла.

– Объясните мне, что такое смысл, и я тут же буду жить со смыслом, – ухватился Сима.

«Да я и сам не знаю», – мысленно признался себе Фадей Формович, но ответил, что требовала отвечать народу партия:

– Смысл жизни состоит в том, чтобы работать и рожать детей на благо общественной рассудительности.

Сима выслушал, тоже вздохнул и, исказив лицо гримасой страдания, сказал:

– Это инстинкт, а не смысл.

– Инстинкт у собаки, да ещё у тебя, – рассердился Фадей Формович.

– Дуб растёт триста лет. Потом сохнет, падает и умирает без остатка, – продолжал Сима, – какой тут смысл? Просто через дуб действует смысл, недоступный нам, провозгласившим, что мы цари дуба...

– Слушай! Иди отсюда! – прикрикнул Фадей Формович, душевно терзаясь, что вступил с мелюзгой в дебаты.

– ...через человека действует смысл, недоступный пониманию дуба...

– Через тебя действует смысл, недоступный пониманию всего колхоза! – не удержался от ехидности Фадей Формович.

В кабинет вошёл садовод Пахом Петрович.

– Вот, в благонадёжной достопримечательности, – подал он бумажку.

– Что это? – спросил Фадей Формович. – Сивцов! Кыш отсюда!

Сима вышел с усмешкой всевышнего существа.

– План сдачи урожая. Читайте! – сказал Пахом Петрович.

Фадей Формович прочитал и не понял прочитанного.

– Читайте! – смиренно повторил Пахом Петрович.

«Сливы – один центнер. Персики – десять кило, груши...» – судорожно проскакало перед носом Фадея Формовича, потому что руки его, державшие бумажку, задрожали и заскакали.

– План сдачи, – плачевно начал объяснять Пахом Петрович. – По разрядке у нас произрастает одиннадцать деревьев слив, два персика, один ствол груши, десять яблонь... Вот, нынче дали план на сдачу урожая с перечисленных саженцев... садовых стволов...

И только теперь Фадей Формович вспомнил, что во владениях колхоза, помимо коровников, свинарников, полей и прочего матерьяла, имеется сад. «Я у сада-палисада поднимал тебе подол. Заходил к тебе с фасада, через задницу ушёл». Кто поёт эту частушку? Ну, не Русланова же! Сам же Фадей Формович и поёт, когда идёт мимо сада.

Сразу же после войны вышло постановление правительства по всей стране рассредоточить сады. И если частные сады и малинники облагались налогом, то колхозные сады и малинники рассредоточивались бесплатно. То есть как бесплатно? Садовые плоды приукрашивал план по их сдаче. Эта почётная участь не миновала и колхоз «Заветы Ильича», облюбовавший на Западно-Сибирской низменности скромное очертание, одним боком подсунувшийся под ишимскую дурь, другим непонятно куда. Транссибирская магистраль по колхозу не проходила, только слышалась. Зато вихлял Сибирский тракт. Никакие великие люди по нему уже не ехали, а ехало начальство кустарного производства да тащились на районный базар бабы с мешками, являясь свидетелями земной и собственной скорби и легкомыслия лопочущих осин.

Сад разбили за рекой, едва минуя Репейные Горки, укло-

няясь вправо, к Индичишному логу, на лесной поляне, открывшей своё лицо всякому свежему дуновению. В колхоз заслали сажены, от названия которых во рту колхозников становилось кисло. Сад поручили блюсти Чернову Пахому Петровичу, учитывая его добросовестность и надеясь, что он не сорвёт с плодового ствола ни одного персика. Или лимона.

К поручению присовокупили берданку. Можно сказать и «переломку». Потому что при заряде берданка переламывалась надвое, так что приклад находился в руках, а дуло падало в ноги...

С берданкой и своей добросовестностью Пахом Петрович приступил к работе. Сажены обрадовались первобытному чернозёму. Зазеленели, зашумели, и никакие зловредные насекомые их не тронули пока. Все червяки и гусеницы, пичкающие себя могучей сибирской зеленью, ещё не поняли, что это такое...

К зиме сажены полагалось укрывать от морозов. Укрывали по пояс овсяной соломой. Она мельче и плотней. Поверху навьючивали мякину гороха. Всё шло самым лучшим образом. Деревья зеленели, цвели, плоды завязывались, но... не вызревали. В колхоз уже присылали план по их сдаче государству. План не выполнялся. Фадею Формовичу напомнили, что план он будет выполнять на строительстве канала Байкал – Витим. Фадей Формович напомнил Пахому Петровичу, что выполнять план он будет вместе с ним.

– Хорошо, – смиренно согласился добросовестный Пахом Петрович и закупил на торговой базе чернильного порошка, переправив базе преступным путём два персиковых ствола из колхозного плодоношения. При помощи ветеринарного шприца он обогатил недозрелые сливы разведённым порошком. Чернослив отправили на Украину с красным флагом и правдоподобным рисунком Пшебыша Пшебышевского. На сливе верхом сидел румяный сибиряк, держал в руке ещё одну сливу и надменно спрашивал: «А вот это едали?». Украина на это, слава Богу, ничего не ответила...

На другой год Пахом Петрович опять закупил чернильного порошка.

– Смотри! – предупредил его Фадей Формович.

– А ну ты! – ухмыльнулся садовод, изготавливая чернослив в укромном месте.

На этот раз отведать плодоношения приехал уполномоченный из райкома партии. Приехал он не один, а в сопровождении премии – крупногабаритного радиоприёмника «Родина». Столы накрыли во дворе конторы. От банкетной части Фадей Формович Никудышин предусмотрительно отлучился. Он ходил за конторой, масштабно курил и попутно грыз ногти... За столом кушали жареного барана и запивали его «белоголовкой».

– А где сливы? – спросил уполномоченный.

Техничка Анисья подала блюдо чернослива... Уполномоченный выпил и размашисто ткнул черносливиную вилкой... Чернила брызнули и залили его лицо вместе с медалью на пиджаке. Уполномоченного отмыли, отстирали и отправили домой с двумя жареными баранами. Но план по сдаче слив не отменили. Ещё и добавили – «...персики – десять кило, груши...».

«От хрена уши», – во внутреннем мраке подумал Фадей Формович и спросил:

– Ты, Пахом, солому завёз в сад?

– Да этъ рано ишо. Овёс только в сентябре начнут жать. Мы же завсегда деревья укрываем овсяной соломой.

– Аржаную завези! – гаркнул Фадей Формович. – Рожь-то уж всю косим!

– Аржаную-то, это, как его...

– Аржаную! – хряпнул по столу кулаком Фадей Формович, да так, что в избушке баушки Мани лопнуло стекло.

– Понял, понял! – угодливо забормотал Пахом Петрович.

В кабинет прихромал Аркаша и вывалил из кармана на стол горсть ржи.

– Попробовать не хошь? – весело спросил он Фадея Формовича.

– Я, поди, не курица, чтоб рожь-то клевать! – не выходя из душевного мрака, огрызнулся Фадей Формович.

– Да я к тому, что рожь-то нонче сухая. Как скорлупка! Погода жаркая. Благополучная погода! – распелся Аркаша.

– Это хорошо, что погода сухая, – проговорил Фадей Формович. – Это даже очень хорошо!

Глава шестая

Созвездие Тельца стояло уже высоко над головой, когда Фадей Формович проехал мост и шагом, не понукая коня, начал подниматься на Репейные Горки. Здесь он остановился и, повернувшись всем туловищем в тарантасе, посмотрел на деревню. Почему-то вспомнил, что поздней ночью, вот так, свысока, никогда и не смотрел на неё, и очень удивился обилию звёзд, рассыпанных над землёю, как с раскидистого дерева. В их свете зыбко угадывались мглистые контуры домишек, тополей, скворечен, телеграфных столбов... Глухо и сочно бурлила на мельнице вода, где-то на елани, у старого ветряка, ходил с деревянной колотушкой сторож.

– Н-ну, ладно, – сквозь зубы проговорил Фадей Формович и дёрнул вожжи.

По лесной дороге тарантас покатил бесшумно, мягко скрипя рессорами и убаюкивая покачиванием. Из темноты выплыла копна сена и проплыла мимо. За копной Фадей Формович повернул налево и поехал опять шагом. Лопушистый некошенный девясил зашлёпал по бокам тарантаса, прудребезжал под колесом обнажённый корень берёзы. Впереди сквозь осинник мутно прояснилось. Показалась поляна с одинокими деревьями. За поляной начиналось поле. Теперь казалось, там ничего нет, одна пустыня и колхозный сад посреди её... Сливы, персики...

«Лучше развести десять пасек и мёдом снабдить всех колхозников вдоволь! – невесело подумал Фадей Формович. –

Немало мёда и на одной пасеке получают, качая в год по два раза – в начале июня и в конце августа. Вот только что закончили качать августовский мёд. Десять фляг отправили в район, флягу на родном складе оставили для колхозных нужд. Колхозникам на трудодни дали – по два грамма на трудодень. У Васьки Карелина триста шестьдесят трудодней. Это он получил мёда семь килограммов, двести граммов... Хм! Двухлитровую кринку ему нацедили, что ли? А у Маньки Шиминой пятьдесят трудодней. Грыжа у неё, с метёлкой по складу ходит. Ей сто граммов, что ли, пришлось? Полстакана. Даже меньше, чем полстакана. Мёд-то тяжёлый, небось, не вода. Это сколь? На доньшке? А вот если бы по килограмму на трудодень дать, так Манька бы получила центнер мёда! Все бы наросты и нашлёпы в своём нутре при помощи мёда рассосала!.. Но сад завести решили! Персики и сливы. В сливы чернила запускали, а в персики дерьмо, что ли? Ходит Пахом, как дурак с берданкой, даже холостым зарядом пальнуть не по кому. Никто не лезет за фруктами по самой простой причине, что фруктов тут нет! И не будет его в западносибирских болотах. Будут комары, лягушки, топь непролазная, всё будет, кроме фрукта!»

В тяжёлом, озлобленном раздумье Фадей Формович остановил коня, вытащил из-под сиденья канистру и тяжело направился с ней к просвету в осиннике.

Пахом Петрович прилежно исполнил наказ, завёз солому и кучей оставил её посреди сада. А сам, конечно, убрался ночевать домой, к бабе. Да он и не ночевал здесь. Что сторожить-то? Ночное небо? Вот и шалаш его обнаружился, с облупленной крышей из берёсты.

«Зачем человека держим? Трудодни ему начисляем. Лучше на пчеловода послать выучиться», – подумал Фадей Формович и принялся растаскивать солому по всему саду. Потом ходил и поливал её из канистры. Вылив всю, бросил канистру и пошёл опять к шалашу. Ещё раз, степенно оглядевшись, чиркнул спичкой и поджёг берестяные лохмы.

Огонь весело затрещал, зачекотал, разбежался по шалашику и спрыгнул вниз.

– Ну, гори к х...ям, партейная бестолочь! – проговорил Фадей Формович и пошёл в лес, где оставил коня.

Вой огня, с треском и злобной радостью так неожиданно-негаданно вырвавшегося из утлой темницы спичечного коробка и разлившегося во всём буйстве, заставил его оглянуться. Сквозь чёрный, явственно высветленный золотой дрожью осинник на поляне всё плясало и бежало, мотаясь в жарком косматом пламени. Вот что-то лопнуло и гулко бухнуло, растрепав дымный клоч, наверное, взорвалась пустая канистра, и жирно зачмокало, убирая с пути ещё одну берестяную жертву. «Хэ-хэ!.. Его ль, бывалого диверсанта Фадея Никудышина, посмеет смутить и утратить хоть на волосок этот пожаришко!.. Хэ-хэ!..»

...Немцы вывозили румынскую нефть. Под усиленной охраной в Германию шли нефтеналивные составы. Диверсионная группа под командованием капитана Пашкова, в которой находился рядовой Никудышин, должна была проникнуть на узловую станцию, где к очередному нефтеналивнику прицепляли дополнительные вагоны и паровоз-толкач, и взорвать его.

Группа, переодетая в одежду румынских крестьян, несколько дней зорко следила за станцией из колючих чащоб акации и терновника, которыми было обсажено железнодорожное полотно.

– А что это ещё они за вагоны цепляют? – спросил Пашков и приказал взять «языка». «Языка» притащили в ту же ночь. Им оказался солдат немецкого штрафбата. Видно, что он ни хрена не знал, и сказал лишь только, что они перетаскивают в прицепленные вагоны оцинкованные ящики из подземного хранилища. А что в ящиках? Секретное оружие? Супервзрывчатка? Пленный разводил руками и по-собачьи смотрел на «румынских крестьян». Его тихонько пристрелили и забросали сучьями акации.

– Ясно, что не манная каша, – сказал Пашков. – Достаточно и того, что «язык» оказался штрафником. А штрафников на погрузку крупы не пошлют.

Как командир-диверсант, Пашков, вероятно, знал, что в марте немцы в Белоруссии взорвали какую-то сверхсекретную бомбу небывалой мощности. От взрыва всё выгорело дочи́ста в радиусе ста километров... А что если компоненты такой же бомбы они вывозят сейчас в прицепных вагонах? Но почему прицепляют именно к нефтеналивникам? Или на случай бомбёжки советской авиацией, чтоб всё выгорело? И, выгорев, не досталось врагу?

– Ничего не пойму! – признался Пашков.

– И понимать нечего, товарищ капитан! – сказал лейтенант Зернышин. – Прикажете готовиться к взрыву.

– Взрывать-то мы взорвём, а унесём ли сами ноги! – заорал издёрганый сомнениями и размышлениями Пашков. – И как бы волна этого взрыва не докатилась до фронта и не опрокинула вверх тормашками и нас, и фрицев! Что они там грузят из подземелья? Штрафники! В оцинкованной таре! Не в железной, не в деревянной, а в оцинкованной!..

Штаб запросить не могли. Связь штаба с группой с предумышленным перехватом немцами была исключена. Да и какие могут быть запросы в штаб? Приказано проникнуть во вражеский тыл и пустить на воздух очередной, самый заурядный поезд с нефтью с целью деморализации личного состава вермахта, дислоцированного там...

И тут боец Никудышин посоветовал:

– Товарищ капитан! Раз сомневаемся, что здесь взрывать, то взрывать и не будем. А проберёмся к нефтехранилищу и взорвём его. Это ещё лучше, чем состав. По ордену все получим и отпуск домой на десять дней, не считая дороги.

Пашков выслушал совет Никудышина как бред безумца. И лишь Зернышин хмуро заметил:

– Туда и невидимка не проберётся.

– А мы проберёмся! – заверил Никудышин. Он встал и, за-

голив холщовую румынскую рубаху с обтрёпанной вышивкой, потуже затянул пояс на красноармейской гимнастёрке.

– Пожалуй, так, – подумав, согласился Пашков и обратился к бойцам с речью:

– Немцы такие же люди, как и мы. И сколько бы сверхчеловеков на себя ни накручивали, никакие они не сверхчеловеки. Такой же солдат, с такой же жопой, как у нас с вами. С такой же нервной системой. Только теперь она у них послабже стала, чем наша. Бьём мы их, гадов, и бить будем! Все поняли? Теперь вот что: сожрать всё и освободиться от сожранного! Несём только взрывчатку и устройство к ней. Не дышим, не пишем! Короче, репетируем покойников!

Репетиция покойников удалась. Цистерны с нефтью, загромаждая собой небосвод, находились на берегу речушки, на той стороне. Установив взрывной механизм между ними, рвануть решили с этой стороны. Такая выгодная позиция прямо-таки осчастливила всех. Но немцы прокладывали к хранилищу дополнительный железнодорожный путь, используя на работах советских военнопленных. Бараки с пленными стояли тут же. Ясно, что при взрыве никто из них в живых не останется... Ходячие трупы в обмотках, в галифе с мотнёй ниже колен трамбовали щебёнку, укладывали шпалы, волочили рельсы, подкладывая под них деревянные катки. Стальной рельс даже десять доходяг поднять не могли. Охрана нефтехранилища вроде была небольшая, но бдительная. Солдаты маячили высоко на цистернах, оглядывая окрестность. Посмотрев на них в бинокль, Никудышин сказал командиру, что они изнывают от жары и скуки.

– Я тоже так думаю, – отозвался Пашков, глядя в бинокль. – Бдительность им остохренела. И потом, это не немцы. Это румыны. А какие они вояки, мы уже знаем.

Как не знать, если совсем недавно румынский оголодавший отряд втёрся в кукурузу прямо перед красноармейскими окопами, с хрустом ломая початки и заталкивая их под кителя, прижимая к груди, как охапки дров. И когда красно-

армейцы открыли по ним огонь, румыны бросились бежать с початками, забыв про «шмайссеры».

«Гитлеру-то в союзе с русскими надо было делить земной шар, а не с мамалыжниками да макаронниками!» – усмехнулся Никудышин, глядя то на охрану, то на пленных доходяг.

– Рвать будем! – утвердил Пашков и с отвращением сплюнул.

Рванули перед рассветом и увидели, как в котле преисподней кипит багровая речушка. Мазутный дым, как страшный кольчатый червь, попёр кверху и через минуту закрыл всю западную часть неба. Расплёскивая пламя, ахнуло ещё раз, и всё потонуло в мраке. Когда группа наконец увидела солнце, то первым делом бойцы расхохотались. И лица, и белые румынские рубахи стали чёрными, в жирных смоляных накрапах и потёках.

Наградили всех, правда, не орденами, а медалями. Ордена Красной Звезды получили лишь Зернышин и Пашков. В отпуск никого непустили. Позже, при наступлении, узнали, что рядом с хранилищем находился румынский посёлок, который после взрыва будто корова языком слизала. Сгорели и бараки вместе с охраной и пленными. Но немцы пожар потушили быстро. К тому же основная, подземная часть хранилища совсем не пострадала. Так, взлетело на воздух несколько в основном пустых ёмкостей вместе с мамалыжниками. Бабахнуло и загорелось страшно – были ещё и бочки с бензином...

Фадей Формович проехал полевой дорогой. Огонь в садике всё ещё бурлил, нарываясь на солому, разбросанную там и сям, пшикал искрами, выметал змея, и, нахвалившись собой на виду ночных деревьев, падал ниц, и, уже истощённый, застывший без настоящего дела, лениво мазал по земле кумачными лоскутьями.

У Воронкина лога молотили рожь. Увидев председателя, комбайнеры столпились вокруг него и заговорили, поблёскивая белками глаз на закопчённых лицах:

– Пожар, Фадей Формович!

– Не поймём отцедова, то ли в деревне горит, то ли где ближе...

– Вроде как сено пластало.

– Может, и сено...

– Какой пожар? – безразлично спросил Фадей Формович, сорвал колосок ржи, пошелушил его в ладонях, выдул сор и похвалил: – Хорошая рожь! Начни сыпать, зазвенит, как гусли!..

– Пожар, – опять сказал кто-то, нервно ухлебнув в себя ночной воздух вместе с пылью.

– Солому, наверное, жгут, – ответил Фадей Формович. – Ехал я от Клопова болота, видел. У Садика горело. Может, искру из трактора выдернуло...

И все, хорошо зная, что рожь у Садика обмолочена и никакого трактора с искрой там вроде нет, коллективно согласились:

– Знамо дело, искра вылетела!

– Солома-то сухая ноне...

– А солярка с хлопьями. Чадит хуже бани по-черному.

– Искры летят, того и гляди что сам сгоришь!

Глава седьмая

Молотьба в колхозе – это движение, в котором должны двигаться все, независимо от возраста и профессии. А кто сказал, что в колхозе много профессий? Профессия в колхозе одна – колхозник. Учительница Марья Ивановна уводит детей на экскурсию в поле и учит их арифметике.

– К двум колоскам прибавить два, сколько будет? – спрашивает она, построив первоклассников на обочине поля.

– Пя-а-ать! – хором орут дети.

– Рожь часто похожа на чашу, – диктует она предложение по правописанию и к белой берёзке вызывает Митю Бурова.

«Рош чясто похожа на чяшу», – пишет Митя на берёзке угольком.

Удручённая его грамотностью, Марья Ивановна впадает в ярость и кричит на весь лес:

– Сколь можно вбивать в твою бестолковую башку, что «ча-ща» пишется через «а»! Баран бестолковый! Бери уголь, пиши следующее: «Жили-шипели гуси у бабуси»...

Сбитый с толку Митя хлопает глазами, но пишет:

– «Жыли шыпели...»

– Иди отсюль, чтоб глаза мои не смотрели на тебя! – орёт Марья Ивановна, и гребёнка с бисерной розочкой в её волосах качается от клочотания её недр. – Вывела их на лоно природы, чтоб наглядно показать общественный труд. Нет, они, бар-раны, не хотят учиться!..

В молотьбу парторг Леонид Данилыч Кунцев вероломно седеет, то есть разводит в казеиновой баночке зубной порошок и подкрашивает виски. Вчера подкрасил один висок – левый, сегодня другой – правый. Техничка Анисья, заметив передвижение его седины, всхлипывает, уткнув рот в конец передника:

– Замотался товареш совсем, не помнит, с какой стороны и поседел нонче.

Пшебыш Пшебышевский рисует Дарью Петровну. Оказалось, нет портрета Маленкова на полевом стане, и Пшебышу дано задание доставить портрет в скоропостижном моменте.

Всё – в движении. На складе пыль, грохот, гуденье, топот, пенье.

– Гуля-ял по-о Ура-алу Ча-апаев-е-еро-ой!..

Бабы, сцепившись в пары, крутят ручки клейтонов. Другие плечами швыряют зерно в амбары. Третьи плечами вышвыривают зерно обратно. Дребезжат полуторки, ржут кони, скрипят телеги. Туда-сюда скачет на протезе Аркаша Сохонин и, обскакав всё на свете, не знает, куда дальше скакать. Всё – в движении.

Пекарша Катерина-Егоршиха на лопате вынимает из печи

караваи. Ах, божечки вы мои, что это за караваи!.. Горячие, пахучие, с примесью полыни, сурепки, неведомо как закатившейся по меркантильности своей в отборное колхозное зерно. Караваи обжигают руки. Оттого Катерина пляшет и прыгает, составляя караваи на лавку, и от любопытных лиц с прожорливыми взглядами, будто бы по ошибке заглянувших в пекарню, прикрывает их холстиной, сбрызнутой водой. Тут же на чугунной плите бурлят щи. Во щах мясо, свежая капуста, пшеничная крупа, надрванная вчера на жерновах самой Катериной, лук-порей и чёрт знает как попавшая муха, с утра летавшая по всей пекарне.

С двумя ажурно вознесёнными по учёному замыслу деревянными вытяжными трубами, описывая в синеве воздуха конфигурацию пароходов Кулибина, возвеличивает склад на его задворках сушилка. Эта строительная новость напрочь затоптала громоздкие сараи с печами, на лежанки которых можно было въехать на полуторке. Но не въезжали. Из-за узких дверей, предусмотренных проектом только для бабы с мешком на загорбке...

Сушилка воздвигнута с учётом двух этажей. На верхний по уютной лестнице таскают зерно в мешках опять же неугомонные бабы. Там они его пересыпают в загадочные приспособления, похожие на кормушки для телят, которыми огорожены ажурные вентиляционные трубы. В голове не укладывается, как это по особому устройству зерно медленно, в неукоснительной тяжести устремляется вниз и при устремлении иногда сушится. Да как же не сушиться, если внизу полыхает печка! При сухих дровах зерно сушится быстрее. При сырых прорастает в тёплых испарениях. Доставка сухих и сырых дров к сушилке пунктуально чередуется для изживания однообразия трудовых действий.

Выловив пальцем муху из щей и примочив палец насморком, Катерина выбегает из пекарни и лупит железинкой по рельсу, подвешенному у крыльца. Звон разносится по округе, отдаётся в осенних чащах с пьяным запахом листьев и

травы, плывёт над лугами и огородами, словно проснулась грёза того человека, который ехал по железной дороге и думал... О чём он думал? Звонит обломок рельса, убранного с железной дороги, потому что дал слабину под громадой товарного состава в свирепый сибирский мороз, и обходчик, заметив трещину, сделал вывод о несовершенстве сплава отечественной стали и, сообщив о ремонте пути, двинулся дальше, постукивая молоточком на стыках и мечтая, что придёт время, когда поезда будут летать по воздуху...

Все ушли на обед. На деревянных столах, сколоченных из новых осиновых горбылей, запылённый с головы до ног и счастливый от кушанья народ хлебает щи. В каждое блюдо налито полведра. Из блюда хлебают человек десять. Колхоз, коллектив, сообщество!.. Все вместе – за блюдо, за веру, за верность, до ветру в крапиву... Домой, из дома – все вместе.

Пока народ хлебает щи, Машенька Хмелитова тихонько взбирается по широкой лестнице на второй этаж сушилки. Сползая вниз, ей навстречу, зерно шепчет, что оно видело и что слышало, когда его убирали и везли сюда. Над колхозным привольем реет ленивая паутина. Это Богородица прядёт свою пряжу.

Машенька достаёт блокнотик, придуманный ею из школьной тетрадки, и, помусолив химический карандаш, записывает с высоты:

*«Как всё раскинулось вокруг,
Объятий не жалея.
Леса, поля, зелёный луг
Лежат, в любви шалея...»*

Машенька учится в третьем классе начальной школы под надзором Марьи Ивановны Мурзаевой. Что такое любовь, знает из уроков пения, когда Марья Ивановна переливчатым голосом, от которого звякает стеклянная чернильница на парте, заводит:

– От колх-о-озного во-о-ольного кра-ая-а...

Марья Ивановна очень любит вольный край и заставляет его любить всех, кого учит на уроках пения.

– Лежат, в любви шалея, – шепотком бормочет Машенька, грызёт карандаш и размышляет: – Шалея... шалея... луга, поля, зелёный луг в шалях. Может лучше, в полушалках? Полушалея. Леса, луга, зелёный луг, лежат, полушалея.

Она думает и переписывает в блокнотике:

«Леса, поля, зелёный луг

Лежат, любовь жалея».

Жалеют, значит, берегут. Бабушка также бережёт сдобные каральки, выглядывая в окошко, не плетётся ли её Лёлька из деревни Глухарёво на далёкую заимку Степашку, и не заворачивает ли специально в гости, чтобы слопать все каральки.

Под шёпот зерна, среди ажурных труб Машеньке хорошо жить. Весело тараторит молотилка на складе, слышится смех баб, дохлебавших щи из общего блюда и пьющих чай, заваренный из морковно-свекольно-брюквенных брикетов. Бабы хохочут, а Богородица прядёт свою пряжу. День, как церковную икону в золотых лепестках, вынесли на косогор и поставили напоказ. Сердечко Машеньки трепещет от восторга. Всё хорошо! Хорошо-то как!.. Но маленькую лазейку, совсем крохотную, почти не видимую простым глазом, меньше игольного ушка, уже прорывает в её душе нечто незнаемое, непостижимое, и оттого, что она не знает, что это такое, заставляет страдать. Это не всегда будет. Осыплются золотые лепестки иконы, помутится день, настанет ночь. Ещё не так давно Машенька была совсем маленькой, а сейчас вон как выросла, значит, изменилась, как изменилось и всё вокруг. Это не всегда будет... Чем бы загородиться, спрятаться? Но как спрячешься, если лазейка в тебе же самой?

Шуршит, сползает зерно и никак не поползёт обратно вверх, в кормушки для телят вокруг ажурных труб, придуманных человеком для украшения жизни.

Глава восьмая

В тёмный вечер, при двух керосиновых лампах, в отделении от народа состоялось заседание правления колхоза. За столом, перед чернильницей в виде орла, терзающего добычу, сидел Фадей Формович. Вдоль стены, на венских стульях, искривлённых в периоды огненных лет, когда обличительные речи разносили справедливого человека на мелкие части, теперь, вытянув лица в торжественном ожидании вопроса, расположились правленцы. С презрением на лице, что он, оглядевший землю ниоткуда и очутившийся здесь по ошибочному искривлению судьбы, сидел Данило Прохорович Буров. Рядом с ним, забросив ногу на ногу, в кирзовых сапогах с завёрнутыми голенищами и принципиально оголив коленки из-под цветного креп-жоржета, накрасив губы варёной свёклой, поигрывала взорами Зинка-блядь. По соседству с ней обречённо смотрел вперёд садовод Пахом Петрович и, примостив на самый краешек стула никчёмные та-зобедренные кости, беспризорно ютился счетовод Михаил Викентьевич Мошин, по-народному – Мишка Мандавошин. Ютился, потому что сдвинула его Федосья Захаровна Кулебякина, очень достойная женщина как в физическом исполнении, так и в общественном авторитете, кладовщица, под присмотром которой в двухквартирном амбаре навьючено друг на друга разнообразное питание. Федосью Захаровну все очень почитают. Являться к ней с самостоятельным выражением лица грозит твоим же неблагополучием. Являться к ней надо в почтенной сутулости, складывая губы половым органом какой-нибудь птички.

Парторг Леонид Данилыч Кунцев показывал себя со всех сторон под лампой, подвешенной к потолку, и в её свете маслянился всеми углами своего расположения. Седина в его волосах плутала золотой рыбкой.

Повестку дня огласил Фадей Формович:

– Первый вопрос посвящается быку Синедриону. До-

кладчик по быку заведующий фермой Яков Силыч Пишук. Второй вопрос – отчёт о пожаре садовода Пахома Петровича Чернова. И третий вопрос – нежелание трудиться в колхозе Серафима Сивцова, что расценивается как забастовка. Пригласить Сивцова на правление оказалось делом непосильным, потому что он сбежал куда-то в лес. Итак, товарищи, правление приступает к обсуждению вопросов.

Фадей Формович оглядел присутствующих и крикнул:

– Анисья! Зови Якова!

– Яка-ав! Силы-ыч! – разнёсся во второй половине конторы голос Анисьи.

– Чего ревьешь? Я вот сижу! – раздалось в ответ, и Яков Силыч, распахнув створки дверей в кабинет, где восседало правление, начал докладывать:

– Дело в том, что бык-производитель по кличке Синедрион, холмогорской породы, в возрасте семи лет, бык ещё не старый, а в самую пору, потерял управление. Видимо, в ноздрях у него произошло оупение, и кольцо, установленное там для регулировки нервов, теперь не играет никакой роли. На днях Синедрион выломал двери в молокохранилище и выпил две фляги молока. Потом всё хранилище специально задристал и вернулся на место. Уполномоченная из райкома товарищ Прокутина приехала с проверкой работы. Она потихоньку шла по проходу, осматривая коров. Синедрион лежал за кормушкой, вдруг встал и посмотрел ей в глаза. От такого вывода товарищ Прокутина споткнулась и получила растяжение ноги. В данный момент товарищ Прокутина предъявила нам акт, чтобы мы оплачивали ей вынужденное пребывание дома. Я спрашиваю – чем оплачивать? На трудодни она несогласная, а денег у нас нету. Незаслуженно получил травму и скотник Федосей Онохрин, когда шёл с красным флагом, чтоб приколоть его на здание фермы. Бык выскочил неизвестно откуда и укатал в говне Федосия вместе с флагом. Это, товарищи, не все примеры. А все примеры приводить, что позволяет себе Синедрион, у меня духу не хватает.

– Садись, Яков Силыч! – вздохнул Фадей Формович. – У кого какие предложения по поводу быка Синедриона?

– Сдать его на мясопоставки! – высказалась Зинка-блядь.

– Ишь ты, какая маршевая! – оборвал её счетовод Михаил Викентьевич. – Надо было бухгалтера пригласить, чтоб он объяснил, во скоко колхозу обошлось приобретение быка. А обошлось нам оно в пять тыщ. Это я примерно говорю. Сдадим же за сто рублей. Это одно. Второе. Ты, Зинка... Зеновья... мандариновна, видела потомство Синедриона? Телятки, как булочки! Все живеньки-здоровеньки. А телята, товарищи правленцы, наше будущее!

– Что предлагаешь, товарищ Мошин? – спросил Фадей Формович.

– Водрузить железину! И посадить Синедриона на цепь, как кобеля! – махнул кулачком Михаил Викентьевич и сел с пятнами на лице, оповестившими его возбуждение.

– А как его водить на случку с коровами? – спросила Федосья Захаровна.

– Коров приводить к нему! – сказал Михаил Викентьевич.

– А если они не пожелают? – опять спросила Федосья Захаровна.

– Как это не пожелают, если корова находится в случном варианте! – возмутился Михаил Викентьевич и покрылся пятнами ещё многочисленнее.

– Можно и так, – согласился Фадей Формович, и все кивнули головами, одобряя его согласие.

– Второй вопрос...

Тут Фадей Формович запнулся и, не объявив второго вопроса, опять вздохнул и повелел со вздохом:

– Давай, Пахом Петрович, рассказывай!

Пахом Петрович встал, одёрнул галстук на резинке, моргнул и затараторил:

– В общем, так. Я поужинал дома картошкой с груздками, взял берданочку и пошёл в лес, на своё место службы. Обошёл

сад, обошёл ещё раз, пересёк наискосок и сел в шалаше, наблюдая, чтоб не пришёл какой-нибудь вредитель. Но вокруг тишина. Я немножко вздремнул и вдруг слышу... чую запах дымка. Тут же вскочил и начал тушить огонь, но огонь уже бегал по всему саду. В резюме, сгорели фруктовые деревья... деревца... Вылетела искра из трубы трактора, а у меня там были запасы соломы для укрытия деревьев... деревец... в зимнюю пору. Их сильно повредило. Почти насовсем повредило...

– Как ты мог спать, товарищ Чернов, на посту? – разгневанно перебил Леонид Данилыч. – На посту! А ежели бы ты стоял на границе? И тоже бы заснул, а враг тем временем подогнал танки к рубежам Родины!.. Если бы...

– На границе-то я бы, товарищ Кунцев...

– Заснул бы! И всю Родину вместе с народом отдал бы врагу! Ты...

– Я...

– Ты! Ты! За свою слабость физиологии променял сад колхоза!

– Я не за слабость не...

– Судить тебя надо! – возвысил голос Леонид Данилыч и горделиво откинул голову назад, убрав золотую рыбку в сторону затылка.

– Ну-у, судить... – пробурчал Фадей Формович. – Чо дальше-то, Пахом?

– Да ничего нету дальше, – покрасневшись, зашмыркал носом Пахом Петрович. – Все деревья... деревца... у меня на подотчёте. Теперь лесоводство, поставившее их, требует уплаты. А кто будет платить, никто не знает.

– А почему лесоводство? – как с небес грянул Данило Буров, и все испуганно взглянули на него, как на архангела.

– Колхоз лесоводству заплатил, когда приобретал саженцы, – продолжал Данило. – Сгорели они от несчастного случая, как, например, может сгореть колхозная контора.

Теперь на него взглянули уже удивлённо, как на поджигателя.

– Но сад сгорел! – торжественно, как задравный тост, произнесла Федосья Захаровна.

– Да какой там сад! – поморщился Фадей Формович.

– Как это какой! – опять произнесла Федосья Захаровна. – Колхоз выполнял план по сдаче слив...

Тут Фадей Формович с Пахомом Петровичем переглянулись и во взаимопонимании возвели глаза к потолку.

– Да списать кедрене фене! – прогремел Данило Буров. Федосья Захаровна мнительным чутьём уловила, что «феня» – это она, поджала губы и окончательно спрятала их на лице.

– Списать! – повторил Данило.

– Списать так списать, – смиренно согласился Михаил Викентьевич и поёрзал на стуле, уместая свои ноги основательнее.

– И третий вопрос... У нас Серафим Сивцов не желает работать! – объявил Фадей Формович, плутая мыслями в опостылевшем саду, ругая себя, что не додумался раньше решить вопрос со сливами и абрикосами так просто – взять да сжечь к едрене фене. Он посмотрел на Федосью Захаровну, та встрепенулась ослабевшим духом, решив, что ей предлагают высказаться.

– Как это не желает? – каркнула она. Висячая лампа пошатнулась от её карканья и начала гонять золотую рыбку по волосам Леонида Данилыча.

– А вот так! – сказал Фадей Формович. – Сослать, так распоряжений таких нет...

– Заставить явиться на заседание правления и воспитывать! – приказал Леонид Данилыч.

– Да как его заставишь, если он по лесам бегают! – фыркнул Фадей Формович.

– Обрезать огород! – надоумила Федосья Захаровна.

– Правильно! – слаженными голосами подхватили правленцы. Лишь Данило Буров промолчал и пожевал губами, не то ухмыляясь, не то матерясь.

– Обрезать огород как подкулачнику подрывного действия, – продолжала Федосья Захаровна. – Раньше кулаки по лесам бегали, нонче – Симка Сивцов.

– Он ещё за телегу не рассчитался! – подал вдруг голос Аркаша Сохомин и скрипнул протезом, подтверждая, что это именно он, а не кто другой.

«Телега...» – подумал Данило Буров и дрогнул внутренностью, вспомнив, что он летал где-то в звёздах, и боясь думать дальше, чтоб не улететь снова.

– А Фёкла-то ведь Петровна робит, – сказала Зинка. – Ей-то за что огород обрезать.

– Обрежем Симке, а Фёкле оставим! – уточнил Михаил Викентьевич. – Предлагаю вынести предложение со снаряжением завтра учёточика и дополнительный надсмотр из членов правления, куда также предлагаю включить Федосью Кулебясину и Пахома Петровича Чернова. За Сивцовыми числится тридцать соток огородных угодий. Предлагаю десять обрезать, двадцать оставить.

– Кто за то, прошу поднять руки! – сказал Фадей Формович.

Все подняли руки.

– Единогласно! – сказал Фадей Формович. – Заседание правления считаю закрытым.

Техничка Анисья вымыла полы, повесила тряпку на тын и закрыла контору.

Жёлтый месяц тонул в коноплях, стучала веялка на складе, и на конце деревьев звенькала балалайка. Жгучий запах конопли и грибная влага витали в воздухе. Над землёй струился благодатный хлебный дух, в полях дрожала полынная пыль, кричали гуси.

«Хорошо да славно!» – подумал Данило Прохорович Буров, пробираясь домой по тёмному переулку. Дома лапша с гусем, пироги картовные со сметаной, грузди, опята. По радио песни поют. Баба ждёт его с правления, песни слушает. Хорошо да славно.

Глава девятая

Наутро Фёкле Петровне пришли обрезать огород. Учётчица Гутька отмахнула саженью десять соток и записала в тетрадке. Фёкла Петровна пасла на елани колхозных телят, увидела, что Гутька с саженью ходит в её огороде, прибежала и заголосила во всю мочь:

– Ты чо, дура, по картошке-то у меня ходишь!.. Иль не видишь, что картошка-то у меня не вся ишо выкопана!.. И по моркошке просапенила!.. Ково делаешь, ходишь тут, тёлка необгулянная!.. Счас как маздырну палкой-то по жопе!..

– Огород обрезаю! – оскорблённая до смерти, ответила Гутька. – По приказу правления колхоза!

– По прика-азу пра-авления! – залилась презрительным причитанием Фёкла Петровна. – Будто не знаю, кто в правлении у вас сидит! Миша Мандавощин да Зинка-блядь... Да Пахомко Золотая Пырочка! Спалили садик-то по пьянке и всё ушили-укрыли! Ишо и Феньку Кулебясину в правленье избрали... Воровку первостатейную! Все плохо живём, лишь она одна как сыр в масле катается. Будто не знаем, что и мёд, и масло из кладовок колхозных прёт!..

Вышедшие было из-за угла Пахом Петрович и Федосья Захаровна спрятались за угол обратно в смущении и стыде друг перед другом. Федосья Захаровна за такое громогласное уличение в воровстве, Пахом Петрович за прозвище – Золотая Пырочка.

Это прозвище искалечило и искривило всю его жизнь. Думал, на фронте хоть немного отдохнёт от него, нет, попали в один взвод с Пронькой Коняхиным, оба из колхоза «Заветы Ильича», одногодки и по роду войск однокашники-пехотинцы.

Поднялись под Вязьмой в бой на врага, у врага-то впереди копятят танки, и сам он, враг-то, за танками с автоматами чешет, а у наших винтовки образца русско-японской войны да бутылки с зажигательной смесью. Смесью-то ещё можешь

и не попасть в танк, а если попадётся, то надо обязательно сзади жахнуть. Потому что двигатель-то сзади, а за двигателем немцы бегут... Так они и позволят тебе замахнуться смесью на родимую технику!

Взводный Матюхин понял, что поднимает взвод на верную смерть, снял каску со звездой и перекрестился.

– Коммунисты, вперёд! С Богом! – подал он команду.

Пахом-то был коммунистом, чёрт дёрнул вступить в партию. А Пронька – беспартийный. Со звериной тоской в глазах посмотрел на него Пахом и едва не заплакал, что надо первому подставлять башку под фашистские пули.

– Ну, Золотая Пырочка, прощевай! – тоже до слёз растрогался Пронька и даже носом шмыгнул. Тут Пахом, убитый насмерть стыдом за своё прозвище, так и сел в окопе. И все забыли про него, потому что не до него было. «В Бога мать!» – заревели все и пошли на танки. И все не пришли. А он лежал в окопе и глядел на небо, где плыли грозовые облака.

«Господи! За что мне этот позор на веки вечные!» – думал он, совсем не обратив внимания, как по верху окопа, разбуровив глину, протарахтел немецкий танк, а за ним аршинными прыжками проскакали и сами немцы. И никто из них не постарался как следует разглядеть распластанного в безутешном существованье красноармейца с винтовкой девятьсот пятого года.

«Хоть бы из милосердия кто пристрелил, падлы!» – сморщил лицо от страдания Пахом, сел и долго сидел, слушал громовые раскаты боя, пока, наконец, не понял, что это не бой, а гроза. Под проливным дождём, при оглушительном треске грома он поплёлся куда глаза глядят...

И всё это нянька, Акулька Бровина, чтоб её волки где-нибудь разодрали и клочков не оставили!.. Был он, Пахомчик, ещё младенчиком, полненьким, пухленьким, как ангелок на иконе, которая висела у них в переднем углу. Явится эта Акулька к ним и начинает его щекотать, жулькать, целовать промеж ножонок...

– Золотая ты моя Пырочка! Золотая Пырочка! – приговаривает одно и то же, а сама хохочет, заливаясь. Деревенский народишко, известное дело, как что пришлѣпает, до самой смерти не отдерѣшь. Так и остался Пахом по сей день с «золотой пырочкой». И награды надевал, и в президиуме всяких заседаний сидел, вот и в члены правления почѣтно избран, а всё равно – Золотая Пырочка. Надеялся, что забыли. Может, кто и забыл, да вот Феклушка опять напомнила.

– Воровка... – пробормотала Федосья Захаровна. – Какая я воровка! Ежели народ доверил заведовать колхозной кладовой, то, значит, воровка. Скажи, Пахом Петрович, когда я что-нибудь украла?

– Не знаю, – шевельнул землистыми губами Пахом Петрович.

– Вот подойду сейчас и харкну в шары этой Феклушке! – продолжала возмущаться Федосья Захаровна. – Ежели справно живу, так сразу и воровка!

– Пойди и харкни, – прошептал Пахом Петрович и направился прочь от проклятого огорода, принадлежащего заполошной Феклушке и её балбесу сыну. Кто вот тоже знает, где Васька Сивцов? Мужик-то её? Без вести пропал... Да в плен сдался! У Власова служил!.. Без вести пропал... Никто не знает, где он. Никому неохота проследить кровообращение в Симке, в этом полудурке. Да никакой он не полудурок. Хитрец и притворщик, как его папочка. В Америке, наверное, проживает и пенсию от гестапо получает. Во как пропадать-то без вести надо! И никто Золотой Пырочкой не зовѣт! Чтоб эта Акулька бы сдохла с волками своими вместе!..

Не впервые уже приходит Пахому Петровичу мысль об отшельничестве. Как благодатно жить одному в лесу, среди осинок и берѣзок! Построить избушку на склоне Воронкина лога и жить! Только строить надо в самом углу лога, где он смыкается с Ричкой, их как бы завязывают концами друг с другом тальники и черѣмуха, пышущие безудержной зеленью, переплетясь ветками в небе и корнями в земле. Ричка

узенькая, как нож. Перешагнуть можно. Но глубокая! Если соскользнёт нога с берега, и утонуть запросто. Вода в Ричке ключевая, морозная, холоднее льда крещенского. Обхватит, как клещами, стиснет в объятиях и забулькает в уши: «Ты мой!». Не зря говорят, что в Ричке русалки водятся. Ну и пускай водятся. С чего он, Пахом Петрович, станет перешагивать через неё? Построит избушку на этом берегу, проторит тропинку в папоротниках и станет ходить за водой с берестяным туюском. Всё-то он умеет делать – и туюски, и корзинки, и дуги гнуть... Уйдёт... Да ведь баба его, Авдотья, следом потащится. Куда она без него? Можно уйти и вместе с Авдотьей, так ведь не пойдёт она в лес жить. И так куксится, что в деревне мается, всё в город мечтала переехать, на производство – на мясокомбинат или на фабрику какую устроиться, токарем ли, слесарем ли... Да ведь и внуки его Тимка с Алёшкой как будут ходить к нему в гости через зимние сугробы или летом через поля с рожью. Вдруг волки попадутся навстречу? В Воронкином логу всегда волки жили. Нет-нет да и завоют опять там... Конечно, Пахом Петрович заберёт с собой переломку... Да кто отдаст, если переломка принадлежит колхозу? Лежит она теперь всё в той же кладовой под присмотром Кулебясиной, где лежат два дробовика и ещё одна переломка, переломленная, кажись, навсегда. Все боеспособные части от ружей Кулебясина давно упёрла и продала охотникам. Эта не проворонит. Что плохо лежит, что хорошо лежит – ей принадлежит! Ещё и обижается, что Феклушка воровкой назвала. Воровка и есть!

Так в раздумьях и сомненьях Пахом Петрович набрёл на самого Фадея Формовича, взглянул на него, вздрогнул и остановился.

– А я тебя ищу! Послал Анисью, та сбежала к тебе домой, говорит, нету дома! – радостно объявил Фадей Формович. – Пойдёшь на пасеку работать!

– Ку...да? – шатнулся на ногах Пахом Петрович, не веря своим ушам, потому что всегда стремился работать на

пасеке, но все стремления его оказывались пустозвонными, потому что на пасеке свободных мест никогда не было.

– На пасеку! – повторил Фадей Формович. – Будем пасеку расширять, чтоб хлеб с мёдом кушать!

Глава десятая

Игнатий Исакович Блюхин сидел на скамеечке под берёзкой и ждал пополнения. Он, как и Аркаша, тоже был без ноги. В атаку шёл с ногой, из атаки пришёл без ноги. Остального не помнил, потому что атака проходила в беспамятстве.

Осень была в самой волнующей своей поре. Что-то звенело в воздухе или в душе, и берёзки стояли такие, что их хотелось срисовать в альбом, чтобы потом, в длинные зимние вечера с монотонным гудом телеграфных столбов и вздохами домового за печкой, открыть альбом и смотреть на них, туманно переживая чувство осени.

Осень отвлекала от личных забот. Например, как бы к семи своим ульям прибавить два или три с семьями из колхозного расплода. Пчелиный рой – не телята. Это телят можно перегнать из стада в стадо, а рой – самостоятельное сообщество. Улетел, и концы в воду. Хотя ни один хороший пчеловод такой свободы не допустит, увидит, что рой привился где-нибудь на берёзе или под крышей сарая, быстро возьмёт гусиное крыло, ведёрко с водой, сито и, обмакивая крыло в воду, сметёт всех пчёл в сито, накроет холстиной и поселит в новый улей. Обмести рой с берёзы – плёвое дело. Вот как домой его унести? Увидят, что Игнатий Исакович хромает с пасеки и несёт котомку, а в котомке жужжание и копошение, ясно, что пчёл колхозных ворует, тут же и заявление напишут куда следует. Можно пчёл ночью унести, да протез скрипит. Что это, скажут, Игнатий Исакович ходит по ночам, скрипит. Сторожа на пасеке проверяет? А сторож Ваня Шманов – полковой разведчик, партизан, едрёный чих!

Он и на пасеке никогда не сидит. То в траве лежит, караулит врага, то на берёзе сидит. С войны привык по берёзам лазить. «Берёза, – говорит, – стержень разведки».

«Своего роя придётся ждать, – подумал Игнатий Исакович. – Хотя дома пчёлы что-то не роились. Выведут матку и выбросят её через леток из улья вместе с трутнями. Или матка улетит спариваться с трутнем и не вернётся. На высоте тридцати метров блядует, сука! Так, поди, упластается, что свалится в траву и выползти не сможет, подохнет, тварь! Не роятся дома пчёлы!..»

Вообще ему было обидно жить на свете. Что вот он, колхозный пчеловод, не смеет даже пчёлки унести домой. Ох, хорошие пчёлы водились на пасеке! Среднерусские пчёлы, лучшие на свете! Падкие на любое разнотравье, особенно на гречиху. И мёд дают в смеси с гречихой – золотистый, со сквозной темнотой, пузыристо-вязкий, с горчинкой. Ох и мёд! Или серые кавказские. Эти на гречиху совсем не садятся. Зато какая у них печатка мёда! Плоская, как доска. Счерна, как икона. Кавказские пчёлы роятся не так обильно, как среднерусские лесные. Мёд от них находился на особом учёте у районного начальства и с пасеки увозился прямо в район, мимо алчной и бдительной воровки Кулебясиной.

– Ты бы мне, Игнаша, медку! – заблеет она перед каждой качкой мёда. – Того самого, мокренького-то!

Значит, кавказского. Приходилось увёртываться от ревизоров, подосланных из района во время качки мёда, и наполнять посудину Федосьи Захаровны, потому что она одна и знала истинное происхождение Игнатия Исаковича. А произошёл он из-за волчьей хватки его матушки Демьяны Онфилатьевны, с которой та любила цапнуть мужские штаны. Не все, а офицерские галифе, в которых, содрав с расстрелянных белогвардейцев, шеголяли орлы красного штаба.

Было дело, мать твою в чих!.. Прибыла красная рота расстреливать местных мужиков, мобилизованных колчаковцами в свои орды. Мужики тогда побросали оружие и задами

и огородами прибежали домой. В бумаге, согласно которой прибыла карательная рота, указывалось, что все «движимые единицы белогвардейской контры внедрены в советскую жизнь исключительно для подрыва троцкистско-ленинской правды». И подпись – Исак Шерман.

Рота отборная, в сапогах, в шинелях. Только народец в ней какой-то мелковатый. Да и непонятно, что за народишко, молчит всё. Лица будёновками закрыты и на пуговики застёгнуты. Прибыла рота и произвела обман – через сельский совет велела всему мужскому населению явиться для регистрации при раздаче земли трудящихся масс. И что вы думаете? Явились голодранцы, тля всякая, которую даже колчаковцы побрезговали мобилизовать в воинские ряды. Кому эта тля и нужна-то – ворьё да попрошайки. Забайкальский тюремщик Ванька-х... собрал в деревне всех пропойц и жуликов и повёл регистрироваться.

– Земли, братишки, наполучаем, сдадим в наём богатеям, а сами гулять будем да бабам х... показывать! – оглашал он своей агитацией и уже тише, с подмигиваниями и гримасами, мурлыкал: – Двойной процент возьмём, братишки! За землю возьмём, в законном аккurate! Гы-гы-гы!..

Толпа забулдыг обрадовалась так, что тоже загыкала, подняла на руки Ваньку-х... и донесла до сельсовета в почётном аккurate. Толпу вместе с вождём оцепил народец в будёновках и запечатал в сельсоветский подвал. Ночью выводили и расстреливали за уборной.

Демьяна Онфилатьевна, побежавшая глядеть, как будут давать землю, прибежала обратно и со счастливым прихлёбом в голосе сообщила:

– Ой, бабы, совецка власть какое облегченье нам произвела! Всех ворюг проклятых пришлѣпала за совецким отхожим местом!

– И Ваньку-х... тоже?

– И Ваньку тоже!

– Да слава-те, Господи! – закрестились бабы. – От него

и вовсе никакого житья не было. То сметаны, то масла дай... «А не дашь, – говорит, – так х... покажу». В голодные-то годы насмотрелись на его нечисть!.. Ты бы, Дема, снесла чо-нить красному-то командиру, угостила бы его за исполнительство!..

И тут же наладили кузовок со сметаной, шаньгами, две литровые бутылки с царскими орлами бражкой залили и тоже в кузовок поставили.

– Ты, Демка, нарумянся! Кунку особо нарумянь! – подсказал с печки колчаковский ордынец Макся Шубин и занавеску за собой задёрнул.

Нарумянилась, нарядилась Демьяна Онфилатьевна и почесала в сельсовет немедленно, где остановился на ночёвку красный командир. Какой командир не обрадуется приветствиям местного населения! Не только обрадуется, но и мелким смехом залъётся, если к нему среди глубокой зимней ночи заявится делегация в составе одной справной во всех местах женщины с бражкой и шаньгами.

– Цым-цым! – процымкал радостно командир, а утром проснулась Демьяна Онфилатьевна и видит, что рядом с ней голый, жёлтого цвета китаец лежит.

«Вот срам-то! – ошарашило Демьяну, будто пустым ведром по башке хватили. – С китайцем... Как это я не рассмотрела-то!.. Думала Будённый, а это – китаец!»

В самом сильном волнении слезла потихоньку с сельсоветского продавленного дивана, начала одеваться, потащила со стола цветастую гарусную шаль и стащила её вместе с бумагой. Была она бабёшкой грамотной, зыркнула на бумагу, а это список мужиков, подлежащих карательным действиям. И внизу подпись – Исак Шерман. Положила бумагу Демьяна Онфилатьевна обратно на стол и с шалью в руках шмыгнула в дверь. В другой комнате, прижавшись к тёплой печке с ружьём в обнимку, дремал часовой.

– Цым-цым! – сказал он, выставил хорьковатые зубы и ушипнул Демьяну за жопу.

Конечно, Демьяна Онфилатьевна разнесла, что всю-то ноченьку провела с красным командиром, пила вино и закусывала крупитчатыми сайками. Так бы и голосила до сих пор... Да случилась беда – опузателя она с той ночи и кинулась за советом к баушке Кулебясиной – что делать?

– Рожай! – приказала бабка. – Народу нашего русского совсем не осталось. Всё повыбили жида да китайцы.

– Ба-а-аушка Секлетинья! – заревела Демьяна. – Так ведь брехо-то моё тоже от китайца...

– От дура! – возмутилась баушка. – Кто знать-то будет? Ты сама-то кто? Русская! Эвона какая – кровь с молоком! Перепеча! Переборет кровь-то твоя китайскую, и родишь ты молодца на загляденье.

Девка, еще и не девка как следует, но уж не девчонка, Фенька, внучка Секлетиньи Кулебясиной, крутилась тут же и всё слыхала.

– А не отдашь мне цветошчатый подшалок, скажу, что от китайца обрюхателя! – шепнула она Демьяне.

Делать нечего – отдала гарусную шаль Демьяна.

Потом отдала Феньке боты на высоком подборе.

Потом – станушку с кружевами. Колечко, чулки фельди-косовые, юбку коленкоровую, юбку кашемировую, табуретку, чашку, ложку...

Младенчик вывелся чёрненьким, жёлтеньким, с косеньким разрезом глазок... И заходила Демьяна, захвасталась:

– Вылитый Мао Цзедун! Тютелька в тютельку!

Это она ходила-то и хвалилась во время горячей дружбы с Китаем, во время пения «Москва – Пекин». А тогда-то, при рождении-то младенчика, съёжилась, сгорбатилась, будто столетие справила.

– Как звать-то? – спросили в сельсовете, выдавая документ на производство гражданина Советской республики.

– Игнатей... Игнаша, значит... – шмыркнула носом Демьяна.

– А отчество?

– О...о...о... – потянула она из себя, но вспомнила бумагу с подписью Исака и сразу же проявила находчивость. – Исакович! Игнатий Исакович!

– Не от Исака Шермана? – спросил сельсоветский конюх, всё тот же Макся Шубин.

– От него! От него! – закивала головой Демьяна. – Он был моим дружкой... Мы с ним, бывалочи... Ха-хи-хи... Ой, как вспомню!.. Орден имел! Ха-хи-ха!..

И как только выскочила за порог, Макся оскалился и плюнул:

– Кровопиевец ишо был какой! Гумаги к расстрелу подписывал, сколь нашего брата угробил. Сам-то в кабинете сидел, а расстреливать китайцев посылал. Русские-то красноармейцы, бывало, и жалели, не расстреливали, отпускали. Свои же люди-то, православные. Ишь, блядюга! Пробралась как-то и к Шерману, подвалила манду. Ишо и дитёнка от него принесла. Ишь!

– На хорошее содержание надеется, – сказала секретарша сельсовета.

Но хорошего содержания Демьяна Онфилатьевна не получила. Исаак Шерман, поголовно истребляя мужское русское население, никогда бы не поднатужился облагородить своим семенем русскую бабу. Даже потому, что выполнял почётную миссию председателя ревтрибунала. Полукровок, замутивший иудейской кровью славянскую кровь, славян он истреблял с мстительным остервенением.

Впоследствии Демьяна Онфилатьевна, умудрившаяся сыскать кержака Антона Блюхина, благополучно вышла за него замуж, объявив в деревне, что это и есть самый настоящий отец её Игнатия, командир той самой красной роты, расстрелявшей когда-то воров и бандитов колхозной местности. Деревня слушала и соглашалась, но про себя говорила, что сынок её от Мао Цзедуна.

Глава одиннадцатая

В лесу послышались голоса, и вскоре на тропинке в кружеве берёз объявились Пахом Петрович и Данило Прохорович. Они шли и о чём-то громко говорили. «Вот и пополнение!» – обрадовался Игнатий Исакович, зная, что пополнение к нему идёт в количестве одной штатной единицы, а Данило Буров – сопровождающий единицу и самый желанный гость на пасеке. Если бы берёзки и осинки могли писать заявления в госбезопасность, не жить бы на этом свете двум лесным говорунам! Но молчит верный лес, молчит трава... Оттого, что молчат, и являются друзьями человека.

Данило Прохорович частенько посещает пасеку, плотничая там. Ульи, рамки, кадушки – его ремесло. Хоронится в каморке одного из омшаников и ведёрная корчага с пьяным мёдом. Никто про это не знает – даже госбезопасность!

– Здорово, Игнатий Исакович! – в один голос проговорили прибывшие гости.

Данило Прохорович снял с плеча ящичек с плотничьими инструментами, Пахом Петрович подал предписание от Фадея Формовича, в котором повелевалось оформить товарища Чернова Пахома в качестве второго пчеловода ввиду расширения колхозной пасеки. Поскольку оформление началось уже осенью и пчёлы скоро лягут в спячку, то товарищу Блюхину Игнатию Исаковичу вменяется в обязанность проходить с товарищем Черновым Пахомом Петровичем, заочным слушателем пчеловодческой отрасли при Ишимском сельскохозяйственном техникуме, курсы по практической линии, чтобы весной он уже самостоятельно приступил к осуществлению на деле этой практической линии...

Игнатий прочитал предписание и сказал:

– Пчёлы в спячку не ложатся. Они, как мотор природы, жужжат день и ночь.

Все помолчали, слушая атласный перелив берёз.

– Погода-то какая приворотная! – с восторгом отозвался Данило Прохорович.

– Да, – согласился Игнатий и похромал в омшаник за мёдом.

– Хорошо, что пасека в лесу находится, а то Ванька Шманов прикатил бы сюда немедля, – сказал Данило. – Он ведь на крыше у себя сидит и в телескоп смотрит, кто куда идёт и куда едет. Телескоп изготовил из очков! С войны их принёс, целый мешок. Вставил в трубу из-под самовара, каким-то манером расположил с увеличением дистанции, сидит и смотрит.

– Башка-то у Ваньки есть, да маленько к жопе повёрнута! – вздохнул Пахом. – На Луну глядит и говорит, что Луна похожа на Землю. Те же моря и океаны. Только людей не видно, не увеличивает телескоп людей. Мощностей не хватает.

– Эх-ха-ха! – вздохнул и Данило. – Ежели Бог и есть, то Земля, как мячик, в Его руках. Подбросил, вроде летим. Потом опять в руку поймает. Чо дале сделает, никто не знает.

– Учёные изучат, – подсказал Пахом.

– Чо они изучат! – усмехнулся Данило. – С такими же чувствами, как мы с тобой. Это ведь вроде как божьей коровки, которая и в тле видит добро, потому что тля для неё как пища. Ест её и изучает. Так и учёные. Изучение кормит их, выдаёт жалованье, орденами премирует...

Прихромал Игнатий с корчагой, поставил корчагу на колченогий столик под берёзой, из-за берёзы вынул гранёные стаканы.

– Ну, мужики, с Богом! Подобру-поздорову!

Закипел, запузырился мёд в стаканах, продрал нос буйным духом, взвеселил мозги и мягкой зверушкой убежал в ноги.

– Кон-цен-тра-ция пчелы! – возвестил Игнатий. – Весь её наглядный факт отдавать себя во благо человеку без всякой корысти. И, мужики, вот что: не человек – создание Божье, а пчела!

Поговорили, покивали головой, попили ещё медку.

– Ну чо, айдате глядеть поляну! – предложил Игнатий.

– Айдате глядеть! – в голос отозвались Данило с Пахомом, встали из-за столика и пошли по тропинке за частый осиновый лесок.

На поляне решено было разместить новую пасеку, и не зря она называлась Золотой. При царе её назвали Чудотворной, будто объявлялись на ней всякие чудеса. Никто их не видел, и потому чудеса придумывались, отчего поляна казалась ещё чудотворней, выявляя через себя все мечты и томления тутошнего народа. Потом советская власть заклеимила позором всякое чудотворство, потому что единое чудотворство на свете – сама советская власть. А поляна существовала! Будучи комсомольцем, Сано Урушкин предложил назвать поляну именем Ленина. Но его сурово осадил уполномоченный из райкома:

– Ещё чего! Будем поляны какие-то именем вождя называть! У нас ещё в городах не все площади и переулки названы именем Ленина!

Уже после войны председателю сельсовета Николаю Харитоновичу Зыкову приснился сон, будто лежит он в своей горнице весь в орденах и медалях под иконами и помирает. А Николай Харитонович действительно хворал, только никому не сказывал, чтоб с поста его не сместили. Слабость и наступление старости чувствовал, хотя и сорока ещё не исполнилось. Война всю радость к жизни отбила! Снится, значит, ему... Приходит в горницу старичок с охапкой люцерны и советует: «Попей сок из этой травки. Горькая она, но пить надо. Живо на ноги поставит тебя. Растёт люцерна на поляне, за пасекой, и поляна вся золотая от неё».

Проснулся Николай Харитонович и тут же отправился за травой. И правда, поляна золотилась от люцерны, коровяка, зверобоя. Нарвал травы Николай Харитонович, выдавил через мясорубку сок ипил помаленьку... Потом стал пить каждый день. Сначала по ложке, затем по стакану. И сразу

залился по щекам румянами, залоснился и расцвёл телом. И вывесил по местности распоряжение от сельского совета, чтоб поляну по правую руку от пасеки, когда на неё идёшь, называли Золотой.

– Вот здесь и поставим ульи, – сказал Игнатий Исакович и ткнул костылём в осеннюю траву. – А дале гречиха, в лесу иван-чай, по вырубкам осот... Кладовка для пчелы! И мы с мёдом будем. Молодец наш председатель, что решил эксплуатировать пчелу по-человечески.

Пока мужики ходили по пасеке, за ними из кустов подглядывал Сима Сивцов. Поляна тоже была его достоянием. Они тут с матерью сено косили, и с того сена, как в сказке, поправлялись всегда их коровёнка и овечки. Сено, конечно, не разрешали косить колхозникам для личного хозяйства, пока колхоз не накосит, а для колхоза косили до самого снега. По утрам морозец воду прихватит в кадках и гуси, направляясь к реке, хрупают ледком у берега, только тогда разрешали:

– Можете косить!

Когда? Уборка хлеба началась, картошку пришло копать, рвать лён, турнепс, горох крючить, день-деньской махать горемычным бабам деревянными загогулинами, наматывая на них спелый, ручьём вытекающий из стручков горох. Но и без сена не оставались. Летом, наломавшись на колхозных покосах, прикашивали для себя тёмной ночью. Пройдут покос, слушают – не бренчит ли где тарантас уполномоченного, не фыркает ли его лошадь? Нет, не бренчит. Лишь воют волки в лощине да пыхает паровоз на далёком разъезде.

Так же косили на Золотой поляне и Фёкла Петровна с Симой. Ночью Сима, если его не посылали на ток после дневной колхозной косьбы, сено вязанками стаскивал домой. Через речушку и черемошник, подпоясавшись верёвкой, ходил на поляну, скатывал медовое, пересыпанное звёздной пылью сено, как половик, увязывал и, подняв на загорбок, шёл обратно. Оттого и овечки с коровой поправлялись, что Сима для них натаскивал сена вдосталь. Другим колхозникам только

ещё косить разрешено, а они уж с матерью накопили, перетаскали, спрятали – копёшку на чердак, другую в сарайку и дровами забросали, третью – за сарайку, под назём да картовник. Приехал уполномоченный, понятых с собой взял – Феньку Кулебясину да Сана Урушкина – и начал проводить конфискацию личного сена в пользу общественного скота. Подвернули к Ване Шманову, а Ваня стрельбу из какого-то оружия открыл, пока предупредительную – в воздух. Одна дробица, величиной с пуговку, ударилась о железную крышу Федосьи Кулебясиной, отскочила и сняла с головы уполномоченного официальный головной убор – мерлушковый пирожок. Поехали к Фёкле Петровне. Та стрелять не будет. Там безопаснее для здоровья конфискацию производить.

– Где сено, Сивцова?

– Нету сена.

– Как нету?

– А так, нету.

Приступили к обыску. Правда, сена нет. Тут дровишки, там назём. Проверили корову, как она выглядит. Коровы сытая, жуёт жвачку и перекачивает волны по своему телу. Овцы в клубок сбились. Тоже сытые, длинношёрстные. Старшая овечка глядит на уполномоченного и ногой сердито топает.

– Чем кормишь, Сивцова, своих зверей? – удивился уполномоченный.

– Звери в лесу бегают, а это – домашние животные, – ответила Фёкла Петровна. – Польностью кормлю. В морозы от полыни овцы только крепчают. Корове картошку даю с крапивой. Вон у меня с лета цельный воз крапивы засушен. Вы бы тоже для колхозных-то коров крапиву заготавливали. Очень полезительна. Сами едим и скотину кормим.

По-всякому изворачивалась Фёкла Петровна. И скотину держала, и сына малолетнего на ноги ставила. Подрок Сима, налился мужской кровью, тоже начал изворачиваться. Сделает глаза полоумными и смотрит на начальство, не мигая. Начальство тоже смотрит и думает – дурак. Вон и дед Осип

при начальстве тоже никого не видит и не слышит. Как начальство уйдёт, ухмыльнётся и начинает про интересное рассуждать.

– Что же это они по поляне ходят? – пробормотал Сима, передвигаясь за мужиками в кустах. – И Золотая Пырочка тут же... Сад спалил, теперь на поляну пожаловал. Данило Буров... От, артист! Вокруг, говорит, Земли облетел. Шар она, Земля-то!.. А-а-артист!..

Сима подождал, когда уйдут мужики, и направился к тому месту, где он раскапывал поляну с самой дальней кромки. После того как у них оттяпали десять соток огорода, он сказал матери:

– Не горюй! Мы найдём себе земли под картошку. В лесу её много.

Раскопанная кромка чернела в побуревшей траве, как смола. И пахла она сырым мхом и грибами. Цзинькала синица, садясь то на одну ветку, то на другую. Сима копал, сбросив рубаху, золотисто переливаясь на осеннем солнце. Вскопав сотки три, он сидел и слушал землю. Она брала за сердце своим потайным ропотом, вытесняя из человеческого существа всё лишнее, которое налипало на него в беготне и крученье. Земля не изнашивает. Земля омывает. Изнашивает нужда, изнашивает страх перед миром, отчего человек защищает себя трудом на земле. В нужде он рвёт её плугом, скребёт бороной, выворачивая нутро и выскребая его, как горшок. Таскает кули то в одну, то в другую сторону, надрывает свою систему, валится с ног и умирает...

«На земле надо работать без суеты», – подумал Сима и вспомнил, как работал Пшебыш Пшебышевский, расписывая просмолённую сосновую доску образом Божией Матери с младенцем. Доска сияла, источала лучи. Тоненькие, крохотные, они брызгали, как искры. И сам Пшебыш тоже светился... Сима с восторгом и испугом глядел на него, пересчитывая все его косточки, суставы, сухожилия, удивлённый и потрясённый сложным устройством человеческого орга-

низма. И другое существо, бестелесное, призрачное, медленно и ровно билось в нём, освещая, как лампой, тёмную кровяную плоть.

– А что это в тебе, Пшебыш? – спросил Сима.

– Где? – не понял Пшебыш, повернул к нему голову и капнул краской себе на штаны.

– В тебе... Светлое. На облачко похоже.

– Это вдохновение, – сказал Пшебыш и стал писать по доске дальше.

«Вдохновение...» Так надо работать и на земле, проявляя из ничего, из воздуха её образ, и, когда он засветится, можно отступить от него и удивиться.

Сима встал, нарубил тальника и обозначил вешками делянки. Здесь он посадит картошку, здесь огурцы, здесь горох, здесь репу. Хороший огороδικ он себе придумал! Пусть идут правленцы и обрезают. Если, конечно, дознаются...

Глава двенадцатая

В эту осень впервые за всё время колхоз «Заветы Ильича» собрал небывалый урожай. В конторе, закрывшись на крючок, сидели Фадей Формович, Леонид Данилыч, Михаил Викентьевич и бухгалтер Захар Егорович Егоршин, муж Катерины-Егоршихи, к тому же мужчина, который не любил на работе шутить шутки. Сидели, считали, сколько дать на трудодень каждому колхознику.

– Пшеницы по два кило, ржи по два кило, гороха по три кило, – со знанием ответственного момента и профессиональным бульканьем выщёлкивал на счётах Захар Егорович.

– Многовато три-то! – подал голос Леонид Данилыч, маясь в скуке без присутствия бабьего пола и спрятав выбеленную прядь под картуз, потому что мужики ничего в мужской красоте не понимают.

– Ничего не многовато. Горох тяжёлый, как охотничья дробь, – проворчал Захар Егорович и забулькал счётами дальше. – Ячменя по килограмму, овса по килограмму. Масло рыжикового по стакану на трудовень. Подсолнуха по сто граммов...

Сидели всю ночь, рассчитывали, выверяли, составили приказ и тут же, переписав его набело, вывесили на стене конторы – радуйтесь, товарищи колхозники, и славьте своим трудом товарища Маленкова, провозгласившего в стране отдохновение от налогов и разрешившего питаться заработанным хлебом столько, сколько влезет.

– Хорошо жить начинаем! – сказал Фадей Формович, извлёк из ящика своего стола поллитровку, запечатанную белым сургучом, подал Михаилу Викентьевичу. – Сколупывай! Да пошарь за перегородкой, там хлеб и жареная утка.

И, выпив, молодецки благовестил, промокая румянец на лбу старой ведомостью:

– Вторую пасеку откроем в то лето! А через то, глядишь, и третью. Сколь у нас в колхозе полевых бригад? Три. На каждой бригаде – по пасеке.

– Ты шибко-то не зачихивай, Фадей, – проямливая утку, сказал Захар Егорович. – То ты с одной пасеки мёд сдаёшь государству, а будешь сдавать с трёх. Чем больше пасек, тем больше и план. А ревизоров скоко наедет! А проверочных комиссий, уполномоченных и прочих крохоборов!

– А вот ежели одну-то пасеку спряташь бы, – сверкнул глазами догадливый Михаил Викентьевич. – Чо докладывать-то, сколь в колхозе пасек?

– От партии и правительства? – грозно спросил Леонид Данилыч. – Это уж саботаж, товарищи!

– Пошто от партии и правительства-то, – спохватился Михаил Викентьевич. – Партия и правительство в Москве живут, у них там своего мёда хватает, а мы тут у себя дома потихоньку, полегоньку...

– Партия живёт повсюду! – перебил Леонид Данилыч.

– Ладно! – сказал Фадей Формович. – Всем мёда хватит. Надо будет десять пасек, заведём десять.

– Товарищу бы Маленкову ходака направить с бидончиком мёда, – маслянистым голосом проговорил Михаил Викентьевич.

– Направим! – сказал Фадей Формович. – Не сады разводить, а пасеки. Какие сады в Сибири! Их отродясь тут не бывало...

– Не скажи-и! – встрял Захар Егорович. – У купца Ширшова вона какой сад кипел. И по сю пору бы кипел, если бы активисты не вырубили.

– Калина да черёмуха, – изобразил на лице кислое выражение Фадей Формович. – Плодово-ягодная поросль. У нас этих плодово-ягодных культур по лесам в дикости пребывают целые чащобы.

Выпили «белоголовку», съели утку, смахнули крошки со стола и в самом благополучном душевном равновесии разбрелись по домам. Фадей Формович лежал на перине, глядел в прорезь кружевной занавески на мигающую звезду и скорбел со всей жалобой сердца: «Вот если бы никаких райкомов и надсмотрщиков, вот если бы самому владеть, как в ранешное время, быть купцом или заводчиком, тогда бы жил не тужил. Я бы завёл пасеки, а мёд бы продавал американцам... Сибирский мёд! В берестяных туюсках, с этикеткой для обширного разглашения о качестве мёда!.. Вот было бы жить совсем радостно!».

Приказ о разделении урожая по трудодням утром читал весь колхоз.

– Собрание надо собрать по этой надобности! – приказал Фадей Формович, и пошла тарабанить батожком Анистья по оградам и палисадникам:

– На собраннё! На собраннё!

Перед народом, набившимся в клуб после работы, Фадей Формович огласил:

– Мы сегодня собрались сюда по поводу хорошего урожая и по поводу выдачи его на трудодни...

– Читали приказ, товарищ Никудышин! Читали! – поддержал народ.

– Я токо одной пшеницы двадцать центнеров получу! – завизжала учётчица Гутька. – У-уй!.. Патифон куплю с Лидией Руслановой, чтоб на всю деревню разносилось! Платье креп-жоржетовое и тюфли на высоком клябуке!..

– А я койку с панской сеткой и шифоньер с зеркалами, – докладывала в другом углу Зинка-блядь.

– А мне дочь заказала книжек набрать в «Кагизе». Тётка Фетинья уж нашла покупателей на зерно. Овёс в заготконтору продам для их гужевого транспорта, пшеницу на мельницу в Быстринку, – говорила Марья Хмелитова. – Себе мешка два обменяю на муку-сеянку, чтобы блины пекчи...

– Я почитал, так у меня зерно вообще сыпать некуда, – хвалился Василий Карелин. – Казёнку засыплю, завозню засыплю, в горницу придётся сыпать. Половину тоже продам и мотоцикл с люлькой куплю.

Брякнул колокольчик, и все расслышали: «Трудоденннь!». Вытянув лица, затихли, застыли. Из-за красного стола поднялся Фадей Формович и торжественно начал:

– Ввиду распределения урожая на трудодни перед скорым выходом к нам навстречу праздника Октябрьской революции считаю собрание открытым!

От хлопков в ладоши погасла керосиновая лампа на стене.

– Завклубельщица, освети помещение! – крикнул Леонид Данилыч и вольготно расстегнул пиджак шире, чтоб всем стало доступно смотреть на его галстук с демократическим цветком посередке.

– Итак, товарищи! Ввиду колхозного сплочения ещё раз доказано, что мы можем получать урожаи, которые в одиночку получить невозможно, – продолжал Фадей Формович. – Приспело время и нам вдоволь надышаться зерновым духом!

В это время по красному кумачу к нему при помощи рук членов президиума подъехала записка. «Как я пощытал, на трудодни определили весь нынешний урожай. А чем будем выполнять государственный план?» – было прописано в записке рукой Захара Егоровича. Фадей Формович прочитал и охнул. «Едри твою мать! А про государство-то забыли!» – продрало его пламенным жаром и тут же обдало морозом. Он выдернул из чернилки ручку с раздавленным пером и, брызгая кляксами, послал в ответ: «А ты, мудака, о чём вчера думал, когда распределял зерно по трудодням?» – «А я-то при чём? Я-то откуда знаю, сколь у тебя на балансе имеется?» – тут же пришла записка от бухгалтера. «Мать вашу в распупырку!» – расписался Фадей Формович и стукнул кулаком по трибуне.

Народ подумал, что он стукнул от избытка души, и захлопал ещё громче. Снова погасла керосиновая лампа.

«Ищы выход!» – пробежала по рукам членов президиума очередная записка.

«Об чём вы любезничаете?» – немедленно поинтересовался Леонид Данилыч на обрывке районной газеты и послал Захару Егоровичу.

«Хлеб-от весь колхозный посулили людям. А государству чо?» – ответил Захар Егорович на обратной стороне.

«И чо теперь делать?» – спросил Леонид Данилыч.

«Ищы выход!» – написал ему Захар Егорович.

«Какой?»

«Ты партейный секлетарь, на то и находишься промежду народом, чтоб искать выход».

Переписку в верхах красного стола углядел Ваня Шманов и крикнул:

– Эй, товарищи начальники! Среди вас там нет ни одной женщины, а вы обмениваетесь рукописными известиями, как на любовном свидании! Не войну ли германец нам опять объявил? Ежели войну, то признайтесь сразу!

«Ищы выход!» – свирепо напомнил бухгалтер Леониду Данилычу.

Леонид Данилыч загрузил, но встрепенулся, спрятал цветок на галстук, чтоб не расшатывать народ легкомыслем, поднялся и огласил севшим до женского подобия голосом:

– Товарищи! Я сегодня с самой середины дня ношу в голове текст телефонограммы, поступившей из райкома партии, и наконец с восторгом зачитываю её наизусть: «В связи с разрушительной интервенцией сэшэа в недрах корейского народа и во имя войны, развязанной американскими зверюгами, мы, нижеподписавшиеся трудящихся масс колхоза "Заветы Ильича", добровольно отделяем половину трудодней в честь многострадальной Кореи. Да здравствует мир во всём мире!».

В гробовой тишине послышалось, как скребётся мышь за углом.

– Как это отделяем? – спросила Гутька-учётчица. – И как дойдут наши трудодни в многострадальную Корею?

– Мы отделяем половину причитавшегося нам на трудодни урожая и отсылаем в многострадальную Корею водным плаванием! – нашёлся что сказать Леонид Данилыч. – Кто за войну, может не отделять! Кто за мир, тот отделяет!

Мышь заскреблась сильнее.

– Да лучше мир! А то мериканцы придут и вторую половину выгребут, как выгребали партейцы! – раздался голос Федосьи Кулебязиной. – Записывай, Левонид Данилович, меня впереди всех. Я отделяю!

– А я чо, без патифона останусь? – спросила Гутька. – Патифон в Корею отправлю, а сама чо слушать буду?

– Так ты патифон-то в Корею не отправляй! – хмыкнул Данило Прохорович.

– А чо отправлять?

– Хлеб.

– А сама чо ись буду?

– Щы хлебать с капустой.

– Давайте лучше щи отправим в Корею! – не унималась Гутька. – А хлеб себе оставим. А потом, товарищы, хлеб-от сначала надо получить, а уж потом отправлять мореходным плаваньем. А мы его ишо не получили...

– Колхоз отправит! – рявкнул с места Захар Егорович.

– А я...

– Она у нас за войну! Так и запишем: Августа Утякова за войну – и выключим из членов вэлэксэм! – окончательно опомнился на трибуне от развернувшихся событий Леонид Данилыч.

– В таком случае пушай сдаст колхозное имущество – сажень учётчика, с которой она разгуливает по полям при обмере площадей, вспаханных трактористами, и всегда недомеряет, потому что ходить неохота! – прокричал Ваня Шманов. – Я воевал и знаю, какво на войне. Но хлеб свой в многострадальную Корею отправлять не стану по причине ранений и партизанской льготы. А Гутька за войну, так пушкой идёт в партизаны в сшаа!

– Да я с чего за войну-то! – заревела Гутька. – Отец у меня погиб, два брата погибли, дядька Евдоким в танке сгорел, Мишка, двоюродный брат, под танк бросился, тётку Шуру немцы на берёзе повесили... Корейцам бы такое пережить! – И, наступая на ноги колхозникам, Гутька вышла из клуба. Следом за ней стало выходить всё собрание. Один президиум посидел, помолчал и тоже вышел.

На другой день к колхозной конторе подъехала легковушка. По цвету сажи Фадей Формович смекнул, что она является собственностью органов госбезопасности. Он вспомнил поджог сада, вздрогнул всем сердцем и перекрестился перед портретом Дарьи Петровны, изображающей Маленкова. В кабинет вошли, слава богу, уполномоченный райкома партии и инспектор по делам уголовников. И лишь за ними на блестящем чёрном плаще блеснули погоны госбезопасности.

– Мы на попутке, – сказал уполномоченный. – Слыхали,

слыхали о героическом милосердном почине по отправке хлеба в многострадальную Корею!

Лицо между погонами госбезопасности расплылось в поощрительной улыбке.

– Вот тебе, товарищ Никудышин, план отправки хлеба в Корею, – продолжал уполномоченный. – А это – план сдачи хлеба государству за нынешний год. Мы его пересмотрели в райкоме и немного снизили за счёт плана отправки хлеба в многострадальную Корею.

– А-а! – только и произнёс Фадей Формович.

– Тепло-то как у вас! – похвалило лицо между погонами, поглаживая печку-голландку перчатками. – Дымком пахнет. Сразу чувствуется, что берёзой топите. Хорошее вещество берёза! Я люблю с веничком в баньке, с пивком, копчёной севрюжкой! Самое то, под парок-то, товарищи!

– Гы-гы-гы! – залился дробным гоготанием инспектор уголовников. – Я тоже баньку-то уважаю! С пивком, щуругачкой!.. Гы-гы-гы!..

Вечером опять отправилась стучать палкой по оградкам Анисья:

– На собраннё! На собраннё!

Люди опять повалили в клуб толпами. Леонид Данилыч Кунцев, на этот раз в самом закономерном обличье, без вольнодумного цветка на галстук, а, наоборот, обмундированный в защитную гимнастёрку на манер военной жизни, встал и сказал:

– В целях прискорбной вести должен донести до вас, товарищи, что мы одну половину трудней передали в фонд корейского населения, искалеченного войной со стороны Америки. А вторую половину отдаём в закрома Родины!

– А мы как? – опять выступила Гутька.

– А что мы? Что мы? – набросился Леонид Данилыч. – С песнями да плясками войну выиграла, а тут закусили у колхозного президиума. «Мы» да «мы»!.. Ты, Августа, луч-

ше бы шила себе платье из креп-жоржета для выступления на сцене в праздник Октябрьской революции!

Глава тринадцатая

Как-то, втаскивая мешок с зерном на верхний этаж сушилки, Марья Хмелитова почувствовала течение крови в обратном направлении. Она уронила мешок и сама упала. Это событие обнаружил Аркаша Сохомин, он подскочил к Марье на одной ноге и спросил:

– Маруська, чо с тобой?

– Кровь... кровь не так обороты по телу делает, – пролепетала Марья, вытирая подолом испарину на лице.

– Наверное, малокровие! – основательно вздохнул Аркаша, подставляя под неё костыль. – Держись да подымайся! И домой иди, полежи от малокровия да моркошки сырой поешь.

Марья полежала, поела моркошки. Потом её призвал в контору Фадей Формович и сказал:

– Думаю перевести тебя на лёгкий труд. Дояркой на ферму. Коровы не мешки, их таскать не надо.

Марья ушла, опять полежала, поела моркошки и утром отправилась на ферму. Заведующий фермой Яков Силыч Пищук распорядился:

– Вот твоя группа коров. Двадцать одна голова. Доится пока шашнадцать. Четыре стельных. Одна никакая. Пусть живёт пока. Там увидим, какой она станет.

Коровы звякали цепями, на которые были привязаны, рылись лицами в кормушках, бурно мочились и шлёпали испражнениями на весь коровник. Через проход, напротив Марьи, стояла на цепях группа Зинки-бляди. Сама Зинка ходила с вилами за кормушками, расталкивала сено перед каждой коровой и пела частушки:

*– Над деревней в воскресенье
Растерзалась тишина,*

*То у Сени, мово Сени
Зазвенели ордена.*

– Вот вёдра и скамеечка. На скамеечку садись, а ведро ставь меж коленей. Коли корова подымет заднюю ногу, то ударит по дну ведра. А если ведро не будет стоять у тебя меж коленей, аккуратно в него наступит, – наказывал Пищук.

– Чо ты меня учишь! – ответила Марья в испорченном настроении. – Будто я коров не доила! Десять лет доила, пока не перевели на лёгкий труд в сушилку.

– Я должен провести инструктаж только что поступившей доярке...

*– Вы пляшите, подцаны,
Никого не бойтесь!
Ежели спадут штаны,
Вы не беспокойтесь! –*

пела Зинка. Коровы слушали частушки и ели сено.

До начала дойки оставалось ещё пятнадцать минут. Марья взяла метлу и начала сметать коровьи испражнения в жёлоб. Деревянной лопаты специфического назначения ей не досталось, а достался пропеллер от самолёта, переделанный в специфическую лопату. Откуда он взялся, никто не знал. Говорят, прилетел сам.

Марья очистила территорию, которую занимала её группа, улыбась из кадушки и начала надевать рабочий халат, выданный ей Пищуком. Халат спустился на пятки, не сошёлся в талии, хотя Марья выглядела в завидном худосочии, нажитом на сушилке, и рукавами ушёл в темноту...

– Для телефонного столба, кажись, шили эту лопатину, – проворчала Марья и взялась закатывать рукава, вытаскивая их из темноты. Керосиновые фонари «летучая мышь» светились во мраке коровника. Коровы ели сено, Зинка пела:

*– Трактористы в поле пахнут,
Гусеницей двигают.
У киятра девки пляшут,
У них титьки прыгают.*

Одолев сопротивление халата, Марья взяла скамеечку, ведра и села под первую корову. Одна ножка у скамеечки тут же отломилась. Марья одолела и это сопротивление, приспособив себя сидеть на трёх ножках. Но меж коленей ведро из-за этого приспособления поставить уже не смогла, и на пятой минуте доения корова аккуратно наступила в ведро.

– Ах ты, сука такая! – обругала Марья корову, извлекла её ногу из ведра, увидела в молоке ошмёт испражнения, встала и лупценула корову по боку пропеллером.

– Чтоб ты сдохла, проститутка Синедриона!

По проходу прохаживался наблюдатель за доярками – скотник Сано Урушкин, маломальский мужичонка с голой головой и партийным билетом. Он остановился возле Марьи и обозначил себя распевным назиданием:

– Моло-ко надо выдаи-вать до основа-ния. Без выдойки до ос-но-ва-ния в тить-ках про-изведутся го-ро-ши-ны!.. Что при-ведёт к раз-валу со-ци-алис-ти-чес-кого ста-да!..

*– Я надену белу блузу
Да пройдуся по селу.
У Советского Сюза
Научилася всему, –*

выводила Зинка под журчащую воркотню молока, упруго бьющего в подойник.

– Ты бы, Зенша, пригласила меня как-нить к себе. Частушки послушать, – повернулся к ней Сано и замаслился, зарумянился, что вконец переделало его внешний вид в поросёнка.

– Ишь, какой доброволец! – хихикнула Зинка. – У меня, поди-кось, без тебя слушателей-то хватает!

– Так и меня присовокупь к ним! – мерцал румянцем Сано.

Марья уже доила вторую корову и, подоив её кое-как, перешла к третьей с военно-морским названием – Торпеда. Название соответствовало корове. Она стояла, повернувшись не мордой к кормушке, а правым боком, с которого Марье надо было подобраться к её вымени. Торпеда зловеще выжидала. Марья вежливо потрогала её по кострецу и попросила:

– Ну-ка, Торпеда, двинься! Ногу! Ногу! Чо ты ногой-то вымя заслонила? Ногу убирай, говорю!

Торпеда, притворяясь глухой, упрямо находилась в прежней стойке. Марья протиснулась к кормушке и изо всех сил начала её толкать оттуда.

– Я буду самый меркантильный слушатель, – продолжал Сано уговаривать Зинку с употреблением непонятных слов.

Марья наконец отвоевала лазейку между кормушкой и Торпедой, села на трёхногую скамеечку и начала тискать короткие, с мизинец, коровьи дойки. Торпеда держала в себе молоко и высокомерно жевала жвачку. Надоив молока со стакан, Марья просунулась из лазейки и набросилась на Сана:

– Коров надо держать добрых и отзывчивых на ласковые слова, а не таких дур, как ваша Торпеда. Во-первых, это мясная порода и её давно надо услатить на мясопоставки. Во-вторых, это не молочная порода и её тоже надо услатить на мясопоставки. Ты, как скотник, имеющий трудни с надоев молока, должен поставить этот вопрос перед лицом начальства.

– Я не вождь, чтоб мне ставить вопросы перед лицом начальства! – ответил Сано. Несмотря на своё маломальское туловище, голос он умел приобретать с железным звуком. Марья хотела надеть ему на голову ведро, но одно ведро было с молоком, второе с водой для подмывки вымени, а третьего ведра не оказалось.

Приехал водовоз с бочкой и прогаркнул на весь коровник:

– Пойте коров немедля, чтобы мне ещё съездить к реке, иначе пригонят лошадей и они займут все места на берегу!

После водопоя начали растаскивать по кормушкам сено. На сено перед каждой коровой положили на вилах бутерброд с силосом. Потом мыли ведра. Павлинка, учётица молочно-го производства, жарила на плите горох. Вошёл Яков Силыч, увидел горох и свирепо пробормотал:

– Опять тут жаровни разводим!

– А чо? – спросила Павлинка.

– Через плечо! В красном уголке горох жарим! – совсем рассвирепел Яков Силыч и вышел.

Уже светало. Холодный лимонный сок утренней зари растекался по всей восточной части неба. Лесные вершины, озябнув в нём, хмуро ожидали зимы. Над сооружением сушилки, особенно внушительным на фоне лимонной полосы, кружились галки. Стылый осенний рассвет, как слепец, робко ощупывая перед собой дорогу, пробирался через луга и поляны.

– У тебя сёдни снизились надои молока, – сказал Марье заведующий Пищук. – Пошто так?

– А потто, что первая корова в ведро наступила. У скамеечки отвалилась ножка, и я не могла доить с ведром между колен. Торпеда вообще не дала молока. Какие-то коровы сейчас стали своенравные. Видно, пример берут с людей, – своенравно ответила Марья.

– Завтра ты дежуришь. Прийти надо раньше всех, затопить печку в красном уголке, нагреть воды, выставить флаги для наполнения молоком. Доглядеть за поведением коров. Быку Синедриону дать повышенную порцию жмыха и сена, – сказал Яков Силыч. – И не допускать никаких жарений гороха. Не к обедне приходите, а на работу.

– А чо? – спросила Марья.

– Через плечо! – совсем уж люто ответил Яков Силыч.

Домой он уходил позже всех, изгоняя из себя всякие домыслы о горохе. Если бы произошёл на свет волком, эту Пав-

линку загрыз бы вместе с горохом и сковородкой. Поводилась каждый день горох жарить!

Дома весело топилась печка.

– Садись завтракать! – любовно обратилась к мужу жена Аксинья. Пока Яков Силыч смывал под рукомыником производственные пятна, она налила полное глиняное блюдо горошницы, поставила в горшке топлёное молоко, нагребла кучу ржаных сухарей и всё это с подобострастным вниманием подвинула мужу.

Яков Силыч сел за стол, взял ложку, обмакнул её в горошницу, тяжело вздохнул и начал глядеть в окно, за которым заря становилась яростно-красной, наступательной предвестницей холодного ветреного дня.

...Произошло это в начале тридцатых годов. Яков Пищук, отбывший действительную в Красной армии, щеголял в гимнастёрке и галифе и, воодушевлённый своей исключительностью среди деревенских жителей, согнанных в колхоз, не замечал ни всеобщей голодухи, ни смирения перед ней. Ему, как красноармейцу и комсомольцу, правление колхоза оказало доверие – быть заведующим зерновым складом. Молодой заведующий, с планшеткой через плечо, шебурша галифе, в будёновке с красной суконной звездой во весь лоб, подчинил себе сердца всех девок. Но самому полюбилась одна – Катя Шашина. Была она ростика невеликого, но складена очень фигурально – ножки не короткие и не длинные, нормальные ножки, в икрах пузатенькие. На тазобедренных костях мякоть расположена чуть побольше соответствия конфигурации всего тела. Грудь добрая. Не пуды, конечно, но подержать было что в красноармейской ладони. Глаза голубые, всегда смешливые. Неиссякаемым смехом на щеках произведены яминки, да такие умильные, будто грудной ребёнок пальчиком ткнул. И причёску Катя излаживала по-своему. Не стриглась, как комсомолка, в кружок, а закашивала спереди чёлку валиком под гребёнку, распуская посторонние волосы поближе к плечам, предварительно перекручивая их бумажными завёртками.

С общественной жизнью Катя не являлась, потому что была создана для жизни личной. Общество приказывало строить народное счастье, а Катя просто существовала счастливо. Особенно она любила плясать. Соберётся молодяжник в круг, растрясёт свою гармошку гармонист, показывая, что посерединке гармональных мехов нарисована какая-нибудь дива фабричного процветания, взволнует самыми пронзительными нотами: «та-та-та-та... таа-таат-ат-аа-таата... та-а! та-а! та-а-ат!», то есть изобразит «цыганочку с выходом» в звуковом веере, выйдет первый плясун, щелканёт себя ладошками по пяткам, об землю побьёт, попевая за гармошкой, выпрямится, живьём представляя ферта из царской грамоты, проскачет по кругу, да так, что слюнки потекут у тех, кто скакать не умеет, и топнет ногой перед знаменитой плясодралкой – выходи! Всегда этак топали перед Катей Шашиной. Плясун перед ней фертом – руки в боки, а Катя дробы бьёт, и не поймёшь, то ли от дробей, то ли от ветра листва на тополе качается. Осип Шварнов, всякой всячины по-видавший, бултыхаясь из губернии в губернию, ничему уж не удивлялся, а тут не мог своё удивление спрятать перед народом.

– Ну, не Катька, а конная Будённого! – цокал он языком.

И вот Яков с планшеткой через плечо и Катя с ямочками на щеках приглянулись друг другу. Начали вдоль деревни погуливать, под черёмухой стоять. Сначала вроде как обсуждали сплочение народа в коллективное хозяйство. За обсуждениями перешли к поцелуям... В поцелуях не заметили, как подвалила клыкостая голодуха, просунула в черёмуху башку с пустыми глазницами и захохотала. Из глазниц вылетело по стервятнику, сели на сук и начали ждать кончины двух возлюбленных.

Катя в ужасе прильнула к Якову и спросила:

– Что будем делать, Яша? У нас в доме осталась одна картошка. А когда вырастет новая, мы уж погрём...

– Не погрём! – решительно сказал Яков, проскрипев зубами.

Катя была единственной дочерью у родителей, и спасти её от голода bravому заведующему зерновым складом по-

казалось ничтожной путаницей. Теперь уж он приходил на свидание с мешочком гороха. Катя уносила подарки домой, мать варила горошницу, и все втроем хлебали её деревянными ложками и хвалили Якова.

Разбушевало лето. По лесам и полянам, равнодушные к человеческой беде, зацвели колокольчики и незабудки. Попустив плакучие ветви, зашумели берёзы. По вечерам на огненной колеснице катилось солнце, и след его долго полыхал в полях красным пожаром. В такие вечера молодой человек собирался на деревенской площади, где ещё стоял двухэтажный терем кулака Терёхи Власина. Но Терёху выслали, а терем принялись ломать. Тёмную лиственницу, из которой был состроен терем, комсомольцы пилили теперь для отопления клуба. Хотя бушевало жаркое лето, но клуб топили всё равно, потому что все были охвачены рвением извести старую жизнь без остатка. Заодно среди брёвен находили мышьи норы с зерном и кедровыми орехами, натасканными ещё при царе. Всё это выгребали, сдавали в колхоз и делили по трудодням. Чтобы не наводить панику унылым молчанием, было велено петь и плясать.

В июньский вечер, поужинав мышьиными запасами, молодое колхозное поколение сошлось на площади в круг. Гармонист Петруха Зыкин растянул гармошку в косую сажень своих плеч. Из гармональных мехов злодейским взглядом блеснула старорежимная краля и ушла в меха. «Та-та-та-та... та-та-та-та-та... Та! Та! Та!» – запело с перезвоном и бубенцами. Касейко Прошин забалагурил ногами, вынесся на круг и, изворачиваясь в плясе, начал лупить себя по пяткам и по заднице. Потом ожёг ладошками землю перед собой, выломился фертотом и зачастил, запрыгал, как на сковородке. Соскокил со сковородки, пробежал кривоплясом и бацкнул ногой перед Катей Шашиной. Она только этого и ждала.

– Иийе-е-ех!.. – лихим взвизгом ошарашив вечернюю дремоту природы, вынеслась она на середину круга, махнула по плечам голубым платком с жёлтым наугольником и, словно спустив себя с цепи, пошла выкаблучивать дробь...

Петька Зыкин сбавил звук, чтоб явственней слышался барабанный перетоп пляски, и, подгоняемая глухим татаканьем гармошки, Катя и вовсе затопала изо всех сил, дробанула раз, дробанула два и во всю мочь пустила голубя... Сначала народ не понял, в чём дело, и вроде как онемел, и тут желёг от хохота... Петруха скорчил гармошку и скорчился сам. Хга-хга-ха-га-га-хга-а-а!.. – затряслось над деревней. И лишь Яков Пищук стоял красный как рак и нервно теребил ремешок планшетки. Главное, что никто не видел, куда девалась сама Катя Шашина. Будто на Луну улетела при помощи своего реактивного запуска.

Ночью Яков прокрался к дому Шашиных и стукнул в окошко. Вышла мать Авдотья Николаевна и очень сердито ответила сквозь щель заплота:

– Не ходи боле к нам со своим горохом и не срами нас!

Через два дня к Шашиным заявила комиссия по борьбе с контрреволюционной прослойкой и по укреплению колхозной смычки.

Председатель комиссии Алёша-кэмсик, прозванный так за чрезмерно усиленное внедрение себя в борьбу комсомола и смычки против прослойки, приказал протыкать всю территорию Шашиных тычками с железными наконечниками для обнаружения спрятанного зерна. Комиссия протыкала, но зерна не обнаружила.

Не задерживаясь во времени, прошло собрание сторонников активного движения вперёд. Алёша-кэмсик со звездой на груди, вырезанной из жестяной банки из-под трофейных американских крокодилов, выступил с зачитанием документа, исписанного каракулями учащимися ликбеза.

– Фитанция номер первый, – прокричал он с клубной сцены, позолоченной кулисами церковного иконостаса. – Значица, так. Отходы кулацких белогвардейцев и элементов ишо значица промежду нашими шагами навстречу заре. Прячут зерно и потребляют его в пищу тайком от трудящихся масс. Мы с комиссией смычки и комсомола проверили, где пря-

чут, и обнаружили одни пустые места. Значица, я мыслю так. Зерно они прячут в могилах тех, кто недостойно обнаружил их на свет.

– Да хтось такие? – раздался голос из народа.

– Фитанция номер второй, – простёр руку над собранием Алёша-кэмсик. – Бойцы комитета народной бедноты постановили: лишить условия жительствова на этом месте укрывателей пишшы из зернового прироста и услать их куда-нибудь.

– Да хто такой? – выкрикнул тот же голос.

– Шашины! – громогласно ответил Алёша.

– Шашины? Да какие они укрыватели зерна?

– Такие же бедняки...

– Трудяги! – послышалось волнение из разносторонних углов. – Обозначьте причину, из-за которой сселяют их из гнезда!

– Причина в том, что они жрут хлеб в таком историческом периоде сацализма, когда мы его не кушаем! – провизжал дискантом Алёша-кэмсик и энергично пометил себя кулаком в грудь, в сердечную область, прикрытую звездой из крокодила. – Вот тут слушайте все – гудит, как в пустой бочке! Потому что я только утром опростал в себя единый стакан морковного чаю! Я, товарищи, буду суток двое плясать и не пёрну! А гражданка Шашина Катерина, нажравшись зерна, когда мы его не кушаем, грянула задней частью своего тела так, что гармонист Петро Зыкин ходит с затычкой в ухе, потому что оглох от звука!

– Так это с гороха, который Яшка Пищук ей в гостинец принёс со склада! – выкрикнула Авдотья Николаевна и залилась слезами. – Он!.. Он, ворюга, подвёл её! А у нас нету никакого зерна, товарищи левуцинеры! Нету!

– Да ты что, тётка! – выкрикнул и Яшка. – Я никакого гороха не носил! Кто мне вручил полномочия таскать колхозный доход из амбаров!..

– Напраслина на красноармейца! – закричала и мать Яко-

ва, Федора Фёдоровна. – Судить надо хлопушу Дуську за длинный язык! Угнать в Обдорско!

Всё, может быть, и обошлось бы без высылки с родной территории, ну, поржали бы да и бросили, если бы Яков всё-таки сознался, соврал бы что-нибудь про горох: «Ну, приносил горсточку! Дык со своего огорода насобирали ещё осенью...». Нет, красноармеец Яков Пищук забазлал, что не виновен, и наотрез отказался от любимой невесты, которая своим нежданчиком насмерть перепугала весь колхоз.

Шашиных сослали за укрывательство зерна, и, где они, до сих пор неизвестно. А самого Якова начала грызть совесть, и, как она грызёт его тёмными ночами, никто не знает.

Глава четырнадцатая

Если уж быть правдивым, то надо признать, что наш народ не очень-то любил праздник Великого Октября. И вовсе не потому, взяли Зимний или не взяли, а просто ввалились в него, разбивая в черепки всё на своём пути, нет! Нет! Славная годовщина Октябрьской революции приходилась на седьмое ноября по григорианскому календарю. Ноябрь – месяц, когда в природе ни то ни сё, а чаще всего снежная каша. Или гололёд, или грязь со снегом, или грязь с назьмом, когда на кирзовые сапоги налипает по пуду того и другого. Выпавший накануне снег где растаял, где ещё тает, где не тает, лежит, набившись в ржавую травёнку на пригорках. А пригорки те вместе с травёнкой вгоняют в самую смертную тоску! Глаза бы не глядели на пегие пустыри, на эту жижу со снегом, на болото посреди деревни и даже на солнце, выбросившее в прорыв такой же мутной небесной слякоти блёклую метёлку своих лучей, на туберкулёзные пролески, на дорогу, развалившуюся неряхой от деревни к деревне, на телеграфные столбы, вечно воюющие, скулящие, а в этот праздничный, красный день календаря воюющие с особым усилием, унынием и безнадёжностью...

А тут ещё красные флаги вывесили – один на клубе, другой на конторе, третий... Третий намок от сырости, перевернулся и возит серпом и молотом по жиже, а древко торчит в сером небе. Вон ворона на него села, каркает. О чём каркает, никто не знает. Столбы скулят, скотина на ферме орёт, над деревней кислятиной силоса воняет, два мужика едут – один на дровнях, другой на телеге, и оба матюкают дорогу, ворону, флаги и всё, что попадает под руку. Скучно, тошно и одиноко!

Нечто, похожее на жизнь, начинается вечером. В халупе Зинки-бляди родственные по духу люди приступили к складчине. Брага, цветом похожая на молоко с навозом, разлита по гранёным стаканам. Надрезан и вскрыт пирог с картошкой и луком. Надрезан и так же вскрыт пирог с картошкой и без лука – забыли лук положить в праздничном головокружении. Посреди стола в алюминиевом блюде, мятом и битом из-за частой эксплуатации, курится и благоухает только что снятая с огня рассыпчатая картошка в оформлении солёных груздей. Ещё дымится одно блюдо с картошкой в оформлении кислой капусты. Третье стоит просто так, с одной картошкой. В картошку воткнута вилка, чтоб, значит, культурно пользоваться, не пятернёй хапать, а на вилку натывать. На раскалённой, по-всякому треснувшей плите журчит и плюётся салом, в общем, жарится картошка. Рядом в чугунке пригорает и булькает картовная каша, то есть пюре к жареной картошке... Гулять так гулять!

Дурная, недоношенная брага завалила мозги. Краснея от счастья, Зинка сняла со стены гитару с одной струной и запела:

– Чижало, чижало соловью на чужбине...

И родственники по духу подхватили в один голос:

– Чижало, чижало...

Чем песня несуразней, тем она печальней. Печальна своей несуразницей и небылицей. Поётся о том, чего нет и никогда не будет. Оттого и поётся, что нет... У кого есть, те не поют. Поют те, у кого нет.

«Чижало, чижало соловью на чужбине...» И гнезда он

там не вьёт, и детушек не выводит. Улетел бы домой, да крылья подрезаны. А подрезал злой коршун. Зачем подрезал, сам не знает.

Запели, забыли всё, кроме соловья и коршуна. А главное, забыли о празднике Октября. И никто о нём даже не вспомнил, не обмолвился... Вот прилетит соловей в своё гнездышко на вербе зелёной, поднесёт ему озерко чарочку водицы, напьётся соловушка и запоёт. Где-то весна!.. Звенит-названивает золотыми ключами в алых маках, а тут слякотный ноябрь с чахоточным перелеском, где стыло, зябко и тошно.

– Айдайте в клуб! – провозгласила Зинка после очередного стакана бражки. – Там сёдни цирк!

Цирк – это концерт местной художественной самодеятельности. На сцене, раздвинув зелёный плюшевый занавес, завклубельщица Граня Калягина объявила, что сейчас хор доярок исполнит песню «Там, вдали за рекой». Ещё недавно песня являлась запрещённой. Потому что в ней поётся о пробитом комсомольском сердце... И пробила его белогвардейская пуля. Комсомолец упал с вороного коня и закрыл свои карие очи. Красивый, наверное, был комсомолец. Жаль, что умер. А белогвардейцы остались в живых. Потому и не позволяли об этом петь. О чём петь? О мёртвом комсомольце и живых белогвардейцах? А сейчас разрешили. Надо же сказать правду, что комсомольцы тоже погибали на фронтах. Не одни фон-бароны.

Хорошо спели доярки. С душевным вкладом. Со страданием.

– Стихотворение о советской стране собственного сочинения! Читает автор! – объявила дальше Граня Калягина.

На сцену из-за иконостаса вышла Машенька Хмелитова, подняла головку в бантиках, вытянула руки по швам и звонко, с выражением, как на пионерском сборе, начала декламировать:

*– Живём в Стране Советов
И растим урожай.*

*А едзящий в каретах,
Ты нам не угрожай!
А то запустим танки
Через советский снег,
Чтобы твои останки
Похоронить навек!..*

Зрители изо всей мочи забили в ладоши.

– Ай да Манька! Молодец!

– Складно-то как! Далеко пойдёт!

– Бо-ольши-им человеком станет! – со всех сторон раздалась народная похвала.

Когда Машенька удалилась обратно за иконостас, ей Дарья Петровна Загроздина вручила кулёк конфет и сказала:

– От сельского совета за прославление жизни.

Машенька покраснела, затрепетала и, волнуясь, пообещала сочинить ещё какое-нибудь прославление. Но тут в волнение Машеньки вмешался Пшебыш Пшебышевский и деликатно высказал своё мнение:

– Как это едзящий в каретах может угрожать нам, запускающим танки?

– Потому что он буржуй! – бойко ответила Машенька.

– Согласен! – сладко улыбнулся Пшебыш. – Допустим, в карете едет император Павел I. Вот он едет-едет и выехал на окраину Петербурга, а там стоят танки. Я думаю, он не только угрожать не станет, а дух испустит от страха. Так?

– А как он выедет, если танков тогда ещё не было? – опять бойко сказала Машенька и от находчивости своей заволновалась сильнее.

– Тогда кто у тебя ездит в каретах? – спросил Пшебыш.

– Американский буржуй!

– Но он, наверное, в лимузине ездит, а не в каретах.

Машенька смутилась, затеребила край кулёка с конфетами. А Пшебыш продолжал сахарными устами:

– Не лезь в политику, девочка! У тебя лирическое дарова-

ние. Ты же не Маяковский, а Машенька Хмелитова. Ну-ка, прочитай мне, что у тебя было написано в стенгазете.

Машенька возвела глаза к потолку и затеребила кулёк, отрывая от него бумажные клочки.

*Пойду-пойду за околицу,
Где сентябрь мне радёшенек-рад.
И берёз белоногую конницу
На осенний выводит парад.*

– Во, как сильно! – похвалил Пшебыш и захлопал в ладоши. – А теперь прочитаю я.

Он сел на табурет и, глядя куда-то в одну точку, плачевно-задушевым распевом заговорил:

*– Утром, в ржаном закуте,
Где златятся рогожи в ряд,
Семерых оценила сука,
Рыжих семерых щенят...*

Слепое рыдание вышло из-за угла, протянуло руки и сдавило Машеньке горло. Она увидела себя рыжей собакой, бегущей за щенками в мешке, который несёт хозяин хмурый... Увидев, что она плачет, Пшебыш спросил:

– Ну и как?

– Это вы сочинили? – сквозь слёзы спросила Машенька.

– О, нет! – тоном отпетого трагика воскликнул Пшебыш. – Это сочинил русский поэт Сергей Есенин. Я только хотел сделать иллюстрации к его стихам. Да некогда. Всё Дарью Петровну иллюстрирую.

Он не то всхлипнул, не то рассмеялся, взял мандолину и пошёл на сцену, где Граня объявила его выход, но вернулся и сказал с мечтой в голосе:

– Долг поэта – пробудить боль. Она в каждом из нас есть, но спит до поры до времени. В ином так и проспит до самой

смерти. Ты заплакала, значит, твоя боль проснулась. И теперь уже не заснёт.

Глава пятнадцатая

Какое бы в стране время ни было, но лучше говорить об этом в лесу. В избушке, оборудованной Ваней Шмановым для охраны пасеки. Игнатий Исакович сам распорядился приготовить стол, и на колченогий столик, сколоченный из горбылей, Ваня накатал печёной картошки, распластал на дворе вяленую щуку под два метра, так что голова щуки свесилась с одного края стола, а хвост – с другого, снял с осины просоленную ляжку косули и сбегал в омшаник за ведром медовухи. Потом в печку-железянку набухал ивовых дровец, и под гуденье, свист и рёв печки сел за стол, и начал ждать гостей, названных по усмотрению Игнатия Исаковича.

«Припрутся, конечно. Данило, куда без него? Пахом Золотая Пырочка. Сам Игнашка. Я буду. Четверо голов. Может, ещё и дед Оська Шварнов присосётся. Медовухи попить, щуку пожрать. Чо не сожрать, коли щука есть», – подумал Ваня, налил медовухи в оловянную кружку, замахнул, крикнул, охнул и с благодатным матерком срезал складешком вахалку мяса.

Днём выпал снег, и к вечеру золотые тени переплелись в лесу, словно кто-то сидел на небе и ткал пряжу. Ваня вышел из избушки и закурил самосад.

Невиданного релища закат горел над землёю, красный срез над самым её краем прихотливо обуглил и выделил вершины берёз, а выше словно прорвалась от мороза нежная лазурь и обнажила золотистые просветы небесного тайника, в котором запечатаны звёзды. Вот-вот ночной вор взрежет своим ножом золотую ткань и хлынет драгоценный клад, ошеломляя и вгоняя в трепет жалких тварей земных...

Ваня сплюнул и вздохнул.

– И для чо живём, сами не знаем! – сказал он и вернулся

в избушку. Он налил опять медовухи, но выпить не успел – за дверью завизжал и заголосил снег, попираемый костылём и деревянной ногой Игнатия Исаковича, и в избушку вступили все, кого умственно перечислил Ваня.

– А ты уж угощаешься! – сердито забурчал Игнатий Исакович, яростным взглядом превращая в пыль и брызги и Ваню, и оловянную кружку в его руке. – Не можешь подождать!

– И так жду весь день! – огрызнулся Ваня. – Кишка кишке бьёт по башке весь день, жрать хочу, как из нагана.

Данило Буров основательным движением снял с себя тулуп и положил его на топчан. За ним, подражая его основательности, разделись Пахом Петрович и Игнатий Исакович. Осип раздеваться не стал, потому что долго пришлось бы распутывать верёвку, которой он подпоясался.

Под жужжание печки-железянки и хлопки искр в её брюхе сели за стол. Ваня сообразительно налил всем медовухи, в приличном воспитании обкромсал щуку и возвысил свою кружку:

– Ну, будем здоровы и недремлющцы!

Выпили, объели щуку со всех сторон, и Данило возвестил:

– Жизнь наша двигается по вечному кругу, и люди живут, как жили при половодье, затопившем когда-то почти всю землю. Богач заботится, как бы сберечь добро, а бедняк заботится нажить добро.

– Ты пошто так сказал? – спросил Пахом.

– Потому что и мы ничо нового не придумали с вами, – вздохнул Данило. – Наживём добро и будем думать, как его уберечь. А дума эта тяжёлая. На добро многие падкие. Ото всех надо отбиться или откупиться.

– Добро-то ещё нажить надо, – сказал Игнатий Исакович и обратился к Пахому: – Ладно, зачитывай!

Пахом вынул из внутреннего кармана своего пиджака листок бумаги вместе с очками, почтительно, как государев указ, развернул его, надел очки, задвинув дужку за одно ухо

и верёвочку с петелькой вместо дужки зацепив за другое ухо, покашлял, как воспитанный человек, и стал зачитывать.

– «Программа частной собственности», – провозгласил он и для придания себе веса снова покашлял, как кашляют все докладчики на трибунах. – Доводится до сведения каждого домовладельца, могущего держать в руках литовку и грабли, чтобы он расположил крупную рогатую скотину с предоставлением телушечек для молочного производства, а бычков для мясного дела. Ишо задумано нами провести в жизни строительство молочного завода с маслодельным цехом, чтоб обрабатывать молоко для масла, а простокишу для творога, то есть для сыра. Наравне с этим произвести рассадник кедра, чья древесина согдится для ящиков, в которых мы масло намерены посылать для товарообмена шведам и ескимосам в заграничном проживании...

– Постойте! – вскричал вдруг Ваня. – Наперёд скажите мне, что это вы читаете?

Пахом Петрович споткнулся в чтении и потерял то место, где читал.

– «Программу частной собственности», – сказал Игнатий Исакович.

– Я понял, что это программа по расплоду телушек для молока. Но какой рассадник кедра? – продолжал Ваня в полонумном непонимании.

– Для изготовления тары, в которой масло будем импортировать за границу в знак дружеского обмена торговлей, – терпеливо разъяснил Пахом Петрович. – Мы им масло, они нам – сепараторы. Понял?

– Ха! – ничего не понял Ваня. – Да вы хоть знаете, скоко времени растёт кедр? Мы умрём, и дети наши умрут, а кедр всё будет ходить вьюношей.

– А Россия! – воскликнул Данило. – Она теперь после Сталина будет жить и развиваться тыщу лет! Это по арифметике. А по алгебре – ишо больше.

– Да понял я! – в самом свирепом подъёме духа огрызнулся Ваня, ничего не понимая. – А пошто в кедровых дош-

печках масло сдавать шведам? Можно ведь и в казеиновых баночках!..

Тут вступил в разъяснение Осип Шварнов:

– Потому что в кедровых дошпечках масло остаётся таким, как будто токо что сбито. А в казеиновых не тако.

– Да понял я! – весь красный от натуги непонимания прокричал опять Ваня.

– И ишо! – поднял кверху указательный палец с предупреждением, что желает сообщить что-то исключительное, Игнатий Исакович. – Из кедровой тары шведы будут делать себе скрипки и всякие бандуры. Потому что кедр – дерево, страдающее особливой музыкальностью. При нашем учёте этого шведы будут платить по бесшабашно дорогой цене. И ишо вот чо...

Игнатий Исакович поднял указательный палец ещё выше, призывая к выдержке молчания.

– Сибирские маслоделы при старом режиме жили размашистым манером, потому что были они форменные богачи. И масло в кедровых яшшычках увозили шведам по бесшабашно дешёвой цене. Шведы с этого масла имели двойной привкус: съедали масло и строгаи из кедра скрипки и бандуры. Мы всего-навсего колхозники и разбрасываться богатством не будем по причине того, что живём не в царстве, а в государстве. Мы тоже станем брать пример с американцев, придавая продукту привлекательный вид. Главное, в какой вид запаковано. Вот, возьми шшуку и заверни её в газету. А вот возьми другу шшуку и заверни её в чистую бумагу, да на бумаге пропечатай кралю с красной косоплёткой в волосах. Которая шшука самая баская?

– Ничо не понимаю! – мотнул головой Ваня.

– Чо ты не понимаешь? – спросил Пахом Петрович.

– Так ведь можно и в осиновых ящичках масло посылать, а сверху указывать, что кедр, и кралю рисовать для вывески. Осин-то вон сколь! Руби, строгай! А кедр пока вырастет, земля с ума сойдёт! – сказал Ваня.

Все, кроме него, захохотали в высокомерном тоне.

– Шведы-то распечатают один яшшык, увидят, что масло в осине послано, и боле брать его у нас не будут. Потеряем заграничную опту! – объяснил Пахом Петрович.

– Шведам масло с кедром! – фыркнул Ваня. – Они нам сепараторы... Мы чо, сами сепараторы не сделаем? Опту потеряем... Одну потеряем, другую найдём. Французам будем посылать. Они лягушек едят, всё равно ни хера не понимают.

– Читай дале, Пахом! – сердито сказал Игнатий Исакович. – А ты, Ванька, сиди и слушай про наш партизанский колхоз.

– А ково читать, если всё предстоящее для чтения донесли в устном пересказе, – сказал Пахом, снимая очки. – Партизанский колхоз!

– Я слыхивал про партизанские колхозы, – откликнулся Осип.

– Слыхивал! – передразнил Ваня, ужасая презрением. – А я жил!.. И скажу вам, при немцах только и жили в колхозе-то...

– Значит, немцы сами разрешили? – спросил Осип.

– А их никто не спрашивал! – отчеканил Ваня.

– Могли бы ружейными залпами прочесать леса...

– Ага! Сунься в лес-то! Да попади к партизанам в лапы!

– Расстрела боялись, знамо дело, – вздохнул Осип.

– Рас-стрела-а!.. – тут уж Ваня захохотал и в хохоте подумал, что Оська Шварнов никогда дураком и не притворялся, потому что притворяться ему нечего, если он на самом деле беспросветный и недремлющий дурак, и, думая так, с хохотом проблеял по-козлиному:

– Расстре-ее-ла!..

Он добротню заглотил медовухи и запел:

– Шуме-ел сур-рово бр-рянский ле-ес!..

Но тут же оборвал пение и, подпершись кулаком, серьёзно сказал:

– Никакого партизанского колхоза мы тут, внутри советской власти, не создадим. Это невозможно.

Он помолчал и, зная, что все ждут, что он скажет дальше, продолжил печально, скорее всего, сожалея о чём-то своём, сокровенном, возможно, о молодости:

– От Брянска до Гомеля километров двести пятьдесят будет. Там ещё станции Навля, Почеп, Унеча. В их окружении и поселился наш партизанский отряд. Главным делом, окруженцы из местных, хорошо знающие места, облазившие их вдоль и поперёк. И мы с ними. Тоже окруженцы. Живём себе, не шумим. Леса там такие, что часто и дыры в небо не увидишь. Сплошняк. Сосны, берёзы, ели. Нарыли землянок, накаты из трёх слоёв сделали. Жилая часть из брёвен, а землянки навроде подпола и убежища. Бабы прильнули к нам с коровами и поросятами. Немцы укатились к Москве с фронтом, а тыловые крысы с вертухаями не шибко сунутся в лес – боятся. Живём. Сено косим, коров кормим, свиней колем. Бабы кринок со сметаной и молоком в подполы наставили. И вот командир наш из местных мужиков, в звании капитана Красной армии, говорит: «Давайте колхозом жить. Так оно легче». Ну, давайте. Всё сообща делаем, поровну делим. Бригадира выбрали, чтоб работу распределял. Председателем стал тот капитан Шнецов. Нормально всё. А тут косим сено, ребята, и видим, что через нашу территорию узкоколейка проложена, а по ней немецкий составчик шастает. И немцы с автоматами составчик этот охраняют. «Отвадить!» – приказал Шнецов. «Есть, отвадить!» – обрадовались. Мы же не лапотники – бойцы! Без боевого действия руки скучают иногда... Скараулили, значит. Залезли ребята на сосну. Как только составчик засвистел, они шась оттуда и немецкого автоматчика сбили с платформы. В рот тряпицу, автомат отобрали, приволокли в свою колхозную контору.

«Чо ездите тут?» – спрашивает Шнецов. А он ни хрена не понимает. Лупит белыми глазами и слюнями брызгает: «Рот! Рот! Их рот! Камрад!». То есть, «я красный, хороший. Товарищ и брат». «Уберите», – сказал Шнецов. Ребята выволокли немчика в лес, пару берёз склонили, ногами привязали

к вершинам и отпустили. Коршуньё потом до-о-олго двумя половинками лакомилась!

– Ну и сволочи же вы! – ахнул Пахом Петрович. – Солдат от не виноват...

Ваня даже не обратил внимания на его возмущение.

– Опять составчик свистит. Мы взрывчатку под рельс. Рвануло. Паровоз с одним вагоном удрал, а остальные три в лесу остались. Отдыхать под откос легли. Немцы стрельбу открыли, разбежались. Не понимают по-нашенски. Ладно. Живём, хлеб жуём. Глядим однажды: идёт по шпалам этой самой узкоколейки офицер. На груди белый коленкор прищиплен, а по нему написано: «Не стрелять!». И на спине та же вывеска. Форма власовская. В натуральности – РОА. Подошёл к взорванному мосту, свернул и через лес прямо в наш колхоз направился.

– Стой! – орёт часовой.

– Не стрелять! – командует власовец. – Дело есть. Веди к командиру.

Привели. Шнецов с вопросом:

– Кто такой?

– Русский, – отвечает.

– Вижу, что русский. Предатель Родины! И казнить будем не так, как того немчуру. Почище! Под пытками! Со щипцами! Чтоб по кусочку от тебя отщипывать, покуль до шкилета не доберёмся. Понял?

– Понял, понял, – говорит, папиросы достаёт и всем нам протягивает. – Курите, красные орлы!

Ну, закурили мы. Ха-а-ар-рошие папиросы!

– А теперь, – говорит, – давайте-ка, ребята, жить дружно. Немцы знают, что вы тут колхозом трудитесь. Ну и трудитесь. Они вас не трогают. А вы зачем залупляетесь?

– Мы Родину защищаем! – заявляет Шнецов.

– Да брось ты! – говорит офицер и ухмыляется. – Себя вы тут кормите. Баб своих и ребятишек. А любимой Родине не сдаёте почему-то ни молока, ни яиц. Всё себе. Так? Так! Вот и кормитесь на доброе здравие!

И приступает к делу. Мол, так и так. Сейчас пойдёте и устранили разрыв на узкоколейке. Нагребёте насыпь, уберёте повреждённые фрагменты. Немцы привезут шпалы и рельсы. Всё уложите чин чинарём. И чтоб больше не рыпаться, не рвать полотно и не казнить солдат! Экономьте, мол, взрывчатку, сталинские соколы!..

Шнецов заржал в мстительном беспределе.

– Иначе, – продолжает офицер, – немцы сейчас поливают весь этот регион с самолётов керосином и зажигают его. Вам это надо?

– Не надо, – отвечает Шнецов и перестаёт хохотать.

– И мне не надо, – говорит офицер. – Леса жаль, Родины жаль и вас, придурков! А теперь щиплите меня своими щипцами. По сравнению с тем, что немцы сделают с вами, ваши щипцы – китайские фонарики. Все поняли? Или есть непонятливые?

Замолчали мы, нахмурились в раздумье.

– И чо же ты немцам служишь? – спрашивает после раздумья Шнецов.

– А ты чо большевикам служишь? – спрашивает его влаковец.

Ваня замолчал, вздохнул тоже в тяжёлом раздумье.

– И чо ответил ваш Шнецов? – спросил Данило.

– А чо он ответил? Ничо не ответил. Отвечать-то нечего! – ухмыльнулся Ваня.

– И дале чо?

– А дале... – Ваня вздохнул и начал досказывать. – Отпустили мы его. Покурили, потому что он нам ещё пачку папирос оставил. И подались разрыв восстанавливать. Немцы подъехали на дрезине, подвезли шпалы, рельсы. Покурили и с ними. Уложили всё вместе и разошлись по сторонам. Один по-русски лопочет и на бугорок показывает, мол, вы нам млеко и яйки, а мы вам – пиф-паф. То есть горючку. Ну, согласились. Вынесли на бугорок бабы молоко, творог, сметану... Назавтра мы пошли, глядим, канистра с керосином

стоит. Соль, сигареты, бутылка шнапса. Так и жили. Они – нам, мы – им. Керосин в партизанском колхозе – дороже золота. Освещались. Книжки даже по вечерам читали. Составчик опять шастает туды-сюды. Бабы сено гребут, коров доят. Мы землю пашем, хлеб сеем, убираем. Только одно плохо – «рама» всегда в небе плавала. Следила, чтоб военных укрепов не возводили. А так ничего. Когда наши наступать стали, и мы с ними в наступленье пошли. А куды деваться? Всех наших коров, свиней, быков и лошадей в колхоз забрали. А наш, партизанский, ликвидировали, как подпольный на оккупированной территории. Бабы с ребятишками на лебеду сели, мужиков на фронтах перехлестали. Руки-ноги поотрывали. Вот и вся присказулька.

– Да и у нас всё отберут, – проговорил дед Осип. – Сколь бы мы тут планов ни составляли, отберут всё.

– Сейчас послабленье вышло, не отберут. Теперь деревне вон какое внимание оказывают, – сказал Игнатий Исакович.

– Какое вниманье? – спросил Пахом.

– Как какое? Радио на столбы вешают. Панцырны сетки в магазин завозят. А потом ведь мы тут не с бухты-барухты тараторим, у нас программа имеется. Документ! – продолжил Игнатий Исакович, но подобрав себе такой голос, чтоб никто не понял – гордится он или издевается.

– А что Никудышин скажет? – спросил вдруг Данило.

– Так Никудышин и подсказал сделать это, – тихонько сообщил Пахом и на всякий случай огляделся. – Надо, говорит, путь на процветанье держать.

– Про-цве-танье! – тоже непонятным голосом проблеял Ваня Шманов, поднялся из-за колченогого столика и вышел за дверь. Расстегнув штаны, он долго и рассеянно мочился, слушая по всему лесу шёпот, пока не понял, что падает изморозь, с шелестом и вздохами украшая кусты и деревья, и завтра славно бы пройти на лыжах сквозь осинники и подстрелить отъевшегося в осенних полях русака, а потом, вымочив его в холодной воде, стушить на печке-железянке

с картошкой и луком и полежать на топчане, на овчине, слушая гудение огня в печке и глядя в окошко на морозные звёзды, на сумрачные в тишине снега...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая

Перед самым Новым годом Фадея Формовича вызвали в райком партии на заседание, а он как раз в это время приказал выкрасить свою кошеву на тонких полозьях в голубой цвет. Краска не высохла, и Фадей Формович на заседание не поехал, соврал, что заболела поясница, и вместо себя отправил Леонида Данилыча.

В клубе наряжали ёлку гирляндами из соломы, бумажными кубиками и ватой. Гармонист Васька Перчик пилил на гармошке какой-то вальс и всё никак не мог допилить. Солнце уже давно закатилось, а Леонид Данилыч ещё не приехал из райкома. Предчувствие, что его задрали волки, выгнало Фадея Формовича из дома. Он пришёл в клуб и сел под ёлкой, вдыхая запах сосновой смолы и ржаной соломы.

Повесили гирлянды и кубики. Улепили хвою ватой. На самую верхушку подняли звезду, вырезанную из фанеры и продержанную в красном анилиновом красителе всё лето.

«Что же так душа болит? – тревожно думал Фадей Формович. – Поехал, поди, мой партеец через Глухарёвскую елань, мимо Волчьей ямы. Разодрали волки жеребца и его самого съели... Или опять Симка Сивцов на бригаде объявился, кошёвку мою сожёт».

Прихромал Аркаша Сохомин, чудесно выпимши, в розовом румянце и в шапке набекрень.

– Вот и до Нового года дожили! Новый год проживём и весну ждать станем! – в пылком жизнелюбии доложил он и цыкнул на Ваську:

– Что ты муस्याшь какую-то челяпицу! Ну-ко, дербалызни «По долинам, по возгорьям»!

И как раз в это время впёрся в клуб Леонид Данилыч. С котиковым «пирожком» на голове, с отпечатком дамских

губ в бордовой помаде на щеке и тоже чудесно выпимши, он кипел энергией, радуясь трепету потрохов внутри себя.

– Ну, чо так долго-то? – зыркнул на него Фадей Формович. – Я уж думаю, волки съели...

– Заседание кончилось в четыре часа. Потом в чайной посидели. Пивка попили, колбаски попробовали, – сказал развесёлый Леонид Данилыч.

Теперь, что его волки не съели, очень бурно разозлило Фадея Формовича, и, обкатывая мускульную силу лица, он сердито спросил:

– Об чём заседанье-то было?

– Об итогах, – сообщил Леонид Данилыч. – Подводили итоги прошедшего года и обдумывали итоги на будущий год. Товарищ Дикоплясов довёл до нас социалистические обязательства по надоям молока.

– И Дикоплясов заседал?

– Заседа-ал!.. И в чайную нас водил.

– Интересно день провели! – недовольно буркнул Фадей Формович.

– Интересно-о!.. Товарищ Габрылина самолично приезжала...

Леонид Данилыч, будто бы забывшись, потрогал на щеке след дамской помады.

«Насчёт Габрылиной-то не ври. Она – строгая аппаратчица. Это ты заставил Дуську-буфетчицу чекотнуть себя в морду-то, а хвалишься – Габры-ылина-а!» – едкой насмешкой воспламенил себя изнутри Фадей Формович.

– Ну-ка, покажи обязательства! – потребовал он.

Леонид Данилыч, заглядываясь на девок, разошедшихся в фокстроте «По долинам и по взгорьям», вытянул из кармана твёрдую бумагу и машинально всучил её Никудышину. Фадей Формович развернул бумагу, подоткнулся ближе к настенной лампе и зашевелил губами.

– Чо-то не пойму, – сказал он. – Чо это за цифра? Мильон, пятьсот тысяч... Чего мильон?

Леонид Данилыч наклонился к нему, заглянул в бумажку и подсказал:

– Килограммов.

– Каких килограммов?

– Килограммов молока.

– С каких это пор молоко стали считать килограммами?

Десять килограммов воды...

Фадей Формович оторвался от бумаги и свирепо поглядел на партийного секретаря.

– Мильон пятьсот тыщ килограммов молока нам надо получить в будущем году от каждой коровы! – прочеканил тот раздражительным голосом.

– А ну, пошли в контору! – рявкнул Фадей Формович, встал и попёр из-под ёлки, сматывая на себя вату, попутно увидел на улице техничку Анисью и рявкнул сильнее:

– Призови немедля Егоршина и Мандавошина!

Пришли и Мошин, и Егоршин. Прочитали бумагу, побрякали на счётах, сверили с ведомостью, в которой числилось количество дойного стада.

– У нас триста голов. Делим мильон пятьсот тыщ на триста. Итого получаем по пять тыщ молока на каждую корову, – донёс потрескавшимся голосом бухгалтер, а Мошин кивнул в угоду вычисленного ответа:

– Так оно. Так.

– Что так? – объятый лютой ненавистью, спросил Фадей Формович.

– Надо нам получать от каждой коровы по пять тыщ килограммов молока в наступающем году, – ответил Егоршин.

Фадей Формович пригвоздил его взглядом к месту и ахнул матерком:

– Мать!.. У меня что, коровы – чемпионки мира?!

– Фадей Формович, – вежливо напомнил Леонид Данилыч. – Обязательства не обсуждают. Их выполняют.

– Что-о?! – взревел Фадей Формович. – Ты взял обязательства? Ты и выполняй! Хоть себя дой!.. Ты куда глядел, когда

тебе всучивали эти обязательства?! Триста коров дойного стада! Это общей численности. Из них полсотни – стельные, яловые и прочая! У второгодок зуборон. Какое от них молоко! По две тыщи за год едва наеживаем, мать вашу!.. Пять тыщ!.. От красно-степной породы! Эта порода вообще низкоудойная. У неё жир высокий, а молока мало. По шесть-семь литров в сутки дают. Это вам не чёрно-пёстрая порода!.. Охерели уж вовсе! Дикопля-я-аасов! Вша на гребешке! Шаман Советского Союза!..

– Фадей Формович! – кое-как осмелился сделать замечание Леонид Данилыч. – Прикусим язычок насчёт шаманства Советского Союза...

– Да пошёл ты на х...! Говно разукрашенное! – опять рывкнул Фадей Формович и грохнул по столу так, что из графина вылетела пробка и влетела в другой графин.

Воцарилась злейшая тишина. Лишь Михаил Викентьевич Мошин несурзным голосом спросил:

– А кто это сейчас прошелестел над крышей?

И Захар Егорович Егоршин скорбно ответил:

– Ангел пролетел.

Посидели ещё, слушая, как в затишье улетает ангел. Вот он блеснул опереньем над деревней, покружил над лесом и свечой взмыл к Полярной звезде.

– Какая у нас по колхозу общая жирность молока? – скрипучим голосом спросил Леонид Данилыч.

– Четыре и семь, четыре и девять. В летний период пять, – сказал Мошин.

– Не только в летнее время, а почти всегда пять! – раскатисто пробурчал Захар Егорович.

– Пять процентов жирности, – задумчиво промолвил Фадей Формович. – Гм!.. Гм!.. Будем сдавать молоко с тремя процентами жирности.

– Как? – удивлённо выгнул брови дугой Леонид Данилыч.

– А так! – гаркнул Фадей Формович, рассерженный его

тупостью, и в окончательной лютости dokonчил: – Всем разойтись! А ты, Кунцев, останься!

Оставшись с ним наедине, Фадей Формович спросил:

– У тебя партбилет с собой?

– Да. Я всегда его у сердца ношу! – ответил Леонид Данилыч. – А что?

– Доставай! – приказал Фадей Формович и достал свой партбилет. Положив на столе билеты крест-накрест, он встал и заставил встать Леонида Данилыча.

– Клянёмся партийным званием, что никому и никогда не скажем про то, про что скажем здесь. Клянусь! – торжественно сказал он и осенил себя крестом.

– Клянусь! – повторил Леонид Данилыч и тоже перекрестился.

– Клянёмся в неразглашении тайны в доведении производства молока до трёх процентов при помощи разбавки его водой, чтобы с честью выполнить социалистические обязательства по надою молока от каждой коровы в размере пяти тыщ килограммов!

– Ты что, Формович? – зловеще прошипел парторг.

– Ничего, – ответил Фадей Формович. – Как ты собираешься выполнить обязательства? Поедешь и откажешься от них?

– Кто мне позволит? По какому поводу?

– Раз взял – надо выполнять! Сливы красили чернилами? Красили! Зерно в Корею отправили? Отправили! И многое другое что сделали. Провернём номер и с разбавлением молока...

– Доярки проболтаются...

– Мы их и спрашивать не будем. Будешь ходить в ледник и доливать молоко водой...

– Я?! Фад...

– Ты! Потому что обязательства брал ты! Понял?

– Я?!?

– Ты!

Фадей Формович взял свой партбилет и сунул в карман. Потом достал бутылку водки, соскрёб ножиком белый сургуч, налил в стаканы и извлёк из несгораемого шкафа банку огурцов и калач хлеба.

Водка согрела и взвеселила.

– Как же я ходить буду в ледник? – спросил Леонид Данилыч. – Там сторож, дежурная доярка...

– С проверкой, – с полным ртом ответил Фадей Формович. – Воды в леднике всегда чан стоит. Две тонны воды в чане.

– Как-то не по себе, Фадей Формович.

– Не по себе Габрылину в кабинете Дикоплясова ёрзать.

Но, озабоченный таким нестандартным поручением, как ходить в колхозный ледник и разбавлять молоко водой, Леонид Данилыч забыл о Габрылиной, а заодно и о Дуське-буфетчице с бордовыми губами...

Они молча пили водку и ели огурцы. Опять прошелестело над крышей. Это уже заглядывал в трубу Змей Горыныч. И даже сидел на трубе, оглядывая окрестности.

На рассвете, когда Анисья пришла в контору топить печку и открыла вьюшку, на дрова с вьюшки ударилась глыза навоза. Анисья выгробла её, разглядела со всех сторон, понюхала и бросила в печку обратно, решив, что в трубу нагадил кто-то из колхозных хулиганов. Сжечь дерьмо – верная примета наклепать свороб на задницу того, чьё дерьмо сгорит.

«А не иначе Данилко Буров опять в небе летал, – утвердилась она во мнении. – Он по пьянке всегда хвастает, что в небе летает. Со страху, поди, и навалил в конторскую печку».

Печка топилась. Дым голубой стрелой дрожал в морозном воздухе. Скрипели дровни, фыркали лошади. Скотники везли на ферму сено и силос. Над деревней витал хлебный дух, умиряя душевное волнение колхозников и обещая, что завтра тоже будет витать...

Глава вторая

Черна, черна была ночь перед Рождеством!.. Тем ослепительнее, острее ножа горел месяц на небе. На земле, в глухих далях, в лесах, над звериными следами, на пустырях, в разубранной инеем мёртвой полыни, щетинистом татарнике, на болотах, где от стужи в безголосой тишине даже сухая травинка не может дрогнуть, во всей природе, затаившейся в зимней спячке, трепетала сладостная тревога ожидания – вот-вот что-то произойдёт, что-то откроется... И в самый страшный час, когда казалось, что ночь бесконечна, вспыхнула звезда, обжигая верхушки лесов косматым ледяным венцом, заливая золотом равнины, бросая искры в слепые окна хлебов и избышек. И тотчас же с её приходом что-то дрогнуло и затосковало в душе Симы Сивцова. Он проснулся и увидел наполнившееся пыльным огнём своё скудное жилище, подошёл к окну и счастливо промолвил:

– Там Вифлеем!

А через час, когда мать гремела у печи сковородками, в дверь забарабанили. Фёкла Петровна побежала открывать и попятилась от радостного, разноголосого ребячьего гвалта...

*– Славите, славите!
Вы меня не знаете.
Зачем я пришёл?
За горячим пирогом!..
Не дадите пирога –
Уведу корову за рога,
Телёнка за хвост –
Уведу в колхоз! –*

грянули детские голоса и, закончив колядку, передохнув, как перед подъёмом на гору, торжественно и наивно завели:

– Ро-ождество твоё, Христе Боже наш! Вос-сии-ййй миру свет ра-а-азума!..

После этих слов Машенька Хмелитова блаженно умилилась, вдруг услышав в себе ещё один голос, словно пели две Машеньки, сложенная одна в другую.

– Под звездой ходи, учащийся! – нарочно перевернула та, другая, церковно-славянский текст.

Стоит звезда над сумрачной далью, расплескав свет, как из чаши, и каждый куст, каждое деревцо, тропинки и избы благодатно помазаны им. Слушайте и внемлите! Родился Тот, кому наказано родиться! Учись, учись, человече!..

Фёкла Петровна дала славельщикам по прянику – сдобному, присыпанному сверху толчёной земляникой, с рисунком серпа и молота, который давила сама донцем стакана с выпуклой рабоче-крестьянской эмблемой.

Славельщики убежали... Сима надел телогрейку и вышел следом. Золотая звезда полыхала над скворечней, и вся скворечня отливала бледно-сумеречным, положив тень на сугроб снега, и внутри скворечни светилось белым, привораживающим. На востоке пока ещё слабо брезжила дымно-жёлтая полоса. На Млечном Пути клубилась меловая пыль, будто рассыпанная ночью из прорехи, но и она медленно и неохотно таяла. И Сима подумал: «Может, небо с нами и разговаривает при помощи молчания, только мы, приученные своим происхождением орать, не понимаем этого».

– Симка! Обедать! – вышла на улицу и крикнула Фёкла Петровна.

На столе уже благоухали блины, политые топлёным маслом, маячил пар над горячей картошкой со сметаной и отдельно, горкой на расписной тарелке, лежали сырчики – творожные колобки, замороженные в снях к Рождеству и отколупнутые сейчас для разговленья.

Сима позавтракал и как человек, не желающий работать в колхозе, отправился гулять по деревне. Лес на заречном берегу сверкал в алмазных изразцах. В розовых шубах до пят стояли берёзы, вспыхивал, мерцал, ослеплял лёд у проруби. С визгом и пением отозвались на всю окру-

гу кованые полозья – это Фадей Формович куда-то раскатился на своём выездном жеребце Казбеке. С картонным плакатиком под мышкой Симе повстречался Пшебыш Пшебышевский.

– Далеко идёшь? – спросил он.

– Да вот, гуляю, – ответил Сима. – А ты?

– В клуб ходил. Забрал свои «Виды коммунизма». Дома доделаю да на ферму повешу. Я сейчас, Серафим-батькович, искусительные силы изображаю! Заходи, если интересуешься.

– Я Богом интересуюсь, – ответил Сима.

– А к Богу приходят через искусительные силы. Бог-то так просто не даётся. Его надо заслужить, как звание Героя Советского Союза, то есть подорвать два немецких танка одной гранатой.

Пшебыш пошарил в кармане «москвички», нашарил где-то десять рублей и мотнул башкой в сторону магазина:

– Приходи! Да вот купи чего-нибудь.

Сима взял деньги и устремился за покупкой. В магазине горели две печи, наполняя угарным теплом помещение внушительного размера. По одну сторону находились товары для промышленного приспособления – дверные скобки, железные лопаты, книжечка «Гамлет», тщательно засиженная мухами в длительном ожидании покупателя, коленкоровая украинская рубашка с вышивкой по вороту и приколотым булавкой ценником – антисемиточка, тридцать рублей. Костюм мужской, шевиотовый, чёрный, с очень широкими штанами и очень коротким пиджаком. Гипсовая статуэтка, изображающая кавалера и барышню под названием «Вальс-бостон», и тоже пожелтевшая, в мушиных крапинках, сковородка. Если звякнуть по ней, зазвенит, как водовозная бочка.

По другую сторону – продукты. Карамель «Весна», карамель «Золотая осень», «Зимний сон», «Жаркое лето». Шоколад «Победный марш». Сухофрукты, пересыпанные опилками. С вермишелью. Нет, извините, это не вермишель... Оттого и опилки. Миленькая водочка. С белой головкой, как

младенчик. Вино – кагор, вермут, портвейн, ликёр, спотыкач, шампанское. Всё – плодово-ягодное.

Продавщица Лидия Игнатъевна, женщина неизвестного характера, спросила:

– Чо пришёл?

– Да вот...

Сима растерялся от вероломного вопроса.

– Ну? – окатила его ядом Лидия Игнатъевна.

– Водки бы мне, – лепетнул Сима, вытягивая десятку во всю аршинную длину и застилая ею половину прилавка.

– Осторожно с деньгами! Не загрязняй мне тут мебель! – толкнула с прилавка десятку Лидия Игнатъевна. – Где взял такие деньги?

– А чо? – осмелел и дерзко спросил Сима.

– А то, что не робишь, а деньгами разбрасываешься...

– Деньги мне дал Пшебыш! – начал выходить из себя Сима. – Дайте мне бутылку водки!

– А чо заорал? – заорала Лидия Игнатъевна. – Молоко не обсохло, а уж орёшь. Гли-ко, в окопах сидел, психику нажил! Водки ему... Берлин взял, парень! Гли-ко! Чо хотят, то и берут! Водки!..

Сима затрясся. Затряслась и Лидия Игнатъевна. Затряслась и водка в её руках. Она прокатила бутылку по прилавку, а следом прокатила сдачу. Сима подобрал сдачу и пошёл из ненавистного магазина. Лидия Игнатъевна плюнула ему вслед.

Пшебыш жил в мазаной канители на той стороне деревни. Канитель под дерновой крышей, лениво сползая на левый бок, глядела свысока подбитым глазом. Малокровная растительность, объединенная скотиной ещё жарким летом, существовала у стены.

В жильё Пшебыша пахло, как в МТС. Сам он засуетился, забегал и, переставляя с места на место тюбики с краской, начал запинаться в объяснениях:

– Вот, понимаешь... вот... мастерская... арсенал живопи-

си у меня в этом... сам понимаешь... в подполе. А тут, понимаешь, изображения никчёмные... Да-а!

– Я бы посмотрел арсенал-то! – заявил Сима.

Пшебыш засуетился интенсивнее и от суеты покраснел.

– Да это... в общем, это...

– Веди в подпол! – попросился Сима.

Пшебыш с неправдоподобной натугой, будто толкая воз с сеном, сдвинул западню и очень громко крикнул. Из подпола сочился тощий огонёк. В носу защипало от дамских духов «Майский ландыш». Пшебыш прыгнул в подпол, минуя лешенку, крикнул ещё громче и прокричал:

– Дарья Петровна! Выходи! Это Сима Сивцов! Он интересуется устройством мироздания, а не нами с тобой!..

В подполе при свете керосинового светлячка ворохнулась женская туша, и во мраке образовалась улыбка Дарьи Петровны.

– Я, понимаете ли, позирую тут Пшебышу Казимировичу. А то при народе охватывает расстройство души, и в изображении колеблется достоверность, – румяная насквозь, стараясь как можно усерднее ломать взволнованные руки, объяснила она.

Наивный Сима поверил и согласился:

– Да, да!..

Пшебыш угодливо зажёл лампу, и он увидел изображение на картоне, от которого спрятался за картон.

– Вот! – лоснясь от бурного переживания внутри себя, выдохнул Пшебыш и кратко бросил через плечо: – Дарья! Ты приготовь чего-нибудь в честь Рождества!

Дарья поползла наверх. Неугомонно досадуя, что ползёт она чрезвычайно медленно, и нетерпеливо топчась, Пшебыш повторил:

– Вот!..

Дарья Петровна выползла и, внушительно ступая, взяла направление, наверное, к печке. Пшебыш дёрнулся и презрительно разъяснил её назначение в своей канители:

– Колода! Небесный тихоход, честное слово! Если бы не

свойство натурщицы, которую тут заменить нечем, я бы давно наложил вето на её визиты. Пришла, как домой, спустилась в подпол... Хм! Зачем, собственно?

И Пшебыш исказил своё лицо гримасой оголтелого недоумения.

– А что это у тебя? – выглядывая из укрытия, спросил Сима и показал на изрисованный картон.

– Это? Василиск! – душевно приподнятый его страхом, разгульно сообщил Пшебыш.

– Василиск? – переспросил Сима. – А что это такое?

– Ха-ха! – выразительно, в пределах посвящения в существование василиска, хохотнул Пшебыш. – Змей!

– Змей? – снова переспросил Сима. – Ну и страшилище!

Пшебыш взял карандаш и начал им водить по рисунку, излагая, как на уроке зоологии:

– Это голова. Голова петуха. На голове корона. Ведь гребень петуха – это остаток былой короны, исчезнувшей в процессе эволюции. Откуда петуху известно время?

– Откуда? – спросил Сима, забыв закрыть рот.

– А оттуда, что он является продолжением существа мифического, по крайней мере, для нас, живущих сейчас. И существо, вероятно, знало всё о Земле. В петухе цепко живёт память о течении времени.

Пшебыш вскинул ввысь перст и таинственным шёпотом прошипел:

– Особенно ночью! А почему?

– А почему? – выдохнул Сима.

– Да потому, что все злодеяния, почти все, свершаются по ночам. Земля поворачивается одним боком к провалу. Из провала проистекают силы зла. И петух точно знает время их активизации! Он криком своим предупреждает – вот первый час ночи! Вот – второй час! А вот – и четыре утра! Не перестанете злодействовать на Земле – сдохнете! Помнишь, у Гоголя в «Вии»? Вся нечисть попропадала прямо... где? В церкви! Не услышав третий крик петуха! Итак, далее...

Пшебыш летучим размахом обвёл карандашом то, что представляло собой туловище василиска.

– Что это? – спросил он.

– На лягушку похоже, – сказал Сима.

– Это торс жабы. – Пшебыш ткнул в хвост и добавил: – А это змея.

Он заткнул карандаш за ухо, подбоченился и начал учительствовать дальше:

– Жаба – болотная тварь. На генетическом уровне ей всё известно о хлябях земных... Кстати, не вздумай где-нибудь ляпнуть «на генетическом»! Ибо! Хм! Генетика – выдумка империализма. В содоме Адольфа Гитлера работали генетики и евгеники. Евгеника – ещё страшнее. За одно словечко могут дать десять лет без права...

– Сейчас не дадут! – легкомысленно перебил Сима.

– У нас могут дать в любое время! – перебил и Пшебыш. – Так вот, значит, генетика... В общем, жаба... Далее змея. Да! Змея! Змей-искуситель. Он был в раю, видел Адама и Еву и самого Господа Бога. Понял? Три мудрых и древних твари совмещает в себе василиск.

– А как он размножается? – нескромно спросил Сима.

– Он никак не размножается. Он – гибрид.

– Но...

– Но вылупляется из яйца, которое раз в три года сносит петух.

– Петух?! – воскликнул Сима. – Да это то же самое, что мужчина может родить ребёнка!

– Ай, пся крев! Пся крев! Пшешки кошпа, пшиш шапешашки!.. Ты Анну Проруху знаешь?

– Эту дуру-то?

– Ха! Пёсья твоя кровь! Она не дура! О! Она далеко не дура!

Пшебыш снова вознёс свой перст, словно указывая вверх на громоздкое шевеление Дарьи Петровны, и, как сатана, улыбнулся...

Глава третья

В молодости Анна Прорухина погорела. От большого дома осталась одна стена, а от имущества – овчинный полушубок. Потом мать с отцом опомнились от пожара и построили другой дом и снова обзавелись имуществом. Дом обокрали. Унесли всё, оставив лишь стены и всё тот же овчинный полушубок, потому что он сушился на прясле и воры не заметили его. Когда в третий раз Прорухины нажили имущество, началось раскулачивание. Пришли активисты и приказали всё сдать в колхоз. Дед Анны, догадливый Моква Моквич, нарядил в полушубок огородное пугало и поставил его над картошкой, а потому активисты тоже не заметили полушубка и благополучно отбыли с конфискованными корзинами из ободранного догола дома.

Потом и родители, и вся родня Анны поумирали от голода, и она стала жить в голом родном доме одна. Чтобы единственный полушубок не украли или не забрали в колхоз, она надела его на себя и стала носить, не снимая, зимой и летом. Так и ходила – в засаленном и добротном оборванном овчинном полушубке, подпоясавшись верёвкой.

Над всем, что происходило в жизни, Анна хохотала. Например, началась война с Гитлером, а ей смешно:

– Гы-гы-гы!..

– Чо ты гычешь? – спросят зарёванные бабы. – Война ведь!

– Над войной и хохочу! – ответит Анна. – Гы-гы-гы!..

– Чо тут смешного? Родину защищаем!

– Да у меня и вся Родина на мне, шубёшка эта. Гы-гы-гы!..

Пришла победа, опять хохочет. Ну, здесь понятно, от радости.

– Гы-гы-гы!..

– Да, Нюрка! Победа, Нюрка!.. Одолели проклятого немца! Победили мы!..

– Гы-гы-гы!..

На работу она не ходила – всё хохотала. Придёт, бывало, бригадир и гаркнет под окошком:

– Нюрка! Айда горох крЮчить!

– А чо его крЮчить? Пушшай растёт! Гы-гы-гы!..

– Тьфу! – плюнет бригадир. – Чтоб ты лопнула, дура!

Призовут Анну в контору, чтоб нешуточное внушение сделать за её уклон от колхозной работы, она явится в своём полушубке, встанет у порога, прислонясь к косяку и отставив ногу для важности. Одну руку за отворот полушубка положит, другую на поясицу – шибко-то не заорёшь, если она в позе самого товарища Сталина стоит.

– Ну что, Прорухина, коровушек надо доить, – скажет уполномоченный, прибывший специально для вынесения внушений уклонистам от труда.

– Дак не умею. Гы-гы-гы!..

– Так и свою коровушку не доишь?

– Её нет у меня. Гы-гы-гы!..

– А где же она, коровушка-то?

– Не знаю. Гы-гы-гы.

– Иди колхозных дой!

– Дак не умею. Гы-гы-гы!..

– Учись! – прикажет уполномоченный.

Анна придёт на ферму, сядет под корову и хохочет.

– И чо тебе постоянно смешно? – спросят доярки.

– Дак жизнь смешная. Гы-гы-гы!..

Как-то осенней тёмной ночью шла с фермы доярка Дуня Дягилева. Шла, можно сказать, на ощупь, оступаясь то в ямы, то в колдобины, на повороте наткнулась на прясло и чуть не выткнула себе глаз, запнулась о чурку, упала и, кое-как поднявшись, побрела дальше. Так было темно и глухо, и от темноты мурашки по коже бегали... Но вдруг в небе что-то просияло. Дуня вздрогнула и взглянула вверх... По небу летела головёшка и сыпала искрами. Она пролетела над огородами и кувырнула в трубу Анны Прорухи. Дуня ока-

залась дояркой не робкого десятка, не зря на днях в комсомол записалась. В темноте она побежала следом за головёшкой, опять наткнулась на чьё-то прясло и, не обратив никакого внимания на столь ничтожное событие, понеслась дальше. Дуня была не только отважной, но и смекалистой. А потому стучать в дверь Анны она не стала, зная, что та всё равно не откроет. Стараясь не шуршать бурьяном и собирая на себя репей, она подкралась к окошку и прилипла к стеклу. Занавесок в то смешное время не было, и всё, что происходило внутри жилого помещения, виделось, как на картинке. Дуня увидела такую картинку, что у неё шибко поколебалась вера в ленинский комсомол...

В избе Анны мигала керосиновая лампа без стекла, которую так и называли – пимигалка. Она освещала шесток задымлённой русской печки. На шестке сидело насекомое с хвостом змеи, телом лягушки и с головой петуха. На голове блестела царская корона, усеянная блёстками. Насекомое откуда-то, наверное, из дымохода вынимало колобки масла, комковой сахар, пряники, конфеты и подавало Анне, а Анна всё это богатство составляла на стол.

Дуня хоть и была смекалистой, но не совсем. Совсем смекалистый человек бы промолчал, что видел. А она тут же прибежала в клуб и растрезвонила о насекомом с хвостом змеи и колобках масла... Комсомольцы с кольями наперевес бросились окружать змея с царской короной на голове. Прибежали к избе Анны, тихо прилипли к окошкам, а в избе никого нет. Сидит сама Анна у пимигалки и хомутной иглой зашивает дыры на своём полущубке.

– Открывай немедленно! – затарабанили в дверь.

Дозвонились из конторы до участкового Онушкина. Участковый прискакал на жеребце, с наганом в руке, выстрелил в небо и ускакал обратно. На другой день собрали комсомольское собрание и потребовали отчёта от Дуни Дягилевой. Дуня отчиталась. И её тут же выключили из комсомола за посеянную панику. Следом за этим несчастьем пришло

ещё одно – Дуню понизили в звании доярки и перевели в ночные сторожихи на телятнике. В результате ночных бдений у Дуни изломалась психика, она стала петь псалмы и, дожив до распутицы, ушла с костылём по весенней дороге в компании свидетелей Иеговы.

Сима Сивцов в то время был пацанёнком, сам бегал с комсомольцами к избушке Анны Прорухи и пинал в дверь с криком:

– Открывай немедленно!

Анна как жила, так и дальше проживать стала, не снимая полушубка в зимнюю стужу или в летний жар.

– Опять змея парит! – роптал народ, и опять кто-то видел, как летела по небу головёшка и падала в трубу Анны Прорухи. А она всё хохотала. Пока не померла. От хохота. И, пожалуй, один Пшебыш, лях окаянный, знал, что нюхалась она с василиском. Оттого и жила весело.

Сима, когда верит в это, тоже весело живёт. Но в часы уныния вера в чудеса угасает и действительность надвигается, как пустыня. Тяжко и тошно. То праздники с кумачами и одними и теми же речами. То смерть за плечами. То... то вообще ничего нет.

Глава четвёртая

В страшный мороз лопнуло дерево в согре. Эхо запрыгало, покатилося, отскакивая от берёз и осин, передразнивая гул разрыва. Старый волк, крадучись шаткой пробежкой за огородами лесной и забытой всеми, заваленной по самые крыши деревеньки Соломатино, остановился на ослепительном лезвии лунного луча и взвыл протяжно и жутко, оглашая древней тоской звериного своего бытия и ненавистью ко всему, что ютилось по тёплым избушкам, спало, храпело, вздыхало и жевало в парных навозных хлевах. Мохнатый, в снежных соцветьях лес, равнодушно слушая вой, жил

своей цветастой жизнью. Луна сияла так, что на ней видны были руины громадных городов, построенных когда-то циклопами, улетевшими вдаль в поисках лучшей жизни. А на Земле мерцали пигмеи, уверенные, что мерцать будут вечно. Всё здесь издавало звук, лишь молчала сама Земля, зная об этом...

Люди тоже хотели знать, что их ждёт в будущем. А вдруг... Что вдруг? А вот вдруг... Накануне Страшных вечеров, с тринадцатого на четырнадцатое января, засел в избушке Анисьинички молодежавый женский пол, чтоб выглядет в зеркале свою долгожданную судьбу в обрисовке лейтенанта с золотыми погонами. В зеркале отражался угол избы с печкой, на которой стояла чугушка с горошницей. На фикусе вместо цветков были завязаны красные ленточки. Ещё один бантик сидел на фуксейке. Его-то Гутька-учётчица, севшая к зеркалу первой, и приняла за красный орден на груди офицера и по этому поводу испустила не то радостный, не то испуганный вопль:

– Девки, глядите-ко! Сам старший лейтенант ко мне вышел!..

– Где? Где? – подсыпали к зеркалу девки.

– А вон!.. Глите-ко!.. Чо это красное у него на груди?

– Омман, девки! Омман! – заторопилась объяснить Анисья. – Это ленточка у меня на куксейке. Бантик...

– А за куксейкой кто?

– За куксейкой окошко...

– Кто смотрит в окошко?

Анисья приподняла тряпицу, которой было занавешено окно, глянула одним глазом и отпрянула – в окно смотрела ночь!.. Сияя серебром своих одежд, ошетинясь каждой икрой, она стояла с колом полярного холода. Алмазный поток снегов переходили вброд иссиня-чёрные тени. В их чаще кипело снежное варево, и рождался, вставал на костяные ноги, шёл просёлками, мощёнными бриллиантовыми плитами, сбрасывая снежные комья с берёз, скрипел и ахал в лучистом безмолвии морозный Кашей.

– Ой, девки, мороз такой, что из ума выбивает! – проголосила Анисья и, уязвлённая собственным ничтожеством, добавила с надгробным вздохом: – А ночь-то светлая, хоть вшей ищы!

Стали гадать дальше. Гутька-учётчица кинулась на улицу с зеркалом, навела его на луну и увидела две луны. «Выйду замуж нонче!» – взволновалась она и навела зеркало снова. На луне кто-то подмигнул ей и оскалил зубы. Гутька выронила зеркало и примчалась в избу.

– Там кто-то есть! – содрогнулась она в суставах.

– Где? – спросила Анисья.

– На месяце...

– Омман! Никого на месяце нет! – заявила Анисья и побежала проверять факт в самостоятельном виде.

Луна пустовала, как елань. А елань пустовала, как луна. Обе гляделись друг в друга, надеясь найти признаки жизни. Но из признаков жизни была лишь одна Анисья, и то стояла она в своей ограде, обнесённой косым пряслем, и напоминала картинку в тетрадке, исчерканной каракулями... Что-то знакомое до сердечного изнеможения трепетало вдали... Анисья догадалась, что это лес, неузнаваемый сейчас, обсахаренный инеем, с переливами миллионов огней. Она засмотрелась туда и забыла свою жизнь. Вывел её из себя глуховатый скрип. Она оглянулась и обомлела – из-за хлевушки прямо на неё полз гроб, всё ближе, ближе, всё страшнее скрипя снегом... Вот дыбом поднялась крышка над его кормой, изнутри морозно пахло сосновыми стружками, показалась коленкоровая подушка, крест-накрест обшитая чёрной тесьмой. Анисья охнула, подогнулась в ногах и бухнулась в гроб... Очнулась она в корыте на колхозной свиноферме.

Перетоптав поросят вместе с хряками, она покинула свиноферму, приковыляла в коровник, где вдобавок ко всему встретилась с привидением в маскхалате. Привидение лило в пустые фляги то воду, то молоко. Увидев Анисью, оно ис-

пуганно шмыгнуло куда-то, бросив пустое ведро. Анисья испугалась и тоже шмыгнула куда-то, пока не опознала себя на пустыре, за сушилкой с архитектурной вентиляцией.

Девки всё ещё гадали, когда она пришла домой и решила записать всё, что испытала на себе в эту ночь, схватила карандаш, тетрадку и вспомнила, что неграмотна...

– Омман, девки! Омман! – говорила она, хватив стакана два бражки. – Омман! Никаких таких нету... разъяснений для человека... Нету никаких...

В эту ночь ходил по деревне Сано Урушкин с проверкой активного отдыха трудящихся масс и увидел в избе Анисьи яркий огонь. Сано подтянулся к окошку, занавешенному тряпичей, и начал наблюдать сквозь дыру в тряпице. Посреди избы на табуретке стояла сама Асинья и митинговала, размахивая руками. Вокруг сидели девки и слушали её речь.

«Понятно! – пропечаталось в мозгу Сана. – Никаких таких... Каких это никаких? Ага! Коммунистических ленинцев! Во-во! И пионеров, и комсомольцев. Да и партийцев тоже... Осип Ассарионович помер, а то сдал бы тебя в лагерь сацилизма!...»

Дома Сано составил записку из доступных его мировоззрению слов и утром прилично доставил её Леониду Данилычу Кунцеву.

– Вечор Анисья, конторская единица, открыв подпольное выступление своей персоны, навевала на комсомольцев страх колдовства, отрицая, что в мире нет никаких таких ленинских героев, – сказал он. – Если народ будет призывать на себя чудеса природы, то сама природа отойдёт в сторону. Давайте произведём разрез обрыва и познакомим себя с геологией. Что мы увидим? Увидим отложения геологического формата.

– Гы! Гы! – издал Леонид Данилыч, завидуя, что Сано почерпнул сведения о формате из книг Мичурина.

«Однако откуда-то вчера шла Анисья, вся в отрубях. Наверное, в свиарнике что-то выслеживала. Испугала меня

и сама испужалась», – подумал Леонид Данилыч и наказал перед лицом Сана:

– Ладно. Иди, развивай свои культурные накопления!

Потом оторвал от уроков Марью Ивановну и задал ей лекцию, не очень внятно намекнув на разрез обрыва и знакомство с форматом геологии.

Глава пятая

«Чудеса в разрезе природы» – так озаглавила Марья Ивановна свой доклад и под мышкой с ним пришла в клуб. Народ уже собрался и трепетал от ожидания.

– Итак, товарищи, никаких чудес на свете не бывает! – произнесла она с трибуны, плотнула из стакана воды для важности и продолжила, воодушевлённая собственной возвышенностью над народом.

– Чудесами называются те поступки сверхъестественных существ, с которыми люди не встречаются, а когда встречаются, они их разоблачают. Что мы получим в результате? В результате мы получим пустое место. Потому чудеса – это мы с вами, разгромившие фашистскую гидру и теперь успешно вклинившие индустрию в мировое путешествие по земле. А самое чувствительное чудо – рождение Владимира Ильича Ленина! Наш совец...

Марья Ивановна не закончила, потому что её голос тут же потонул в море аплодисментов. Она переждала, когда море утихнет, и продолжала с трибуны:

– Наш советский человек создан по образу и подобию Владимира Ильича Ленина...

– А Ленин по чьему образу? – всё-таки не утерпел, выкрикнул с места Ваня Шманов.

– Владимир Ильич Ленин создан по образу своих великих родителей! – находчиво отшила его Марья Ивановна.

– А родители по чьему? – не унимался зловерный Ваня.

– А родители по своим родителям...

– Это как! В таком отсчёте мы дойдём до обезьяны! – хохотнул Ваня, возвысив голос до непонятого восторга.

– Ну-ко, Шманов, замолчи! – прикрикнули в народе. – Дай послушать просвещение, как положено!

Марья Ивановна благодарно пошевелила головой и опять пивнула воды.

– Мы живём в благах матерьялизма, созданных нашим трудом в колхозе «Заветы Ильича», соблюдая все заветы вождя пролетариата. Коллектив колхозников – вот полнокровный хозяин, живущий в разрезе природы и неустанно бдительностью подчиняющий её себе. Но есть среди нас ещё пережитки старины с отрицательным украшением. Взять, к примеру, техничку Анисью. Человек трудится в общественной конторе, что не помешало ей собрать у себя дома святочный кагал. Что они делали? Смех, товарищи! Смех один! Они принялись наводить на луну зеркало, надеясь увидеть там... Кого бы вы думали? Бо-га!.. Бога они там так и не увидели. Ничего не увидели, потому что луна – это шар с одним и тем же отпечатком жизни, повернутой к нам всегда одним лицом...

– Батюшки сердешные! – возмущённая искривлением правды, воскликнула Анисья. – Кто-то уж на меня заявленье написал, что я на луну глядела. Ничо нельзя сделать. Тут же подглядят в шшелъ и напишут заявление, что не туда смотрю! А чо я перенесла в ту ночь, дак никому не известно и никто об этом даже словечка не сказал. Я стретилась с самой смертью вот так, как стретилась сёдни с вами!

Народ не дышал – слушал и очень сильно желал, чтоб Анисья рассказала о смерти, но Анисья не досказала, а народ, не зная, как себя вести в таком положении, снова захлопал в ладоши. Захлопала и Марья Ивановна заодно.

– Товарищи! – провозгласила она, разворачивая свиток, перепоясанный алой ленточкой. – Вот, товарищи, вакуоль, наполненная жидкостью для произведения жизни. А это го-

ловастик, который завёлся в жидкости при помощи усложнения Земли. А вот высокоразвитые существа – лягушки и черепахи. Вот мамонт. Вот сам человек...

– А выше человека кто? – заинтересовался Ваня с умышленной громогласностью.

– Владимир Ильич Ленин! – с прежней находчивостью отбрила его Марья Ивановна.

– Так Ленин разве не человек? – громогласно спросил Ваня.

– Ленин – вождь! – проорал из президиума Леонид Данилыч.

– Тебя, Ваня, в ерархии общественной дисциплины расстрелять надо, – не менее громогласно вставил Сано Урушкин. – Подвергаешь сомнению вождя, человек он или облезьяна. Конечно, человек!

– Так вот я и спрашиваю, выше-то человека кто? – уж совсем обнаглел Ваня.

– Выше человека нету никого! – громче прежнего проорал Леонид Данилыч.

– Так значит, мы одни, что ль, блудим среди звёздных пятнышек? – с откровенной издёвкой, запачканной потайным смехом, спросил Ваня.

– Мы не блудим, а шагаем к прогрессу во имя трудящихся масс! – гаркнул Леонид Данилыч и от злости стал блее платка Зинки-бляди, надетого ею в честь лекции.

– Куда шагать на земном шаре, если сам шар крутится и докрутится до того, что налетит на солнце...

– К прогрессу! – сказала Марья Ивановна, на чём и закончила свой доклад, объявив, что тезисы исчерпаны. И сразу же киномеханик Митя Калганцев заревел:

– Та-рищи клхзнки! Щчас кнфюфльм «Бгтырь идёт в Марто». Фльм, прокаченный на средства клхоза! Сюжет фльма – шпиёны в океане!

Все остались смотреть про шпионов, а Марья Ивановна отправилась домой, чувствуя истощение организма и досаду,

что лекцию всё-таки сорвали. Дома она села ужинать. Налила в бокальчик простокваши, отломала от буханки хлеба, капнула простоквашей на стопку тетрадей и сдвинула их на край стола.

– Никто толком не учится, кроме Маньки Хмелитовой. Да и та не столь учится, сколь стишки пишет, – проворчала она, откусила хлеба и отпила простокваши. – Чудеса в разрезе природы... Придумает же этот Лёня Кункин! Никаких разрезов, одно однообразие. Придумают себе какого-нибудь... козерога и верят в него. У-у, ненавижу всех! Ненави...

В окошко кто-то постучал. Тихо, с соблюдением чего-то запретного, но всё же так, чтоб было слышно не детям, Валерке с Надькой, спящим в углу на кровати, а одной Марье Ивановне.

«Кто это?» – привскочило её сердце, и она остановила вожделенное поглощение продуктов питания.

Стук повторился. Марья Ивановна испугалась – этак ей давненько не стучали. Только в молодости, приглашая на свидание, да и не много было таких стуков. Хоть и поющая «Тонкую рябину» с дробным переливом, но косенькая, прихрамывающая, отчего при ходьбе одна ягодица всегда грозила оторваться, Марья Ивановна не шибко завлекала мужской пол. Он, пол-то, отвоевавший и наострившийся вести любовный отбор в германских развлекательных заведениях, похаживал сытым бычком в разномастном бабьем стаде родного отечества, лениво высматривая мадамок денежных и кудрявых. А к ней стучался один Лукашка, даже и не воевавший тоже из-за косоглазия, да такого редкостного по величине, что в одной стороне видел наших и в другой стороне видел тоже наших, а немцев не видел...

«Неужель Лукьян?» – продёрнуло Марью Ивановну стужей. Она дожевала кусок, торопливо проглотила сжёванное и несмело подняла край занавески. За окошком стоял генерал. Луна усердно вылизывала его сияющие погоны, кокарду на папаче, шитые загогулины на обшлагах шинели и пугови-

цы, выставленные, как в музее, в два ряда от подбородка до пояса.

Генерал поманил её пальцем. Марья Ивановна задрожала, как осина, опустила занавеску и снова отдёрнула её.

– Можно вас на минутку! – донёлся из-за двойных окон господский голос.

– А в... вы кто? – спросила она и чакнула от страха зубами.

– Выйдите на минутку! – сказал генерал и кивнул на дверь.

«Кто же это? Кто же...» – заметалась Марья Ивановна по комнатухе, хватая то полушалок, то платок, споткнулась о ботики, в которых только что пришла с лекции, кое-как воткнула в них ноги и, от волнения шибанув железной щеколдой изо всей мочи, предстала в проёме двери, ошпаренная лунным светом, как кипятком.

– Здравствуйте, Марь Ванна! – сказал генерал, произведя головой движение с намёком на поклон, но, будто вспомнив, что перед ним задрипанная учителька, не поклонился.

– 3-здрасьте, – выдавила из себя Марья Ивановна, удивлённая до дурной беспечности.

– Не покажете ли мне дорогу...

– Покажу! – даже не дослушав, куда показать дорогу, подхватила она. – Только вот оденусь потеплее.

– Да, будьте любезны! – продолжил генерал и улыбнулся, обнажив золотые зубы. А, может, серебряные. При луне не разглядишь, тем более что генерал стоял в тени забора, которым сикось-накось Марья Ивановна самолично обгородила крыльцо, чтоб деревенская скотина не оставляла на нём своих примет.

Теперь она не волновалась, а горела, как копна сена. «Кто же это? Кто?» – всё спрашивала себя, надевая шерстяные чулки и перетягивая их выше колена резинками, сшитыми из лопнувшей камеры полуторки, валенки-чёсанки из бело-снежной шерсти, пальто с котиковым воротником, шапку и муфту.

Генерал ждал, облизанный луной, сыпал блеском со всех сторон, искрился и был похож на новогоднюю ёлку, какую зажигали в царское время.

Они пошли по лунной пустынной дороге, и тени их тоже пошли впереди их. Марья Ивановна молила изо всей души, чтоб им кто-нибудь повстречался. Но, как назло, деревня будто умерла. «Как тащишь вязанку дров из школьной поленицы, так обязательно кто-нибудь встретится. А тут с генералом иду и ни одной человеческой фигуры нет!» – думала она, не зная, куда идёт и какую дорогу показывает, лишь в лесу, когда перешли обледенелый, в искрах и звёздах мост и поднялись на гору, немного одумалась и спросила:

– А куда же мы идём-то?

– На Ржавец, – вежливо, держа её под руку, ответил генерал.

– А-а! – протянула она, совсем не удивляясь, что согласилась идти в лунную ночь с чужим мужчиной на Ржавец. Мутно, словно в угарной бане, вспомнила, что Ржавец – это Ржавец. Лог в пяти километрах от деревни, с деревянным настилом через воду, вокруг страшные лесные дебри, в дебрях – волки... Но у генерала, небось, пистолет, и никакие ни волки, ни зайцы не страшны.

Она вдруг увидела, что тень генерала приобрела рогатую голову, как у колхозного быка Синедриона. Марья Ивановна содрогнулась от непонятного ощущения и испуганно взглянула на генерала. Нет, он был в папаче, блестел погонами и что-то любезное говорил ей... Она снова посмотрела на тень. Нет, тень была с рогами...

– Вы кто? – спросила она, сама не своя от страха.

– Козерог, – ответил генерал.

«Сашка Козлов, что ли?» – мысленно обратилась она к себе, сильно удивившись, вспомнив вертлявого похабника Сашку Козлова, с которым мыкала горе на одной парте и который всегда подставлял к гульфику половину каральки, толкая её в бок: «Манька, глянь-ка!».

«Не может быть, чтобы Сашка стал таким военным гражданином! Да и в тюрьме он, слышала я. Тогда кто? Лёня Путров? Толстый, похожий на тюленя Лёня... Сашку обзывали козлом по его фамилии, а Лёню – коровой, по внешнему проявлению в окружающей среде... Да кто же? Козерог...»

Марья Ивановна опять посмотрела на тень. Голова с рогами сидела на статной, выправленной под военную струнку фигуре и шла чёрной тенью рядом с ней – изо всех сил маскирующей хромоту под игривое подпрыгивание от мороза.

– А зачем вам на Ржавец? – набралась она храбрости опять спросить. – Там не живёт никто. Дикое место, лес...

– Вы не правы! – горячо воскликнул генерал и показал куда-то рукой в перчатке, отороченной золотом. – Видите?

Марья Ивановна посмотрела туда и ничего не увидела.

– Нет, – призналась она.

– Плохо смотрите! – сказал генерал, вынул из-за обшлага шинели платок и подал ей. – Протрите глаза!

– Да, они у меня слезятся от мороза, – сконфуженно поддакнула она и покраснела от стыда в лунном сиянии, вежливо промокнула глаза и ахнула, остановилась... Перед ней стоял алмазный дом, и поскольку Марья Ивановна отродясь никогда не видела алмазы, решила, что дом ледяной. В окнах горели огни, наличники были выложены жемчугами, над трубой вился дым, и на серебряном крыльчке стояли серебряные вёдра, и между ними было вроде как золотое коромысло.

– Вот и весь Ржавец! – сказал генерал.

Марью Ивановну безудержно повлекло к окну, она припала к ледяному стеклу и увидела внутри дома живых людей из чистого золота...

– Кто-то смотрит! – испуганно донеслось изнутри, и один золотой человек прикрыл себя ниже талии букетом цветов...

– Эй! Кто там ходит? – сердито окликнул другой, подошёл к окну и тоже начал глядеть через стекло.

– Кто там? – спросил первый.

– Мадама какая-то, – ответил второй. – Эй! Ты что, подглядываешь? Кто такая?

Алмазная дверь с треском распахнулась, и с ковшом кипятка выскочил нагишом Васька Карелин... Марья Ивановна взвизгнула и отскочила от окошка... Никакого генерала не оказалось, а оказалась она сама на задворках у бани Карелиных, в которой мылись отец Васька с сыном Мишкой. Забыв о хромоте, она побежала по сугробам, Васька побежал за нею и всё-таки плеснул кипятком вслед.

– А ещё учительница! Бесстыжая твоя рожа! Только что лекцию читала о разрезе природы, тут же вырядилась и пошла к бане за голыми мужиками подглядывать! – донеслось злорадное насмехательство.

Васька поднял обрonnenную в паническом бегстве Марьи Ивановны котиковую муфту и ещё злораднее произнёс:

– Мухточку потеряла, блядь хромя! Ха-ха-ха!.. кабы не сын, так я догнал бы тебя... Сына стыжусь! Хэ-хэ!.. Вот они, учителя, чему ребятишек-то учат!..

Марья Ивановна кое-как докултыхалась до пришкольного участка и тут же решила насмерть задавиться. Но не задавилась по двум уважительным причинам – все колья на участке, поставленные ею собственноручно, валились во все стороны и, если бы не вязли в снегу, развалились бы. Ни один кол не выдержал бы задавившееся тело. А потом, на чём давиться? На Марье Ивановне не находилось ни единой маломальской одежды, из которой можно было бы свить петлю. Чулки снимать на таком морозе она побоялась, а рвать крепдешинное платье жалко. Одно-единственное платье разорвать, а в чём хоронить будут? Отдышалась она, поревела маленько над шуткой своей судьбы и пришла домой.

Не теряя времени, на этой же неделе записалась на приём сразу к двум официальным лицам – на исповедь к батюшке пока ещё, хоть и с перебоями, действующей церкви в соседнем селе и к врачу-психиатру районной больницы.

Рассеянно выслушав её путанный лепет, батюшка тяжело вздохнул и посоветовал:

– Молиться надо!

– Так я же учительница! – сказала Марья Ивановна.

– Вместе с учениками, – сказал батюшка.

– Как это вместе с учениками? – не поняла она.

– После уроков.

Врач-психиатр тоже выслушал её и сказал без особого усердия в голосе:

– Это бывает с одинокими женщинами. Наваждение на расстройстве сексуальной почвы.

– Какой почвы? – опять не поняла Марья Ивановна.

– Сексуальной... Ну, полового акта. Если акт совершить не удаётся, лучше о нём не думать. Раз думаете, то и явился вам этот акт в образе генерала и привёл к бане, где мылись голые мужчины.

– Да я совсем не думаю. У меня трудный класс, ко всему прочему своих двое детей. Не до актов! – возмутилась Марья Ивановна.

– Подсознание ваше думает, – вздохнул врач. – Потому что ваше подсознание подлежит бессознательному брожению, косвенно затемняя причины вашего бытия, к сожалению, определяя его не в ту сторону, куда движется общество, определяемое бытием. Поняли?

– Поняла, – проямлила Марья Ивановна.

Глава шестая

В колхозной столярке народ делал улы. Вторая по счёту пасека, которую наметили открыть предстоящим летом, воодушевила всех. Особенной фигуральностью козырял Ваня Шманов. Он строгал, выпиливал, стучал молотком, откладывал готовые доски в сторону. Игнатий Исакович, наблюдавший за народом, в действиях Вани Шманова учуял

что-то враждебное общественному стремлению и уклончиво спросил:

– Куда это ты дощечки готовишь?

– А тебе что? – спросил и Ваня.

– Я пчеловод и имею несгибаемый интерес к колхозным дощечкам...

– Колхозными они были до моего вмешательства. А теперь они мои!

– И куда ты с ними поплывёшь?

Ваня выпрямился над дощечками во весь рост, поскрёб ножовкой у себя в затылке и ответил с глубокомыслием:

– Я, Игнат, хочу свою пасеку открыть. Чтоб это была лично моя пасека! Чтобы я сторожил лично свою пасеку! Качал мёд и продавал его за деньги, а не за трудодни. На деньги я что хочу, то и куплю. На юг могу съездить, фруктов пожрать. В Салехард за муксуном, на Дальний Восток – за кетой. Если у многих из нас будут свои пасеки, это приведёт к укреплению экономических процессов в стране. Свою пасеку!.. И никаких хренов!

– Из колхозных дощечек? – с насмешливой хитростью спросил Игнатий Исакович.

– Слушай! Не будь китайцем! – вспыхнул Ваня, жестоко напомнив происхождение Игнатия Исаковича, и ткнул ножовкой по направлению колхозных дощечек. – Вот они – колхозные дощечки! Лежат в сыром виде. А я отпилил, обстругал, шпон нарезал.

Ваня сел на табурет и приступил к объяснению в более подробном изложении:

– Всё, чего коснулась умелая рука человека, человеку и принадлежит. До этого всё принадлежало природе. Природа призвана управлять той материальной частью земли, что мы формулируем как сырьё. Ты понял, Игнат? Или тебе надо объяснить на китайском языке? Я китайской грамоты не знаю.

– Понимать тут нечего, – сказал Игнатий Исакович. –

Фамилия-то твоя не Шманов, а Шмонов. От слова «шмон». Дед твой был босяк и пропойца, гонял по деревням и наводил шмон по погребам. И ты такой же пупырь! При помощи колхозных дощечек решил продемонстрировать своё частное присутствие. Ведь напилили их колхозные люди.

– Ну и что? Напилили и бросили. В таком изображении они пролежат тыщу лет, пока их червь совсем не лишит жизни. А я прибрал и буду употреблять на улы.

– За такое употребление я тебя выключу из строительного состава! – пригрозил Игнатий Исакович.

– Ха! Я уж сам выключился, потому что создаю личную пасеку! – дерзко сказал Ваня.

– Я не позволю расхламлять колхозные дощечки и наводить шмон...

Подошёл Василий Карелин и, возбуждённый каким-то своим открытием, прервал спор:

– Знаете, мужики, баба – самая непонятная разновидность животного мира. Неважно, хромя она или косяя. Бабу управляет детородный орган! Если он на месте, баба в самой наилучшей оснащённости.

– Мы не о бабах говорим, а о колхозном имуществе, – сурово сказал Игнатий Исакович. – При чём здесь баба?

– А при том...

Василий Карелин тоже сел, только на корточки, тренированным плевком выбросил слюну изо рта, подмигнул в правую, потом в левую сторону и сообщил голосом немецкого шпиона:

– Вчера с Михалкой, сыном моим, моюсь в бане... Сначала жопой стоял к окошку, потом передом повернулся... Гляжу, в окошко смотрит Марья Ивановна, титьки распахнула и показывает мне...

Ваня многозначительно покосился на него и улыбнулся так, словно на самом деле увидел шпиона...

– Думаешь, вру? – насторожился Василий.

– Врёшь! – опалил его Ваня каверзной улыбкой.

– Да вот провалиться мне на этом месте!..

– Провались!

– И провалюсь, потому что, ей-богу, не вру!..

– У нас, Вася, производственный спор, – напомнил Игнатий Исакович и жестоко нахмурился. – А ты со своими бабами вносишь разложение. Мне как колхозному пчеловоду и члену партии совсем ни к чему знать, что ты показывал Марье Ивановне со своего переда и что в ответ показывала она тебе!

– Вот именно! – в самом строгом режиме определил Ваня.

– И вообще похабный изгиб мысли в сторону служащей женщины карается законом, – продолжил Игнатий Исакович.

– Вот именно! – выбросил из своих душевных недр Ваня и подмигнул сразу обоими глазами.

– А ещё член правления! – сказал заключительное слово Игнатий Исакович.

– Стыд-срам! – опять подмигнул Ваня обоими глазами.

– Да ну вас! – сконфузился Василий Карелин, покраснел и ушёл.

– Женщину! Учительницу! Он зачислил в графу разновидности растительного мира! – послал ему вслед Игнатий Исакович.

– Вот именно! – послал и Ваня. – Марь Ванна не пройдёт по сугробам к банному окошку даже по причине одной своей укороченной ноги.

Василий понял, что его пристыдили самостоятельные мужики, и начал грызть себя, как кость. «Ведь я мужчина в итоге составной, собранный с полной прогрессией своих членов, а разболтался, как необъезженный парнишко. Ну, подглядывала, ну, женщина одинокая. А может, и не подглядывала, а искала телушку. Я же, как мужчина составной, должен был молчать!» – грыз он себя. После работы зашёл в магазин, купил на последнюю мелочь килограмм пряни-

ков. С пряниками он взял направление к Марье Ивановне, чтобы угостить её и извиниться. Мол, ничего не видел – померещилось. Да и как не померещится, если каждый день с похмелья.

Луна ещё где-то ползла сюда, может, стояла ещё над Байкалом, а здесь темнело, чернело, как темнеет и чернеет всегда перед восходом луны. В домишке Марьи Ивановны тоже куролесила темнота. Ребятишки, конечно, катались с косогора, где орали и визжали с другими ребятишками. А сама-то Марья Ивановна где?

«Поди в школе?» – проткнуло Василия сомнение. В доме купца Павлина Кутова, с карнизом и под железной кровлей, подаренном советской властью детям крестьянского происхождения, который возвышался на горе у моста, тоже засела тьма. И лишь силуэт крыши обрезал небо на востоке, посадив на свой конёк звезду, наверное, Венеру...

«Подождем. Откуда-нить да явится!» – вздохнул Василий и прислонился с пряниками к калитке, оригинально сотканной из ивовых прутьев самой Марьей Ивановной. Чтобы не замёрзнуть, он стал согревать себя итогами прожитого дня: «Два улья я сделал. Конечно, требуется конкретная доработка. Пока ещё так, на живую нитку. Но – сделал! Доски с узором... Баской узор!..».

Один узор повторял русло реки Волги и так же растекался ручейками при впадении в Каспийское море. «Ежели нарисовать бурлаков, то получится истинная картина Репина, – подумал Василий. – Нарисует Пшебыш, конечно. Или Манька Хмелитова. И рисует, и стишки сочиняет. Заместительница Пушкина!..»

Другой узор разливался садом. «Привести в порядок, нарисовать яблочки, мужчину и женщину с капустным листком вместо трусов, то выйдет натуральное повествование про Адама и Еву. Можно на божницу поставить, как почтение святого места из Библии...»

В домишке, кажется, послышались голоса. Скрипнула

дверь, кто-то мелко и торопливо просеменил в сенях, и тихонько скрипнула дверь на улицу... Василий сел в снег и начал глядеть в щель между прутьиков. На крылечко кто-то вышел, встряхнулся, поднял воротник пальто-«москвички», шмыгнул по тропинке, скрипнув ивовой калиткой, и так широко распахнул её, что ударил Василия по морде.

«Вот те номер на арене цирка! – ахнул он про себя и сразу же узнал Ваню Шманова. – Вот разведчик чо утворил!.. Ай да разведчик, едрёный корень!.. А всё оттого, что я развёл антимонию про баню. Вот тебе и "стыд-срам"! В дураки меня справил. В дураки мелкой арифметикой!..»

Он не додумал. Дверь опять скрипнула, и на крыльцо, солидно ткнув костылём, вышел Игнатий Исакович.

«Бля-а-а-ах!..» – болотной трясинной качнуло во внутренней обстановке Василия Карелина.

Игнатий Исакович толкнул калитку, как следует высморкался на него и со скрипом и сытеньким кряхтением похромал вдоль улицы.

«Вот они где говорят о колхозном-то имуществе!» – окатило Василия сверху донизу. Он задрожал и затрясся от собственного уничтожения, совершенно не понимая, как его, такого составного мужчину, через объятя которого проходила экзамены не только Зинка-блядь, но и писанные мамзели из советских учреждений, его, самца и красавца по всем параграфам, оставили в дураках. Да ещё и с пряниками. Вот уж точно – дурак с пряниками! И кто оставил-то? Недобитый власовец и желтопузый китаец.

В окошке Марьи Ивановны зажётся огонь. Сквозь ситцевую занавеску было видно, как она ходила по комнате, надела кофту, вот встала перед зеркалом и начала притыкать шпильками разволнованные волосы.

«Вот те и учительница! Да ещё с партийным билетом! А двоих отпустила, будто крупу продала!.. Да ещё в какое время! Пока невинные детишки на горке катаются!..» – дрожал и чакал зубами Василий в сугробе, с соплями Игнатия

Исаковича на шапке... Он вытряхнулся из снега, шибанул калиткой, да так остервенело, что отломил её начисто от прясла, и махнул на крылечко.

– Марь Ванна! Марь Ванна! – заторкал он кулаками в дверь. – Открывай! Марь Ванна! Чо закрылась-то? Детишек нет дома, а она уж взаперти сидит!

– Кто это? – послышался строгий голос из жилища. – Кто это ломится?

– Я! Василий Карелин!..

– Какой Карелин? А-а! Что надобно?

– Я... я... я, Марь Ванна, тебе пряников принёс...

Звякнул крючок, дверь приоткрылась, и, просунув наружу руку, Марья Ивановна сказала:

– Пряники давай, а сам уходи! Зачем идёшь в тёмное время суток? Сейчас дети придут, ужинать будем с пряниками.

Василий отдал пряники и, не зная, что делать, а главное, что думать, потому что голова его вдруг оказалась пустой и в ней зазвенело и затенькало, направился обратно. За оградой ему встретились двое детей – мальчишка и девчонка. Мальчишка, кажется, ещё не учился. Юркий, визгливый, как собачонка, он налетел на Василия и укусил его за валенок.

– Дядька! А, дядька! Скажи «пятак»! – с визгливым хохотом проверещал он.

– Пятак, – ничего не соображая, сказал Василий.

– А ты, дядька, дурак! – взвизгнул мальчишка и забулькал смехом.

– Дядька! Скажи «копейка»! – визгливо смеясь, подхватила девчонка.

– Копейка, – сказал Василий.

– У тебя не х..., а п...дейка! – укатываясь от восторга, завизжал мальчишка, спрятался за девчонку и заблеял: – Бе-е-е!.. Бе-е-е-е...

– Я тебя! – опомнился Василий, схватил его за шкуру и шваркнул себе под ноги.

– Ты, чо!.. Чо-оо!.. Я больше не бу...буд... – заканючил тот.

– Размажу тебя тута, как соплю, – прошипел Василий, ударил его ногой и пошёл.

– Дядя-блядя! Дядя-блядя!.. – со злыми слезами послал ему вслед мальчишка.

– Кутак! Кутак! – орала и приплясывала девчонка.

Глава седьмая

Фадей Формович Никудышин и Михаил Викентьевич Мошин сидели в конторе и считали. С улицы за окнами, сотканными из замороженной допотопной растительности, их фигуры гляделись в мрачном вымысле: два домовых что-то обсуждают, может быть, раздел конторы, а то и вовсе раздел колхоза «Заветы Ильича», высчитывая километры его объёма.

– Этакое количество пчёл потребуе безупречного корма, – проворчал Михаил Викентьевич, помусолил чернильный карандаш и отчеркнул в бумаге цифру с указанием количества колхозных пчёл.

– А кто их считал? Пчёл-то? – проворчал и Никудышин.

– Дак этъ в каждом улье...

– В каждом улье! – одёрнул Никудышин и весь сморщился от неудовольствия. – Сколь их в каждом улье? Мильён? Тысяча?

– Я говорю о корме, – не обращая на его неудовольствие никакого внимания, прервал Михаил Викентьевич. – О зелёных угодьях, на которых колышется разнотравье.

– Разве у нас нет разнотравья? – перестроив себя на угрозу, спросил Никудышин. – Вон сколь его по лугам и полянам колышется! Летай да ешь!

– А скот? – просипел Мошин, позорно сообразив, что потерял значенье голоса от угрозы собеседника. – Что, по-

твоему, пчела будет летать и путаться под ногами у коров? Корова шлёпнет навозом и задавит пчелу на цветке...

– Где это ты выдавал, чтоб на коровьем пастбище росли цветки? – спросил Никудышин, прибавляя угрозу в голосе.

– А что там растёт?

– Ничто. Потому что пастбище вытоптано коровами.

– Давай-ка пригласим Блюхина. Уж он-то посоветует, чем кормить пчёл, – предложил Михаил Викентьевич.

– Хм! Хм! – отозвался Фадей Формович, впервые серьёзно подумав о произволе своей фамилии: «Никудышин я и есть Никудышин. Никуда к чёрту не годен. Даже корма для пчелы не придумаю».

Послали Анисью за Игнатием Исаковичем. Тот пришёл и заговорил маршалским голосом:

– Лучший цветок для пчелы – гречиха. Будто вы не едали гречишного мёда и не знаете. Надо сеять гречу. Первым делом – питательная крупа для народа. С содержанием железа, что необходимо для укрепления организма, перенесшего войну и голод. Железо в организме держит в человеке всё торчком, и он ходит, подняв голову в высоту. Где гречиха, там и пчёлы. Чо, не знаете без моего вмешательства? И вот ишо чо: учёные додумались до того, что самые активные жизни клетки, из которых сделана пыльца гречихи, лежат на самом дне цветка. Соскрести эту пыльцу могут только пчёлы. И вот ишо чо: где гречу проработали пчёлы, урожай её повышается на десять центнеров...

– Ну, уж, на десять! – недоверчиво буркнул Фадей Формович.

– Ну, на девять, – сбавил урожай Игнатий Исакович. – А мёда с того же, проработанного пчёлами гектара можно получить больше килограммов на восемьсот!..

– Ну-у! – презрительно нукнул Фадей Формович.

– На восемьсот? – пикнул Михаил Викентьевич.

– Да идите вы! – презрительнее послал Фадей Формович.

– На семьдесят, – тощим голоском доложил правду Игнатий Исакович.

Установилось молчание. Лишь одна тишина звенела в ушах и шебуршала в печке сажа.

– Давайте-ка, мужики, пчёл разводите! – пробасил Игнатий Исакович, очень обрадовавшись, что превратился опять в маршала. – Насеем гречи. У Рички вон скоко полей по низинам. Весной их затопляет, и вода стоит долго. А греча воду лю-юу-убит!.. Да и от пасеки пчёлам недалеко летать. От Золотой полянки – километра два всего будет. Как вы мозгуете?

– А я что говорю! И за что бьюсь всегда? За пчёл! – прогудел Фадей Формович.

– Насеем гречихи, нам тут же план по гречихе преподнесут, – тоненько, но звонко сказал Мошин и робко взглянул на лицо Никудышина.

– А мы тайком посеем! – утвердил Никудышин.

– Как это тайком? От партии и правительства? – притворяясь возмущённым, воскликнул Мошин.

– Нужны мы партии и правительству, как и они нам! – отмахнулся Фадей Формович.

– Конечно, у них, у правительства, заботы поважнее. Только они куды без нас? Без кормильцев-поильцев? Вон Америка зубы окрысила, ей чо-то в хайло бросить надо. А то ведь съест! – высказался Михаил Викентьевич.

– Как тут тайком посеешь? – вздохнул Игнатий Исакович. – Донесут ведь! Свои донесут.

– Доносчику колесо тракторное на шею – и в омут! – сказал Фадей Формович и сделал такое движение телом, что лопнула в печи сажа.

Все замолчали, в страхе обдумывая слова, сказанные им, и, чтобы не быть свидетелем теории, по которой должна наступить расправа над доносчиком, Игнатий Исакович первым поднялся со стула и, наваливаясь на костыль, вымолвил:

– Ладно, мужики, я пошёл. Ково зря молоть языком, коли

линию перегнули на разведение пасек. Вон уж и ульев наладили сколь! Придёт весна, поставим их на Золотой поляне. Эка хитрость!

Он прокашлялся для этикета и заскрипел из конторы, отмечая скрипом протеза пройденное расстояние.

Ночь завалила его звёздами с головы до единственной пятки и скрипучего протеза, оплетённого ремешками с пряжками и бляшками и звонко, на всю деревню, докладывающего о движении. На повороте, где улица, выставляя угол амбара, как локоть, показывала дальнейший путь, его догнал Мошин.

– Стой, Игнаша! Решить надо! – в спешке сказал он, выпустив изо рта тучу пара.

– А чо решать? Всё уж решено, – ответил Игнатий Исакович. – Сорок два улья сладили. Это сорок две семьи отсадить придётся...

– Да я не о том! – перебил Мошин. – Чо делать будем с Фадей Формовичем?

– А чо с ним делать?

– Как чо!.. Ишь, чо мелет? Возьмёт да нам с тобой по колесу тракторному на шею наденет и в омут скатит. Он ведь где-то в самых страшных войсках находился... С ссэсовцами, поди, вместе...

– Пошто наденет? – спросил Игнатий Исакович.

– Кто-нибудь донесёт, а подумает на нас...

– Как он подумает, если мы не донесём?

– Так донести надо! Чтоб не зря думал! – громко утвердил Мошин. – В целях безопасности нас с тобой и самого Фадея Формовича. Да и колхоза тоже! За потопление невинного человека, которому он наденет колесо на шею, его посадят или расстреляют вовсе, а кто колхозом руководить станет?

Игнатий Исакович долго смотрел на звёзды, что-то обдумывая и согласуя с ними, и, наконец, шумно выдохнув тучу изо рта, мрачно сказал:

– Шагай-ка ты домой, товарищ Мандавошин!

– Пошто ты меня так обзываешь? – обиделся Михаил Викентьевич.

– Пото, что ты не из того вещества слеплен, из которого сделаны пчёлы, – ответил Игнатий Исакович и заскрипел по улице в два скрипа – костыля и протеза.

Глава восьмая

В марте Сима Сивцов ходил щупать поляну. По снежному насту нога ступала твёрдо и значительно. Вешки, которыми Сима обставил свою вскопанную делянку, светились хрустальными капельками, весь снег и лес также светился, озарённый с вершин золотой колесницей солнца.

Щурясь, Сима посмотрел на солнце, снял рукавицу и приложил ладонь к насту. Кровь, протекая в этом месте, толкнулась в снег, а оттуда, словно дали ей лёгонького щелчка. Сима понял, что он нащупал пульс поляны. Солнечная сила, заключённая в земные палаты, откликнулась на тепло человека и потекла в него. Частица мирового устройства, протиснувшись здесь, быстро вошла в него, наполнив энергетикой недоступных измерений, но, пленённая человеческой кровью, снизошла до его упрощения и смирилась, проносясь по артериям и оберегая от разрыва аорту. Сима решил, что это налилось в нём вдохновение. Он подумал, как бы переделать жизнь на земле.

«Но чтобы переделать жизнь на земле, её надо переделать в себе», – что-то подсказало ему. Он не удивился, потому что уже слышал об этом. Переделать жизнь на земле ничего не стоит. Как переделать себя?

«Вот и я начал на поляне производить продукты питания, – подумал Сима и сел в снег. – На поляне. В лесу. Это уже какая-никакая лазейка из моего общепринятого устройства. Лазейка эта мерещилась мне в брюхе матери, хотя и была затянута девственной плевой... Я родился и попал в колхоз, что стало моей судьбой вразрез с Божьим существованием».

От Божьего существования Сима помертвел и полез под телогрейку, где на бумазейной, скомбинированной из жёлтых и синих лоскутьев курточке пыжился комсомольский значок.

– Это как же так? – пошевелил Сима замёрзшими губами и посмотрел на небо, где жил Бог. – Какое может быть Божье существование у члена вээлкэсээм?!

В синем небе стояли первые, уже по-весеннему курчавые облака. Ни одно из них не напоминало деда с бородой, каким рисовали Бога в «Крокодиле». Наоборот, одно облако изобразило толстомордого мужчину в шляпе, с толстым носом и бугорком на носу, похожим на бородавку.

«Знамение!» – осенило Симу.

Сердце его вдруг защемило, он затосковал и заплакал. Стало жаль поляну, её снега, цветы. Он словно сам вышел из пахучего её чрева, произрос этаким золотым цветком, коровяком, который в народе называют царской свечой...

Царской! Ну да, у царя горели свечи. У Ленина сверкала лампочка Ильича. Почему-то никак не придумают цветок с названием – лампочка Ильича.

Сима всхлипнул, вытер рукавицей слёзы и стал думать дальше. Он вышел из чрева поляны. Цветок съела Фёкла Петровна. Нет, съела корова Чекудышка, была у них такая зазноба в годы войны. Отец купил в Черемшанке телушечкой, вели домой с матерью на верёвочке, а телушка всё порывалась убежать в колхозные посевы. Мать подгоняла её вицей и покрикивала: «Чо, куды ты?». Оттуда и Чекудышка. Отец назвал так. Всё ясно и доступно понятию. Чекудышка съела коровяк с сеном, мать напилась молока, и таким образом Сима, призрачно сформированный в духе поляны, проник в лоно женщины. Отец своим вмешательством придал ему человечью обрисовку. Мог бы родиться девчонкой, если бы меж ног не болталась пикулька... Жить с пикулькой хлопотно, и пора бы жениться, но Сима вспомнил, что ему надо ещё сходить в армию. Он уже присутствовал на медицинской ко-

миссии по осмотру призывников и, подумав об этом, неприглядно съёжился в лице.

Дело было осенью. Сима прибыл в военкомат по повестке показать своё устройство, разделся в коридоре до кальсон и прилично вошёл в кабинет, где за длинным столом аккуратным рядком сидели персоны в белых халатах. И почти все – женщины.

– Подштанники снять тоже! – приказала одна из них, самая сердитая.

– Как? – оторопел Сима.

– Ты что, не видишь, что другие снимают с себя всё! – прикрикнула сердитая.

Тут в подтверждение её слов в кабинет пожаловал голый призывник с крепкими бёдрами и сморчковым срамом. Сима насмешливо посмотрел на него и принялся снимать кальсоны.

– Не здесь, в коридоре! – прикрикнули на него.

Сима снял кальсоны и выбросил их в коридор.

– Вот, падла! – обругал он свою пикульку. – Чо тебе не сидится на месте?

– В состоянии эрекции комиссия с тобой работать не будет! – заявила всё та же сердитая врачиха. – Иди, успокойся!

– Я и так спокоен, – ответил Сима.

– А это что?

– Спросите у него.

– Отправить за хулиганство на конюшню! – в гневе, вызванном жестокой завистью, выкрикнул из-за стола очкарик. – Пусть чистит военкомовского Патрона!

– Ла-адно! – протянул Сима.

– Не «ладно», а есть, товарищ майор! – взвизгнул очкарик. – И награждает же природа дураков!.. Балбесов!

На конюшне сержант-сверхсрочник дал Симе бадейку с тёплой водой, хозяйственное мыло и зубную щётку.

– А щётку зачем? – спросил Сима.

– Коня чистить, – усмехнулся сержант.

– Зубной щёткой?!

– Привыкай к армии, – сказал сержант и ушёл.

Весь день Сима чистил Патрона зубной щёткой. Вечером пришёл конюх и спросил:

– За что маешься?

– За непослушание, – ответил Сима и вытер тряпкой потное лицо.

– Нагрубил кому-то?

– Бабу захотел. Сидит там в комиссии одна, сердитая такая. А когда на меня сердятся, я желаю обласкать, обнежить. Понял? Такова моя психология. Не понял?

– Не.

– Ну и ладно, – тяжело вздохнул Сима и бросил щётку в бадейку с мыльной водой. – Хорошая баба!

– Это Шихманова. Главный врач, – подсказал конюх. – А ты кто?

– Я? Колхозник, – сказал Сима.

Повторную комиссию он так и не прошёл, кажется, о нём забыли.

Снег брызгал золотом, и чистые, высветленные в золотом огне, словно в воодушевлении созданные много-много раз и, наконец, переписанные на бело берёзовые рощи стояли в снегах, заставляя пересчитать каждую ветку, каждый сучок, которые они принесли на обозрение и вывесили в небесной лазури. Звенели синицы. Словно сам лесной дух перелетал по верхушкам леса с пустым стеклянным бокалом и соблазнительно стучал по нему такой же стеклянной палочкой.

«И хорошо бы никуда не ходить. Ни в какую армию. Сидеть тут пеньком и слушать голос снега!» – вздохнул Сима, чувствуя смертную тоску от своих напрасных грёз... «В армию загребут обязательно, а там заставят зубной щёткой сапоги генералам чистить», – истязал он себя думами, глядя на горящие просветы в лесу. Где-то здесь есть ложбинка, очертанием своим напоминающая огромный след. Сима знал,

что это след Бога. Поляну Он сотворил последней и, покидая Землю, именно здесь оттолкнулся ногой, чтобы улететь навсегда. В ложбину часто бьёт молния. Ни дождевая, ни талая вода никогда в ней не портится. И даже сам Никудышин тайком от всех причащается ею. Вода здешняя, сказывал он, очищена медью. Видно, есть тут медные запасы, только о них никто не знает. А если и знает, то ехать и открывать их в такой глуши никому неохота.

Сима пошёл, скользя по снегу, прошёл лес и вдруг остановился, натолкнувшись на стену синевы, возведённую от края и до края, испещрённую дрожащим горением инея, с огненно-красным проливом солнца во всю даль, и, не зная, отчего тоскует и томится, он спросил, ни к кому не обращаясь:

– Если это есть, то и я для чего-то есть, увидевший и переживающий сейчас это?

Глава девятая

Весна принеслась, торкнувшись о землю, как комета, и всё переставила вверх ногами. То, что вчера дремало, ныне зацвело, защебетало, расшумелось, разболталось: закипела вода в логах и кинулась бежать прямо по верхушкам кустов, оставляя на них ошмётки прошлогодней травы и всякого лесного мусора. Светло и радостно зазеленела листва, накатилась первая гроза, с весёлой злобой зажигая фигуры молний. При первом громе, чтоб не болела поясница, пошёл кувыркаться через голову народ. Сначала мотанул себя Ваня Шманов, за ним – Фёкла Петровна, потом тайком от партии кувыркнулся и Леонид Данилыч Кунцев, встал, отряхнулся, кувыркнулся снова и чуть не переломил себя надвое на третьем позвонке, опомнился и поклялся партийным билетом не впадать больше в суеверную ересь. А вот Федосью Захаровну Кулебясину заклинило всерьёз, она стояла каралькой

в своей ограде и кричала чужим голосом, пока к ней на телеге не приехала «скорая помощь» и не вывела из нечеловеческого состояния. В общем, кувыркался весь колхоз, а утром все с песнями вышли на работу... К вечеру произошло чудо – расцвела черёмуха! По берегам реки, над омутами и болотами, в лесах, в огородах разворошила трепетные, тревожные цветы, обдала запахом на всю округу, сладостно и печально напомнив о кратком течении жизни...

Машенька Хмелитова со школьной тетрадкой пошла под куст сочинять стихи и, слушая соловья, переживая муки творчества, забыла, зачем пришла.

Соловьиный голос сверкал в воздухе искристой чеканкой, душистые плакучие цветы парили над травой, и от счастья жизни захватывало дух...

– Мне снится жизнь в черёмухе и счастье, – прошептала Машенька и, наконец, вспомнив, что она пришла сюда писать стихи, торопливо записала в тетрадке:

«Мне снится жизнь в черёмухе и счастье... Мне снится счастье в синем далеке...».

Старая Муза заглянула через плечо и, тряхнув бублями, подсказала:

– Твой поцелуй пылает на запястье, плывёт венком по золотой реке...

Машеньке это понравилось больше, чем угроза «запустить танки через советский снег». Сердце её заныло, заболело от истомы и заставило признаться, что она давно и тайно влюблена в киномеханика Ермолая Чачина. Ермолаю сорок лет, он живёт в соседнем селе, женат, имеет каких-то детей...

Два раза в неделю Ермолай привозит сюда железные банки, в которых смотана очередная кинокартина. За клубом трясётся и харкает движок, широкий конус света выходит через глазок кинобудки и выносит на белое полотнище сказочные действия советских людей в борьбе со шпионами. Машеньке больше всего нравятся фильмы про войну, где

Алексей Мересьев убивает из пистолета медведя. Помощник Ермолая Митя Калганцев однажды Машеньку не допустил к досмотру Алексея Мересьева...

– Т-тут мдведь! Уписсша от стрха!..

А Ермолай, мужественный мужчина с медалями на пиджаке, говорит иначе:

– Девочка, тут медведь. Не испугаешься?

– Нет! – отвечает Машенька и ещё больше любит Ермолая за его заботливое предостережение. А вообще-то она сама не знает, кого любит – или Ермолая, или Алексея Мересьева, или Людмилу Целиковскую, которая с Алексеем Мересьевым выкамаривает «барыню». Нет. Она всё-таки любит Ермолая за Алексея и Целиковскую, а также за всю войну, которая гремит и пышет на белом полотне во всю стену клуба.

Черёмуха пошатнулась, качнув развесистыми цветами, и Машенька увидела, как к ней скачет раскосый чертёнок со спичками в руке. «Чик-чик!» – прощекотал он и чиркнул спичкой. Раскатил трель соловей, да так близко и звонко, что серебряные горошины, отскакивая от веток, покатались вдаль.

– Ой, мочи моей больше нет!.. – простонал женский голос.

– Надо жить осторожнее, – отозвался мужской.

Машенька испугалась и начала тихонько прятаться под кустом. Но тут испугалась ещё больше, увидев голую, сочную задницу прямо перед собой, чьи-то хищные руки, впившиеся в задницу, держали её за обе половинки и торопливо двигали туда-сюда... Женщина стонала, и Машенька поняла, что её, наверное, кто-то затащил под черёмуху и теперь пытается... Наверное, пилит. Она осмелилась посмотреть, что будет дальше. А дальше женщина вдруг закричала, из-за плеча показалось красное лицо с усами и, переместив руки с задницы на спину, забормотало:

– Ну, будя, будя... Ишь, комары-то как изъели и тебя, и меня...

– Когда ещё повстречаемся? – спросила женщина, опускающая задранный подол.

– Когда-нибудь...

– Когда?

– Экая ты самостоятельная!

– Так ведь одна живу...

– Ничо. Ничо, потерпишь! – лицо потрепало женщину по заднице и, подняв с земли сползший с плеч пиджак, набросило на себя.

– Пожалел пиджака-то! – с укором вздохнула женщина. – Лёжа-то надольше бы нас хватило, чем стоя... Люблю лёжа-то... Сладсть!..

– Будя, будя. Давай, ты – сюда, я – туда.

Лицо с усами прошло за куст и стало мочиться, держась руками за промежность и тоскливо поглядывая на небо. Потом застегнуло штаны и пошло через елань, наверное, в соседнее село.

Машенька ещё долго сидела под черёмухой, рассеянно отмахиваясь от комаров, не зная, как быть и куда тоже идти. То, что она видела, сбило её с толку. Главное, перепугалась Муза и убежала куда глаза глядят. Муза вообще всего боится. А тут такое!.. А что «такое»? И что за женщина? Наверное, Зинка-блядь... Она всегда с мужиками по кустам прячется. Жаль, что Машенька видела только голый зад.

«Чик-чик!» – чиркнул спичкой чертёнок, и тотчас золотая полоса света прошла сквозь куст. Покатилась, посыпалась соловьиная трель.

«Кря-кря!» – сказал дергач. Потянуло холодом. Машенька выбралась из-под куста и побежала домой, но вдруг увидела у реки женщину в красной юбке и догадалась, что это она... Женщина умывалась и прибирала волосы, глядя в воду, как в зеркало. Машенька остановилась на берегу и спросила:

– Это ты?

Женщина обернулась и ответила:

– Я.

– Я что-то не знаю тебя...

– А на что тебе знать меня?

Женщина уложила волосы на затылке пышным жгутом и, улыбаясь, поднялась к ней. Она была очень красива, темно-волоса и светлоглаза, с серёжками в ушах, в бусах.

– Тебя как зовут? – ласково спросила она.

– Машенька. А тебя как?

– Тебе на что знать?

– Он не любит тебя, – сказала вдруг Машенька и сильно покраснела.

Женщина тоже покраснела и опустила глаза.

– Не любит, – повторила Машенька.

– Ай, деточка! – тихо воскликнула женщина. – Ты не знаешь ещё, что такое мужчина. Вот давит и давит тяжесть, как печь, и не знаешь, как жить и что делать с этой печью. А мужчина возьмёт и промоет тебя до каждой косточки, до каждой жилочки, будто заново на свет Божий вытолкнет. И всё опять тебя удивляет и веселит. Вот за это веселье и любим мы мужчин. Они, как ангелы, разукрашивают нас.

– А что ты ему тогда жопу показывала? – спросила Машенька.

Женщина опять покраснела, но вдруг лукаво блеснула глазами и игриво ответила:

– Да жопу-то я показывала не ему, а тебе. Ему я показывала другое, из-за чего он ко мне за двадцать километров прибежал...

Она пошла по тропинке, тяжело и медленно качая бёдрами, сорвала на ходу цветочек и запела что-то любовное, жалобное, поглядывая в ту сторону, куда ушло лицо с усами.

Из кустов выпрыгнул чертёнок, огляделся, торопливо начал подбирать её следы и складывать себе за пазуху.

Глава десятая

«Как её звать?» – подумала опять Машенька и тут же придумала имя – Мархамма Кораллова. В сочетаниях двух «м» и «л» пряталось что-то любовное, майское.

Мархамма Кораллова начала активно обживать её поэтические грёзы. В стихи она не укладывалась по своей любовной ширине, свешивая со строчки то руку, то ногу, то совсем падая, как с узкой кровати. И тогда Машенька рискнула написать роман, такой же толстый, как «Угрюм-река». Только название придумала другое – «Елань».

Роман начинался так: «Елань горит!». Огонь трещал и нёсся по елани, вот уж сгорел камыш на одном болоте, вот горит осока в другом. Красивый, неизвестно откуда прискакавший всадник на горячем коне спасает от пожара черёмуховый куст. Под этим кустом красивая женщина с тяжёлыми тёмными волосами Мархамма Кораллова много раз просиживала, мечтая о любви... И вот она полюбила красивого всадника, а он полюбил её. Их любовь Машенька списала с природы, как подглядела и как запомнила. Всадника она назвала умеренно – Аркадий.

Для романа Машенька покупала в магазине обычные школьные тетради то в косую линейку, то в клетку. По десять тетрадей она сшивала в один том и уже написала три тома, когда принялась исписывать четвёртый.

Продавщица Лидия Игнатъевна устроила ей допрос:
– Ты куды столь китрадок берёшь? Учишься, что ли?

Полыхало лето, и Машенька учиться никак не могла, потому что школа, распушенная на летние каникулы, отдыхала в зелени.

– Пишу, – ответила Машенька.

– Письма, чо ли? – не на шутку заинтересовалась Лидия Игнатъевна.

– Книгу...

– Кни-и-игу? Да ты Шолохов, чо ли? – не то удивилась,

не то разочаровалась Лидия Игнатьевна и разъяснила бабам в магазине, которые стояли у прилавка и шупали ситец: – Это писатель Шолохов в деревне живёт, в казацкой мазанке, и пишет книги. А ты, Манька, подикось, не Шолохов.

Машенька достойно промолчала, забрала тетрадки и пошла домой писать «Елань». Написав роман, она подумала, кому бы дать его прочесть, и, решив, что самый умный человек в колхозе Пшебыш Пшебышевский, пошла к нему.

Пшебыш сидел во дворе и рисовал с натуры Дарью Петровну. Но рисовал как-то вяло, без былого экстаза. К тому же приговаривал:

– Скоро твоя политическая карьера закатится за горизонт. Маленков, по-моему, плохо справляется с руководством страны. В кинохрониках чаще показывают Булганина и Хрущёва. Но, поскольку два медведя в одной берлоге не живут, будет жить один. Который? Не знаю. Конечно, тот, который сожрёт другого медведя. Да-с, Дарья... Петровна, чувствую, что это последний портрет Маленкова с натуры в вашем исполнении. Чего тебе?

Пшебыш увидел Машеньку и, повернувшись на табуретке, капнул краской на штаны.

– Принесла книгу почитать, – проговорила она.

– Какую? – спросил Пшебыш.

– «Елань».

– «Елань»? Занятое название. А кто автор?

– Я.

– Ты? – Пшебыш преувеличенно удивился, зорко поглядел на Машеньку, изучая своё преувеличение через её реальность. – Ты написала книгу?

– Я написала книгу, – сказала Машенька и подала Пшебышу три тома своих тетрадок.

– «Е-лань», – торжественно прочитал Пшебыш заголовок, нарисованный кудрявыми буквами. – Вон как! «Елань»!

Он отложил кисть, взял тетради, полистал их и вдруг начал громко и выразительно читать, выговаривая слова, буд-

то у школьной доски: «Черёмуха цвела, белоснежной пеной переливаясь через край земли, и соловей пел, выбирая из общего гама подходящие голоса, словно свистульки, и выдувал из них стеклянный бисер...». Это ты сама сочинила?

– Сама, – сказала Машенька.

– Гм! Славно! Славно! – Пшебыш покачал головой, причмокнул губами: – Э-э... Дарья Петровна... вы свободны. Сеанс политического заказа на сегодня окончен. И ты... э-э-э... вы, девочка, тоже пока идите домой. Я займусь чтением романа.

Машенька ушла домой и дома всё поглядывала в ту сторону, где жил Пшебыш Пшебышевский, страшно боясь, как бы у него не загорелась канитель... Тогда роман сгорит, а когда она напишет ещё, неизвестно.

Канитель не загорелась. Машенька терпеливо, как и положено настоящему писателю, ждала, когда Пшебыш пригласит её на беседу. И Пшебыш пригласил, увидев её в переулке с корзинкой ягод, насобиравших в лесу.

– Ну, здравствуй! Здравствуй! – сказал он, улыбаясь во всю ширь и изображая из себя интеллектуальное препятствие. – Прочитал я твою «Елань». А сколько тебе годков, Льва Толстая?

– Одиннадцать, – ответила Машенька.

– М-м-м! – Пшебыш вскинул голову к небу. – Ты мне вот что скажи, где и когда ты читала Петрония?

– Кого?

– Петрония... Был такой античный писатель. А-абсолютно расслабленный от всяких обывательских предрассудков. Я-то, допустим, читал его в Вильнюсе, на латинском языке. А ты где?

– Я нигде не читала, – смутилась Машенька.

– М-м-м!.. А откуда ты такое выудила?

– Какое?

– Ну... Где Аркадий... м-м-м... как бы донести свою мысль целомудреннее? Совокупляется с твоей возлюблен-

ной Мархаммой... э-э... м-м-м... в этом, как бы донести свою мысль целомудреннее? В... э-э... вертикальном виде... Это ты сама придумала? Или увидела?

– Увидела...

– Да? – Пшебыш заиграл глазами и, понизив голос, спросил, как шпион. – А кто это были?

– Мархамма и Аркадий...

– Нет, в реальной жизни. Мархамма и Аркадий – персоны вымышленные. А в жизни?

– Не знаю.

– Не Дарья Петровна?

– Не знаю. Я её сзади видела...

– А-а!.. Ну, да! Ну, да!

Пшебыш как-то судорожно вздохнул, будто подавился.

– А ты мне рукопись не подаришь? – таинственно спросил он.

– Зачем? – удивилась Машенька.

– Читать...

– Зачем?

– Ну, это же эротика! – воскликнул Пшебыш. – Эротика в чистом виде! Кто и когда осмелился бы не только писать, но и произносить это слово три-четыре года назад! Расценили бы как клевету на советского человека, и судили бы, и посадили бы!.. А тут! Этакая храбрость! Ну да. Ну да. Слушай, девочка, отдай мне свой роман! Ты напишешь ещё, ты – талант! И не то ещё напишешь. Жизнь-то до-олгая!.. А? Отдай! Это же – «Камасутра»!!!

Пшебыш, кажется, всхлипнул и испугал Машеньку.

– Да берите! Берите! – заговорила она. – Мне не жалко. Берите!

– Вот и спасибоны! Спасибоны! – опять заиграл глазами Пшебыш и весь задвигался, потирая ладони и перебирая ногами. – Пошли в сельпо, я тебе конфет куплю в знак благодарности. Спасибоны!

– Не надо. Я не люблю конфеты...

– А что ты любишь?

– Я писать люблю.

– А-а! Ну, это другое дело! Иди и пиши. Слушай, напиши про нас с Дарьей Петровной...

– Нет, – перебила Машенька. – Я про маму напишу. Как она на сушилке работала.

– Без эротики не интересно, – поморщился Пшебыш.

– А что это такое... эротика? – спросила Машенька. Слово ей понравилось, и она подумала использовать его при описании сушилки...

– Это всё в обнажённом состоянии. Но с учётом культурного обращения. Это – эротика! – объяснил Пшебыш.

Машенька промолчала, обошла его и, боясь дальнейших объяснений такого красивого слова, побежала бегом.

Глава одиннадцатая

(Елань)

Жара начинала жечь с утра. В её тяжёлом огне млели травы, оглушающий мёдом и пряностью запах и сами травы, сонные и очумелые от гуда и звона разнообразного гнуса, страшили своей дикостью, потопом, избытием зелени, спутанной, изопревшей понизу от мокрой горячей земли.

Стрекочущая полупторка с квадратной фанерной кабиной, с тюками новых матерчатых телогреек в кузове свирепо продвигалась сквозь лес, хлюпая колёсами в заросших разнотравьем дорожных колдобинах, над которыми прогудел, прошумел безудержный ночной ливень, превратив лесное бездорожье и вовсе в липкую масляно-чернозёмную грязь.

Полупторка бултыхала, чавкала, выла, и водитель, фронтальной подвозчик снарядов к огнедышащим позициям Хариша Чуев, держал беломорину в углу рта, садистски изворачивал в руках баранку и молчал, ещё в начале пути израсходовав

весь запас запойного мата как на русском, так и на трофейном немецком языке.

Рядом с Харишей каменел по уставу ответственного задания распорядитель торговли, в фуражке и кителе, Ряможный Кен Кенович. С Кена Кеновича сходил пот, как в чёрной бане.

В кузове на телогрейках, связанных верёвками, сидели сопровождающие грузчики – сопливый блондинко Петька и инвалид войны Горь-Горь, в круглых очках без стёкол, прикреплённых к затылку проволокой. Оба потребляли буханку хлеба с чесноком, запивая водой, зачерпнутой прямо через борт из лесной колдобины.

– Дороги наши!.. Национальное достояние... Можно было и не воевать с немцем, а запустить его в Сибирь даром, пусть похлебают! – говорил Кен Кенович. – А мы бы его тут утопили в львах, сэкономив на людских ресурсах и боевом снаряжении. Я лично всегда вынашивал такую стратегию. Обидно, что был в чине капитана, а капитанов в штабы не допускали. Там сидели одни генералы и злословили над военными планами.

– Немец в Сибирь не пошёл бы! – злобно изрёк Хариша, подчеркнув интонацией изречения, что немца он знает детальнее, чем Кен Кенович. – Немец нас бы в Сибирь свалил. А сам из Берлина или из Москвы руководил бы нами.

Полуторка хлюпнула, зачерпнула бортом воду, завyla, заревела и поползла юзом. По кабине загрохали кулаками.

– Куфайки промокнул! – донеслось из кузова.

Хариша вертанул баранку, поставил машину на правильный путь и ненавистно выдохнул:

– Уф-фф!..

– Дороги наши! – сказал Кен Кенович и будто бы проскрипел зубами...

– Ничо! – весело откликнулся Хариша на фальшивый зубовный скрежет. – Куфаечки новенькие везём! Завалим сейчас весь магазин! Колхознички скупают, разоденутся и будут похаживать, как на выставке.

В лесу посветлело, и сквозь кружевные верхушки берёз потоком хлынула горячая лазурь приволья.

– Ела-нь! – горделиво определил Кен Кенович и приказал: – Давай через елань! Тут напрямик-то километров пять всего и будет, а объездом лишь к вечеру дотрунькаем.

– А дорога-то тут есть? – спросил Хариша.

– Должна быть. Заросла токо. Да вот она, вот она, дорога! Давай прямо! – радостно крикнул Кен Кенович. Хариша прибавил газу, полуторка вырвалась из леса как угорелая и, блеснув всеми гайками, заклёпками и прочими металлическими элементами своего устройства, повалила через траву и затрепыхалась в сплошном лабазнике, как в каше.

– Вон она, деревня-то! Вон она! – крикнул Кен Кенович, показывая рукой вперёд, где у синего леса, в текучем предгрозовом мареве, клубились то ли облака, то ли копны, то ли избы...

– А у них всё Никудышин председателем-то? – спросил Хариша, самозабвенно двигая баранкой и сжёвывая беломорину углом рта.

– О-он! – прокричал в ответ Кен Кенович. – Сидит, как боярыня Морозова который год. Вилами не спихнёшь!

– Слышал, колхоз переводит он на пчеловодческие рельсы, – продолжил Хариша.

– А молоко-мясо?

– И на молоко-мясо трав хватит. Травы-то пышут, как перед концом света! – весело заверил Хариша.

Полуторка врюхалась в грязь и ёкнула радиатором.

– Е-е-пп!.. – вскрикнул Хариша и съел окурочок. – Кажись, приехали, товарищ наполнамоченный!..

– Газуй! Не давай ей промедления! – скомандовал Кен Кенович, высунулся в дверцу и заорал на грузчиков. – Ну-ка, орлы, толкайте сзади!.. Петро! Егор Егорыч! Ну-ка!..

Блондинко Петька и кособокий Горь-Горь полезли из кузова, по горло провалились в лабазник и, задыхаясь от жары, приткнулись плечами к заднему борту полуторки.

Рысистый Петька уследил быстрыми глазами, что Горь-Горь совсем полуторку не толкает, топчется лишь для агитации, да ещё, как кособокий инвалид, покрикивает на Петьку:

– Давай-давай! Налягай шибче! Шибче! Не жалея слов!..

– И ты не жалея... Тоже толкай! – огрызнулся Петька.

– Я на фронте натолкался. Пушки-милитровки толкал... А тебе в новинку, в радостное занимательство.

Полуторка визжала, дымилась, забрызгивая грязью изпод колёс и Петьку, и Горь-Горя, и забрызгала так, что Кен Кенович, спрыгнув из кабины, не узнал их и, отшатнувшись, удивлённо спросил:

– Вы кто такие?

– Мы... такие вот! Милитровки выталкивали из болот, а эту тварь не можем сдвинуть, – отхаркнулся грязью Горь-Горь.

– Пхе! За милитровки-то расстрел полагался. А за эту тварь ничо не полагается! – ответил рассерженный Кен Кенович, снял фуражку и промокнул лысину рукавом кителя.

– А ну, давайте! Поехали, кажись! – выкрикнул Хариша из тучи дыма, окутавшего полуторку.

– Ты, Харитон, левее держи! Левее! – приказал Кен Кенович, теряясь в лабазнике от грязи, бьющей прямо по голове.

Хариша вывихнул машину из колеи и погнал по осоке, сменяя на пути всех стрекоз и кузнечиков, потом остановился и под миролюбивое тарахтение двигателя известил:

– Поехали!..

Все возбуждённо заняли свои места, но, проехав стометровку, полуторка опять завывала, завизжала и потеряла себя в дыму...

– Чо делать будем, товарищ Ряможный? – изо всех сил демонстрируя откровенную злобу, спросил Хариша. – Загорать посреде елани? Чо под колёса бросим? Вокруг ни талинки, ни березинки...

– Не мешай думать! – взлаял Ряможный.

– Хоть думай, хоть не думай, а делать нечего, – обречённо выразил своё мнение Горь-Горь. – И гром гремит, и деревья в тумане.

На западе, в завале и нагромождении облаков, нехотя, но внушительно погромыхивало, и все поняли: если польёт дождь, сидеть придётся с полуторкой до осени. Солонцовая размазня затянет её по самые колёса, комары и овод съедят людей, оставив одни скелеты, по которым через сто лет учёные скажут то же самое – человек произошёл от обезьяны.

– Куфайки! – неожиданно заголосил Кен Кенович. – Куфайки!..

Все смотрели на него, разинув рты и моргая глазами.

– Не поняли? – рывкнул Кен Кенович. – Куфайки под колёса автомашины!.. Мостить дорогу до самого выезда на твёрдое место!..

– Так это... – заикнулся было Горь-Горь.

– Не такать! – заорал Кен Кенович и затопал ногами в лабазнике. – Куфайки под колёса!

– Куфайки-то в магазин везём, для продажи колхозу «Заветы Ильича» по разнарядке, – не обращая внимания на его пыл, сказал Хариша. – Как это мы бросим в грязь казённый товар?

– А так, бросим и всё! И товар уже не казённый! Товар колхозный! – крикнул Кен Кенович. – Давай, Егор Горыч! И ты, Петрушка! Выбрасывай куфайки на землю! Под колёса! Мостить путь!

– И ты тоже снимай свой титель! – сказал Горь-Горь.

– А вот китель-то как раз казённый! За него по головке не погладят! – огрызнулся Кен Кенович. – Делай, как приказано, и не злословь!

Загрохотало отчётливее, по синеве, поднимающейся над лесом, рыснула молния. И опять загрохотало – совсем близко, с треском и скоком по обрывистым берегам... Петька выхватил перочинный ножик и стал резать верёвку, которой была перетянута стопа телогреек.

– Газуй! – скомандовал Кен Кенович Харише и бросил первую телогрейку под заднее колесо.

– Так мы... – промычал Горь-Горь.

– Газуй! – не обращая на его мык внимания, громче закричал Кен Кенович. – Газуй, мать твою!.. Иначе составлю акт за утопленный «ЗИС-полтора» и передам в суд!

Хариша поддал газу, полуторка дёрнулась и проехала по телогрейке. Кен Кенович бросил вторую, Петька третью... Солончак миновали с победными криками, а потом протарахтели по дороге, заросшей конотопом, пыреем и чертополохом, притарахтели к перелеску и, не веря своим глазам, увидели первую колхозную избу. В тёмных окошках избы вспыхивало жуткое отражение молний, в небе трещало и бухало, и в перерывах между буханьем слышалось, как в заречных берёзах кричали грачи и шумно катилась через плотину вода на мельнице.

– Здесь переждём грозу! – утвердил Кен Кенович и, одёрнув китель, основательно направился к избе.

– Хоз-зйява! – стукнул он в дверь. – Предоставьте торговой экспедиции место, дайте покушать хотя бы картошки в мундире и сведите с Никудышиным!

Глава двенадцатая

Чёрная туча лежала на западе, и, продырявив её, лился золотой свет зари, выбирая, чего бы коснуться – ручья или лужи, грязи, вывороченной тележным колесом, или кустика полыни, оконца в убогой избе под дерновой кровлей, где мощно укоренилась лебеда, молочай и другая местная растительность, или телёнка, взобравшегося в лебеду на крыше и задумчиво остановившегося там...

Оберегая позолоченные места и не наступая на них, как на лики церковных иконок, плутала по деревне Анисья, стучала палкой и взывала:

– На собраннѐ! На собраннѐ!

Колхозный народ, поужинав огородными и лесными привилегиями, интересовался:

– Чо такое стряслось?

– Собраннѐ стряслось! – отвечала Анися.

В клубе от потных лиц и портянок благоухало стойлом. Народ шумел, гыкал, зубоскалил. Но вот над красным столом возвысился сам Фадей Формович и без всякого энтузиазма пробубнил:

– Товарищи! Тиха, товарищи! Слово даётся партийному секретарю товарищу Кунцеву!

Леонид Данилыч выметнулся на трибуну, подтянулся, как перед смотром военных сил, и заговорил:

– Товарищи! Только что поступил тревожный сигнал, что на елани завязла в грязи машина, на которой товарищи из торгового представительства везли в наш колхоз телогрейки для распродажи товарищам колхозникам. И они при самом гнусном и вероломном проливном дожде совершили поступок, достойный стратегического остроумия. Или, говоря словами простого народа, вымостили телогрейками грязь и спасли машину «ЗИС-полтора»! Это достойно военной смекалки самого товарища Рокоссовского! Мо-лод-цы-ы!.. Аплодисменты, товарищи!

И, подавая пример собранию, Леонид Данилыч первым хлопал в ладоши. В народе тоже кто-то хлопнул раза два...

– Что, товарищи, требуется, – чуток ушибленный молчанием народа, а потому с выпуклой громкостью продолжил он: – А требуется вот что. Завтра, поднявшись в четыре часа утра и свято помня о дате двадцать второго июня, все дружно шагаем на елань и выкапываем телогрейки из елани. Потом их отмываем в реке Емец, тщательно сушим и поставляем в продажу через наш магазин. Вот что от нас, товарищи, и требуется всего лишь...

И Леонид Данилыч опять забил в ладоши при посредстве мёртвой тишины.

Малиновый вал солнечного восхода хлынул под ноги колхозному народу, повалившему на елань с лопатами на плече выкапывать телогрейки.

– Песню, товарищи! – воззвал Леонид Данилыч, молодецом сидя на коне. – Песню!

*– Хороши весной в саду цветочки,
Ещё лучше девушки весно-о-ой! –*

развёз он горловым перекатом на всю елань.

*– Встретишь вечерочком милую в садочке,
Сразу жизнь становится иной! –*

голосисто поспешили за ним в фокстротном приплясе учётчица Гутька и завклубельщица Граня Калягина.

Солнце развесило по лесам золотые лохмотья, подожгло пригорок и поставило в небе облачко, похожее на безделушку из розового матерьяла. Кущи лабазника дрогнули в алых переливах. В мокрой осоке звонко закричал коростель, вылетела сова из ивы и всполошила коня Леонида Даниловича.

– Ружжа нету, Левонид Данилович! – обозначился в восторге Сано Урушкин. – А то бы стрельнули по мохнатке!..

– Мы не на войну идём, а на труд! – выправился в седле Леонид Данилыч. – Зачем нам оружие?

– Сову стрельнуть...

– Она мышей ловит и прочую грызущую тварь.

– Дак напужала!

– Нет такой комбинации из враждебных сил, чтоб вывалить меня из седла! Не распространяйся паникой понапрасну!

На самой середине елани обнаружилась первая телогрейка. Копнули солончак и выволокли её за шиворот. Также обнаружилась и вторая телогрейка. Опять копнули...

– Аккуратнее! – скомандовал Кен Кенович, тоже ехавший на коне, но не молодецом, а так себе, охлюпкой. – Не пораньте товар! Пуговики не оторвите! Без пуговок куфайка, сами знае-

те, будет выглядеть не так, как с пуговками... Барышня! Барышня! Что ты тянешь за рукав! Оторвёшь вместе с мясом!

Барышня – Граня Калягина покраснела от стыда, стыдясь своей физической мощи. С вымыслом для окружения, приворяясь хворой, она ушла из доярок и по причине вымысла выбилась в заведующие клубом. Теперь, забыв, что она хвора, Граня волокла из присохшей грязи телогрейку вместе с какой-то запчастью, оторвавшейся вчера от полуторки.

Кен Кенович, сбивая себя в жидкость, подбадривал:

– Молодцы, товарищи! Горь Горевич, считай!

– Семнадцать куфаичек! – радостно поглядывая по окружности, доложил Горь-Горь.

– А было скоко?

– Двадцать пять.

– Ещё, товарищи, восемь штукечек откопаем. Осталась самая малая частица...

«Частица» залегла в солонце трупом, как в растворе цемента. Ахали лопатами, плевали на ладони, плевали под ноги и во все стороны. Один Сима Сивцов простаивал и думал.

– Почему, товарищ, не работаем? – подхлюпал к нему Кен Кенович.

– А ты почему, товарищ, не работаешь? – спросил Сима.

– Я... Я... Как это не работаю? Я езжу, показываю места захоронения спецтовара, – сказал Кен Кенович.

– А я мыслю, – сказал Сима.

– И что ты мыслишь, интересно знать?

– Даже очень интересно знать. – Сима вздохнул и, опершись на чистёхонькую, без единого пятнышка грязи лопату, посмотрел на небо. – Вот если долбать день и ночь и продолжать землю насквозь, то через продолбину хлынет вода...

– Правильно! – похвалил Кен Кенович. – Напорешься на водную жилу. Но она сама не хлынет без арте-зиант-антского колодца!..

– Хлынет, – сказал Сима. – Из Гудзонова залива. Потому что мы долбим как раз в районе Гудзонова залива.

– Это в Америке! – утвердил Кен Кенович. – Нам не нужна американская вода!

– Это в Канаде! – поправил Сима.

– Я и говорю, что в Америке!

– А я говорю, в Канаде!

Кен Кенович вздохнул, но очень непосильно, так непосильно, что дыханием повалил траву, и с сожалением вымолвил:

– Вот до чего доводит человека политическое послабление! Раньше ты бы не смог так перечить товарищу, занимающему пост выше тебя.

Сима свистнул и отвернулся.

– А теперь, товарищи, завтракать, – крикнул Леонид Данилович и повернул коня мордой в сторону деревни. – Песню запева-ай!..

*– Моё счастье где-то недалечко,
Пойду-выйду, постучу в окно, –*

завела Зинка-блядь.

*– Выйди на крылечко, ты моё сердечко,
Без тебя тоскую я давно, –*

подхватили все, кто умел петь и кто не умел петь, потому что шли завтракать и не петь было нельзя – сама душа пела.

За столом, сколоченным из тёса во дворе склада, прислуживала сама Федосья Захаровна Кулебякина, разливая борщ черпаком по эмалированным тазам.

– С чем борщок-то? – спросил Данило Буров.

– С капусткой, – ответила Федосья Захаровна.

– Без мяса?

– Без мяса. Тут и так всего накладено – лопатой не повернёшь.

– И без сметаны?

– Да как тебе не совестно, Данило Прохорович? Ты чо,

дома сметанки-то не наелся? – пристыдила Федосья Захаровна. – Поди, корову держишь?

– Борщ без сметаны, что солдат без ружья, – сказал Данило.

– И не надо ружья! Зачем в борщ ружья класть? Где это видано! Из топора ещё сварить можно, а про ружьё первый раз слышу! Да и не сметаной ружья мажут, а ружейным маслом, – затараторила Федосья Захаровна.

«А-а, бестолковая баба!» – махнул рукой Данило, зачерпнул ложкой в тазу, вытащил свёклу и уронил её обратно в таз вместе с ложкой...

Глава тринадцатая

Шёл год 1909-й от Рождества Христова, и было Данилке тогда четырнадцать лет. Елань эта выглядела так же и не так же. Та же обрисовка, если смотреть с высоты летящего ястреба, – вон впадина со смородиной и черёмухой, с малиновыми тычками плакун-травы, пыреем, через который без косы и шагу не шагнёшь. Вон дорога с поперечиной чёрной грязи – где-то сбоку студёный родник день и ночь высверливает воду, бежит и бежит она по ложбинке через дорогу, и там, на другой стороне, в кустах краснотала снова уходит в землю. Много таких ложбинок на елани, в дождевые годы не пройдёшь, не проедешь. Хотя пройти ещё можно, обходя водные разливы, прыгая с кочки на кочку, а вот проехать... Проехать тоже можно, если в упряжке сытые кони. Без таких коней лучше не ездить через елань, утонешь в грязи вместе с телегой по самые ступицы. Ложбины эти с водой зовутся лягами. И зачем бы чёрт таскал по елани сибирского мужика, ухоря с виду, практика изнутри, не очень-то падкого гонять по равнине без всякого расчёта, гробить лошадей и заполаскивать свою судьбу. А вот – таскал! Были за еланью травы, в которых терялся верховой вместе с шапкой, тучный провал разнотра-

вья – шелковистого поляка-пырея, завитой в золотые кудри люцерны, солоноватого медового донника, без которого ни одна баба грузди не солит, и, конечно, звучно хрупающего козой молочая, да и всякой-всякой цветущей, веющей по ветру всячины, что употреблялась на корм скоту, а народу для исцеления телесной хворобы и душевной тоски. И лес там был берёзовый, прелестно сотканный из зелёных кружев, светлый, белокорый, груздяной. Грузди с покоса возили в пестерюхах, ягоды в корзинах, которые снимали с телеги три-четыре бабы и по два мужика. Дичь порхала под ногами, ловилась без труда, кхоркали тетёрки, обжигали посвистом перепела посевы яровых, зайчишки выскакивали из травы и садились пенёчком, прижав ушонки и прислушиваясь к играющему звону, с которым покосник точил свою косу.

Ехал и Данилко с отцом на покос, везли пестерь пирогов, туеса со сметаной, кадушку масла и кучу вяленой свинины, завёрнутой в хорошо постиранный, хорошо продушенный дикой рябинкой холст. Пара коней – гнедой жилистый Лысанко и рысистая Марва несли телегу по солончакам, сквозь лабазник и осоку, только грязь, как из рогатки, лупила то по лицу, то по штанам.

– Ну, Данилко, кажись, миновали все ляги. Осталась одна – Шматиха, ястри её в жерди! Как бы нас там не завязило! – сказал отец.

– Не завязит, – ответил Данилко. – Вона сколь проехали, а кони ишо сухие, не намылились. Стриганём так, что и не увидим!

– Тако, на! Проводничивай! – сказал отец и передал Данилке вожжи. – А я покурю да на просторы погляжу. Ись не хошь?

– Счас приедем и поедем. Мать пирогов наклала с карпами, велела съесть их в первую очередь, чтоб не прокисли.

Данилко хайкнул, кони пошли быстрее, громче забренчало ведро с дёгтем, подвешенное к задку телеги. Лабазник стеной закрыл даль, дохнул мёдом в самое лицо. Мелькнула жердь с красной тряпкой на конце, сторожевой сигнал, что Шматиха

близко. Данилко натянул вожжи, повелев лошадям идти шагом, чтоб набраться сил для прорыва ляги. Уверенно и сильно вышагивал Лысанко, игриво, в сверкающей шлее, покачивала крупом добрая Марва, брякало ведро сзади. Сквозь траву блеснула вода. Данилко привстал, махнул над головой концом вожжей, гикнул, кони хватили что было сил, пропёрли телегу, а дальше, на другой стороне, вдруг встали. Колёса обмотала, как онучами, липкая глинистая грязь и потащила обратно. Завизжало, тошно заскрипело несмазанное колесо.

– Ты мазал телегу-то перед выездом? – набросился отец на Данилку. – Не мазал! Варнак! Я ведь наказал, чтоб намазал, потому что дорога далёкая и половина грязью. Варнак, ястри тебя в жерди! Слазь, бери ведро с дёгтем, мажь!..

Данилко спрыгнул и пошёл по грязи к задку телеги, где болталось ведро с дёгтем. Дёгтя не оказалось, в сухом ведре лежало корьё, оно и брякало всю дорогу.

«Вона чо! – мелькнуло в голове у Данилки. – Это я вместо дёгтя дымокурку привешал. Забыл, торопился».

– Тятя! – крикнул он. – Нету дёгтя!

– Как это нету?

– А так нету. Я дымокурку вместо дёгтя привешал. Спутал второпях...

– Как дымокурку привешал? – рассвирепел отец. – Варнак! Шарами крутил, не видел, как следоват! Как выежжать станем на намазаной телеге? Сорвём нутро в конях, надсадим, варнак!..

Отец схватил кнут и ударил по лошадям.

– Н-но!.. – заорал он во всё горло и опять просвистел кнутом.

Лысанко метнулся в оглоблях, пристяжная Марва прынула вбок, натянув постромки, как струны. Колёса чавкнули и полезли из грязи, и опять скрипнуло, провыло, будто по зубам подпилком дёрнули. Из ляги вытащились, но ехать дальше с таким «зубным подпилком» в колесе было невозможно. Отец бросил кнут на телегу и плюнул.

– Тятя! Я вот чо надумал, – несмело заикнулся Данилко.
– Чо ты можеш надумать, варнак!
– Тя-а!.. Давай сметаной колёса намажем...
– Чаво-о-о?
– Колёса сметаной... Куды столь сметаны везём? Нам её не съись...

Отец смахнул картуз на затылок, расстегнул косоворотку, подумал и расхохотался:

– И востроумец же ты, Данилко! Тащцы сметану, холера её бей! Сымай колёса, мажь телегу. А я покурю да на просторы посмотрю.

Данилко вымазал на обе тележные оси туес сметаны, надел колёса, и покатили они с бархатным раскатцем, мелькая в солнечных узорах разнеженных после дождя берёзовых лесов.

Приехали к своим становьям к обеду, когда соседка Варвара Филовна варила борщ. Она была из хохлушек и борщи варила свои, заковыристые. Ими объедались все, катались по траве, беззлобно поругивая себя за аппетит и освобождаясь от лишнего воздуха.

– Ой, серденьки мои приихалы, коханни мои! И малеча приихав! Ласково просимо! Ой, ласкаво просимо к борщу, пампушкам. Сидайтэ швыдче, мои гарные! – распелась она и вынесла из погребушки стопу глиняных чашек. В самые большие налила борща, а в чашки поменьше – сметаны. Борщ пламенел, обжигал, дымился. Данилко хлебал деревянной ложкой, ворочая куски мяса. Отец положил в свой борщ полчашки сметаны и, сверкая зубами, весело доложил:

– А мы щчас на колёса целый туес сметаны измазали. Завязили телегу в Шматихе, а дёготь дома оставили...

– Та нехай! Що жалкувать? Было бы що жалкувать! Не погано живэм, слава тоби, Хосподи! – приветливо спела Варвара Филовна и осенила себя крестом перед просторной далью с копёшками сена.

Буровы жили не погано. Но и не богато, как считали сами. Держали пять коров, сотню куриц и гусей, десяток подсвин-

ков, семь лошадей, полсотню овец. За хозяйством доглядывали сам отец, мать, три сына, не считая пока Данилки, четвёртого, который всё мечтал летать на аэропланах, начитавшись и наслышавшись про петербургские плавания в воздухе. Когда три сына женились, доглядывать стали ещё три снохи, девахи мужицкой грации, румяные, чернявые, плодovитые на детей и работу.

В Петровки сметану ставили у ворот в лубяных пудовых бочонках и черпали её в кринки и черепушки богомольному люду, идущему в Абалак по Сибирскому тракту и делавшему круженье, чтоб зайти в деревню и нахлебаться сметаны. И, нахлебавшись, ставили свечу в Абалаке за здравие и деревни, и всей местности, посреди которой она располагалась, закрывшись от большака черёмухой, травами и рожью в 1909 году от Рождества Христова.

Глава четырнадцатая

Телогрейки стирали в реке и тут же на берегу сушили. После просушки явился Кен Кенович, всё пересмотрел с казённым пристрастием, всё пересчитал и определил в магазин для распродажи. Народ покупать телогрейки не стал, как уже бывшие в употреблении. Но продавец Лидия Игнатьевна нашла остроумный выход – давать телогрейки в нагрузку при покупке любого товара. Первым с нагрузкой столкнулся Ваня Шманов.

– Мне, Лида, пачку махорки и коробок спичек, – умильно попросил он, отсчитывая копейки с мятым, тасканным-перетасканным рублём.

– Ишо надо тридцать рублей! – требовала Лидия Игнатьевна и прилично побрякала по прилавку медным колечком на пальце, демонстрируя, что она соломенная вдова.

– Какие тридцать рублей? – изумился Ваня.

– За куфайку.

– Я куфайку не беру.

– Это нагрузка.

– Интересные пельмени! – энергичнее изумился Ваня. – Ладно бы махра полагалась в нагрузку, как часть прилагательная, а то... к мухе слон добавляется. Давай махорку и спички!

– Токо вместе с куфайкой!

– Да сдалась мне твоя куфайка! Я куртень себе из тулупа сшил. Не чета твоей куфайке. И вообще, как гражданин военного сословия, я не ношу куфайки! – сказал Ваня и тоже брякнул по прилавку – кулаком.

– Носить надо! – поучительно заметила Лидия Игнатьевна.

– Так носи, кто не даёт!

– Я продавец. Мне по служебному положению неудобно куфайку носить. Это рабочая одежда для заключённых и доярок.

– Вот заключённым и продавай...

– Я продаю колхозникам...

– Ты продашь мне махорку или не продашь? – потерял терпение Ваня. – А то я прямо сейчас из конторы позвоню в Кремль! Я имею при себе ранения и награды, а ты стоишь, сапожная подмётка, и изгаляешься надо мной!

– Бери куфайку!..

– Ладно. Я возьму. Но тебя, сороконожка сапожная, поймаю где-нить и отдеру на этой самой куфайке так, что жить не вспомнишь!

Лидия Игнатьевна умудрилась покраснеть и даже захлопать ресницами, которых у неё отродясь не бывало, выбросила на прилавке махорку и повернулась к Ване задом.

– Ну и жопа у тебя! – выделил он со смехом и немедленно спел:

*– Я люблю такие жопы,
Остальное всё не в шот.
Твоя будет пол-Европы
И Америка ишо...*

В магазин зашла Марья Ивановна, как-то особо посмотрела на Ваню и, в кокетливом невнимании не поздоровавшись с ним, прохромала к прилавку.

– Мне крупки и мандаринового варенья, – сладенько проворковала она, одним глазом следя за Ваней, другим просматривая товар на витрине, даже не пытаясь скрывать цепкости ко всему, что там находилось и вырабатывало несравненный сельповский аромат залежавшейся карамели и обёрточной бумаги, берущей своё начало от фанеры и кровельного железа.

– И ещё консерву. Две баночки «частика», – проговорила она, блуждая по товару глазом.

Лидия Игнатьевна отпустила ей продукты, взяла деньги и тоже сладенько курлыкнула:

– Сатинет забросили. Синенький, в клеточку. Не хотите ли на кофточку?

– Нет, я сатин не ношу...

– А ты почему ей куфайку в нагрузку не даёшь? – загремел из угла Ваня Шманов. – Мне за пачку махорки и коробок спичек нагрузка полагается, а она вон сколь набрала безо всякой нагрузки. В общем, так! В магазине процветает блат. Блат – это ветвь спекуляции. За спекуляцию судят...

– Какой грамотный! – пресекла его Лидия Игнатьевна. – Куфайки даются в нагрузку токо колхозникам. А Марья Ивановна не колхозница. Она из прослойки сельской интеллигенции. Напрямик служащая. Учит детей. Зачем ей куфайка?

– Подстилать при экстренной надобности! – выпалил Ваня.

– Ай-яй-яй-яй! А ещё герой Советского Союза! – с укором покачала головой Марья Ивановна.

Ваня от того, что его тут же, на глазах у сварливой Лидии Игнатьевны, произвели в герои, немедленно потерял свою железную напористость, расплылся киселём и от кисельного брожения, от нежного сочувствия к Марье Ивановне отпу-

стил было тоненький ручеёк, но спохватился и придавил его промежностью.

– Ге-е-а-еро-ой! – интересно издала Лидия Игнатьевна, будто прокатилась по стиральной доске. – Напьётся медовухи и дрыхнет под тулупом, а ещё куфайку брать не хочет. Ге-е-еро-ой!..

– Я тебе кишки выпущу! Я контуженый! – взорвался вдруг Ваня и схватил нож, которым Лидия Игнатьевна резала хлеб, продавая его по сто граммов в руки...

– Я тоже нервная! С вами все нервы изорвала! – заорала она и схватила гирьку. – Попробуй только кинься! Я тебе мозги вынесу на потолок!..

– Товарищи! Товарищи! – насмерть испугалась Марья Ивановна и попятилась к выходу, чтоб не стать свидетельницей взаимного убийства.

– Мне война все нервы истрепала! – кричал Ваня. – А вы, гниды тыловые, дотрёпываете их!

– Это вы нам истрепали, вернувшись с войны! Добрых-то немец поубивал, а вас, кобельёв недодавленных, и немцу было не надо! – кричала и Лидия Игнатьевна с гирькой наизготовку. – Мои это куфайки? А? Мои? Аль я их продам и выручку себе в карман халата складу? Меня обязало их продать районное правительство! Кол-хоз-ни-каммы!.. Понял аль нет? И я продаю, выполняя поручение правительства! Понял аль нет? Марь-то Ванна в колхозе не числится, её право брать куфайку иль не брать. А ты прописан к прослойке трудового крестьянства и обязан жить по правилам этой прослойки! Понял аль нет? Контуженый он! Я тоже контужена! На меня мешок с машины упал ещё в девках! Я ещё тогда головой маялась...

– Вот в продавцы и попала! С головой-то! Народ облапошивать! – сказал Ваня и изысканно захохотал. – Мурлетку-то наела! Я вижу, что у тебя с головой давно неполадки. Девяносто девять и баушка на фронте! Ха-ха-га-хга-а-а!.. Блядь карманная!

– Чо-о-а?.. Хто!.. я... кто-о?.. да я... да я... да я, если хошь знать...

– Блядь карманная! – с затейливой интонацией повторил Ваня и, покидая магазин, толкнул плечом Марью Ивановну, то ли приглашая её в соучастницы такой скандальной хореографии, то ли намекая на что-то, отчего на щеках у Марьи Ивановны выросло по красному пятну...

– Нет, это что такое, а? – лишилась дыхания от оскорбления Лидия Игнатьевна и бросилась гирькой в манную крупу. – Это что... што такое, а? Каждый власовец приходит и страмит чем попадя, а! Он пошто в тюрьме не сидит, а? Пар-ти-зан!.. Будто народ не знает, что это за партизан!.. Народ знает, а энкэвэдэ – нет. Партизаны, наверное, народ вежливый. А это форменный предатель Советского Союза! Нет, это что... што такое, а?

– Успокойся, Лидия Игнатьевна! – осторожно сказала Марья Ивановна.

– Да как тут успокоишься! – возразила Лидия Игнатьевна и засморкалась в подол халата. – Уж извините, Марь Ванна.

– Закрой, Лидия Игнатьевна, магазин да прогуляйся! – посоветовала Марья Ивановна. – Сходи по ягоды. Нынче ягод много. Люди на коромыслах носят. Походишь на лоне природы, вспомнишь приятное из своей жизни. Оно и полегчает.

– Да ить верно! – подхватила Лидия Игнатьевна. – Поди, не сдохнет этот магазин вместе с куфайками... А вы, Марь Ванна, одну куфаечку не возьмёте? А?

Марья Ивановна тяжело вздохнула, поджала губы и промычала:

– М-м-м, н-нет... Деньжонок совсем м-мало...

Глава пятнадцатая

Золотые переливы блуждали в лесу. Душистый березняк заставлял думать о несбывшемся, морочил надеждой, что

всё сбудется и украсит жизнь счастьем. Поляны были пьяны от лесной клубники. Лидия Игнатьевна припала на лесной опушке и стала собирать ягоды в корзинку обеими горстями. За сбором не заметила, как солнце спряталось за облако. В лесу потемнело, задрожали осины, словно испугавшись, что солнце больше не выглянет и дрожать они будут всегда. Но солнце выглянуло, снова обдало апельсиновым светом лесные чащи, поиграло бликами и опять скрылось за тучку.

Лидия Игнатьевна, пообщавшись с лоном природы, приятно удивилась, что корзинка её уже полна до краёв, осталось добрать бугорок. Так было принято – носить ягоды из леса с бугорком, будь то ведро или черепушка. Без бугорка вроде как и не считалось, что человек ходил по ягоды, а просто слонялся в лесу и мечтал. Но Лидия Игнатьевна – женщина пунктуальная, вон как отсарафанила Ваньку-власовца. И гирьку не побоялась на него занести, если бы скребанул хлеборезом, разнесла бы морду-то в реденькую похлёбочку!.. С головой непорядок... «У меня с головой порядок на полтора процента. Ты ишо не знаешь, какой порядок. С непорядком головы в сельпе не работают».

Тучка с солнца не сходила. К ней прилепилась ещё одна тучка, и злобная синева с обтрёпанной сивой каймой начала застилать южную часть неба.

Неожиданно в лесу полыхнуло, и радужное сияние медленно разошлось по деревьям, вот задержалось на одной из берёз и полилось снова, всё ближе и ближе к тому месту, где брала ягоды Лидия Игнатьевна. Она подняла голову и увидела крупную птицу с гребнем, похожим на корону царя Додона, с хвостом, волочившимся по земле, словно к птице привязали конский хвост и обвешали его разноцветными перьями.

Птица подлетела совсем близко, села на молодую берёзку, покачала её своей тяжестью и посмотрела на Лидию Игнатьевну огненным глазом.

– Пиу-у!.. – звонко и жалобно прокричала она, повернула голову и взглянула другим глазом.

– Ты откуда такая взялась? – спросила Лидия Игнатьевна как можно строже, потому что знала: дрогнувший голос сразу же обнаружит её внутреннюю половину существования, и неизвестно ещё, что это за чудо-юдо? Вдруг какая-нибудь хищная забулдыга, питающаяся живым человеком...

– Пиу! – прокричала опять птица.

– Да ты жар-птица! – охнула Лидия Игнатьевна.

Вдали прогудело, вроде как гром.

– Что же мне с тобой делать-то? Народ ни за что не поверит, что жар-птицу в лесу видела. А она вот – передо мной!

Всякий страх ушёл из Лидии Игнатьевны и укутился клубком, она уже храбро направилась к жар-птице, соображая, что из её хвоста надо выдернуть хотя бы одно пёрышко и показать в деревне, как вещественное доказательство.

– Пиу! – ответила птица на её корыстную цель и перелетела на другую берёзку, села там и ворохнулась. Золотые звёзды поднялись над ней, как над костром.

Лидия Игнатьевна поставила корзинку с ягодами, тихонько подошла сзади и схватила жар-птицу за хвост. Её тут же ударило током, жгучая судорога прошла сквозь тело и вышла в пятку. Земля под пяткой зашипела, будто в неё воткнули раскалённую железину. Лидия Игнатьевна ойкнула, отдёрнула пятку и увидела на брезентовом тапочке прожжённую дыру...

– Вот те на! Это что за электричество летает по лесу! – воскликнула она, сняла тапок и осмотрела его со всех сторон. И подумала, что её могло убить. Убило бы, и лежала бы она здесь, пока не прокисла...

– Полетай, миленькая, с Богом, откуда-то прилетела! – начала она уговаривать жар-птицу. – Бог тебя знает, кто ты такая!..

За лесом снова загремело, на этот раз отчётливее, с раскатом, словно угрожая прийти с неба и навести тут порядок. Иссиня-белым сучком чуть не по голове ударила молния.

– Пиу! – отозвалась птица, подняла крылья и хлопала ими, разбрызгивая вокруг себя золотые искры.

Лидия Игнатьевна рванулась бежать, испуганно оглядываясь и на птицу, и на грозовую тучу. Молния белым позвонком выломилась перед нею, вскочила в землю и выскочила обратно.

– Батюшки... ста... истинный... ста! – в беспамятстве забормотала она, сквозь пролесок увидела огороды, кривобокую банёшку в крапиве, бегом забежала в неё, закрыла за собой дверь на крючок и только теперь вспомнила, что оставила в лесу корзинку с ягодами...

Глава шестнадцатая

Приближалась осень, а вместе с нею приближался слёт ударников колхозного труда. Перед слётом Фадей Формовичу велели явиться в райком партии. Он выщелкнулся в военную форму без знаков различия, обрызгался «Шипром», приказал запрячь Казбека в новенький ходок и пустился в путь.

Стояла жаркая погода. В полях убирали хлеб, дюжие «дизеля», недавно поставленные в колхоз для обновления сельского хозяйства, таскали степные корабли – неуклюжие комбайны-«сталинцы», но кое-где уже маячили «самоходки».

Несмотря на золотой день, Фадей Формович чувствовал себя скверно, зная, что в райком вызывают не водочку пить. «Опять какую-нибудь херовину придумали. Заставят внедрять», – хмуро подумывал он. Его предложение, что надо бы вполне серьёзно обзаводиться пчеловодством, в райкоме не заметили. Унизительно не заметили, и кто-то даже прохмыкал: «Пушки для стрельбы по воробьям...».

«Ну и хер на вас! У нас есть одна узаконенная пасека, и, прикрываясь ей, мы разведём ещё три-четыре».

Фадей Формович прикрикнул на Казбека, тот пошёл крупной рысью, ходок, ласково поскрипывая рессорами, покатился по лесной дороге, и через некоторое время вдали пока-

зались пожарная каланча и железнодорожная водонапорная башня, гордо возвышая район над остальной местностью.

В райкоме собиралось заседание председателей колхозов. Сидела и сама товарищ Габрылина, с навитыми волосами, в меру подкрашенная. В одежде, как у монашки, сочеталось чёрное с белым, и была на груди медаль, какие выдавали всем после победы над Германией, с профилем Сталина и выпуклой отливкой: «Наше дело правое». Теперь профиль Сталина товарищ Габрылина заменила на профиль Ленина, отколов его неизвестно где. Фадей Формович долго смотрел на медаль и, наконец, понял, что этот профиль отколот от ордена Ленина.

«А-а! Вон чего измыслила барыня-трясогузка!» – ухмыльнулся он, вспомнив, что высокие награды имел отец Габрылиной – Емельян Пугачёв. Амеля помер от ран, а дочка теперь пользуется наградами, остроумно перевешивая их на свою грудь. Орден же Ленина не прицепишь – он не твой. А вот профиль Ленина приделать к своей медали можно. И злоба дня высвечена. Сталин – враг народа, а Ленин – друг.

«Умная бабёнка. И была бы ещё умней, если б не была душой!» – с ухмылкой смотрел на неё Фадей Формович.

Рядом с товарищ Габрылиной занимали места товарищи Дикоплясов, Мочевой, Карачкин – все при медалях и почётных значках.

– Итак, товарищи! – обратился к товарищам первый секретарь райкома партии товарищ Едосыров. – Пора нам подумать о социалистических обязательствах на следующий год. А пока доложу о выполнении социалистических обязательств колхозом «Заветы Ильича», надоившим от каждой коровы по пяти тыщ килограммов молока. К концу года они надоят около шести тыщ. Товарищ Никудышин, встаньте! Вы сегодня – злоба дня и мы вас встречаем бурными аплодисментами!

Все бурно забили в ладоши. Ветер от рукоплесканий поднял бумагу со стола и вынес их в открытое окно.

– Товарищ Швыхина! Собрать документ! – распорядился Едосыров перед машинисткой, и та проворной зверушкой срочно выскочила следом за бумажками.

– Ну и что вы думаете, товарищ Никудышин? – спросил товарищ Едосыров.

– Я думаю, что новые обязательства ещё рано брать. До Нового года около четырёх месяцев, успеем ещё взять, – сказал Фадей Формович, а сам тем временем подумал: «Ну, Кункин! Налил воды столь, что в сентябре мы уже выполнили обязательства. Вот уж точно, перестарался, как истинный партиец!».

– А вот вы и балбес! – вылепил товарищ Едосыров. – Новые социалистические обязательства начнёте выполнять прямо с сегодняшнего дня, потому что старые уже с честью выполнили. И выйдет вам льгота. За год вы, может, и не надоите, а за год и четыре месяца очень даже надоите. Теперь вам предстоит надоить шесть тыщ килограммов молока. Это за круглый год. Прибавляем ещё четыре месяца. Сколь надоите? Шесть с половиной! Правильно, товарищи? Правильно!

– К-как эт...то? – едва промолвил Фадей Формович, потому что при упоминании шести тыщ, да ещё с половиной, почувствовал отлив крови от мозгов и чуть не упал в обморок. – К... к... коровы-то не резиновые, не растянешь...

– Увеличьте стадо! И при помощи увеличения стада надоите шесть тыщ. А то и семь. Сложно? – весело сказал Едосыров и ещё веселее оглядел заседание.

– Всё даже очень просто, – выскочила с подсказкой товарищ Габрылина. – Проще прямых углов гипотенузы!

«Проще углов гипотенузы! – с ненавистью окатил её смертельным взглядом Фадей Формович. – Гипотенуза сторона без углов. Дура! Сидишь тут с медалью... Ленина. Раньше бы посадили за надругательство над наградами, а теперь всё можно. Распустил Маланья вожжи».

Он вытащил из кармана носовой платок, засморканный и зажульканный хуже портянки, и, совсем забыв, что такие

платки на заседаниях вытаскивать ни в коем случае нельзя, вытер лицо, вспотевшее и разопревшее, как в парилке.

– Стадо увеличить... Стадо должно ещё приплод дать, – невнятно пробормотал он.

– У вас есть! Тёлочки! – победно напомнил Едосыров.

– Так тёлочкам-то ещё и года нет. А годовалый молодняк мы сдали на мясопоставки по вашему приказу...

– Ну, надоили же пять тыщ килограммов! Где пять, там и шесть. Где шесть, там и восемь. Правильно, товарищи? – возвысил голос Едосыров. – А ты, товарищ Никудышин, у нас ещё поедешь в Москву на выставку. Поделишься там своим опытом по получению высоких надоев. Секрет раскроешь!

– А кормить чем? – совсем не слушая его, спросил Никудышин.

– Как чем? Сеном! – не теряя веселья, подсказал Едосыров. – Шесть тыщ килограммов молока – и мы тебе орден дадим!

«С титьки Габрылиной», – подумал Фадей Формович где-то в потусторонней жизни и уронил платок мимо кармана.

Глава семнадцатая

В районном продмаге он купил бутылку водки и, заворачивая её в районную газету, обратил внимание на жирные столбцы стихотворного текста «Сказка о жар-птице и лесной сладкой яголке-клубничке».

*«Вот повадилась жар-птица
На поляны к нам летать.
На поляны к нам летать,
Наши ягодки клевать.
Хвост змеиный распушив,
С мановения владыки
Иль турецкого паши...»*

«Хвост змеиный распушив...» – мрачно подумал Фадей Формович, взглянул на подпись и увидел: «Л. Пляхина. Колхоз "Заветы Ильича"» и помрачнел ещё больше.

«Нашенская какая-то грамотейка. Лидка-продавщица, что ль?» И тут же рядом в погребальной рамке было напечатано объявление: «Потерялся павлин. Улетел ещё летом из дома юннатов и не вернулся. Ко всем просьба сообщить в экстренном порядке местонахождение павлина. Пионервожатая Свинчаткина».

– Сам прилетит. Наступит осень, и прилетит, – проворчал Фадей Формович и начал отвязывать Казбека от коновязи.

Подъезжая к своему колхозу, он увидел вереницу тракторов с плугами.

«Зябь поднимают!» – отметил в уме Фадей Формович и удивился, где это в колхозе набралось столько техники? Или из МТС нагнали?

«Что-то не пойму. Да и зяби там вроде нет никакой. Чего они там пашут?»

Он повернул Казбека и поехал прямо через луга к тракторам. Чем ближе подъезжал, тем больше удивлялся, чувствуя, как удивление переходит в ненависть к врагу, вызывая пузырьки по всему телу. Пахали сенокосы... Фадей Формович остановил Казбека, выпрыгнул из ходка и, ринувшись наперерез головному трактору, замахал руками:

– Стой! Стой!

Трактор остановился. Фадей Формович подбежал к нему, вспрыгнул на гусеницу и выволок за грудки испуганного тракториста.

– Ты что делаешь? Ты кто такой? Почему сенокосы пашете? – заревел он и приёмом фронтового диверсанта вlepил трактористу промеж глаз...

– Да я... Да я... я выполняю рас...поряжение. К Сопрыкину обращайтесь, – лепетал залитый кровью тракторист.

Сопрыкин, в макинтоше и шляпе, спотыкаясь на комьях пахоты, витиеватой кособокой пробежкой спешил к месту скандала.

– Па-аа-азвольте, вы кто такой? Что за пра...азвол? – запыхавшись, подскочил он к Фадею Формовичу.

– Я – председатель колхоза! А ты кто такой? – загремел Фадей Формович и на этот раз фронтовым приёмом врезал по морде Сопрыкина.

– П-па-а..звольте!.. Па...азвольте, товарищ! П-понесёте уголовную от-т...тветственность за приложение руки к должностному лицу! – запричитал Сопрыкин.

– Па-ачему сенокосы пашете? – рывкнул Фадей Формович. – Кто разрешил?!

– Па...пазвольте!.. По распоряжению товарища Едосырова... Начат подъём целинных и залежных земель...

Сопрыкин, дрожа и бледнея, с фиолетовым, набирающим силу фингалом под глазом, потащил из папки листок и, заикаясь, принялся читать:

– П-п-по району ннам-ме-чено п-по п-плану п-поднять сорок т-тысяч гектар...ов з-залежных и це...линных земель...

Но Фадей Формович его уже не слышал. Он сел в ходок, со всей злостью огрел Казбека и погнал в деревню. В деревне ему как будто набросили на голову чёрную тряпку... Он посмотрел направо и увидел, что зелёный заречный луг стал вдруг чёрным, его будто облили смолой, смола текла к реке, и заречные берёзы тонули в ней по колено, распуская прощальный шёлк жёлтой листвы.

– Вон оно что, в... перемать! – матюкнулся Фадей Формович. – Перепахали луг!

Он рванул себя за вихор, выдернул седой клочок волос и, поднимая его в кулаке к небу, спросил с лютыми слезами в голосе:

– За что?..

Потом вытащил бутылку, отбил о колесо сургуч и стал глотать водку, как живую воду, не крикая и не морщась. Выпив всю, он бросил пустую бутылку в реку с напутствием:

– Плыви, сердешная! Плыви к морю-окияну и расскажи, как мы тут живём. То есть как нам тут жить не дают. Всё пятый угол искать заставляют.

Он лёг в ходок, подогнув ноги и укрывшись красной плюшевой скатертью, которой наградили колхоз за стахановский труд ещё при Сталине и которую Фадей Формович возил с собой, чтоб все знали, что едет председатель.

Разбудила Никудышина техничка Анисья.

– Фадей Формович, тебя милиция спрашивает. Вставай! Говорят, по рукоприкладству прибыли. В конторе заседают, – потрепала она его по плечу.

– А? Кто? Кто прибыл? – встрепенулся он, сел и чуть не опрокинул Анисью вверх тормашками своим перегаром.

– Милиция тебя ищет...

Фадей Формович сторбился, уронил руки между колен и, выражая всю скорбь и утрату, хрипло промолвил:

– Дурак я! Надо было в Белоруссии после войны остаться. Прикатил бы пушку, их там полным-полно и немецких, и наших. Как жажнул бы сейчас по всякой мелюзге из района, больше бы никогда не заявились. Жить не дают, Анисья!

– Но живём же! – вздохнула она.

– Не живём, а слону яйца качаем, – вздохнул и Фадей Формович, тяжело вылез из ходка и сказал:

– Ты распряги, Анисья, жеребца. Напой, отведи в стойло и дай ему овса побольше. Приедут падлы районные, всё выгребут. И себе домой возьми. Поросёнку.

В конторе за его столом сидел дряблый человек с погонями на плечах. При керосиновой лампе погоны сверкали, как сосновые обрезки, неправдоподобно заслоняя своей внушительностью облик служителя правопорядка.

– Товарищ Никудышин? На вас в органы поступило сразу два заявления, уличающих вас в противозаконном распускании рук...

– А ну! Кыш отсель! – свирепо прервал Фадей Формович и показал милиционеру на стул у печки. – Это моё место! Покуда я ещё председатель и на этом месте должен сидеть я!

– Ну вот, – обескураженный таким обращением, попробовал улыбнуться милиционер. – Ещё и на органы замахиваетесь...

– Органы у нас с тобой промеж ног, – опять прервал его Фадей Формович. – Органы! Дурак! Надо было остаться в Белоруссии, поближе к трофейным орудиям. А тут – мандавошки одни. Ну, что тебе? Я слушаю.

– Я по заявлениям, – начал милиционер, усаживаясь на стул у печки и нервно поскакивая пальцами по портфелю, который положил себе на колени, как саквояж, обозначенный мириадами застёжек.

– Что я хари им расквасил? – совсем расвирепев, спросил Фадей Формович. – А какого хера они заехали с плугами на сенокосные угодья колхоза? Мне, бля...

Фадей Формович вскочил, выхватил из кармана гимнастёрки бумагу и вскинул руку с ней к потолку.

– Мне, блядь, социалистические обязательства всучили надоить по шесть тыщ литров молока от каждой коровы в будущем году, а вы мне сенокосы пашете! Я чем коров кормить буду!.. Пойменный луг за рекой перепахали! Где мы сено косить станем? Чо глазами хлопаешь? Арестовывать приехал? Кончились ваши аресты, шантрапа тыловая! Чо в милицию забуровил? Чо на ферму не идёшь? Скотником! Трактористом! Погоны нахлобучил, как Колчак! Сидишь тут...

В кабинет заглянул Василий Карелин и прокричал:

– Фадей Формов! Они ульи увозят из столярки!

– Кто они?

– Из района, говорят, присланы...

Фадей Формович сорвался из-за стола, да так с бумагой в кулаке помчался к колхозной столярке. Там, посверкивая фарами, стоял грузовик. По круглой кабине и вообще по всей технической оснастке Фадей Формович определил, что это «Газ-51» – нововведение, снабжённое зажиганием, украденным у американских врагов, и прочими удобствами, каких во век не было у «захара». В кузове нововведения громоздились ульи, составленные в три этажа. Готовое к отходу нововведение мурлыкало мотором, водитель щипал Зинку за жопу, а два грузчика пили вино, передавая друг другу бутылку.

– А ну, сгружай улы обратно! – гаркнул Фадей Формович. – Бы-ы-стрр-ра!..

Водитель сильно испугался и забился в кабину, грузчики спрятали бутылку, а Зинка ушмыгнула куда-то.

– Улы сгружай! – проревел, как медведь, Фадей Формович и пнул под зад ногой одного грузчика, потом пнул другого.

Из конторы выбежал милиционер, но вернулся и стал названивать по телефону, требуя подмогу. Подмога подоспела с опозданием. Ехали на «эмке» – вообще-то на трофейной легковушке, захваченной в плен вместе с вермахтом. Но, чтобы не уличили в предательстве Родины, к немецкой легковушке присадили колёса «эмки», хвастаясь, что на них ездил сам Клим Ворошилов под Ленинградом. Поскольку двигатель стоял германский, то произошло несовпадение с советскими колёсами. При переезде через Гузульский ложок двигатель набрал полные обороты и вынес кузов вместе с подмогой на тот берег, а колёса остались в логу.

Подмога, состоявшая из пяти милиционеров, включая овчарку Дрейка, оставив водителя караулить фрагменты автотранспорта, чтоб их не спёрли, двинулась к колхозу «Заветы Ильича». Фадея Формовича накрыли в натальном белье, как Чапаева. Он выбил ногой окошко в горенке и побежал в поля. Его схватили, скрутили, связали верёвкой руки и под лай Дрейка повели в райцентр. Процессию замыкала пара быков, тащивших волоком фашистскую легковушку с брошенными в неё советскими колёсами.

В милиции Фадея Формовича облили водой и посадили в подвал.

Глава восемнадцатая

Утром заскрежетал замок, железная дверь отворилась и вошёл лейтенант милиции. Он принёс свежее бельё, синие

галифе, гимнастёрку цвета хаки, белоснежные фланелевые онучи и хромовые сапоги.

– Одевайтесь, товарищ Никудышин, – сказал лейтенант. – Вас товарищ Едосыров ожидает.

– Мне бы в уборную сходить, – сердито заметил Фадей Формович, слезая с нар.

– Так вот же параша! – показал лейтенант на ведро, прикрытое газетой.

– Я не привык в ведра справлять нужду. Да и не смогу, раз не привык. Надо в нормальный нужник! – совсем рассердился Фадей Формович, изо всех сил препятствуя физиологическим потребностям выйти наружу.

– Ну, пошли! Я тебя провожу, – сказал лейтенант.

– Чо меня провожать? Я не девка! – буркнул Фадей Формович.

– Да ведь сбежишь...

– Куда я сбегу в одних кальсонах!..

– Ну, иди. Прямо по коридору и налево. По запаху найдёшь.

Умывшись и приодевшись, скрипя хромом, Фадей Формович вышел из каталажки и чеканным шагом фронтовика направился к зданию райкома партии, перед которым весь белый, как снеговик, с вытянутой рукой стоял памятник Ленину.

– Хайль Гитлер! – проходя мимо, усмехнулся Фадей Формович, оглянулся, увидел, что рукой Ленин показывает на милицию, прямо на решётку каталажки, и усмехнулся более увлечённо.

Едосыров ждал его с каверзным выражением лица, но Фадея Формовича это не смутило, он вошёл в кабинет, браво поздоровался и сел без приглашения на первый попавшийся венский стул.

– Ну что, Ермак Тимофеевич, нагулялся? – спросил Едосыров. – Обрадовался, что обязательство выполнил?

– Не я выполнил, а люди, – ответил Фадей Формович

и пожалел первого секретаря, как дурачка Ляню, блуждающего по перрону с ненормальной любовью ко всем пассажирам. «Знал бы ты, за счёт чего мы выполнили твои обязательства! Сколько воды набухали в твоё молоко! Чо пялишься? Чо про жирность-то не спрашиваешь? А-а, не хочешь спрашивать. Потому что жирность под конец совсем скатилась. 2,7! 2,5! Вот твоя жирность, Ляня!» – с ехидством подумал он и спросил:

– По чьему это велению-хотению трактора эмтээс пашут сенокосные угодья колхоза? А чем мы кормить скот будем? Это раз! И по чьему велению-хотению вывозят из колхоза ульи, сделанные руками и смекалкой колхозников? Это два!

Едосыров, с усмешкой оглядывая его, медленно и спокойно, как и подобает царю, ответил:

– Идёт подъём целины. И идёт он в целях увеличения урожая и кормов. Партией и правительством планируется повсеместное введение в севообороты кукурузы. Это и мясо. Это и молоко. Мы изживаем травопольную систему с её горе-отцом Вильямсом.

– Кукурузу? В Сибири? – удивился Фадей Формович и весьма рельефно сник от удивления.

– Да! В Сибири! – выделил Едосыров. – Скоро на Северном полюсе сеять будем! Наука до всего дойдёт, если это связано с прогрессом во имя светлого будущего. А ульи мы изъяли для обеспечения элеватора собачьими конурами...

– Как?! – подскочил Фадей Формович.

– Не какайте. Сидите и слушайте. Увеличение урожая требует и дополнительной охраны. А урожай куда свозится? На эле-ва-тор!.. По всей территории элеватора запланировано разместить сторожевых собак. Вот ульи и пригодились. Вам-то они зачем? Для скворечников?

Фадей Формович, продолжая рельефно выделяться на фоне стены, измененной разводами текстуры какого-то дерева, слушал и в то же время не слушал...

– ...я бы тебя, Никудышин, пустил на мыло за твои вы-

ходки...но...зяин...передовой...лхоз...гатый...шесть тыщ... гаммов...пощадил...иди...ботай, – доносился откуда-то голос Едосырова, и, прослушав его при добросовестном молчании, Фадей Формович, уязвлённый самой глубокой печалью и скорбью, вымолвил:

– Послушайте, Симеон Макович, вы же умный человек. Или вы со мной лицедействуете, или вы перестали быть умным человеком. Я же вижу, что в то, в чём вы меня так убеждаете, не верите сами. Признайтесь, не верите?

– Ну-у, – растянул Едосыров в обильной улыбке. – Это то же самое, что спросить попа, верит он в Бога или нет...

– Но поп верующий...

– И я верующий!

– Поп в Бога верит.

– И я верю!

– Симеон Ахович! Во что?

– Я верю в партию!

– Допустим, Бога нет. В Него можно верить и не ошибаться. Как в Млечный Путь. Вроде он есть, и в то же время его нет, потому что он нам недоступен. А партия состоит из людей. А люди ошибаются...

– Люди ошибаются, а партия – нет.

– Да как же нет! – запальчиво воскликнул Фадей Формович. – Сливы и персики я уже в Сибири выращивал. Теперь вот мамалыгу буду выращивать. Хотя в Сибири, Симеон Лыкович, упор надо делать на животноводство! Даже потому, что нашим лугам равных во всём мире нет! И на пчеловодство! Опять же по той самой причине, что разнотравье особенное, свойственное только Сибири!

– А хлеб, дорогой Фадей Формович? А? – сладенько, будто с карамелькой во рту, спросил Едосыров.

– Но не всё же пускать под хлеб. И под хлеб место найдётся. Но главное-то у нас – луга!

– А чем животноводство-то кормить?

– Так я же сказал – луга!

– На травке, Фадей Формович, далеко не уедешь.

– На травке, Симеон Мухович, Сибирь всё время ехала.

– И к чему приехала? К ре-во-лю-ции!.. А почему? На пчеловодстве богатели! Богатели!

Едосыров загнул один палец.

– На мясе богатели? Богатели! – загнул второй палец. – На масле! На молоке, на кедровых орешках, на древесине, на сундуках с певучими замками, на рыбе! На сохатине, на медвежатине, утках, куропатках...

Он снял штиблет, носок и стал загибать пальцы на ногах.

– На золотых приисках и алмазах, на соболях да горно-стаях...

– И чем же это плохо, Симеон Липович? – спросил Фадей Формович.

Едосыров надел носки, зашнуровал штиблет, разогнулся над столом и ухмыльнулся:

– Ты, Никудышин, словно историю в школе не учил!.. Плохо тем, что народ жил в нищете!

– В Сибири в нищете никто не жил.

– Да как же не жил! Вон дурачок Ляня как ходил по вокзалу, так и ходит.

– Ляня контуженный на войне. Оттого и дурачком стал.

– Да ведь нищий! А скоко нищих бедствовало в двадцатые годы, в тридцатые, в сороковые!..

– Так это уже не та Сибирь! Это уже не Сибирь, а сырьевой придаток Москвы! – распаяясь, воскликнул Фадей Формович.

– Как это не та? Очень даже та! Какой была, такой и осталась. С озером Байкалом, с Кордильерами...

– Как народ мог жить в нищете, если он сам и коров доил, и масло сбивал, и рыбу ловил! – продолжал распалённый гневом, обидой и непониманием Фадей Формович.

– Ловил, да сам не ел. Всё отдавал помещикам и капиталистам.

– Или вы, Симеон Х...евич, сам дурак, или в дурака игра-

ете, потому что меня за дурака держите. Так, чтобы быть на равных, – сказал Фадей Формович, поднялся со стула и покинул кабинет, разукрашенный древесными разводами.

На крыльце райкома партии он закурил и, глядя на памятник Ленину, произнёс вслух:

– Умным быть нельзя, потому что можно сойти с ума. А дураку сходить не от чего. Мы все стали дураками, потому что боимся потерять ум.

Глава девятнадцатая

Фёкла Петровна послала Симу за картошкой, которую он посадил где-то в лесу. Сима уже не раз приносил оттуда. Картошка оказалась самой лучшей, какую приходилось есть Фёкле Петровне. Вкусом она напоминала и свежий хлеб, и свежее масло, и берёзовый сок, и родниковую водицу, при варке рассыпалась, как песок, а вид имела белого сахара.

– Земля такая, – говорил Сима, готовясь убирать картошку. – Сверху пласт чернозёма, смешанный с песком, а поглубже песок, смешанный с чернозёмом.

– Разве не одно и то же? – спросила Фёкла Петровна. – Чернозём с песком или песок с чернозёмом?

– Вот и не одно.

Сима растолок пестиком брикет пережжённого фруктового чая и слегка пересыпал его солью.

– Смотри! – обратился он к матери. – Это чернозём с песком. Чернозём тут главный, а песок держится для второстепенной роли. Но эта второстепенная роль играет бо-о-ольшое значение! Песок подпитывает семенные клубни, отсасывает влагу и, держа её в себе, лежит на своём горизонте влажным. Он как губка для картошки. А вот песок с чернозёмом...

Сима взял соль и слабо пересыпал её сожжённым чаем.

– Видишь? Это уже песок, сдобренный чернозёмом. Кар-

тошка лежит здесь, как купчиха. Зарежь купчиху и сделай из неё котлеты...

– Ково ты буровишь! – замахала руками Фёкла Петровна. – Купчиха-то, небось, не картошка, а человек!

Сима шёл по лесной тропинке и посмеивался, вспоминая разговор с матерью. В благовонном осеннем лесу сквозь лёгкое шуршанье листопада что-то урчало. Сима знал, что убирают хлеб, и остановился, приняхиваясь к золотой пыли, которая веет над землёю при уборке хлебов. Но запах был влажный, словно со старых замшелых берёз сдирали кору... Сима пошёл быстрее и вдруг сквозь лес увидел чёрную прореху, будто там что-то разорвали и вывернули наизнанку. Так и было – Золотую поляну пахали. Его картошка, грядки, лесные цветы были погребены под воронье-атласной землёй, присыпанной песком, до которого дорылся плуг и выскреб наверх, позволяя прогреться на солнце. Сима ошалел и какое-то время стоял, как пригвождённый к столбу.

– Эй! – наконец крикнул он и бросился к трактору. – Эй, козлы неумытые! Ну-ка, стойте, падлы!..

Тракторист, квадратный мужик с сигаркой во рту, двигая рычагами, его не услышал.

– Козё-ол! – закричал Сима и бросился наперерез.

Трактор остановился.

– Чо тебе! – гаркнул тракторист, выглянув из кабины.

– Ты зачем пашешь поляну? – трясясь от злости, набросился на него Сима.

– Деляну? – тракторист сморщил лицо, чтоб лучше слышать, но двигатель грохотал, и трактор тоже трясся всеми органами.

– Зачем пашешь?!

– У Паши?

– Ка-азёл!..

– Не токо подзол.

– Ка-а-азлина! – пнул Сима трактор и увидел, что под берёзой, которую он любил больше всего, горел костёр и дру-

гой тракторист, может быть, и плужник, сучком выкатывал из золы печёную картошку. Сима бросился к нему, подбегая, замахнулся ведром, но дужка у ведра оторвалась, и ведро улетело в чашу.

– Ты это с каких щей мою картошку жрёшь! – рявкнул он на весь лес.

Тракторист, может быть, и плужник, рыжий парнишка, ровесник Симы, в картузе, сдвинутом козырьком на затылок, чернее чёрта от мазута, гари, печёной картошки, захлопал белыми глазами.

– Твою? – спросил он.

– Мою! И вообще зачем пашете эту поляну, козлы!..

– Нам велели...

– Кто? Чо врёшь, огрызок! Кто велел, падла?..

– Ну, велели...

Сима ударил ногой по головёшке, прихватил её лопухом и, рассыпая по воздуху искры, опять побежал к трактору.

– Сожгу, бляди! Сожгу немедля, если не остановишь!..

Тракторист что-то крикнул в ответ, постучал пальцем по лбу и проехал мимо. Сима обогнал трактор и упал перед ним, раскинув руки и ноги.

Трактор остановился.

– Ты чо? Пьяный? – подбежал к нему тракторист. – Ну-ка, уходи с дороги!.. Кышка, помоги!..

Кышка подбежал и схватил Симу за ногу, стараясь оттащить в сторону. Сима поднял ногу и сбил картуз с его головы.

– Чо, совсем нерусь? – заревел Кышка.

Но квадратный тракторист поспешил на помощь – поднял Симу на воздух и вlepил ему оплеуху. В глазах Симы замелькала звёздная пыль, и сам он зазвенел и полетел куда-то... но не долетел, упал на землю и больно ударился головой. Тракторист схватил его за ноги и оттащил в сторону. Сима сел, очухался, поднялся, догнал трактор снова и упал перед ним, раскинув руки и ноги.

Тракторист остановил трактор, выпрыгнул из кабины, поставил Симу стоймя, вцепился по морде и потащил за ноги. Сима полежал, сел, помотал головой и побежал догонять трактор...

– Кышка, тащцы вожжи! – приказал тракторист.

Кышка принёсся с вожжами, и тракторист, подтащив Симу к берёзе, начал его привязывать.

– А зачем вожжи-то? – со злостью спросил Сима. – Себя запрягаете, чтоб дизель свой таскать?

– Тебя не спросили, – буркнул тракторист, обвязывая вожжи вокруг берёзы вместе с Симой.

– Для конной тяги, чтоб вытаскивала... Если завязнем где, – простодушно объяснил Кышка. – То ись, мы со своими вожжами...

– Вы зачем, козлы, поляну пашете? А? Вр-раги нар-рода!.. Враги рабоче-крестьянского сословия! Шпионы! Фашисты! Козлы! Урки! Бляди! – зачастил Сима, осыпая плевками то Кышку, то квадратного тракториста.

– Сиди тут! Пой частушки «У матани под подолом бука чёрная живёт», – сказал тракторист и передвинул во рту цигарку. – Пошли, Кышка!

Трактор пахал, Кышка жрал печёную картошку, а Сима сидел, привязанный к берёзе, и, воспалённый невероятными действиями жизни, думал, что всё-таки надо уйти в партизаны. Или в армию. Пожалуй, лучше в армию. Там хоть будут кормить и одевать. Заодно и воевать научат.

– Эй, отвяжите меня! – крикнул он.

Подошёл Кышка и спросил:

– А ты больше под трактор бросаться не будешь?

– Трактор не танк, чо под него бросаться... Отвяжи меня!

Я в армию пошёл.

Кышка развязал вожжи, Сима подвигался, приводя в порядок взволнованное тело, встал и пошёл через леса и луга, минуя свою деревню.

В военкомат он заявился к вечеру, когда военком собирался домой.

– Ты кто такой? – спросил он Симу.

– Я – Серафим Сивцов из колхоза «Заветы Ильича», – ответил Сима и вытянул руки по швам. – Заберите меня в армию!

– Время наступит, и призовём. Кто тебе синяков наставил?

– Американский шпион, вторгшийся в наши владения под видом советского тракториста. Он начал пахать самую лучшую часть нашей Родины, а я лёг под гусеницы танка. Вот он и применил прикладство рук...

Военком внимательно посмотрел на Симу и тяжело вздохнул:

– Иди домой.

– Я в армию...

– Иди домой! – строго повторил военком.

– Л-ладно! – с обещанием произвести угрозу выдал Сима и пошёл домой.

Глава двадцатая

В чёрный, звёздный октябрьский вечер пошла по деревне с палкой Анисья-техничка.

– На собраннѐ! На собраннѐ! – объявляла она, постукивая по заборам и оконным рамам.

Падкий на всякую новость, народ повалил на собрание. В клубе слышался гам на все лады. На сцене за красным кумачом сидели Фадей Формович Никудышин и Леонид Данилыч Кунцев.

– Товарищи! Считаю экстренное собрание открытым! – возвестил Леонид Данилыч, когда в клубе натолкалось много народа и Граня Калягина закрыла дверь на крючок, чтоб народ не выпал обратно.

– Для ведения собрания предлагаю выбрать председателя и секретаря, – продолжил Леонид Данилыч и потрогал свой показательный висок, подкрашенный извѣсткой.

К сцене с тетрадкой в руках продвинулась Граня Калягина.

– Я предлагаю в председатели выдвинуть Леонида Данилыча Кун...цева, а секретарём учётчику Августу...

– А секретарём завклубельщицу Аграфену Калягину! – немедленно выкрикнул Аркаша Сохомин. – Августа не смогла измерить пахоту целинных земель, сбилась со счёта...

– Товарищи, кто «за»? – без всякого этикета перебил его Леонид Данилыч.

Все подняли руки, Леонид Данилыч и Граня Калягина – тоже.

– Единогласно! – сказал Леонид Данилыч и, опершись руками о стол, произнёс самое главное: – Слово для доклада имеет кладовщица Федосья Захаровна Кулебякина.

Из середины зала внушительно поднялась Федосья Захаровна и, наступая всем своим весом на народные ноги, поплыла к трибуне. На трибуне она развернула перед собой доклад и, в красных пятнах на лице от беспокойства, обратилась к народу:

– Товарищи! Мне выпала огромная честь донести до вас извещение разоблачительного характера и обратиться с призывом на борьбу с этим извещением.

Леонид Данилыч захлопал в ладоши, народ тоже захлопал. Захлопала и сама Федосья Захаровна, потом поправила доклад на трибуне, чтобы лежал прямо, и заговорила опять.

– В наших местах ни с того ни с сего появилась якобы некая существенность, непонятно в каком изложении. Прыгает и скачет по лесу, а также выбегает из леса на ток, где работает народ, товарищи! У этого существительного имеются в наличии две враждебных программы. Первая – пошатнуть нашу веру в атеистическое вероучение и засеять в наш мозг зачатки религиозного дурмана. Вот, мол, я спустилась с неба, и вы начнёте молиться. Ага, не тут-то было! Мы – дети пятилетних планов, и нам чужие расстройства не нужны. Нам свои по плечу! Вторая программа – отвлекчи от работы трудящийся народ, чтобы снизить производство нашей с вами

производительности. Не выйдет! А теперь послушайте моё ремюзе: поскольку у нас на токах и везде работает народ женского сословия, то непонятная существенность намерена произвести сомнение в женских сердцах и предотвратить движение в резервы всемделишной жизни. То ись в прямой матерьялизъм по завету Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Ничего не получится! Наша задача – выловить эту облезьяну и сдать в органы. Пушай снимут шкуру и посмотрят, что у неё внизу.

Народ загалдел, заголосил, возмущаясь, а больше веселясь:

– Кто видел-то эту существительную?

– Я самолично глазами видала! Вся в шерсте, то ли баран, то ли кошка!

– На той неделе на току тюриком каталось...

– Ручные часики в карман положила, гляжу – нету!.. Куды делись?

– В бане мылась, а оно в окошко глядело...

– Так, поди, Марья Ивановна...

– Ха-ха-ха!..

– Кто это посмел меня в сплетни приплести? За сплетню статья имеется!

– У матани под подолом бука чё-о-орная живёт...

– Капканы выставить надо, вот и всё. Делов-то!

– И матаня из-под по-ла ей карто-о-ошки достаё-о-от!

– Нихто не бегат. Леригиозны выдумки!

– Бегат! Бегат! Кверьху шшатиной...

– А спать приходит к Феньке Кулебясиной...

– Правда ли, чо ли?

– Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!

– Слишком смешно, чтобы быть правдой!

– Вопите и торкайтесь! Откроют!

– Куды торкаться?

– Куды ни пойди, везде закрыто.

– Зато клуб наш всегда открыт!

– У матани под подолом...

– Ха-ха-ха-ха!

– Ха-ха-ха!..

Фадей Формович толкнул Леонида Данилыча и хмуро спросил:

– Ты не знаешь, елань перепахали?

– Елань? – веселясь, посмотрел на него Леонид Данилыч. – А-а! Ела-нь!.. Нет, не перепахали. Про неё Пшебыш книгу написал. О-о-ой!.. Всем читать даёт. Я два раза читал. Там баба Коралла Мархамовна... Ооо-ой!.. Баба!.. Скажу тебе...

Фадей Формович не дослушал, поднялся из-за стола и протолкался к запасной двери, открыл её с крючка и вышел. Ночь дохнула на него терпкой, пьяной прохладой. В вершине тополя вокруг звёздного костра сидели ангелы, но Фадей Формович их не заметил. Слушая гул тракторов, поднимающих целину со всех сторон, он подумал:

«Вот и хорошо, что елань не перепахали. Они её ни в жизнь не перепашут, потому что там кочки. Когда скотину станет нечем кормить, мы с бабами пойдём эти кочки рубить. И будет не смешно, потому что это будет правдой...».

15 января 2009 – 18 октября 2010 гг.

д. Кузнецово, Тюменская область

МОКОШЬ

Роман



В ночь на Великодѣнный четверг Игнат Жвастиков пришёл в хлев с осиновым колом караулить ведьму. Овцы, сначала с глухим рокотом откатившись в угол при его появлении, успокоились, снова легли на соломенную подстилку, два летошних барашка, заметно подросшие к весне, затеяли битьё лбами.

– Ну-ка, шш! – кышкнул на них Игнат и одного чёрного, особо вертлявого, шабаркнул колом по рогам. Бараны унялись и присмирели, и в ночной тишине стало слышно, как по радио в клубе передают последние известия. Потом заиграла музыка – отдалённая, странная, от которой в душе Игната что-то сдвинулось и разлилось сиротской болью. Он взъерошил под собой сено, сел плотнее и, поставив кол между ног, вздохнул.

Ночь была голубая, чистая. В хлевном оконце мерцала луна, и при её свете овечьи глаза полыхали фиолетовым стеклом, как у Богородицы. Музыка смолкла. Заиграли гимн.

«Полночь», – лениво подумал Игнат. Он сомлел в тёплом сенном логове, привалился к стене и выронил кол.

«Чёртовы бабы!» – снова подумал Игнат, вспомнив свою жену Физку, вольно спавшую сейчас на широком диване и наверняка не думавшую, чем может кончиться встреча её молодого мужа с ведьмой в хлеве...

«Это потому, что она дура. Или меня дураком считает... Как я поразмыслю, много прав бабам государство наше дало. Если мужик уверует в нечистого духа, так его в стенгазете пропечатают, на месткоме обсудят, а ежели коммунист, то и из партии выгонят. А баб кто судит? Хотя бы Физку мою? Давно ли на комсомольских собраниях громче всех орала, отголоски патриархального строя клеймила, а, гляди, туда же – ведьма у неё овечек стрижёт!.. Да у них, может, от химических веществ шерсть на лбу повылазила! С Физки-то самой шерсть ползёт, сам в бане вижу... Сделай-ка заме-

чание, так обольёт кипятком! Бабы! Критики не понимают, а стало быть, находятся ещё на этапе начальной стадии развития...»

Игнат вспомнил, что ещё в позапрошлом году Физка вдруг заприметила, что кто-то ходит к ним в хлев в Великодённий четверг и состригает с овечек шерсть. Бегала по деревне, рассказывала о какой-то ведьме, которая неожиданно-негаданно объявилась вдруг на ферме Покровка совхоза «Луч коммунизма». Даже сочинила обличительную речь, исписав два тетрадных листка в клеточку, порываясь произнести её на комсомольском собрании, да благо, что собрание не состоялось из-за ограниченного контингента самих комсомольцев. Две девки, Светка Валуева и Алька Груздева, замуж вышли и обе уехали в свадебные путешествия по туристической путёвке, а Петька Швабрин в вытрезвитель попал – из комсомола по инерции выбыл.

Прошлой весной Физка снова обнаружила залысины на овечьих лбах, попёрлась с заявлением в местком, но там к ней проявили равнодушие, тогда она озлилась, замкнулась в себе и тоже выбыла из комсомола, заявив, что ей скоро тридцать лет и своё пребывание в рядах ВЛКСМ она и так просрочила. Ко всему прочему на своих воротах Физка карикатуру на себя усмотрела. Кто-то дёгтем весьма документально изобразил её образ, только в уши вместо серёжек по жестяному боталу привесил. Целый день Физка мыла ворота стиральным порошком, а Игнат наблюдал и улыбался:

– Бренчать меньше надо!

Летом овцы приходили с пастьбы в репейных шишках. Физка горевала, что ведьма шерсть отобрала. Игнат смеялся. Физка обозвала его изменщиком семейных устоев, за усмешки купила ему в автолавке брезентовые верхонки, себе же связала шерстяные рукавицы и скатала пимы. Когда родился Митька, то Физка ему из шерсти даже подгузник сплела. Игнат разгневался, обвинил Физку в хищении семейного бюджета и долго прорабатывал медицинскую

брошюру «Уход за ребёнком», пока наконец не убедился, что подгузники из овечьей шерсти мешают Митьке дышать. Наперерез убеждениям Физка купила Игнату ещё одни вер-хонки, а себе села вязать набедренную повязку, предохраняющую женщину от дурного глаза. Тут уж Игнат разгне-вался на ведьму, вытесал в мёрзлом осиннике кол, с которым и ушёл сегодня в хлев.

...Смолкло радио в клубе. Игнат слышал, как скрипнула там дверь, затем на всю деревню проверезжало железо – это заведующий клубом Игорь Глинов повернул ключ в замоч-ной скважине. Вот и сам пошёл куда-то...

«А куда? – сонно усмехнулся Игнат. – Живёт в клубе, в боковушке. Спал бы!.. И охота бродить, по сосулькам хру-пать?»

Сделал несколько шагов, остановился. Опять шагнул и снова встал...

«Мечтатель! – хмыкнул Игнат. – На небо глядит. Поди, на Луне самокат какой ищет!..» – Что-то кольнуло его в по-ясницу, Игнат пошарил рукой, нашёл дырку в стене, откуда сквозило стужей, и заткнул её сеном.

Луна поднялась прямо над оконцем, увязла в сизой ябло-невой вершине и, казалось, зацепив кружевом за крышу, тоже уснула, уронив синие огни. Звенькнула под стрехой ледяная игла, но не оборвалась, а повисла на соломинке и закачалась: «Клень-клен-клен». «Уф-фф!» – вздохнула за перегород-кой корова. «Цук-цук-цук!» – отозвалась в щели мышь. Чёр-ный клубок выкатился из угла и, развивая нитку, потерялся среди овец.

«Клад!» – догадался Игнат, пытался достать клубок но-гой, но нога спала.

«Физка клубки в хлеве прячет, подгузники, стерва, себе вяжет», – дымно проползло в его голове. «Клень-клен!» – дрогнула стеклянная соломина. И вдруг скрипнул снег. Иг-нат встрепенулся, спрятался глубже в сено и замер... Кто-то шёл из огорода. Медленно, шоркнув по снегу, отворились

воротца, шаги послышались ближе. Кто-то взялся за дверную скобу, тихо потянул её к себе. Ясно просквозил синий лунный проём, и в нём так же ясно очертилась чёрная женская фигура.

«Стой! Кто идёт?» – хотел гаркнуть Игнат, но язык одеревенел и не пошевелился. Фигура проплыла мимо – к овцам. Звякнули ножницы...

«Почему же они её не испугались-то?» – удивился Игнат, вспомнив, как овцы шарахнулись прочь при его появлении. «Да ведь это дух какой-то заявился!» – закрыл он от страха глаза, боясь даже перекреститься. Только и подумал: «Господи, уведи её! Не выдай, не то обнаружит и меня заодно острижёт...».

Фигура, позвякав ножницами, проплыла обратно к двери, космический взблеск полыхнул в фиолетовых овечьих глазах, дверь закрылась, прошуршали воротца...

– Стой! – вскочил Игнат, схватил кол и вынесся следом.

– Стой! – рявкнул он в огороде, проскакал по тропинке к дальней изгороди, посидел на ней верхом и, положив кол на плечи, поплёлся домой. Его тень обогнала его и так же с колом на плече пошагала впереди...

II

Весь день Физка водила в хлев баб глядеть на остриженные овечьи лбы. Сначала пришла её мать, тёща Игната – Матрёна Петровна, за нею пожаловала крёстная Дарья Уряпова, хлев также посетили Зоя-бухгалтер, соседка Надежда Ивановна, Анна Ильинична с оравой внучат, ветеринарный фельдшер Тамара и продавец Лидия Игнатьевна.

Матрёна Петровна посоветовала:

– На следующий год в Великодённый четверг повешайте на охлевные двери гасник от штанов. А потом все силименки, которые на него налипнут, иссеките топором. Вот уви-

дите, что та вражина, которая овечек стригёт, будет тут же лежать изрубленная.

– А где гасник взять? Кто нынче гасники носит? У всех трусы на резинке! – перебила Физка.

– Спряди и вдень в опушку своих трусов. Поносишь свои трусы с гасником. Мы ране носили и не куksились, – сердито ответила мать.

– Страшно соломину-то рубить. Человек ведь! – вздохнула Физка.

– Ничего! Я тебе для смелости вина продам, – вставила Лидия Игнатьевна. – Для субъективных действий у меня всегда вино припасено.

– А тому, кто через вредительство наживёт себе травму, я больничный листок оплачивать не стану. Поскольку травма бытовая! – сурово заявила Зоя-бухгалтер.

Надежда Ивановна молча прослушала бабий гвалт, ушла домой и приказала сыну Шурке немедленно вставить в свой хлев английский замок. Фельдшер Тамара обследовала всех овец, а заодно выхолостила обоих баранчиков, ещё вчера так ловко бившихся лбами. Анна Ильинична была её ассистентом при операции, за что Физка скормила её внучатам килограмм ирисок и споила банку мандаринового сока и уже поздно вечером, утомлённая суетой и раскисшая от всяких советов, села что-то снова вязать из шерсти, спутала петли и, бросив вязанье, вышла на улицу.

Таяло, пахло смородиной и силосом. Бушевал ручей, и луна всходила над деревней Покровкой, играя сквозь тучи золотым зеркалом. Физка стояла у ворот, вспомнила своё девичество, ефрейтора Игнашку Жвастикова, приехавшего на побывку с пограничной заставы, туманные его слова, железную пуговку на шинели, больно придавившую её нос при поцелуе, и ещё нечто туманное и болезненное до вскрика, о чём и вспоминать не хотелось. Потом Игнашка уехал и долго не приезжал, где-то путешествовал после армии и чего-то строил в своих путешествиях, кажется, пребывал на каком-то

острове Сингапае. Физка долго искала этот остров на карте Китая, а оказалось, что он был где-то в Тюменской области. Физка страшно разочаровалась в Игнашке и подумала: «Экое чучело! Даже в Китай не взяли на стройку, шатается в каком-то Сингапае, которого даже на политической карте мира не сыщешь, поди, уж все целки переломал сингапайским поварахам, чучело ненаедное!...».

Явившись обратно в Покровку, Игнашка, забыв о Физкиной девственности, которую похитил он, как дезертир, даже не снимая сапог и шинели, вдруг посватался не к Физке, а к Файке Кудесиной. Но в день сватовства Физка выколотила у Файки окошко, а потом ещё послала доплатное письмо со словами: «Отстань, булька! А он мне пусть заплатит за пролитую кровь, иначе мстить стану жестоко, пройдя путь от гинеколога до прокурора!...». Файка испугалась, а Игнашка женился на Физке, сметливо распознав в ней истинного борца за личное счастье. Но и к Файке, плечистой и синеокой, вожделенно влекло его...

– Кобель лысохвостый! – в сердцах сказала Физка. – Его, кобеля, наверное, и в хлеву не было. Конечно, не было! Поди, опять ухломыстал к своей краснотией! Каким был треплиной, таким и остался. Сколь живём, ни единого слова правды от него не слыхивала. А ещё рукавицы из шерсти требует!..

Для умирения крови, взбудораженной ревностью к мужу, она решила пройтись по улице. Однако её смутило какое-то изображение на воротах. Физка присмотрелась и увидела картинку – по воротам в шапке Игната, с колом на плече летел заяц... Физка послунявила палец, потёрла зайца и возмутилась:

– Дёгтем опять намазан! Чтоб тебя холера обгрызла! И кто это на наших воротах стенгазету надумал выпускать?

Игнат разглядывал в лупу фотографию марсианской горы Олимп, когда рассерженная Физка заявила с улицы и объявила ему о новой диверсии:

– Опять нам дёгтем ворота выкрасили! Теперь уже зайца

намалюкали – в твоём личном персонаже... Это не зря! Это ты вчера пластал к булке своей. Верно Надежда Ивановна мне говорила, что тебя в огороде ночью видела. В обход, видеть, чесал. Петли ставил. Страмина!..

– Я ведьму в огороде догонял, – рассеянно ответил Игнат, прищурился, поглядел в лупу одним глазом и завистливо вздохнул. – Подумать только, двадцать семь километров в вышину!

– Какую ведьму? Тебя и в хлеву сроду не было! – крикнула Физка. – Не ведьму, а бабу шваркал!..

– Вот так ба-а... гора-а! Двадцать семь километров в высоту и, поди, столь же в обхвате...

– Я больше дёготь с ворот смывать не намерена!

– Дёготь на наших воротах свидетельствует не о моей, а о твоей супружеской неверности, – обронил Игнат.

– Во-о... ка-ка! – задохнулась Физка.

– Вот такая кака! – Игнат отложил лупу и посмотрел на жену. – Представь, Анфисья, чтоб взойти на гору Олимп, надо семь раз сходить на центральную усадьбу нашего совхоза – в село Крестино. Вот уж точно, семь раз отмерь, а один раз взберись на Олимп. А Олимп на Марсе. Туда ещё долететь надо. Это маленькая планетёнка. Меньше, чем Земля. Значит, и кружится быстрее Земли. От большой скорости там дуют большие ветры... Оттого на Марсе и жизни нет. Все семена и микробы выдувает ветром в атмосферу. Всё ясно и просто.

Физка сняла кацавейку, в которой гуляла за воротами, и ушла в другую комнату писать заявление в сельсовет.

«Алле Савишне Напольской», – торжественно вывела она на тетрадном листке и, сильно волнуясь, съела конец шариковой ручки.

«Прошу рассмотреть времяпровождение тружеников фермы Покровка совхоза "Луч коммунизма", потому что, находясь в стороне от движения жизни, они стригут овечкам лбы по религиозным праздникам и на моих воротах занимаются

художественной самодеятельностью. К сему А. Жвастикова, член декретного отпуска».

Всю ночь Игнат разглядывал в лупу планету Марс, хмыканьями и восклицаниями приглашая Физку в свидетели своего удивления, но та мстительно что-то вытворяла с шерстью, спускала петли, рвала пряжу. Заревел Митька. Физка накормила его, уложила рядом с собой и, глядя на мерцающий розовым инеем бок луны, стала думать о горе Олимп, выросшей там до села Крестина...

III

Председатель сельсовета Алла Савишна Напольская, одинокая женщина с грустным взглядом, чрезвычайно внимательно прочитала Физкино заявление и сказала:

– В вашей деревне есть очаг культуры, в котором работает Игорь Иванович Глинов.

– Он не работает! – ответила Физка.

– Но для выявления творческих способностей у населения мы ему регулярно зарплату выдаём. Чем же он занимается, если не работает?

– Я теперь не интересуюсь действиями вашего очага культуры, – поджала губы Физка.

– Но, как активная комсомолка ещё в недавнем прошлом, вы могли бы проконтролировать работу Глинова.

– Я теперь с ребёнком сижу.

– С ребёнком мог бы и муж посидеть. Вот вчера, например. Был четверг, единый политдень в районе. А на вашем клубе, наверное, опять замок висел. Мог бы и сам Игнат Андреич заглянуть туда на огонёк. Что он-то делал после работы?

– В хлеву сидел, ведьму караулил, – сердито ответила Физка. Алла Савишна хотела улыбнуться, но сдержалась, не зная, шутит с нею Физка или нет.

– Третий год повадилась к нам ходить ведьма, стригёт овечкам лбы. Начисто шерсть отобрала...

– Товарищ Жвастикова! – перебила Алла Савишна. – Как вам не стыдно? Вы же комсомолка!

– Стыдно! – подхватила Физка. – В том-то и дело, что комсомолка, а ведьму поймать не могу. В хлев боюсь идти!

– Вы, наверное, разыгрываете меня, – наконец улыбнулась Алла Савишна. – Наверное, сценку из какого-нибудь спектакля репетируете? Сейчас ведь модно с начальством при помощи сценок общаться.

– Какие сценки! – взревела Физка. – Тут мужик дома не ночует...

– Вы же сказали, что он в хлеву спит с ведьмой.

– Ни в хлеву, ни дома. А я боюсь, что опять понесла...

– Хорошо, мы рассмотрим работу Игоря Глинова, – сказала Алла Савишна и встала, намекнув, что разговор окончен.

«Игорь Глинов...» – подумала она после ухода Физки, извлекла из стола тетрадь с алфавитом и раскрыла его на странице «г».

«Глинов Игорь Иванович, завклубом в деревне Покровке. Истина в вине», – значилось на странице. И позже, как помнила Алла Савишна, было приписано: «Алкоголик? Проверить!».

В Покровку она наезжала редко, сторонясь легкомысленных тамошних жителей, вносящих беспорядок в её пунктуальную жизнь.

«Они там все артисты. Вот и Жвастикова что-то отрепетировала в моём кабинете и отбыла с ухмылкой на устах. И Глинов... Истина в вине! Он постоянно твердит эту сказку, агитируя за пьянки».

Алла Савишна недолюбливала Глинова, давно поняв, что он не работает, а играет роль заведующего клубом. Недолюбливала ещё и за сны, в которых он снился ей с аккордеоном.

«Спившейся публике легче навязывать свои роли. Гамлета, например. Он ведь тоже на букву "г". Соратник Гамле-

та...» – невесело думала она, глядя на букву «г» и сравнивая её то с виселицей, то со столбом в фашистском концлагере.

– Тяжко жить человеку на белом свете среди таких букв! – вздохнула Алла Савишна, закрыла тетрадь и позвала секретаря Феню Арбузикову.

– Я поеду в Покровку, – сказала она.

– Когда?

– Сейчас. На обеденном автобусе.

– Зачем?

– Проверять работу Глинова.

– Алла Савишна! – со смехом всхлипнула Феня. – Проверяют работу того, кто работает. Лучше увольте Глинова, а клуб закройте на замок.

– Человека надо воспитывать.

– Чем? – всплакнула Феня.

– Проверками.

– Сколь волка ни проверь, он всё равно в клубе работать не станет. Убежит!

– Глинову бежать некуда со своей этажеркой трудовых книжек, – сурово ответила Алла Савишна.

Она надела поношенное, однако строго скроенное бордовое пальто, по-старушечьи замотнула шаль вокруг шеи и, сутулясь для солидности, вышла на сельсоветскую площадь, где тихо падал пасхальный снег. Подошёл автобус. Алла Савишна села на заднее сиденье и, глядя на весеннюю, заваленную мокрым снегом землю, забыла, зачем поехала в Покровку.

Игорь Глинов сидел за обширным красным столом и читал Блока. Шёл снег, и по всему клубу мерцал его порхающий отсвет. В печи догорало малиновое полено, под потолком, где поблёскивали аляповатые вензеля люстры, сонно реял еловый чад.

– В этот час и ты пришла к вечерне, свой торжественный, свой строгий сон храня! – поднял от книги голову и, мечта-

тельно заглядевшись на полено, промолвил Игорь, грохнул кулаком по столу и воскликнул:

– А что? Я бы обвенчался!

В этот миг продрожал и вздохнул сивый лоскут паутины, боязливо присели огонёчки в печи, ноги Игоря лизнуло стужей – значит, кто-то отворил дверь и вошёл в клуб с улицы. И верно, вся в снегу явилась Алла Савишна.

– Не думала, что застану вас на рабочем месте. Однако вы здесь, да ещё и в президиуме сидите, – сказала она, не здороваясь, и оглянулась на горящее полено. – Дрова есть?

– Нету! – обречённо вздохнул Игорь.

– Чем же вы топите?

– Новогоднюю ёлку дожигаю.

– А отопление не функционирует? У вас же есть ещё батареи...

– Батареи функционируют для декорации.

«Ты и сам тут для декорации, – подумала Алла Савишна. – О чём бы ещё его спросить? О работе... Но он же на рабочем месте находится. Даже книжку читает. Развивается... Как он мне надоел!»

– Смените лозунг над крылечком! – недовольно заметила она. Помолчала, надеясь, что Игорь ответит, но он тоже промолчал, и она продолжила:

– Кумач весь облинял. Не поймёшь, что и написано. Вместо римской цифры XXVII читается подзаборное слово... Раньше нам бы за это слово по десять лет дали.

«За что бы ещё его отчитать?»

– Кажется, вы не на своём месте сидите, Игорь Иванович!

– Виноват. В президиум меня никто не избирал, – ухмыльнулся Игорь.

– Я не о том, что вы забрались на сцену и сели за стол, покрытый красным материалом. Я о вашей работе. Вы завклубом или...

– Я – архитектор! – перебил Игорь.

«Бич ты, а не архитектор. Сидишь тут, сосёшь советскую власть, как волчец».

– Давайте, Игорь Иванович, будем работать! Нечего у печки греться. Давайте организуйте отдых тружеников фермы! Давайте братья за дело!

Игорь пошевелился в старом рассохшемся кресле, упрятал руки в косматые рукава тоже рассохшегося от ветхости овчинного полушубка и объявил:

– Давайте-ка обвенчаемся в церкви, Алла Савишна!

В глазах Аллы Савишны скрестились зелёные мечи, она поперхнулась и попятилась, но вспомнила, что Глинов всего лишь заведующий деревенским, осевшим в сугробах, клубишком, а она всё-таки председатель сельсовета, и остановилась.

– Ну, понесло, – пробурчала она сердито. – Взрослый человек, а...

– Я люблю вас! – воскликнул Игорь.

«Сниму с работы!» – только и подумала Алла Савишна, пятясь, выскользнула за дверь, пропала в снегопаде и долго куда-то шла, пока не пришла к высокому забору. На заборе было дёгтем нарисовано стадо килек, которое багом загоняла в свой дом продавец Лидия Игнатьевна. Снег повалил гуще, как тестом облепив и забор, и Лидию Игнатьевну с кильками. В тесте двинулась и Алла Савишна вдоль забора, припоминая, что же находится дальше, но так и не припомнила. Наконец выбралась к какому-то строению, перелезла через прясло и очутилась в каком-то саду. Потом увидела, что это и не сад вовсе, а колья, увешанные пряжей... Вокруг было глухо и бело, лишь тяжело валился сырой снег. Алла Савишна побрела наугад, запуталась в пряже, хотела закричать, да постеснялась и вдруг увидела избушку... Снимая с себя пряжу и раздвигая снежную завесь, она шибко толкнула дверь и окунулась в парное берёзовое тепло.

– Никак в баню угодила! – удивилась Алла Савишна

и тревожно оглянулась вокруг. На коптелых стенах висели чёсанные головки льна, пахло кострикой, горелым корьём, осенними полями. В кадучке с водой плавал узорчатый деревянный ковш, чёрная деревянная лепнина, сотворённая для басы, разрослась над оконницей. Алла Савишна потрогала, даже попыталась пошатать её и проворчала:

– Ишь, старину по баням припрятали, а в музей лишь гайки от чэтэзэ сдали... Посижу пока, отдышусь. Если застанут, скажу, что рейд провожу.

Она сняла пальто, повесила на гвоздь мокрую от снега шаль.

«Попариться бы!» – пронеслась в голове шалая думка.

– Можно и попариться! – сказала Алла Савишна и разболоклась донага, почерпнула в ковшик воды и с размаху шлёпнула его на горячую каменку. В бане белой тучей заворошился пар.

– Господи, благослови! – на всякий случай перекрестилась Алла Савишна и полезла на полок. В духовитой жаре, то и дело черпая ковшиком из кадучки, лихо оплёскивая водой калёные кирпичи, она не заметила, как тихонько отворилась дверь.

Кто-то вошёл и долго стоял, прихорашивая чёрные усы. Но, увидев на вешалке жакет со значком депутата, выполз обратно и заюлил меж кольев, жадно поедая на ходу снег...

IV

Без колокольного благовеста и святых куличей пришла ныне Пасха, да не пришла, а приковыляла по вешней распутице в деревушку Покровку. Хочешь не хочешь, а празднуй, потому что в поле не выедешь. Даже тракторы К-700, разбуровив до жёлтой крови дорогу, стоят у конторы.

Причесавшись и поклявшись в верности супруге Физке, Игнат Жвастиков направился в клуб потолковать с Игорем

Глиновым о космической энергии, будоражащей человека в определённые дни, когда человек то смеётся, то плачет, совсем не ведая о причинах своих смятений и хохота.

На двери клуба висел замок. Старший внучек Анны Ильиничны известил Игната, что заведующий клубом бродит в задумчивости по косогору.

– Беспольный человек! – сочувственно вздохнул Игнат. – Будто в Индии живёт. Там хоть климат позволяет нашему брату бродить в задумчивости...

Он вытянул сапог из расквашенного снега, постоял на одной ноге и пошёл в конец деревни с твёрдой решимостью навестить Прасковью Васильевну Фриулову – ткачиху и философку.

«Какие бабы у неё вышиты! Так нагишом все по стенам и ходят, на подушках сидят, развалились, закинув ногу на ногу, будто на заседании!!! И все, как одна, почему-то на Файку Кудесину похожи. С Файки, что ли, она их срисовывает?» – думал Игнат, скользя сапожищами по жёлтой грязи.

Чему, казалось бы, радоваться в Покровке в холодный весенний день? Вокруг кривые изгороди, как каракули. За изгородями на кучах прошлогодней картофельной ботвы сидят грачи. Зачем сидят? О чём думают? Дует холодный ветер с реки.

«Бриз! – гордо думает Игнат. – Ишь, зыбь на болотах развёл!»

Хлюпая по грязи, навстречу ему тащился ещё один внук Анны Ильиничны с портативным магнитофоном под мышкой. Поравнялся, вывалив на Игната: «Скало-ло-ла-лазка тты моя, скало-лла-лазочка!». Следом за парнишкой космыляла тёща Матрёна Петровна, несла из магазина сетку пряников и, видно, шибко маялась от ноши.

– Здорово, мать! – остановил её Игнат. – Чем недовольна?

– Всем! – сердито ответила Матрёна Петровна. – Дорогу-то разбонбили, разязви вас в парамышку! Хоть крылья прилеплай и летай, как енлё. Пряники вот ишо навязались!..

Напекут этих пряников и таскайся с ими... А ты это куда наметился?

– К Прасковье Васильевне на экскурсию.

– Она так и ждёт тебя, охломона с Магадана!

– Ну и блатная же ты стала...

– Телевизер научил. Анфиска-то дома?

– Дома. Куда ей деваться?

– А чо делает?

– Гасник ткёт.

– В Паску-то? Сдурела баба!

– В Пасху. А что? Пасха – елозящий праздник. То в мае, то в апреле приелозит. Да и Бога нету никакого!

– Чтоб вас холерой разбонбило! Чо за народ пошёл – ни в коммунизм, ни в Бога не верят! – совсем рассердилась Матрёна Петровна и, опрометчиво мазнув сеткой с пряниками по грязи, поковыляла прочь от дурашливого зятя.

– Хорошо! – не слушая её, провозгласил Игнат, глядя в розовую даль, где уже со всей силой двинулась искромётная водополица. Лениво пролежав в сугробах всю зиму, вдруг очнулся и, грозно мотая седой звериной гривой, заревел, зарокотал и повалил к реке овраг. Высокими звонами отдалось в туманном лиловом березняке-прясельнике петушиное го-лошение, воскресли напудренные ещё боязливими мелконькими серыми цветочками вербы.

Игнат шмыгнул носом, унюхал сдобный запах и отметил:

– Народец шаньги печёт! Разговляется! Шаньгами, мёдом, маслом! Разговляйся, разговляйся, пока не раскулачили снова! Эх, бля-мба-а!.. Житие, бля-ам!..

И так ему захотелось попробовать горячего хлебного мякиша, макнуть им в медовую сладость, пустившую изнутри хмельной золотистый пузырь.

– И всё-таки хорошо! – повторил он. – Хорошо жить и нечего тут в печальных размышлениях блудить по косогору, когда весь народ сидит и разговляется – кто блинами, кто «синеглазкой».

Дом Прасковьи Васильевны Фриуловой стоит на околице деревни. Чёрный, старый, обсаженный красноталом со всех сторон.

«Наверное, для здоровья, – думает Игнат. – Красная талина пользительна. Особенно хорошо веником из неё в бане попариться. Ломоту из костей выгоняет. Это ещё мой дед говорит».

В ограде растёт черёмуховый куст. «Молельный», – как называет его сама Прасковья Васильевна. Под кустом вкопаны столик, берёзовые пни. Тут она, пожалуй, с дорогими гостями пьёт чай и вино.

Колья во дворе и огороде увешаны пряжей. Пряжа отбеливается под солнцем и ветром, вбирая ночной шёпот и шорохи звёздного неба, взволнованно засматривается на неё Игнат, всё ему кажется, будто русалки распустили свои космы, а под космами – титьки тяжёлые, животы нагие...

Бурля по ручью, несущему из подворотни опилки и кострику, Игнат пришёл к знакомой просмолённой калитке с голубым почтовым ящиком, открыл, прислушался к весенним деревенским голосам – мычанию коров, кипению воды под горой, дальнему лесному гуденью, снял на крыльце сапоги и босиком переступил крашенный, накрытый узорным половиком порог.

– Христос воскрес! – объявил он и крепко стукнул дверью.

Прасковья Васильевна сидела за кросном, но не ткала, а осторожно рылась в нитях, что-то связывая в них и выискивая.

– Христос воскрес! – оглянулась она на Игната, не выпуская пойманного узелка из рук, и снова склонилась над ним, сращивая воедино алый шёлк с белым льном. К самым ногам, волнисто перебираясь к порогу, сползал холст. Игнат встал за плечом, посмотрел на холст и спросил:

– Что это вы ткёте? Когда бы к вам ни пришёл, вы всё что-то ткёте да вышиваете. Уж не замуж ли собираетесь?

Прасковья Васильевна засмеялась, но тут же досадливо вскрикнула, выпустив из рук узелок и снова вылавливая его из пряжи.

Потом связала узелок и внимательно посмотрела на Игната.

– А почему ты босой? – лукаво удивилась она. – Я слышала, жена тебе ни рукавиц, ни носков не вяжет. Погода сейчас самая вероломная, а ты босиком ходишь.

Игнат переступил с ноги на ногу и усмехнулся:

– Так ведь... бабы...

– Что бабы?

– Бабы – это... метафизика!

– Ишь ты, Паскаль! – усмехнулась Прасковья Васильевна, встала из-за кросна, и Игнат увидел на перели том к её ногам белом полотне золотой образ с алыми ягодами и витым чёрным, увязанным в сквозной и неделимый узор хмелем. Пока Прасковья Васильевна ходила в другую комнату, он наклонился, перебирая узловатыми грязными пальцами скользящий шёлк, стараясь прочесть узорное письмо лесного хмеля и ягод, нечаянно касаясь то золотого плеча, то золотой голени, увитой также чёрным листом, но уже южным, виноградным, прочёл весь образ и вспомнил, где же он видел его, когда же он ему снился?

Пришла Прасковья Васильевна, принесла моток шерсти, пытливо взглянула на Игната.

– Хороша-а! – вздохнул он, выпуская шёлк из рук. – Поди, богиня?

– Богиня, – кивнула головой Прасковья Васильевна.

– Дева Паллада?

– Нет, Мокошь.

– А-а! – сказал Игнат и хотел спросить что-нибудь о Мокоши, но постеснялся. «Коли Мокошь, значит, Мокошь, – подумал он. – Значит, так надо, чтоб во хмелю, в чёрном винограде она бродила по колену».

– А для чего вы её ткёте? – всё же спросил он.

– Да как же не ткать, коли она сама ходит и ткать заставляет! – опять лукаво воскликнула Прасковья Васильевна.

– Как ходит? Ну да, богини же ходят по земле...

– Ходят! – вздохнула Прасковья Васильевна. – Ходит Мокошь по дворам, по скотским загонам, отеребливая шерсть с коровьих боков, бросая пряжу в колодец у ленивых баб, стучит в окошки мотовилом, возносится над зелёной майской рожью и льёт золотые дожди из своих рукавов. Мокошь – дева, Мокошь – дива. Хранительница сельского люда. Что ещё тебе сказать о ней?

– Хорошо! – восхищённо отметил Игнат. – Сами, небось, сочинили?

– Нет. Не сама. Мне сочинять не дано. Другие сочиняют, а я запоминаю. Я тку, а другие про меня сочиняют. Так и живём – узор в узор. Чай пить будешь?

– Да как-то... как-то неудобно?

– Отчего же неудобно-то?

– Да я же босиком...

– Так, небось, чай-то не ногами пить будешь?

Смеясь, Прасковья Васильевна поставила на газовую плиту чайник, достала из шкафа фарфоровые чашки с золотистым и густым фиолетовым блеском на боках, звякнула серебряными ложками. Игнат прошёл, конфузливо пригладил перед зеркалом кудри, повесил у порога телогрейку и сел у стола, подобрав под себя ноги. Прасковья Васильевна наливала в хрустальную вазу тёмное варенье, быстро шурша фольговой обёрткой, извлекала из красочной упаковки чай. Глядя на её ловкий стан и быстрые руки, Игнат думал: «Дворянка! Как из сказки Пушкина. Или купеческая дочь. Бывшая, правда. Теперь уж не дочь, а внучка купца Калашникова. Кажется, она дочь священника... Поповна. Сидит поповна и в Пасху какую-то Мокрешь ткёт. Поп её за это заставил бы тыщу поклонов отбить или гимн Советского Союза наизусть выучить...».

– Чудно вы живёте! – сказал он, оглядывая стены, зана-

вешенные серым рядом. В ряду узорно набились чертополошья кусты, лазоревые льны, клубковатые зелёные ивы, леший с дудкой на болотной кочке. А вот вышивка, на которую и смотреть-то срамно, – голый мужик слился с деревом – у дерева бабьи волосы и титьки, обвивая бугристую мужичью спину всеми пятипалыми сучьями, оно похотливо орёт от сладости.

– Чудно живёте! – повторил Игнат, опутив глаза и глядя на свои безобразные ноги.

Прасковья Васильевна налила чай, пододвинула ему варенье, положила в блюдце поджаренный хлеб, села с чашкой напротив и спросила:

– Что же тут чудного-то?

– Да всё, – сказал Игнат. – Я понял, что вы... вы воспитываете человека красотой. Да?

– Я сама себя воспитываю красотой, Игнат, – ответила Прасковья Васильевна. – Красотой и памятью.

– Ну да. Красота спасёт мир. Так, кажется, сказано?

– Память спасёт мир.

– Да-а!..

Игнат отхлебнул чай, слегка обжёгся, робко положил варенье, оно оказалось вишнёвым, смешанным ещё с какой-то пахучей ягодой или листом, но сладко вязало во рту и холодило язык, после этого варенья, подумал Игнат, хорошо целоваться любовникам. «Интересно, может Файка Кудесина сварить или нет?» – мимоходом подумал он и снова взглянул на сползший шёлковый холст у красна, в складках которого в чёрных ветвях и листьях утопала золотая голень хранительницы сельского люда...

– А я считаю, что человека исправлять, да, исправлять, надо тьмой.

– Уже исправляли. Многие.

– Кто? – поднял голову Игнат, глядя на дрожащий огненный краснотал, куда смотрела и Прасковья Васильевна.

– Иероним Босх, – ответила она и вздохнула. – Только

не знаю, тьмой или огнём он исправлял. Знаю, что адом. А вообще-то тьмой. Света там мало, но много огня, пламени. Той тьмой, которую носит в себе сам человек, в своих самых низменных проявлениях. Жадность, глупость, похоть безмерная, зависть, ложь... Много он носит. Много! Человек ведь двояк. Светлый и тёмный. Так вот, тьму из него же его тьмой и изгонять надо. Думаю, в этом Босх был прав. Только мрачен он и... скучен. А жизнь – это радость.

– Да уж радость! – усмехнулся Игнат и пошевелил ногами.

– А что? Тебе разве жизнь в тягость?

– В тягость! Хы-хы! Говорят, вот цены взвинтят, так запоём от радости и веселья. Никогда ещё так подло не жили.

– Люди всегда одинаково жили. Только не помнят об этом. Вот уйдёшь от меня и забудешь вкус этого чая. А он, между прочим, на золотом корне настоян. Забудешь ведь?

– Нет, вас я не забуду! – сознался Игнат и опять подумал: «Где уж мне до тебя! Попова дочка. Поп-то, говорят, спился, как церковь Никита Хрущёв разрушил. А она чай с травками гоняет».

Солнце горело на золотисто-фиолетовых чашках, заливало огнём окна, двигало краснотал в палисаднике, и белая пряжа на кольях в ограде от него казалась жёлтой, пламенной. Пламенел и чертополох, пробив рядно на стене безудержным бордовым, почти чёрным своим цветом.

– А зачем вы чертополох повесили? – посмотрел на бордовые кусты Игнат.

Прасковья Васильевна потёрла виски и промолчала. Так же молча встала и начала убирать посуду.

– Чертополох, говорю, зачем повесили? – громче спросил Игнат.

– Чертополох у меня вон и в комнате растёт, – ответила она. – Пойди, посмотри.

Игнат опять покосился на свои босые ноги и, осторожно ступая по половикам, словно каждый узор обжигал и вплетал его в себя, прошёл в другую комнату, удивляясь уже не

чертополоху, растущему в большом глиняном горшке, а вышивкам, изображающим жизнь святых мучеников и святых героев. Особенно хорошо была вышита сцена битвы Георгия Победоносца со змием. Георгий на белом коне, с золотым копьём, устрашающий и испуганный... Змий побеждённый, с кровью, разбежавшейся из его раны по всему холсту, но яростный и одержимый. Малейший промах со стороны Георгия, и он вспрыгнет, повиснет на нём, и оба погибнут в схватке...

Подошла Прасковья Васильевна, встала рядом и начала объяснять что-то о чертополохе, о человеческом смятении, о ночной мгле, пустом доме, когда чертополох своей силой отгоняет злого духа... Игнат не слушал, любуясь змием и Георгием. Прасковья Васильевна заметила это и спросила:

– Нравится?

– Хорошо вышито... Выбито. Я не знаю. Тут бабы, пожалуй, хорошо разбираются. А у меня – что? Болты да винтики...

– Я не о том. Я о сюжете. Вообще о сюжете.

– О борьбе... О борьбе... Тут – сила! Страшен этот чёртов дракон. Я всегда удивлялся, зачем его в церкви вешают? И люди приходят, молятся. И ребяташек волокут с собой. Зачем? Чему тут молиться-то? Добру? Или злу?

– Ну-ка! Ну-ка! – повеселела Прасковья Васильевна, прошла, села на кушетку и с нескрываемым весёлым любопытством стала смотреть на Игната.

Он смутился и, отвернувшись от неё, начал глядеть на Георгия.

– Что же ты замолчал? – коварно улыбнулась Прасковья Васильевна. – Продолжай! О Георгии продолжай! Интерес-но!

– Я говорю, что Егорий... Георгий...

– Пусть Егорий!

– Егорий колет змея, но ведь ещё не заколол. Ведь у них ещё поединок. Змей-то повержен, но жив! Жив, мать его!

А оттого, что повержен, он, подлюка, зол вдвойне. Верно ведь? И не только зол, а подл. Ух, как он подл сейчас под копытами-то Гошкиного коня! Ой, Егорьева коня... Извините, я тут всё с гайками да болтиками. И, поди, змей-то тоже не лыком шит. Поди, Егорий-то с достойным врагом сражается. Не червяка дождевого колет, а противника умного и честолюбивого! Представьте, что сейчас в голове-то у змея кипит. У-ух, ки-ипит! Жуть берёт, как представишь. И всё это, говорю я, висит в церкви. Правда, почему он полуживой-то в церкви? Ведь не мёртвый ещё... Хоть и побеждённый, но не мёртвый. А мёртвый-то, издохший, ещё и смердить начнёт. Экий ихтизавра! Бр-р! Полуживо-ой, сволота поганая! В предсмертном хрипе запросто загрызть может. И загрызёт! Не только Егория, но и всех мирян, прихожан. Как со стены прыгнет и пойдёт ляскать зубами. Только хрупоток один останется. Падла! Сожрёт всех, а потом дань поползёт собирать, красивых девушек себе в любовницы требовать. Хорошо, Прасковья Васильевна, что вам уже не восемнадцать лет, а то он, гад волосатый, и вас бы в любовницы потребовал... Ха-ха!

Игнат провёл по волосам разгорячённой рукой, видно, уже мысленно побывавшей в рукопашном бою и со змием, и с Георгием, пока он говорил о них, и посмотрел на Прасковью Васильевну.

Она, откинувшись на спинку кушетки, беззвучно хохотала.

– Не понял юмора! – хмыкнул Игнат, оглядел себя, особенно брюки, всё ли там застёгнуто и прибрано? Нет, над его видом хохотать нечего. Наверное, смеётся над его страстной речью, в которой он героя назвал Гошкой. Так это из песни: «Вон Гошка летит, балагушинский атаман...».

– Прекрасно! – сказала Прасковья Васильевна, всё ещё смеясь. – Прекрасно!

– Что прекрасно? – не понял Игнат.

– Прекрасно сказано. Сколько говорят об этом поединке,

и всяк по-своему. Змей, Сатана!!! Георгий! Спаситель! Добро и зло! Кто кого победит? Да ведь это обыкновенная охота Георгия на змия! Есть же охота на волков, на медведей, на акул... Охота Георгия на змия. Так я назвала свою вышивку. Охотник и жертва. И какую только христианство не сплетёт философию. Твоя философия – тоже от христианского стереотипа. Да-да! Знаю, что не шибко ты верующий. Но философия – в христианском стиле. Надо же утратить человека! Ой, как страшно! Змей, красивые девушки... А ведь всё просто. Поехал Георгий в долину, встретил «ихтиозавру», кинулся на неё с копьём. Отчего вы на лис кидаетесь? Или рыбу ловите? Ведь вон из какой простоты можно сплести целый Страшный суд! Смешно!

Она пожалала плечами, встала, вышла на кухню и снова поставила на плиту чай.

– А у вас какая философия на этот счёт? – спросил Игнат. – У вас ведь тоже своя философия. Про-сто-та!..

– У меня философия язычницы! – ответила из кухни Прасковья Васильевна. – Язычники молятся одному – природе. И боятся тоже одного – её гнева.

– И идолов всяких ставят. Я учил по истории. Идолы у них стояли везде.

– Да ведь и у христиан иконы везде висят. Крест-то тоже ведь можно толковать по-всякому. Я считаю, что это лучи солнца. Надо быть очень внимательным, наблюдая мир. Смотри, как иногда стоит солнце. С крестом. И луна стоит с крестом. Крест – от неба, от солнца, луны. От жизни. Это Рим сделал из креста орудие казни. Ведь какой чудовищной безнравственностью надо обладать, чтобы из солнечных лучей орудие казни придумать!

– Вас сожгли бы в Средние века! – со смехом воскликнул Игнат.

– Сожгли бы! – согласилась Прасковья Васильевна и пригласила его: – Идём чай пить!

Но на этот раз она к чаю достала малиновое вино, кото-

рое так же опалило горло и язык пахучим холодом, брызнув острыми искорками во рту...

Игнату хотелось говорить, многое разузнать о ней, её прошлом, об отце, церкви. Но она молчала, больше слушая его, чем рассказывая сама, видно, ей было скучно с ним. И вино она не пила, только пробовала, скорее, слизывала его с края бокала. Игнат пил, тяжелел, веселел, говорил о своей давней армейской жизни, о путешествиях по Тюменскому Северу, по горам Токтогула.

Свет ручья играл на стене, дрожащие тени краснотала ходили по столу, по хрустальным бокалам, ощупывая их заснеженные узоры. Золотился шёлк, упавший с кросна и не подобранный, чёрный виноград становился дымно-жёлтым, узор, встревоженный тенью краснотала, дышал, вздыхал. Было солнечно, пасхально, чудно. Игнат допил вино, подошёл к полке с книгами, перебрал несколько из них и, жалея, что надо уходить, вздохнул:

– Почитать бы что-нибудь. Да я уже всё читал.

Он принялся переставлять книги, приговаривая:

– «Тихий Дон», Куприн, «Беседы при ясной луне», Есенин, это я уже читал.

– Возьми Есенина, – подсказала Прасковья Васильевна. – Прочитай его «Ключи Марии». Загадки вон возьми. Хороший сборник. Ленинградское академическое издание.

– Загадки можно, – вздохнул Игнат, недоверчиво разглядывая книжку с загадками, краем глаза увидел тусклый, с чёрными квадратами на корешке и, видимо, предназначенный для избранного читателя, фолиант...

– Бенедикт Спиноза, – прочёл он. – А этот про что пишет?

– Про любовь, – сказала Прасковья Васильевна.

– Тогда я возьму! – так же просто сказал он.

Уходил Игнат огородами. Ветер колыхал пряжу на колыях, и снова казалось: влюбчивые русалки размахались волосьями, зовут, манят к себе. Игнат минул баньку с осиновою

кровлей, выстоявшей за долгие годы до серебряного цвета, и вышел к ферме, где, прожрав снежную залежь и мотая рукавами, грязно-зеленюшным гадом полз навоз. И всё, что скопилось на ферме в постылой и тоскливой зимней работе, весь сор и срам убирался сейчас к реке.

«Душу в реке убили. Если б душа жила!.. Коли убили, значит, жила, – уныло думал Игнат. – А у леса? У леса тоже душа была...»

Перешагнув навозный ручей, он вытащил из-за пазухи том Бенедикта Спинозы, наугад раскрыл его, увидел какие-то чертежи, пролистнул страницу, другую, обиженно глядя всё на те же чертежи, и матюкнулся:

– Мать твою! Учебник по геометрии! Лучше бы «Ключи» Есенина взял!..

Но возвращаться уже не захотелось. Навозный гад совсем разъехался по снегу, утаскивая с собой грязный полиэтиленовый мешок, баллончик из-под дихлофоса, обрывок конской сбруи, скомканный красный лоскуток, видимо, вымпел, вручённый кому-то из доярок за ударный труд, дохлую крысу, подмётку от кирзового сапога...

– Жить не стоит! – объявил вдруг Игнат. – На земле говно, у Спинозы – не любовь, а геометрия.

И тут что-то сладостно обожгло его сердце, позвав уйти в лес по талому снегу, где в вечерней апрельской синеве перемигиваются огни. Откуда они? Может, кто-то наводит зеркала на землю... И не потому ли счастливо и тревожно от апрельской тоски, от лисьего зазыва и босых звериных следов...

V

Повеял слухок по деревне Покровке, будто завелась в здешних краях колдунья, кто-то видел, как парилась она в бане, стригла по ночам овец, у Надежды Ивановны ни с того

ни с сего заело первоклассный английский замок в хлеву, пришлось овечек и поросюшку вытаскивать через окошко, а когда вытащили, замок вдруг сам собой открылся. Кто-то рисовал карикатуры на воротах, и теперь уже не одна Физка Жвастикова отмывала их стиральным порошком. Капроновой мочалкой и мыльной водой сгоняла со своего забора косяк океанических рыб и колбасные колёса продавец Лидия Игнатьевна. В последний раз, когда её забор умалевали особенно интересно, в Покровку вдруг выехала проверочная группа районного банка. За группой заявился ревизор. За ревизором – в бобрах и тиграх – генерал райпотребсоюза... Проводив высоких гостей, Лидия Игнатьевна сдала телушку на мясокомбинат и похерила свой счёт в сберкассе. Об этом широко повествовала районная газета «Призыв». Поощрительно отозвались в газете о неизвестном революционере перестройки, шествующем с разоблачительной кистью по заборам и метко пятнающим дёгтем членов районной мафии. Попутно царапнули и Аллу Савишну, которая своим неведением о творческих ресурсах заставляет их бороться анонимно...

Прочитав газетное повествование, Алла Савишна достала из стола пол-литровую баночку валерьянки, отхлебнула и, захватив голову руками, замерла над столом.

- Феня! – немощно окликнула она секретаря сельсовета.
- А! – немедленно заглянула в кабинет Феня Арбузикова.
- Я поеду в Покровку.
- Зачем?
- Не знаю...

– Милая Алла Савишна, плюньте на всё! Плюньте и разотрите тряпочкой. Пойдите подышите воздухом. Вот черёмуха цветёт, птички чирикают. Жизнь прекрасна, Алла Савишна! – затараторила Феня, но Алла Савишна слабо махнула рукой, не мешай, мол, умственно перерабатывать события. Отпив ещё раз из баночки с валерьянкой, Алла Савишна всё-таки отправилась в Покровку.

Вечерело. Цвела черёмуха... Что бы ни творилось в жизни нашей, что бы ни рушилось в душе, повергаясь в геенну огненную или возносясь к вихрю горнему, сметая ледяную пыль с мрачного и страшного полюса планеты, что бы ни мешалось и ни сплеталось в нас, но вдруг остановишься перед белым черёмуховым кустом и сердце твоё обольётся смертной болью. Краток путь твой, и ты оборвёшься с земли... С кем же останется этот цвет, для кого вынет по весне нетленный плат свой, кого утешит кроткой красой своею?

И если сгубят его насильно, со зла ли, со скуки, то и могильный твой плач полетит от светила к светилу, и тогда кто скажет, что тебя нет во Вселенной?

Осыпав золотые дожди, улеглись в полях на ночлег майские грозы, лишь солнце стояло сбоку, обметав горячей нитью край фиолетового облака. В тёплом воздухе ткался красный столбец мошкары и кукушечий причёт стоял по лесам, над рекой, над чёрной осокой, над поляною, где весело цвели белые ветренки. И всё мигало и мигало вдали в дальнем небесном граде, поднявшем грозные зубчатые башни над тёмной озимой рожью, над цветущей черёмухой, поголубевшей в низине то ли от синей земли, то ли от фиолетовой тучи.

В задумчивости о своём существовании Алла Савишна вошла в клуб и изумлённо остановилась – перед нею существо в белом нательном белье гоняло шестом под потолком летучих мышей.

– Здравствуйте, – сказала Алла Савишна и стыдливо почувствовала, как дрогнул её голос. – Кто вы такой и чем занимаетесь в общественном месте?

– Я – Игорь Глинов, – смиренно ответило существо, опуская шест с белой тряпицей на конце.

– Что... во что вы одеты?

– Это рубаха, а это – бананы.

– Какие ещё бананы?

– Штаны. Хочу цирк устроить в Покровке. Дрессирую летучих мышей.

– Где вы их взяли? – спросила Алла Савишна и поморщилась: «Его надо распетрушить в официальном порядке, а я тары-бары развела, как девица красная».

– Они сами налетели на музыку Перголези. – Игорь поставил шест к стене и добавил: – Я хочу научить их чему-нибудь человеческому. Заодно и сам чему-нибудь научусь у них.

– Интересно, чему?

– Полёту, например.

Тут одна из мышей упала на белую блузку Аллы Савишны, она храбро сняла её и пересадила на бильярдный стол. Вторая мышь прицепилась к плечу Игоря.

– Славные твари, не правда ли? Носители ужаса, мистики, гонцы дьявола. Я их хочу в христианство обратить...

– Мне надо с вами поговорить, – резко перебила Алла Савишна. – И предупредить, чтобы вы готовились к отчёту о своей работе на исполкоме сельсовета.

– Я слушаю, – вздохнул Игорь и опустил руки по швам.

– Только не здесь. Эти птицы... мыши... Хотя бы паутину обмели! Кто убирает в клубе?

– Фаина Кудесина.

– Вы требуйте, чтоб она навела порядок! Не клуб, а кладбище! – разозлилась Алла Савишна. – Паутина, летучие птицы... крысы... мыши! Сам завклубом во всём белом, как покойник. Неудивительно, что в клуб никто не ходит. Где ваш кабинет?

– Вот мой кабинет. Пожалуйте!

Розовый от заката черёмуховый куст покоился за окном. Игорь немедленно разворошил его и, отломив ветку с пахучими вислыми цветами, подал Алле Савишне.

– Зачем? Не надо! Не надо! – испуганно и сердито отстранила она. – Комсомольцы на субботнике сажали, а вы ломаете? Как вам не стыдно?

– У вас чёрные глаза. Черёмуха вам к лицу! – улыбнулся Игорь.

– Уберите! – гневно приказала Алла Савишна, резко пододвинула стул к обшарпанному казённому столу и села, мельком взглянула на часы: «Обратный автобус через час. Ещё успею».

– В общем, так, Игорь Иванович, – властно начала она. – Вы не соответствуете своему роду занятий. Совершенно не занимаетесь культурно-массовой работой. И неудивительно, что в вашей деревне ворота дёгтем мажут, воруют...

– У нас нет воров, – прервал Игорь.

– Как нет? То овцу обреют, то нарисуют на прясле такое, что немедленно ревизоры выедут...

– И правильно сделают. Вон нашу драгоценную Лидию Игнатьевну только рисунками и разоблачили. Доворовалась!

– А кто разоблачил? Кто? Вот я как раз по этому вопросу и приехала сегодня, что у вас таланты беспризорные по деревне шляются! – Алла Савишна стукнула ладошкой по столу. – Почему вы не организуете в клубе выставку их карикатур? Подумать только, рисунок дёгтем! Углём есть, акварелью есть, а дёгтем... Даже сам Репин не мог до такого додуматься! У вас проживает художник, рисующий дёгтем по дереву, а вы не обращаете на него никакого внимания...

– Да кто рисует-то? – досадно спросил Игорь. – Поди поймай его! Так он и дался в руки. На Руси всю жизнь ворота дёгтем мажут, а никого ещё не поймали.

– Поймайте! Вы за это зарплату получаете...

– Я не сыщик! – крикнул Игорь и грянул кулаком по столу.

– Тогда, значит, вы мажете! – крикнула и Алла Савишна.

– Я?

Игорь побелел лицом, в глазах пробежала мутная жёлтая искра. Алла Савишна сцепила дрожащие руки и покосилась на летучую мышь, сидящую на его плече.

«Всё-таки я народная избранница. Надо бы поделикатнее с народом...» – подумала она и глухо продолжила:

– Я не настаиваю, что именно мажете вы в собственно-

ручном варианте. Я страдаю от невыявленного творчества того, кто мажет... рисует. Ведь он весь свой талант размажет по заборам и под забором же умрёт непризнанным.

– Пусть не умирает под забором. Пусть в клуб умирать идёт. Места хватит, – глядя на белоснежную блузку Аллы Савишны, ответил Игорь. По блузке ползла божья коровка, и Игорь подумал: «У неё – коровка, у меня – летучая мышь. Если скрестить божью коровку с летучей мышью, то получится мышь в крапинку».

– Среди вас живёт Прасковья Васильевна Фриулова. Гобелены ткёт, – раздражённо сказала Алла Савишна. «Что он на меня так уставился? Что он на мне такое усмотрел? Поди, клопа?! Райисполкомовцы диван свой списали из-за клопов, привезли и к нам поставили», – подумала она, покраснела и понесла дальше:

– Гобелены ткёт. Одна. В непризнанности. Надо бы её жизнь организовать...

– Как я буду вторгаться в чью-то жизнь? – искренне возмутился Игорь. – Что ещё можно организовать в чьей-то жизни после того, когда человек организовал её сам? Это всё равно, что подсказывать птице, как вить гнездо! Это Прасковье Васильевне надо организовывать нашу с вами жизнь. Это мы с вами не знаем, чем занимаемся.

Игорь вскочил с места, отлепил летучую мышь и, держа её перед собой, стал разглядывать.

– А знаете что? – вдруг весело посмотрел он в глаза Аллы Савишны. – Я почти на всех самолётах летал. На лайнерах, на планере... Даже на мыльном пузыре! А вот на своих крыльях не летал ни разу! Сделаю я себе крылья!

Он подбросил мышь к потолку.

– Перепончатые, из зонтиков. Влезу на трубу колхозной кочегарки, понесусь оттуда и принесусь на исполком сельсовета...

– Не вздумайте этого делать! – с ненавистью оборвала Алла Савишна.

– Почему?

– Не позорьте меня!

– Почему это я вас опозорю? Кто я для вас такой и кто вы для меня такая, чтобы я мог опозорить вас?

Игорь подошёл к Алле Савишне и вдруг обнял её.

– Как... кто... Вы! Я – председатель... – яростно шепнула она.

– Вы – женщина, а я – мужчина! – Игорь наклонился и медленно поцеловал её.

«Что это! Откуда я?..» – путаным огнём понеслось в голове Аллы Савишны. Она опомнилась, оттолкнула Игоря и побежала из клуба, захватив лицо дрожащими руками и боясь, как бы кто не увидел её сейчас такую. Но возле клуба никого не было, лишь следом спешил Игорь. Он молча поймал её руку, увлёк в мокрую пахучую зелень и снова поцеловал. Земля хлынула из-под ног Аллы Савишны, ей стало сладко и душно. Показалось, что она летит на планере, проваливаясь в воздушные ямы, и, давясь, захлёбываясь, ест горячую дыню, и чем больше ест, тем больше хочется колючей сладости, так бесстыдно и жадно разразившейся в её теле...

«Не хочу!.. Плохо мне!..» – хотела она крикнуть, но не крикнула, лишь простонала и с ненавистью отпихнула от себя Игоря, опалив его зловещим:

– Нет!

Не оглядываясь и ничего не видя перед собой, она выбралась из душной, огненно жалающей зелени, так и не поняв – что же такое произошло?

Подошёл автобус. К её счастью, он оказался пуст. Алла Савишна села на заднее сиденье и закрыла глаза...

«Скорей же! Да скорей же! – мысленно торопила она шофёра. – Надо выезжать отсюда, пока моральный облик совсем не потеряла».

Автобус тронулся, въехал в лес. Сучья придорожных берёз царапнули крышу. Совсем близко, сквозь листву, просечённую красным рисунком, чудотворно явился закат, и посреди

его пламени одинокий черёмуховый куст покрылся вычурной чернотой. По автобусу полетели мутные позлащённые лесные тени. Алла Савишна посмотрела в боковое окно и в красноватом его глянце увидела себя – призрачную, облачённую в золотистую фольгу, со светлой пылью вокруг головы.

«Что это со мной такое? Куда это я еду? Зачем? Хорошо-то как мне!...» – безумно думала она, не зная, куда девать дрожащие руки.

Приехав в Крестино, она пошла не домой, а в сельсовет, хотя было уже поздно, дали темнели, в лугах бродил зеркальный блеск реки. Утешаясь, что займётся разбором деловых бумаг и писем, Алла Савишна взяла тетрадку с алфавитом, торопливо, сминая страницы, пролистнула её и добралась до буквы «Г».

«Глинов Игорь Иванович. Завклубом в Покровке. Истина в вине. Алкоголик? Проверить!»

Она закрыла глаза, откинулась на спинку стула и долго сидела так, вспоминая сладкий поцелуй... Ах, как он безжалостно вторгся в неё своим языком, понёс её на планере, всосавшись в неё... Потом Алла Савишна взяла красный карандаш и наискось по написанному пробежала крупными буквами: «Проверено. Спиртным не пахнет. Пахнет воском, как от покойника».

VI

Тёплой лунной ночью Игнат пахал паровое поле. Покачиваясь в кисейном тумане, К-700 двигался от леса до леса, и к полуночи в плаванье по пашне Игнат начал подрёмывать.

«Надо прохладиться, а то усну, – решил он. – Ко всему прочему пожрать пора».

Он остановил трактор у берёзового колка, вызволил из-под сиденья целлофановый пакет с едой и вылез из каби-

ны. В поле было светло, призрачно, дивно. На травах словно лежал толчённый хрустальный песок, в тишине что-то пело, карабкалось, цокало. Вот далеко-далеко, видать, в Крестино, прокричал петух, сонно прогудел в неведомых высях самолёт. Сомлев от съеденного сала с хлебом, яиц, чесночного домашнего зельца и гороховых пирогов, Игнат повалился навзничь и блаженно растянулся в не остывшей ещё траве. «Сосну часик, а там поеду», – подумал он, громко зевнул и вдруг краем глаза усмотрел какое-то шевеление в поле. Он поднял голову, медленно сел, приглядываясь и гадая, что это может быть. По пашне кто-то шёл. Даже не шёл, а плыл, двигаясь к нему по лунной зерни. Игнат привстал и понял, что идёт женщина.

– Кто ещё такая? – встревожился он. Вспомнилась ведьма в хлеву, покорность овец перед нею, дзеньканье ножниц... Ледяное шильце ткнулось в сердце. Игнат попятился от трактора и припал за берёзовый комель.

«Баба!» – тоскливо подумал он и покаялся, что не носит на себе нательного креста. Между тем чёрная баба подошла совсем близко, остановилась у трактора, даже зачем-то потрогала его.

«И на тракторе надо бы крестик нарисовать!» – подумал Игнат и поглубже зарылся в траву. Баба высоко подняла голову, явно приносиваясь к человеческому духу, и посмотрела туда, где он прятался.

«Дурак! Чеснока нажрался!» – совсем уже обречённо полыхнуло в мозгу, и он торопливо сжевал листок борщевика, однако баба повернула от трактора и устремилась обратно, волоча по пашне чёрный подол.

– Ну-ка, ну-ка! – весело зазнобило его, он вскочил и помчался за нею, шарахаясь от берёзы к берёзе, прячась в тени, пробежал краем поля и в лесу вдруг бабу потерял... Тихо шевелилась листва, вздыхала болотная вода в кустах, на елани из-под ног Игната поднялся чибис и заверещал, залетал над ним...

Где же баба? Игнат огляделся – нет бабы! Вон уж и огородные прясла показались вдали, тускло засиял чугунок на голове огородного пугала, заблелла овца... В лунной мгле что-то двигалось, тёмным клубком катилось возле прясел. Перекатилось в огород, скралось в тени, на миг заслонило блеск чугунок на пугале и отшатнулось в сторону. Игнат пустился туда, перемахнул в огород, тоже канул в тень, отдышался, выглянул из-за угла и узнал подворье Файки Кудесиной.

– Кинофильм на батожке! – весело произнёс он и осёкся. Чёрная баба стояла у Файкиного дома, приложившись ухом к стене.

«Слушает!» – подумал Игнат, тихонько обошёл дом с другой стороны и тоже затаился. В сухом бревне, как в подземелье, он вдруг уловил шорох далёкой листвы, весенний птичий таратор, гудение ветра... Вот просквозил звенящий шелест, наверное, мизгирь протащил свою нитку, вот в подкорье развернул своё тельце древоточец, зашептала, зашуршала бисерно-муравьиная тропинка, кокнул дятел в сухой ствол, а может быть, лопнула в бревне какая-то древняя струна или отлетела от умершей гусеницы её душа-бабочка и полетела в райскую луговую синь, пересаживаясь с цветка на цветок, легко творя свой узорный полёт, затеянный для чего-то Божьим замыслом... Но вот неожиданно гроыхнуло по дереву, разлилось гулом, и каждый сучочек, каждая жилка в листке разобрали его по серебряной паутинке... И снова покатился гром – грубый, глухой. Это обухом топора опробовали – крепко ли дерево? Крепко оно! И завыла, противно заголосила пила, пробуксовывая в гуще сырых и вязких опилок, прорывая губительную пропасть между кроной и корнем, разъединяя отца и сына, выветривая тепло домашнего очага. Лопнула последняя ткань, будто высадили бревном оконную раму, и медленно стало отходить дерево от небесной воли, подминая всё на своём пути к могиле, и легло в ней, грузно опершись на сломанные кости...

Игнат очнулся, тяжело вздохнул, снова обошёл дом и заглянул во двор. Бабы в чёрном не было. Игнат пожал плечами, потрогал волосы на голове и, воровато оглядевшись, тихонько брякнул в тёмное окошко. Постоял и снова брякнул.

– Кто там? – послышался сонный сердитый голос.

– Фаина, это я...

– Кто ты?

– Игнат Жвастиков.

– Чо тебе?

– Открой-ка!

– Ишь, чо!

– Открой, дура!

– Сам дурак!

– Беда, Файка!

– Сгибай боле! Беда! На свету к одинокой бабе торкаться!

Однако скрипнула дверь, Файка прошлёпала босиком в сенях, двинула щеколду и, растрёпанная, в длинной белой рубашке, предстала перед Игнатом.

– Ведьма тут бродит, – быстро зашептал он. – Поди, в хлеву овечек стрижёт...

– Какая ведьма?

– Откуда я знаю! Сейчас пахал у Грачинника, сел поужинать, гляжу, по полю баба идёт. И прямо ко мне. На ней не то платье, не то сермяга, полами до земли тащится...

– Сгибай боле! Кто нонче в сермягах ходит? Плащ, небось?

– Ну, плащ. Откуда я знаю! Ночь ведь, не всё усмотришь. Видел, что в чёрное одета. Я спрятался за берёзу, а она постояла у трактора и пошла в деревню. Я за ней! Выследил – к тебе зашла. Только что у стены что-то слушала, ухом прильнула. Я пока с другой стороны слушал, она спряталась где-то. Пелядь буду – ведьма! Сама посуды, кто из баб в полночь по полям станет шататься?

– Правда, чо ли?

– А то! Трактор оставил в колке, прибежал за ней...

– Ой, Игнашка, холера тебя задави, напужал ты меня! – зашептала Файка.

– Зажигай фонарь, пошли в хлев! – приказал Игнат.

– Убей, не пойду. Поди, бандюга какой сидит там. Сейчас, после амнистии-то, шибко не сунешься в хлев. Не пойду!

– Тогда я один пойду!

– И ты не ходи! Шабаркнет гайкой по голове, чо тогда скажешь? Не пуцу! Заходи в дом! Ой, страсти-то! Милицию ведь вызывать надо...

Файка дёрнула Игната за рукав, протащила в сени, с гроханьем провезла по железным скобам щеколду, а сама, не дыша, поднялась на цыпочки и начала смотреть в наддверное оконце.

– Месячно-то как! Вот-вот зориться начнёт... Никого не видно. Где-то притаилась или ушла. Слышь, Игнашка?

Игнат неловко переминался с ноги на ногу и хмыкнул.

– Чудеса! Знала бы Физка, что я сейчас у тебя скрываюсь. Она ведь ревнует меня к тебе...

– Ревность – это нервная система. Надо димидролу попить, и всё пройдёт.

Файка задёрнула над оконцем занавеску и, ёжась от прохлады, посеменила в дом.

– Заходи! – позвала она Игната.

Он прошёл следом, остановился, кашлянул.

– Что делать-то? – спросил он. – На мне сапоги грязные.

– Сымай!

Файка шмыгнула в горенку, что-то тяжело там передвинула, послышалось, как взвизгнула пружина дивана.

– Что делаешь-то? – охрипшим голосом спросил Игнат.

– Постелю стелю.

– Кому?

– Тебе, кому ещё!

– Мне в поле надо. Трактор там.

– Скажешь, изломался трактор. Поспишь да задами уй-

дѣшь. Ложись вот на диван. Куда сейчас сунешься? Домой? Скажешь, за ведьмой причехвостил? Физка покажет тебе ведьму, что верёвочку намылишь. Ложись! В поле пока не пушу. Мало ли, кто там сейчас шарится. Трактор-то не укатят.

– Оно, конечно, – снова пошевелил взмокшие волосы Игнат.

Он снял сапоги, разделся и, помявшись у порога, прошёл в горенку. Файка уже лежала на своей кровати, отвернувшись к стене и плотно обнимая какой-то тусклый предмет. Игнат подумал, что это транзисторный приёмник, и простодушно спросил:

– С музыкой спишь?

– С какой музыкой? – настороженно и недовольно отозвалась Файка.

– А что это у тебя?

– Утюг.

– Прогреваешься, что ли?

– На случай охраны. Полезешь, так бацкну!

– Хы! Полезу... С чего это я полезу? – обиженно шмыркнул носом Игнат и тихонько улѣгся на диван. Одна из пружинок всё-таки не выдержала – пискнула. Игнат мысленно обматерил её и стал смотреть в потолок.

– Фаина! – негромко позвал он. – Ты спишь?

– Сплю. Чо тебе?

– Так.

– Спи и ты. Не липни ко мне.

– Я не липну. Я так. Слышь, Фая?

– Ну!

– Давай хоть поцелуемся. Чтоб не зря про нас болтали. А? Уж страдать, так за дело.

– Про нас никто и не болтает, кроме твоей любезной расписницы! – злорадно проговорила Файка и колыхнула кровать. – Ох и досадно же мне с ней жить на одной планете...

– А ты не живи на планете. Улети в шестимерное пространство, – уныло сказал Игнат и вздохнул. – Охо-хо! Беда с вами и с нами. Не живѣм, а маемся.

Он замолчал. Молчала и Файка.

– Давай хоть поцелуемся! А, Файша, – с безнадёжной мольбой простонал Игнат.

– Чо ты меня зовёшь, как еврейку. Я не Файша, не Мойша...

– Ну, Фая...

– Спи!

– Рад бы, да не спится. Жара у тебя тут. Печь топишь? А? Не топишь печку-то? Хм! От тебя жара. Спишь? Не спишь ведь!

– До чего же вы, мужики, бессовестные! – проскрипела Файка кроватью. – Чисто каратели. Я с открытым сердцем пустила тебя ночевать, от смерти спасла, а ты...

– Что я?

– Лежишь вот и просишь у меня...

– Во дура! – вспыхнул Игнат и тоже скрипнул диваном, одна из пружин завyla, вытьё проехало от затылка и оставилось где-то в пятках. – Ну и ду-ура! Да я... Как парень с девкой! Поцеловались бы разок. Ну и что тут такого?

– И-ишь! Целоваться ему приспичило. С чужой бабой посередь ночи...

– Да ты ведь ничья. Чужая нашлась! Одна-разъедина, стало быть, ничья.

– Коль ничья, то и не твоя! – огрызнулась Файка и, твёрже прижав к наливной груди утюг, уткнулась в стену.

– Дура, – продолжал Игнат. – Кто со своей бабой по ночам целуется? Посередь ночи только с чужими бабами и целуются.

Он замолчал и тоже отвернулся к стене, накрывшись с головой одеялом, чтобы не слышать шевеления тяжёлого Файкиного тела. Стена опалила его лицо, что-то в ней потрескивало и колелось, словно топилась маленькая печурка, Игнату послышался и шумливый, глубинный говор огня. Он закрыл глаза, теснее привалился к стене и почувствовал, как она стала совсем горячей, в ней прорезалась узкая щель,

и Игнат, прильнув к щели, сквозь крапиву стал высматривать то место, где горела печурка... Но уже не печурка, а большой и жаркий костёр полыхал за стеной. У костра в ярких красных шелках сидит рыжая баба и ткёт холсты. Быстрым щучьим лётom скользит в её руках челнок, и холст, густо набрав в себя звёзды, кресты и ещё какие-то знаки, сползает на землю...

Игнат гол, крапива жжёт его тело. Он крадётся вдоль стены, чтоб найти щель пошире, и видит, что это уже не стена, а забор, и он сам, волосатый, взрослый, сбежал с уроков и подглядывает за бабой...

Баба развязывает на себе шелка и тоже остаётся голой. Крапива мучительно, до сладостной ломоты жалит Игната, по пояс осыпает его мелкими занозами...

– Что ты делаешь? – кричит Игнат...

Не переставая мелькать челноком, баба оборачивается и отвечает:

– Сор с земли вылавливаю!

Налетает ветер, весело выюжит лесной багрянец, летят листья. Один листок прилипает к голому Игнату, он снимает его и видит, как среди золотых крапинок и прожилий дымчато угадывается смеющийся женский лик. Влажная горячая крапива вьётся в ногах, поднимается всё выше, тесно облепляя голени, живот. Игнату сладко и боязно, как в отрочестве, он истоиво вжимается в крапиву, всё глубже и глубже, силясь достать своей яростно выгравшейся плотью её полыхающее уходящее дно, злится и, сбросив семя, просыпается.

«Файка! – ударило кровью в голову. – Файка жалила!...»

Малиновое утреннее пламя разлилось по горнице, в сирени за окошком бойко чирикали воробьи. Игнат порывисто сел, увидел Файкину кровать под тюлевой накидкой, лакированный малиновый фикус, понял, что Файки давно в горнице нет, и обиженно матюкнулся:

– Мать твою!.. До чего довела, сучка! С крапивой согрешил...

Он вскочил, подобрал с табурета комбинезон, и, кое-как одевшись, горбясь и приседая, вылез во двор, и, прячась за пряслами, задами побежал в поле.

Трактор одиноко стоял у берёзовой чащечки. Пустой целлофановый пакет валялся в борозде, а недоеденный хлеб уже разворовали мыши и пташки. Игнат влез в кабину, включил зажигание – двигатель молчал.

– Заявочки! – удивился Игнат, вылез из трактора и замер: обуглив непаханный пласт земли, под трактором чернела мазутная равнина. Кто-то сцедил горячее...

VII

Когда Феня Арбузикова сообщила, что супруги Жвастиковы приблизились к семейной катастрофе, Алла Савишна обрадованно засобирилась в Покровку.

– Анфисья требует развода. Уличила Игната в неверности. Говорит, что все покровские младенцы похожи на её сына Митьку, то есть выходят ему братья и сёстры. В таком резюме – они все Игнашкиного приплода, – доложила Феня и вдруг лукаво замолкла, заметив, как Алла Савишна глядится в карманное зеркальце, чернит брови и совсем не слушает её.

«Батюшки, никак Алла-то Савишна с кем зашмарила!» – удивилась Феня и сильно обиделась, что вот-де Алла Савишна с кем-то гуляет, а она, Феня Арбузикова, и не знает.

– Я тоже поеду! – заявила она. – Совсем тут засиделась...

– Зачем? – испуганно остановила её Алла Савишна.

– А вам зачем? – не растерялась Феня.

– Мне положено. На территории нашего сельского Совета рушится семья, а я буду сидеть сложа руки? Нет, Феня, ты не поедешь! – сурово запротестовала Алла Савишна. – Зачем?

– Помогу вам...

– Вот и помогай. Оставайся тут. Народ в совет пойдёт, а совет на замке. И председатель, и секретарь выедут. Вся деревня, как на пожар, сбежится. У Жвастикových семейная тайна, а мы разгласим.

– Хороша тайна! Мне вчера в магазине Любка-Уздрылиха сказала, что Игнашка Жвастикov изменяет своей Физке на все сто процентов, убегает по ночам к Файке Кудесиной. В магазине стояла Нюрка Брюханова, шлёпнула руками и захохотала, мол, проснулись! Да Физке Жвастиковой ещё зимой ворота дётгем вымазали, она ведь не девкой Игнашке-то досталась, вот и мажут по сию пору. Иной сразу бы бросил, а этот, дурак, гляди-ко, до лета с ней дожил. Тайна! Это вы, Алла Савишна, как я наблюдаю, тайны любите...

– Нет, Феня, останешься в совете! – твёрдо сказала Алла Савишна.

Феня вовсе обиделась, сердито двинула стул и начала смотреть в окошко. «С чего ради зачастила в Покровку? То шагу не шагнёт, бывало, туда, а сейчас из-за Покровки расшибётся вдребезги. Мирить Игнашку с Физкой поехала! Так они тебя и послушались! Примиренщица выискалась! – ехидно подумала она, учуяла запах духов, пожала плечами. – Надо же! Духами начала брызгаться на старости лет! Кого это она завлекла в Покровке-то?»

Феня начала припоминать тамошних мужиков, загибая пальцы на левой руке.

«Антоша Горынин – пьяница, Мишка Шаев – пьяница. Витька Кашин ходит, дороги не видит, лбом колею скребёт. Тракторист Уряпов – передовик, хапуга. Этому не до любви. До ветру сходит и то оглянется – нельзя ли выхлебать? Гордей Палыч Федотов – ветеран войны, старик. Недавно со своей Дуней золотую свадьбу справили, на свадьбе-то, говорят, челюсть потерял, до сих пор найти не может. Поди, сам Игнашка! Так ведь он моложе её лет на пятнадцать... Сболтанный, несуразный. А Алла Савишна руку председателя профсоюзного комитета Вячеслава Васильевича Поле-

телова отклонила. Заместитель редактора газеты "Призыв" товарищ Чернобрюхов ухлястывал тоже, всё с розами ездил, интервью брал. И этот не угодил. И роз не брала, и интервью не давала. Красится ведь для кого-то».

Феня вздохнула, оглянулась на Аллу Савишну.

«А может, пример подаёт, какой должна быть жена ухоженной, чтоб мужу нравиться до гробовой доски. У неё на уме, как в погребке. Темно и глухо».

Но Алла Савишна не поехала – пошла пешком. Автобус должен прийти через три часа, так долго она ждать не могла. Шла, торопилась в Покровку пешком через летний весёлый лес, спотыкалась, злилась, что идёт-идёт, а лес всё не кончается. Рой комаров сопровождал Аллу Савишну в пути, и как она ни оберегала белую кофту, всё-таки опрометчиво озеленила её, когда обмахивалась свежими берёзовыми ветками. Ещё ногу натёрла, на подходе в Покровку захромала и чуть не заплакала, когда подкосился и обломился на туфле каблук. Чтобы не оконфузиться с хромотой, Алла Савишна пошла на цыпочках. Со стороны наверняка казалось, идёт счастливая женщина, пританцовывая от счастья, и никому не ведомо, что творилось в душе Аллы Савишны. А в душе её бурлил ад.

«Куда бегу? Зачем? Я же к нему бегу, дура старая. Да ведь не семьдесят лет мне, какая же я старая. Самая временная... Бегу... Неправда! Я иду по долгу работы... Нет, к нему!!!» – бушевал огонь в груди Аллы Савишны. «Нет, товарищи! Я должна вмешаться в супругов Жвастикových и прекратить их разрушение», – с неожиданной тоской думалось ей. «К нему! К нему!» – счастливо кипел ад и гнал Аллу Савишну вперёд.

До клуба она дотанцевала, утомившись до обморока, а когда сквозь оранжевый дым, застивший глаза, увидела на клубной двери замок, села на грязное крылечко и, чуть не рыдая от боли, раскаяния и одиночества, сняла покаленную туфлю и приложила какую-то травку к лопнувшей мозоли.

«Куда же мне теперь деться-то? Что теперь делать?» – думала она, казнясь, что почти на одной ноге скакала на свидание, непрестанно думая об Игоре. Наконец додумалась, что на неё напустили порчу, что-то сотворили, неподвластное разумению, а посему стала она чуток полоумной, придурочной...

В это время из-за клуба вывернулась ветеринарный фельдшер Тамара с канистрой креолина, увидела Аллу Савишну, жёваную травку на её пятке и заблажила:

– Ба-а-атюшки, Алла Савишна! Чо с вами? Давайте перевяжу! В вашем лице кровинки нету, поди, вся кровь через пятку выбежала!..

Тамара разоткнула канистру и щедро плеснула креолином на мозоль. Великая боль совсем расплосовала душу Аллы Савишны, с перекошенным лицом она еле пробормотала:

– Сс-сс... паси... ба...

– Откуда вы? И куда? Клуб-от заперт. Да ничо! Мы сейчас гвоздиком поширкаем и откρο-о-ем! Замок-от без утаек.

Тамара вытряхнула из кармана гвоздь, побуравила им в замочной скважине и сдёрнула замок с петли.

– Заходите! – пригласила она Аллу Савишну, широко расхлобыстнув двери.

– Так... как же?.. Я одна-то? – поднялась со ступеньки Алла Савишна, неизвестно отчего робея и неведомо чего боясь.

– Ежели надо народ собрать, я сейчас оббегу дворы, приглашу, – затараторила Тамара. – Покос ещё не начался, основной народ дома сидит. Сейчас, поди, обедает... Ежели надо для совещания, я, пожалуйста, всегда готова! Народ дома!

– Не надо никакого народа! – испуганно перебила Алла Савишна. – Я к Жвастиковым приехала, по их семейному поводу. Я... А где Глинов?

– А холера его знает, где он. А народ почти весь дома, пока покос не начался. И Жвастики дома. Велеть им явиться сюда? Одним или вместе с народом? Я оббегу...

– Да, да! – рассеянно кивнула Алла Савишна и с туфлей в руке нерешительно вошла в клуб. В клубе было пасмурно, холодновато и пусто, как во всяком нежилом помещении, из которого всегда хочется бежать, однако Алла Савишна села на скамейку и, пока Тамара приглашала Жвастикových, принялась тоскливо вспоминать свою прожитую жизнь. «Никто и никогда меня не любил, – вздыхала она, глотая слёзы, – все мне врал, все меня обманывали. Я, наверное, не из тех, кого любят...»

Пламенела на пятке мозоль, припечённая креолином, першило в горле, увял и огонь в душе, и теперь в её выставляющей пустоте всё выло и леденело.

«С чего я взяла, что он мне обрадуется? Он и не ждёт меня. Он настолько забыл меня, что даже клуб не открывает сутками. Зная, что я в любой момент могу явиться в клуб, он специально закрыл двери на замок и ушёл куда-то... Этим он хочет подчеркнуть, что забыл меня вместе с клубом!..»

В двери вдруг выросла голенастая тень, и перед Аллой Савишной предстала возбуждённая Физка Жвастикова.

– Здравсьте! Вот и я! – весело проорала она, обернувшись, махнула рукой Тамаре, мол, тоже заходи, слушай.

– Из-за меня выехали? – подседа Физка к Алле Савишне.

– Что тут у вас происходит? – спросила Алла Савишна, украдкой отирая мокрые глаза. – Мне доложили, что семья рвётся.

– О-ой, не говорите! – заголосила Физка. – Семья, что пролитая вода. То так, то этак текёт, то лывой стоит. Расходиться я надумала с мужиком-то своим, а он, холера в каёмочку, припёр вчера ведро обабков. По колкам шмонал, под берёзками наломал. Сёдни технику ремонтирует, заодно в кузнице и заслонку к печке сковал. Жалко его стало! Думаю, брошу его, уйду к маме, он же принесёт ведро обабков, кто их ему сжарит? Выбросит ведь! Обабков стало жалче, чем мужика. Это ведь дары природы. Тут, Алла Савишна, надо в масштабах думать. Не столь о мужике, сколь о природе за-

ботиться. Без нас, баб, они всё обломают и выбросят. Был бы он коровой, выгнала бы – пасись! Он же плотью питается. Поросёнка заколет, мясо проквасит. Никакого толку не будет из него, ежели бросить. Нахлебником ведь будет сидеть у сельского Совета. Нет, не брошу!

В голосе Физки прорвался счастливый визг, лицо её покраснелось, глаза заблестели.

– Да ведь он ещё приучил меня на луну глядеть. Говорит, ты вот сейчас глядишь, а там, может, извержение вулкана идёт. Значит, при катастрофе присутствуешь. Вечор просидели с ним у окошка, на луну проглядели... Ох! Таблеток мне достал от психологии, напилась их – три дня сыпом спала. Я сплю, он Митьку сосит из бутылочки... Чо делать-то?

– Расходись! – резко сказала Алла Савишна. Физка открыла рот, оглянулась на Тамару, попыталась улыбнуться, но рот оставался открытым, и улыбка не получилась.

– Чо-то не понимаю, – наконец выговорила она.

– И понимать нечего. Конечно, расходись! – оглянувшись на Аллу Савишну, угодливо посоветовала Тамара. – Зачем тебе такая скудная жизнь? Ты ему не батрачка, чтоб обабки жарить. У тебя, поди, свои претензии к жизни есть. Днём-то вьёшься, как берёста на огне, то Митьку соси, то телёнка пои, да ещё ночь у окошка сиди, на извержение вулканов гляди... Завоешь тут от психологии!

– Чо-то не понимаю. Это, как его... Чо-то... Я ведь тоже обабки ела, – заморгала Физка глазами.

– Не продавай свою честь за обабки! Не верь мужикам! Они ещё ни одной бабе слово правды не сказали! – со злорадным торжеством сказала Алла Савишна.

– Чо-то не понимаю, – заладила Физка. – Он ведь мне не врёт. Всё документально рассказывает. Тут, говорят, монашка в поле приходила...

– Сказывай! – со смехом перебила Тамара. – Монашку на пашне углядел! Будто приходила и трактор шшупала. Ночью-то? Откудова нонче монашки в поле взялись? А я так,

например, думаю, что это Файка Кудесина, переодевшись в снаряжчика, на свиданье к твоему мужику пластает.

– Но? – снова открыла рот Физка. – Не может такого быть!

– Расходись! – приказала Тамара.

– Расходись! – повторила Алла Савишна. – Вы своими извержениями вулканов только меня от работы отрываете. У меня на носу исполком сельсовета, а я должна к вам в деревню хромать. Ногу вон до крови натерла... Что вы здесь за народ такой? То в любви клянётесь, то прячетесь от любимых. Не жизнь, а репетиция. Где Глинов? Почему клуб закрыт?

– Вечером-то он открывает клуб. Вечером-то танцы начинаются, – сказала Физка.

– И он танцует? – брезгливо спросила Алла Савишна.

– И он танцует. Куда денешься, если работа такая.

– С кем это он танцует? – скривила побледневшие губы Алла Савишна.

– С девками, – простодушно ответила Физка. – Если работа такая...

– И много у него девок?

– Нашенских-то почти нет. Зато городские в отпуск понаехали.

– Может, он и сейчас с какой-нибудь городской девкой по лесу гуляет?

– Может, и гуляет. Он мужик одинокий...

– В рабочее-то время с девкой гуляет! Целует её! – уж совсем брезгливо и презрительно воскликнула Алла Савишна, нашла ногой туфлю под скамейкой, втиснула в неё ногу. Едва снося боль, оперлась о край скамьи и приподнялась. Взгляд её скользнул по стене, привычно отыскивая лозунг «Храните деньги в сберегательной кассе!», однако памятный её сердцу плакат был уже содран, и наискось по двери, ведущей в боковушку, белёными буквами по грязному кумачу шло: «Истина в вине!».

– Вот ваш ненаглядный, так называемый одинокий Игорь Глинов! – ткнула перстом в «истину» Алла Савишна. – Про-

поведует алкоголизм на рабочем месте. Алкоголизм в клубе, в лесу девки. Снимать будем с работы. Хватит издеваться над советской властью!

– Нам-то что! – смиренно пожала плечами Физка, в то же время думая об одном, неужели Игнат спит с Файкой? «Вот это номер! Вот это колесо Вивиле! А я-то... Ду-ура!» – пробушевало в мыслях Физки, она даже не удивилась «колесу Вивиле», неизвестно каким образом связанному у неё с цирком, где катался мужик на одном огромном колесе, таком огромном, что оно намного выше нового дома, в котором живут они с Игнатом.

– Нам-то что! – подхватила и Тамара. – Я в клуб не хожу. У меня пора отёла наступила. Дни и ночи на ферме пропадаю. Уйду – мужик спит. И приду – мужик спит. Ни драк, ни разводов. Оба довольны.

...Обратно Алла Савишна шла босиком. Дойдя до роши, села на крутояре, глядясь в чёрный омут. В золотой, пятнисто-играющей тени черёмуховых кустов на сонной ленивой воде покоились цветущие кувшинки, и, глядя на них, Алла Савишна вспомнила печальную картину – лунную ночь, женщину в белом, так же, как и она сейчас, в одиночестве сидящую у воды с кувшинками...

– До чего же нам, бабам, тошно живётся на этом свете! – заплакала она, и чем дольше плакала, тем больше понимала, что она самый лишний человек в мире и лишний потому, что где-то рядом живёт другой человек – Игорь Глинов, вытесняющий её, отодвигающий куда-то на край земли. Откуда он взялся, этот Игорь? Приехал из города к кому-то в гости, прошёл с аккордеоном мимо сельсовета. Мелодия, которую он обрушил, вынесла Аллу Савишну из-за рабочего стола к дверному косяку, и она закрыла глаза от восторга и сердечного страха. Ей неожиданно и дивно побластился занесённый звёздной пургой гончарный круг, проворачиваемый над тёмной вселенской ямой, где и её жизнь скользила и била ввысь копыеносной искрой.

«Что вы играете?» – спросила она.

«Баха», – ответил Игорь.

Откуда он взялся, словно летящий по трапедии под небесным куполом и оборвавшийся, ничего не взявший оттуда, кроме обломка в виде буквы «г», проносающий за собою кокетный шлейф мессианской мелодии Себастьяна Баха?

– Все мы в этой жизни, как в цирке, – сказала Алла Савишна, следя за кружением стрекоз и каких-то пёстрых мушек. – В одном лишь разница, что один дрессирует летучих мышей, а другой на одном каблуке ходит, как клоун.

Она встала, чтобы умыться речной водой, но, наклоняясь, увидела в омуте своё мёртвое, словно оловянное, отражение и, суеверно убоявшись, отпрянула прочь...

VIII

На восходе солнца, выгоняя в стадо корову, Файка Кудесина увидела на своих воротах картинку, жирно пропачканную дёгтем, – сидит на диване голая деваха и читает книжку. На обложке значится «Царь Никита и сорок его дочерей». В девахе Файка сразу же признала себя, но, разглядывая книжку, так и не поняла, при чём здесь какой-то царь Никита и его сорок дочерей?

«Это каким мущиной надо быть, чтоб стоко детей понаделать!» – подумала она о царе. Его потомство, видимо, каким-то образом коснувшееся и её, озадачило Файку, и она поспешила за разъяснениями к Игорю Глинову в клуб. Игорь и жил в клубе, занимая ту самую боковушку, на которую всегда косилась Алла Савишна.

Солнце стояло уже над лесом. Вспокоенный утренним ветром сверкал росистый черёмуховый куст под окном боковушки. Игорь лежал на стульях и пристально разглядывал паучьи тенёта, подвешенные в углу. Заслышав тяжёлые шаги, он даже не поднял головы, лишь сонно проговорил:

– Протри хоть плафон! Цветы вон все повяли. Гнать вас надо со службы, Фаина, снежная маска, поскольку дурака валяем.

– Беда у меня! – выпалила Файка.

– Беда? – усмехнулся Игорь и посмотрел на чернобровое, нарумяненное перестоявшейся жгучей кровью лицо Файки. – Какая беда может пронять такую бабу, как ты?

– Осрамили меня, Игорь Иваныч! На воротах с царём Никитой нарисовали. Будто сижу и книжку про его сорок дочерей читаю.

– Ну и что? – Игорь зевнул, сел. – Отчего бы тебе не почитать забавную сказочку?

– Хороша сказочка! Срамоть такая! Приезжие люди ещё подумают, что у меня дома изба-читальня открылась. Повалят за каким-нибудь разъяснением. А я, дура-дурова, чо им отвечу?

Игорь потянулся к пыльной книжной полке, достал синеенький томик Пушкина и подал Файке:

– Неудивительно, что не читала. Эта сказка не во всех сборниках Пушкина напечатана. Прочти, чтоб не быть душой-дуровой...

Файка не дослушала, схватила книгу и тут же в клубе принялась за чтение... Не дочитав сказку и до половины, вдруг споткнулась, стыдливый румянец ещё жарче облил её лицо, в мыслях догадливо стрельнуло: «Это он решил надо мной поизгаляться! Это он на воротах начучмечил!..».

Забыв книгу на клубной скамейке, Файка на рысях устремилась к конторе, где, собираясь на утренние работы, гоготали мужики. Весёлого, красивого Игната Файка сразу же отличила в бестолковой мужичьей толпе, убыстря шаг, наскочила на него со всего разбега и жирным шлепком окатила жизнерадостное Игнашкино лицо.

– Ни хрена себе! – кто-то удивлённо и силло простонал на крыльце.

Файка молча соскользнула со ступенек и в ярком цвета-

стом платье замельтешила вдоль по деревне. Возле дома она уловила за собой чей-то скорый бег, не оглядываясь, угадала, что бежит Игнат.

– Ты за что это меня? – спросил он, поравнявшись с нею. – При всём народе! Ты кто мне такая! Чужого мужика... Что, руки длинные? Так я обломаю.

– Н-но? – остановилась Файка, глядя на Игната слепыми от ярости глазами. – Мазальщик чёртов! В штанах у себя примажь, чтоб не мычало! Думаешь, дура! Такая же, как твоя расписница? Не догадаюсь?! Я ещё Лидь Игнатьевне скажу, кто её заплоты красит дёгтем! Я ещё заявление Напольской напишу! В суд подам!

– Не ори, дура! – цыкнул Игнат.

– Ишь ты! Не стрепнулась с тобой, так мстить решил? Мститель выискался! Ведьма его привела ко мне!.. Я тебе покажу ведьму! Вша на гребешке! Тьфу! – плюнула Файка на рубаху Игната.

– Т-ты... за оскорбление человека... Чужого мужика... – дрогнул он челюстью.

– А это не оскорбленье? – ткнула Файка в свои ворота, прямо в морду голой девахе.

– В чём это я тебя оскорбил? – вдруг весело хихикнул Игнат.

– Растелешил по всем воротам!..

– Тихо, не хайлай! Вон Уряпиха слушает! Приглядиись внимательно! Рисунок-то целомудренный. Хоть и сидишь нарасшарагу, а вместо главного бабьего места – чистота одна. Ни кругляшочка, ни трещинки.

Игнат поперхнулся, снова хитро улыбнулся, и в его вкрадчивой улыбочке Файка жестоко почувствовала взмывшее к небесам и ранившее её оттуда мужское самодовольство.

– А! А... вон чего! – слёзным голосом догадливо протянула она.

– Дура ты, Файка! – вдруг нахмурился Игнат. – Про нашу любовь и не узнал бы никто. Дура! А что касается ведьмы...

Разбей меня паралич вот на этой самой точке земного шара, была ведьма! Не знаю, может, не ведьма. Баба в чёрном. К тебе меня привела. Поди, судьба из какой-нибудь плазмы так складывается?

– Сгибай боле! Если вместо башки медный котелок, то и плазма складывается...

– Дура! – рассвирепел Игнат. – Дура! Иди, спи под луной. Спи-и! Храпи-и! Слушай, как в твоём доме лес шумит. Только для кого шумит-то? В лесу должны детские голоса аукаться. У тебя же – чистота одна. Спи под луной с утюгом в обнимку... Не подойду боле!!!

Игнат плюнул на ворота, угодив плевком в «чистоту одну», и побежал обратно к конторе, а Файка покачала головой и обиделась ещё больше:

– Вон как он меня пропечатал перед всем народом! Избу-читальню открыл!.. Ещё и плюётся! «Про нашу любовь!» Да я через марлечку тебе не покажу, кисель морской! Обида его заела! Опозорить захотел, да сам опозорился. Уголовщиной занимается, ворота по ночам дёгтем мажет. Страмец, а не мужик!

Не прошло и получаса, как по Покровке разнеслась весть – карикатуры рисует Игнашка Жвастиков. Услышав про это, Физка сразу кинулась смотреть и карикатуру на воротах Файки Кудесиной. А посмотрев, сделала вывод – у Игната с Файкой застарелая любовь. Иначе откуда Файка вызнала, что Игнат занимается рисованием на чужих воротах? Сам рисовальщик, небось, и сообщил ей об этом... А ещё чище – оба рисуют по ночам.

– Значит, Файка у него для души, а я – для посуды! – говорила Физка, увязывая в пуховую шаль свои трусы, платья, Митькины распашонки, засунула туда пустышки и поставила горшок с кашей.

Прибежала Матрёна Петровна, прибежал сам Игнат.

– Ишь, чо надумали, людей смешить, таскать свой возок туды-сюды! – закричала мать, растрепав дочерний узел по

горнице. – Не слушаете старших-то, всё норовите по-своему руководить, а ума, как в башке у мескозоба.

Прибежала и ветеринарный фельдшер Тамара, встала в дверях и деликатно приложила косынку к мокрым глазам.

– Сдурели совсем! Чухор на вас напал, небось! Дом новый поставили и побежали по разным странам! – всхлипнув, принялась она корить Игната и Физку.

– Чо толку-то в новом доме! – гремела Матрёна Петровна. – Ежели в первую ночь в новом-то доме ночевали не поперёк, а повдоль пола! Надо противиться злему наговору, поперёк вставать поветрию жолстному, а вы ручки-ножки склали, протянулись и поплыли. Кто захочет, тот вас и мотанёт куда попадя. Не муж с женой, а яички смятошные.

Матрёна Петровна окончательно растеребила кузовок с тряпьем, взяла Митьку на руки, принялась его разболочать, ещё более удивляясь и бранясь:

– Вона чего с тобой утворяют! На улке жара, а тебя закутали в сто одежек. Не робёнок, а вилок капусты. Трусы из шерсти связаны! У тебя, Анфея, как я погляжу, скоро занавески на окошках будут из шерсти вешаться.

– Зато я голорукий хожу! – встрял Игнат.

– Космылить ворота-то можно и без рукавиц! – взорвалась Физка. – Все ворота и заплоты в деревне здорщиной изрисовал!

– А на наших воротах кто мажет? Кто!.. Орёшь и сама не знаешь...

– Ме-е-е! – проблеяла Физка. – Ты и на своих воротах тоже мажешь! Чисто выкручиваешься! Ме-е-е!.. на своих воротах мажешь из чувства самокритики. И себя в форме зайца намусолил, и меня с коровьим боталом начеркал. Лишь матаню свою изобразил с титьками наперевес. С натуры рисовал!.. У-уйди с моих глаз куда-нибудь в глубь жизни!

Физка заревела, а Игнат выбежал из дома и помчался в «глубь», сгоряча спутал К-700 с «Беларусью», влез в тесную кабинку и помчал по ухабам. Впереди на дорогу весело вы-

катилось тракторное колесо и, виляя из стороны в сторону, тоже покатилося по ухабам.

«Это мне кажется. В бреду я», – только и подумал Игнат.

Тракторишко осел набок, дверка отпрыгнула, и Игнат вплыл в зыбучую зелень пустырной травы.

– Вот и хорошо! – провозгласил он. – Буду лежать до тех пор, пока меня на одеяле домой не снесут.

IX

Исполком сельсовета состоялся накануне Ивана Купалы. В кабинет Аллы Савишны, таинственно озарённый красным вечерним сиянием, вошли депутаты, сели на гнутые стулья и стали слушать речь Аллы Савишны о благоустройстве села.

В чёрной, сшитой по старинке крепдешиновой кофте, свежо вычернив волосы, так, что немного даже перебрала с краской, но зато надёжно спрятала все сединки, бледнея лицом и перекладывая бумажки дрожащими руками, невесть отчего волнуясь, она говорила:

– У нас вопиющее запустение на центральной площади села Крестина. Обелиск, посвящённый героям в борьбе с Колчаком, зарос лебедой. И вообще, к нашему стыду, по всей площади зеленеют одни сорняки. Спрашивается, зачем тогда огораживали её? Хоть изгородь и сварили из железа в совхозной мастерской, её всё равно прободали телята. Ходят по братским могилам и щиплют траву...

– Ну и пушай ходят! – сказал депутат Карминов. – Здесь церковное кладбище, в Гражданскую войну на нём беляков хоронили. А обелиск поставили красным героям в качестве символа. А где ещё можно поставить? Только тут. Площадь на бугре, со всех сторон видно.

– В таком случае надо выгородить белых граждан, а изгородью обнести лишь один обелиск. И ворота надо переделывать. Особенно звёзды. Не звёзды, а какие-то пятиконечные

цветки. Впору гадать на них: любит – не любит. Не символы вечности, а сплошное язычество, – сердито продолжала Алла Савишна.

– Как это выгородить белых граждан? – спросил другой депутат, скотник Оболенский. – У меня среди них прадед похоронен. Полный георгиевский кавалер, русский человек. А среди красных китаец лежит, какой-то Синь-Синь. Мало того, что разгромили церковь, ещё и могилы русских офицеров на русской земле выгораживать будем, чтоб их топтали телята.

– Кстати, Алла Савишна, и ваши прадеды, один из них казацкий есаул Прохор Напольский, другой – красный командир товарищ Антон Напольский, тоже на церковном кладбище покоятся. Причём оба схоронены в одной могиле, – сказал директор местного краеведческого музея Васильчиков. – Если выгородим белых покойников, то надо раскапывать и могилу братьев Напольских и выселять кости есаула Напольского, чтобы другим не обидно было...

Алла Савишна спрятала руки под стол и пощупала пульс: «Господи, хоть бы давление не поднялось!».

– Я разве что-нибудь говорила о раскопке могил? Нельзя ничего сказать, вечно начинаются перегибы. Давайте выкосим сорняки и отремонтируем ограду. Да звёзды ещё надо доработать, сделать из лепестков лучи, – сказала она, уловив под обшлагом кофты сильное биение пульса.

– А зачем звёзды белым покойникам? – пожал плечами Оболенский, – им кресты нужны. А коли крестов не ставим, то давайте оставим пятиконечные цветы. И красные не обидятся, потому что всё-таки – звёзды. И белые не обидятся – всё-таки цветы! И вы, Алла Савишна, таким образом, примирите своих предков. Не надо ничего перерисовывать, пусть остаётся так, как есть.

– Может быть, на могилах белых граждан поставить кресты, а на воротах ограды нарисовать настоящие звёзды? – нерешительно спросила Алла Савишна.

– Да кто сейчас разберёт, где белые, где красные? – сердито воскликнул Оболенский.

– По-моему, на церковном кладбище ни одного красного трупа не было, за исключением командира товарища Антона Напольского, – вздохнул Васильчиков. – По-моему, все белые...

– А Синь-Синь откуда взялся? – спросил Карминов. – Он же красный! Или белый?

– Ещё чего! – возмутился Оболенский. – В белой армии воевали отборные люди, это у красных всякий сброд воевал!

– И у белых сброда хватало, – вставил Карминов. – Алла Савишна, вы же учителем работали, должны знать...

– Я немецкий язык преподавала и литературу, – ответила Алла Савишна, покосившись на часы: «Солнце уже закатилось, а мы всё не можем решить: красные или белые лежат на кладбище? И всё потому, что никому неохота перерисовывать цветы и ремонтировать ограду».

– Следующий вопрос – культура на селе, – объявила Алла Савишна. – Товарищ Арбузикова, пригласите Глинова!

Феня кивнула головой, скользнула за дверь.

– Глино-ов! Игрыва-аны-ыч! – донёсся с улицы её радостный голос. Прошли томительные для Аллы Савишны минуты, в кабинет снова заскользнула Феня и звонко оповестила:

– Не докричалась я его. Видно, ушёл.

– Как ушёл? – вспыхнула Алла Савишна. – Приглашён на исполком и ушёл?

– Ему-то что! Глинова не знаете!..

– Он вообще-то был? – допрашивала Алла Савишна.

– Был. Да, видно, ушёл.

– А когда он был?

– Да вот только что. На крылечке сидел...

– Прекрасно! – мстительно произнесла Алла Савишна, резко сдвинула бумаги на край стола и встала с места.

– Игорь Глинов призывает пьянствовать. Сначала в ку-

луарах шептал, мол, истина в вине, сейчас в клубе лозунг вывесил. На лозунге так и написал: «Истина в вине!». Лето, товарищи, в полном разгаре, заготовка кормов начинается, к тому же прочему начались отпуска и каникулы. В деревне много приезжих, в клуб ходит молодёжь. Все читают этот лозунг и, наверное, хвалят Глинова за оппозицию, занятую им во время борьбы с пьянством и алкоголизмом.

– Может, он репетиции проводит? – раздался чей-то голос.

– Глинов – а-артист!.. Выдумщик!

– Нам нужны не артисты, а культработники. Нужна работа с населением, – продолжала Алла Савишна. – Знаем, что выдумщик. Слова правды не скажет. Коли так, пусть идёт в кукольный театр сказки рассказывать. А сельсовету нужны серьёзные люди.

Алла Савишна села, придвинула бумаги и, скрывая дрожь в руках, принялась их ворошить.

– Тогда уволить его надо, – зашевелились депутаты. – Пусть едет в город обратно и там артистничает.

– Ну да! Уволить!.. А кто на аккордеоне играть будет? На всю территорию сельсовета – один музыкант.

– Ой, музыканта нашли! Проходимец, какого свет не видывал. По электричкам ходит и белогвардейские песни под аккордеон поёт. Сам слышал, «а на той стороне комиссарская сволочь неиствует».

– Пушай поёт. Сейчас – плювразизм...

– А работать кто будет? Двести рублей в месяц огребают да ещё по электричкам поёт!

Опустив голову и перекладывая бумажки туда-сюда, чтобы сделать вид, что она занята и совершенно равнодушна к выкрикам депутатов, Алла Савишна с болью в сердце думала: «Сама заварила кашу. Хлебай теперь! Поклёп на любимого человека возвела... Да ведь не люблю я его!».

Вспомнились летучие мыши, черёмуховый куст, влажный горячий рот Игоря. Чувство ревности, переходящее в непри-

язнь и отвращение, охватило Аллу Савишну, ей стало стыдно за свои подчернённые волосы, за скользящую по плечам и грудям кофту, за червяка с болезненно-горячим колотъём, оживающего внизу живота всякий раз, как только заходил разговор об Игоре.

«Отчего меня возбуждают мысли о нём? Может, он прокрался в мой кабинет и подсыпал в графин с водой какой-нибудь алхимии? С него станется! Приворожил, поди? А так-то без ворожбы, поди, не шибко кому нужен. Ничего в нём завидного нету. Чёрный, как цыган, худой, как жердь. Поди, цыганского роду будет... не зря в гармонисты пошёл... Работать-то неохота... Жаркий!.. Ненавижу!.. Волосы подчернила, дура старая. Скажет, что под него подстраиваюсь, под цыганское племя... Надо было перекисью водорода покрасить, под блондинку... Опять, скажет, специально завлекаю. Они, чёрные-то, блондинок лю-убят!.. Как я его ненавижу!» – думала она, стыдясь горячей краски, залившей её лицо, и вычёркивая на бумажке одну и ту же фигуру, похожую сразу и на виселицу, и на букву «г».

К полуночи заседание исполкома закончилось. Депутаты, кто зевая, кто возбуждённо продолжая затеянный спор о красных и белых, заодно прихватив и немцев, и американцев, разошлись, а Алла Савишна, погасив свет, остановилась в сенях, где во всё громадное, до самых половиц, окно горела алая заря. Резеда за окном ворошилась от переливчатого мерцания, в дальнем углу сельсоветовского двора кричал перепел.

«Завтра ведь Иванов день», – вспомнила Алла Савишна и вышла из сельсовета. Двигая ключом в замочной скважине, она услышала позади себя торопливые шаги, узнала их, быстро открыла дверь и звякнула изнутри щеколдой...

– Откройте! – нежно попросил знакомый голос.

Алла Савишна, припав к двери, слушала дикое биение своего сердца и молилась Богу, чтобы не открыть, не впустить...

– Откройте! – твёрже прозвучал голос. Снова послышались шаги – теперь уже у окна. Сильно запахло взбитой резедой.

– Что вы прячетесь там? – послышалось у окна. – Я же вижу! Чего вы боитесь?

– Я ничего не боюсь, – сухо ответила из сеней Алла Савишна.

– Боитесь!

– Я ничего не боюсь! – более жёстко повторила она и подошла к окну.

Игорь стоял по колено в резеде, в его волосах и на свитере ясно помаргивали зелёные огоньки.

– Почему вы в мусоре? – насмешливо спросила Алла Савишна.

– В каком мусоре?

– Что это на вас? Бутылочные осколки, что ли?

– А, это! Ивановские светляки, – усмехнулся Игорь, снял со свитера живое зелёное стёклышко и посадил его на чёрный листок.

– Я их собирал для вас. Сегодня ведь купальская ночь. Ночь любви...

– Знаю.

– Так откройте же!

– Нет!

– Почему!

– Не хочу.

– Неправда, хотите!

– Почему вы сбежали с исполкома? – холодно спросила Алла Савишна.

– Я ходил в рощу за светляками для вас. Хотел прийти на исполком в светляках, ведь ходят же люди с медалями. Думал – успею. А когда вернулся, меня уже обсуждали. Я стоял под окном и смотрел на вас. Казалось, что я смотрю телевизор. Вы говорили, как на экране... Алла Савишна!

Игорь подошёл ближе, прижался к окну и поцеловал её

через стекло. Потом поцеловал её грудь, живот, наклонился ниже и застыл, застонал... Неодолимая желанная сила подтолкнула и припаяла к окну Аллу Савишну, задохнувшись, она схватилась за ворот кофты, оборвала брошь – ворот расшелся шире и обнажил грудь.

– Откройте! – сквозь гул, словно с того берега кипящей и прыгающей по камням реки, донеслась мольба Игоря.

– Нет! – прошептала она, но он не услышал её шёпота и взмолился снова:

– Откройте...

Светляки в его волосах вспыхнули багряным светом и, размазывая огненные запятые, запетляли по стеклу, и сама она, как костёр, полыхнула во всё окно, уносясь в гуле и звоне, пугливо подумала, что теперь, сгораемая, видна со всех сторон, и взмолилась, чтобы скорее увидели этот пожар, сбежались, разбили стёкла и впустили его к ней... Вверху и в самом деле хрупнуло. Игорь и Алла Савишна разом схватились за стеклянный обломыш, и оба порезали себе руки...

– Уходите! – вскрикнула она, смахивая кровь с пальца и стыдливо запахнув кофту. – Разбили окошко... Уходите! Или я сейчас же позвоню участковому!..

Игорь молча и растерянно отшатнулся от окна.

– Что вы от меня хотите? Что вы меня преследуете? Что вы меня ловите на каждом шагу? Насильник!

– Что? – спросил Игорь, подавшись к окну.

– Алкоголик! – отойдя в темноту сеней и словно оправдываясь за сказанное, Алла Савишна торопливо бросила оттуда: – Рекламируете алкоголь, поразвесили лозунги «истина в вине!». Уходите немедленно с работы! Трус! Не явились на исполком, потому что побоялись ответить за алкогольный лозунг. Я была в клубе, видела... Мучитель!

– Вы – тупица! – взорвался Игорь. – Не вино, а вина. Это моё убеждение, требование признать свою вину и покаяться. Путь истины – путь к собственной вине. Это продолжение духовного развития. Мы все виноваты друг перед другом...

А правота – это тупик! Я слышал, как вы клеветали на меня. Но подумал, что этого требует ваш шабаш. Мы ведь вросли в двойственность. На собраниях – одни, дома – другие. Да что двойственность! Мы разделяем себя на мнения, как мясные туши. Прежде чем оговаривать меня, хоть бы разобрались и поняли...

– Прочь! – приказала Алла Савишна.

– Вы!.. Вы – развращённая властишкой женщина. Да и не женщина вы вовсе, а советская мебель...

– Вон как вас распалил порезанный пальчик! – злобно усмехнулась Алла Савишна. – Рыцарь!

– Рыцари были у дам. Вы же... какая дама?

Игорь махнул рукой и, шумно сминая резеду, пошёл из ограды. Кровь текла, он обмотал руку носовым платком, но платок скоро отяжелел и раскис. Игорь плотно захватил ладонь подолом свитера, шёл, роняя кровь на свои белые брюки. В лесу на тропинке нашарил подорожник, приложил листья к порезу. Кровь, только что пьяной клокочущей пленницей когтившая его телесную клетку, коварно присмирела и, тихонько отыскав лазейку, уползала во тьму, капая на траву, на земляничный цвет. Казалось, в одежде Игоря кто-то неспешно и настойчиво распускал и вытягивал малиновую нить...

В берёзовой роще на голубой берёсте он кровью написал: «Я умираю. У меня гемофилия».

...После ухода Игоря Алла Савишна ещё долго стояла в полумраке сеней, не веря в то, что произошло.

Сиял светляк на резеде, кричал во дворе перепел, и от зари было желто в поле. В лесу бегало, мелькало что-то серебряное, сорило бледными искрами, сначала Алла Савишна не обратила на него внимания, потом догадалась, что там бегают с бенгальским огнём.

«Сегодня ведь Купала!» – вспомнила она снова и, вернувшись в свой кабинет, залила порез на руке йодом и выпила валерьянки. Устало добравшись до стульев, на которых ещё

совсем недавно сидели рядом депутаты, она легла и тотчас же была раздавлена громоздкой болью, навалившейся на её ноги. Невыносимо страдая от боли и бессонницы, Алла Савишна всё следила за белым, узорно порхающим огоньком в голубом лесу и тоскливо думала: «У меня подагра. Я скоро умру...».

Х

Бирюзовой купальской ночью пошла в лес Прасковья Васильевна Фриулова. Что-то особенное, что-то такое таинственное скрывалось в этой ночи, может быть, сказывалась космическая сила летнего солнцестояния, когда, породнясь, сходятся в природе две враждебные силы – огонь и вода и цветёт ярким кровосмесительным цветом иван-да-марья.

Низко стоял в луговой синеве закатный месяц, и, пролившись по рыхлому бархату папоротников, лениво качался золотисто-туманный узор, а на краю земли дивно, как икона, сияла заря.

Сырая мглистая трава тяжело валилась в ноги. Миновав луга, Прасковья Васильевна вышла к полю донника и остановилась. Месяц теперь стоял где-то за оврагом, передвинув свой узор, обросший жёлтой пылью, и над донником мерцал золотистый туман. Пели уже первые петухи, сквозь дальний чёрный березняк вспыхнуло что-то белое, огненное, провалилось во мглу и снова взвилось колючим сиянием.

Подумав, Прасковья Васильевна пошла туда, сорвала на ходу призрачно-белый цветок и, сразу же ощутив в руке его новорождённый вес, поняла, что это таволга вязолистная, утяжелённая росой и космическим полуночным серебром, цветок её детства, влюбивший её в себя и отлетевший сиянием, как когда-то ей казалось, от созвездия Большой Медведицы. Теперь же само созвездие едва веяло в лазурном небе и, смываемое рассветом, уходило от человека.

Впереди сквозь мохнатые от росы тальники сверкнула вода.

«К омуту вышла», – подумала Прасковья Васильевна и, обойдя кусты, проваливаясь в холодную, настывшую к полночи траву, спустилась к реке. Вода была тёплой, домашней, ручной... Она разделась и вошла в неё по пояс, с восторгом ощущая её усыпляющее движение вокруг вздрогнувшего, счастливо испуганного тела. Месяц, дремавший в омуте, вдруг очнулся от дрёмы, испуганно отшатнулся в туманную тень тальников, брызнул там огнями и унялся, улёгся снова.

И вдруг в сонной глубине омута Прасковья Васильевна увидела странный образ. Кто-то отрешённо и мутно смотрел на неё оттуда, опустил на глаза звёздное покрывало, разлил вокруг своей головы мглистый сизый круг, и ещё один круг расходился от его синей, тесно слившейся с синей глубиной фигуры. Лишь правая рука поднималась в благословении ли, в предупреждении ли... Да две-три рыбки, золотясь собой, стояли у ног.

Прасковья Васильевна испуганно стронула воду ладонью – виденье исчезло. Сверкнув золотом, разлетелись и рыбки.

«Природа. Матерь наша. Начало мира, его хождение по кругу, вокруг нас. Хождение и возвращение. Несение круга. В круге этом, в его несении – бессмертие природы», – думала Прасковья Васильевна, снова чувствуя движение воды вокруг себя и несение себя водою. Передвигая холодящую вязкость омута, она сделала несколько шагов, провалилась в бездну и поплыла над мелко мигающим, почти растаявшим созвездием Медведицы, оживив и вспугнув его с места своим скольжением, доплыла до кустов и, шумно искромсав аспидную черноту воды в серебряные клочья, повернула обратно.

На середине омута ей сладостно обожгло живот сквозняком. Горящий пузырчатый столб, поднявшись со дна, поцеловал её в пах, она быстро отстранилась от его ледяного взлёта и мягко ткнулась в песок, огладив грудями его шелковистое

лоно... потом, лёжа на отмели, нагая, мокрая, перебиваемая течением по животу и голени, раскинув руки и лениво роясь в песке, чувствовала и себя тоже созвездием и, словно в песке ища для этого созвездия опору, глядела в небо, где сквозь матовые росистые вершины тальников поднималось весёлое зарево рассвета. Светлое облачко, задетое с боков алым дымом, стояло над самым её лицом и, казалось, закрывало лаз в небесную твердь, скрывая неведомый кладёз бездны. Всё-таки что-то из него было отпущено человеку, иначе он о нём бы не догадывался... Бездна, как думала Прасковья Васильевна, раскинувшись на парном утреннем песке, таилась и в ней самой, в её чреве, именно с ношей этой бездны была она послана в зелёный земной мир, через бездну познавая его сладостность и страх, его жадную плоть, припавшую к ней скользистой, целующей водою. Можно было лежать так всегда и никуда не уходить, не изымать себя из воды, податливо внимая её ласкам, сливаясь с ними и преображаясь через них... И ничего не было сейчас для неё вожделеннее, чем это соитие с тёплой играющей водой, желаннее жажды счастья. Она закрыла глаза и замерла, уловив где-то в недрах своих пение... Это пела её плоть, уже освобождённая от животного гнёта и окрылённая свободой, словно уносимая рекою к морю, к слиянию с его великой колыбелью и звериным гулом.

Солнце брызнуло из-за леса, ожили, зашевелились на травах и листьях алмазы, на речном перекате, где вековали замшелые развалины древней мельницы, расплескалась огненная коса.

Прасковья Васильевна вылезла на берег и, всё ещё слушая сонное пение своего чрева, взяла одежду и пошла в травы, обжигая наготу играющим целованием купальниц. По телу её снова полилось жжение, образуя пылающую пустоту, которую томительно хотелось наполнить чем-то живым и тесным и, вобрав его как можно больше, долго не выпускать из себя...

Где-то вверху, наверное, по склону лога опять зацвело поле донника, сквозняк, простреливший кудрявую берёзовую сень, принёс пьяный запах мёда и утренней мокрой земли. В логу, окунув длинные ветви в огненный разлив купальниц, дремала старая, с пёстрым сорочьим стволом берёза. Прасковья Васильевна подошла к ней и тревожно прислушалась... Показалось, что кто-то идёт следом.

«Надо бы одеться!» – подумала она, но не оделась, прислушиваясь к шороху сзади. Тот, кто шёл, остановился, нанёс комаров, запах гари и, не дав ей оглянуться, приник со спины, обнимая своими чёрными, как видела Прасковья Васильевна, вымазанными сажей руками. Она скользнула в его объятиях и увидела лицо – тоже чёрное в густой саже. Молча, лишь сухо и быстро дыша, он сильнее припал к ней таким же чумазым от сажи и нагим, без единой повязки, телом и, потеснив к берёзе, стоя, по-звериному быстро, своей раскалённой плотью начал пожирать её плоть...

Она застыла и сладостно закричала, требуя боли и смерти. Дикая птица отозвалась в логу и, вспыхнув на солнце, петлисто упала в жёлтое поле...

Утолив плотскую жажду свою и её, незнакомец бессильно отпал и, всё так же быстро дыша, молча лёг и спрятал лицо в папоротник. Прасковья Васильевна видела, как клокотало дыхание в его боку и из прокушенного плеча текла кровь – над кровью уже кружились и звенели мухи.

Судорожно вздохнув, устало волоча одежду, Прасковья Васильевна снова пошла к омуту. Солнце поднималось над донником, в горьковато-пахучем березняке перекликались иволги. По обоим склонам лога, витиевато затмив дымные голубые просветы в лесу, качали атласными серьгами саранки.

Омут был полон золотого огня. Черёмуха, свисая над ним, мерцала на солнце, тени ветвей дышали в воде и выстраивали то одно, то другое тёмное созвездие. Держась за черёмуховый ствол и уронив на себя нестаявшую скатную росу,

Прасковья Васильевна погрузилась в воду, долго мылась, отирая с себя сажу песком и речным хвощом, потом снова плавала в серебристой глубине, то натываясь на бархатные солнечные лучи, то опускаясь на дно, и, выгоняемая оттуда стужей, торопливо поднималась вверх вместе с морозным, невнятно лопочущим пузырьчатым вихрем...

Потом, одевшись, она вышла на косогор, легла в донник и, обдуваемая горячим сквозным ветром, заснула. Проснулась она в полдень. Шумел донник. Вились, плавали на ветру длинные плакучие ветви берёз. Над развалинами мельницы куковала кукушка. Прасковья Васильевна вспомнила прошедшую ночь, сладостное купанье, срамной сон, наполнивший её тело смирением и покоем. Она стала подниматься, постыдно ощутила саднящую боль в спине, изогнулась и достала рукой до содранной кожи, но увидела на земле зуб от бороны и, оправдываясь и стыдясь этого оправдания, с усмешкой подумала о шальной бабьей жизни, когда, утомясь и выдохнувшись от внезапной и роскошной, как подарок, любви, вдруг заснёшь то на камне, то на бороны...

XI

Счастье для Анфисы Жвастиковой заключалось в частной собственности. Она владела огородом, не впуская туда ни сорняки, ни скотину, каждую неделю перемещала в доме мебель, зная, что это её мебель, лила воду в горшки с бальзаминами, гордясь, что от полива бальзамина пышно цветут и тянутся к потолку, самозабвенно пленила Игната. Каждую ночь, уединившись в тёмной горенке, она катала его по горячим простыням, ревниво улавливая каждую его любовную промашку и лукаво допытываясь, кто посмел посягнуть на её, Физкину, методику. Иногда казалось, что её нахально обворовывали, не спросясь, делили её авторское право. Сам Игнат знал, что он – главный персонаж её любовной поэмы

и даже гордился этим. Но потом авторская власть жены ему надоела, и он начал готовиться к её свержению.

Ночи были серебряные, Марс куда-то закатился со своей горой Олимп, и Игнат, накормленный перед сном мясными продуктами, продолжал кататься в тёмной горенке с неутешной женой. В перерывах ему хотелось жить вдохновенно. Тогда он садился за стол, брал копирку и выстригал всякие фигуры.

– Это – конспект ада, – объяснял он Физке. – По этому конспекту я буду судить людей.

Ад Физка тоже считала своей собственностью. Иногда она садилась рядом с Игнатом и сортировала фигурки в аду, не догадываясь, что часто по его кругам гоняет собственные символы.

«Незнание – свет, а знание – тьма!» – наблюдая за нею, усмехался Игнат и выстригал из копирки очередной символ Физкиной души в виде стрекозы или актрисы Нонны Мордюковой.

В зелёной летней роще брала Физка землянику, посасывала ягодки и всё пыталась спеть вальс «Дунайские волны».

*...Шли мы Дунаем тропею побед,
Девушки нежно смотрели нам вслед,
Тем, что на Волге сраженья вели
И на Дунай пришли, –*

голосила она по всему лесу, умудряясь голосить и сосать ягоды. Насобирав полную литровую банку, она решила отдохнуть в тени берёзы, уже присмотрела эту берёзу и её полноводную тень, как вдруг на белом стволе прочитала: «...я умираю... меня... или... я...».

Физка постояла и, чувствуя, как пересыхает в жилах кровь, немедленно перевела:

– Фая, умираю! Выходи за меня или я... задавлюсь!

Прилетела весёлая пташка, села на берёзу и, изгаляясь над её горем, прочирикала: «Колесовиви-ле!».

– Вот кобель, так кобель! – ахнула Физка. Ей немедленно

привиделись Игнат и Файка, друг на дружке, нагишом то под одной берёзой, то под другой...

– То-то гляжу, ягод мало, всю траву выкатали, живого места по всему лесу не оставили!.. Перестал, кобель, ворота малевать дёгтем, так начал записки на берёзах марганцовой писать. Держателем мира прикинулся!.. Списки ада составляет, блядь такая! Бдительность мою, как Риббентроп, усыпляет! А я рот разинула, растрёпа-ворона. Понасирали мне в карманы обое с Файкой, а я хожу и карманы с собой ношу. Этакую дуру и днём с электрической лампочкой не сыщешь!

Она села под берёзой, думая о чёрных бумажках, на которых создаёт ад её Игнат.

«Вот он – мой ад! Всё стало черным-черно, всё почернело во мне и на свете тоже. Это он для меня ад свой стригёт, на вечное поселение меня туда засылает. И заслал! У-умный, блядюга!»

– Что же мне делать-то теперь? – спросила Физка у чирикающей пташки и начала есть землянику из банки.

– Сначала я ему остужу жизнь. Как остужу? Давать не стану! Остужу! С карамелей своей не накатается каждую ночь... Ночи-то светлые, леса вырублены, далеко видать, кто с кем блудит... Вот так и остужу! А потом вовлеку в соблазн. Из холодного да в горячее. Из горячего да в холодное! Железину начни бросать из кипятка в лёд, и та посинеет. А тут – человек всё-таки! Он у меня не только посинеет, но и помертвеет! А потом я вырву у него сердце, как у Данка, да вот та-ак!

Тут она вскочила и треснула пустую банку о берёзу.

XII

Отчуждение Физки прямо-таки осчастливило Игната. Теперь не приходилось по ночам пластаться с нею, жертвуя дра-

гоценной жизнью, посланной небесами ему, Игнату Жвастикову, в единственном экземпляре, может быть, для какой-то особой миссии, с которой ещё никто не являлся на Землю, – ведь не зря же его тянет именно к чёрному рисунку. Да уж не сам ли Сатана вынул головёшку из печи и сунул ему в руку: «Держи, ротозей, и живи так, чтоб не было мелочно больно за напрасно прожитую жизнь, изданную во Вселенной в одном-единственном экземпляре!..».

Игнат думал:

«Есть два мира – позитив и негатив. Позитив – вот этот. С его тополями и кошками. А негатив – его отпечаток. Только невидимый. Зашифрованный, может быть, в шишковидной железе человека... Может быть, только через рентген его увидеть и можно. Это что? Надо построить рентгеновский кинозал, чтоб каждый мог купить билет и сходить на негативный мир. Тут ливерка начисто из магазинов исчезла – не до рентгеновских залов! А воображение-то на что нам дано! Просвещать человечество. Через воображение неземные существа нам дают установку. Так, мол, и так, князь Собчак и маркиз Назарбаев! Действуйте! Хм. Воображение – это передатчик. Вот тебе и полёты во сне!.. Насколько я понимаю, что сам я – позитивный посланник из негативного мира. Тот, кто рисует цветными карандашами, тот выходец из позитивного мира. А я – негативный! С дёгтем да головёшками! Открыть его секреты перед существами Земли и есть моя миссия. Мне бы жениться-то на Маринке Улыбышевой, а я, дурак, женился на деревенской комсомолке Физке. "Художник и Марина". Художник – это я. А Марина – сама Марина. Только наш брак не земной, а астральный... Транс-цен-ден-тальный! Это вам не глистов осеменить!..»

Игнат перебрал свои чёрные фигурки и понял, что с позитивным миром, в который он заслан из мира негативно-го, сводит всего лишь личные счёты через свою жену Физку Жвастикову.

– Надо переходить к масштабным действиям! – решил он. –

Пожалуй, возьмусь за международный Страшный суд. Иначе по возвращении в негативный мир Сатана с меня спросит за личные пристрастия. Мы, скажет, тебя командировали, что делать? Обличать социальное зло, ротозей! А тебя на Физке заклинило, как райпотребсоюз в позе лотоса!..

Игнат взял ножницы и начал кромсать копирку. Сначала он, как Данте, решил сослать в ад своих врагов. Первым его врагом был Егор Лигачёв. Это по его указанию, как слышал Игнат, в самом начале борьбы с пьянством вырубili виноградники, а поскольку Игнату нравились псалмы Окуджавы, особенно его знаменитый грузинский, начинающийся со слов: «Виноградную косточку в тёплую землю зарю», – то и рубку виноградников он не мог принять безнаказанно. Он тут же вырезал из чёрной копирки силуэт Егора Лигачёва, чем и приговорил его душу к вечной тьме.

Вторым своим личным врагом Игнат считал героя Гражданской войны Ваську Чапаева.

– Путаник, прости господи, был несусветный, – молвил он, выстригая из копирки Чапая. – Если бы он не клеился к жене Фурманова, то, возможно, и жизнь наша при социализме сложилась бы иначе. Он же, гад, зачернил все идеалы революции! А потом уж и пошло-поехало. Кто за чужую жену сгрёбся, кто за чужой карман... Сначала за чужих жён хватались. А всё с Васьки началось. Катись, Вася, в ад! Только без коня. Кони сейчас дефицитные животные. Такие же, как динозавры. Так что извини за пешее путешествие. Да-с!

Третьим его врагом был, конечно же, Гомер. Когда-то Прасковья Васильевна Фриулова замечательно рассказывала о морских странствиях, парнокопытных мужчинах, сиренах воздушной тревоги и прочих научно-технических достижениях Древней Греции, а когда Игнат взял толстую «Одиссею», добросовестно прочитал её и, ни хрена не поняв и не запомнив, решил, что никаких чудес у Гомера не было. Если бы они были, они бы запомнились, как, например, запоминаются русские сатирические сказки.

– Вот я тебя и создам отныне из чёрного материала, чтоб впредь не пудрил мозги с твоей «Одиссеей», которая простому советскому человеку на хрен не нужна! – сказал Игнат, яростно выстригая из копирки кучерявого головастика, больше похожего на Троцкого, чем на Гомера.

Создав ад, он положил его в папку и понёс Прасковье Васильевне на рецензию. Однако Прасковья Васильевна его не приняла, сославшись, что лежит с радикулитом.

ХIII

Ещё было жарко и дивно на земле, и лунный свет серебрястой лучиной своею перебирал в полях шелестящие овсы, и дни были ещё длинны и лучезарны, но за всем этим уже из-за угла поглядывала осень.

Как-то поздним вечером сидел в тёмном клубе Игорь Глинов и при свечах что-то читал о Перуне. Чем больше читал, тем больше поднимал голову и думал о своём. Наконец он отодвинул книгу и шумно вздохнул. Пламя свеч затрепетало, забегало испуганно, пересекло великанью тень самого Игоря на стене. Он встал, подошёл к окну и резко открыл его. Вдали сверкнула зарница, черёмуховая ветка уронила листок. Игорь поймал его на лету, долго стоял, глядя в темноту, слушая, как шумит полынь.

– Значит, свастика! – вдруг громко объявил он, не прерывая своих размышлений, видимо, вызванных чтением, и совсем не думая о вечернем тепле и полынных шорохах, блуждающих во тьме.

– Свастика, – повторил Игорь, усмехнулся, отвернувшись от окна, поискал что-то взглядом и, увидев на шкафу бюст Ленина, снял его и поставил на скамейку. Затем принёс другой бюст – со сцены, который в торжественные моменты ставили в президиум. Из дальнего угла, где стояли лопата и бачок с водой, Игорь извлёк статуэтку Ленина высотой

с вершок, затем из-за перегородки, куда Файка Кудесина прятала вёдра с извёсткой, вытащил ещё несколько статуэток, приготовленных, как он знал, для вознаграждения доярок в День Первомая, но вдруг началась перестройка и от вознаграждения воздержались. Потом прикатил ещё один бюст Ленина. Этот был велик и весил, наверное, центнера полтора. Он лежал в фанерном шкафу, так как однажды во время какого-то торжественного собрания такой же фанерный постамент под ним треснул, и бюст рухнул, чуть не убив скотника Витьку Кашина, задремавшего по случаю торжества у его подножия.

Собрав всех Лениных вместе, Игорь зачерпнул в ковшик воды, взошёл на трибуну, кашлянул и обратился к аудитории:

– Товарищи! Я должен сделать перед вами экстренное заявление о Перуне и его символике. Известно ли вам, что Перун является носителем небесного огня, который он мечет на все четыре стороны света? Неизвестно? Что? Известно? А потому главная его символика – свастика! Каждая громовая стрела – фрагмент перуновой свастики. Конец стрелы загнут по ходу солнца, то есть свастика – несущая свет, повторяющая движение солнца по кругу и как бы сеющая, размешивающая его в нашей атмосфере. Фигуру свастики составляют скрещённые молнии. Они же являются и скрещёнными солнечными лучами. Из весьма скудных источников нам, обитателям СССР, пока известно, что тайна свастики кроется в древней гималайской культуре. Такой древней, что даже Платону говорили: «Вы, греки, молоды!». Я лично, товарищи, убеждён, что символика свастики внеземного происхождения. Теперь о самом интересном, о чём я сам только что догадался. О германском фашизме, двинувшемся на завоевание мира под знаком свастики. Известно, что германский фашизм – явление невысокого полёта. Это, собственно, концентрация царства зверя. Идеалы же этого царства – жратва и сила. Идеалы, скажем, чисто звериные.

Оттого – и царство зверя. Не потому, что нами правит какой-то шакал из Кремля, а потому, что при каком-то правлении в человеке отмирает духовное и проскребаётся звериное. Жратвы-ы! Жра-ать!.. Грабить и убива-а-ать! Девиз Джэгги из фильма «Бродяга» с покойным Раджем Капуром в главной роли, товарищи! Жра-ать!

Игорь так грохнул кулаком по трибуне, что одна из статуэток, как ему показалось, самая маленькая, с вершок ростом, заморгала от страха.

– Извините, товарищи! Увлёкся...

Игорь сухо кашлянул, отпил из ковшика воды и спросил:

– А почему, собственно, германский фашизм устремился обжираться мир под знаком свастики?

И, снова отпив из ковшика воды, разъяснил статуэткам:

– Да потому, чтобы спровоцировать Перуна. Унизить и растоптать самого сильного славянского бога и опошлить его миссию в мире – миссию несения солнца по земному шару. Потому-то и была так же опошлена и принижена божественная свастика до какой-то чавкающей и алкающей толпы. До звериного инстинкта. До лозунга: «Жрать и убивать!». Жра-а-ть и – убивать! С вечным проклятием фашизму было послано и вечное проклятие свастике. Символу солнца. И его носителю – Перуну. Перуну – покровителю воинства на Руси!!! Выходит, что и через свастику, окольными путями, весьма тонко, даже не весьма тонко, ве-есь-ма хитро проклята и доблестная русская армия. Так сказать, попутно с германским фашизмом. Вот так. Теперь не свастика, а звезда владычествует над нами. Не символ солнца, а символ ночи. Символ тьмы. Мрака! То, что вы, товарищи, внедрили. Теперь моргайте глазами и слушайте умного оратора! Ловко нас околпачили! Через фашизм! Ло-о-овко! А мы и поверили. Товарищи, я обращаюсь к вам...

Игорь не договорил. Дверь в клубе широко распахнулась, и с улицы, из чёрной ночной тьмы, с признаками каких-то невероятных социальных потрясений на лице и одежде,

ввалились какие-то торжественно-испуганные приезжие товарищи. Все они были при орденах, значках и галстуках. В толпе Игорь узнал пока одного заместителя редактора газеты «Призыв» Чернобрюхова. Мелькнуло бледное лицо Фени Арбузиковой...

– Полюбуйтесь на него, товарищи! В стране государственный переворот, а он речи произносит! – испуганно вскрикнул Чернобрюхов. Медаль на лацкане его пиджака панически брякнула.

– Разгоняй вождей по местам! – взвизгнула Феня. На её кофте оловянным блеском тоже полыхнула какая-то награда...

– А... а что, собственно, случилось? – ошарашенно спросил Игорь. – Я тут репетирую...

– Власть в стране снова захватили коммунисты. Горбачёв арестован! Слазь с трибуны!.. Как бы завтра не прислали в сельсовет списки подлежащих расстрелу, – сообщила Феня и быстро начала расставлять статуэтки Ленина в президиуме.

– Кк...кккакому расстрелу? – ничего не понимая, снова спросил Игорь.

– Освобождайте трибуну, товарищ! – приказал ему какой-то товарищ в шляпе и галстуке. – Хватит митинговать! Работать надо, товарищ!

Игорь взял ковшик, выплеснул воду и, надев его на голову, покинул трибуну.

– А-артист! – осуждающе отметил кто-то.

– Не артист, а знак протеста высказывает, – сурово сказал товарищ в шляпе.

– Ишь ты, протестант нашёлся!

– Нигилизм оголтелый...

– Отрыжка перестройки! – понеслись замечания вслед Игорю.

Всю ночь он провёл в блужданиях по косогору. Был тёмный бурьян, и хорошо пахли тальники. Высоко и быстро пролетели, прозвенели кулики, и Игорь горько подумал о судьбе че-

ловечества, бессмысленно копающего ямы друг под друга на такой голубой и светящейся планете Земля. Последнее время он часто видел её во сне. Видел удивительно, из Космоса, будто бы улетая от неё в звёздную пропасть. Прекрасным голубым глазом Земля следила за ним, она вся со своими морями и равнинами, разумным тварным миром и полоумным человечеством являлась единым большим и умным глазом...

«Мы живём в этом глазу. Живём... Не живём, а плодим какие-то статуэтки, переворачиваем кого-то за что-то, бултыхая прекрасные голубые слёзы нашей Земли. Вот иссякнут её слёзы, и мы вытечем вместе с ними в Космос, вот тогда, как сказано в Апокалипсисе, времени не станет. Сжираем друг друга. Для чего? Сжираем, чтобы сжирать...»

Ему вспомнились стихи Эдгара По: «И тварь багряная ползёт и пожирает всех...».

Робко шелестели тальники. Светлело. Шёл туман, в нём зыбко обрисовывались очертания крыш, прясел, комбайнов и тракторов, брошенных где попало. Пахло грибами, рекой, берёзами...

Вернувшись в клуб, Игорь нашёл записку, втиснутую в замок.

Записка гласила: «Не отлучайтесь. Ждите транспорт. Распорядитель Корябов».

– Какой ещё транспорт? – спросил Игорь, рассеянно перечитал записку и вдруг похолодел. Руки его задрожали, отчего записка заходила ходуном, смертельная тоска прощания с миром, с его польнейю и зарницами, с пустырём и коленчатым валом охватила его сердце, дыхание прервалось, словно на голову накиннули мешок...

«Транспорт... Какой ещё транспорт в дни государственного переворота? Транс... "Воронок!"» – опалила Игоря ужасная догадка, и он кинулся в свою боковушку собирать вещи.

– Бежать! Бежать! – бормотал он, со скрежетом выволакивая рассохшийся чемодан из-под стола и сбрасывая в него

книги. А книги, как назло, все были крамольные – «В круге первом» Солженицына и портрет самого Солженицына в чугунной раме, отлитой в местной кузнице, несколько номеров журнала «Москва» с «Карантином» Владимира Максимова, «Окаянные дни» Бунина, а также какая-то мистика, хиромантия, гороскопы друидов и чукчей, старая журнальная вырезка с портретом Пиночета, который, казалось, подмигнул Игорю и зловеще хихикнул: «Ужо я тебе яйца-то на стадионе отрежу!», а также сборник статей о загробной жизни с интересным названием «Жизнь после смерти».

– Бежать! Бежать! – повторял Игорь. – В Америку! В Таиланд! Куда угодно...

«Ждите транспорт!» Знаем мы, какой транспорт! Это они меня за вчерашнюю лекцию перед статуэтками... За ковшичек на башке... Дурак! Дур-рак! Всю свою жизнь клоунадой испохабил. Я-то что за дурак такой!.. Бежать! Бежать! Поймай, бежать, а... на что?

Он хлопнул по карманам и сник. Бежать не только в Таиланд, но и в районный центр было не на что. Зарплату за июль он пропил, а за август ещё не получил. Вообще последний год деньги ему выдавались редко, он и сам не знал, за что его ещё держат в клубе, наверное, из милосердия...

«Бежать в леса!» – сверкнула мысль и тут же безнадежно погасла.

«В какие леса? Леса-то давно вырублены, одни пеньки остались. Я же высок ростом, пожалуй, не укроюсь в пеньках. Да и что я жрать буду в этих пеньках? Ха! Корябов! Распорядитель!.. Распорядитель чьей-то жизни. Моей, например. Да кто он такой, этот Корябов, чтобы распоряжаться моей жизнью? Пусть только явится, я его убью портретом Солженицына!»

Игорь побледнел, собрал в себя харчок и послал его в окно, гордо надеясь, что он попадёт прямо в откормленное лицо товарища Корябова.

«Трааа-анспорт!» – презрительно усмехнулся он, нарисо-

вал зелёной на своей рубахе свастику, облачился в неё, сел на крыльце и начал читать «В круге первом».

XIV

Наступил уже вечер, а транспорта всё не было. Игорь томился на крыльце, читая по нескольку раз то пятую, то восьмую страницу, тревожно следя за каждой машиной, прыгающей по дорожным кочкам и рытвинам. Вот проехал жёлтый милицейский мотоцикл, на мотоцикле Васька Уздрылихин, зять Любки-Уздрылихи, – свой человек. Покатил в Крестино, к теще в гости. Прошёл рейсовый автобус, остановился возле клуба, высадив покровских баб с пряниками и перловкой. Презирая бугорки и ямки, пропылил «жигулёнок», унося красномордых парней с песней о Стеньке Разине...

«Живут же, твою мать, люди! – завистливо подумал Игорь, провожая "жигулёнка" тоскливым взглядом. – Им что гэкачэпэ, что охлократия – всё равно Стенька Разин».

На закате к клубу подъехал трактор с тележкой, из трактора выпрыгнул Игнат Жвастиков и, озираясь по сторонам, подошёл к Игорю.

– Давно ждёшь? – тихо спросил он.

– С утра, – хмуро ответил Игорь. – А что? Ты тоже?

– Извини, пожалуйста. Я свой инфернус прятал...

– Чего? – удивился Игорь.

– Я свой инфернус закопал вместе с Бенедиктом Спинозой, – снова оглянувшись по сторонам, сообщил Игнат. – Сначала за баней спрятал – там курицы вырывают. В хлев понёс, там поросята, овечки... Сжуют с комбикормом. Едва приду- мал, куда девать. В черемошнике у Зимнего омута, под сухой осиной зарыл. В полиэтилен завернул и зарыл. На осине сразу два дупла, на северной стороне горелый сучок обломлен, а в двухстах шагах на юго-восток боярышник куст растёт. На том кусту пять сорочьих гнёзд. Запомню! Бенедикт-то

Спиноза не мой, у Фриуловой брал, да и он пострадал за компанию. Там он чертежами своими Бога доказывает. Как бы за Бога-то... того... к расстрелу не приговорили. Бог да инфернус...

– Чего ты молотишь? – разозлился Игорь, ничего не понимая. – Поддал, что ли! Какой инфернус? Хер, что ли, свой прятал? И при чём здесь Бог со Спинозой? Из дурдома сбежал?

– Спиноза-то? У Фриуловой, говорю, брал. А прятал я ад. Ад! Ад – это и есть инфернус...

– Я знаю, что инфернус – это ад. Да при чём здесь хер-то? – совсем вскипел Игорь, захлопнул книгу и пошёл прочь, но Игнат увидел зелёную свастику во всю его спину, схватил за рубаху и залопотал что-то о Чапаеве, который не ест курятины. И, наконец, объяснил, что он привёз зерно и это зерно надо сыпать в клуб по распоряжению Лиходрима Корябова...

– Кого? – уж совсем взбеленился от ярости Игорь. – Какого ещё Лиходрима?

– Откуда я знаю? Приехал утром Лиходрим Корябов и приказал сыпать зерно в клуб, как в военные годы, – сказал Игнат. – А я с утра инфернус закапывал. Специально по-латыни объясняюсь, чтоб какой-нибудь осведомитель не подслушал и не донёс, что речь об аде идёт, понял? Сжечь? Жалко. Сожрать? Он из копирки вырезан, это сколько сажи на кишках осядет! Вот и закопал у Зимнего омута, под осиною, снизу два дупла... Стой! А ты чего с фашистским знаком в дни государственного переворота по деревне разгуливаешь?

– Как это – зерно в клуб? – не слушая Игната, спросил Игорь, чувствуя, что гнев его сейчас поднимет и вынесет на орбиту, откуда Лиходрим со своим инфернусом и тележка с трактором просто-напросто потеряют смысл всякого существования. – Как это – зерно в клуб?! Вы что, во времена Сталина вернулись? Вы что со своим Лиходримом!.. Очаг культуры... Народное достояние... У меня в клубе бюсты

Ленина хранятся, а вы... Может, свиней загоните, подонки? Стол... под красным кумачом! Трибуна с гербом!!! Чтоб вам всем инфернусом подавиться, мерзавцы!..

Игорь задохнулся и, полыхая зелёной свастикой, устремился вдаль, на восток, к ночи...

«Уйду в лес и буду питаться акридами и мокрицами!» – взвыл он и, дойдя до жнивья, уснул в соломе с Солженицыным в изголовье, а когда вернулся, то обнаружил в клубе ворох зерна.

– Сволочи! – сказал Игорь и тут же продал мешок зерна Уряпихе за самогонку. Два дня он пил в боковушке и писал письмо в ООН, на третий день письма порвал, а написал заявление о своём увольнении с работы и пошёл в Крестино, в сельсовет.

Сельсовет был закрыт. На скамейке сидела тётка в цветастом платке и щёлкала семечки.

– А где начальство? – хмуро спросил её Игорь, боясь почему-то именно встречи с начальством, видя в его образе одну лишь Аллу Савишну, а потому и боялся её, как не боялся ещё никого – ни государственного переворота, ни «воронка», ни распорядителя Корябова. А поскольку они с Аллой Савишной не виделись с ночи Ивана Купалы, то страх этот был желанным и сладостным...

– Начальства пока нету, – ответила тётка, беспечно сплёвывая семечки под скамейку. Она уж наплевала большую кучу, ноги её, обутые в резиновые калоши, по щиколотку тонули в подсолнечной шелухе. Игорь, покосившись на них, сердито спросил:

– А вы кто такая?

– Я-то? Я – уволенная!

– Как уволенная?

– А так. В дни пучта окошки в сельсовете мыла. То ись пучт поддерживала. Вот и уволили меня. Всего лишь месяц и проробила-то здесь.

– А кем работала-то?

– До этого дояркой. А потом по состоянию здоровья списали – на лёгкие работы. Тут техничкой робыла. Жалко! Народот, говорят, на забастовку вышел, а меня холера дёрнула окошки мыть. Кума Нюрка Дроздова по груздки ушла в пучт-то, а теперь вон хвалится, что бастовала. Сёдни гляжу, в «Призыве» уж сфотографирована с корзинкой в руке, в корзинке – грузди... «Фермер Анна Дроздова». А грузди в лесу набраны. Ни кола, ни двора. Две курицы живут, и обе под кроватью...

Тётка стряхнула лузгу с подола и вздохнула:

– Хочешь семечек?

– Нет. У меня зубы плохие.

– А ещё Феню Арбузикову уволили за поддержание пучта. Она, дура, ещё и медаль повешала на грудь. Медаль-то не её – матери.

– А кто увольнял-то? – спросил Игорь.

– Обэхэсэс.

– П-почему обэхэсэс?

– А больше некому. Все разбежались. Один лишь обэхэсэс остался.

– А Напольская? – осторожно спросил Игорь.

– Напольская! – с насмешливой завистью воскликнула тётка. – Напольская, касатик полосатый, как раз в отпуске была. Сёдни первый день на работу вышла. Вот сижу, жду, может, она меня на поруки возьмёт.

Игорь усмехнулся:

– В России не соскучишься.

Тихо, как привидение, появилась Алла Савишна.

– Здравствуйте! – поздоровалась она, наверное, только с тёткой, но Игорь вздрогнул от её голоса, поднял глаза, встретился с её глазами и понял – она прекрасна! Всё было особенным в её образе – и белая кофта, по которой когда-то ползала божья коровка, и чёрные глаза, и чёрные волосы, подкрашенные, чтобы убрать седину, значит, для кого-то быть молодой и влюблённой...

– Алла Савишна, я ведь вас дождаюсь! Гли-ко, чо деется!

Работал человек добросовестно, мыл окошки в сельсовете, приходит человек на работу, а ему говорят, мол, уволен. За что? Пучт поддерживал! Гли-ко, чо деется! В команду какого-то Корябова меня зачислили, которого я и в глаза не видовала и чихом не чуяла! – затараторила тётка и даже всхлипнула, но всхлипнула притворно, для красы, даже с издёвкой, видно, тётке самой было смешно от всего, «чо деется».

– Подождите минуточку! – дрожащим голосом прервала её Алла Савишна. Игорь увидел, что она бледна и руки её тоже дрожат.

– Игорь Иванович, – между тем обратилась она к нему. – Вы... я...

– Я к вам, – подсказал он.

– Анастасия Федотовна, подождите пока. Я сейчас разберусь со служебными делами, и мы тогда решим, как нам быть, – начала оправдываться перед тёткой Алла Савишна и поспешила в совет, опережая Игоря.

«И почему это бабы всегда норовят впереди мужиков бегать? – подумал он, глядя на её быстрые ноги и не менее быстрые бёдра. – То ли в природе заложено, чтоб кто-то смотрел на их жопы, то ли они сами сговорились ещё в палеолите?..»

Алла Савишна прошла в кабинет, села за стол и стала что-то искать в своих бумагах. Сел и Игорь, огляделся и заметил, что бумаг стало меньше.

– Вам телеграмма, – нашла Алла Савишна бумажную полоску. – Сегодня пришла, на сельсовет...

– Откуда? – спросил Игорь.

– Из Шанхая, – ответила Алла Савишна.

Игорь взял телеграмму и прочёл: «Всея кельей пьем за ваше здорвье. Гитлер».

Игорь выразительно посмотрел на Аллу Савишну, пожал плечами, прочитал телеграмму ещё раз и только теперь заметил, что она не из Шанхая, а из Шамбалы.

«Шамбала... Белое братство... Далай-лама...» – подумалось Игорю.

– Что, Гитлер разве в Шамбале? – уж совсем беспомощно спросил он. – Писали ведь, что он покончил с собой... Ничего не понимаю! И при чём здесь...

Он не договорил. Дверь распахнулась, и на пороге объявилась счастливая Феня Арбузикова.

– Алла Савишна! – завопила она. – Я на работу пришла! Корябов теперь заместителем у Звончатского, а Звончатский из Москвы приехал – на баррикадах сражался!.. Георгиевский крест привёз!.. Игорь Иванович!!! Он, Алла Савишна, в дни путча вёл себя, как Зоя Космодемьянская! Идите, говорит, вы все от меня!.. Так и сказал, мол, идите...

Феня кинулась Игорю на шею и вылетела прочь, с визгом и смехом рассказывая о подвигах какого-то Звончатского, вернувшегося с баррикад, защищавшего Россию, которая не только спасла мир, а, наверное, Шамбалу и Шанхай...

Во всей этой суматохе и путанице Игорь забыл, зачем явился сегодня в сельсовет, скомкал телеграмму от Гитлера и уж собрался уходить, как над самым ухом услышал горячий шёпот Аллы Савишны:

– Приходите в сад!..

– Хорошо! – покорно согласился он, вышел на крылечко, снова прочитал скомканную телеграмму и огляделся вокруг.

«Приходите в сад!..»

– В какой сад? – спросил Игорь. Налево росли тощие акации, за сельсоветской оградой желтели молодые тополя на пришкольном участке, какие-то кустики росли в сельсоветском палисаднике.

– Может, в лес? – вздохнул Игорь.

И он решил сделать два самых неотложных дела – пообедать в совхозной столовой, куда две толстые поварахи таскали мешки из тракторной тележки, и найти сад, в котором ему сегодня назначила свидание Алла Савишна Напольская.

Это было у них первое любовное свидание. В бывшем церковном саду в тени чахлах акаций и обглоданных овечками яблонь обнимались они под луной. Игорь целовал её, мучительно горел и злился, что температура её тела, наверное, достигла температуры кипения воды, а целомудренным поцелуям ещё и конца не видно.

Он расстегнул её белую кофту до пояса – она не сопротивлялась, наоборот, вызволила из своей бабьей упряжи грудь, дала ему, как младенцу, и он, захлёбываясь от жадности, взял её горячим, сухим ртом. Вспомнилась купальская ночь, эта же грудь за стеклом, как в оружейной палате... Игорь чуть не всхлипнул от нетерпения, заскользил руками по бёдрам, пошёл под юбку, но тут Алла Савишна пресекла это скольжение и грубо отвела его руку прочь...

– Ну почему же? – заплетаясь языком, промямлил он.

– Целуйте меня! Целуйте! – обжигая его огненным дыханием, приказала она.

Луна стояла высоко, печально смотрела на них, ничему не удивляясь в делах человеческих, а, наоборот, даже скучая от этих дел, надоевших ей за столетия... Ночь, однако же, была тёплой, шершавой. В тени крутых берегов река текла как по чёрному бархату, попадая в косой лунный луч и вздрагивая от его морозного лезвия. Под горой, ломая бурьян, бродила какая-то скотина, в диспетчерской совхозной конторы играло радио.

«...Две главных дороги – любовь и разлука – проходят сквозь сердце моё» – в глухой ночи над дрожащей водою и одинокими могилами белых и красных бойцов звонко лилось меццо-сопрано.

– Я не могу больше! – всё-таки томно всхлипнул Игорь и положил её руку себе на затылок, чтобы она почувствовала, как взмокли его волосы, и наконец-то догадалась, что он – мужчина, а она – женщина и что за бесконечными по-

целуями, от которых уже одеревенел рот, должно наконец-то последовать продолжение рода.

«Если бы человечество только целовалось, оно давно бы вымерло», – досадно подумал Игорь и взмолился:

– Ну, идём же куда-нибудь!.. К вам...

– Нет! – огненно дохнула она ему в ухо.

– В сарай какой-нибудь... в поле! В поле солома... Я вас на руках унесу!

– Целуйте же меня!..

– Можно подумать, что вас никто не целовал!

– ...Отцелуйте... отцеловывайте за всю мою нецелованную молодость! За всё! За всё!..

Игорь немного пришёл в себя и слегка отстранился.

– Вы что, в тюрьме сидели? – усмехнулся он.

– В райкоме работала! – сурово ответила Алла Савишна.

– Ну и что? – продолжая усмехаться, Игорь отступился от неё подальше, не выпуская, однако, обнажённую титьку из своей руки и машинально лаская её. – Что, в райкоме целоваться не с кем было?

– Вы будто вчера родились! Работа с людьми, всегда на виду. Целоваться!.. Целоваться, а потом явиться на заседание с синими губами...

– Целовались же другие!

– В других и пальцем тыкали!

– В них не только пальцем тыкали, – подсказал Игорь, Алла Савишна почувствовала в его голосе уже совсем адскую насмешку и застыла. Стало совсем тихо, лишь скрипел шёлк – под шёлком Игорь по-прежнему нежно мял её горячую титьку.

– Грязный вы мужчина, Игорь Иванович! – сказала Алла Савишна и вздохнула тяжело, с прерывающейся дрожью, подавляя разом в себе и гнев, и рыдание.

– Почему грязный? – улыбнулся Игорь.

– Да потому, что на уме у вас одна грязь. О чём ни скажи, вы всё перевернёте на свой манер. Да не массируйте вы

меня! – вдруг разозлилась она, оттолкнула Игоря и наглухо, до самого подбородка застегнула пальто.

– Я вас не массирую, – сконфуженно пробормотал Игорь и тоже застегнул свою куртку.

«Вот и продлили род человеческий!» – усмехнулся он про себя и, поискав в кармане сигареты, закурил.

Луна сияла прямо над церковным садом, полынь на могилах казалась заиндевевшими зимними зарослями, такими, какими их рисовал художник Шишкин. Меццо-сопрано уже не пело, а гудела речь президента Ельцина. Скотина, выбравшись из-под горы, паслась на могилах, но в густой, аспидно-чёрной тени обелиска трудно было определить, кто это – телёнок или лань. Река под луной горела несказанной красотой.

– Алла Савишна, ответьте мне на один вопрос, – попросил Игорь и смолк. Молчала и она, глядя мимо него, в сторону обелиска, и прислушиваясь к шумевшему животному.

– Зачем вы меня позвали в этот сад? – спросил Игорь.

Она вздохнула и ответила:

– Не знаю. А зачем вы пришли?

– Я люблю вас! – нерешительно проговорил Игорь. – Иначе бы не пришёл...

– Не надо врать, Игорь Иванович! – жёстко перебила она его. – Вы одинокий мужчина и тянетесь ко мне, чтобы удовлетворить свои физиологические потребности, думая, что с одинокой женщиной вам это легко удастся. Вам хочется физических удовлетворений, а мне – душевной красоты. И лишь поэтому мы с вами никогда не сойдёмся в едином размышлении о любви. Я никогда не любила, но знаю: что-то есть! И знаю, что это так же редко, как выигрыш по лотерее. Я же ничего и никогда не выигрывала. Просто я одинокая баба... Вот и всё.

– У вас комплекс неполноценности. И знаете почему? Да потому, что вы с семнадцати лет работали только в райкоме. В райкоме, райисполкоме, в сельсовете вот сейчас...

До большой шишки вы не дослужились, не смогли. Может, совесть не позволила. Может, духу не хватило. А может, не пустили просто вас. Спиной загородили. Вы всего лишь и подошли посмотреть из-за любопытства, что же там, в раю, в рай-коме, в райской комнате, а вас за ушко, как школярку, да вниз, вниз, ближе к раздевалке. Вот вы возле райкомовской раздевалки-то и сформировались. Они, шишки-то, в саунах такое творили, что и Эдичке Лимонову вовек не приснится, с догами да овчарками, а вы поцеловаться боялись. Потому что вас уже раз спустили за ушко к раздевалке, так вы и стали вроде как мышкой-норушкой. Господи, какая ночь!.. Луна! Взять бы бутылку вина да в поле, нагишом в соломе покататься!..

– Я уже немолода, чтобы голой по соломе кататься, – сухо заметила Алла Савишна. – Развратный вы мужчина, Игорь Иванович! А теперь о себе послушайте.

– Ну-ка! Ну-ка! – повеселел Игорь.

– Развратный не в смысле всяких катаний нагишом с болонками и овчарками. О ваших игрищах ещё Петроний сочинил, так что не хвалитесь. Вас развратила работёнка, настоящего-то мужчины и недостойная. Вы сидите в клубе и ничего не делаете. Только книжки читаете. А в промежутках клоуна корчите. От праздности всё это! То летучих мышей под потолком, как голубей, гоняете, то ёлку жжёте, то ворота дёгтем мажете...

– Я?! Ворота?! Как вы... ка-ак вы смеете?! – завопил Игорь, забыв о всякой таинственности любовного свидания в церковном саду.

– ...если б вы наломали хребет на ферме с вилами или на тракторе, то вам некогда было бы так ин-те-рес-но жить. А ваша интересная жизнь – от безделья! Безделье, даровое жильё, хорошая зарплата развратили вас. И музыканта из вас великого не получилось, и клоун не вышел, и артист вы бездарный. А почему? Умеете то, умеете другое и ничего... не умеете. Потому что всякое умение требует труда. А вы –

лодырь! Ваша жизнь ещё хуже моей. Я хоть людей не сме-шу. Знаю, что никто, так никем и доживаю. Да, в раздевалке сформировалась. А вы где? Вам чаевые, как половому, советская власть платит, а вы не брезгуете – берёте. И на советскую власть клеветеете. Всё кого-то удивить пытаетесь. А удивлять не можете – сил маловато...

– Алла Савишна!

– У вас даже борода не растёт. Три волоска, как у Хо Ши Мина. И лицо не бабье и не мужское...

– Алла Савишна! Отдайтесь мне сейчас же! Я вам покажу Хо Ши Мина!..

Алла Савишна не дослушала и пошла прочь. Игорь бросился за ней, но опомнился, остановился и, схватившись за ветку акации, начал её ломать и коверкать.

«Куда я? – в тоске и злобе подумал он. – У меня уж не стоит на неё. И не встанет теперь до гроба. Хо Ши Мин! А может, всё-таки отодрать её? Отодрать, чтоб мозоль на клиторе вскочила!..»

В голове его загудело, кровь опять пошла толчками, кровью наполнился даже рот. Игорь сплюнул и сломал ветку. Луна печально светила с высоты, безмолвно лежали чёрные тени, лишь животное паслось на братских могилах, поедая траву, а может быть, и венки.

Игорь надел перчатки и тихо, как убийца, пошёл в ту сторону, где жила Алла Савишна. Сквозь голые деревья он ещё издали увидел свет в её окне, остановился, снова закурил и долго смотрел на окно. Волосы его опять стали мокрыми, по спине покатился холодный пот, проник под брючный пояс и клейко пополз между ягодицами...

«Тьфу, чёрт! Словно обделался! – пошевелил он тазом. – От страха, что ли. А вдруг она девственница?! Сколько же ей лет? Тридцать пять? Сорок?»

Он подкрался к калитке, взялся за скобу и облегчённо вздохнул – заперто! И снова долго стоял, тревожно прислушиваясь к себе и окружающему миру, прислонясь к калитке

лбом и вдыхая запах гнилого дерева. В калитке звенел сверчок. Осторожно, боясь что-нибудь задеть в густой тени дома, Игорь подкрался к окошку, поднялся на цыпочки возле палисадника и сквозь жидкий тюль увидел, как Алла Савишна, низко склонившись над столом, что-то пишет.

«Не письмо ли мне?» – мелькнула у него шальная мысль. Он отыскал ногой поперечину на палисаднике, взялся за штакетник и приподнялся выше... Теперь он отчётливо разглядел всю комнату. На голой стене висели часы-ходики с ручкой от сковороды вместо гирьки и отрывной календарь, в углу стояла голая этажерка без книг...

«А этажерка-то зачем?» – подумал Игорь и почему-то вспомнил человеческий скелет на уроках биологии... Сама Алла Савишна в белой шёлковой кофте, в той самой, под которой совсем недавно Игорь что хотел, то и делал, сидела за столом и писала в толстом гротеске.

«Что это она там плетёт? – усмехнулся Игорь и соскользнул с поперечины. – Ходики со сковородками, писанина амбарная... Поди, тем, кто не поддержал путч, трудодни начисляет...»

Ему сразу стало тоскливо и захотелось спать, а ещё надо было идти в Покровку через тёмный лес, который в лунной мгле казался страшным и мёртвым.

– Что вы хотите? – спросил Игорь, бредя по сверкающей пустынной дороге.

«Чуда!» – тотчас ответил в нём самый глухой и нежный голос Аллы Савишны и замер, утонул в сердце. В бледной пыли мелькали искры, белой пылью вспыхивал обелиск.

Игорь остановился напротив расхлябанных, открытых настежь ворот кладбищенской ограды и изрёк:

– Не красота спасёт мир! Мир спасёт чудо!

Из ворот вышла комолая корова с седлом на спине, остановилась и посмотрела на него лунными глазами.

XVI

Седой и тихой была нынешняя осень. По вечерам, как перед летним ненастьем, пахло левкоями и петунией, пьяная грибная сырость бродила по лесам и высоко в воздухе звенела серьга молодого месяца.

В тёплый вечер нарядного бабьего лета отправился к Зимнему омуту откапывать свой ад Игнат Жвастиков. Темнело, летели журавли. По дорожке, протоптанной ягодниками сквозь крапиву и дикую морковь, особенно пахучую у воды, Игнат дошагал до омута, остановился и принялся обирать с себя ряпуховую ость.

Сухая осина на фоне пламенного оранжевого заката чернела зловеще, как кол. По горелому сучку бегал отблеск реки, чернели и два дупла, казалось, осина следила за Игнатом, дурашливо разинув оба своих рта.

Игнат оглянулся, заметил дальний боярышный куст, уже погружённый в вечернюю темноту, но ещё заметно державший в непролазной путанице ветвей, как слабый уголь, багряный листок, вынырнувший из его подполья и загоревшийся на закате, различил и сорочки гнёзда, смытые сумеречной мглой в одну кучу.

– Тэ-экс! – довольно сказал Игнат, подошёл к осине и стукнул лопатой по её сухому стволу. Осина вздохнула и промолчала, а Игнат стал копать. С тех пор как он, насмерть перепуганный государственным переворотом, закопал силуэты своего ада, прошёл месяц. Землю вокруг осины обильно припорошило листвой, и, сразу наткнувшись на корень, Игнат понял, что копает не там. Он отступил, посмотрел на горелый сучок, похожий на нос Гавриила Попова, оглянулся на боярышный куст, теперь уже утонувший в темноте вместе с красным листком, и стал копать снова. Лопата опять нашла в земле что-то твёрдое, и Игнат понял, что попался корень. Он с силой ударил по нему, корень зазвенел, осина охнула и рассыпала опилки из обоих ртов. Подул ветер, задвигались,

щёлкающая и ломающаяся, черёмуховые кусты, кто-то крикнул у реки, смолк и запел... И снова стало тихо. В тишине Игнату почудилось, что кто-то следит за ним.

– Подлая нервная жизнь нашей страны скоро сведёт меня в могилу, – проговорил он, сел на корточки, боязливо озираясь вокруг. Тихо валились листья в черемошнике, где-то далеко в деревне мычали коровы.

– И дался мне этот ад! – стукнул Игнат кулаком по земле. – Пусть он гниёт в земле! Других силуэтов настригу из копирки. Правда, копирку теперь не купишь. Дорогая, собака! Дожились, етти твою мать!.. Даже ад создать не из чего!..

Он встал и снова ударил лопатой. Хряснул в земле корень, осина пошатнулась, и к ногам Игната упал жёлтый человеческий череп...

– Ни хрена себе! – только и промолвил Игнат, глядя на череп. Наконец он дотянулся и взял его. В черепе торчал сломанный сучок, видно, череп и висел на нём, но от удара сук обломился и упал с осины вместе с черепом. Разглядывая большой выпуклый нос, острые жёлтые зубы, Игнат долго гадал, какой же национальности был носитель этого черепа, и наконец догадался, что череп по своему строению принадлежит не человеку, а барану.

– Тьфу, чёрт! – плюнул он и швырнул череп в репейники.

– Бе-е-е-е! – проблеяло из репьев человеческим голосом.

Игнат затих, насторожился, косясь то на куст с сорочьими гнёздами, то на черемошник, принялся копать, легонько выскребая землю под себя и мысленно кляня весь белый свет с демократами и охлократами, из-за которых человеку не дано свободно говорить о движениях своей души в окружающем мире.

«Надо немедленно вырыть ад и доработать. Может, я его в Париж или в Нью-Йорк продам с какой-нибудь международной арены. Теперь к нашему брату, особенно совхозным самородкам, всякие заграничные фуфульки проявляют интересное наблюдение. Вон, слышал я, у нас в Крутинском районе свой

Чюрленис завёлся. По телевизору показывали. В Париже, говорят, его картины купили. А я чем хуже? С адом-то я непременно в круг мировой известности войду», – думал Игнат, выгребая землю вокруг осины и совершенно не понимая, куда могла исчезнуть его папка с силуэтами из копирки.

Лопата опять обо что-то стукнулась. Игнат ткнул глубже, было похоже, что в земле лежала железина – какая-нибудь шестерёнка от трактора или болт от комбайна... Он копнул ещё раз, в земле вспыхнуло и погасло. Игнат встал на четвереньки и заглянул под осину, в вырытую яму. В её крошечной темноте что-то тоненько светилось. Игнат осторожно пальцем дотронулся до этого сияния, и в яму сейчас же что-то с грохотом съехало, громыханьем своим напоминая покрывку от кастрюли, а в лицо ему ударило холодом и блеском. Игнат зажмурился и когда открыл глаза, то в яме увидел горшок с золотом...

– Не может быть! – ахнул он, задрожал, как в лихорадке, и выволок горшок наружу. Горшок был полон золотых монет. Игнат зачерпнул их пригоршней и, дрожа ещё пуще прежнего, не попадая зубом на зуб, принялся жадно разглядывать. Монеты сияли. На многих из них горели двуглавые орлы, львы, какие-то грозные лица и скипетры, а вот вдруг мелькнул и потерялся в огненной гряде оловянно-убогонький кругляшок с профилем уголовника, чем и вспугнул ошалевшего от восторга Игната.

– А это ещё откуда? – одновременно испугался и возмутился он. – Как этот-то сюда закатился?

Он немедленно погрузил в горящее золото обе руки, перерыл все монеты, пытаясь выловить кругляшок, но так и не нашёл его.

– Чертовщина! – плюнул в сторону Игнат. Плевок попал на что-то. Игнат поднял голову и увидел перед собой на бугорке седого старичка в реможной овчинке. Левый лапоть у него был надет на правую ногу, а левая нога была босая... Старичок вытирал с бороды плевков и улыбался.

– Брысь! – совсем очумев от страха, рывкнул Игнат.

Старичок растаял, зато возник пенёк с дряхлой берёстой и овечьими рожками.

– Бе-е-е! – опять раздалось в кустах, послышался мокрый шлепок, словно кого-то ударили по голой заднице, шумно плеснула вода... В воде кто-то плавал и блеял.

Игнат поднялся, крепко обнял горшок с золотом и стал пробираться к омуту. Сухие репейные шишки налипли на него со всех сторон, однако, не обращая на них пока никакого внимания, Игнат присел под черёмухой и, вытянув шею, старался разглядеть, кто же там барахтается в воде. Куст был уже гол, но перед самым лицом плотно стояла некошеная таволга, вся в жёсткой зелёной листве, застывшей к осени и гремящей, как фольга, при малейшем движении. Вода светила совсем рядом, под ногами, сонно шлёпала о берег и шелестела в осоке, но того, кто плавал, Игнат всё ещё не мог разглядеть.

Держась одной рукой за ветку черёмухи, а другой крепко обнимая горшок, он подвинулся ближе, смял таволгу и увидел в омуте голую бабу... Баба, кажется, тоже увидела его, ушла с головой в воду и, высоко выставив зад, забулькала ногами.

– Ишь ты, корбеча! – торжественно простонал Игнат.

Баба, словно почувствовала, что ею любуются, перевернулась на спину и поплыла к другому берегу, весело подбрасывая себя в воде и как будто приглашая Игната проделать то же самое...

– Зазывает! – отметил Игнат и уронил изо рта слюну.

Надо признаться, что радость по поводу Физкиного отчуждения у него была недолгой. Вдохновенно создав ад из чёрной копирки и усохнув от творческой аскезы, Игнату снова захотелось побаловать свою плоть. Однако законная его жена Физка разделить плотское баловство отказалась. Игнат применил силу. Физка тоже применила силу. Оба нанесли друг другу боевые ранения – Игнат Физке посадил синяк под

глазом, Физка на его румяной щеке оставила фиолетовый след своих когтей... Плоть бушевала и вставала во весь рост прямо на народе, и Игнат вынужден был постоянно держать одну руку в кармане брюк, чтобы усаживать её хотя бы на корточки... Вскоре нижняя часть его туловища онемела. Походка, как у Понтия Пилата, стала кавалерийской, потому что меж ног образовалось чугунное ядро. Организм близился к катастрофе – к параличу или разрыву тазовых костей... Но тут в стране произошёл государственный переворот, и плоть его снова усохла. Сухой, как килька, она оставалась до сегодняшнего дня, но вот проклятая голая баба, булькаясь в холодном осеннем омуте, опять подняла её на дыбы...

– Ну, плыви сюда! Плыви сюда! – томно позвал он бабу и, уже не прячась, отпустив ветку, сполз под обрыв – Плыви, родненькая! Плыви, сладенька-ая!.. Омут-то глубокий... Холодный омуток! Застудишь писю! Плыви, неси мне её сюда! Замерзла она у тебя... Сла-а-аденькая-а...-я-я!

Баба, восторженно повизгивая, кувыркаясь у другого берега, то и дело показывала Игнату беломраморный зад. Кровавая муть, как у Хлопуши, застлала, залила ему взор. В ушах грянули барабаны. Он и сам весь загремел, зазвенел, вытянулся, налился боевой кровью, прыгнул вперёд и уронил горшок в омут. Выстрелив золотым горящим столбом, все монеты с орлами и скипетрами мгновенно ушли на дно, лишь один кругляшок, похожий на бедненькую оловянную медальку, плавал по воде... Злость, как плётка, ударила Игната по лицу.

– Убью, сука! – заорал он и прямо в сапогах и репейных шишках плюхнулся в омут и погнался за бабой. Баба отчаянно кинулась к берегу.

– Сто-ой! – завопил Игнат. – Стой, убью!..

Баба копошилась уже в осоке и, видно, никак не могла выйти на сушу, вот, кажется, за что-то ухватилась, выползла на косогор и скачками, как коза, рванулась в поле... Выскочил из воды и Игнат, сбросил на ходу сапоги, в несколько

прыжков догнал бабу и резкой подножкой уронил её под себя. И, уж больше не видя ничего, даже кровавой мути, давась стонами и похабщиной, крепко вонзился в бабу и начал яростно вбивать её в землю, обдирая в кровь свои колени и локти...

Опамятовшись, он сразу же вспомнил о горшке с золотом. Держась за сердце, чтоб оно не выскочило, и захлёбываясь собственным дыханием, Игнат кое-как сел и потянул штаны, сброшенные в ногах мокрым комом вместе с трусами.

– Ах ты, кобель, ты, кобель! – сказала баба голосом Физки и тоже села. – До чего же ты, кобель, изблядовался, что лезешь на кого попало, совсем не думая, что занесёшь СПИД или мандавошек...

– Физка?! – разочарованно удивился Игнат и поник головой.

«У меня всё не так, как у людей, – тоскливо и безнадёжно подумал он. – Думал, поди, артистка какая купается или сама ведьма, а это Физка. Домой придёшь, там ты сидишь. Чтоб пропала бы совсем!»

Физка тоже тараторила:

– Я овечек искала, а вода-то тёплая, как летом. Дай, думаю, искупаюсь! Овечек-то выгнала из-под горы да и нырнула. Вода-то, как шёлк. Плаваю да ныряю! Плаваю да ныряю! А он, откуда ни возьмись, налетел и изнасиловал...

– Подь ты на хер! – грубо оборвал Игнат. – Изнасиловал... Сама мне жопу из воды показывала. Я твою жопу-то в любой толпе узнаю. Изнасиловал!.. Я клад нашёл, горшок с царскими деньгами. Может, сам Колчак зарыл или Врангель...

– С чего здесь Врангелю-то взяться! – возмутилась Физка. – Врангель в Забайкалье воевал, Перекоп брал! Ты ведь, Игнашка, сроду из двоечников не вылазил, а туда же, куда и философы... Корчишь из себя знатока жизни! Я одна лишь и маюсь с тобой. Один-то пропал бы совсем! Гляди-ко, пойти куда нельзя! Поймает и изнасилует! Горшки с деньгами он ищет!.. Золото тут оставили для него с древних времён!..

Баб шупает по черемошникам. Думаешь, шланг промеж ног болтается, так и всё позволено? Ага! Держи рот шире!..

Тут Физка размахнулась и огрела Игната кулаком по уху. В ухе сразу запели серафимы...

– Т-ты...эт-то, грабли-то не распускай! А то я...

– Что я? Что? – завизжала Физка. – Гони овечек домой, дурак барбосович! Я за юбкой пойду. Там юбка и кофта на берегу брошены... Вот кобель так кобель! Горшок он нашёл! Горшок с говном! Завтра же иди, сдавай кровь на СПИД!..

– Ты меня, что ли, СПИДом-то заразила? – окрысился Игнат, с ненавистью глядя на беломраморные, с налипшей землёй бёдра Физки! Это ты по ночам в омутах пучкаешься, жопу всем показываешь. Вот и проверяйся сама!..

Физка молча ещё раз заехала Игнату по морде и пошла к реке, презрительно двигая бёдрами, а Игнат слепо глядел вслед и думал, что, если бы он был турецким султаном и эта самая Физка попалась ему в плен, он тут же бы посадил её на кол...

XVII

Тёплым осенним вечером бродил по косогору и Игорь Глинов.

– Скучно человеку без воображения жить на земле, – размышлял он. – А воображения общество не приемлет. Воображение – как чертополох. Ничего страшного. Растение как растение. С цветками и листьями. Колочее. И роза тоже колочая. Однако розе на любой клумбе – почёт и уважение. Чертополох же и в чистом поле выдернут! За что? За то, что чертополох. Так и воображение. Страшно оно... Чем? Да тем, что воображение – это чудо. Оно аномально, необъяснимо. Выскакивает из любого стереотипа. И цветок тот же, и иголки те же, а что-то не то. Не то, как у всех.

Жёлтые ивы дремали над чёрной рекой. Осенняя звонкая

вода ломалась на развалинах старой мельницы, сгоняя пену к берегу, в заросли рогоза и осоки. Глядя в воду, Игорь вздохнул:

– Если бы каждый из нас сотворил чудо, мир бы изменился. Если бы каждый из нас дал хоть маленькую течь в этом проклятом колоссе, созданном из стереотипов, колосс бы размыло и он бы развалился. И мы стали бы жить иначе. Интересней! Н-да-а! Но дело в том, что из наших чудес тоже может сложиться свой колосс, в котором мы будем лишь ма-а-аленькими винтиками.

Он спустился под гору, взобрался на старую узловатую вербу, сел в развилке ствола и, любуясь златотканой от жёлтой листвы рекой, подумал, что хорошо бы жить здесь, в верхушке дерева, построив какой-нибудь скворечник в человеческий рост, утеплив его стекловатой, соорудив печурку...

– Жить в скворечнике с видом на омут! – ещё тяжелее вздохнул Игорь. – Водить к себе Аллу Савишну!!! Печь картошку и лежать нагишом на жарком мохнатом полушубке, слушая свист вьюги в вербе... Или в лунную зимнюю ночь, когда всё так блещет, так и блещет!.. Пить вино! Вино «Южная ночь». Да-а!.. «Южную ночь»... Переливать изо рта в рот. Она – мне. Я – ей. Или розовый портвейн. И играть в любовные игры, как на фресках из Помпей. Но – утонченнее! Изысканнее! То прикладывая лёд, в Помпеях-то льда не было. Зато его в избытке в России, только здесь не до любовных игралищ... То прикладывая лёд, то обмываясь вином и – м-м-м! – выпивая это вино!.. Она – моё! Я – её! Осень. Дионисийские праздники. Цветут настурции, шелестят осинники... Ох! Осенью сесть за низенький столик, на столике – виноград, гранаты, груши, сливы... Я сижу, как Приап, положив его на столик между сливами и виноградом. Она ест сливы и глядит на н-е-г-о, не отрываясь. А я чин чинарём. В белейшей рубаше, в галстукe с алмазной заколкой, как у Брежнева. Делаю вид, что ничего особенного не происходит. Рассказываю ей какое-нибудь приключение

в старом монастыре на мельнице. Или об НЛО. Она ест и глядит. Ест и глядит. А я рассказываю. Она изнемогает! И всё глядит!.. «А не выпить ли нам вина, Алла Савишна?» «Да! Да!!» – стонет она. «А не съесть ли нам шоколад?! Шоколад "Гвардейский"...» Иду с ним, освобождённым и сильным, за бутылкой вина или за шоколадом. Приношу ещё слив и яблок. Играю на аккордеоне... Играю, конечно же, «Болеро» Равеля. Итак, Равель, играем «Болеро»! «Болеро» – горячесмазочный материал для параноиков и женщин!!! И всё с ним... Она на грани обморока. Она уже у той черты, за которой начинается половое зверство. Зверство во всех вариантах. Чем больше женщина звереет, тем больше нравится она... Алла Савишна! Помрёшь, не познав оргазма! Смерть познаешь, а оргазм – нет. А мы ведь и смертны лишь потому, что познаём оргазм. А тот, кто его познал, должен остаться бессмертным. Выбирай, Алла Савишна! Оргазм или бессмертие?

Игорь шумно пошевелился в вербе, скрипнул стволом и замер... Послышался плеск воды, кто-то, кажется, запел. Потом с бляньем по косогору прокатились овцы, и снова слышался шлепок в воде. Лукавая волна подошла к берегу и лизнула вербу.

Игорь осторожно переместился в верхушке, подняв, однако, целый вихрь жёлтой листвы, переждал, пока она осядет на воду, и выглянул... На берегу, недалеко от вербы, стояла голая баба. Похлопывая себя по бёдрам, она медленно сошла в чёрный, сверкающий сталью омут, поплыла, разбудила воду, разбила её на серебряные, сизые с налипшей вербной листвой зеркальца, нырнула задом кверху, обрушив себя в бездну, и снова поплыла, вихляя всем своим туловищем. Потом вышла на берег, опять похлопала себя по мокрому, видно, остуженному в воде телу, опять поплыла... Теперь уже крупная волна, величаво покачиваясь, медленно поцеловала подножие вербы и, вздохнув, начала укладываться на ночлег в камышах, снимая с себя кружево. Со следующей волной приплыла сама баба и, просвечивая

сквозь воду, как сквозь хрусталь, принялась плескаться под вербой, омывая себя безо всякого стеснения, зная, что в этот вечерний час она здесь одна... Чтобы не упасть с вербы, Игорь мёртвой хваткой впился в сук. Баба, серебрясь наготой, плавала, как в аквариуме, и Игорь, затаив дыхание и отстранив лоскутную золотую ветку, смотрел на неё из окошка своего скворечника...

«Кто же это?» – подумал он. Но тут на другом берегу, весь в репьях, с горшком под мышкой выскочил мужик и козлиным голосом принялся уговаривать бабу. Баба брызгалась и кувыркалась в звонкой осенней воде...

– Убью, сука! – вдруг рявкнул мужик, отчего Игорь вздрогнул и сразу же узнал Игната Жвастикова. Узнал и бабу – его жену Физку. Не шевелясь, опасаясь стряхнуть хоть один листок, он примёрз к вербе и с её высоты видел, как Игнашка догнал в поле нагую жену свою и свалил её...

– Во живут! – с горькой завистью вздохнул Игорь. – Вокруг мрак и холод, а у них всё – любовь да романтика!..

Ему вдруг стало очень тоскливо. Он болезненно почувствовал в себе какую-то незаконченность, какую-то прореху в душе, в которую пришла эта бескровная странная тоска сейчас вместе с золотой вербой, чёрным омутом и ясным морковно-оранжевым закатом, со всей красотой смиренного осеннего вечера, сам себе показался неоконченной фреской. Всё уже есть – и стена, на которой он воздвиг себя, и пылающие крылья за спиной, и белоснежные одежды, такие же, как пена, остановившаяся сейчас в осоке, однако нет какой-то малой, но самой главной детали, без которой фреска ещё мертва и уныла... Он мучительно принялся искать, какой именно не хватает детали, и догадался, что в его руке нет свечи. А потому некуда лететь, нечем озарять путь. Он, словно в тёмной норе, а куда идти – не знает. И крылья, и одежды его – тоже в норе, и, если он сейчас их не вынесет из тьмы, они обветшают и рассыплются пылью...

Явилась Физка, забрала кофту и юбку, оделась и по ко-

согору, на фоне красного заката, чёрная, как негритянка, достойно сотрясая свой бюст, отправилась в деревню.

Игорь слез с вербы и тоже отправился домой. В клубе было темно и холодно. В углу боковушки он нашёл ещё остаток самогонки, выпил, взял свой драный полушубок и зарылся в кучу зерна. Проснулся он от влажной душной жары. Полушубок и вся одежда на Игоре были мокрыми и горячими. Окна светились от звёзд, роса текла по стёклам, казалось, кто-то стоял там, огненный, косматый, и дышал на них... Игорь разделся донага и лёг на кучу, покачиваясь, как на волне, поплыл в предгрозовом тропическом океане, то погружаясь в зерно, то поднимаясь над ним. От движения кровь его снова пошла толчками, жадная, тяжёлая похоть, глумясь и стеная, оседлала его и погнала сквозь ночь, обжигающую сырым жаром, он заскрежетал зубами и разорвал на себе ещё оставшийся какой-то лоскут, наверное, набедренную повязку, выскользнул, как из чрева или из тёмной норы, в которой сидел ещё недавно, и мокрый, нагой, бескрылый отпустил себя на волю, пока не брызнул семенем. Всё ещё двигаясь, как бегун, которому нельзя останавливаться на месте, чтобы не разорвалось сердце, он уже стал засыпать, как вдруг в тропическом океане рядом с ним поплыла негритянка Физка Жвастикова. Толкнув его горячим липким телом, она выплыла вперёд и кувыркнулась задом кверху. Игорь укусил её за зад, она взвизгнула и поплыла быстрее. Пытаясь схватить её, он снова бешено погнал себя и, кусая в кровь губы, снова брызнул семенем... Где-то уже глубоко ночью, в душном африканском мраке, ему приснилась сама Алла Савишна. Она легла рядом, обнажила тяжёлую грудь... Игорь торопливо стал искать вход в её лоно, но терзаемый горестной догадкой, что это не Алла Савишна, а всего лишь сон, уже семя испустить не мог. Она обнимала его и толкалась ему в губы росистой грудью, а он всё хотел сказать, что они одни в темноте, где-то в сыром подzemелье, что у них нету

свечи и им вовек не выбраться отсюда, но не сказал, а заплакал, облив её слезами.

«От слёз детей не бывает», – сказала Алла Савишна и пошла в президиум. Игорь бросился за ней, споткнулся о кучу зерна и проснулся.

Звёздная ночь плыла в окнах, всё так же было душно и жарко. Игорь поднялся, постоял на коленях, отряхнул с себя налипшее зерно и лёг на спину, прикрывшись рукой, как спящая Венера...

XVIII

Игнат всё-таки решил достать из омута горшок с золотом. Он пришёл туда днём, когда лучи солнца, расщеплённые верхушкой сухой осины, лежали в воде от берега до берега – казалось, лесная царевна, утопив свой костяной лик в огненном венце, лениво шевелила мохнатым золотым веером.

Было уже первое октября, но осень стояла тёплой, ясной, лишь в поредевших рощах сквозил блёклый голубой простор. Студёная вода в реке пахла свежим огурцом, серебрились безлиственные боярышники, и всё печальнее становилось жить на свете.

Сначала ожёгшись водой, словно порезавшись ею, Игнат сосулькой ушёл на дно и сразу ожил, распустился в осьминога, начал суетливо перебирать руками и ногами, словно процеживая через себя хлипкий речной планктон. В воде было мутно от солнца. Узловатые, бугристые корни черёмух, продевшись друг сквозь друга, как страшилища на средневековой картинке, спали до Судного дня. Кокетливо сверкали рыбки, а вот объявился и сам хозяин омута – с волосьями на бурой змеиной коже – корень аира.

Игнат вынырнул, отфыркался и ушёл снова в чужое подводное жильё, касаясь то илистого топкого дна, то склизких корневищ.

«В нашей голове, наверное, тоже всё так переплелось», – подумал он и пошёл кверху...

– Ну вот где его теперь искать, этот горшок с золотом? – жалобно спросил он, убирая с лица мокрые волосы. – Может, тут какой-нибудь Гольфстрим действует? И давно этот проклятый горшок унёс в океан!.. Не-е, Файка так бы не поступила, как Физка! Не-е-е! Она бы не стала жопу из воды показывать законному мужу! У-у, морда краснорылая! Дура! Навек спеленала и меня своей дуростью!..

Дрожа от холода, он снова нырнул и ничего не нашёл, лишь бестолково взбаламутил песок и чуть не выбил себе глаз какой-то палкой. Дрожа и матерясь, Игнат выскочил из воды, оделся и посмотрел на другой берег, где под осиной зарыл свой ад. В горящем венце теперь тонула её шея, а лик был закрыт острым башлыком, как у инквизитора.

– Пр-рроклятая Физка! – прорычал Игнат и тут же решил её за похоть и непотребное кувыркание в воде снова сослать в ад. Только теперь он этот ад создаст не чёрным, а огненным. И врагов своих будет выстригать только из красного флага, чтобы они жгли себя завистью, жадностью и кровью. Морда Физки в минуты сладострастья всегда похожа на красный флаг, хоть надевай на батог и иди на демонстрацию. Он где-то читал, что иные дамы бледнеют, становятся сладостно-мертвенны, нежны и прекрасны, они мужчину не забивают барабанным боем, а слушают его, как аккордеон, как пение ледяной трещины где-нибудь на Северном океане, на Обской губе или на Витиме... Мужчина медленным пением втекает в них и тоже слушает, как пьют его пение... Физка же всегда с одышкой, беспорядочно лепеча что-то на птичьем языке, торопливо, будто овец загоняет... Есть, правда, Файка. Но есть ли у неё мужики? Говорят, что она живёт с Глиновым. Правда, никто не видел, как они делают эту свою жизнь, когда на какое-то время мужчина и женщина, соприкасаясь друг с другом плодотворными точками, превращаются

в сиамских близнецов. Но Игорь одинок. И Файка одинока. Почему бы им не пожить в Сиаме?

– И живут, конечно! – вздохнул Игнат. – Только Глинов не болтает, как наш брат деревенщина. Сливаются и помалкивают. И Файка бледнеет и слушает... Не могу представить!!! Сливаются... Втайне от правительства и сельсовета. В общем, воровством занимаются. А за воровство их тоже надо сослать в ад! К Прасковье Васильевне надо сходить, посоветоваться насчёт ада.

В огороде Прасковьи Васильевны топилась баня, и Игнат сразу же направился туда, догадавшись, что в бане, наверно, сушится лён. Снопки льна в суслоне стояли возле поленницы дров, тут же на скамейке сидела и сама Прасковья Васильевна, читала газету и усмехалась.

– Здравствуйте! – поздоровался Игнат и спросил: – Над чем смеётесь?

– Я не смеюсь, а рыдаю, – ответила она и развернула газету шире. – На месте Горбачёва я бы давно запретила районные газеты. Пользы от них нет никакой, только нацию дискредитируют.

– Как? – не понял Игнат и сел рядом. – Нацию... Чего делают?

– Ты только взгляни на фотографии! – возмутилась Прасковья Васильевна. – Это что за большеротые уроды в брызгах грязи на лице?!

– А что за газета? – спросил Игнат. – «Призыв»?

– «Ленинец». Вчера племянник Андрей из Гольшмановского района привёз. Это ужас какой-то! Мы негодуем, что на нас немцы смотрели как на самый низший человеческий сорт. Не надо никакой пропаганды, подсунь солдатам такие газетки и скажи: «Вот каракатицы неумытые, большеротые и большеносые, занимающие самую богатую землю в мире, идите и растопчите их, а землю с алмазами и чернозёмами возьмите себе!». И пойдут! Мы сами себя пропагандируем почище всякого Геббельса. Пишем безграмотно, фотографии ляпаем та-

кие, что и Сатане не приснятся. Да не знай я, что в фотографиях там вечно сидит какой-нибудь малограмотный пьющий мужичонка, я бы уверенно решила, что фотокорр районных газеток – яркий представитель враждебной человечеству силы. Он умышленно так уродует людей, как уродуют их всякие авангардисты. Но те стараются ради собственного престижа. Сейчас ведь престижно уродовать людей и природу. За это деньги платят. А этот... Ну просто диверсант какой-то! Из царствия тьмы. То бишь из царствия пьянства и невежества.

Прасковья Васильевна бросила газету и замолчала. Игнат вздохнул, посмотрел на её пустой огород, где на одной половине она сеяла лён, а на другой сажала картошку и овощи.

– А я ад сотворил, – сказал он. – Только закопал под осинной вместе с вашим Бенедиктом Спинозой, а откопать не сумел. Пропал где-то в земле. Зато клад нашёл – горшок с золотом!

– Вон чего! – удивилась Прасковья Васильевна. – Бенедикта откопай непременно. У него там «Этика».

– Так потерял, не могу откопать. И горшок утопил.

Прасковья Васильевна снова взяла газету и, улыбаясь, начала читать её.

«Не поверила!» – подумал Игнат и сказал:

– Ей-богу, утопил горшок. Полон царских монет. С орлами и прочими скафандрами. Тяжёлые монеты! А меж ними один наш железный рубль закатился... Прямо метафизика какая-то...

– Игнашка, хорошо, что сейчас перестройка. А то тебя в сумасшедший дом посадили бы, – перебила Прасковья Васильевна.

– И вас бы тоже посадили.

– Меня-то за что?

– За то, что лён сеете и на этом льне чёрт знает что избражаете. Все люди как люди. Картошку сажают, копают, государству сдают, а вы половину огорода льном засеяли. Тоже из трёхмерного пространства... того... выбились.

Прасковья Васильевна покачала головой, потом ушла в баню, подложила в каменку дров и, вернувшись, спросила:

– А что такое ад?

Игнат, прислушиваясь к дальнему крику летящих в небе казарок и жёсткому шелесту подсолнуховых листьев на меже, сначала не расслышал вопроса, очнулся от грёз и тревожно посмотрел в её лицо.

– У вас Чёрное море играет в глазах, – сказал он.

– Нет, Средиземное, – поправила Прасковья Васильевна. – Пращуры мои – фриульские славяне, жившие в Северной Италии. Может, от Италии и любовь к искусству...

– А-а! – протянул Игнат. – Интересная вы...

Он хотел сказать «баба», но сдержался и, улыбнувшись, подумал: «Метафизика».

– Так что же такое ад? – спросила опять Прасковья Васильевна. – Каким же ты сотворил его?

– Чёрным, – ответил Игнат. – Я людей, враждебных моему настроению, погрузил в темноту. Следующий ад я сделаю красным. То есть огненным! Вы же сами говорили, что этот... этот... Босх, да? Босх исправлял людей адом. То есть тьмой, огнём. Погрузить в чёрное – значит вычеркнуть, вымарать их вообще. Нету их! Так же, как и огнём – сжечь! Ад – то тьма, то огонь. А вообще-то, по моему, ад – это...

Он опять чуть не сказал «метафизика», но подумал и определил:

– Мифология.

– Нет, ад – это философия, – тихо сказала Прасковья Васильевна. – Философия страха. Да я ведь уже говорила об этом. Не тьма и не огонь. И Босх, пожалуй, людей исправлял не адом, как мне казалось, а мыслью. Своею мыслью. Адом не исправишь. Ад – это провал. Ничто. Пустота. Провал в ничто. В пустоту. Ведь и тьма, и огонь – это стихии. Каждая стихия перерождает и возрождает. Значит, полного исчезновения нет. Будет не исчезновение, а перерождение. В итоге

другая жизнь. Пустота же ничего не переродит и не возрождает. Она – ад.

– Но как же тогда врагов казнить? – спросил Игнат.

– Казнить? Казнить – не думать о них. Самая жестокая казнь – забвение. Ссылка в пустоту. В провал.

Прасковья Васильевна вздохнула, погладила белую берёсту на полене и, облокотясь на него, грустно прибавила:

– Ад придумали люди. И господствующие, и угнетённые. Господствующие, чтобы с помощью ада заставить рабов служить себе, а рабы, чтобы с помощью ада карать господствующих. Кара тут, конечно, символичная. И больше всего служит утешением самим же рабам. В природе ада нет. Он – в самих людях. Ты, Игнат, тоже утешаешься им. Играешь в ад. Как всякий безумец играет во что-то. Кто в ад, кто в паровозики.

– Я – безумец?

– Безумец.

– Вы мне часто говорите об этом, будто я и правда безумец. Тоже, видно, играете. В меня играете. Вернее, в моё безумие, – сказал Игнат.

– Безумие – та же гениальность, – задумчиво промолвила Прасковья Васильевна.

– Гениальность?

– Сбившаяся с курса гениальность. Говорят, русский народ вымирает. Нет, Игнашка, нет!.. Он ушёл в безумие, отклонившись от своей гениальности. Очень важно было кому-то подменить заметы на его чернозёмном бездорожье. Сначала вырвали сердце у природы, которой молился он. Потом наслали ад, как саранчу. В этом суть христианской политики.

– Христианской? – удивился Игнат.

– А чьей же? Именно христианство уничтожило язычество...

– Но ведь это политика... усовершенствования человека. Если уж на то пошло, то эту политику принёс сам Христос, представитель другого разума. Теперь об этом даже учёные

пишут. Одна высшая цивилизация решила помочь другой, более отсталой цивилизации, и заслала своего гонца к нам...

– Высшая цивилизация ничего не знает о человеке и посылает к нам своего гонца! – со смехом воскликнула Прасковья Васильевна. – Будет сказки сказывать-то! Немец шёл на нас войной и всё выведал о русских – что едим, что пьём, как хлеб нюхаем после водки. Всё узнал! А тут высшая цивилизация не знает о нас ничего! Гляди-ко, высшая цивилизация глупее Геббельса!.. Я тебе вот что скажу. Христос если уж в действительности не был заслан, то выдуман исключительно политиками. Это потом стало религией. Сам подумай, как совершенствовать человека по чуждой ему энергетически-мыслящей системе? Для его совершенства по христианским требованиям человека следовало бы сначала вынуть из его биологической оболочки, отделить от неё, как желток от белка. Перво-наперво его надо избавить от похоти. От похоти – все человеческие падения и несовершенства... Так? А избавиться от похоти – это избавиться от продолжения рода. Что и пытались сделать на протяжении всех веков христианские фанатики. И вместо совершенства получилось уродство. Значит, Христос и сам несовершенен, требуя совершенства от человека, то есть от энергетически мыслящей системы, устроенной совсем иначе, чем он сам, и живущей совсем по иным, может быть, даже противным ему законам.

Игнат слушал, глядя на заречный лес, ясно освещённый вечерним солнцем. Дым из бани розовым столбом стоял в небе, банное оконце блистало золотым огнём. Сквозь редкий штакетник было видно, как в ограде Прасковьи Васильевны цвели малиновые астры и, свесившись огнём с пенька, пылал куст настурции.

«Осень, а настурция ещё жива», – подумал Игнат.

– Человеку... человечеству... человеку нужен идеал, – сказал он.

– Зачем? – хитро спросила Прасковья Васильевна.

– Как зачем? – пожал Игнат плечами. – Чтобы надеяться.

Нельзя же без надежды... Как без надежды? Тут хоть ложись и помирай.

– Ты считаешь, что идеал – это надежда?

– Надежда.

– А я считаю, что идеал – это ложь. Идеализировать кого-то или что-то – это беспрестанно врать, врать, врать, считая, что опять-таки есть какое-то совершенство, когда его на самом деле нету. Но это ещё не всё. Дело-то ещё в том, что при этом мнимом совершенстве постоянно чувствуешь свою неполноценность, ущербность. Кормишь собой этот идеал. Всё лучшее вынимаешь из себя и отдаёшь ему, а себе оставляешь требуху. С одной требухой и живёшь... Идеалы пожирают наш дух. Они не надежда наша, а паразиты. А надежда... Надежда нужна заключённому, что он попадёт под амнистию. И попал, и освобовился. А дальше что? Опять надежда? Я не люблю надежд. Идеалы и надежды съедают нашу жизнь. Должно быть одно – радость в жизни. Вот сейчас. Ради этой радости Бог и сотворил нас. Радуемся мы – и Богу радостно. Не болеет его дитя, а радуется. И радость эта – в душе природы. В её языке. В язычестве. Язычество сформировало определённое мировоззрение у древнего человека, помогло ему выжить. С нынешним мировоззрением мы в экстремальных условиях не выживем. Природа нам уже не поможет. Мы её отторгнули, заразили смертельным вирусом. Язычнику же помогает природа. Природа и космос. И он этот космос носит в себе.

– Вы загоняете в язычество, как в колхоз, – ухмыльнулся Игнат.

– Не ходи. Дело хозяйское.

Прасковья Васильевна встала и пошла в ограду, где принялась обламывать огненные плети настурции.

– Зачем вы рвёте? – подошёл к ней Игнат.

– Завтра иней падёт, – сказала Прасковья Васильевна и, прижимая к себе настурцию, шурясь, посмотрела на закат. В ясном шафранном воздухе всё было вытесано из золота – баня, краснотал, изгородь. И сама Прасковья Васильевна, и

Игнат стояли над кустом настурции, как золотые статуи, – она, отговорившая, как отлетевшая вослед словам своим и тайно улыбающаяся, он – сомневающийся и хмурый.

XIX

Закат ещё горел, заполнив кружевную вязь лесных вершин. В блёклых сумерках, отражаясь от зеркальной листвы, осыпавшейся с берёз и осин, плутал его свет в чаще.

Уходя от Прасковьи Васильевны, Игнат свернул в переулок, прошёл через реку по переходам, обломив с берегов её хрустальную похолодевшую тишину, и вломился в черемошник.

«Странно, почему это я иду не домой, а в лес?» – удивлённо остановился он в мутной паутине веток, кое-где ещё удерживающих огненные соринки, снял чёрную сморщенную ягодку, съел её и вдруг почувствовал себя лосем. Он шёл, путаясь в черемошнике, воздевая руки и разнимая сучья, воображая, что несёт рога и ими ломает лес. Иногда рога застревали в кустах, он гнулся, осторожно вынимал их из древесного плена, стараясь не повредить их рисунка, словно выпиленного из церковной ограды, ощущал костяную тяжесть, грузно покачивающую голову.

Но вот черемошник кончился, и рога отпали. Начался сосняк, и Игнат побежал волком, ошетинив серебристую шерсть, трепеща и сверкая ею в электрической хвое. Наглотавшись сосновой смолы, он окунулся в пьяный сад смородины, посреди которого с зеркальцем в руке стоял ручей. Игнат напился из ручья, вышел на дорогу и направился домой, но опять же пришёл не в Покровку, а в соседнюю деревушку Шабаркино. Было уже совсем темно, лишь где-то на столбе, наверное, у магазина, горела одна лампочка. Игнат пошёл туда и увидел хибару с провалившейся крышей и фанерной доской, на которой когда-то записывали трудовые показате-

ли. На двери хибары висел замок, а у дверей стояла молчаливая очередь.

«Ад работает с 12 часов ночи до 6 часов утра.

Перерыв на обед с 3-х до 4-х часов.

Выходной – воскресенье», – прочитал Игнат облупившуюся вывеску и спросил:

– Кто последний?

– Я, – ответил ему сиплый, явно пропитой голос.

Игнат встал в конец очереди и начал глядеть на лампочку.

Пришла продавщица, обычная толстая деваха с важным правительственным лицом, какое бывает у всех дев, торгующих в Шулындино да Шабаркино, отомкнула замок, брякнула засовами, и толпа повалила в ад.

Деваха облачилась в белый халат, воздвигла на голове колпак и встала за прилавком, опершись на него руками, как о трибуну.

– Я академик Болвандян. Вам подавали заявку на бессмертие? – прогудело в голове очереди.

– Подавали, – ответила продавщица. – Но вас не включили.

– Почему?

– Плохой анализ крови, и в моче нитрофоска.

– Как же так? Не может такого быть. Я буду жаловаться!..

– У вас всё, господин? Не толкайтесь, отойдите! Госпожа продавец, мне, пожалуйста, полкило Лейбы Бронштейна...

– Лейба кончился!

– Как кончился? Вчера был, сегодня кончился? Знаем мы, как кончился! Свату да брату ушёл, из задних дверей, из-под прилавка... Кончился! Я – член пайщиков. Мне по закону положено. Взносы платим, а товара не видим. Я самому Люциферу напишу!..

– Не ори на меня! Разорался! – возмутилась продавщица.

– Это ты орёшь! Орёшь на своём рабочем месте! Гоа-оспода-а!..

– Не волнуйся, товарищ господин! Скоро приватизация. Так что ад перейдёт в частные руки. Отбрыкаются...

– Господа, у вас всё? Позвольте пройти! Девушка! Девушка! Мне тоже Лейбы... Что вы на меня легли, будто я забор? Де... Мне тоже полкило Лей... Да не ложитесь же на меня!

– Я же сказала, что Лейба разобран...

– Ну давайте хоть в разобранном виде!..

– Разобран, значит, раскуплен...

– Позвольте! Я из «Курантов». Вот моё удостоверение.

– Да мне хоть из будильника. Я сказала, нет. Значит, нет.

– Дэвушка! Уважаемая! Апэльсины эсть?

– Нету апельсинов

– А пэрсики?

– И персиков нет.

– И абрыкосов нэт?

– И абрикосов нет.

– А что у вас эсть?

– Сквородки.

– Эй, мне пачку соли!

– Соль не продаётся.

– Почему не продаётся?

– Цены нет.

– А чем горошницу солить? Мешки с солью навалены под самый потолок и не продаются. Такое только в аду и увидишь...

– Масло растительное ещё не завозили?

– Масло всё отправили в котельную.

– Скажите, мясом ветеранов когда будете отоваривать?

– Мясо по разнарядке всё ушло в рай. У нас только рога.

Будете брать?

– Рога? Какие рога?

– Бараньи да коровьи.

Тут Игнат пощупал свою голову и подумал: «Слава богу, что я сбросил свои рога в черемошнике, а то забили бы на мясо».

Очередь же ползла, гудела, шевеля сразу тремя головами, как Змей Горыныч, и Игнат подумал снова, что надо выгал-

киваться из неё, иначе, не приведи бог, притащишь на себе какой-нибудь отросток, он и внедрится в доме – не вытравишь, не выгонишь, мух-то травить нечем, дихлофос весь алкаши выпили вместо «Агдама», а очередь и подавно не вытравишь ничем. Однако и купить кое-что хотелось. Пока он стоял в самом хвосте Змея Горыныча, мысленно перебрал всё, что мог бы приобрести, но так и не выбрал, а потому нахотился в отчаянии и растерянности.

«Велосипед бы надо купить. Вон, кажется, велосипеды есть. А, может, звукозаписывающую или шестиструнную гитару? Синтетическую новогоднюю ёлку... Да хоть ту же сковородку! В хозяйстве всё пригодится. Или ремешок к часам».

Змей Горыныч протаскивался через ад, мотая головами и виляя хвостом, и Игнат, держась за того, у кого сиплый голос, летал слева направо, а тот, с сиплым голосом, держась за него, летал справа налево.

– Мы с тобой, кореш, отражаемся друг в друге, – просипел голос.

– Ничего. Хоть покачаемся, – ответил Игнат.

– Талоны бы не потерять. На водку! За два месяца не выкупал. Отсутствовал.

– Водки, говорят, нет, – пояснили спереди.

– А что есть? – тревожно спросил сиплый.

– «Стрелецкая».

– А мне один хрен, что «Стрелецкая», что советская.

На продавщицу уже наседали.

– Я инвалид пятого круга. Мне мясо положено!

– Мы обслуживаем инвалидов только до четвёртого круга. А пятый круг обслуживается в деревне Китерье...

– Это где?

– В Крутинском районе.

– Это где?

– В Омской области...

– А это где?..

– Вы, что, с Луны свалились?

- Я из Кызыла приехал, к вашему сведению!
- Это где?
- Как где? В Туве!
- А это где?
- Продирайтесь, мать вашу в перетоп! Какая разница, кто и откуда! Здесь все равны.
- Очередь, как дерьмо, равняет всех!
- Милашечка, вот талоны... на «Стрелецкую»...
- «Стрелецкая» кончилась.
- А что есть? Давайте что есть. Два месяца отсутствовал...
- Французский коньяк. 262 рубля бутылка.
- Ой-ёй-ё-о! Матушка ты моя родная! Нет из мрака возврата, о сердце моё!..

Сиплого с талонами унесло куда-то вперёд, а к прилавку протиснулся Игнат и сказал:

- Мне титьки Файки Кудесиной.
- Пожалуйста! – ответила продавщица, сняла титьки с витрины и, завернув в бумагу, подала Игнату.
- Сколько? – спросил он и вспомнил, что денег у него нет ни копейки.
- Вычтут из зарплаты, – утешила его продавщица.
- А сколько... вычтут-то?
- Не знаю. В кассе скажут.

Игнат положил титьки за пазуху и, толкаясь локтями, ногами, головой, выбрался из ада.

Ночь обожгла его звёздами и чернокнижной тайной. Разбрызгивая серебряные лужи, величаво, как по арене, шествовала по Вселенной Большая Медведица, и крался через дупла и звериные норы шалый ночной сквозняк.

Игнат опять вошёл в смородину. Сад её теперь был колюч и мохнат, и над ручьём также стояли мохнатые искры.

«Иней пал», – догадался Игнат. Он спустился с горы на переходы, оглушительно звеня их стеклом, и, опершись на перила, начал глядеть в реку. Речная глубина отозвалась ему

дрожащим голосом и вынесла его тусклую, словно пробную, процарапанную иглой на цинке, неуверенную тень. Игнат вдруг вообразил обитателей мира, вывернутых наизнанку. Вот стоит передовой поедатель сельхозпродуктов со своим брюхом, а вот дремлет за столом особь партийного аппарата, вонзив в потолок узкий, как щепка, мозг. Вот явилась овца кверху шерстью, подплыла ближе, и Игнат увидел, что это не овца, а любовница в дублёнке очередного удельного правителя.

Он придумывал всё новые и новые образы, зарисовывал их и складывал стопой. Громоздкий штабель альбомных атласных листов уже лежал на одном берегу реки, и очередной штабель Игнат стал складывать на другой берег. А обитатели вывернутого мира всё шли и шли к нему, вот уж длинная очередь выстроилась на переходах, вторгшись в их стеклянный хор своим смехотворным существованием.

Игнату стало жарко, он вынул из-за пазухи тяжёлые титьки Файки Кудесиной, шлёпнул ими о перила и провозгласил:

– Ад закрыт на учёт!

Потом сосчитал свои альбомные листы, сложил их в одну стопу и, начертав сверху «Капричос», вытащил из кармана Кремль и присыпал его квартирантами надпись, чтоб не разъехались чернила.

Вздохнула во сне и переступила с лапы на лапу Большая Медведица, подошёл раб в «варёнках», с совковой лопатой, и подобрал за нею навоз. Завыла, захохотала на железной цепи кикимора на болоте. Сверкая голой задницей сквозь прореху штанов, проскакал пьяный скотовод Витька Кашин. Блик от задницы скользнул по черемошнику и вспугнул кудрявую изморозь...

– Куда ты? – крикнул раб с неба.

– В Шабаркино! Талоны отоваривать! – прокричал Витька в ответ.

– Ад – это сатира! – сказал Игнат и бросил титьки в реку.

В конце октября неожиданно распустилась молодая сирень и всю неделю стояла в нежной зелёной листве, удивляя здравомыслящих людей. Потом грянул мороз и сжёг листву и почки. Земля стала серой и тусклой и зазвенела, как чугунок. Лишь в ноябре повеяло робким сухим снегом.

В понедельник вечером Файка Кудесина развела в ведре известь и принялась белить горницу. Снег мелькал за окном, Файка белила, радуясь обновлённому своему жилищу и снегу, осветившему мир. Она и сама была в белом халате, отданном ей ветеринарным врачом Тамарой потому, что халат оказался ей велик, а Тамара оказалась мелконькой. Файку же, наоборот, халат стеснял, и, пока она белила, он лопнул под мышкой и дал трещину на спине. Наконец, закончив побелку, Файка села на табуретку и придиричиво огляделась – не оставила ли она огрехов? Нет, не оставила. Везде было целомудренно и светло, и сама Файка с румянцем на щеках и круглыми синими глазами смотрелась, как гжельская игрушка в фарфоровой горнице.

– Ай да я, молодница! – похвалила она себя, радуясь, что так ловко, как циркачка, справилась с главной работой, что вот нальёт ещё в таз воды и примется за полы, а заодно протрёт и стены на кухне, оклеенные обоями с изображением моря. Когда мать была жива, она не давала улеплять картинками кухню, считая, что кухня должна быть беленькой и веселенькой. А Файке так хотелось купить и повесить на самом привлекательном месте картину Айвазовского «Девятый вал». Потом она в раймаге приглядела какой-то парусник, путешествующий, наверное, к Антильским островам или даже в Антарктиду. Пока глядела, а затем гадала, куда бы выгодней определить в своём доме картины с морем, и парусник, и «Девятый вал» унесли из раймага более решительные покупатели-маринисты. Файка же купила плакат «Рыбы и их размножение». Плакат с червяками, головастиками

ками, пучеглазым окунем и беременной рыбой распространял такую зоологическую тоску, что мать перевернула его и на белой стороне стала вести учёт молока, продаваемого Дарье-Уряпихе.

Два года тому назад, когда матери давно уже не было на свете, Файка наглядела в районном магазине ещё один плакат с видом моря. Ничего драматического, захватывающего дух, как, например, в «Девятом вале», здесь не изображалось. Наоборот, всё было просто и скучно. Потому что море сфотографировали в ненастную погоду с тяжёлыми мрачными тучами и белыми барашками волн до самого горизонта, разбивающимися о скалы такой же тяжёлой и мрачной водой. Но у Файки защекотало в носу – именно о таком море она и грезила, с пеной и тучами. Плакатов оказалось много, стояли они тогда дёшево, всего несколько копеек штука, и она скупилась сразу все. Первое время, когда она оклеила кухню, ей денно и ночью чудился гул тяжкого, неустанно колыхающегося от вращения Земли в глубочайшей впадине сердитого седовласового океана. Каждую ночь Файка выходила на скалы, и всегда океан слизывал и уносил её в своё чрево, чтобы растворить, перебрать по клеткам и новорождённую вынести обратно. Она вытаскивала на себе его пенные скользкие лоскутья, закалывала у плеча булавкой и шла доить корову. Лоскутья целый день хранили запах молока, сена и мощной, играющей кровью жизни, заключённой одинаково, как в корове, в океане, так и в самой Файке. И, слушая свою и коровью кровь, она ощущала себя частью великого мира Земли, сознанием, ответвлённым, как маленький сучочек, от чьего-то великого сознания, в чьей кроне живут звёзды, как живут в листве дерева букашки, жужелицы, муравьи и птицы. И то, что настоящий океан бушевал далеко-далеко, где-то в Индии или в Африке, это её не удручало. Она знала, что океанский гул одинаково живёт в ней, в корове, в картофелине... Если картофелину разрежешь и приложишь к ушам, то сырая морская плоть тотчас прильёт к голове. Так

же можно приложить к ушам и Космос, погрузиться в него, прослушать... Однажды в клубе она слушала концерт Альфреда Шнитке. Игорь, поставив пластинку и нахохлившись, как сова, в своём старом полушубке, следил за Файкиной собачонкой Бертой, шныряющей по углам. Чёрная, тощая, с глупыми скорбными глазами, Берта, прячась от музыки, то заползала под скамейку, то скакала на стены, скуля и царапаясь, явно прося, чтоб стену толкнули с места и выпустили её на улицу... Файка мыла полы, не обращая на собачонку внимания, и прислушивалась к оркестру. В оркестре что-то скрипело, сквозило, вскрикивало, и эти-то скрипы и сквозняки гоняли Берту с места на место...

– Вот сатанинская музыка! – сказал Игорь, когда пластинка остановилась. – И это лучше всех чувствуют животные, дети и поэты. От Баха зарыдаешь, а от Шнитке обрастёшь шерстью... Альфред Шнитке. Почти как Адольф Гитлер.

Файка промолчала, зная, что Игорь разговаривает сам с собой, а потом, когда он ушёл, она поставила пластинку снова.

С первых же звуков Файка поняла, что это голоса Космоса, только для человеческого слуха они звучат разрозненно, мерцающая, как перемешанные цветные осколки. Ухо человека ещё недоделано, чтобы слиянно их поймать, как единый хор или луч света, оно ещё только ловит по радиоприёмнику волну, натываясь то на писк, то на бульканье, прорываясь сквозь шум и хаос к тому, кого ищешь. Так шумит и Космос, вскрикивая в деревьях и, наверное, в человеке... Космос – это большое жильё, в которое то приходят, то уходят всякие жизни.

Тут Файка увидела, что закапала известью фикус. Она намочила тряпку, взобралась на табуретку и начала вытирать его лаковые листья. Фикус был старый, посаженный ещё матерью, и, может, она давно бы выставила его на улицу, но куст уже не проходил в дверь, а ломать его в горнице Файка всё не решалась. Так и жил он, раскинув сучья в переднем углу горницы и каждую весну разворачивая пергамент новой

листвы со своей таинственной, известной лишь в одном растительном мире грамотой.

Файка вытерла извѣстку на верхушке и, потянувшись через сук, стараясь достать тряпкой бок фикуса, затмевающий окошко, вдруг нечаянно что-то отворила в нём, сдвинула одушевлѣнное, вытянулась и замерла, прислушиваясь к чужому движению, коснувшемуся её. По её голой горячей голени что-то медленно и густо ползло, и она, боясь шелохнуться, всем телом жадно слушала это движение, вбирая его в себя и чувствуя, как мелко дрожит в её руке мокрая тряпка. Нагнувшись, Файка увидела молочную каплю, сползающую по её ноге, и на грязном полу свежий, обломленный листок с таким же молочком на конце.

Никогда не рожавшая Файка вдруг ощутила, что именно так отходит из груди молоко, что это её дитя смутно и боязливо напомнило о своей жизни, ранением отозвалось в древе, встревожилось душой и, прорвав растительные ткани, припало, прилепилось к ней...

– Господи! – жалобно взмолилась она. – Скопила я свою жизнь неведомо для кого... Не смогла скормить её дитю своему, пронесла мимо, будто уворовала.

Капля докатилась до лодыжки, помедлила у косточки, как у дорожного камня, и съехала вниз, под пятку. Файка слезла с табуретки и долго сидела, уронив руки с тряпкой меж колен, стараясь постичь смысл своей жизни. Она не считала, что живёт бессмысленно, потому что сама жизнь – уже есть смысл, бессмыслие – пустота, нерождение. Коли живѣшь, значит, это кому-то нужно. Может, её жизнь, как узелок, связует две рвущиеся нити, и, может быть, без этого узелка и двух нитей, сошедшихся в нём и поддерживающих равновесие двух каких-то неведомых сторон, весь мировой цветочный узор выглядел бы иным и сложился бы по-другому, не так, как сложился сейчас. Значит, и она, Файка ответственна за этот узор. Однако опустошало её иное – в её душе не было торжества перед этой ответственностью. Уж слишком

обыденной, какой-то служебной казалась она Файке. И сама жизнь была целостной, устремлённой в нечто, а хотелось её разрушить, распасться, и распад этот должен был прийти через деторождение. Прежде чем умереть, Файка должна разделить себя по живущим. Пока не произойдёт этого раздела, не будет и торжества жизни.

Она не была девственницей, много раз впускала в себя чужое семя. Но впускала с боязнью. Оттого семя не приживалось в ней, так же с боязнью умирало и отходило прочь. Теперь же, когда растительное молоко коснулось её, она вдруг почувствовала себя готовой смело принять сок человеческий, и в растении, наделившем её молоком, узнала защитника от всякой боязни, увидела сквозь его узловатые сучья своё божество. Ныне, в белоснежный вечер, разорвав своим тропически-зелёным огнём метельные кружева, как невестину исподницу, только оно поможет ей!..

Файка дотронулась до того места, где стекала капля, и долго стояла так, прижимая палец к голени и слушая себя. Кровь гудела в ней, неслась, как тяжёлый железнодорожный состав от головы до пят, и в её гудении, грохоте колёс и стальном звоне слышалось невнятное, но счастливое пение детского хора...

– Господи! – сказала она. – Пошли мне детский хор!

Она упала перед фикусом на колени и, приложившись губами к его скользким холодным листьям, горячо зашептала:

– Пошли мне детей! Столько же, сколько их у тебя! Целый хор! Чтоб не спалось мне по ночам от их плача!.. Чтоб я в них росла таким же деревом, как ты, – с корнем и кроной, а не костью с мясом. Такой, если где споткнушь, каждая собака меня сглохнет...

Мольба показалась ей бедной и суетной. Дух в древе, млечно помазавший её, не дрогнул и не отозвался. Файка раскинула руки, словно пытаясь крестом войти в его ушастое зелёное созвездие, улететь с ним в метельную мглу из голой немой избы, туда, где над горящей серебряной бездной крылатый детский хор поёт: «Аве Мария». Она закрыла гла-

за, и детское пение зазвучало в ней громче, торжественнее. Оно кружилось в ней, обтекая океаном, как голыш, и славило мать и бездну, и что-то в Файке уже подпевало и тяжелело... Да ведь это та самая млечная капля, млечная сфера, омытая её собственным кровообращением, держала внутри себя жемчужно-звёздный, крохотный, похожий на кузнечика или на вербную почку, человеческий росток... Файка вскочила с колен, кинулась к шифоньеру, где переложённые лавровым мылом хранились простыни и пододеяльники, выкатила клубок лент. Она размотала его и очутилась на распутье, гадая, по которой из этих цветных дорог ей надо идти... Далекодалеко, в немыслимо давнюю гиперборейскую эпоху, когда строился организм и этого древа и уже был отделён кирпичик от неё, донесён оттуда, подложен ей под ногу, чтоб не оступилась в хлябь, во тьму.

– Господи! – в который раз сегодня обратилась она к Господу, подбирая белую ленту. – Займись цветом, как черёмуха весной, как калина лесная, чтоб ещё прибавился один цветок и от него светлее стало! Господи! Дай мне дитёнка, как я дала тебе этот цветок!.. Я украсила тебя и ты укрась меня!..

Она опять влезла на табуретку и завязала белый бант на верхушке фикуса. Потом взяла ещё ленту и собрала бант на ветке, с которой обломился листок. Завязав в банты и узелки все белые ленты на фикусе, Файка смотала остальные ленты в клубок, запрятала их снова в шифоньер и принялась мыть полы, оттирая известку, как звериные следы. Потом, уже поздно, прибравшись в горнице и на кухне, наплававшись в морской пене с обоев, она легла спать. Снег шёл всю ночь, и всё за окном: бурьян и тополь, даже сухой шест, которым Файка подпирала бельевую верёвку, зацвело белым цветом. Она просыпалась, глядела на снег и на фикус, думая, что вот и его, нецветущего, она тоже наделила цветением, надеясь, что весной зацветёт и её чрево.

XXI

Всю осень Игорь спал в зерне, наслаждаясь видением влажной негритянки, которая, как только он зарывался в ворох, тут же проделывала самые немыслимые эротические конфигурации, кувыряясь перед ним в водах Индийского океана. Часто Игорь просыпался среди ночи, обжигаемый сырым жаром и погружался в его бездну. Зерно горело. Чем больше оно горело, тем острее испытывал Игорь плотскую сладость. Насладившись, он дремал и думал: «Вот и хорошо. Не надо никакой бабы. Сколь могу, столь и делаю... А температура такая, что и баба позавидует...».

И вдруг зерно начали вывозить на конюшню. Куча убывала, хотя по ночам Игорь догонял в ней то Физку, то негритянку или просто сотрясал бездну, мысленно прорисовывая в ней самые искусительные формы женского тела. По утрам приезжал трезвый и злой от трезвости Антоша Горынин, нагребал зерно в мешки, стаскивал мешки на подводу, ехал на конный двор и каркал:

– Карикатура! Халибатура! Карибакатура-кубатура! Парамарибо – город утренней зари-и!..

Пока он ездил, Игорь закрывался изнутри, падал в мокрое огненно-обжигающее зерно и, уже не раздеваясь, а лишь расстегнувшись, изо всех сил догонял чернокожую Физку Жвастикову... Потом снова приезжал Антоша Горынин и, оповещая о кубатуре Парамарибо, нагребал зерно в мешки.

– Оставь хоть немного! – просил Игорь.

– Зачем? – спрашивал Антоша.

– На самогонку...

– А сахар где?

– В штанах. Оставь, говорю! Куда возишь-то столько?

– Кобыл кормлю, – отвечал Антоша. – Дай опохмелиться, оставлю.

– Нету опохмелки. Хочешь сигарету?

– Пачку сигарет! – требовал Антоша.

Зерна он оставил достаточно, чтобы Игорь сумел вылепить в своём воображении если уж не Индийский океан, то хотя бы Цимлянское водохранилище. Однако вылепилось другое – Игорь увидел себя сидящим в банном тазу, погружившись по чресла в липкую мыльную воду. Он поёрзал задницей и встал на четвереньки, чтобы обмакнуть в воду то, что обмакивал в сырую горячую хлябь солоделого зерна, но тут в дверь клуба резко ударили. Игорь обмер от стыда и страха и долго стоял на четвереньках со спущенными штанами, прислушиваясь к биению своего сердца. Ущербная луна всходила на востоке, стыла за окошком черёмуха с пасмурной разлитой тенью на золотой земле...

«Вздор! Кто-то случайно камнем пустил!» – подумал он и, разочарованно потрогав свой обносок, начал готовить его для новой погони за негритянкой... Оттаявшая кровь хлынула в шумном круговороте, сметая всё на своём пути, вот в её волнах червовым тузом мелькнул бабий зад, и Игорь с зубновым скрежетом догнал и ткнулся в него и, млея от сладострастия, уж включился в игру тритонов и наяд, как в дверь ударили снова...

Игорь подпрыгнул, спрятал свой обносок в штаны и хрипло крикнул:

– Кто там?

После короткого молчания по крылечку кто-то прошёлся в кованных казенных сапогах.

«Кого хрен принёс в полночь?» – со злостью подумал Игорь и двинулся к двери, решив набить морду казённому гостю, чтоб не стучал по ночам и не отвлекал людей от личной жизни. Словно угадав его намерение, с крылечка что-то порснуло и рассыпалось по земле с дробным топотом. Игорь повернул ключ в замочной скважине и, распахнув дверь, увидел, как в золотом дыму восходящей луны уносятся голые молодые люди верхом на жеребятках. Вот они доскакали до косогора, шумно повалили чьё-то прясло и помчались обрат-

но. В густой бронзовой пыли Игорь успел разглядеть вместо конских голов человечьи лица и подвязанные хвосты...

«Кентавры!..» – опалила его догадка. Он юркнул в клуб и панически начал проворачивать визжащий ключ в обратную сторону... Множество копыт заходило на крыльце, лягнуло дверь, послышалось лошадиное фырканье. Потом было сказано несколько слов на иностранном, наверно, древнегреческом, языке, потом кого-то на кратком выразительном русском языке послали куда-то, и мёртвую деревенскую тишину тотчас же прорезало непристойное человеچه-конское ржание.

Прильнув к замочной скважине и слушая все эти звуки и возгласы, Игорь почему-то думал не о самих кентаврах, а об их подвязанных хвостах и наконец додумался, что прискакали они не из античного мира, а из местной конюшни. Грязь в конюшне по брюхо, и пышный хвост, реющий шелковём над равнинами Эллады, надо немедленно уложить кургузой мочалкой. Иначе он на себя соберёт столько назьма и соломы, что впору от стыда и удавиться на этом безобразном хвосте. Разве к лицу кентаврам говённый хвост!..

«Молодцы являются уроженцами нашей конюшни, тут и ворожить нечего. А наплодились они от кобыл, которых кормят зерном... Зерно Антоша Горынин возит отсюда... То есть, ка-ак?!. Это что же?.. За что же!.. Как это получилось!..» – подумал Игорь и сел на пороге, кусая ногти и дрожа, как в лихорадке.

Ржание и плевки продолжались на крыльчке до тех пор, пока не пропели первые петухи и кентавры не ускакали.

Обмякший, разжиревший всеми членами Игорь дотащился до сцены, вытерся кумачом и сел в президиуме.

«Дальше в клубе жить нельзя. Прискачут опять, мерзавцы! Разобьют дверь в щепки. А государство, хоть и распалось, дверь всё равно казённая. Взыщут за дверь, как с мильногого. Хуже того, коль пошла такая приватизация, ещё и клуб заставят выкупить. Где я возьму такие деньги? На ка-

кие шиши я стану ремонтировать дверь? Ни досок, ни гвоздей... Нет, надо уходить из клуба! А куда? Попроситься на квартиру к Файке Кудесиной? К ней же Игнашка ходит... Убьёт на хрен какой-нибудь запчастью из ревности. Пойти к Физке? И там – Игнашка. Тут уж он на правах законного мужа. Тут уж убьёт в законном порядке... Собственно, из-за Физки, супруги его голожопой, я и зерно осеменять начал... Уйти к Физке!.. Так ведь они, скоты, и туда прискачут. Нет уж, от позора подальше, лучше здесь жить. Терпеть! Не всегда же они скакать будут. Небось, и на них управа найдётся. А напишу-ка я, наверное, Никулину, пусть их к себе в цирк заберёт! Впервые на арене... Хо-хо! Кентавры! На арене цирка – кентавры!» – думал Игорь, то отчаиваясь, то торжествуя и всё отирая кумачной скатертью сыпавшийся по лицу пот.

Пропели вторые петухи. Луна сияла высоко. Черёмуховый куст за окном казался алюминиевым, и воздух тоже был алюминиевым, глухим. Игорь дождался третьих петухов и лишь тогда отправился спать. Весь день он учил монолог Хлопуши из поэмы Есенина «Пугачёв», стараясь подражать лучшему чтецу области Вовке Михайлову, но голос его дрожал, ломался и исчезал совсем. Приближалась ночь, и проклятые кентавры, наверное, готовились к скачке. Игорь оделся во всё чистое, достал из-за кулис свою старую берданку, зарядил её перловкой, сел в президиум и стал ждать... Однако этой ночью кентавры не прискакали. Не появились они и следующей ночью.

– Дрейфун я! – обругал себя Игорь, вытряхивая из патронов перловку в кастрюлю с кипящей водой. – Моча в голову шибанула от противоестественного соития с зерноотходами. Это прискакали обыкновенные лошади. А мне померещилось, что кентавры. А всё оттого, что семя не спустил. От этого и галлюцинации...

Он размешал перловку, бросил в кастрюлю кусок какого-то вонючего жира и, посмотрев в зеркало на туманный свой образ, усмехнулся:

– Почему, собственно, противоестественное? Я – свободен! И имею право выбора веры и плоти. Я – мужчина! И обязан рассеивать своё семя куда ни попадя. Рассеивать и не комплексовать, что делаю это противоестественно. Вполне возможно, что и в Космосе кто-то так же сеет своё семя. Однажды оно попало на Землю... Нас сюда забросил какой-то оргазм!

Он зачерпнул полную ложку каши, попробовал и, изумлённо глядя на своё изображение в зеркале, принялся к тому, что проползло в его желудок, распространяя во рту и гортани отвратительную вонь, и, наконец, учуял, что кашу заправил не жиром, а вазелином...

– Если бы каждый миг мы делали не то, что делаем, то мир бы изменился до неузнаваемости, – плаксиво повторил он слова почтальона из кинофильма «Жертвоприношение». – Только неизвестно, в какую сторону. В худшую или в лучшую? Однако надо приготовить концерт художественной самодеятельности. Что мы нынче будем праздновать? Всё, только не седьмое ноября. И не день конституции. Мы нынче будем отмечать день кентавра.

Игорь вздохнул, прополоскал горло водой и взял томик Есенина.

– Пр-роведите меня к-к нему! Я х-хочу видеть эт-ттого челове-ка-а!.. Вполне современная поэма. Хлопуша в приёмной Бориса Ельцина... Между прочим, это Файка оставила у меня свой вазелин. Руки мажет, чтоб цыпок не было, курва! Проведите меня к нему!.. К кому? Ах, к нему!.. Пожалте, господин голожопый!.. Проведите меня!.. Проведите к... ней! К ней!

Этой ночью он не стал ждать кентавров, а лёг спать в своей боковушке и заснул сразу же, словно пойманный в паутину черёмуховых ветвей, сиявших за окном в тихом лунном серебре. Проснулся Игорь от резкого болезненного желания обладать кем-то... Гонимый этим желанием, он ощупью пробрался в угол, где прели остатки зерна, погрузился в них и заскользил... Всё упорнее он наполнял чашу своим семенем,

вот уж она слегка наклонилась, готовая пролиться, а Игорь, сладко и беспамятно увязая в космической патоке, нёс её над бездной, торопливо перепрыгивая из зева в зев, хватая дрожжащим ртом то зерно, то воздух... Вот ещё несколько прыжков, несколько суетливых толчков, и чаша опрокинется, понесётся, как приговорённая к смерти с Тарпейской скалы, расколется, распадётся и в преступном падении вытолкнет семя в пространство... Но тут в дверь грохнули копытом.

– В чём дело? – заорал Игорь. – Пшли на хер-pp!..

Дрожащий от ярости и переполненный семенем, он бросился за берданкой, зарядил её и выстрелил в дверь. На крылечке заржали. Забыв, что он высыпал перловку из патронов в кашу, Игорь выстрелил ещё раз. По двери забарабанили. Наглый юноша с профилем Карабаха и медными кудрями заглянул в окно. Остро запахло конюшной, видно, на крылечке уронили навоз.

– Вон отсюда! – гаркнул Игорь.

В ответ заржали и засвистели. Вдруг со звоном выломилось окно, и в клуб, хрустя алюминиевыми крыльями, влетел сам Китоврас.

– Оденься! Я с женщиной! – приказал он, пролетел на сцену и сел в президиуме.

Игорь бросил берданку и торопливо натянул трусы.

– Вот моя жена, – сказал Китоврас и вынул из уха Аллу Савишну. Игорь помертвел от страха, но Алла Савишна спала. Ресницы её были опущены, под глазами темнели синие впадины, на белой кофте сидела спящая божья коровка.

– Вот такие пироги! – сказал Китоврас, спрятал Аллу Савишну обратно в ухо, а Игорю подал бумагу и чернильницу с кровью.

– Что это? – спросил Игорь, брезгливо отстраняясь от бумаги и чернильницы.

– Обязательство по гуманитарной помощи кентаврам и бомжам. Ты отдаёшь нам зерно, а мы оставляем тебя в покое и уходим в первое измерение...

– Чего-чего?

– Расписывайся! – приказал Китоврас и звякнул крыльями.

– Кровью не буду! – запротестовал Игорь.

– Дурак! – презрительно сказал Китоврас. – Кто сейчас расписывается кровью? Это киноварь. Красные чернила! Вот здесь, видишь? Два центнера зерна и четыре килограмма. То, что ты утаил в клубе для личной жизни...

«Вот поганцы! Сосчитали, сколько и утаил!..» – удивился Игорь, макнул палец в чернила и расписался в бумаге. Китоврас подождал, пока просохнут чернила, свернул бумагу и спрятал её в другое ухо.

– Постой, а кто окошко будет вставлять? – встревожился Игорь.

– Сельсовет! – ответил Китоврас, хрустнул крыльями и вылетел из клуба. Ломая ледовые лужи, табун кентавров с топаньем и гиканьем устремился за ним...

– Мерзавцы! – выругался Игорь и шмякнул о трибуну чернильницу с киноварью, которую в спешке забыл Китоврас.

– Мерзавцы и даблоиды! – взвыл он и, несмотря на звёздный осенний холод, как был в одних трусах, так и кинулся вдогонку за кентаврами. Но те уже скакали далеко в поле, и Игорь свернул в переулок – к дому конюха Василия Окульевича. Было светло, как днём, воздух от луны мерцал и горел, каждый предмет жил своей затаённой жизнью и, кажется, всё знал о жизни человеческой. Тишина стояла такая, что слышалось, как пели серафимы. Игорь долго стучал о голубое, разрисованное древесной тенью окно, а потом, достучавшись и разбудив конюха, рассказывал о медноволосых жеребцах, бегающих в клуб по ночам и оскверняющих навозом крылечко, над которым вывешен плакат с призывом демократического правительства...

Василий Окульевич тоже в одних трусах, с конским лицом и волосатыми ногами, сидел на табуретке, часто зевал и плохо слушал Игоря.

– Жеребец – свободное животное. Куда хочет, туда и ска-

чет, – ухмыляясь, произнёс он. – А потом, Игорь Иванович, что же ты мне-то жалуешься?

– А кому же? Жеребцы-то ваши!

– Жеребцы-то мои, зерно завезено в клуб с согласия товарищ Напольской. Ей и жалуйтесь!

Василий Окулевич встал с табуретки, поддёрнул трусы и, оскалив в усмешке длинные лошадиные зубы, добавил:

– Ко всему прочему, жеребцы мне подчиняются только днём. А ночью они ведут свой образ жизни. Летают, говнюки, по ночам куда-то... Гы-хы-хы!.. Придёшь утром, в конюшне насрано, а их нету. Хы-хы-хы!..

Игорь вышел, наступил на ветвистую гигантскую древесную тень, дополнил собою её половодье и вспомнил синие впадины под глазами Аллы Савишны.

«С Китоврасом сношается», – ревниво подумал он и укусил себя за палец.

XXII

Все эти дни он чувствовал себя тревожно и болезненно. Тревога была нехорошая, пытливая, причиной её, как догадывался Игорь, стало внимание чьей-то силы к его судьбе. Сила эта наверняка исходила от самой природы, перерождённая в его воображении, она терялась в бесконечности, в бескорневой пропасти, за гранью сознательного и удержимого.

Лежали уже декабрьские глубокие снега, когда он закрыл клуб и ушёл в лес. Целый день, проваливаясь в сугробы, он ходил по заячьим тропинкам, а к вечеру, опьянённый шумом сосен, сел на корягу с мордой медведя и крокодилым хвостом и, разглядывая её, подумал о монстрах Леонардо да Винчи и даже сравнил его с собой.

«Никаким небесным избранником, питающим своё творчество от космического разума, он не был. Художник, мечта-

тель, извращенец, философ. Раз уж художник, то непременно извращенец, потому что мир, созданный Богом, будет пере-краивать по-своему. То есть извращать. А если он ещё Бога боится, то станет оправдываться, что мир Божий познаёт в своих созданиях. А если не боится, то объявит себя творцом не только мира, но и самого Бога. Страшный суд слепит. То есть сам, лично, приведёт на этот суд человек и установит виновность их грехов. Осудил же нас всех Микеланджело... Да-а! Вот и Леонардо да Винчи – большой философ, большой созерцатель и большой художник. Он большой, а я – маленький. Я – клетка Леонардо да Винчи. Клетка, попавшая в мой генетический код в конце двадцатого столетия и уродливо развившаяся в сельском клубе под присмотром Аллы Савишны. У Леонардо да Винчи покровителем был Лоренцо Медичи, а у меня – Алла Савишна. Он и извращенцем являлся от большого выбора, а я извращенец оттого, что у меня вообще нет никакого выбора. Он так же бродил по звериным тропинкам, отдыхал на камнях и корягах и видел в них ящериц и летучих червей. Он видел Леду!.. А я вижу Аллу Савишну. К его Леде ластится лебедь. К Алле Савишне лащусь я, а ко мне ластится Китоврас... Круговорот любви в природе»...

Игорь вздохнул и посмотрел туда, где находилось Кре-стино. Кудрявый от сизого инея лес закрывал собою село, Игорю хотелось горячим дыханием продуть в нём дыру, как на морозном стекле, и в чистом её колодце увидеть сельсовет с трёхцветным флагом над кривыми пряслицами...

Солнце, рассыпая бледные искры в вершинах, уходило в снега. Загорелись золотом заячьи тропы, темнее и глуше стал сосняк. Игорь поднялся с коряги, истоптав своими следами зеркально-чистую охотничью лыжню, прошёл вдоль лесной опушки и очутился на склоне заснеженного ручья. В его низине курился пар, в незастылом роднике сумрачно светился закатный свет, по кустам, красиво обросшим ине-ем, играл сквозной багрянец... Игорь вспомнил это место.

Сюда он ходил мечтать в тёплые летние ночи. Тогда в кустах жила сойка. Он так и не понял, смеялась она над ним или плакала... А вот и пустырь, от которого разливались три дороги. Одна из них, теперь невидимая и заметённая глубоким снегом, уводила направо, в васильки, в ржаной зной. По этой дороге всегда хотелось уйти босым, с ножом за поясом, так никого и не встретив в полуденной полевой тиши... Вторая дорога – налево. Сейчас над нею обожжённо-костяным рисунком раскинула сучья берёза, там осенью во влажном мандариновом осиннике петляли зелёные лисьи глаза. Сколько раз Игорь целился в них из берданки, но так ни разу и не попал. Глаза прыгали, виляли, уносились то вверх, то вниз, но на прицел не садились. А так хотелось отнести лису Алле Савишне! Тесный, словно связанный крючком, лисий след золотился и сейчас, то соскальзывая в синюю тень, то морозно змеясь на бугорке.

А дорога прямо – в Крестино. Эта дорога лесная, тайная, любовная... Машины и пешеходы следуют по другой дороге – гладкой, продуваемой ветром со всех сторон, над нею даже в тихий день тоскливо воют провода. А эта – скрытная, для чародеев. По той Вергилий вёл бы Данта в ад, а по этой ходил бы один, печалась и размышляя. Кто-то по ней ходит и ныне, звеня снегом в гулких, ломких от мороза кустах. Кто-то ездит на санях, может, за черёмуховым хворостом для коптильни, может, за ёлкой... Или кто пронёсся на чёрных петухах?.. Кто? Лукавый колдун с голубой сединой, в белом тулупе? Со стороны не отличишь – где куст, где он... Пропылило метелью – и пропало!

Летом на пустыре цвёл иван-чай. Потом, уже в пуху, он весь выгорел и горелище ещё долго чернело среди заиндевелой травы! Теперь здесь лежал снег. Кое-где ещё из него торчали обугленные былинки. Зарывшись верхушкой в сугроб, шевелила листвой обглоданная зайцами осина.

Игорь оглянулся, глубоко вдохнул сонный морозный воздух. Тревога, притихнув ненадолго, снова подползла к нему

и лизнула сердце липким языком. В сосняке стало совсем темно и глухо. Погасло золото на заячьих тропах, лишь реял горящий пар над родником. Над серебристой его ямой, выходя из подземелья, трепеща наготой, стыдливо и робко ткалась Змиевна.

Прислушиваясь к тревоге, стараясь остановить, приречь её, Игорь думал:

«Я должен сотворить чудо. Я пришёл в мир, чтобы сотворить чудо и спасти себя. Каждый из нас спасается через чудо. Спасается сам и своим спасением спасает мир. Ведь мир состоит из нас, как мозаика. И если каждый из нас загорится цветом и прилепится к цементной основе, чтобы осесть на ней, то каждый станет спасать всю мозаичную картину – картину мира. Он в ней занимает крохотное место, но у этого места – свой цвет».

Игорь тронул ногой сугроб, и в его глубине дрогнул гул. Это гудел иван-чай, ушедший в землю малиновым собором. На его гудение радостно отозвались колокола вдали... И поплыл малиновый звон над дымчато-сиреневым полем, над застывшими соснами, над снегами, по которым бегали малиновые сполохи заходящего солнца.

– Здесь я построю церковь! – сказал Игорь и снова задел ногою сугроб, словно делая в нём пробоину и вызволяя гул из плена. – Построю церковь и обвенчаюсь в ней в ночь под Рождество с Аллой Савишной!

XXIII

Весь день двенадцатого декабря шёл обильный снег, и назавтра Игорю пришлось пробиваться на пустырь сквозь сугробы, оставляя за собой, как дикий Терек, глубокий каньон.

Лес был полон баснословной красоты. Сосняк, нагруженный пышными комьями снега, тонул среди повлажневших и

задремавших от тепла берёз по обоим склонам ручья. Мерцал родник.

Отдышавшись и сбросив тулуп, Игорь деревянной лопатой нагрёб целую кучу снега, потом ведром носил воду из родника, поливал её и, наскоро что-то съев, не то комок хлебного мякиша с прошлогодней мойвой, не то мякиш, вымоченный в огуречном рассоле от долгого соседства с объедком огурца, принялся возводить кудрявую стену. Вылепив волны и завитушки, он взволнованно подумал о Франческо Борромини, отвоевавшем своей прихотью место в пространстве для барокко.

«Борромини работал каменщиком на стройке собора святого Петра в Риме, я работал архитектором в районном центре. По моему проекту построено четыре фонтана в районном саду. Один фонтан изображал доярку, другой – свинарку. Третий фонтан олицетворял космонавта, а четвёртый – просто отдыхающего человека с бутылкой в руке. Из бутылки безобидно лилась вода. Когда началась борьба с пьянством и алкоголизмом, фонтан сломали, а меня сократили как пропагандиста алкогольных напитков. Ха-ха! Истина в вине, мать вашу в дышло! Истина в покаянии, сказал Тенгиз Абуладзе! Да-а... Сократили. Тогда я стал петь под аккордеон на вокзальных перронах. Хм! Жил по Евангелию. Не трудясь, не сея, как птица небесная. Чёрт принёс меня в Крестино. Шёл по улице и играл "Токкату" Баха. Алла Савишна стояла и слушала... Алла Савишна у дверного косяка исполкома сельского совета. Алла Савишна с чёрными глазами и весьма-весьма печальным лицом», – думал Игорь и лепил свою церковь, даже не лепил, а стряпал, радуясь, что получится она у него карнавальной, настольной, сувенирной, с отпечатками пальцев на обледенелых стенах и коряво обработанных понизу ледяным рустом.

Было тепло и снежно. Снег, хотя уже истощённый и редкий, всё ещё падал, тихо дорабатывая что-то в громоздких теремах и башнях среди пней и сосен, осторожно что-то до-

шивал серебром в тяжелейших мехах лесного убора. Игорь стряпал церковь и думал, что вся русская архитектура вышла из снега. Все приземистые, похожие на обабки башни и колонны кремля Ростова Великого, псковский погост, пряничные строения Изборска и Нижнего Новгорода, да и сама Москва с Китай-городом, флюгерами, зубцами – были перевоплощены зодчими из снега, из зимних ёлок и пней, из сугробов, навьюченных по лесам, дорогам, по обрывистым берегам затаённых привлекательных малых речушек.

– Те строения суровы и вечны. Моё же краткое, праздничное. Придёт весна – и оно растает. А потому должно вспыхнуть костром, просверкать, как санный путь лунной ночью! – сказал он и отступил, любуясь тем, что состряпал. Снежная церковь, пока ещё похожая на руины, сырая, размякшая, плохо подбирая свои углы, поднималась на пустыре. Игорь обошёл её, обмял лишний снег и самозабвенно принялся лепить на выступах и в наружных нишах предметы плотского соблазна, вынося их из себя, очищая от них воображение вмо­раживанием в лёд, оттесняя от горячего притока крови и в то же время лукаво надеясь, что весь этот соблазн непременно возродится и воспалится, когда они придут сюда венчаться с Аллой Савишной.

– Первая наша брачная ночь должна быть сочной, пы­шущей, – сказал Игорь, шлифуя брезентовой рукавицей круглые бабьи груди. – Судя по всему, она самка с завидной жадностью. Мне же вплоть до Рождества ничего не надо пить спиртного. Боже упаси от спиртного! Надо спать, есть и дышать снегом!..

Было уже поздно, когда он нарубил осины, соорудил из дров шатёр и поджёл внутри него сухие сосновые ветки. Пламя мигом разбежалось, объедая сучья и бурля в дуплах, потом вскочило на конёк шатра и, ошалев от воли, ударилось кудлатой головой о сук ближней берёзы, и сразу же ожившие от мгновенного его обмана пискнули, лопнули почки и погибли в аду. Растаял, сверкнул росой снег на берёзовом

стволе. Красноватый отблеск перебрал на подмёрзшей церковной стене кудрявые листья и ягоды, выгнал из ниш в замысловатых любовных позах кентавров и древнееврейских блудниц, Приапа, ухмыляющегося от избытка собственной детородной мощи, Силена с древнегреческой домохозяйкой, олимпийскую чемпионку с факелом и ветеринарного врача Тамару с агнцем.

– Польза, прочность, красота, – повторил Игорь формулу Витрувия и тут же отверг её. – Ни то, ни другое! Если трезво рассудить, то я устроил снегозадержание на пустыре. Для пущего роста иван-чая в будущем году. Для его благовеста. Для яркой окраски малиновым цветом моего места в мозаичной картине мира. Это польза. Если бы раньше, в былые времена снегозадержание на полях проводили не с помощью тракторов, а с помощью районных архитекторов, то по производству зерна мы давно перегнали бы Америку... Прочность? Только в трескучие морозы. Красота-а! Не красота, а чудо. Наше венчание с Аллой Савишной – уже чудо.

Снег сыпал и в последующие дни. В тёплых мутных сумерках Игорь возвращался из леса, нёс вязанку сухоломника, топил в клубе печку и читал Блока. Кентавры не прибежали. Алла Савишна не приезжала, лишь Файка Кудесина по-прежнему мыла полы и поливала герань, зачем-то перевязав её белой ленточкой. Ходила по деревне беременная Физка Жвастикова. Игорь впервые увидел, как она некрасива и тупа, и вдруг возомнил, что ребёнок может быть от него, как, например, кентавры, стал Физку избегать, прятаться от неё...

«Бабы – это метафизика!» – вспоминал он изречение Игната Жвастикова и уходил в лесной пустырь строить церковь. Он уже вылепил купол и поставил ледяной крест и теперь занимался внутренней отделкой. Внутри стряпалось всё не так, как снаружи. Ледяной пилон посреди церкви был строг, без единой морщины. Зато морозно блестели сотворённые из снега образы, потиры, свечки и тело Господне. По вечерам оно переливалось синим льдистым огнём, от сияния,

казалось, шевелится слепой вензель под куполом, неведомо что и символизирующий. И вдруг взошла луна. И всё засияло, зажглось, обсыпалось алмазами. Чудотворно вспыхнуло и дочерна сожжённое грозой дерево, и Игорь увидел, что у него серебряная голова и золотые усы. Церковь объяло белое пламя. Игорю оно показалось колдовским, таким колдовским, что, страшась безмолвной лесной и небесной красоты, он встал на колени перед телом Господним и замер перед его горением.

Белые искры рушились с высоты, обтекали ледовые стены, набивались в сквозное кружево образов, и Игорь, коченея от восторга и сладкого, неведомо что несущего страха, шептал:

– Что же это такое? Что? Какую же тайну пространства поймал я в эту ледяную архитектуру, совсем не думая о ней, не догадываясь? Я хотел сотворить чудо и спастись через него. Я сотворил, но не спасся. Наоборот, усилил свою тревогу. Теперь это уже не тревога, а страх... Может, оттого, что жить моему чуду недолго – до весны... Нет! Нет! Это явлено то, что я погубил в себе... Это то, к чему я был призван небесами, но не сделал. Вот отчего мне страшно. Сладостно и страшно. Сладостно, что я талантлив, и страшно, что не воплотил талант в деле... Что бы я мог сделать из мрамора! Из дерева! Китеж-град... Шартрский собор!..

Он коснулся окоченевшими губами тела Господня и вскочил – ледяное тело щедро обожгло его, из припечённой губы потекла кровь. Медленно пятясь, Игорь вышел из церкви и остановился, перекрещённый тенями и пёстро запылённый огненной пылью. По вершинам леса полз тихий ветер, осторожно сбрасывая иней и пробуя хрустально-мёрзлые ветки, продувая фигурные бойницы и окна в снежных теремах, переделывая сугробы на равнинах. Слабый лесной ропот стоял высоко над головой, иногда в нём прорывался отдельный взглас – то скрипела осина или заливался в стеклянном многоголосье черёмуховый куст. В лесу всё начина-

ло двигаться и гореть от снега, горела омываемая лунным светом и церковь, ветер уже смело входил в её узкие окна и пел, промывая своим дыханием каждый узор, каждую складку во льду. Лики на образах становились выпуклыми, горели льдом сквозь снежную кутерьму и хранили какую-то свою тайну, хранили обет молчания, данный среди льдов, мёрзлых осин и берёз, сугробов...

Игорь уходил, путая ногами волокно позёмки и придерживая поднятый воротник. Шапка его становилась всё тяжелее от алмазов, алмазная пыль текла за ворот, тулуп был огненным.

«Если бы каждый из нас сотворил чудо и через то чудо рассказал бы о своей душе, мир бы спасся!.. Пусть никто не видит и никто не слышит... Важнее всего рассказать самому себе, себя открыть через чудо, открыть через Господне творение! Надо каждый день открывать Господа в себе! Мир стар. Лишь один Бог всегда нов и неповторим».

Он вышел на косогор и остановился, облизнув ожог на губе. В лунном блеске Покровка перед ним лежала, как на серебряном блюде. Сверкали первые вьюжные фонтаны, и ветер уже безжалостно выдувал снег из стеклянных тальников.

XXIV

Перед Рождеством он позвонил Алле Савишне и сказал:

– Я построил церковь. Согласны ли вы обвенчаться со мною в ней?

Алла Савишна вздохнула, простонала. От её стона у Игоря сильно забило сердце, он, видимо, тоже вздохнул и простонал, хотя не заметил этого. Зато заметила она и, польщённая, согласилась:

– Да.

Боясь, чтоб она не передумала, Игорь не стал больше ни о чём говорить и сразу же положил трубку, не зная, радоваться ему или горевать. Радовало его наверняка самое

скорое сближение с ней. Звонил он в воскресенье, а Рождество будет во вторник, значит, уже завтра он поведёт её под венец... Завтра он придёт к ней!.. Но в чём прийти, мучился Игорь. В белых «бананах»? Холодно, неприлично. Под венец... в «бананах». Чучело огородное одевают более по этикету, чем оденется он перед венчанием с любимой женщиной. Тут Игорь счастливо вспомнил о чёрном фраке, забытом года три тому назад столичным фокусником Власием Полероомошвили. Творческий коллектив Власия в составе его самого и флейтиста с более сложной фамилией, которую и сам флейтист не мог произнести правильно, скитался по Руси, показывая фокусы и обирая простодушных зрителей. Заявились они и в Покровку. Флейтист выводил восточную мелодию, а Власий Полероомошвили в костюме удава гнул на сцене и вытаскивал изо рта ленты, шпильки, бюстгальтеры, пионерские галстуки. В зале среди прочей публики сидел и областной прозаик Коля Берестовский, прибывший в Покровку с чтением своих рассказов. Чтобы публика не ушла с чтения, он прочитал их в первой половине концерта, а во второй половине запустили Власия Полероомошвили. Публика хлопала. Власий выгибался, тащил изо рта галстуки и пипифаксы, а Коля ревновал и ходил в боковушку к Игорю пить из бутылочкебурашек дрянной кагор, которого закупил полный чемодан для смелости.

В самом интересном месте, когда Власий должен был достать пяткой затылок и изрыгнуть изо рта очередной предмет, пёстрая кожа на его брюхе лопнула и из прорехи вывалился ворох шпилек, плавок, сосисок и прочей дряни...

– Ах ты, блядь такая! Приехал обманывать простой советский народ! – взревел Коля и, выломив из стола лампу вместе с чугунным штативом, как выламывают, например, кол из огорода мужики в день свадьбы или похорон, кинулся к Власию... Власий так и удрал в костюме удава, прыгнул в окно и с ловкостью профессионального циркача захватил попутно

баульчик с вырубкой. За Власием вывалился Коля с лампой, за Колей сиганул флейтист с флейтой... Коля, правда, потом вернулся, допил кагор и с дорожным чемоданом удалился в соседний совхоз читать свои рассказы, а кооператив Власия Полероомошвили исчез из Покровки навсегда, оставив на сцене ленточки и галстуки, а за кулисами на гвозде чёрный фрак с бархатными обшлагами. Как кстати вспомнил сейчас о нём Игорь!

– Спасибо, Власий! – воскликнул он. – Пусть земля тебе будет пухом, если ты умер, а если ты в бегах, то царствие небесное!

Он снял с гвоздя фрак, прощупал его карманы и, не найдя ничего, кроме пачки презервативов, начал примерять фрак перед зеркалом. Фрак пришёлся на него, как на оперного певца, лишь рукава выглядели великоватыми и, отягощённые обшлагами, тянули книзу. Примерил Игорь и презерватив, оставшись им более довольным, чем фракком.

– Спасибо, Власий! – сказал он снова и взялся готовить свадебное снаряжение. Под фрак подошла белая рубаша с бабочкой из чёрного коленика, в которой он исполнял сатирические куплеты на международную тему. – Не страшна нам угроза Саддама! Напоим мы Саддама «Агдамом»! – пел он год назад под «Бурю в пустыне».

А из штанов пришлось всё-таки выбрать «бананы», поддев под них что-то между трусами и кальсонами из нательного белья. Облачившись в «бананы», фрак и валенки, Игорь взбил серую кроличью шерсть на своей шапке, косо посадил её на голове и опять поглядел в зеркало.

– Почти как соболя! – отметил он и снова почувствовал неприятную тревогу в груди. Теперь вызвало её совсем уж никчёмное воспоминание об Акакии Акакиевиче и его шинели с воротником из кошки. Второе гложущее чувство исходило от скорой утраты холостяцкой свободы...

«Хоть и грешен я и вкривь и вкось, но – свободен! Что хочу, то и семеняю. Что я только не семенял!.. Ну, доволь-

но, довольно! Мужчина должен быть виртуозно грешен. Но это ещё не значит, что он должен есть перловку с вазелином. Пора, пора садиться за блины! Утром – блины, ночью – женщина! Я ей покажу Хо Ши Мина!..»

Вечером, омывшись в бане Уряпихи берёзовой водой, Игорь дождался сумерек и важно отправился в Крестино, неся в себе тревожно-обжигающее раздвоение между светом и тьмой. Тревога сосала, разоряла его сердце. В лесу ему вдруг стало тоскливо, обидно и одиноко, вспомнились купальские светляки, жёлтая заря в поле, светлая берёза, на которой он кровью попрощался с Аллой Савишной. Он шёл, а тревога хватала его за полы тулупа, волочилась рядом, он скользил на дороге, как на ледяной горе, спотыкался и материл себя, что забыл наклеить на подошвы валенок пластырь, мешающий скольжению.

Чем ближе он подходил к Крестино, тем сильнее хотелось вернуться на вербу, в осенние грёзы. Он знал, что, сойдясь с Аллой Савишной, навсегда утратит их. Грёзы, тайно и сладко сознаваясь самому себе, были ему дороже.

– Зачем же я иду? – всё чаще останавливался Игорь и спрашивал себя. – Я люблю её в грёзах, на вербе, над омутом... Чего ещё надо? Что может быть выше любви, чем сама любовь? В жизни никогда так не будет! Что меня гонит? Желание близости. Но мечта лучше, чем близость. Не пойду! Нет! Нет! Я должен идти, чтобы знать, наконец, как кончает она в постели! Хватит ей являться предо мной из уха Китовраса, из первого измерения. Пусть поживёт во мне, в измерении тысячном!!!

Теперь уже Игорь чувствовал себя странно. Он остановился, оглянулся назад, туда, где в снегах, подо льдом, сочно шлёпая о берега, ходил омут. Над омутом в ледовых серьгах старая верба, в её вершине – дуплянка с печью и тулупом на полу. И так опять захотелось вернуться туда Игорю, взобраться по заснеженному стволу, сесть в развилке и, уткнувшись лицом в воротник тулупа, грезить о винах и закусках,

среди которых он ходит нагишом... И он, может быть, вернулся бы, но тут зажглись огоньки Крестино.

Алла Савишна встретила его в ограде, и он сразу понял, что она его ждала. Она ждала его ещё вчера и сегодня ждёт. Она будет ждать и завтра... Он бы сидел на вербе, а она ходила бы по двору, прислушиваясь к скрипу снега за калиткой, к голосам у продмага, у почты, к мужскому кашлю и, может быть, смотрела бы в щель забора – не идёт ли он? Он пришёл, он свернул с дороги на тропинку, открыл калитку во двор.

Они долго целовались среди сугробов и голых сиреневых кустов со звёздами в верхушках, а потом пошли окольной дорогой, чтобы никто не встретился им, не нарушил их молчаливого сговора, не подглядел их поцелуев. Игорь шёл, целуя её, томясь от счастья, и уже не жалел, что не вернулся на вербу...

«Всё так и будет, как на вербе!» – теперь уже не раскаиваясь, думал он, надолго припадая к её рту своим ртом и медленно шевеля там языком, отчего Алла Савишна бездыханно замирала, и ему уже было всё равно – от страсти она стынет или от неприязни...

За околицей они вышли на узкую санную дорогу. Игорь остутился в снег, утонул по пояс, потянул её к себе, не переставая целовать.

– Мы настрадались оба в этом мире от тоски и одиночества... Мы оба растеряли своих детей, так и не родив их. Что мы сделали с тобой, Алла Савишна! Вы желанны мне! Вы любимы мною!.. Я дурной, игловатый, пустырный! Знаю! Знаю! Со мной не страшно, а странно, как с чертополохом, – бормотал он, утопая лицом в пуховой шали и котике, скромно занявшем воротник её пальто.

Она стыла, слушала, целовалась и шла с ним по санной дороге. Ночь была глухая, тёмная. Игорь спохватился, что не взял с собою свечи.

«Свечи! Свечи же должны в церкви гореть!» – досадно подумал он. Но Алла Савишна шла рядом, он целовал её,

горел, сверкал сам изнутри огнём, захлёбываясь сонным веянием сосен, сверканием звёзд.

Без луны пустырь был сер, церковь со всеми ледяными барельефами скромно таилась в ночи. Потухшие стены её были заметены снегом. У входа лежал сугроб. Игорь размесил его, начал торопливо чиркать спички. Алла Савишна стояла где-то рядом.

– Я сейчас! – сказал он, выбрался наружу, долго трещал сучьями и вернулся с охапкой осинового хвороста.

– Сейчас! Сейчас! – повторил он, бросил хворост под ноги и начал поджигать его. Заиндевелые, хоть и сухие, сучья горели плохо. Бедный огонёк прятался, приседал в дыму, а Игорь упорно догонял его, пытаясь поймать за ухо, поднять и поднести к каждому образу, золотя кружева и ледяные лики. Лишь позднее, когда он натаскал из сосняка сухой хвои, огонь взлетел и забрызгал церковь лесной жертвенной кровью. Ожили, замигали образа, налились малиновым светом ледяные свечи, ночь заставила окна жутким бездонно-чёрным стеклом. С трепетом и испугом запрыгали багряные блики по телу Господню.

Мокрой рукой Игорь торопливо взял руку Аллы Савишны, протянул её над телом Господним, снял шапку и, страшась огня, любви, чёрной ночной бездны, наполнившей ледяные церковные окна, заговорил:

– Я, раб Божий Игорь Глинов, беру в жёны рабу Божию Аллу Савишну... Перед телом Господа нашего согласны ли вы, Алла Савишна, стать моей верной супругой?

– Согласна, – откуда-то издалека, как из ямы или бездны души своей, отозвалась Алла Савишна.

– Я, раб Божий Игорь Глинов, перед телом Господа нашего согласен быть вашим верным супругом, нести сей крест до конца пути нашего и любить вас всегда. Согласны ли и вы любить меня?

– Согласна! – донёсся далёкий голос Аллы Савишны.

Игорь наклонился, поцеловал её и, съехав ртом на злоеще объятый огненным трепетом и пьяно пахнувший горелой золой воротник, долго смотрел на чёрное небо, мигавшее в

окне. Жаром прихватило ледяной вензель, с потолка закапало. Малиновая роса выступила на образах.

– Вот и дождь пошёл, – прошептал Игорь, вдыхая гарь, сосновую смолу и снова дико, по-звериному, неизвестно отчего тоскуя...

XXV

Возвращались они так же молча, только уже не целуясь, а торопясь домой, в тепло, потому что оба замёрзли, намочили у церковного костра валенки. Было ещё рано, где-то около девяти часов вечера, но январская темнота, казалось, поглотила всё. В пустынном селе даже не лаяли собаки. С реки, с елани несло студёным северным ветром.

Алла Савишна открыла дверь,пустила Игоря, не включая света, молча и бесшумно разделась. Разделся и он, радуясь темноте, что она не увидит его бутафорского фрака и нательных, отхваченных ножницами по колено подштанников-бриджей, как сказал бы он, если бы Алла Савишна вдруг заметила эти подштанники. Сняв и «бриджи», натываясь в темноте и сдвигая с места то стул, то этажерку для книг и гремящую расхлябанным деревом, как человеческий скелет, который снова вспомнился сейчас Игорю, он добрёл до кровати и, ложась рядом с Аллой Савишной, поводя руками в кромешной тьме, чтобы не брякнуться мимо, угадал, что это не кровать, а диван и, наверное, казённый, обитый дерматином, потому что простыня заскользила и заскрипела на нём.

По-прежнему ничего не видя впотьмах, Игорь нашёл губами Аллу Савишну, коснулся рукой её груди, живота, повёл ниже и задышал, раздувая ноздри... Звёздная волна подхватила его и вынесла высоко на гребне, а внизу вдруг открылась зияющая чаша, Игорь напрягся до предела и стал соскальзывать с волны, чтоб, наконец, сбросить семя в желанную чашу... Вспыхнул пылающий образ Аллы Савишны... Она

была там – внизу... И всё медлила, не несла ему эту чашу. Он видел, как она омывала её и долго вытирала полотенцем, потом оглянулась, словно спрашивая – нести или не нести?

– Скорей же! Да скорей же! – всхлипнул он с зубовным скрежетом и сам понёсся навстречу ей, но снова взлетел на волне, бешено ударил задом о пустоту и не донёс семя, пролил его на лету – прямо на ноги Аллы Савишны. Постыдно замерев, он лежал какое-то время и снова со всхлипом и зубовным скрипом вытянул из-под себя простыню, чтоб отереть её ноги, и, коснувшись их, почувствовал, как они мелко, жадно дрожат...

– Алла... Савишна... – промямлил Игорь, поцеловал её плечо, стал медленно, вязко гладить живот, припадая к ней, покачиваясь, плывя, как недавно плавал в горячем, мокром зерне... И тотчас в темноте соткалась голая негритянка и, брызгаясь белым, поплыла, заиграла телом в звёздной каше... Игорь сомкнул челюсти и стал качаться яростнее, чаще, гудя и визжа всеми пружинами и гайками дивана. Негритянка тоже принялась качаться, не даваясь ему и не уплывая далеко. Потом вдруг нырнула и не вынырнула. Игорь схватился за свою выросшую, как у Приапа, детородную мощь и, злорадно ликуя, всадил её в трепетную хлябь. Пружины дивана засвистели, застонали, гайки загремели, что-то отвалилось и покатило и ещё больше разъярило Игоря. Одурманенный визгом пружин, громом гаек, пожирающим всё вокруг лихорадочным жаром, предсмертным дыханием, он разнёс бы, наверное, диван в щепы, если бы мучительно-томный птичий вопль не остановил его... Всё ещё ломая диван и что-то кромсая своей мощью, он поднял голову и понял, что кричит женщина, кричит под ним, любовно увлажняя его своим соком, изнемогая, рассыпаясь, становясь вдруг вялой, ватной, как кукла...

«Ах, вон как она!.. Как павлин... Так павлины кричат в зоопарке...» – мелькнуло в его бреду.

Он упёрся подбородком в её ключицу и затих, думая, что надо отойти, пощадить её. Вздохнув и нехотя оставив её, он

снова начал гладить её грудь, живот... Слушая, она не отзывалась и засыпала. Заснул и Игорь, вобрав во сне в полуоткрытый рот её волосы.

...Проснулся он от сурового шёпота.

– Игорь Иванович! Игорь Иванович! – будила его Алла Савишна.

– А? Что? – сонно спросил Игорь, приподнимаясь на локте. – А-а, это ты... Милая! Милая...

– Игорь Иванович! Уже три часа ночи! – перебила Алла Савишна.

– Что? Три?... Чего три? А-а!.. Ну и что?

– Как что? Уходить пора!

– Кому уходить? Куда уходить?

– Вам пора уходить!

– Я не партизан, чтоб уходить...

– Пора уходить домой!

– Домой?... А я разве... Подожди! Как уходить? Мы же обвенчались! Мы же муж и жена!

– Игорь Иванович!

Алла Савишна резко поднялась, села где-то в его ногах, натянув на себя одеяло и, видно, закрывшись им.

– Вставайте! – приказала она.

– Да-да!..

Игорь тоже сел, опустил ноги на холодный коврик и тяжело вздохнул. Ясные зелёные звёзды мигали в окне сквозь редкий тюль, из-под половиц сквозило холодом, оттуда же пахло гнилой картошкой. Мерно, как в пыточной камере, тикали ходики.

– Алла Савишна, ночь ведь! Куда я ночью? – сказал он, нащупал край одеяла, потянул его к себе.

– Уходите! – сердито сказала она, подбирая одеяло.

– Можно, я побуду до утра... часов до пяти? – попросил он.

– Доярки в пять часов пойдут на ферму. Увидят, что вы уходите...

– Ну и что! Мы ведь обвенчались! Мы ведь с вами женаты!

– Игорь Иванович! Мне не пятнадцать лет. Вы любите не меня, а кого-то другого... другую во мне. Вы и вообразили, что с ней...

В голосе Аллы Савишны послышалась горькая обида, она смолкла, сдерживая её, чтоб не заплакать. Игорь представил, как у неё сейчас дрожат губы, как часто-часто она моргает глазами...

– Алла Савишна! Вы с ума сошли! – воскликнул он и тоже смолк, чтоб не заплакать от жалости к себе и к ней.

– Я не дура! – теперь уже явно сквозь слёзы промолвила она.

– Боже мой! Боже мой! – простонал он. – С чего вы взяли, что я вообразил какую-то другую? Мало ли что возникает в мужском воображении?.. Вам, наверное, тоже вообразилось, что вас насилуют в крапиве... вы же кричали от сладострастия!..

– Ну, теперь рассказывайте всем, как мы тут с вами... кричали, – жёстко вставила она, и он понял, что больше у них ничего не повторится, это его напоминание о сладострастии она приняла как упрёк, как вину и свою оплошность, и уж больше она с ним не оплошает, не провинится. У неё с ним всё кончено!

– Прости меня! – промолвил он и поник головой.

– Уходите!

– А я-то думал... Венчание в церкви, костёр...

– В церкви? Это чум-то с костром – церковь?!

– Алла Савишна!!!

Игорь вскочил и затрясся от гнева.

–...Нормальные люди в сельсовете расписываются, а не в чумах венчаются. Это вы уж опять какую-то роль репетируете. Гамлет! Уходите немедленно!

– Плевал я на ваш сельсовет! И на того, кто сидит там! Поня-а-атно? А? Пле-ва-алл!..

Игорь в самом деле плюнул и понёсся искать свои «бриджи», двинув и уронив этажерку в темноте. Мысленно выру-

гавшись: «Долбаный шкилет!», он ошупью нашёл «бриджи» и фрак, кое-как оделся и, уже надевая тулуп, вспомнил, что опять уходит с семенем, опять станет в тягость себе, опять страх и тоска потянутся по его следу, начнут загонять в тёмные углы, заглядывать в каждую прореху, в каждую щель, пытая похотью, обжигая плотским ничтожным злом... Он протянул руки, отыскал её в углу дивана и виновато шепнул:

– Алла Савишна!..

Она поняла его намёк, резко, видно, с отвращением переместилась, отчего опять пружины дивана свистнули и пикнули.

– Алла Савишна!..

Она промолчала. Игорь постоял, надел тулуп плотнее, нащёл шапку и вышел. Ночь опалила его снегом, стеклянным, обломанным с краёв ветром, набросила на голову звёздный мешок. В цветном переливе огней клубился Сириус, звенели снега.

Игорь постоял, спрятал нос в косматом воротнике тулупа и вышел на большак.

«Уеду! Уеду куда глаза глядят. К Звиаду Гамсахурдии, к Шамилю Дудаеву!.. Пропади всё пропадом! Уеду! Сегодня же, хоть на товарняке, но уеду!» – решил он, всё глубже погружаясь в воротник лицом, пряча в нём рыдание и слёзы. Слёз в воротнике накопилось уже столько, что он смёрзся от них и стал колючим, как частокол.

XXVI

Рано в субботу одиннадцатого января Игнат Жвастиков проснулся от близкой стрельбы. Он перелез через спящую Физку и подбежал к окошку, выглядывая из-за занавески и пытаясь понять – кто и где стреляет? Дико выли от ветра чёрные тополя, бил о стену сорванный с гвоздя ставень, с крыши лилась воды.

– Вот те раз! – тревожно воскликнул Игнат. – Весна, что ли, наступила?!

Снова ударил ставень, звон раскатился по всему дому, задрожало зеркало в простенке. Игнат подошёл, чтобы поправить его, и в ужасе отпрянул прочь – в зеркале, расколов его туманную квадратную черноту, полыхнула белая молния... И снова срослась, собралась в единый квадрат зеркальная глубина, вынула откуда-то из комнаты бледное испуганное лицо Игната, отразила за ним оконные переплёты, мотающиеся деревья.

– Физка! – крикнул Игнат. – Слышишь, гроза идёт! Ха! Вот так фокусы! Гроза в январе!

Он выскочил во двор, чтобы поставить на место стреляющий ставень, захлебнулся влажным южным ветром и сразу же промочил ноги в луже, подобравшейся к самому крыльцу.

– Дела-а! – вернувшись, протянул он, снял мокрые валенки и, пробежав босиком в горенку, толкнул Физку:

– На улице тает. Ручьи бегут, как в апреле. Слышишь?

– Оттепель, значит, – спросонья пробормотала Физка. – А кто бухал-то? Стрелял кто, что ли?

– Ставень бухал, – сообщил Игнат. – С гвоздя ветром сорвало. Не помню, чтобы такое в январе творилось. Ученики после зимних каникул по лывам в школу пошли! Ещё рождественские-то морозы по идее не должны кончиться...

Ему не спалось. Едва дождавшись, когда совсем рассветёт, он оделся и побежал носить в баню мокрый снег, нагрузив им чугунный титан, кадку и бочку, наносил дров из-под сарая, где всё текло и моталось – сарай был стар, Игнату всё некогда было его переделать, насыпал курам зерноотходов и пошёл в магазин.

Лидия Игнатьевна торговала лапшой, вздыхала и часто роняла с прилавка железную гирику. В магазине толпился народ, брал лапшу, подгоревшие буханки хлеба, завезённые ещё позавчера, испуганно роптал, жаловался.

– Цены-то, Игнаха, растут, как на дрожжах, – сказал Игнату Витька Кашин. – Как бы весной нас на гражданскую войну не погнали!..

– Херово! – согласился Игнат.

– Конец света! – громко и испуганно прокричала богомольная Надежда Ивановна. – Конец света приближается! Через восемь лет будет Страшный суд. Готовьтесь!..

– Как же не конец, ежели Господь от нас давно уж отказался, – подхватила Уряпиха. – На днях дедушка у нас на лыжах за зайчишками ходил, дак в лесу церкву наглядел.

– Церкву! – подняла от весов голову Лидия Игнатьевна. – Какую церкву?

– Из снега слипленную. И в церкви-то Христос лежит в гробе, тоже слипленный из снега. А по стенам Дьявол с бабами скачет. Всё, говорит, из снега налиплено. В церкви ветки жжёны и пробки, говорит, от бутылок таскаются... Надсмешка! Мало им ресторантов, дак давай церкву слипим и блядей наведём. Как же тут стерпеть Восподу-то? Конец света, конец!..

Открыв рот, Лидия Игнатьевна долго слушала и, вздохнув, вымолвила, опять уронив гирьку с прилавка:

– Я нынче на работу пошла, гляжу, почки на смородине-то возле туалета у меня лопнули. А завтра – мороз под сорок градусов! Вот и конец света, если лес без листа останется, а кусты – без ягод.

– А цены-то, прости господи!

– Развалилось всё, расплзлось...

– Горбачёв, мать его в дыру етти!

Игнат взял лапши, с сожжённой коркой буханку хлеба и вышел из магазина. Ветер выл, ревел, ломая сучья, дребезжа оконными рамами и пустыми скворечниками. На косогоре ребятишки лепили из мокрого снега горбатое, длинноголовое чучело, втыкая в него обломанные ветки и палки.

Игнат принёс домой лапшу и хлеб, затопил баню и вспомнил бабий разговор о церкви в лесу.

«Что за церковь? – думал он, подкладывая берёсту в отсыревшие дрова. – Кто её слепил? Зачем? Пойду погляжу, что ещё за церковь из снега...»

Он подложил ещё дров в каменку, намял в бочку побольше снега и доложил Физке, что пошёл в лес за метлой. Физка, тяжело дыша, ползала на коленях – мыла полы. Митька топтался рядом, лез в воду, падал на мокрые половицы и ревел.

– Возьми ребёнка! – заорала Физка. – Успеешь ещё наломать метёлку! Видишь, едва пыхчу! Нет, попёрся за метёлкой!

– Когда успею-то? – огрызнулся Игнат. – Надо сходить, пока тепло. Завтра поднимется буран несусветный, носа не сунешь. Только сейчас и ломать метёлку, пока лес волглый!

Не слушая больше Физку, он взял топор, подпоясался солдатским ремнём и, вогнав под него топор, отправился за реку.

Ветер клокотал в вершинах мокрых сосен, в санной колее поблёскивала вода. Стволы у берёз были розовые, словно новорождённые, и тоже мокрые, качающиеся от ветра. Игнат свернул с дороги и, проваливаясь в снег, подошёл к старой чёрной ольхе, посмотрел ввысь, на её бушующую верхушку, вспомнил, как весной здесь гудели пчёлы, а позднее шёл дождь и лиловый стройный козелец весело мельтешил в пахучей траве... Он наклонился, поднял из-под ног свежий, недавно обломанный сук ольхи и затосковал, дотронувшись до крупных зелёных почек.

– Всё пропало! – вздохнул он. – Дождь после Рождества. Дождь с молнией. Вот уж точно – конец всему. Конец света. Всё перемешалось, как на земле, так и на небе.

За молодым смолистым сосновым бором, где дорога круто уходила под склон, он вдруг встретился с Прасковьей Васильевной.

– Куда это ты? – весело спросила она его.

– За метлой и церковь посмотреть. Говорят, кто-то в лесу церковь слепил из снега.

Игнат поправил топор и кивнул на сосны:

– Видите, что делается! Весна! Утром молния сверкала, сам видел. Подошёл к зеркалу, а она ка-ак сверкнёт! Конец света! А в церкви, говорят, Христос слеплен из снега и дьявол по нему скачет. Ребятишки вон вместо снежной бабы тоже антихриста лепят. Раньше бы старики этакое чучело в комьях разнесли, а нынче никому и дела нет. Дети антихриста лепят, а мы бегаем друг за другом да спрашиваем, сколь хлеб будет стоить завтра да привезут ли в магазин лапшу. А вы откуда идёте?

– По лесу хожу, лес слушаю, – улыбнулась Прасковья Васильевна.

– Церковь-то видели?

– Видела! – вздохнула она. – Размокла вся. Гора снега лишь осталась.

– Господи! Как жить дальше станем! – вздохнул и Игнат. – Никогда ещё народ на земле так не жил... Всё размокло у нас, Прасковья Васильевна! Всё! Почки вон на ольхе зазеленели. В январе, после Рождества, зазеленели почки, сверкает молния...

– Это – Мокошь! – ответила Прасковья Васильевна.

– Какая Мокошь? – спросил Игнат.

– Мокошь пришла. С теплом, водою. Она всегда так ходит. Послушай-ка, как лес шумит! В нём теперь каждая жилка играет. Походи, походи по лесу! Послушай его!

Прасковья Васильевна оставила Игната и пошла по размокшей санной дороге, но вдруг обернулась и сказала:

– А люди всегда жили так, как живут. И будут жить всегда так, как живут. В мире ничего не изменилось. Просто пришла Мокошь. А вы напугались. Естества природы напугались. Своего не боитесь, а природы напугались.

Игнат не ответил и долго смотрел ей вслед, пока Прасковья Васильевна не свернула на тропинку, свою, тайную, утопающую в снегу в зарослях чёрной черёмухи.

«Жить бы так, вот здесь, пить из ручья и охотиться на змия!» – с тоской подумал Игнат, вытащил из-под пояса топор и ударил по сосне. Сосна засветилась брызгами и, прошив его за удар, обрушила их на Игната.

...Поздно ночью он вышел за ограду и остановился, стараясь что-то запомнить, что-то унести в себе и в другую, посмертную жизнь, в которой уже никогда не будет грохочущего ветра, бешено стреляющих тополиных вершин, мокрых веток с яблоневого корой...

Влажные мохнатые звёзды низко стояли над оградой, над деревней и тёмной дикой далью. На северо-востоке ручкой книзу висел ковш Большой Медведицы, на западе, в радужной, никогда не виданной мгле брызгала искрами и иглами луна. Ревел, гудел лес, грохотали ставни, и звенели заборы, и нёсся, нёсся свист ветвей. На юге, в чёрном небе, сияла молния, поливая зелёным стеклом и без того стеклянные снега и дороги.

1988–1992 гг.

Кузнецово – Омск

Я к вам пишу – чего же боле?

«Евгений Онегин»

Я ВАМ ПИШУ...

Роман

Глава первая

Учительница русской словесности Василиса Ермиловна Чебутыкина искала телёнка на елани и нашла его в овсах фермера Петрушки Шалахина, быстро погнала домой, чтобы никто не увидел, а главное, сам Петрушка, быстро проскакала вместе с телёнком через дорогу, очутившись в реденьком березнячке и нелегально матюкнувшись от пережитого волнения, как вдруг дыхание её потерялось, глаза остекленели, а ноги прилипли к земле... Через березнячок навстречу ей в крылатке и цилиндре, с тростью в руке шёл Пушкин. Он прошёл мимо, туманно взглянул на неё и, развеяв по воздуху запах немислимых духов, пошёл через овсы к осеннему лесу...

– Вот ля-ля так ля-ля! – только и промолвила она, пощупала себя со всех сторон и, убедившись, что находится пока в полном своём материальном сборе, погнала телёнка дальше, переставляя ноги в замедленном темпе, не зная, что это вообще такое с нею произошло и что это вообще такое может произойти с человеком на материальном свете!.. На опушке березнячка она оглянулась... В далёких полях становилось темно, тихо и грустно.

Дома Василиса Ермиловна сообщила мужу:

– Фёдор! Я сейчас Пушкина повстречала!

Фёдор интересно посмотрел на неё и прокатил по щеке свирепый желвак.

– Он! Ей-богу! Он самый! Такой, каким рисовал себя в тетрадах. Идёт в цилиндре, в бакенбардах... Только бакенбарды почему-то рыжие. Я считала, что чёрные, а они рыж... Что ты на меня смотришь, как на дуру?

– Лучше бы ты Сталина повстречала! – сказал Фёдор и прокатил желвак по другой щеке. – Чтоб воскрес и расстрелял всю эту симфонию на хер! Сёдни какая-то блядь из всех тракторов медные провода повывёргивала! Цветной металл!..

– Так звонили бы в милицию! У вас в конторе телефон есть! – возмутилась Василиса Ермиловна.

– При помощи какого хера звонить! Света не было! Отключили подстанцию и сняли все провода...

– Зачем?

– Затем, что они алюминиевые! Цветной металл! Воруют и продают! Расстрелять бы всех! Без права переписки...

– Нет, Фёдор! Тут что-то не то! – прервала его Василиса Ермиловна.

– Да всё то! Денег нет, проводов нет! И Сталина тоже нет! – рявкнул Фёдор.

– Я не о том, Фёдор...

– Дай мне три тысячи, я за самогонкой пойду! – потребовал он.

– Ты пьёшь, а мне видения мерещатся. Не пей пока!

– Не пей! А куда деваться? В петлю, что ль?

– В клуб сходил бы...

– В клуб – казать пуп! Там шпана одна, шилами тычется!

– Какая шпана? Что ты мелешь? – опять возмутилась Василиса Ермиловна. – Сеня Дымов, Деня Шупуев, Вадик Простынин. Все мои учащиеся. Ребята...

– Первые наркоманы! – объявил Фёдор. – Белену за кузницей жрали всё лето. Таньку-Кашиху кормили, чтоб она по елани нагишом бегала и кунку показывала!

– Ах, Фёдор Потапыч! Ты своим грубиянством совсем заколебал меня!

Василиса Ермиловна села в мягкое кресло, безвольно уронив руку с навозом на запястье.

– Как-то уж совсем мы стали жить постыдно, – печально сказала она. – Материмся, кунки показываем... И вообще, что за жизнь! А вот Пушкин!.. Воплощение обаяния, мужской грации, артистизма...

– Да такой же был мужик!..

– Мужик – это ты! А Пушкин – поэт. Ты же в поэзии ни хера не понимаешь. Одни матерки да гайки.

Василиса Ермиловна вздохнула и дыханием вывела из сонного состояния занавеску на окне.

– Сгубила я с тобой своё призвание. Лучше бы за гробовщика вышла! За Белкина! Или за Шпоньку! Или за Тимку Усалова. Он хоть зуб золотой себе вставил...

– На ворованные капиталы можно и фитиль золотой вставить! – огрызнулся Фёдор, мужественно собираясь за самогонкой.

– На какие капиталы! – удивилась Василиса Ермиловна. – Он у Самохвалова работает на мелькомбинате. Не пьёт, не курит. Зубы золотые вставляет.

– А Самохвалов-то кто? Прихватизировал мелькомбинат, построенный социалистическими бабами-бетонщицами! – провозгласил Фёдор, как лозунг с трибуны, и опять прокатил желваки – по обеим щекам сразу.

– Дай три тыщи! – сказал он.

– Не дам.

– Тогда я в долг возьму. Тебе всё равно отдавать придётся.

– Как я тебе дам три тыщи, если у меня купюра в сто тыщ!

– Я сдачу принесу.

– Не принесёшь.

– Принесу!

– Нет. У меня купюра внушительного достоинства даже в период инфляции.

– Так разменяй! – приказал Фёдор.

– У кого?

– У Светки.

– Ля-ля так ля-ля! Я её заклеимила, что она самогонкой торгует, и пойду к ней же купюру менять.

– Какого хрена клеймишь!

– Потому что я педагог и волнуюсь за учащихся, чтоб они не спивались.

– Купюра!.. потому что жена – дура!

Фёдор оделся и вышел.

– Ты куда? – крикнула Василиса Ермиловна. – Я же сказала...

Он не ответил, стукнул дверью и во дворе, взглянув на небо, в полной согласованности с собой и со всем миром, подумал, что, если у супруги купюра, он возьмёт три пузыря. Один выпьет в бане, другой в ограде, а третий на облаке... И, вовсю растроганный своим счастьем, Фёдор подкинул вверх шапку и кудряво спел:

– И по-о-айду по а...аблака-ам!..

Глава вторая

В тёмную осеннюю ночь не спится батраку Гришке Хабарову. Сладко и тревожно его сердцу. Всё ждёт он какого-то явления или беса, сам не зная, чего ждёт. Особенно тогда, когда идёт с фермы мимо древней, в капях и бородавках ивы и подолгу стоит, слушая гудение далёкого поезда, а может быть, и своей души, рыдающей в бестолковом теле.

В замызанной куртке, вкривь и вкось заляпанной эмблемами великого Китая и родным назьмом, с «молнией», разехавшейся отсюда и досюда, в резиновых сапогах на одну ногу, Гришка слушает мировой гул, и хочется ему знать, кто это гудит, во что гудит и зачем. Домой идти неохота. Он бродит мимо косога прясла, шебуршит сухой полынью и, наклоняясь с мостков, кричит в чёрную воду:

– Эй!..

Вода какое-то время молчит, обдумывая, что это прокричали ей, и медленно, вязко отзывается глухим, слаженным колокольным стоном. Гришке известно, что на дне омута находится церковный колокол. Храбрые ныряльщики видели его одним боком осевшим в ил и тину. Все рассказывали по-разному: те, кто уже помер, раньше говори-

ли, что под колоколом живёт... это самое... как его... Да хрен его знает, кто там живёт! Бледная, полосатая, с рыбьим хвостом и намащенной головкой, как у индийской артистки. Оголодавшая молодь послевоенного производства не видела в колоколе ничего и ловила в нём налимов. А современные ухари обнаружили там партийный билет Петрушки Шалыхина в целлулоидном пакетике, привязанном за ниточку к уху колокола... Хотели отвязать – не смогли. Решили перерезать ножиком – не перерезали. Ножик сломался, а ниточка осталась. Видать, не простая, с каким-нибудь изобретательством. С титановой перекруткой.

– Наших ждёт, – высказался по поводу партбилета безработный активист Иван Петрович Шептырин.

Гришке шестнадцать лет. Из школы его выгнали. За роман «Это я – Эдичка». Роман, изданный в Омском книжном издательстве, привезла в деревню Маша Волохова. Она и дала почитать про Эдичку, когда Гришка в очередной раз явился к ней за книгой – не то Грибоедова, не то Тургенева... Чокнувшийся, с перекошенными мозгами от чтения романа, он уж и забыл, за какой книгой приходил тогда к Маше. На «Эдичку» наткнулась сама директриса школы Ираида Ираклиевна. Она с хитроумным любопытством, какое и подобает директрисе, сложив руки на груди, прогуливаясь по классу и надзирая, добросовестно ли изучает класс образ Наташи Ростовской, тихонько подошла к заднему ряду, где сидел Гришка, погружённый в чтение... Почувяв дамскую парфюмерию, он захлопнул книжку и, отодвинув её в сторону, оперативно придвинул Льва Николаевича Толстого. Но было уже поздно!

Ираида Ираклиевна, с иезуитским выражением лица, медленно и властно захватила книжку и раскрыла её на четырёхста тридцать восьмой странице, начав читать с первого абзаца... Нервный тик запрыгал под одним её глазом, потом запрыгал над вторым, рот открылся сам собой, да так и не

закрылся до сих пор, и непонятно какого происхождения припадок свалил её с ног... Её нашли в пустом классе с высунутым языком и вывернутой не на ту сторону рукой, впившейся в книгу.

Ираиду Ираклиевну увезли в больницу. «Эдичку» сожгли на костре члены педсовета, предварительно прочитав втайне от народа. Гришку Хабарова обсудили на школьном собрании и выгнали за аморалку. С прерванным образованием он радостно нанялся в батраки к фермеру Петрушке Шаляхину. Фермер определил Гришку в водовозы, выделил ему железную бочку и кобылу Монголку. Денег фермер не платил по самой популярной причине, что их у него не было. Гришка в молчании и смущении провозил бесплатно воду всё лето, а осенью возроптал:

– Зарплату бы надо, а то...

– А то? – зловеще спросил Петрушка.

– А то всё лето без зарплаты...

– Достаточно того, что я дал тебе работу, – сказал Петрушка. – У других вон ни зарплаты, ни работы нет.

Гришка возил воду в телятник. У чёрта на куличках, в строении, собранном из ошмётков бывшего совхоза, привольно прогуливались двести голов телушек и бычков. Охранял их опять же по найму беженец из Москвы Вилька Чохин с собакой Ашушум.

Технология охраны удивляла простотой и остроумием. Ашушуй спал в будке, через которую пропускался слабенький электрический ток. Причина тока в замаскированном положении находилась за телятником. Если кто-то опрометчиво задевал проволоку в ночное время, первым об этом знал сам Вилька. Тогда он, развалясь в телятнике, на душегрейке, в изолированном от телят углу, где начинала тут же реветь и трепетать лампочка красного катастрофического устройства, прибавлял ток, щиплющий и щекочущий Ашушуя. Ашушуй выскакивал из будки и лаял. Злодей убегал от телятника подалше.

– Ну, что, попробовал говядинки? – кричал вслед неизвестно кому Вилька и хохотал с намеренным вывихом.

Оплачивая Вильке остроумие самогонкой, Петрушка спрашивал:

– Ты вот чего убежал из Москвы? Все бегут в Москву, а ты из Москвы.

– Потому что я не такой, как все. Я – а-но-ма-лен! – отвечал Вилька и выставлял палец к небу.

– Како-о-ой? – морщился Петрушка в глубокомысленном презрении.

– Ано-ма-лен! Из аннунаков.

– Из чего-о-о?

– Аннунаков. То есть из пришельцев.

– Пришельцев... Откуда?

– Из Москвы.

Пока Петрушка делит зарплату из самогонки с Вилькой пополам, Гришка варит творог из обраты. Потом они завтракают с Монголкой. Гришка ест творог из ковшика, Монголка – из тазака.

Мерцает над рекой ивняк, шепчет вода, всё торжественней, всё мстительней её шёпот. Вот он из жалобы переходит в угрозу, вот уже кто-то сидит в осоке, рвёт волосы на голове, зачерпывает в пригоршни грязь, и, запрокинув морду, льёт на себя, и опять шепчет и скрежещет зубами: «...Ночь та, да обладает ею мрак, да не сочтётся она в днях, да не войдёт в число месяцев! О! Ночь та, – да будет она безлюдна! Да не войдёт в неё веселье! Да проклянут её проклинаящие день, способные разбудить Левиафана!..».

«Это колокол!.. Колокол шепчет», – подумал Гришка, и ужас объял его. Он кинулся бежать, однако ноги подкосились от страха, он пополз и уже на косогоре, еле очухавшись, услышал голоса. Шли по заречному берегу, курили и обсуждали что-то важное, хвалясь друг перед другом матерками.

– Они у Червы, нах, шаманят. Если узнают, у неё на хазе нас и ждать будут. С игрушками, в рот опа!

– Херка с бугорка не хотят! Подождут и линять начнут. Тут мы и жахнем.

– На конях!.. Как чапаевцы, нах!..

– Первым делом Тимку Усалова прижучим... Премируем, нах!

– Он уже премировал себя. Зуб золотой вставил на самом передке.

– Выбьем, н-на!..

«В Соломатино собираются бить кого-то. Наверное, Тимку Усалова. Вот, блин, слоняются и ночи безлюдной не боятся», – подумал Гришка, выкарабкался из полыни, закурил со всей способностью и подался в клуб. Но в дверях клуба ему подставил подножку местный опер Мартын Молль.

– Куда это ты губу раскатил, младенец?

– В клуб...

– Похавай у Тимки зуб! Сначала, нах, умойся. Шкурку смени! Будто из хевры вынырнул! Чо без галстука?

– Нету галстука...

– Без галстука не положено. Хиляй обратным способом.

Молль развернул Гришку, долбанул его пинком и захлопнул дверь. Гришка брякнулся подбородком о землю, потрогал пальцем передние зубы и плаксиво прововопил:

– Сидят, бляха! А то золотые бы вставил!

Он поднялся, сплюнул из прокушенной губы кровь и крикнул со старательной ненавистью:

– Марты-ы-ын!.. Повесь кишки на тын! Га-алстук!.. А туалетом пользоваться не умеете!.. Нассали у крыльца, как жеребцы! Мо-олль – фашистская голь! Ги-и-итлеррр!..

Потом едва нашёл слетевшую с головы «пидорку» и, уходя подальше от хамского базланья и топота танцоров, изворачивающих в клубе современную жизнь, начал изобретать казнь для Мартына Молля. Вдруг его осенило – спалить клуб! Это было очень просто. Подойти ночью к окну и через форточку пальнуть из рогатки горящим пыжом в ведро с бензином, которое хранится в заднем углу вместе с кистями и охрой.

В ведре техничка Люська вымачивает кисти, которыми красит клуб. Она его красит всю перестройку. Перестройка уже давно уткнулась в бандитизм, а Люська продолжает реформировать клуб с социалистической честностью. Сперва она выкрасила полы. Вечером молодёжь пришла на дискотеку и вся прилипла. Спасали так: к каждому привязали верёвку и тянули артелью. Почти все оставили подошвы, которые отдирали от пола отряд СС, то есть специального спасения. Потом Люська выкрасила рамы. Краска скатилась тут же, как горох, и прокатилась по стёклам. Отмывать стёкла прибыли всё те же ээсовцы и от свирепого служения изломали стёкла. Дальше Люська начала красить отопительные батареи и закрасила их так, что батареи прекратили своё существование. Люську обвинили в намеренном членовредительстве и решили не выдавать ей зарплату. Но и без этого членовредительства Люська всё равно зарплату бы не получила – страна шлялась в рыночной экономике при уничтоженных зарплатах, как при коммунизме.

Отставшая от экономики Люська ни хрена не поняла и села писать жалобу генеральному секретарю Советского Союза. Написала: «Москва, Кремль» и споткнулась в нерешительности, не зная, кто сейчас секретарь – Хрущёв или Брежнев. Потом подумала и вывела жирными буквами на конверте – товарищу Ленину. Когда письмо принесла на почту, чтоб отправить его заказным, там на неё посмотрели с причиной страха и осторожно спросили:

– Вы откуда взялись, девушка?

– Из деревни взялась, – ответила Люська.

– Да вы разве не знаете, что Ленина давно на свете нет?

– Знаю.

– А что же тогда пишете Ленину? Он же давно умер...

– Ну, Маленкову...

– И Маленков умер...

– Вот те на! А кто же тогда руководит нами? – удивилась Люська.

– Никто не руководит. Ельцин... Так он каждый день с похмелья. Так пока живём. Свободные слоняемся.

– Тогда Ельцину, – вздохнула Люська, переписала адрес и умильно ушла с почты. Письмо прочитали, изорвали и выбросили в корзину.

«Бедная Люська!» – подумал Гришка. Он решил не поджигать клуб, потому что Люське тогда негде будет работать. Зато до самой полуночи точил в бане тесак, которым ещё прадед страшал медведей. Ровно в полночь лезвие запылало и разнесло по углам клочья белого огня. Гришка вырвал из головы волос и лихо рассёк его в воздухе.

– Оп-па! – приветствовал он этот жест, выискал в каменике уголь и начертал на рукоятке тесака: «Смерть немецким оккупантам!».

Глава третья

Из бани Гришка попал в звёздную ночь, как в приключение. Он долго стоял, чувствуя, что облачается в звёздные алмазы, словно в шубу царя Салтана, и даже «пидорка» на голове стала тяжелее короны. Он постоял и огородами, партизанскими тропами пошёл мстить фон-оперу. Но Молль сам спешил ему навстречу. Они столкнулись в темноте, отчего Гришка опять торкнулся на землю и выронил тесак.

– Кто это, блин, тут хивляет? – заорал опер. – Как вяпаю маслину, кинешь, нах, кости тут же!..

«Замочу, падла, всё равно замочу!» – скрипнул Гришка зубами, боясь поднять голову, чтоб Молль не узнал его и не навешал «маслин».

– Морда кована! – выругался Молль, поднял упавшую фуражку и пошёл дальше. Гришка полежал, дожидаясь, когда он уйдёт совсем далеко, привстал и начал искать тесак. Тесака он не нашёл и, решив найти его завтра, тоже пошёл дальше, только в другую сторону, продолжая глядеть на звёз-

ды. Одна из них медленно плыла в небе, но Гришку это не удивило. Он знал, что плывёт один из искусственных спутников Земли или даже сама МКС. Вот ещё одна звёздочка поплыла наперерез Млечному Пути, переплыла его и потерялась в безбрежной дали ночного неба. Ещё одна выплыла навстречу и тоже уплыла куда-то.

– Блин! Сколько их там плавает! – сказал Гришка и, пока шёл, насчитал десяток плавающих туда-сюда звёздочек.

Так он дотащился до околицы деревни и вдруг увидел в одном из окон неправдоподобный для нашего времени свет. Будто там жгли лучину и при лучине пряли.

– Чей же это дом? – спросил себя Гришка, подошёл ближе и узнал, что здесь живёт та самая Маша Волохова, приехавшая из Петербурга, не совсем понятная девица, лет этак, кажется, двадцати восьми. Неизвестно чем занимающаяся, неизвестно на что существующая. Черноглазая, чернокудрая, не то рассеянная, не то высокомерная.

«Блин! Наградила Лимоновым!» – встречая Машу на своём пути, всегда тайно злился Гришка, будто наградила она его триппером, от которого он до сих пор так и не излечился. Из-за Лимонова его выгнали из школы, а бедная Ираида Ираклиевна до сих пор лежит в параличе. Говорят, что левая половина отсохла...

Он тихо, с мышинным шуршанием сухой травы, подкрался к окну, поднялся на цыпочки и заглянул сквозь плохо задернутую шторку.

На столе горела свеча. Перед нею за чёрным, топорной работы столом, заваленным книгами и бумагами, сидела Маша. Она что-то писала, иногда задумываясь, поднимая голову, глядя перед собой, иногда чему-то усмехаясь, отчего выражение её лица постоянно менялось, будто Маша играла то одну, то другую роль, не повторяя ни игры, ни выражения, всегда по-разному представляя тех, кого играла. Но самое странное, что смутило и даже напугало Гришку, писала она гусиным пером, макая в бутылёк тол-

стого стекла, сквозь которое воспалённым жаром играл багрянец.

«Колдует, бляха!» – испуганно отметил Гришка, чувствуя, как его испуг переходит в жадное, восторженное любопытство. Он долго стоял, теперь уже не столько глядя на Машу, сколько слушая в себе неразбериху каких-то звуков, похожих на далёкие глухие голоса, стук копыт, распевный звон санного полоза и ещё чего-то, как вдруг, выделяясь из общего гула, пронеслись, прозвякали колокольчики и в морозном шелесте по верхушкам осеннего бурьяна прокатились крылатые сани. И следом за ними сверкнул метеор, вовсе испугав Гришку. Он шархнул от окна, Маша услышала шум, открыла окно и строго спросила:

– Кто там?

– Я, – ответил Гришка.

– Гришка, что ли?

– Ну.

– Что ты здесь делаешь?

– Так, хожу... Хотел книгу попросить.

– Кто ходит за книгами по ночам?

– Я хожу.

Маша помолчала, глядя на Гришку и не совсем видя его, что-то затаённо и любовно слушая не то в себе, не то в небе, скорее всего пленённая бледной в ночи осенней берёзкой, будто оценивая, что она создана не так и не на том месте, а, значит, создать её надо заново и перенести отсюда, возможно, в далёкое прошлое...

– Ладно, заходи уж! – вздохнула она и пошла отворять дверь.

В доме, посмотрев на горящую свечу, на гусиное перо, воткнутое в бутылёк с чернилами, Гришка спросил:

– Что ты делаешь?

– Пишу, – ответила Маша.

– А я подумал, колдуешь.

– Это одно и то же.

Гришка слегка поёжился и спросил опять:

– О чём ты пишешь?

– О Пушкине, – просто сказала Маша.

– О Пушкине?! – удивился Гришка и опять чего-то испугался.

Он недоверчиво посмотрел на неё, потом взглянул на чернила и при свече опять увидел, что они красные, как кровь.

Маша вынула гусиное перо, взяла бутылёк и, легко взболтнув его, спросила с улыбкой:

– Хочешь посмотреть?

– Что?

– Что покажу... Иди сюда!

Гришка подошёл к столу, Маша макнула носовой платок в чернила, лукаво улыбаясь, смазала ему глаза и властно повелела:

– Смотри! Смотри вот сюда! Не отвлекайся и ни о чём не думай!

Он начал пристально глядеть перед собой на стену, где висела литография с серебристым изображением берёзового перелеска... Но вот изображение помутилось, какие-то тени зашевелились, замелькали в лесу, блеснули эполеты, и через поле тяжёлым галопом пошла конница. Было видно, как отстал крайний справа всадник, как он резко, злясь, дёрнул поводья и белый конь под ним взлетел на дыбы. Всадник ударил его шпорами. Конь, словно отбиваясь от овода, замахал хвостом и, разгневанный, оскорблённый, яростно взял в карьер, бросив из-под копыт ошмётки грязи прямо Гришке в лицо...

Гришка вздрогнул, схватился за лицо руками и в страхе спросил:

– Что это? Что это такое было?

Маша подала ему другой платок, он утёрся и рассеянно повторил:

– Что это?.. Кавалерия какая-то...

– Это Дантес, – сказала Маша. – Идёт боевое учение кавалергардского полка. А Дантес нервничает, потому что опаздывает на свидание...

Гришка открыл рот, ничего не понимая.

– Свидание с Натали? – наконец спросил он.

– Нет, – ответила Маша. – С Геккерном.

– С кем?!

– С Геккерном. По официальным документам – с отцом, а неофициально – с любовником.

Гришка сел на табурет и моргнул глазами.

– Но ты же пишешь о Пушкине, – вымолвил он.

– Да, – сказала Маша.

– А-а!.. Понятно... А чернила? Почему красные?

– Это кровь.

Маша подняла руку и показала синяк на сгибе локтя.

– Кровь?! – воскликнул Гришка.

– Да, кровь. Моя кровь, – в глазах Маши просиял алмаз. – Потому что я сговорила с чёртом. Сговор же с чёртом всегда скрепляется кровью.

Гришка вспотел и похолодел, медленно посмотрел на литографию, где в лунной изморози серебрился березняк и не было никакого ни поля, ни кавалергардского полка, хотя грязь, брошенная конём Дантеса, по-прежнему лежала на его лице, размазанная платком вместе с кровью...

– Н-ну, ладно. Я п-пойду, – пролепетал он, поднялся с табуретки и неуклюже, боком попятился к двери.

– До свидания, – сказала Маша и закрыла за ним дверь.

«Колдует, блин. Колдунья в натуре!» – подумал он, выбравшись на дорогу и оглядываясь. В окне Маши стоял мглистый золотой свет, и пленила, обвораживала в его луче бледная берёзка в осенней листве.

Глава четвёртая

В пять часов утра Гришке надо ехать за водой. Автопоездки в телятнике нет. Надо заезжать прямо с бочкой и лить

воду в железные колоды, привинченные к полу гайками. Иначе колоды украдут и сдадут на металлолом.

Мать Анна Фёдоровна начинает поднимать его в четыре часа. Сначала, тихонько толкнув в плечо, чтобы не разбудить младшего сына Ваньку, прищёптывает:

– Гринькя! Гринькя! Вставай, Гринькя!

Гришка лежит, как убиенный, открыв рот, собрав в кучу простыни и одеяло, в которых, кажется, навечно запутался Ванька, замотался в свою рубаху, и тоже неизвестно, жив или помер...

– Гринькя! – жёстче шепчет мать.

Гришка спит так, что посинел весь, лишь слюна верёвочкой тянется изо рта на подушку. Снится ему американский президент Билл Клинтон. Будто дал он ему ядерный чемоданчик и сказал на чистейшем русском языке: «Передай Ельцину! Только лично в руки, сэр!». Гришка взял чемоданчик и, помахивая им, пошёл по косогору. Идёт и слышит в чемоданчике какое-то копошение. И так ему стало интересно узнать, что это шевелится. Но открывать нельзя – вдруг взорвётся! Чемоданчик-то – ядерный. Однако чем дольше идёт, тем явственней слышится копошение. Дураку понятно, что живность какая-то. «Пооди, цыпушки? – подумал Гришка. – Передал Клинтон особую породу для разведения окорочков в Кремле...»

Он дошёл до высокой берёзы, той, которая стоит за баней баушки Фетиньи, живущей столетие вместе с берёзой. Только берёза уж засохла, а баушка всё ещё живёт и грозитя пережить семью Ельцина.

– Да как же ты переживёшь, ежели у него одних токо дочерей сорок штук! – говорит народ.

– Ну, дак и чо? Сорок штук и все без кунок, – бойко отвечает бабка народу. – Куды без кунок-то на свете? Выведутся скоро, потому что распложаться нечем.

«Интересно!» – думает Гришка, садится под берёзой и, оглянувшись по сторонам, торопливо открывает чемоданчик...

Крупная, упитанная стайка мохнатеньких существ шибает

нула его в лицо, со щебетом порснула на берёзу и расселась по всем сучьям. Рыженькие, чёрненькие, беленькие, даже голенькие сидели они и весело чирикали.

– Цып-цып! – позвал Гришка, задрал голову и глядя на берёзу.

– Цик-цик-цик-цик! – цокотало и чирикало оттуда.

– Цыпа! Цыпа! – опять позвал Гришка, вытащил из кармана хлебушек и начал крошить, со слезами в голосе приговаривая:

– Цып-цып! Цып-цып!.. Цы-ыпа!.. Цы-ыпа! Куть-куть-куть!.. Курочки! Курочки.

Но ни одна курочка не обратила на него внимания. Все сидели на берёзе и щебетали, прицокивали.

– Чтоб вы сдохли, суки! – разозлился Гришка и заревел. – Как я теперь с пустым-то чемоданом к Ельцину приду!..

– Чо воешь? – услышал он старушечий голос, оглянулся и увидел баушку Фетинью.

– Да вот... открылся чемоданчик и... курочки вылетели! – пожаловался он и снова заревел.

– Это не курочки, а куночки, мальчишко хорошенький! – сказала баушка. – Ишь, сколь! Ровно сорок голов!.. А чо ревёшь-то? Токо покажи им, оне и слетят обратно.

– Чо показать? Я уж весь хлеб искрошил! – всхлипнул Гришка.

– О-ой! Мальчишко хорошенький! Дурак-от ты какой! – визгливо захохотала Фетинья. – Из штанов покажи им!.. О-ой!.. Мочи моей нету-ка, сонная тетеря!..

– ...сонная тетеря! – слышит Гришка над самым ухом. Он разлепляет глаза и опять залепляет их, качаясь по волнам, проваливаясь по зыби, плывёт и плывёт вдаль...

«Это я в бочке плыву. Затолкали меня в бочку и скатили с косогора в мировой океан за то, что я хорошенький мальчишка...»

– Вот паразит! Матвей! Буди его! – кричит Анна Фёдоровна, обращаясь к мужу.

– Я сейчас вот ремнём! – отвечает отец и подходит к кровати. – А ну, вставай! Не захотел учиться, вставай! Иди робь!

Гришка моментально проснулся и вспомнил о Монголке, которая ждёт не дожждётся, чтобы её накормили творогом. Скитается по телятнику и нюхает Ашушуя.

«Ещё убьёт током!» – испугался он, вскочил, больно задел Ваньку и начал искать штаны и сапоги на одну ногу.

Ванька проснулся и закуксился.

– Спи, сынок, спи! – успокоила его мать. – Ты у нас на офицера выучишься или врача. Не будешь в школу срамные книжки таскать, учителей сводить в могилу раньше времени.

Утро хмурое, тёплое, влажное. За рекой на бугре, пробираясь из мрака, золотятся осины. Где-то там среди них кривляет лесная тропинка... Уйти бы по ней куда глаза глядят, но проклятая жизнь уводит по другой дороге – к телятнику и назьму, в котором вчера завязла водовозная бочка.

Чавкая сапогами в навозной размазне, фермер Петрушка Шаляхин уже обходит свои владенья.

– Райка! – кричит он, остановившись возле чёрного, не очень уверенно державшегося на ногах телёнка. – Что это объект семьдесят один так скоропостижно водит боками?

Вся живность на ферме – объекты. У всех на шее бляшки с номерами. В радиусе владений Петрушки Шаляхина двести объектов. Но Вилька Чохин изловил крысу и тоже повесил ей на шею номерок. Каждый раз, когда хозяин называет число объектов, Вилька уточняет – не двести, а двести один объект.

– Райка! – орёт Петрушка.

Телятница Райка Завьялова расшвыривает вилами корма во все стороны. Услышав хозяйский зов, прекращает работу и изображает на своём лице изысканное внимание.

– Что это объект семьдесят один так панически дышит?

– Так прихворнул, поди, – отвечает Райка.

– Чем прихворнул?

– Дрищет, господин Шаляхин. Расстройство тракта...

– Надо уничтожить расстройство. Дать вяжущий фермент...

– Так давала...

– И что в конкретном ракурсе?

– Черёмушную кору, рисовый бульён...

– Надо давать ферменты, утверждённые ветеринарными спецслужбами, а не бабкины закавыки!

– Он от спецслужб задрисстал ишо пуще!

Пока фермер пререкается с Райкой, Гришка запряг Монголку. Отоспавшаяся, съевшая полмешка зерноотходов, она, резвясь от сытой жизни, выдернула из назьма бочку и рысцой пустилась к водонапорной башне, где Гришка берёт воду для телят.

Бывшая совхозная башня приватизирована слесарем Мишкой Терентьевым и отныне – его собственность. Гришка подъехал к башне, просунул в бочку резиновый шланг и отвернул кран.

Подошёл Мишка и сказал:

– Завтра воды не дам.

– Знаю, – буркнул Гришка.

– Знаешь, а зачем приехал?

– Так я же ещё сегодня приехал.

– Вот. А завтра не езд. Вы и так набрали воды в долг восемьсот восемь кубометров. И до сих пор не оплатили. Понял?

– Понял.

– Так и передай своему... патрону!

– Да какая тебе разница! – взорвался Гришка. – Если я воды всё равно начерпаю. Из реки начерпаю!

– Вот и черпай! Ручным способом. А за автоматику надо платить. Понял?

– Понял, понял, – пробормотал Гришка и плюнул.

– И не харкайся тут в пределах производства, – гаркнул Мишка.

– Я не харкаюсь, а плююсь, – огрызнулся Гришка и опять плюнул.

Подошли ещё двое парней – Васька Сорокин и Алька Иваров, и, пока вода лилась в бочку, Гришка слышал их разговор с Мишкой.

– Ты не знаешь, кто дежурит ночью на базе у Ветошина? – спросил Васька.

– А что? – спросил Мишка.

– Лошадей хотим взять...

– Одолжить на часок, – ехидно вставил Алька и харкнул.

Мишка отметил харчок, вычислил в уме его массу и нехотя ответил:

– Дежурит-то Санка Шустова. Но дело не в этом...

– А в чём? – спросил Алька.

– В том, как вы их возьмёте? Лошадей-то.

– Угоним. Сгоняем то есть. А потом обратно поставим в конюшню, – сказал Васька и тоже харкнул.

– Куда? – спросил Мишка.

– В Соломатино. Тимке Усалову зуб выбьем и обратно прогоним.

«А-а!» – ахнуло в душе Гришки, будто развалило его пополам. Одна половина стояла ещё у бочки, вторая скакала в Соломатино, свистела, визжала и тыкала горячей куделей на палке то в сено, то в солому...

– ...тут, блин, денег месяцами не дают, а он зуб вставил... На хвастню!

– Так он же не в Соломатино живёт, а в райцентре. Вы чо, не знаете?

– Ездит к Лушке ночевать в Соломатино.

– Во, ухарь-пипец!..

Гришка выдернул из бочки шланг, прыгнул на телегу и погнал от водокачки к телятнику.

«А дурак этот Тимка! Жил спокойно, покупал джинсы, куртени и никому был не нужен. А зуб вставил, и все увидели, словно голой жопой заблестел. Каждый теперь знает:

Тимка блестит, а я не блещу. Значит, я хуже его. Не блести, падла! У-ух, мама! Погляжу, как ему зуб выбьют! Тоже покачу в Соломатино!» – распаялся он в мечтах и думах.

– Н-но! – прикрикнул он на Монголку. – Прогуляемся с тобой до Соломатино! Н-но!

Водовозка съехала одним боком в тракторную колею, Гришка кувыркнулся с телеги, следом кувыркнулась бочка и накрыла его водой с головы до ног...

Глава пятая

Чёрным морозным вечером, щёлкая стылой дорожной грязью, по улице дико прокатилась конница. За деревней, не доезжая кладбища, верховые остановились.

– Как поедем? Через калинник или вокруг согры?

– Через калинник!..

– Вокруг согры!.. Там дорога широкая и ровная, а тут одни кочки! – слышались возбуждённые голоса.

– Через калинник! – твёрдо объявил Алька Иваров. – Они у Лушки засели. С огородов ждут. Знают, что в Соломатино всегда от нас калинником ходят... Там и сидят!

– Верно! Как захерачим в лоб лошадьми!..

– Вокруг согррры-ы!.. С ты-ы-ыла! Са-амнё-ом! – протяжно, по-командирски торжествуя и срываясь на тенор, взвыл Васька Сорокин – лихой человек с оторванным ухом.

Два года тому назад Васька насмерть разодрался со свидетелем Иеговы. Тот свидетель, притопавший сюда аж из Белостока и в пути истрепавший четыре пары тапочек, смиренно сидел у магазина и раздавал народу разноцветные книжечки на польском языке. Народ, не понимая ни единой буковки, книжечки, однако, брал с большим старанием, потому что давались они бесплатно да ещё полыхали яркими картинками, на которых седовласый старец то калил железом, то палил огнём бестолковое человечество...

Васька долго стоял напротив свидетеля с книжками, попивая из пивной бутылки, потом весело и метко переброевал бутылку через штатетник в чей-то огород, крякнул, плюнул и спросил:

– Ты кто?

– Свидетель Иеговы, – тихохонько ответил свидетель и ласково моргнул синими глазками.

– А кто такой Иегова? – спросил Васька.

– Господь наш.

– Бог, значит?

– Значит, Бог.

– А если он Бог, откуда ты узнал его имя? Он что, тебе доложил?

– Он мне открылся во спасение и смирение...

– А почему мне не открылся?

– Господь открываетея не всякому...

– Ха! Тогда никакой он не Господь, а такой же, как я, – рядовой запаса кавалерийского эскадрона, созданного на основе съёмки фильма «Война и мир». А ты где служил?

– Я служу Иегове...

– Ха! – опять бесшабашно хакнул Васька, обуянный великой радостью к жизни, и от радости, вскипевшей и вызывавшей в нём, пнул ногой фанерный ящик из-под пряников, на котором пламенели книжки свидетеля Иеговы.

Готовясь к богословскому спору и уж никак не ожидая такой вероломной агрессии, свидетель вскочил, посинел от натуги и рывкнул:

– А ну, подними, падла, в натуре!

И с пеной на губах по-польски запшикал:

– Пши-пшибзиш-пся-бзе-пшик!..

– Чего-о? – заорал Васька. – Я тебе, н-на, покажу шибдю!..

Он хапнул свидетеля за ворот и торкнул себе под ноги. Свидетель маленько полежал, пошевелился, пришёл в себя и неожиданно дёрнул Ваську сзади за концы штанин, да так

ловко, что Васька потерял опору под собой и торкнулся рядом.

Они покатались мячиком, намертво обняв друг друга. Васька рвался и скрежетал зубами, порываясь сомкнуть растопыренную пятерню на горле свидетеля, а свидетель, утянув голову в плечи, свирепо жевал его правое ухо. Оба, наверное, погибли бы тут же, не погодись бы рядом телятница Райка Завьялова. Неслась она домой, тащила с фермы ведро обраты и хлопыстнула обратом на двух умирающих в схватке мужчин, как на котов, запустивших когти друг в друга. Оба захлебнулись обратом, сели и стали кашлять...

Свидетель исчез сразу же, даже не подобрав своих разноцветных книжек. Ваську с изуродованным ухом доставили прямо в хирургическое отделение. Вернувшись из отделения, он долго и внимательно разглядывал себя в зеркало, особенным манером интересуясь завитушкой на правой стороне головы, пришитой задом наперёд.

– Мнн-да! – выдавил он из себя с прискорбным значением, взял нож и отрезал завитушку к чёртовой матери. Рану Васька обработал перекисью водорода, а ухо, тщательно пережёванное свидетелем Иеговы и ненормально посаженное в хирургических тайниках, выбросил в ограду, где его тут же уволокли сороки. Так из Варламова Васька переключался в Сорокина и даже расписываться стал, как знаменитость: Варламов-Сорокин. С той поры он и вовсе зажил хватом и по всякому поводу процветал над деревенской сутолокой, как легендарный комдив, хоть и с одним ухом.

...Алмазное звёздное море трепетало в лесных проёмах, и где-то позади, воспламеняя сферу жёлтым огнём, как адской топкой, поднималась луна. В деревне, взбудораженные грохотом копыт, заливались лаем и воем собаки.

– Идём цугом! У Соломатино развёртываемся веером и, конфигурально охватив весь населённый пункт флангами, следуем во всю полную грудь! – едва сдерживая тонконогую пляшущего жеребца, командовал Васька.

Гришка смотрел на него и, полусъеденный завистью, думал:

«Аскольда, бляха, взял!».

– Вся операция в населённом пункте Соломатино выражается в форме самой строжайшей окружности, что позволит нам сомкнуть клешни на Лушкиной хазе вместе с её гнездовьем!..

«Завтра Ветошин сомкнёт на тебе клешни за Аскольда! Другое ухо оторвёт!»

– Главное, перекрыть ретираду Тимке Усалову. Он приезжает к Лушке с мелькомбината с пятичасовым и уезжает с пятичасовым. Всем ясно?

– Все-е-ем! – ответил за всех Гришка.

– А это ещё кто? – спросил Васька.

– Я, – сказал Гришка.

– Кто ты?

– Гришка...

– Какой?

– Хабаров!

– Подь ты, нах! Я думал, Мелехов!

Все захохотали, а Васька, наезжая Аскольдом на Монгол-ку, приказал:

– Спешайся с коня!

– Чо так?

– Вот так. Спешайся! И хромай домой немедля!

– Ва-ась!.. – плаксиво протянул Гришка.

– Какой я тебе Вась? – грозно оборвал Васька.

– Това-арищ команди-ир!..

Гришка затесался в строй тайком, под шум, когда верховые, пригнав лошадей через задние ворота конно-спортивной базы акционерного общества «Ветошкин и К», седлали их и вооружались плётками и свинчатками. Гришка на своей шарообразной Монголке мягко вкатился в самую середину и тоже закрутился, залихачил, рассыпая рубиновую пыль горячей сигареты. Плётки у него не было. Зато под варежку, на

ладонь он положил добротный советский рубль – Лениным кверху, решая ублажить неприятеля так, чтоб увековечить на нём профиль вождя пролетариев. Но, когда верховые понеслись, будто чугунным крылом со скрежетом и грохотом царापнув по заречному косогору, ввалились в лес, то вверх, то вниз взбалтывая звёздную мешанину и унося на себе, как латы, зловещий лунный пожар, Гришка от страха забыл сладость предстоящей битвы и потерял своё орудие – железный рубль с Лениным...

– Ну, Ва-ась! – слёзно повторил он.

– С коня слазь! – в рифму снова оборвал Васька. И снова все захохотали.

– Ну что тебе, жалко? – канючил Гришка. – Я же на своей лошади. Дай хоть на Тимкин зуб посмотреть, а то выбьете и не покажете. А я ни разу в жизни золота не видел...

– Да пускай едет! – сказал кто-то. – Для численности.

– Ну, Господи Сусе, вперёд не суйся и сзади не отставай! – уничтожая Гришку пренебрежением, проговорил Васька, вытянулся на стремянах и огласил:

– Впррё-од!..

Конники свистнули, ухнули, развернули лошадей влево и взяли лесным просёлком, будто сваливая с бронзового подноса тёмную волчью согру, где трепыхалось и рвалось дорожное звёздное шитьё. Одна из звёзд попала Гришке в глаз, он охнул и тоже захайкал и засвистел. Подмороженная к ночи грязь гулко взорвалась под копытами, дорога дрогнула золотыми огнями и понеслась, треща и качаясь в лесных узорах. Лунный свет, взъерошив на обочинах сухую траву, полился рядом...

Впереди, с золотой лунной выюгой за плечами, скакал Васька. Аскольд, ахалтекин, призёр, неделями лущующий копытами крепкие и звонкие переборки стойла, избалованный Ветошиным овсом и рафинадом, чёрным комом пробивал хрустальные костры перелесков, топтал и путал бешеную пестроту лесных теней, нёс одноухого командира. За

Васькой свистящим шёлком стлались удальцы его отряда, а сзади всех, далеко отставая, катился Гришка, истязающий себя в матерках и проклятиях, что сегодня вечером взял да скормил Монголке два ведра творога. Теперь творог тяжело бухал и шлёпал в её брюхе, и Монголка изо всех сил тащила его...

– Вей-е-е-еэ-эром! – протяжным криком продрал Васька плотку у первой соломагинской хаты.

Однако никакого веера не получилось, потому что единственная улочка деревнёшки Соломатино бледно золотилась среди оград и домишек, у которых торчали то трактор, то комбайн, то сенокосилка, и все без колёс, с одними кабинами и остовами, клонувшими где вперёд, где набок, то валялись дрова, то лежали кучки соломы, но всадники со свистом и визгом всё равно проскакали по ней, не встретив ни живой, ни мёртвой души, развернулись на другом конце деревни и, сдерживая взмыленных лошадей, приступили к совещанию.

– Надо в клуб заглянуть!..

– Нах он нужен!

– Вдруг в клубе засада?

– И чо?

– По ряшкам нахерачим!

– Нах нам ряшки? Нам Тимка, блин, нужен!

– Поехали в клуб! Возьмём заложников, чтоб дали показания о месте нахождения Тимки! – скомандовал Васька.

Но в мутных окнах клуба скиталась одинокая луна, а разбитую в щепки и кое-как сколоченную заново дверь залихватски переезжал железный засов с болтами и замками на обоих концах.

– Мёртвое море, бля!

– Физкультура-секскультура!

– На рейде ночном тишина...

– Хы-хы!..

В это время, шибко булькая брюхом, Монголка поднесла к лунным окошкам клуба Гришку.

– Рядовой Хабаров! – крикнул Васька.

– Я! – отозвался Гришка.

– Завтра напишешь в «Районный вестовой» статью о смертном часе российской глубинки. Понял? – приказал Васька.

– Так точно, товарищ командир эскадрона! – на полном серьёзе отгартаторил Гришка и даже козырнул левой рукой, потому что в правой держал поводья.

– Лады. При штабе будешь. А теперь слушай мою команду – к Лушке-е!..

Зацокали, зазвенели копыта, зафыркали кони. Понеслись по воздуху искры зажжённых сигарет. Когда проезжали мимо торгового ларька, с крылечка мешком поднялась толстая фигура и, наставив автомат, сварливым бабьим голосом спросила:

– Кто-сь такие? Шляетесь тута... Щас стрельну!

– Чеченские боевики! – дерзко блеснул зубами Алька Иваров.

– А-а! – зевнула фигура. – Контрактники, значицца. А я ларёк сторожу. С оружием.

– Опусти пердукалку, контрактница! – сказал Васька. – Кто бы тебе автомат дозволил!..

– А ето не автомат – пужало. Витька-парашютист за бутылку из доски выстругал.

– А в ларьке-то чо? – весело спросил Сашка Чугунов.

– То же, что в твоей башке.

– А что в моей башке?

– То же, что в твоей жопе.

– Контрактница!.. Счас зашибу на хер! – повернулся к ларьку оскорблённый Сашка.

– Да ладно тебе! – плюнул Алька. – Связался с бабой. Эй, пугало огородное, где ваш молодняк?

– У Лушки, поди-кось...

– В жилах вашего молодняка течёт кровь зайцев и кроликов, – высказался Васька.

– Какой у нас молодняк! Два дробчика по всей деревне. Да и хер вас разберёт, с какой кровью вы теперь живёте. Всё смешалось – чечены и зайцы!

И тут же, как только верховые отъехали, вслед им раздалась дробная автоматная очередь. Воспламенив темноту, низко над головой пронеслись трассирующие пули.

– Ложись! – заполошно взвизгнул кто-то и первым брякнулся с коня, покотившись в придорожные репейники.

У Гришки чакнули зубы. Монголка же остановилась посреди дороги и, присогнув задние ноги, с громким фырканием и пуканием начала опорожнять из себя переработанный творог...

– Да чтоб тебя! – заколотил ногами по её бокам Гришка. – Приспичило! Одно слово – баба!

Алька Иваров, передвинув с уха на ухо разом взопревшую «пидорку» и заикаясь, залепетал:

– То-то, б-б-бл...я...с-сме-елая!.. С-с ка-ка... калашом сидит, н-на...хх!..

– П-поехали отсюд-да!.. – прошипел с заиканьем и Васька, обнаружив у себя под коленкой нервный живчик, и завопил, будто заплакал:

– К Л...ушке!.. О...от...отряд, к Луш...ке-е!

По дороге к Лушке немного очухались, встрепенулись друг перед другом и начали гадать, что это за туша с бабьим голосом и автоматом.

– Дефицит, наверное, в ларьке-то...

– Козе понятно! Гондоны да прокладки охранять не будет с автоматом!

– Дублёночки!..

– Наркота-а!.. Какие дублёнки? Кому они здесь на хер нужны?

– Дублёнки-то нужны, токо на какой хер их купишь?

– Наркота!.. Перевалочный ларёк с наркотой!

– В ментовку бы капнуть! Самому начальнику! Багряну!

– Это, может быть, сам Багрян и сидит...

У Лушки горел огонь. Васька подъехал к палисаднику,

перегнувшись с седла, достал кнутовищем окошко и громко постучал в раму. И сразу же из подворотни сыпанула дюжина мелких собачонок, захлебнулась, зашлась в злобе, заголосив на всю деревню. Вышла сама Лушка, открыла раздёрганную калитку, встала в её чёрном провале, как нарисованная, светясь под лунной наготой рук и плеч, змеиным извивом волос и ещё какой-то колдовской точкой, мерцающей в ложбинке полноводных титек, кое-как затуманенных гипюровой ветошью.

– Чего бренькаете? – властным грудным голосом спросила она.

– Убери свою шоблу! – прикрикнул Васька.

– Ещё чего! – дёрнула плечом Лушка.

– Где Тимка? – спросил Васька.

– А он мне что, муж? Откуда я знаю, где он? И на что он вам сдался?

– Зуб приехали выбивать!..

– Бог в помощь! – насмешливо сказала Лушка.

Алька Иваров скатился с лошади, подскочил к ней и влип головой в блестящий огонёк на груди.

– Жа-а-адненький! – слащаво пропела Лушка, обвила его рукой и лихо выстрелила зажигалкой в тучный вихор, раскосмаченный под «пидоркой».

Грохнул хохот.

Опалённый Алька взревел:

– Ай, бля! Ты чо? Я тебе опалю, знаешь где? Опалю и вы...

– Палку согнёшь! – оборвала его Лушка, захлопнула калитку и удалилась, извилисто качая тело и волоча за собой шлейф истеричных собачонок.

– Классно она тебя ополоснула!

– Во, баба!..

– Картечь, нна!

– Жениться на ней, что ли? – сказал Алька, надвигая «пидорку» на опалённый бок головы.

– Женись! Закусь есть, холодец, нна!.. Твоя палёная башкерь да Васькино ухо...

– Отставить бляенье! – сурово заметил Васька. – Что будем делать?

– Тимку искать...

– Где?

– На мелькомбинат скакать!..

– До комбината десять кэмэ. Там охрана, ментовка. Следите, нах, за базаром, козлы! – злобно вставил Васька.

– Тогда поехали домой!

– Да у Лушки он! На перине!

– Если у Лушки да на перине, считайте, что его для нас нет, – сумрачно сказал Васька и двинул поводьями.

– Калинником! – обернулся он к всадникам. – Тут ближе. Нам теперь торопиться некуда, мать твою в Японию! Ехать шагом, чтоб лошади просохли и остепенились. Должны поставить в конюшню сытых и спокойных.

– А как же Тимкин зуб? – спросил Гришка.

– Зуб от нас не уйдёт, – ответил Васька.

Он косо свернул на тропинку, истоптанную скотом, в ледяном миганье тонувшую среди изящно тканной заросли калинника, ещё яснее и прекраснее мигавшую там сквозь прорисовку веток, накренился под сводом черёмухового куста, оглянулся на Лушкин дом, задрожал ноздрями и звонким тенором запел:

*– Ка-алён ты мой опавший,
Ка-альён заиндевелы-ый!..*

«Сколько же Лушке лет? Тридцать? Это ей будет тридцать три, а мне полных восемнадцать... Девятнадцать, пожалуй. Скажу, чтоб ждала из армии. Приду из Чечни с орденом, черёмухи наломаю... Надо изъять у Тимки золото изо рта. Кольцо из него солью и Лушке на палец надену!» – блаженной мечтой взбрело Гришке в голову. Он распластался в улыбке во всю знать, от уха и до уха, и, чтобы не упасть в любовной дрёме с Монголки, привязал конец повода к своему поясу.

Глава шестая

На выезде из калинника Васька вдруг осадил Аскольда. Ехавший сзади и всё время молчавший Мишка Терентьев, чуть не натолкнувшись на него, недовольно спросил:

– Чо, командир, блинами пахнет?

– Ша! – поднял Васька руку и кивком указал вперёд, где тропа уходила в берёзовую рощу и разливалась там светлой полосой.

Сквозь космы берёзовых теней, охватывая рощу полукругом, навстречу им текла конная лава...

– Вот они! – выдохнул Сашка Чугунов, и Васька услышал, как дрогнул его голос.

– К бою! – отрывисто и негромко провозгласил Васька. Засвистели плётки, сверкнула бляха солдатского ремня, нервничая и стыдась ледяной судороги в суставах, Мишка Терентьев торопливо сталкивал под брезентовую верхонку свинцовую лепёху...

– Бить хладнокровно! Свято помнить о методике, с которой нас били в армии «деды» и отцы-командиры! – напомнил Васька и, выпрямившись в седле, одной рукой придерживая поводья, а другую, на запястье с коротким кнутовищем и ремённой косичкой, в которую был вплетён свинцовый горох, опустил как бы вяло и миролюбиво, поехал первым.

Враги остановились и стали ждать. Васька понял, что проскочить не удастся, тем более всему отряду.

«Нас кто-то продал! Они ждут нас и тоже на лошадях!» – промелькнула тоскливая думка. Он ударил Аскольда в бока, натягивая поводья и заставляя его по-змеиному изогнуть шею, танцующим скоком отпрянул в сторону, словно объезжая манеж и хвалясь своей верховой ездой. Но враг не понял, не оценил...

– Стой! – крикнули ему из рощи.

По-прежнему заставляя кружить лошадь, Васька предстал перед вражьими очами и остановился, хотя Аскольд всё ещё картинно топал ногами и полыхал глазом.

– Деня, ты? – приятельски спросил Васька, узнав по голосу начальника охраны мелькомбината, морпеха Дениску Игоркина, сидевшего на лошади в уморительной бабьей раскорячке. – Здорово, Деня!..

– Здорово, чернобровый! – опахнул Дениска начальственным презрением.

– Чо по лесам-то ездешь? Грибы, что ль, ищешь?

– А чо?

– Да ничо. Телевизор бы лучше смотрел. Там сейчас как раз «Тихий Дон» показывают.

– А чо мне его смотреть? Я уж видел...

– Плохо видел.

– Дэ-э? – не зная, что на это сказать, и потому со всей начальственной брезгливостью протянул лишь Дениска.

– Дэ-э?! – с пушей брезгливостью подхватил Васька и плюнул, вроде бы случайно угодив плевком в Дениску.

– Дэ-э?! – повторил намертво оскорблённый Дениска. – Считай, что ты покойник!

– Последнее желание перед смертью позволь исполнить? – обратился к нему Васька. – Позволь закурить? Курить хочца, аж всё опухло!

– Хх-ы! Кури! – простодушно хохотнул Дениска.

Васька полез в карман, чуть накренился и, вдруг метнувшись всем своим гибким телом к Дениске, ударил его в челюсть. Дениска покачнулся назад, но не упал, по-рысьи вскочил на седло и ногой сшиб Ваську на землю.

– А-а-а-а!.. – заорали все.

– Бе-ей!..

– Витька-а-а!.. Барбо-о-ос!.. Эк-ружай!..

– Н-нах!..

– Н-нна!..

– Ой-ху!..

– Ху...

–...уя-а-а...

–...у-уй!..

– Ху...

– х...х...хр-р...

– Хай!.. уй!..

Забывтый всеми посреди леса, поворачиваясь на круглой спине Монголки то в одну, то в другую сторону, Гришка следил за побоищем. Изодрав серебряную траву в клочья, метались кони, несколько человек, вцепившись друг в друга, кучей таскались туда-сюда. Треснуло дерево – какой-то силач обломил осину, махнул с плеча, промазал и упал вместе с осиной...

«Наши-то... Наши-то где? – нетерпеливо ёрзал Гришка. – Про зуб-то, придурки, забыли!.. Уйдёт ведь Тимка и зуб унесёт...»

Он вдохнул холодный, щекочущий лесной горечью воздух и гаркнул:

– Тимку-у!.. Тимку живьём берите вместе с зубом!

Гаркнул и обомлел: услышав его голос, отделившись от общей свалки, на быстром, как ящерка, коньке к нему поспешал сам Тимка. Нервно кивая маленькой породистой головкой, конёк скользил по тропке. Тимка сидел на нём и улыбался, весело помахивая в руке какой-то тяжеловесной вещичкой.

Конёк приближался. Гришка уже видел во рту Тимки сверкавшую искринку...

«Ой, мамочки!» – в ужасе подумал он, обхватив голову руками, скрючился и взвизгнул не своим голосом:

– Монголка, фас!

Монголка опрометью сорвалась с места, бухнула нутром и отчаянным курбетом свалила конька вместе с Тимкой. Гришка перекатился через её голову и потащился под брюхом. Рядом промелькнули чьи-то ноги, копыта, стволы берёз, грубой кориной шоркнул пень. Топот и рёв потасовки откатились в сторону.

– Тр-р-р!.. – кричал Гришка, но Монголка волокла его через лес, рубаха и куртка задрались, и по голой пояснице нещадно царапали то колючки, то сучья.

– Тррр-рр-р, дура ё...ба...на! – рявкал Гришка, но Монгол-ка перешла на крупный галоп. Взвыли собаки, и где-то сбоку в прыжках и плясках по Гришкиной щеке мазнули огоньки деревни. Монголка развернулась и поскакала обратно.

– Стой, б-б-бб!.. – захрипел Гришка и вдруг вспомнил о перочинном ножике в кармане штанов. Он выхватил его, рывком перерезал повод и сразу же покатился куда-то вниз, с шуршанием рассыпая вокруг себя сухую глину. Шуршание стихло, Гришка очутился под обрывом у самой воды. Что-то чвинкнуло и упорхнуло из ивняка. Он сел, сплюнул и поднял голову. Сквозь белые от лунного света ветви мерещилось созвездие Большой Медведицы. Где-то в лесу дрались и хайлали, а здесь было тихо, покойно и ясно. Рассыпчатая огненная жилка трепетала в воде, и вода, запоминая каждый отпечаток куста, ветки, былинки, вздох усталой и сонной земли, смотрела в лицо луны и тоже запоминала – мизерную звёздочку, Ковш и известковые бразды Галактики, кое-где видимые сейчас, и сладостную смуту Гришкиной души, прельщённой мировым существованием и не знавшей, куда деваться от избытка сил и молодого жара.

Он поднялся, снял куртку и начал вытряхивать из неё глину. Что-то тяжёлое выпало из рукава. Гришка поднял и увидел, что это кистень, настоящий, с железной в зазубринах шишкой, припаянной к ремешку с петлёй.

– Ни фиги себе! – вырвалось у него, и, уязвлённый страхом, он содрогнулся, соображая, какой тяжестью помахивал Тимка, направляясь к нему и собираясь улюбовать, да сплочовал – оторвалось его орудие при помощи Монголки и застряло в Гришкиной амуниции...

– Ай да Монголка! – похвалил он верноподданную кобылку. – Снесла напрочь с лона природы Тимофея, блин, Усрало-ва! Даже гирька оторвалась. Ху!.. Уй!.. Хах!..

И Гришка захохотал, отправив громогласное эхо скакать по кустам.

Глава седьмая

В это время в калиннике через омут плыл Васька Сорокин. Что-то тащилось на его ноге и стремилось потопить. Васька самоотверженно тянул ногу, плевался, уходил в ледяную воду с головой и, задыхаясь, отмахивая сажёнками, хрипел во всю мочь:

– Врёшь, не возьмёшь!

Он доплыл до того берега, но берег оказался отвесным, с нахлобученным и угрожающим козырьком глины. Матерясь, Васька крутанулся в воде и поплыл туда, где на пологом склоне торчали репейники. Тут он наконец-то вылез на сушу, тяжело отдуваясь и скрежеща зубами от холода и мстительного рвения. Конский топот заставил его малодушно спрятаться в бурьяне. Мимо с победным хаканьем и гиком пронесли враги. Васька проводил их волчьим взглядом, харкнул вослед и похромал к деревне. Грузило волоклось на ноге. Он, уж совсем не к месту промёрзший во всех членах, протащился мимо Старицы, освежившей его огуречной прохладой, мимо кладбища, похожего в лунную ночь на картинку к страшной небылице, доковылял до ближнего прясла и, держась за него, запрыгал к палисаднику. Нога с грузом зацепилась за кол, Васька упал, дёрнул ногу.

– Твою мать!..

Кол затрещал, и в ограде, услышав про мать, рыкнул пёс. Потом в доме зажёгся свет, поднялась занавеска, и к стеклу приплюснулось бабье лицо.

– Открывай! – прокричал Васька. – Наши пришли!

Баба забрэнчала по раме кулаком, и до Васьки донеслось:

– Ково надо? Кто это блудит? Ишь, чо надумали, под окошками крастись! Кто такой? Ково надо?

– Бражки и медицинской помощи! Из боя иду!.. Пострадавший! Это ты, Дуська?

– А это ты, Васька?

Дом оказался Авдотьи Кокаровой, Васькиной тётки. Он во всю ширь и свободу громыхнул калиткой, впёрся во двор, цепной кобель Жулик узнал его, выметнулся навстречу и пихнул лапами в грудь.

– Но! Но! Не выпендривайся! – Васька отстранил его, протащился на крыльцо и застрял в дверях.

Проснулся дядька Захар и, мотая семейниками на длинных костлявых ногах, побежал на помощь.

– Чо с тобой? Чо такой-то? Кто это тебя так умыздил? Волосья в крове...

– В чужой! – гордо уточнил Васька.

– В чужой, в своей... Ишь, как устирали христовенького!

– Не шуми при жизни! – приказал Васька.

– Кто это тебя так завязал?

Захар умелькнул в сени и загремел там железом.

– Цепь! – удивлённо прокричал он оттуда. – Цепь у тебя на ноге-то!.. Цепь с гирей! Эх, блямба, узловат Кузьма – развязать нельзя!

Захар поднял гирию, привязанную за конец цепи, которую тащил Васька на ноге, и захохотал.

– Ничо себе! Кто это тебя так наживулил?

Васька с матерками размотал цепь у колена, свалил её у порога вместе с гирей и, стаскивая мокрую одежду, свирепо огрызнулся:

– Кончай гыкать! Закатился, хоть за край земли сталкивай!

Он разделся до трусов, сел, ощупал ногу. Нога оживала и дрыгалась в коленке.

– В плен брали, – сказал он. – Да не взяли. Хрен на рыло! Побег я совершил, Захар Палыч... Из Ведено, из голбца Шамиля Басаева...

– Гы-гы-гы! За такой подвиг, Василь Иванович, тебе положена звезда! – загыкала и Дуська.

– Не звезда, а рифма, – поправил Васька. – Налей-ка бражки!

- Дак нету! – сразу перестала смеяться Дуська.
- Ну-у?!
- Ей-бо!..
- Ладно тебе, – проворчал Захар. – Нету!.. Доставай бидончик-то!
- Дак бидончик-то на дело заведён...
- Доставай, кому сказано! И колбаса где-то в холодильнике...
- Нету колбасы! Одни мармеладки остались...
- Тащцы мармеладки! – скомандовал Захар и пошёл к серванту за хрустальными бокалами. Дуська увидела и возмутилась:
- Чо хрусталь-то треплешь? Разобьёте ведь... Больше нам не купить! Не на что! Пейте из кружек...
- Мы, поди-ко, не на зоне, чтоб из леменных кружек пить! – возмутился и Захар. – Давай, Васька, за твой рыск!
- После первого бокала Васька начал рассказывать:
- Тимка Усалов, фраер малосольный, зуб себе золотой вставил. На народные деньги то есть. Ограбили советскую страну и зубья себе золотые вставляют. И возвысился над советским народом, как фашист последний! Мол, с зубом-то я вроде как на облаке поеду. Чо захочу, то пушу оттель. Может, и эксперимент испражнительный на ваши башки тупорылые сброшу... Верно я мыслю?
- Верно! – мотнул головой Захар, наполняя бражкой хрустальные бокалы.
- Шиштоф-криштоф! Ха! – отмерил Васька руку по локоть и в выразительном откровении покачал кулаком. – Рабы – не мы! Я собрал эскадрон, и махнули мы в Соломатино, к Лушке...
- Верно, Захар! Санка-то Шустова не зря базлала! – радостно перебила Дуська.
- Постой, сама-то не базлай! – одёрнул Захар. – Дай чо-нибудь зажрать! А то мармеладки, как на карусели... Где колбаса? Съели, чо ли?

- Сам же лопал!
- Врываемся туда. Я, значит, разворачиваю дивизию...
- Эскадрон охлюпков...
- Эскадрон в неукоснительном кафедральном порядке...
- В каком порядке?
- Ну, в боевом! По принципу квадриги... Ты вообще где служил, Захар?
- Захар неприглядно сморщился и попил бражки.
- Я нигде не служил, – вздохнул он. – По принципу грыжи.
- Тогда не вставляй свои компроматы! – разозлился Васька. – А я служил в кавалерийском показательном эскадроне. Понял?
- М-на, – с ухмылкой непонятого происхождения согласился Захар и опять прислонился к бражке.
- Врываемся, стало быть... Сабли...
- Сабли? – удивился Захар.
- Плётки! – более сердито утвердил Васька. – Плётки наголо!..
- Во-во! Санка-то не зря базлала! – проголосила из своего угла Дуська.
- ...прочесали весь населённый пункт, а их нету. Я, значит, на Аскольде...
- Она насчёт Аскольда базлала особенно увлекательно! Весь телефон разбила, Молю балабонила. Угнали, грит, жеребца чуркменской породы! – сызнова встряла Дуська.
- ...нет ни Тимки, ни его хунты. Лушка оказала сопротивление. Вискочила с головёшкой и подожгла Аренгольду Иварову, моему порученцу, всю причёску. К тому же вооружённая охрана обстреляла нас из автомата...
- В Соломатине?! – теперь уж совсем не на шутку удивился Захар. – Автомат?! Откуда он там взялся?
- Автомат! – сказал Васька. – Засада с автоматом. Понял?
- Чо-то не верится...
- Поехали мы обратно калинником. Видим, их стоит целая сотня, ждёт нас...

– Сотня? – охнул Захар. – Да откудава их стоко насобиралось-то?

– За деньги наняли! Всю похерень в райцентре собрали...

– А кони? Кони-то откудава?

– За деньги наняли! Меня в том бою живьём захватили, опутали веригами и акридами. Я вывернулся, потому что – кавалерист. Скатился в лог и затих, как Штирлиц. А потом поплыл через омут домой.

Васька заглотив бражки и скорбно выложил, собрав себя в задумчивые морщины:

– В общем, кто-то продал нас... Сволочь!

– Санка Шустова, сторожиха Ветошина-коки! – выложила Дуська. – Она! Звонила...

– Был среди революционного брожения стукач Ванечка Окладский, который сорвал план по убийству царя, – вздохнул Васька. – Такая же малосольная сволочь!

– Правильно сделал! – подхватил Захар. – Молодец Ванечка! За что царя убивать? За великую Россию? Ты вот сейчас попробуй убить президента Ельцина!..

– Как ты сказала? – совсем не слушая его, обратился Васька в угол, где сидела Дуська. – Санка Шустова?

– Она! – кивнула нечёсаной башкой Дуська. – За Аскольда переживала. Он, грит, мильярды стоит.

– Сволочь! – сказал Васька. – Дай-ка, тётя Дуня, сухое обмундирование!

Он переоделся в сухие штаны и куртку, подобрал своё мокрое тряпье и пошагал лунной дорогой, одержимый патологическим стремлением – отомстить Шурке Шустовой за несправедное стукачество.

Захар сидел и допивал бражку из бидончика, жевал мармеладки с салом и хмыкал:

– Кто настучал? Сами на себя и настучали. Уж месяц, как собираются Тимке зуб вышибить. Я на той неделе на мелькомбинате был, за отрубями для телят Петрушки ездил, дак мне весовщик об этом сказывал.

– Чо сказывал? – наострила ухо Дуська.

– Что Тимка ответный удар формирует. В спортзал ходят, тренируются. Козлами по стенам скачут, башками доски пробивают. Вот и нахерачили нашим шибздикам, чтоб неподвадно было зубы выбивать. Заработайте и вставляйте! Наш Васька тоже не умрёт своей смертью: или его утопят, или сороки заклюют...

Глава восьмая

Александра Шустова, сторожиха конно-спортивной базы акционерного общества «Ветошин и К^о», устроенная туда исключительно из-за пристрастия мыть лошадям хвосты стиральным порошком, возвратясь домой после нынешней сногшибательной ночи, подоила корову, затопила русскую печь и завела тесто для блинов. Пока взбулькивала в кастрюльке молоко и яйца, то подсыпая муку, то подливая масло, наглоталась слюнок и чуть не заревела от аппетита. И жалобно подумала о китайцах: «Их там миллиард. Чо же они едят-то, миленькие мои? Уж ехали бы к нам. Всё равно наша страна теперь никому не нужна, брошена. Под ногами таскается. Садил бы хоть картошку да ели».

Наконец дрова в печке прогорели, Александра разгребла клюкой жар, накалила сковородки и стала печь блины. Она напекла целую кучу, поставила в чашке топлёное масло и тарелку с пластиами икры, выпотрошенной из солёной селёдки, и едва завернула её в первый блин, макнув в масло, как в дверь постучали.

– Можно! – сурово откликнулась Александра и подумала: «Опять холера несёт куму Таську. Нюх у неё, чо ли, на блины-то? Как сажусь обедать, так и космыляет. Счас подметёт всё под чистую белочку и масло залижет...».

Она торопливо убрала со стола масло, накрыла блины полотенцем и грубо крикнула:

– Сказано же, что можно! Ково стоять за дверями, приноховаться!..

Дверь отворилась и, постукивая мёрзлыми сапогами с одной ноги, заявился Хабаров Гришка.

– Здрасьте, – сказал он.

– Здорово, – отозвалась Александра, обрадовавшись во весь дух, что, слава богу, не кума Таська причихвостила. – Чо те? А сапоги-то пошто на одну ногу у тя?

Гришка булькнул носом, воодушевлённо приноховываясь к ароматам кухни, снял рукавицу и вытряхнул из неё бумажку.

– Вот, тётка Шура, – сказал он, подавая бумажку.

– Чо это?

– Повестка.

– Какая ишо повестка?

– На суд.

– На суд?

– Ну.

– А-а!..

– Попросили доставить...

Гришка кашлянул, потоптался, жадно нюхая воздух, и вышел, оставив ошмётки навоза на овчинной мерлушке под порогом.

– И до ча нонче неуважительной молодёжь стала! – пробурчала Александра, стряхивая мерлушку над помойным ведром. Потом развернула бумажку и прочитала: «Гражданка Шустова! Вы вызываетесь на суд к 12 часам сегодняшнего дня. Суд состоится в частном заведении водонапорного производства господина Терентьева. Явка строго обязательна! Комитет 9-го термидора нынешнего года».

– А кого судить будут? – спросила Александра, постояла, соображая, кого же запланировано судить в водокачке, и пожала плечами.

В печке весело потрескивали угольки, пахло блинами, в чашке золотым кругляшом покоилось масло. Однако Александра уже не думала о голодающих китайцах, потому что

любопытство, кого же будут судить в водокачке, жгло и свербило её крест-накрест.

– Вот и поживи с нашим народом, поешь блинков! – высказалась она. – То лошадей угонят, то на суд призовут. А то кума Таська нагрянет в самый разгар аппетита!.. Мишку Федьки-тарантульки господином навеличивают, а меня потюремному в гражданки определили. Ни соринки не унесла с советских подворий. Зато Мишка всю совхозную воду захапал, сидит и торгует ей!..

Любопытство жгло пуще всякого огня. Но вместе с ним и тревога махонькой склизкой гадючкой шевельнулась в пустом желудке, выкатилась, побежала по коленкам и застыла в мизинце левой ноги, отчего нога затряслась и задрезжала.

«Наверное, из-за вчерашнего угона лошадей вызывают давать показания, – подумала Александра. – А пошто в водокачку-то? А куда боле, ежели в клубе всё ишо краска не просохла. Пропала ведь я, дура, лошадей-то! Уволит ведь меня Ветошин со своей кокой!..»

Она опять вспомнила, как прикорнула вчера в сосновой, похожей на теремок, пристройке рядом со стойлом Аскольда и под стукоток его копыт увидела себя во сне на Красной площади... Выезжала кавалерия, и все показывали пальцем: «Вон! Вон он!..». Александра вытягивала шею из-за чьего-то плеча, стараясь увидеть, кто «вон он!», и никак не могла вытянуться. Били барабаны, топали кони. «Вон он! Вон он!» – шептались со всех сторон. «Да кто он?» – спросила Александра, и только начали отвечать ей, что он – это... как проклятая собачонка Мавка, задремавшая тоже рядом с ней в теремке, залаяла в самое ухо. Всё ещё слушая гром барабанов на Красной площади, Александра выскочила из пристройки и, наступая на Мавку, увидела, что двери конюшни и стойла, где топал Аскольд, открыты настежь...

– Чёртова жулябия! Погнали ведь в сторону Ишима, а там – в Казакстан. Пропали кони, а вместе с ними пропала я!..

Она побежала в офис Ветошина и К°, то есть в обычно-

венную совхозную контору, обколоченную сейчас снаружи рейкой, с дорожкой из керамзита и голубыми ёлочками. Чтобы на ёлочки не замахнулся к Новому году какой-нибудь браконьер, их бдительно охранял по договорной цене безработный активист Иван Петрович Шептырин.

– Кто это? – окликнул он из-под ёлочки. – Тянь-шаньскую принадлежность кто-то решил срубить... Сейчас на сигнализацию нажму!

– Где Ветошин? – крикнула Александра.

– На пикнике, – ответил Иван Петрович.

– А кока?

– Тоже с ними.

– А кто есть?

– Я есть.

– Тьфу на тебя! Лошадей ведь угнали!

Александра побежала звонить участковому Моллю от Чебутыкиных.

– Товарищ фон Молль! Товарищ фон Молль! – принялась она звать во весь голос, в панике начисто забыв, что «фон» – прозвище Молля. И заработал он его среди народа так: когда свергли коммунистов, многие подвиды партии и комсомола решили перейти в аристократы и усиленно начали приписывать себе титулы князей и баронов. Значит, чтобы и тут особливо стоять, не смешиваясь с гущей населения. Мартын Молль вдруг обнаружил, что он – Мартин фон Молль, прямой сучок от древа кайзера Вильгельма и Земли Франца-Иосифа. «Фон Молль да фон Молль!» – стали его навеличивать, а начальник милиции, у которого мать была телятницей, а отец конюхом, даже, говорят, кланялся... Однако при очередном, уже демократическом обмене паспортов в архивных анналах нашли, что никакого Мартина фон Молля в наших краях отродясь не бывало, а есть всего лишь Мартын Молль, заскрёбыш-последыш от поволжского немца Давыда Давыдовича и Клашки-зазнобы, прибывшей сюда по велению весёлой жизни уже без немца и от веселия почившей прямо на

клубной сцене. Мартын снова прилепился к народному существованию, теперь уже на «фоне» своего знатного прозвища, которое ненавидел со всей немецкой аккуратностью...

– Товарищ фон Молль! – орала Александра. – Это Шустова. У Ветошина и коки жулябия лошадей угнала. Видать, в Казакстан. Надо срочно соображать погоню, товарищ фон Молль!

– Я знаю, – казенным голосом проскрипел Молль. – Они сейчас упрутся рогом, блин, нна!..

– Где упрутся рогом? Лошадей, говорю, угнали, не коров, – ни слова не понимая, трезвонила Александра.

– На хазе. Кислород там перекроют...

– Где-е?..

– На хазе, жуки-куки... Иди в стойло, кемарь наплыстиком!

По-прежнему не понимая объяснений участкового, Александра позвонила в Соломатино, сама не зная кому...

– Нмнда! – развязно и жирно прокатилось в трубке. – У аппарата Негин.

– У какого аппарата? – опять заорала Александра. – У самогонного, чо ли, сидишь там аппарата, мудак! Фон Молль приказал кислород перекрыть в стойле жукам-комарикам вместе с твоей фазой!

– Вы почему так со мной разговариваете? Вы кто такая? – возмутился жирный голос.

– Манда на колесе! – рывкнула Александра и бросила трубку.

Фёдор Потапыч Чебутыкин, прислушиваясь к интересному телефонному разговору, подморгнул жене:

– Во дают наши птички! Василиса Ермиловна! Васюня! Слышишь? Это наши-то орлята погнали Тимке Усалову зуб выбивать...

– Этакой оравой зуб выбивать? – удивилась Василиса Ермиловна. – С зубом-то справиться можно и одному человеку. Взял да выбил... Делов-то!

...Блины прямо-таки соблазняли в насильственном положении. Александра же, стойко забыв про них, оделась и побежала снова в офис к Ветошину узнать, что это за суд намечается и кого на нём будут судить

И ей опять Иван Петрович из-под ёлочки ответил:

– Ветошин на пикнике.

– Да сколь можно пикать! – разъярилась Александра. – Вчера пикал, сёдни пикает.

– Так надо, – обременённый ответственностью, ответил Иван Петрович.

«Кто же мне даст разъяснение-то про суд?» – остановилась она в раздумье и, додумавшись, что всё разъяснит самый умный человек в деревне, то есть Василиса Ермиловна Чебутыкина, припустила в школу.

У Василисы Ермиловны протекал урок литературы.

– ...и вдруг Александр Сергеевич Пушкин заметно охладил к последней дочери, явно заподозрив в ней черты Николая I, – рассказывала Василиса Ермиловна, полнокровно сидя на стуле перед классом, навив локоны по всей голове и воткнув в ворот блузки цветочек с листиками по краешкам. Голос её отдавался в школьном коридоре, как в пустом подвале. Александра на цыпочках прокралась по коридору и замерла, затаилась за отворённой дверью класса.

– Но и впрямь последняя дочь Пушкина, особенно с возрастом, начала утрачивать сходство с родным отцом. Обратите, ребята, внимание на этот рисунок! Видите? Те же стальные, бессердечные глаза, тот же жёсткий рот и выпуклый лоб, что у Николая. Выходит, не так уж была неповинна Наталья Гончарова! И, надо заметить, не зря она согласилась выйти за Пушкина замуж. Захотелось в Петербург из сонливой, провинциальной Москвы. Кто бы там за неё посватался из приличных и состоятельных женихов? Да никто. Мать её страдала алкоголизмом, у сестёр было косоглазие, внедрённое пьющей родительницей. Приданое... Какое уж там приданое! Рубаха с перемывахой. Любить она никого не могла и не хотела. Деви-

ца оказалась на редкость расчётливой. Пушкин знал об этом и частенько побивал её, как пакостную стерву...

«Ишь чо! – возмутилась про себя Александра. – Сидит, ягодицы распушила, причиндалка нашлась! Плетёт сплетни про Пушкина и, гли-ко, зарплату получает! А за чо? Дочь не его! От царя, вишь ты! Вона чо! От царя, так ишо лучше! Подумать только, дочь-то – царица! Я бы царицей-то была, так тоже бы учительницей робыла!»

И, разгневанная и рассерженная, Александра так же таинственно упятилась из школы, в жестоком раскаянье, что явилась за советом к Василисе Ермиловне, которая, прости господи, ни херища не знает, а сидит и собирает сплетни про бессмертных людей.

«Чо же делать-то? Куды же мне теперича деваться?» – в самом разномастном отчаянье подумала она и побрела куда-то. Потом свернула в переулок, очутилась на мосту, постояла, пошла опять в переулок и, сама того не ожидая, ткнулась в косой палисадник перед избушкой кумы Настасьи.

– Кума! – крикнула Александра. – Эй! Кума-а-а!..

Настасья вынырнула из избушки в калошах на босу ногу и, зная, что Александра просто так не явится, а, пожалуй, с новостью о смерти какого-нибудь пьяного покойника, с радостным визгом спросила:

– Стряслось поди-кось чо? Ась?

– Чо делаешь?

– Кильку ем...

– Айда блины кушать! Всё утро бегаю, ишу тебя. Блинов напекла кучу, а ись сама не могу без тебя. Жду не дождусь!

– Да я всё утро дома сижу. Кильку ем...

– Айда ко мне! У меня и блины, и масло, и икра из селёдки в блины завёрнута.

– А я кильку ем.

– Меня ведь сёдни на суд вызывают! – сообщила наконец Александра. – В качестве свидетеля. Жулябию нашу судить будут за воровство... Не слышала, чо вчера произошло?

- Никово не слыхала. Сижу, кильку ем...
- Счас на суд пойдём. В водокачке суд-то... Я выступать буду. Пойдём на суд!
- Пойдѐо-о-ом! – басом пропела Настасья.

Глава девятая

Водокачка в деревне, что Кремль в Москве. Все заседания, на которых решается судьба народа, проходят здесь. Водокачка имеет два этажа. Весь второй этаж занимает громадная бочка, куда электронасосом подаётся вода из реки. Раньше она растекалась по водопроводным трубам всех животноводческих помещений совхоза. Сейчас совхоза нет, и вода дремлет в бочке под руководством Мишки Терентьева, который приватизировал её.

На первом этаже, вокруг шахты, где и действует насос, выкачивающий из реки воду, в целях техники безопасности накрытой хлипкими досками, установлены скамейки, стулья и прочая колченогая шантрапа, выброшенная Ветошиным и К^о.

Под железной лестницей, ведущей на второй этаж, – буфет. Тут и банка с огурцами, и булка хлеба, не доеденная крысами, и пивные пластиковые бутылки, для экономии звуков именуемые – «колы».

Хозяин в Кремле – Мишка Терентьев. Да, он уверен, что это – Кремль. И, чтобы народ не заблуждался, верх башни Мишка оббил зубьями от бороны, как кремлёвскую стену. Сделано это в целях предостережения от воров, чтобы ночью не содрали с крыши черепицу, как хвалится Мишка, выписанную будто бы из Голландии, а на самом деле изготовленную на местном кирпичном заводике, приватизированном Яруткой Комосулькиным. Потому черепица и не содрана, что она местного приготовления. Голландскую ободрали бы давно вместе с зубьями.

- В случае нашествия китайцев с крыши будем лить ки-

пящее молоко на их бошки! – заявляет Васька Сорокин в воинственном порыве. – А я с кавалерийским корпусом их с тылов жулькну!

«За чо их, миленьких? Они и так голодают», – в сострада-тельном наклонении думает Александра.

Достойное место – водокачка! И не так уж безнадежно пребывать на белом свете русскому человеку, когда она есть. Нынче здесь задумчиво и строго. Как бывает задумчиво и строго только в Кремле. Под потолком, путаясь в желтых сосульках, напущенных водой со второго этажа, плавает туман. В углу спряталась от стыда за своё долгое употребление метла. Пустые «колы» вытеснены из-под лестницы и выброшены на дорогу. На скамейках сидит народ – Мишка Терентьев с фингалом под глазом, опалённый Алька Иваров, Гришка Хабаров, целым и невредимым вынесенный вчера из боя верной Монголкой, а также бойцы конного отряда, кто смазанный зелёнкой, кто соплями, по народным суеверьям, смягчающими повреждённые места на теле.

За столом, торжественно накрытым российским флагом, с отпечатком ошипанной курицы с двумя головами посеред-ке, расположился Васька Сорокин.

Все ждут, вникая в тишину с потусторонними замечаниями.

– Как ты думаешь, придёт эта эзефка или нет? – спросил Алька и посмотрел на часы. Стекло часов деформировали во вчерашнем бою. Заодно деформировали и механизм. Напри-мер, часовая стрелка бегала кругом, секундная тикала без всякого движения. Минутной вообще не было.

– Хху ей знает! – издал кто-то на языке первобытнооб-щественного сообщества.

– Не придёт – гильотинируем! – высказался самый умный.

– А чо это такое? – спросил дурак.

– А то, что положим башкой на полено и отрубим башку топором! – поступил ужасающий комментарий из девствен-ных уст Гришки.

– За такое приспособление к смерти нас пожизненно закроют всех, – сурово откликнулся Мишка. – Милостиво расстреляют лишь тебя, как малолетка...

– Я не малолетка! – негодующим фальцетом вскрикнул Гришка.

– Не малолетка, а рубль вчера посеял! – усмехнулся Мишка. – Советский рубль с Владимиром Ильичом Брежневым!

Сарафанное совинформбюро уже передало, что рубль почему-то очутился у Лушки, что ей в кузнице уже просверлили дыру, она надела рубль на цепочку и носит на шее, как татарка...

– Зато я сбил с ног Тимку! – опомнившись от фальцета и укрепив голос в положенном мужестве, сказал Гришка. – А потом у Лушки не мой рубль. Я свой с Леонидом Ильичом Лениным потерял в лесу. Точно помню!

– Да он сам, Тимка-то Засралов, упал перед твоей пузатой кобылой, – ехидно унизил Гришку опалённый Алька Иваров.

– У меня кобыла, а у Тимки конёк-горбунок! – снова возбуждённым фальцетом растоптал унижение Гришка.

– Тиха! – сказал Васька. – Кто-то идёт... Ашушуй лает.

Водокачка отворилась, и Александра Шустова, в красной юбке и старообрядческой плюшевой жакетке, предстала на пороге. За ней толкалось ещё одно существо, но, зацепившись за скобку карманом куфайки, никак не могло протолкаться в здание суда.

– А это ещё что за чучело? – привстал с места Васька.

– Настасья Кузьмовна! Моя кума! – объявила Александра.

– Суд закрытый! – сказал Васька.

– В повестке об этом не объявлено! – возразила Александра, значительно продвинулась вперёд и бойко села на стул, покрытый красной портянкой.

– Извольте встать! – приказал Васька. – Какая крутая, нах! С корабля и сразу жопой на трибуну!.. Сядьте вот, пожалуйста, на скамью подсудимых!

– Куда-а? – удивилась Александра, изобразив на лице непостижимое выражение.

– На скамью подсудимых!

– Я, чо ли?

– Вы! Потому что судят вас!

– Меня, чо ли? Это меня за чо судят-то?

Александра поднялась с трибуны, прихватив подолом портянку, и села снова.

– И кто это меня судит?

– Мы! – шлёпнул по столу ладонью Васька. – Народ то есть!

– А подписано, что комитет, – шепотком прошелестела Настасья. – Пока не вижу никакого комитета. Поди, ишо не приехал...

– Встать! Суд идёт! – грянул уже кулаком Васька. – Гражданка Шустова! Приказываю выложить показания, в каком непотребном действии вы оклеветали нас! Мы поехали в Солматино по поводу дружеского приёма, а вы, не заглянув в святцы, бухнули по телефону. Ваша сплетня чуть не открыла на территории страны ещё одну горячую точку! Вас судить надо за измену единому нашему сплочению. Вы – агентка Аравийской пустыни и прямая наложница Хаттаба!..

– Я? – открыла рот Александра, потеряв себя во всяком виде.

– Вы, гражданка Шустова! – грозно дохнул своими недрами Васька.

– Я – гражданка?! – подбросила себя вверх Александра. – Это я с каких штей гражданкой-то у вас стала?! Вы, значит, господа, а я – гражданка... Я тебе, сорочье ухо, ишо не гражданка! Никогда ей не была и никогда не буду! Я ишо, слава богу, товарищ Шустова! Пошли, кума Таська, отсель! Чо, не видишь, что они залили шары, сидят и изгаляются над преклонным возрастом!

И, обернувшись к Ваське, обрызгала его злобными слюнями с головы до ног:

– Я сейчас вызову фершала, пушай обследует всех лошадей. Если он обнаружит хоть на одной лошади рану, я тут же напишу резолюцию Ветошину-коке. Будете выплачивать ком... кон... пем... пен... сацию в американских рублях!

– В «капусте» что ль? – хмыкнул просвещённый Гришка.

– Не в капусте, а в рублях! Капусту жри сам! Жулябия чёртова! Ишь, чо надумали? Шову с преклонным возрастом!..

Александра плюнула в Ваську, пнула ногой трибуну и выкатилась из водокачки, хлобыстнув дверью и чуть не ушибив Настасью, которая катилась следом.

Васька сморгнул, устранил плевков с груди российским флагом с курицей посередине и прочакал, как Вий:

– Всё! Суд окончен!

– Ну-у! – разлилось развесёлое.

Гришка захихикал.

– А ты брысь отсюда! – рыкнул Васька. – Свисток фон Молля!

– Пусть тогда свистит за самогонкой, раз свисток! Надо обмыть заседание суда, ха-ха-ха! – раскатился на всю водокачку Мишка Терентьев.

– Закрой рот, кишками пахнет! – рявкнул Васька. – А ты за самогонкой, быстр-ра!

Гришка пошёл за самогонкой, клятвенно скрипя зубами, что малосольные фраера гоняют его в последний раз. Если Сорока посмеет ещё раз пролаять на него, он выбьет ему глаз, и тогда он будет с тройной фамилией: Варламов-Сорокин-Кривоокин. А он, Гришка, хоть и батрак, но батрак двадцать первого века и за поддержкой может обратиться в Страсбургский суд. А это вам суд не в водокачке, где шинькают крысы.

Глава десятая

Хороша была нынешняя осень. После тёплых дождей пошли грибы. Маша Волохова, счастливо и, как ей казалось,

удачно исписав несколько страниц, бродила по лесу, собирая крепкие, пузатенькие подберёзовики и в трепете просветлённой души своей надеясь на чудо, ожидавшее её...

Кроткое веяние слабой осенней листвы слышалось в перелесках. В чаще дятел долбил сухую осину. Плавным, мерцающим в лучах солнца клином тянулись на юг дикие гуси. Далеко-далеко слышался охотничий выстрел, эхо шаром катилось и прыгало по лесным глубинам, таяло и смолкало у самого горизонта, где стояли, как на полке, преображённые осенним увяданием берёзовые рощи.

Маша думала о Пушкине. Вольно играющий словами, он звучал в её сердце. Она училась у себя через него и постигала себя в его игровой мудрости, трепетно чувствуя, что путь к Пушкину лежит через эту осень...

На полянах ещё цвели запоздалые цветы, и осинники пышно полыхали бесшумными пожарами. В сникших ветвях светились берёзы, лазурные просветы стояли в них, свечивая ясность каждого ствола, каждого листика...

«В природе всё создано для нашего счастья, – думала Маша. – Но томление духа всегда привносит в желание счастья сумятицу. Дух внеземного свойства. Ему тесно здесь. Будто чего-то всегда не хватает. Чего именно? Скорее всего, он сам не знает об этом. Томится, плачет, скорбит... О чём?»

Может быть, в небе сейчас над нею реяла душа Пушкина? Она подсказывала, как надо жить поэту среди людской бестолочи, мирского мельтешения. Но Маша не слышала, чувствуя лишь одно смятение, а порой и страх от конечности всего сущего. Всё кончается! Рано или поздно это придёт. Потеряется голос, оборвётся глагол.

«А где же чудо?» – спрашивала она себя. И себе отвечала: – Все чудеса кончились в девятнадцатом столетии.

Дальний гул федеральной автострады служил фоном к отсутствию чудес. Пройдёт столетие, и это станет чудом, как теперь звон колокольчика почтовой тройки.

Маша насобираала грибов, вернувшись домой уже к вечеру, и принесла вместе с грибами целый сноп ярких осенних трав. Чтобы травы не потеряли свои цвета, она решила их прогладить горячим утюгом. Пока гладила и жарила грибы, стемнело.

Скрипнул ставень. За окном показалось, что кто-то прошуршал.

«Надо двойные рамы уже вставлять. Под утро подмораживает и становится совсем холодно. Дело к зиме», – подумала она и, задёргивая занавески, увидела, что за рекой, в брошенном доме, в котором давным-давно никто не живёт, вроде как мигнул огонь. При заходе солнца там всегда отражается свет заката. Но солнце давно зашло, да и заката сегодня не было – облака закрыли почти весь запад. Даже звёзд не видно – везде хмуро и темно. Однако огонь мигнул снова, и, глядя туда, Маша поняла, что в доме кто-то есть. Скорее всего, взломали дверь и забрались воры. Однако что воровать? Всё необходимое также давно вывезено из дома, а за хламом никто не полезет.

Теперь было видно, что горела вроде лампа. Неожиданно задрожало, закачалось её золото, и Маша догадалась, что качается от ветра берёзка под окном, сухо шелестит, переливается листвой, а кажется – кто-то ходит...

Лампа горела. Тревожное, счастливое волнение охватило Машу. Она сняла с плиты сковородку с грибами, набросила на себя куртку и вышла, прикрыв дверь.

Становилось совсем темно. Тёплое дыхание ветра бродило в верхушках огромных старых тополей, они жёстко шевелили по-осеннему сухой листвой. Вкрадчиво и ласково роптал ивняк. Маша прошла к речке и через подвесной мост с деревянным настилом поднялась на другой берег. В чёрной его пустыне под громадой одинокой сосны более чёрным контуром выделялось строение дома с покосившейся крышей, с трубой и забором, где на ветру жаловалось что-то неживое.

Подойдя поближе, она увидела жестяную банку, надетую

на забор, видно, давным-давно уже проржавевшую, плачущую от ветра...

Калитка во двор была открыта, но на двери висел замок. Машу испугало то, что в доме слышались голоса. Резкий и неприятно-властный женский и насмешливый мужской.

«Кто это здесь находится?» – в страхе подумала она, осторожно прошла к окну и, поднявшись на дряхлую, прогнившую завалину, заглянула...

По горнице, по щиколотку утопая в роскошном ковре кроваво-чёрного узора, из угла в угол ходила женщина. Приглядную её статность портила какая-то растрёпанность: неприбранные волосы, кое-как застёгнутое сзади, но открытое спереди платье, в вырезе которого виднелась непристойная нагота болтавшихся, полуистощённых неоднократно родами грудей. Красивое лицо с тонкими чертами искажала гримаса злобы и истерики.

– Извольте выслушать и меня! Сидеть в деревне с волками, среди снегов и лесов я не желаю с вами! – выкрикивала она. – У вас одна улада – ваши стишки! Сколько можно их сочинять!.. И для кого вы их сочиняете! Для чего, ежели в оном вашем сочинительстве нет ни счастья, ни покою!..

– А я вам, сударыня, сделаю ещё одного ребёнка, чтобы не скучно было сидеть среди снегов и лесов, – донёсся бархатный мужской голос из тёмного, совсем не озарённого свечой угла.

Оскорблённая таким тоном обращения с собой, женщина повернулась в угол и взвизгнула:

– Да не поеду я с вами в деревенскую глушь! Вы – несносный, вы – дурной человек! Вы уезжаете в деревню лишь потому, что перессорились здесь со всеми. Из-за своего скверного характера вы нажили самую дурную славу в обществе! Для вас нет ничего святого! Вы оскверняете всё своими насмешками, эпиграммами, своей вонью, к чему бы ни прикоснулись! Мне стыдно за вас! Стыдно!

– Стыдно? Вам? Господи Сусе! И перед кем, соблаговолите признаться? – насмешливо прозвучал мужской голос.

– Перед светом! Перед двором! Перед государем, извольте знать! – выкрикнула женщина с лицом, искажённым злобой и ненавистью.

– Что-что? – спросил мужчина и с убийственным сарказмом добавил: – И непременно перед Жорр-жемм-м!..

– И перед Жоржем тоже! – взвизгнула женщина.

– ...подставляющему анус под пенис.

Женщина явно не расслышала сказанного, а вытянувшись от напряжения, переспросила:

– Что вы сказали?

– Это я по-латыни...

– Что вы сказали по-латыни?

– Что пройдёт, то будет мило.

– Вы гаер и комедиант. Пошляк! На вас даже камер-юнкерский мундир сидит, как на скоморохе. Оттого вы его и не носите! Мне стыдно с вами появляться в обществе!..

Наступило молчание. В тишине было слышно, как слабо потрескивает, горит в шандале свеча и высоко под окном глухой протяжной волною шумит хвоя.

Из угла вышел мужчина. Он оказался блондином со светлыми вьющимися волосами, неприметно веснушчатый при свече, в белой рубахе и в чёрных панталонах, невысок, некрасив, но выразительно изящен своим сложением и гипнотически, страстно притягивал взгляд к возвышенной одухотворённости лица. Он подошёл к женщине, дотронулся рукой до белоснежной своей рубахи, намереваясь поправить ворот, не поправил, будто смущённый указательным и средним пальцами в чернилах, как у школьника, и бледный, почти мертвенный от ярости, сказал:

– Покамест я жив, то на вашей собачьей свадьбе при дворе, где вы играете роль прима-суки, ряженого представлять не собираюсь.

Женщина отпрянула от этих слов, как от удара, но тут же с воплем вцепилась обеими руками в его волосы и начала рвать их с остервенением. Свеча упала и погасла. В темно-

те слышались пощёчина, другая, третья... Явившись невольной свидетельницей скандала и драки, Маша со стыдом и страхом юркнула вниз, провалилась ногой в завалинку и упала, ткнувшись лицом в колючий бурьян. Сердце её бешено билось, руки дрожали. Она судорожно, с болью в горле, перевела дыхание, поднялась и посмотрела на окно. Оно было глухим и безжизненно-чёрным.

Над лесом что-то жутко сверкнуло.

«Неужели молния?» – подумала Маша и, шумно пробираясь через бурьян, в кромешной темноте поспешила домой.

Под горой с гулом и свистом уже кое-как обнажённых ветвей шумели тальники. Отрывисто и звучно шлёпали первые капли дождя, но вот он догнал, повалился с тёмных небес со всей силой и полил, как летом, растормошив грибную прель сонной земли, леса, поздних цветов, словно опрокинув бочки с холодным пряным вином.

Глава одиннадцатая

Вильке Чохину надоело нажимать на кнопку и щекотать электроэнергией Ашушуя. «Однообразно как-то, – сморщился он. – А надо существовать мозаично, чтоб завидовали враги. Зависть уничтожает врага без нашего вмешательства».

Он начал припоминать своих врагов и не припомнил ни одного. Везде у него были дружки-приятели. Даже в Москве, где все живут по принципу насекомства – кто кого сожрёт первым. Не обнаружив врагов, Вилька додумался до радостного вывода, что мозаичная жизнь украшает самого человека. Это его образ блистает цветными стёклышками, усыпавшими цементную подоплёку пандемии урбанизма. Да-с!..

– Господин Шаляхин! – обратился он к своему патрону. – У меня к тебе имеется предложение расширить радиальный горизонт нашего производства.

Петрушка, впечатавший в себя безысходность и перепутавший на ферме объекты с субъектами оттого, что налоговая инспекция повадилась ездить в гости чуть не каждый день и брать оброк то в виде бычка, то тёлочки, ответил неприкосновенно:

– Никаких горизонтов! Я и так скоро останусь без штанов, как швед под Полтавой.

Он опять вспомнил, что сам начальник инспекции Башмет Башметович Сопилов так вчера набухал в себя пельменей, что они остановились в нём, не зная, куда двинуться – вперёд или назад. Сопилова своевременно задвинули в районную больницу, где ему провели очистку организма – из брандспойта через задний проход и из велосипедного насоса через оральное преимущество.

– Чтобы отрицать значение проекта, надо хотя бы косвенными глазами взглянуть на него, – сказал Вилька.

– А налоги?? Хоть косвенно, хоть прямолинейно гляди, повсюду увидишь Башмета Башметовича с заворотом кишок от переедания! – произнёс, как с Лобного места, Петрушка и в заключение тоже сморщился.

– Мы Башмету преподнесём налог в народном обряде – кукиш! – сказал Вилька и выдумал на своём лице московскую ухмылку.

– Хай! – издал Петрушка по-украински.

– Да-с! – подхватил Вилька на степенном уровне. – Давай мы поставим с тобой мельницу. Ветряк! В наше время – ветряк! Только подумай, чем это пахнет!..

– Это пахнет парашей Башмета, выработанной из моих бычков и тёлочек, – ответил Петрушка и разукрасил себя морщинами.

– Ты типичный сибирский валенок, господин Шалахин! – с закипевшей кровью от его морщин продолжил Вилька и нервно всколыхнул себя.

– Башмет налог сдерёт...

– За ветряк?

– ...это одно. Второй раздел: нынче построить ветряк из дерева – значит построить его из золота. И кому он нужен, этот золотой ветряк? Раньше люди жили в зажиточных размерах и везли на мельницу молотье свои прибыли. Теперь что повезут? Свои шкилеты?

– Говорят, Москва оскудела мозгами...

– Пошто оскудела? Она всегда была безмозглой.

– Где заведётся какая мозжечинка, её тут же приватизирует США. Не-ет, господин Шалахин! Это вы тут в своих провинциальных нехристях закисли карикатурами. Да-с! Ветряк нам не нужен! Нам нужен приход для туристов!.. Во!

– ???

– Построим ветряк. За огородами на бугре. В ветряк повесим гроб хрустальный...

– !!!

– ...в гроб положим царевну!

– Да где ты царевну-то возьмёшь?! – уплыл по ту сторону света Петрушка и оттуда спросил, изживая морщины при посягательстве внезапного удивления.

– Райку Завьялову нарядим и положим. Пусть качается! – объяснил Вилька при помощи догадливого московского ума.

– Она захочет качаться-то?

– Да куда она денется?

– А хрусталь где возьмём?

– Обыкновенный гроб сколотим и покрасим под хрусталь. Народ повалит. Делать-то нынче всё равно народу нечего. Повалит на мёртвую царевну посмотреть. Входной билет – тыща рублей. Десять человек привалят – десять тыщ. Доход пополам, ибо я – автор проекта. Ну, как? Спонтанно, мэтр?

И Вилька выкатил свои большие, овечьей красоты глаза.

Петрушка помолчал, ворочая его проект в своих утяжелённых безысходностью мозгах, как телегу в грозных тучах, и пожевал губами воздух:

– Только по каким чертежам мы строить будем? Ведь всё расстреляно и забыто. У ветряных-то мельниц тоже свои архитектурные контуры имелись.

– У меня энциклопедия есть, где обозначены чертежи всех старинных сельскохозяйственных контуров, – объяснил Вилька. – Построим так, что комар хобот не просунет.

– Я думаю, Райка не ляжет в гроб, – вздохнул Петрушка так, что чуть не уронил дыханием Вильку.

– Не ляжет, увольняй с объекта! – волнуясь за свой тощий вес, приказал Вилька. – Останется без работы, не только в гроб – в могилу ляжет!

– Как бы в суд не подала... С судом-то вовсе без штанов останусь.

– Суд, что дышло. Куда повернёшь, туда и вышло. Мы его развернём всей краснорожей мордой к нам! – заверил Вилька со значением московского беженца, которому всё известно на свете.

Строить ветряк решили на бугре. Дед Буркин, пробывший на земле девяносто девять лет и два месяца, перед уходом с земли начеркал значки на корчаге и корчагу поместил в плодородный слой. Корчагу выдуло ветром. Значки разгадал местный активист Иван Петрович Шептырин, съездивший когда-то в Самарканд по вольной путёвке профсоюза и позднее прочитавший лекцию, что Самарканд – это Египет. Но древнее. Потому там и не сохранилось ни одной пирамиды, все рассыпались в прах. Так вот, значит, своими значками дед Буркин посылал потомкам извещение, что бугор этот – не просто бугор. А раз так, начали копать. И кто только не копал!.. Копали мичуринцы, и тимуровцы, и нарушители общественного порядка, отбывавшие в заключении пятнадцать суток, и народные дружинники, и зрители остросюжетных фильмов, и какая-то башкирская офтальмологическая родня, и колхозники, и совхозники, и какой-то лама с Кавказа, и группа существ из туманности Андромеды, залетевших сюда по ошибке, и сам Иван Петрович Шептырин. И выкопали одни лишь кости не-

значительного соединения, которые по древнему происхождению принадлежали мамонту, по размерам – тарбагану.

– Закопайте обратно! – подоспела на помощь Василиса Ермиловна Чебутыкина. – И не копайте больше, потому что кости могут вынести из своего укрытия неизвестный микроб и передать всё человечество.

Кости зарыли немедленно. И даже курган для надёжности над ними насыпали. Дед Мишки Терентьева полюбил сюда приходить и разводить отдых на лоне природы, потешая тишину пьяным пением:

*– Лежит под курганом, заросшим бурьяном,
Матрос Железня-ак-партиза-а-ан!..*

– Это который Верховный совет разогнал? – интересовался Мишка.

– И совет, и партию! – отвечал дед.

Теперь на тарбаганьих костях матроса Железняка фермер Петрушка Шаляхин и московский беженец Вилька Чохин принялись строить ветряную мельницу, сверяя строительство по архитектурным контурам энциклопедии.

Для безопасности переставили дорожный указатель. И лишь Башмет Башметович, выезжая по направлению места прибытия, непременно приезжал в ту точку, откуда выехал...

Глава двенадцатая

В светлые ночи сквозь заснеженный сад далеко была видна белая равнина Волги. У противоположного её берега пролегла зимняя дорога, и, когда княгине не спалось, она глядела туда, где проносилась далёкая тройка, бросая по сторонам вспышки снега. Луна стояла высоко в вершинах сада, и дорожка в саду блестела, как усеянная алмазами.

Часы в гостиной били с певучим медленным звоном.

Княгиня слушала звон, чего-то томительно и скорбно жалея в себе, боясь сознаться, что жалеет своей молодой жизни, обречённой тлеть здесь, в богатом имении на берегу Волги, в окружении лукавой и подобоострастной челяди, которая злословит и сплетничает о ней по углам.

Князь зимой почти не жил в имении, приезжая сюда летом и осенью из пыльного и шумного Петербурга. К молодой жене он относился с показной любезностью, как относятся к чину, от которого ты не зависишь, но присутствие которого рядом вроде как украшает тебя, и при случае всегда можно похвалиться, что ты с ним знаком.

Детей у них не было. Возможно, это и являлось причиной её смутной тоски, хотя и большого сожаления по поводу отсутствия детей княгиня не испытывала. Тихий, незыскательный образ жизни, который она вела здесь, как раз и пленил её томлением, возвышенной скорбью. И Волга, и сад, и безмолвное кочевье луны в его вершинах являлись её дорогостоящим душевным приобретением, её спутниками и собеседниками, и общалась она с ними молча, через свои раздумья, через сладостное беспокойство тоски и неясных тревог, навеянных и садом, и Волгой...

Лунный свет лился через прозрачную штору, отпечатав и увеличив на паркете её узор. В него также вплетались тени ветвей сада. Княгиня ходила по ним с распущенными волосами, в белом одеянии. Она любила эти незабвенные лунные ночи, своим хождением оживляя отпечаток кружев и сада. Иногда со свечой шла в картинную галерею, где со стен в тяжёлых раззолоченных рамах на неё смотрели надменные вельможные лица кисти Луи Каравака и Дмитрия Левицкого, пейзажи Матвеева, отдающие таким же райским блаженством, как пейзажи Клода Лоррена. В чередке вельмож и царедворцев находился и портрет князя Верейского, её мужа, запечатлённый небезызвестным Джорджем Дау.

Князь наверняка не осознавал, а скорее всего не хотел осознавать свою затерянность в штатском платье среди бле-

стящих тяжеловесных эполет и генеральских мундиров. Но княгиню это не смущало, к портретам она относилась без интереса, а пейзажи в галерее находились все чужие, с холодной синевой гладких заливов, с гротами, обнажёнными нимфами и сатирами.

«Это не моё. Это принадлежит князю, – думала она, возвращаясь к окну. – Моё вот это...»

Сад мигал и переливался алмазным пожаром, ослепительной чертой сверкал зимний путь возле того берега Волги, часы били полночь... И сколько времени ещё до рассвета, когда луна уйдёт за крышу дома, протянув длинные предрасветные тени!..

«Но что было бы, если бы я осталась с ним, с тем, как казалось мне по юности лет, горячо и преданно любимым? Как бы сложилась моя судьба?» – в который раз спрашивала себя княгиня и всякий раз отвечала себе одним и тем же: несчастью.

Она ведь и тогда явно предвидела это несчастье, которое постигло бы её, не только усугублённое родительским проклятием, но и лесными скитаниями, преследованиями солдат, которые рано или поздно окружили бы горстку мятежников, хоть и предводимых отважным вожаком, однако безоружных и не обученных военному делу.

Она не хотела чувствовать предательства по отношению к возлюбленному и в то же время не хотела бежать с ним. Бежать... Куда? С человеком без средств к существованию, из сожжённого бедного родительского гнезда... Куда бежать? От одной лишь мысли об этом она чувствовала неопишемый страх. Вот почему и выкрикнула тогда в лицо, что её освободит Дубровский!.. Это её не опрометчивость, это её продуманность. И всё бремя разлуки её с любимым ляжет на совесть властного отца. Но перед нею совесть отца чиста – он её благополучно выдал замуж за богатейшего человека, совсем неважно, что безответственного к семейным обязанностям и по-мальчишески легкомысленного, даже пустого.

Что ж, и пустота, и легкомыслие порождены всё тем же баснословным состоянием, убеждённою в протекании жизни именно так, без каких-либо изменений. Зато на старости лет есть имение, молодая жена с характером ровным, возможно, мечтательным, не высказывающая никакого недовольства бестолковой светской жизнью, обществом и всем тем человеческим шумом, среди которого привык обитать князь. И как бы там ни было, как бы она ни страдала, ни мучилась тогда, с тем, любимым, сложилось бы гораздо хуже, плачевней. Строптивый, неуживчивый гордец обрёл бы её на самое ничтожное прозябание, даже убежав с ней за границу. И за границей их не ожидало ничего, кроме безотрадной и страшной жизни. А если бы гордец был убит в драке, в кабаке или на мостовой, из-за угла, в спину!..

«О, нет! Нет! Нет!» – тут же испуганно пресекала княгиня эту мысль о несчастье. Подходила к киоту, испещрённому узорным блеском луны.

Зелёный огонёк в золотой чаше перед образом Божией Матери горел ясно и тихо. Княгиня молилась, уверяя себя в молитве, что так, с луною в вековом саду и певучим голосом часов, серебряными фонтанами снега, брошенными далёкой тройкой, сладким томлением души и тихой тревогой, будет всегда...

Глава тринадцатая

В бочке водонапорной башни завёлся артефакт. Он ходил в воде, стучал лбом о железные стенки, плескался, производил неопознанные звуки и всячески привлекал внимание к своей физиологической реальности. Приглашённый для установления личности безработный активист Иван Петрович Шептырин выложил:

– Это, возможно, версия на лох-несское чудовище.

– Вполне вероятно! – не смея перечить, кивнул головой Петрушка Шаляхин, тайно обрадованный известием о чудо-

вище, которое зародилось в прокисшей воде по вине скупердяйства Мишки Терентьева, прекратившего её поставку для объектов фермы.

– Воду, господа, надо циркулировать, – начал объяснять Иван Петрович. – Без циркуляции кислород воды превращается в стоячее болото, обогащённое формулой сероводорода. Это, господа, закон физики. Ты, Терентьев, разве не учил в школе закон Ома?

– Учил, да забыл, – признался Мишка, равнодушно прислушиваясь к брожению воды в бочке своей приватизированной башни. «Вот на хрена я её приватизировал! За одну электроэнергию при подаче воды через насос дерут с меня, как с сидоровой козы. А прибыли – шиш! За воду не платят ни копя. Всё бы в долг брали», – думал он в упавшем духе и вдруг предложил Шептырину:

– Иван Петрович! Купи у меня башню!

– Скажешь тоже, купи! На что она мне? – удивился Иван Петрович в самом своём наилучшем сарказме.

– Воду качать...

– Зачем мне вода? Ты вон развёл в воде чудовище...

– Как его теперь извлекать?

– А чо его извлекать? Пущай плавает, – непонятно ухмыльнулся Петрушка, сам толком не зная, то ли поощряет, то ли осуждает его.

– Боишься, поди? – каверзным шепотком спросил Гришка и каверзным телодвижением обеспокоил Мишку.

– Брысь отсель! – вздрогнул Мишка жестом негодования.

– Чтобы завестись даже микроскопической живности, ей надо от кого-то завестись, – прорезав лоб морщиной Чарльза Дарвина, сказал Вилька Чохин. – Давайте рассудим так: из озера Лох-Несс по меридиану шотландской географии в нашу местность перекинулся сперматозоид. Он благополучно миновал Северное море, умышленно спрятавшись в брюхе какой-нибудь рыбы, обогнул Норвегию и очутился в наших

территориальных водах, где с чувством безграничной свободы вторгся в Обскую губу и вверх по течению направился вглубь России. Понятно, что попал в ответвление Иртыша, из Иртыша проскочил в реку Вагай, из Вагая в Емец, откуда был захвачен насосом и подан в водонапорную башню. Тут он самовольно размножился до установленных габаритов.

– Аргумент противоестественный! – завидуя красноречию Вильки, воскликнул Иван Петрович. – Хотя бы потому, где находится резервуар той рыбы, в котором семячко иностранной фауны приплыло к нам? Факт, господин... товарищ Чохин! Факт!..

– Резервуар выловлен рыбаками! – тут же нашёл факт Вилька. – Выловлен и сварен в ухе. А кишки вместе с мочевым пузырьком выбросили на свалку, где всё смыто дождями, утащено в реку и залито в башню насосом.

– Воду из ёмкости надо слить и вытащить чудовище на сухопутный воздух! – распорядился Иван Петрович.

– Сейча-а-ас! – взорвал себя возгласом Мишка. – Воду слить!.. Брякайте, да думайте, на какую тему брякаете! Тут воды девятьсот тонн!.. Сколь энергии потрачено на её подъём из реки и сколь денег на всю эту процессию убухано! Воду слить!..

– А чудовище из Шотландии, – продолжил Иван Петрович, но Мишка перебил его дерзновенным протестом:

– И пускай живёт! И так всю природу погубили, уже за чудовищей взялись!.. Не дам воду сливать! Понятно?

Вилька Чохин старательно ущипнул за кожу Петрушку и моргнул обоими глазами, приглашая отойти вдали.

– Чо у тебя созрело? – спросил Петрушка вдали.

– Конкурент! – сказал Вилька.

– Чо-о?..

– Конкурент по чудесам! Это он приманку для туристов сварганил. Сейчас даст объявление по осмотру лох-несского чудовища, которого он вырастил в водонапорной башне и семя которого доставил какой-нибудь мескозоб, – объяснил

Вилька. – А дураков в нашей стране много. Почти все дураки. Кроме нас с тобой, товарищ Шаляхин...

– Господин...

– ...повалят туристы, и попрут деньги. Дол-ла-ры!..

– Откуда они возьмут доллары, когда и рублей-то нет, – польщённый повышением в уме, чудотворно усмехнулся Петрушка.

– Из Москвы попрут! Из Парижа! Из Неаполя приедут!

– На чём приедут-то? Автобус к нам и то не всегда ходит.

Бензина нет.

– На своих катехизисах. Понял? Погибель наша. Хуже планеты Нибиру! Навязалась на нас...

– А-а! – махнул рукой Петрушка.

– Буровишь, что попада. То сперматозоид из Шотландии, то туристы из Парижа. А-а!..

– Не акай! Скоро Манолисом Глезосом станет!..

– Кем?

– Ну, этим... как его... За кого вдова Кеннеди замуж вышла. У него даже сральни из чистого золота. Так и наш Мишка-тарантулькин...

– Да чо с нами конкурировать! У нас уже все объекты Башмет дожирает...

– А ветряк! – подскочил на одной ноге Вилька, постоял и подскочил на другой. – Разве ветряк не чудо? Разве мы его зря возводим? Тут дед Мишкин чего-нибудь вылепил. Понял, что туристов заманиваем. Вот и Мишка лох-несское чудовище завёл. Перехитрить нас решил! Конкурент по орбите. Хуже планеты Нибиру. Навязалась на нас...

– И чо ты предлагаешь? – утопая в зелёной тоске, спросил Петрушка, а сам подумал: «Напомнил про эту Нибиру... Придёт и сядет, как купчиха в пьесе Николая Островского. Навязалась на нас...».

– Уничтожить чудовище! – выпалил Вилька с таким контрударом, что оставил ожог вдали.

– Каким Макаром? Воду сливать он не даёт...

– Ха-ха-ха! – раскатился вдруг Вилька искромётным человеком. – Я – бывший подводник. В воде хозяйничаю на лютую зависть всему морскому хаосу. Нырну в бочку...

– А если задавит тебя это чудовище? – спросил Петрушка и опять подумал, обрекая себя на тоску в умопомрачительном варианте: «Жизнь на Земле приходит к заключению. Зайцы вымирают, а чудовища плодятся. Значит, Бог всё-таки есть. Чудовищей-то не так жалко давить пересечением планет, чем милovidных зверьков...».

– ...я же вооружусь. Оружием всех степеней владею. Обучен при любом нападении морского хаоса, – улетучивался то через одно, то через другое ухо голос Вильки Чохина.

Глава четырнадцатая

Зима заблестала снегами, морозами, звёздами. Для Маши Волоховой начались празднования – посещение библиотеки. В соседнем селе Тканове, путь в которое лежал через берёзовую рощу, в бывшем очень старом, но не изношенном купеческом доме, на втором этаже, от самого пола под потолок с набивными вензелями, уходили стеллажи, нагружённые книгами. Напрасно библиотечарша Леонора Семёновна Залихватская все дни напролёт писала воззвания – книги никто не читал. Эпоха, прославленная лауреатами всевозможных советских премий, провалившись под землю, была уже неинтересна. Все знали, что никто уже не умирал у взорванных мостов исключительно для того, чтобы презирать бытовые удобства, и на немецкие долго действующие огневые точки, намертво отлитые из бетона со стальной арматурой, гнали штрафников, а не комсомольцев. Все знали, что это было враньё для удобств и сытого прокорма самих сочинителей с лавровыми листками за неимением фиговых.

Ушедшие вглубь веков дворянские гнёзда с аллеями и прудами, где гуляли под ручку офицеры и барышни, раз-

дражали современное население, поедающее экскременты океана в консервных жестянках с карнавальной ярлычкой на боку: произведено в Калмыкии. Деревня Каразуйка. Улица Кайсына. И кличка продукта – тюлька в оброте.

Фёдор Панкратович Чебутыкин, выискивая в классической литературе, где подробно описано про стерляжью уху и кулебяки с мясом, бросал читать и отчаянно взывал:

– Василиса? Чо бы пожрать?

– Пошарь в холодильнике! – отвечала Василиса Ермиловна, жадно читая в другой литературе про осетрину с хреном.

Фёдор Панкратович гремел холодильником и выуживал тюльку в оброте.

На обочине федеральной трассы и шашлычной Чурека Чуреева какой-то инспекцией было обнаружено филе крысы, замаскированное под телятину...

– Ны хошь – ны ешь! Я нэ заставляю! – сказал, как отрезал кривым ножом, Чурек, закрыл перед службой парадную дверь и обратился к трассе из другого выхода: – Заходы, пожалыста! Свежая тылатына! С грибами-опёнками! С мырковью и кындзай! Угыщайтэсь!

В общем, не читал народ. Вкушал крысятину. С грибами и кындзай. Не всякий народ вкушает филе крысятину под такой разноголосицей. Один наш. Молодец! Универсальный народ. Разносторонне радужный.

«Чаепития в образах художника Кустодиева», «Пирожки с мясом в воспоминаниях художника Добужинского», – писала очередные воззвания Леонора Семёновна, приглашая читателей на обсуждение царской России, увековеченной великими людьми.

И, скоротав вечер в одиночестве, без читателей, писала дальше: «Разносолы дома Ростовых». Тут она вспоминала отрезок морского языка, запечённого в тесте, благословенно не зная, что это отрезок бразильской анаконды...

Отметая напрочь пыль и прах современного существования со своего обеденного, заодно и письменного стола, Маша

Волохова пила чай непроходимой густоты созидательного гудрона, прикусывая его выпечкой из примеси глинозёма и маргарина, и, самозабвенно дописав главу о Пушкине, отправлялась в библиотеку.

Она гуляла меж стеллажами, как в реликтовой растительности, разглядывая одно и то же: «Рождённые бурей», «Песня о Буревестнике», «После бури», «Буря на море», «Буря под звёздами», «Чёрная буря», «Секретарь обкома»...

В растительности давно привлекали её внимание два толстеньких тома, напечатанные излишне мелким шрифтом. Возможно, для избранных. Или для посвящённых в какие-то сакральные замутнения. «Иосиф и его братья».

Маша взяла один том, раскрыла наугад и начала читать про бестолковую страну Египет...

– Разве у Сталина были братья? – услышала она над собой театральный мужской голос.

Маша подняла голову и увидела молодого мужчину в бобре, румяного, привлекательного, украшенного важными бачками.

– Да, – ответила она шуткой, надеясь, что вопрос тоже из шуточного репертуара.

– Да? – удивился мужчина. – А я не знал.

Он улыбнулся и, зная, что у него сиятельная улыбка, улыбался долго.

– А вы кто? – спросил он.

– Я? Никто. А вы? – улыбнулась и Маша.

– Я – Евгений Негин.

– Даже так.

Маша легко и мечтательно вздохнула и, устремив взгляд в дальний пасмурный угол библиотеки, нараспев прочитала:

*– Я к вам пишу – чего же боле?
Что я могу ещё сказать?
Теперь, я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать.*

Она замолчала, посмотрела на Негина и улыбнулась опять.

– Да? – спросил он. – Это ваши стихи?

– Мои, – не моргнув глазом, игриво соврала она.

– Да? – удивился Негин. – Вы пишете стихи?

– Да, – сказала Маша. – И не только стихи.

– А что ещё?

– Ещё письма.

– Письма. Кому?

– Румяным мужчинам... в бобровых шапках.

– Да?

– Да.

– А мне напишете?

– Непременно.

– Я живу здесь. На улице Гастелло. Дом четыре. Евгений Негин.

– Запомнила. Николаю Гастелло, – рассмеялась Маша.

Они вышли. Берёзы у библиотеки сверкали на солнце, как хрустальные. Собачий след на сугробе отливал золотом. Дальний конец улицы терялся в синем туманце, и кусты, и деревья вокруг тоже отсвечивали хрустальными огнями.

У «форда», сочетающего безвкусицу выпукло-красных колёс с голубым мерцающим снегом, стояла дева.

– Кто это? – спросила она.

Негин оглянулся на Машу, уходящую по улице в свою деревню, и сказал.

– Никто. Так.

Глава пятнадцатая

Кто это сказал: «Одиночество спасёт нас»? Валентин Распутин? Сказал, увязая в рухляди страны, и которому повезло сделать в ней имя. И потому сам-то он не оказался одинок. И даже в те годы, попав в них, как в дырчатое

рядно, он ездил на Афон, бывал в столицах, издавал книги, процветая в презентациях и подписывая автографы. Одиночество спасёт нас... Красиво сказано! Не более. Но тому, кто сказал это, приходилось ли безвыездно сидеть в деревенской избе, исписывая пожелтевшую бумагу, часто в минуты горьких раздумий глядя в окно, где заречный заснеженный косогор в сплетении старых тальников похож на трёхметровую Снегурочку, показательно застывшую, нет, показательно околевшую в длинные зимние ночи, когда на той стороне, когда-то криво-косо облепленной избушками и желтоглазо мигавшей окошками, теперь не мигает ни единого огонька. Всё вымерло. Выехало. Ушло. Только я ещё сижу, сочиняя про жизнь и переступая в неё, чтобы не издохнуть, не сойти с ума или, упаси боже, навязчиво, в зудящем подталкивании не подумать о суициде... Это называется – одиночество спасает нас. Меня и ещё кого-то. Кого? Не знаю. Теперь, признаюсь, и знать не хочу. В своё одиночество я вплавлена, как букашка в янтарь. На мир я смотрю сквозь янтарные стены, и всё мне кажется янтарным, золотистым, золотым... Я ушла в него, милостиво подарив другим триумфы и премии, которые по праву предназначались мне. И слава Богу! Зато у меня есть Снегурочка! Поутру я вижу – она стоит в вербах. Коли она на месте, значит, всё со мной благополучно. Вот если она появится перед моими окнами... Да нет! Это похоже на плохой рассказ плохого писателя Леонида Андреева. Я – не Андреев. Я не выпендриваюсь и не ношу красной рубахи при опояске с кистями и высоких сапог, конечно же, не готовясь в них перейти через гнилой Сиваш! А так. Погарцевать на паркетах. О, Леонид Андреев! Стяжавший себе баснословный фавор через тихие ужасты в сочинительствах! Через человека, с бухты-барахты провисающих за окнами, мычащих идиотов-поповичей, узников, открыточно ожидающих смертного приговора... Что пережили мы в наших избах, сверху донизу заваленных снегами!.. Спасая в них своё одиночество...

Печальным наигрышем отозвался вызов мобильного телефона.

– Слушаю...

– Угадайте, откуда я узнал ваш телефон? – спросил томный мужской голос.

– В библиотеке.

– Да. Я знаю, кто вы.

– Кто?

– Писатель. И вас зовут Машей. Так?

– Не совсем так. Писателем я считаю себя сама, но, считают ли меня другие, не знаю.

Маша помолчала, наслаждаясь заминкой собеседника, и спросила:

– А вы как полагаете?

Негин вздохнул и ответил:

– Не знаю.

– А почему не знаете? – спросила Маша.

– Тоже не знаю.

– Оказывается, вы Незнайка!

– Не знаю...

Послышался мягкий смех с театральным раскатцем.

– Что вы делаете, Мария?

– Пишу стихи, – весело соврала Маша.

– Какие?

– Любовные.

– О! О! О! Пришлите мне хоть одно?

– Непременно.

– Гастелло, четыре...

– Да, я помню. Николаю Гастелло.

Маша отключила телефон и рассмеялась, потом подошла к портрету Пушкина. Это был портрет необычайной лирической силы Валентина Серова, написавшего Пушкина на садовой скамье в дни поздней осени. Пушкин сидел, облокотясь на спинку скамьи, глядя перед собою, элегантно-небрежный, с открытым лицом, внутренне обеспокоенный

своим вдохновением и прислушивающийся к нему среди шороха осеннего сада.

В стекле портрета Маша увидела своё отражение, она словно приближалась к Пушкину со спины, заключая его в себя, как в зеркальный ореол...

«Медлительно влекутся дни мои, и каждый миг в унылом сердце множит все горести несчастливой любви...»

Она села и, с улыбкой обмакнув гусяное перо в пузырёк с чернилами, начала писать на листке бумаги. Затем нашла в ящике стола конверт и, подождав, когда чернила высохнут, вложила в него листок.

«Село Тканово. Улица Евгения Негина, 4. Николаю Гастелло», – написала она на конверте.

Глава шестнадцатая

Вообще-то он был – Кунегин. Но в наших краях, где любое слово, в котором хоть приставкой, хоть суффиксом вплетено «кун», принимается с особым насмешливым намёком и потому каждый мало-мальски уважающий себя человек любыми правдами и кривдами старается это сакральное «кун» из своей фамилии вытравить.

Евгений Кунегин, красивый молодой человек, не в меру приклатнённый среди замызганной сельской жизни, решительно убрал из своей фамилии две первые буквы и из грубоватого, жестковатого Кунегина объявился в нежном, прилизанном Негине.

В крутом бизнесе развернуться ему мешали средства, то есть отсутствие средств. Пойти в рэкет сдерживала определённая черта характера, которую сам Евгений считал интеллигентной жилкой, а на самом деле преобладала душевная трясца, нечто смешанное из осторожности, мнительности и трусости. А жить хотелось так, чтобы внешний вид и суровая действительность соответствовали друг другу, что-то вроде аппликации, ловко наклеенной на подобающий фон.

Родители его жили в Соломатино по соседству с колдуньей и ворожеей Червой. Она-то и навестила молодого, демобилизованного в запас из Вооружённых сил России Женю Кунегина познакомиться с Акулиной – дочерью миллионера Тоши Брындина. Тоша, или Анатолий Павлович Брындин, конечно, был не миллионер. Хапнувший зерновые площади в Тканово, он с ними входил в ветошинскую «ко-ко», ссужал отборный овёс для скаковых лошадей, приплод продавали, делили, обзаводились теремами и «фордами», завлекали на гульбища владельца районного мелькомбината Раву Самохвалова, что-то продавали и там, что-то там и делили тоже... В общем, жил Тоша Брындин с молодой женой (прежнюю благоразумно оставил из-за климатических изменений её организма) в двухэтажном особняке с... никто не знает, сколько там было комнат. А если уж честно признаться, то наш Тоша и не жил, а странствовал с молодой половиной по побережью Египта и Таиланда, а в особняке ч... бог знает, сколько там комнат, обитала Акулина, которой исполнилось тридцать лет, и возрастом своим она являлась вдвое старше своей мачехи Любавки-Забавки.

Евгения она полюбила тотчас же, как увидела, и тотчас же уцепилась за него всеми органами своего пышно переполненного всяческими соками тела.

Евгений, конечно же, получил письмо. Быстро достал его из почтового ящика, прочитал, что оно адресовано Николаю Гастелло, и усмехнулся: «Тупая! Я же русским языком объяснил, что это улица имени Гастелло... Кто такой был Гастелло? Наверное, космонавт. Их теперь развелось, как трактористов».

Акулина следовала по пятам.

– Что это у тебя? – спросила она.

– Ничего нет, – ответил Евгений.

– Как нет? Ну-ка, выверни карман!

– В кармане презервативы. Ты же вчера положила упаковку...

– А что ты их носишь с собой? Положи вместе с докумен-
тами.

Евгений поспешил на верхний этаж, где в палисандровой
шкатулке хранились паспорта, его военный билет и пропу-
ска в районный ночной клуб. Поднявшись в переднюю, он
швылькнул налево, потом направо, потом опять налево, про-
бежал прямо и за углом спрятался в ворохе всевозможных
обрядов своей бдительной гражданской жены.

– Же-ень! – звала откуда-то издали жена, скорее всего за-
блудившись в пируэтках своего представительного жилища.

Евгений торопливо разорвал конверт и начал читать:
«Медлительно влекутся дни мои...».

– Хм. Тупая! Будто не может писать русским языком...

– Же-еэнь! – плавала Акулина.

– Да сейчас я! Сейчас! – отозвался он и выскочил из об-
рядов.

– Где ты? – выплыла к нему Акулина.

– Презервативы в шкатулку ложил...

– Ну, зачем же так далеко?

– Сама же сказала, чтоб с документами...

– Я?

– Ты.

– Неужели? Же-еэнь! Ты куда?

– В туалет...

– И я с тобой.

«Деньги! Деньги!» – думал Евгений, сидя на унитазе пря-
мо в штанах, касаясь рукой тех мест, где хрустели деньги.

– Же-еэнь! Ты скоро? – звала за дверью Акулина.

– Скоро...

– Я же говорю, надо больше слабительных фруктов
есть. Например, сливы, свёклу и тут же пить гранатовые
корочки...

Евгений встал, спустил воду и вышел.

– Пошли кушать! – сказала она, увлекая его за собой.

– Сделай салат. Слабительный! – сказал на кухне Евге-

ний и, пока Акулина готовила салат, увернулся и позвонил по мобильнику.

– Мария? Спасибо за письмо! – проворковал он в незримой части первого этажа. – Присылайте ещё! Я издам сборник стихов. Что? Деньги? О! О! О! Денег у меня хватит.

И, отключив мобильник, мысленно хихикнул:

«Тупая! Неужели человек с такой внешностью, как я, может прозябать без денег!.. Писательша, а!».

Глава семнадцатая

Утренний Орёл утопал в зелени. Кони легко и скоро поднесли коляску к дому Ермолова, и Александр Сергеевич, столько наслышанный ещё в Петербурге о кавказском генерале, наконец-то рад был увидеться с ним самим.

Было восемь часов утра.

– Его превосходительство уехали в имение, к отцу, – доложил человек, вышедший навстречу коляске. – Это недалеко. Через час будут.

Ночная езда не утомила, хотя дорога местами попадалась скверная, с буграми и рытвинами, но ехали степенно, не торопясь.

Далеко сбоку шла гроза. Полыхающие молнии разливали по всему горизонту моря света, и тогда край земли, будто для показа, подбрасывало вверх с дрожащим отпечатком далёких лесов и притихших, сонных селений.

Оставив коляску, Александр Сергеевич отправился побродить по Орлу. Город благоухал цветами, садами. Цветным лоскутьём пестрел базар, где весёлые горластые бабы торговали ранними огурцами, редиской, пирогами, молоком. Запах сдобы, укропа, пионов густо витал над базарной площадью.

Через час Александр Сергеевич вернулся. Ермолов уже был дома и ждал его.

– Рад! Рад! Александр... – проговорил он и, видно, забыв отчество, смутился.

– Сергеевич, – подсказал Александр Сергеевич, разочарованный внешним обликом генерала и тоже смутившийся от этого, хотя постарался вида не показывать.

Ермолова он знал по портретам, как по портретам знали и его самого, и, увидев наяву, наверняка смутились бы и разочаровались от живого облика, в преувеличенной привлекательности написанного живописцами.

Круглое лицо Ермолова выглядело замкнуто-недоброжелательным, но, приглядевшись, Александр Сергеевич установил, что недоброжелательность и недовольство только кажутся, а подлинная печать лица – суровость. Оттого и улыбка Ермолова выглядела неприятною. Серые глаза сверкали огнём, седые волосы, казалось, стояли дыбом. Энергичный, волевой, сильного телосложения, он напоминал Геркулеса с головой тигра.

Однако любезность к Александру Сергеевичу он выказал необыкновенную.

– Рад, рад, Александр, – повторил Ермолов и опять запнулся, забыв его отчество.

– Сергеевич, – опять подсказал Александр Сергеевич.

– Значит, вы едете на Кавказ, в армию графа Паскевича, – намеренно язвительным тоном при упоминании имени Паскевича произнёс Ермолов.

– Да. Хочу поучаствовать в боевых действиях графа, – также намеренно, не замечая язвительности, шутливо ответил Александр Сергеевич.

Ермолов улыбнулся неприятною своею улыбкой, потому что улыбаться не хотел, и, подумав, высказал:

– Победа, которая даётся легко, не победа. Паскевич же привык побеждать с лёгкостью. Он возомнил себя Иисусом Навином, перед которым падали стены Иерусалима от одного трубного звука. Граф Ерихонский! Пускай нападёт он на пашу, не умного и не особенно искусного в военном деле, но

всего лишь упрямого, да хотя бы на того, который начальствует сейчас в Шумле, – и Паскевич пропал.

Александр Сергеевич выслушал, не совсем соглашаясь с высказыванием Ермолова, и заметил:

– Граф Толстой говорил, что Паскевич очень хорошо действовал в персидской кампании, что умному человеку осталось бы действовать похуже, чтоб отличиться от него.

Ермолов засмеялся:

– Вот здесь я не согласен.

Потом вздохнул и продолжил:

– И в персидскую кампанию при всех хороших действиях можно было бы побережь людей и избежать военных издержек.

Александр Сергеевич хотел спросить, не напишет ли он своих записок о войне, но посчитал вопрос пока неуместным и, думая о предстоящей дороге на Кавказ и словно отвлекаясь в этой думе и желая узнать мнение Ермолова о Кавказе, где сейчас шла война с турками, сказал:

– И персы, и турки хотели бы иметь кавказские народы у себя в услужении, чтобы владеть беспрепятственно выходами к русским землям.

– Да, – согласился Ермолов. – Только с кавказцами и у персов, и у турков хлопот куда больше, чем думается им самим. Армяне, например, паше служить не будут, хотя и сопротивления они тоже не оказывают. Грузины, как и мы, исповедуют православие и готовы защищать его от всяческих посягательств магометян. Но по всему Кавказу, особенно на севере, в пограничных с нами землях шныряют черкесы. Они нас ненавидят. И в этом, как водится теперь за границей, обвиняют нас же. Мол, вы, русские, вытеснили черкесов с привольных пастбищ, разорили аулы, уничтожили целые племена. Хотя упорно замалчивается, сколько зла нанесли черкесы или чеченцы русским поселениям. И если бы их не сдерживали казацкие рубежи, они бы дотянули руки до средней России. Да!..

Ермолов замолчал, углубившись в какое-то своё горестное раздумье, и со вздохом повторил, словно отвечая себе на извечный неразрешимый вопрос:

– Да!.. России ещё долго придётся бедствовать с этим народцем. Единственное, что надо сделать – обезоружить его, как обезоружили крымских татар.

– Легко сказать! – отозвался Александр Сергеевич, внимательно слушая генерала и соглашаясь с ним.

– Сказать, конечно, легко, – глухо повторил Ермолов. – Вот за границей говорят, что мы притесняем свободолюбивый народ, обязывая его носить наше государственное ярмо. Однако народ, живущий разбоем, не станет жить ни по каким законам никакого государства. Он дик, неграмотен. Для чеченца убить человека – то же самое, что пошевелиться в седле или махнуть нагайкой. Упаси Бог попасться им в неволю! Богатого пленника они ещё щадят, надеясь на выкуп. Другого забьют насмерть самым изуверским способом. Чаще приставляли охрану из мальчишек, которые могут несчастного пленного изрубить на куски. И бороться с ними следует тем же методом, без пощады и жалости. Любой благородный жест они по своей дикости расценивают как трусость. Во что может превратить человека стая диких собак, почуяв его слабость, мы с вами знаем хорошо.

– И не только со слабым человеком. С благородным и сильным так же, – сказал Александр Сергеевич.

– Для них что трусость, что благородство – одно и то же, – добавил Ермолов. – Недавно они приняли магометанство, что ещё больше усугубит их вражду с нами. Правда, можно надеяться, что приобретение Россией восточного черноморского побережья, отрезавшего их от Турции, принудит сблизиться с нами. Дикого чеченца может укротить только роскошь! А Россия достаточно располагает предметами, которые для диких народов считаются роскошью. Даже обычный самовар, которого у них ещё нет.

– Однако имеется средство более сильное, более нрав-

ственное, чем предметы материальной роскоши. И более сообразное с просвещением нашего века. Это проповедование Евангелия, – сказал Александр Сергеевич. – Черкесы же были увлечены деятельным фанатизмом апостолов Корана, между коими отличался Мажур, долго возмущавшийся противу русского владычества. Наконец схваченный нами и умерший в Соловецком монастыре. Ссылаются черкесские возмутители и в Сибирь.

– Ссылка черкесов в Сибирь чревата для самой Сибири, – сказал Ермолов. – Ведь высылают туда людей необыкновенных, решительных, способных на возглавление каких-нибудь предпринятых больших дел. Они окрепнут, пустят там корни и начнут прибирать к рукам несметные богатства Сибири. А всё, знаете, наша лень – услать куда-нибудь подальше, с глаз долой. Извечная беда России в том, что она не думает о последствиях, произведённых в будущем нынешними её действиями.

Александр Сергеевич молча согласился с высказываниями Ермолова, но говорить ни о правительстве, ни о политике не стал. И, догадавшись об этом, умный Ермолов больше не обмолвился о Кавказе. Заговорили о литературе, о Грибоедове, который сейчас находился в Персии, подвергаясь большой опасности в её бурлящем котле, наполненном чернью. Оба хорошо знали, что подстрекателем к возмущению служит Англия. И поскольку Россия является претендентом на владычество по всему Востоку, ей выгодна вражда России и Персии. Но говорили о стихах.

– Грибоедова забудут, – обмолвился Ермолов и, посмотрев в глаза Александра Сергеевича, твёрдо, с затаённым восторгом, продолжил: – А вас будут помнить.

– Да и меня забудут! – весело отмахнулся Александр Сергеевич.

– Нет, вас не забудут, – сказал Ермолов. – В Грибоедове есть одна неприятная черта... Как бы выразиться? Учительство над читателем. А вот этого делать как раз не следует.

Читатель сам выберет, у кого ему учиться. В ваших же сочинениях разлита античная свобода. Вы не учитель. Вы – поэт. Я всегда с удовольствием читаю ваши стихи. А от чтения Грибоедова у меня скулы сводит. Как на школьном уроке. Туда не смотри и туда не смотри, а смотри на меня одного и слушай только меня.

...Через два часа Александр Сергеевич поехал дальше, свернув на прямую тифлисскую дорогу. После дождей ехать становилось всё труднее. Коляска часто застревала в непролазной дорожной грязи. И лишь в воронежских степях грязь прекратилась. Травы, объявшие зелёным пламенем чернозёмные равнины, простирались от горизонта до горизонта. Началась жара с жужжанием мух, ос, с мельканием стрепетов, перелетающих в степных травах, с коршунами в небе. Всё пело, звенело, стрекотало, летало, вилоьсь... Но Александр Сергеевич эту бурную степную жизнь принял равнодушно, досадуя на мух и слепней и торопясь проехать жаркие равнины. Лета он не любил.

Глава восемнадцатая

Зимой в деревне образовалось два известия. Первое из них: Вилька Чохин нырнул в бочку водонапорной башни и не обнаружил там никакого артефакта. Вода бурлила от перенапряжения, ходила по кругу и стучалась лбом о железные стены.

Второе и самое главное: безработный активист Иван Петрович Шептырин ездил в райцентр, менял советские брошюры на демократические, ничего не выменял и с горя зашёл покушать в столовую мелькомбината, где еда ещё имела образ правдоподобия и находилась в эксплуатации без пластиковых отрубей. Сидел, кушал, попивал пивко. Видит, заходит в столовую Тимка Усалов, улыбается во всю ширь Соньке-буфетчице, а на переднем месте у него вместо золотого зуба – щель.

– Где у тебя зуб-то? – спрашивает Сонька.

– Нету зуба, – отвечает Тимка. – Выбили. Ещё осенью, в междоусобном кровопролитии. Лошадью. Лошадь науськали, она наскочила на меня всем бруттом и выбила.

В деревне немедленно стали гадать: чья лошадь наскочила? В той потасовке Тимку вроде как никто в глаза не выдывал.

– Сам у него зуб выпал. От нервной прискочки. В кустах прятался, челюстями ербезил от страха, пока мы дрались. Сшевелил зуб с места, он у него и выпал! – докладывал Васька Сорокин.

– Монголка моя выбила. Тимка ехал ко мне с гирькой на ремешке, Монголка увидела и наскочила на него! – сказал Гришка.

– Шмыгай отсель! – цыкнул на него Васька. – Свисток фон Молля!

Это было оскорбление, которое по своим размерам соперничало с предательством Родины... Все знали о свистке Мартына Молля. Миниатюрный, с детский ноготок, он носил его в нагрудном кармане форменной тужурки и, когда наблюдал нарушения правопорядка, свистел в него. Все загоготали, потому что поняли, какую принадлежность физического строения Гришки оскорбил Васька Сорокин...

«Ладно. Перетопчемся!» – смолчал Гришка и в отместку решил оттрахать Лушку.

Не откладывая решения, он в тот же вечер пошёл в Соломатино. Зимний закат просвечивал сквозь лес, накладывая на снега и деревья золотистые заплатки. Вилась узкая тропинка, и по приметам, оставленным на ней, Гришка старался догадаться, кто ходит в Соломатино и зачем ходит... Вот пустой коробок спичек. Ясно, что шёл мужик, курил. Вот и окурочек... Дальше – конфетная бумажка. Баба ходила в магазин. Купила конфет, попробовала. Ещё одна конфетная бумажка, ещё одна... Этак слопаёт всё и домой не принесёт. Пустая пластиковая бутылка из-под пива заткнута в сугроб.

Мужик пил... Может, и баба. Опять окурок. Опять бумажка... Опять... Ну, ваще! Прихватило, блин! Не мог отойти в сторону, прямо на тропинке... Всю тропинку, блин, перегородил! Гришка шёл на свидание с красивой женщиной, которая, кто её знает, насколько старше его, а тут ему под ноги вывалили кучу дерьма... Как некрасиво стали существовать современные люди! Никакой, блин, духовности!..

– Тьфу, мать твою! – плюнул он, перешагнув через препятствие и пошёл дальше, глядя на золотой закат и думая о физических уродствах человечества.

«На Марс! На Марс полетим! – думал он. – И на Марсе то же самое произведём. Вот тебе и на пыльных тропинках далёких планет... Стоп! А почему на тропинках-то? Кто их там проторил? Кто-то уж ходил, значит. Братья по разуму прошли, проторили... А мы прилетели и насрали!»

– Тьфу, опа миа! – плюнул он снова.

За калинником показались нахохленные от снега крыши деревни Соломатино. Вечером там пустынно и темно. На кладбище и то веселее. На кладбище хоть венки размалёванными цветочками выглядят, шебуршат при движении воздуха, души умерших перешёптываются, перепархивают с места на место, а тут – ни вздоха, ни выдоха.

Почуяв Гришку, откликнулась в чьём-то дворе собака. Завыли, залились, затыкали и собачонки в ограде Лушки. Гришка дрогнул, лякнул зубами и, не помня себя от страха, кое-как протащился мимо Лушкиного дома, твёрдо решив, что для храбрости надо выпить. Он прошёл в магазин, торгующий, видно, допоздна, и встал у прилавка, разглядывая витрину, заставленную пивом в пластиковой таре, и щупая в кармане купюру.

Продавщица была в магазине одна. Увидев Гришку, она продвинулась за прилавком и тоже стала разглядывать его. И наконец спросила:

– Чего тебе?

– Пива. Вон ту, «Толстяк», – сказал Гришка.

– А тебе скоко лет? – строго, как Ираида Ираклиевна, спросила продавщица.

– Шест... Восемнадцать! – спохватился Гришка.

– Паспорт с собой?

– Зачем?

– Как зачем? Проверить, скоко тебе лет!

– Кто с паспортом в магазин ходит! – вознегодовал Гришка.

– Ты грамотный?

– Грамотный...

– Тогда почему не читаешь вон то объявление, где сквозь компьютер напечатано, что алкогольные напитки продаются только лицам, достигшим совершеннолетия. На тебе совершеннолетия не заметно, оттого и требую паспорт! – строже, чем сама Ираида Ираклиевна, проговорила продавщица.

– Как это я несовершеннолетний, если зарабатываю себе на жизнь! – совсем вознегодовал Гришка. – У меня свои кровно заработанные деньги!

– Иди отсюда! – рявкнула продавщица. – Ты кто такой? Откуда заявился? Каторжанин!

Гришка ушёл, постоял возле магазина, беспомощно жулькая в кармане купюру, направился к ларьку, увидел, что на крыльчке опять сидит фигура с автоматом, и позвал издали:

– Эй, дядя!

Фигура не ответила, и Гришка окликнул снова:

– Эй, тётя!

Фигура не двигалась. Гришка подошёл ближе, присмотрелся и остановился в нерешительности, не зная, кто перед ним сидит – человек или пугало.

– Эй, дядя! – тихонько шепнул он и потянул к себе автомат, который оказался обструганной доской. – Хи-хи!.. Дя-дя!..

Тряпичное чучело, одетое в тулуп, с овчинным капюшоном на голове, сидело на крыльце и смотрело на Гришку нарисованными глазами. Внутри чучела что-то чакало. Гришка отвернул полу тулупа и увидел будильник. «Взрывное устройство» – прочитал он записку на будильнике.

– Взрывное устройство... Для соломатинских дураков, чтоб не подходили к ларьку! – хмыкнул он, взял будильник и пошёл с ним к Лушке, думая: «Раз уж пива не дали, подарю ей часы, чтоб не с пустыми руками».

Собачонки опять выскочили из подворотни с визгом и рёвом, и одна даже цапнула его за штаны. В окнах Лушки было темно. Гришка схватил палку, разогнал собачонок и, разъярённый, озлобленный на придурковатую деревню Соломатино, пошёл домой.

Стемнело быстро. В калиннике сквозь чёрные верхушки кустов мигали звёзды. Гришка шёл по узкой тропинке, в темноте оступаясь с неё и проваливаясь в снег, и уж совсем не к месту вспомнил страшные байки о нечистой силе, обитающей здесь в образе то мохнатой девы, то голой овечки. «Иду как-то на сумерках из Соломатино, только прошла калинникот, гляжу, передо мной овечка бежит и вся наскрозь голая», – рассказывала Санка Шустова, агентура Ветошина-коки, ваще, блин, в натуре!..

Сбоку вроде как поблазнились зелёные огоньки. Гришка остановился, вглядываясь в темноту. «Тик-тик-тик», – на весь лес стучало сердце, очутившись в правом кармане куртки. Наверное, с перепугу...

«Будильник! – догадался он. – Ладно, пусть брякает. Всё-таки звук!..»

Огонёчки теперь уже не поблазнились, а на самом деле промелькнули в тёмной чаще, спрятались и мелькнули опять, приближаясь сюда, и вскоре из согры выскочила большая собака. За ней показалась другая, третья...

– А ну, пошли!.. По-ашли-и!.. – со всей силой отчаяния завопил Гришка.

Первая собака остановилась и, упираясь в снег лапами, зарычала...

«Волки!» – как обухом по голове грохнуло Гришку.

– А-аррр-рр-р!.. гырр-рр-ры-р!.. – в лютой злобе разъехалось перед ним.

Гришка вскочил, вцепился в сук берёзы, нащупал ногой выступ на коре, отломил его, нашёл новый выступ, подтянулся и схватился за сук повыше... Тело его звенело, дрожало и вибрировало, изгнав из своего нутра суетные мысли о Соломатино, Лушке и прочей житейской мелюзге, потому что главным сейчас было одно – спасти своё тело! И упаси боже оплошать, сорваться с берёзы – волки разорвут, сожрут, и тот злодей, оставляющий экскременты на лесной тропинке, увидит какой-нибудь клочок его одежды, плюнет и скажет: «Ишь, чо творит народ! Бросают лоскутья, где попало... Летом под черёмухой женские трусы таскались... Засоряют природу!».

Гришка опомнился, увидев, что лезть дальше некуда. Он прилепился к самой вершине, увидел вдали вереницу огней, понял, что это светятся окошки Соломатино, крикнул: «Э-эй!» – и сник в тоске, зная, что никого не дозовётся, не докричится, и из двух смертей придётся избрать одну – или замёрзнуть на вершине и упасть к волкам в мороженом виде и быть съеденным ими, или живым упасть и тоже быть съеденным...

– Грр-ыр-гр-рра-а! – докатилось снизу.

– По-ашли отсюда, падлы! – завопил Гришка. – По-ашли-и!..

И в ненависти, в самом безудержном отчаянии он выхватил из кармана будильник и запустил им в сторону рыка... Лесную темень пронзил ослепительный шип огня, шибануло грохотом, клубок дыма и снега взвился и пополз вверх, Гришка полетел куда-то вместе с берёзой, лишился в полёте чувств и пришёл в себя на качели, мотающей его туда-сюда... Его тошнило, голова кружилась. Покачавшись, качели остановились, и он увидел, что лежит в черёмухе, на том берегу реки, и берёзовая вершина тоже лежит на нём...

Пошевелив руками и ногами и убедившись, что они вроде невредимы, Гришка сполз с черёмухи и, проваливаясь в снег, покарабкался через реку.

– Да это то же самое место, куда меня в драке Монголка уронила! – удивился он. – А волки-то где?

Он выкарабкался из-под горы и огляделся. Кислый металлический запах щекотал в носу. Стояла мёртвая тишина, и в тишине что-то торопливо и испуганно тикало.

«Неужели будильник?» – вытаращил Гришка глаза, прислушиваясь к тиканью. Тикало, торопилось и шумно дышало в нём.

– Так это я сам! – обрадовался он, поняв, что прилетел с того света и, опять собравшись вместе, тикают все части его тела. Целые и невредимые. Вот только из носа что-то капает... Неужели кровь? Нет, слава богу, сопли.

Гришка сморкнулся, промокнул нос снегом и припустил в деревню.

Глава девятнадцатая

Зима сеяла серебро. Оно лежало буграми, кучами, держась за подошвы берёз, перехлёстывало сиянием в тальниках и в своих закромах топило с головой всякую мелочь. В сосняках, особенно ярких и зелёных, будто только что созданных, перепархивала ясными блёстками, реяла, усаживалась сугробами на хвою серебряная снежная пыль. По ночам в ослепительном шествии горели звёзды. И никто, даже сам Бог, не смел дотронуться до хрустальной громадины мировой тишины, царапнуть по ней ногтем или дать лёгонького щелчка. Молчало всё. Лишь изредка рвалась и скрипела ткань внутри старого, отживающего положенный век дерева да вздыхал лесной дух, ворочаясь во сне, томясь от безделья. Пойти бы гукнуть! Да кто услышит, когда все мертвецки заснули до первой весенней сосульки!..

«Велика, однако, Земля, – думала ворожея Черва, выйдя во двор и устремив к небу руки ладонями вверх, в форме лотоса, чтоб набраться благодатных космических сил и с ними

действовать дальше в своём призвании. – Где-то шумят города, бегают, толкётся народишко, перетаскивая из угла в угол свою нужду, а тут – тишь со дня творенья».

У Червы сегодня клиентка – Лушка. Красивая, жаркая баба, а с мужиками никак не ладится. Потому что бедная. На бедных никто и никогда не зарился. Женились на кривых да косых с перинами, коровами, золотыми приисками, а красивые бабы мыкались одни с голой жопой, со сплетнями, пересудами и прочей словесной похлёбкой.

Черва вспомнила прошлогодний скандал, получившийся промеж Лушкой и Фетидой Эпраксиевной, какой-то служанкой при главе администрации. Приревновала Фетида своего мужа к Лушке и замыслила вероломно вцепиться Лушке в волнистые волосы, поджидая её на крылечке магазина в обрамлении жадного до всяких зрелищ населения.

– А ну-к, отойдь! – грянул тут её мужик по прозвищу Гамбетта, уцапнув пятернёй малокровную Фетиду, и выбросил на дорогу.

– Сука она! Шалава! Я её кислотой оболью! – визжала Фетида Эпраксиевна.

– Сука – это ты! – прогудел Гамбетта благородным басом. – Я тебя каждую ночь шоркаю по два раза. Один раз – до первых петухов, второй – после третьих. А тебе всё мало. Ты ещё днём просишься, чтоб тебя пошоркали. Её же я шоркнул всего раз в год. Уйди отсюда, пока я тебе башку не свернул направо!

От постоянного прислуживания в администрации Фетида Эпраксиевна привыкла держать голову наискосок. И хоть на правой стороне навьючила кудерочки для равновесия, голова всё равно уходила налево. Угроза мужа, снабжённая признанием, что Лушку он всё-таки шоркнул, вообще с головой сделала несоответствие. Кудельки вздыбились и рассыпались по всей пустой половине, потому что основной мозг откатился налево, да так и присох там...

– Кого же хочет приколдовать Лукерья батьковна? – спро-

сила Черва и, набравшись космической силы, вернулась в дом.

Лушка сидела у стола и сверкала красным камушком.

– Рубин! – часто хвасталась она. – Мой камень по астрономии!

«Не рубин это, а красное стёклышко», – знала Черва.

– Ну, выкладывай, с чем пришла, – сказала она.

– А поможет? – спросила Лушка.

– Всем помогает, а ты что, невидаль какая-то особая? Будешь верить – и тебе поможет.

– Тоша Брындин завладел моим сердцем! – вылепила Лушка и подняла к потолку красивые очи.

– Так уж и завладел, – проворчала Черва. – Любовь открылась!.. Куда там! На богатство, небось, наметилась! Да токо зря, Лукерья батьковна! Там ведь Акулька всем распоряжается. Не допустит она тебя в жёны к своему отцу. Вон и Женьку Кунегина обратала. Тоже голожопого, хоть и с бровями разлёт.

– А пошто Женьке должно принадлежать богатство Тоши Брындина? – заявила Лушка.

– А пошто оно должно принадлежать тебе? – спросила Черва. – Да оно Женьке и не принадлежит. Оно принадлежит Акульке вместе с Женькой. Подожди, она его опутает, он и не пикнет. И всё, что будет его, – рюмка. Сопьётся. Больше-то ему деваться некуда.

– И богатство пропьёт. А я не пропью! – закипела Лушка. – Тоше нужна жена обстоятельная и видная. Он же прикормил малолетку и возит её за собой по чужим странам. Половину богатства ей отпишет, половину Женьке. А сам потом пойдёт милостыню просить. Да никто не подаст. Надо ведь и его на путь наставлять, пока не состарился. Верно я говорю?

– Верно-то верно, – вздохнула Черва, посмотрела на Лушку, как Фетида Эпраксиевна, наискосок, и спросила: – А чем, красота моя ненаглядная, расплачиваться за приворот-то будешь?

– Как чем? Деньгами! – ответила Лушка и встряхнула полные груди вместе с красным стёклышком между ними...

– И где ты их возьмёшь? – наседала коварная Черва.

– У Тоши...

– Так он тебе и даст!

– А куда он денется, если будет мой! Как приворожишь, так и рассчитаюсь! – нервно засмеялась Лушка и поправила стёклышко, выставив его напоказ.

– Ну, ладно, – согласилась Черва, пошла в горницу, вышла оттуда с бумажкой и шариковой ручкой и стала писать на бумажке.

– Вот, – сказала она, окончив писательство. – Отодвинь в печке вьюшку и кричи: «Я, раба Божья Лукерья, призываю раба Божья Анатоля...». Значит, тут всё прописано. Кричи по два раза. Утром до захода солнца, а вечером после захода.

– Так у меня же газ. Горелка в печи стоит, – сказала Лушка.

– Кричи в бане. Через каменку.

– У меня бани нет. Я у Кунегиных моюсь...

– Приходи в ихнюю баню и ори. Разницы нет. Хоть из паровой трубы ори. Придёт как миленький. Никуда не денется.

Черва отдала бумажку и выпроводила Лушку. Потом пошла считать деньги.

Насчитала их мало и стала думать, что надо уезжать из Соломатино. Деревнёшка измельчала, народа нет, никто никого не привораживает, никто никому не нужен. Скоро для колдунов совсем работы не станет. Беда!

К бане Кунегиных Лушка подобралась с задов, чтобы никто не увидел, как она направляется зазывать через дымоход Тошу Брындина. В бане было холодно. В маленьком окошке посверкивал квадратик снега. Лушка открыла вьюшку, но в темноте не разглядела, что накалякала на бумажке Черва. Хорошо, что зажигалка оказалась в кармане. Лушка ма-

тукнулась, выбила огонёк и начала кричать в открытую каменку:

– Я, раба Божья Лукерья, зазываю раба божья Анатоля...

Прокричав для верности три раза, она села на студёную лавку и закурила, уныло думая:

«Гамашаи прошоркались совсем на жопе. Новые купить не на что. Долги... Долгов до хрена. Можно устроиться на работу в райцентре, а где жить? Тут есть жильё, но работы нет. Там Ваня, там Маня, тут баня. Тьфу, Япония-супония!»

Когда она вышла из бани, поигрывала метель. Сиверко дул навстречу и прикладывал к лицу заполярные льдинки. Лушка пробралась через сугробы в свой огород и остановилась, слушая ветер. Дзинькала на частоколе пустая банка, в ограде вьюном ходил снег, гудел и трещал тополь, словно в его вершине жгли хворост, и выло, выло над головой...

Глава двадцатая

Анатолий Павельевич Брындин находился далеко от родных краёв, пользуясь жизнью со своей несовершеннолетней гражданской женой в тайском городе Чумпхоне.

Жара выдалась несносная. Где-то внизу под окошком домика из бамбуковых палок, в котором Анатолий Павельевич и Любавка-Забавка возлежали на циновке после купания в Сиамском заливе, кричала какая-то экзотическая фауна.

– Забавка, погляди, кто это верещит? – промямлил Анатолий Павельевич, не могущий от жары дрыгнуть ни рукой, ни ногой...

– Слон... – промычала Любавка на другой циновке, утопив в поту все части своей сути.

– Ты же не глядела... Откуль узнала, что слон? – кое-как спросил Анатолий Павельевич.

- Ну, тогда крокодил...
- А если не крокодил?..
- Откуль я знаю!
- Так встань да погляди!
- Заколебал, блин, – огрызнулась Любавка, поднялась на четвереньки и подползла к окну. – Пташка какая-то...
- Что за пташка?
- Откуль я знаю!..
- Так, погляди хорошенько!
- Блин, заколебал! Синичка какая-то...
- Откуль в Таиланде синичка возьмётся? – рассердился Анатолий Павельевич. – Это наша, северная синичка. Она в Таиланд за каким хером полетит?
- Тогда воробей...
- Дура! Воробей не кричит, а чирикает!
- Может, зяблик...
- Тьфу, дура! – рассердился Анатолий Павельевич и пополз к окну в самоличном исполнении.
- На банане под окном сидела Лушка из Соломатино и выкрикивала:
- Толя мой! До-мой! До-мой! Толя мой!..
- Брысь отсель! – в страхе цыкнул Анатолий Павельевич и перекрестился не в ту сторону.
- Кто там орёт? – спросила Любавка, совсем разопрев в изнеможении.
- Христос воскрес! Спаси и прикрой! Кто орёт... Галлюцинация. Зрительная и слуховая, – ответил он, перепуганный помутнением сознательности. – Куда, к чёрту, такой климат! Ему давно пора переделаться, чтоб в Чумпхоне воцарилась осень среднерусской полосы... Больше сюда не поедем. На Диксон поедем!
- Это который в Мозамбике? – вяло поинтересовалась Любавка.
- На советском Севере, дура! – злобно поправил Анатолий Павельевич и злобно пощипал себя за кожу.

Но под вечер он затосковал, размок совсем, зачесался то там, то тут и запросился домой:

– Полетим домой, в баньку! В снега наши родименькие, в Россию!.. Эх, нету лучше российской баньки! Нашей, сибирской! С веничком, со снежком да пивком!.. Полетим, Забавка, на родную сторонущу!..

– То-оль! Но у нас всего лишь неделя использована от путёвки. Ведь ещё двадцать дней отдыхать! – проканючила Любавка.

– Да провались эта путёвка в дыру, если галюны уже полетели! – залился гневной краснотой по всему лицу Анатолий Павельевич. – Домой, я сказал! К сватье! В баню! Какой, на хер, отдых тут, когда галюны кричат под окошками!..

– Толь...

– И не претендую слушать! Как не претендую тут на психологическую инвалидность, потому что началось искривление сознания и просмотр самого дьявола в виде Лушки, соседки моей сватьи.

– Лушки? – поднялась торчком ревнивая Любавка. – Вон что!.. Луш...

– Дьявола, принявшего внешность Лушки, дура! – всю испятнал себя краской гневный Анатолий Павельевич.

Он вызвал тайца, велел заказать ему билет на самолёт Бангкок – Екатеринбург и дал чаевые.

– Мала-мала! – осклабился таец.

– Чего мало? – не понял Анатолий Павельевич.

– Рубля... Доллара надо, – сказал таец, осклабился шире и согнулся в три погибели.

Анатолий Павельевич дал ему доллар.

– Мала-мала! – напомнил таец и согнулся в четыре погибели.

– Чего мало-то?

– Одна доллар. Надо одна умножить на пять штука, потом на десять штука. Или одна штука умножить на сто штука и потом опять на сто штука...

– Любка! Чо он мелет? – призвал Анатолий Павельевич на помощь гражданскую жену, чтоб решить уравнение с неизвестными штуками.

– Дай ему тысячу! – сказала Любавка, меняя при тайце нижнее бельё, потому как она не считала его рост за мужское сословие.

– Тысячу рублей! – охнул всем организмом Анатолий Павельевич, чувствуя, как печень улетела куда-то в область большого пальца на ноге...

– Долла-ро-ов! – голосом Баскова пропела Любавка.

– А-а! – проакал Анатолий Павельевич и с потерей сознания отсчитал тайцу десять рублей в самых мелких копейках.

– Спасибо! Спасибо! Узывать будете?

– Будем! – пришёл в себя Анатолий Павельевич.

– Карасо! Карасо! – не переставая скалить зубы от уха до уха, закивал таец головой, и с пригоршней копеек толкнул дверь ногой и удалился.

Перед вылетом им доставили ужин: мясо африканской мартышки под видом кролика в гранатовом соусе, жареных ящерок в лягушечьей икре, поданных как грибной гарнир, и фарш из бананов к китовому фаллосу, кое-как уместившемуся в кляре под кличкой осетрины с острова Фиджи, а также сперму кита, разбавленную чумпхонской самогонкой.

Потом чартерный аэробус «Ил» вознёс их в атмосферу и с гудением отвалил на родимую сторонushку. Через несколько часов стюардесса, тоже оскалив зубы от уха и до уха, огласила:

– Пролетаем Тибет! Уникальный регион, где на случай парадоксов земного шара сосредоточен генофонд человечества.

– А посадка на Тибете будет? – вытаращила глаза любознательная Любавка.

– Не будет. На посадочной площадке Тибета уфолог, то есть житель Уфы Эрнест Мулдашев, разбил строительство

города богов для своей родни, – сказала стюардесса и удалилась в свою горенку.

Глава двадцать первая

Снарядившись коробейником, Иван Петрович Шептырин пошёл продавать на разъезд брошюры марксистско-ленинской агитации, попутно упал в яму перед калинником и, вернувшись, рассказал, что яма вырыта метеором... Народ, наполнив собой кремль Мишки Терентьева, слушал:

– Может, бомбу взорвали?

– В калиннике-то? Другого места не нашли?

– Или рыбу глушили...

– В лесу-то?

– Боевики, нах, тренировались!

– В калиннике-то? У них свои спортзалы в Саудовской Аравии!..

– Да это обыкновенная волчья яма. Там тропинка, волки из согры ходят в Грачинник, – вдруг затараторил народ в разных сопровождениях.

Лишь один Гришка сидел и слушал, приукрасив себя многозначительной ухмылкой.

– Это не яма, а воронка, – начал он объяснять, когда терпение его лопнуло. – И образована она взрывным устройством в форме будильника, которое я изъял из-под полы чучела, сидевшего на крылечке частного ларька и притворявшегося человеком. Я взял будильник и пошёл домой, увидел волчью стаю и залез на берёзу. Волки окружили берёзу, тогда я бросился в них будильником. Он тут же взорвался. Взрывной волной меня выбросило на тот берег, на черёмуху, а волки или удрали, или погибли. Не знаю, не проверял.

Народ разинул рты, как в цирке. Потом вперёд вышел Васька Сорокин и, оскорблённый до глубины души фантазмагорией Гришки, цыкнул:

- Брысь отседа! Свисток фон Молля!
- Я, – взревел Гришка. – Я не свисток...
- Пшёл отседа!

Васька цапнул Гришку за шкирку и коленкой под зад выпроводил за дверь кремля...

Гришка въехал головой в сугроб и, разъярённый несчастьем существования, закричал зубами, как несмазанным поездом:

- Всё равно, нах, оттрахаю Лушку!.. Назло вам, козлы!

В озлобленной вариации едва скоротав день за водовозной бочкой, вечером он приборахлился в пальтишко, из которого выпорхнула вся шерсть, и ударился в Соломатино.

Мелькал снежок и садился на Гришку. В калиннике снег повалил уже густо и тяжело. Сквозь его занавес деревня смотрела мутными окошками и подмигивала. У Лушки огня опять не было, лишь истерично злились и брызгали слюной собачошки. Зато по соседству, в доме Кунегиных, свет заливал все окна и было видно, как за шторами интенсивно двигались люди. Решив, что Лушка в гостях, Гришка перелез через палисадник и подтянулся к окну.

За столом, уставленным всякой всячиной, в одних трусах, с полотенцем на загривке, сырой и малиновый, только что вынырнувший из бани, умещался Тоша Брындин. Рядом виднелась Любавка. От избытка жизни разевал беззубый рот хозяин. Окутанная паром, как в прачечной, брезжила с пельменями в тазу хозяйка. Лушки не было.

– Надо изловить и изнасиловать, – сказал Гришка и тут же испугался того, о чём сказал. Это на словах можно брякнуть что попало. А на деле... Куда и что прикладывать? Он и кунки-то видел только во сне, и те на берёзу улетели... Как Лушку насиловать? Наверное, целовать надо сперва? Да он, Гришка, ни разу и не целовался!..

«Надо смелее жить! По-мужчински!» – подумал он. Тут нога его соскользнула с фундамента, он покатился, схватил

руками ставень и ударился лбом в окно. Весело, словно обрадовавшись, дзинькнуло стекло и моментально произвело трещину в своём устройстве...

– Кто это там? – вытянул шею за столом Тоша. – Счас ноги выдерну и спички вставлю!

Гришка в панике выметнулся из палисадника, увидел у ворот машину и присел за ней.

Тоша выскочил из дома в одних трусах и с палкой в руке.

– Эй! Кто тут шарится? – гаркнул он, отдёргнул калитку и пробежал к машине.

– Кто, бля...

Он увидел Гришку и заорал, завизжал, затопал босыми ногами в снегу:

– Во-ор!.. Во-оорр!.. Убью-у-у!.. На помощь, люди добрые! Во-ор тут! «Шевроле» мой угоняет!.. Бей вора-а-а!..

Гришка кубарем мызнул прочь и чакнул зубами от страха так, что едва не откусил себе язык. Шавки в ограде Лушки залились от восторга, на их призыв откликнулись все собаки Соломатино.

– Бе-е-ей во-ра-а!.. Сме-е-ерть!.. – неслось где-то вдали, потому что Гришка мчался уже где-то в калиннике, рвал кусты вместе с пальтишком и брэнчал зубами, как посудомойкой. За калинником он закатился в знакомую воронку от взрыва и затих, выжигая дыханием дыры в снегу. Погони вроде не было. Гришка потихоньку ощупал себя – руки целы, ноги целы... Слава Богу! Лишь в голове шумит да в штанах мокро. Ничего! Шум пройдёт, штаны высохнут.

Снег шёл, заваливал лес белыми лоскутьями. Стояла такая тишина, словно на Земле кончилась жизнь и не осталось ничего, кроме снега. Гришка выскребся из воронки и побрёл домой. Впереди вроде как опять заперемигивались лукавые огоньки в окошках. Гришка пошёл быстрее, чтобы успеть застирать мокрые штаны, пока не обнаружила мать. Голосистый вой шавок полоснул его, как ножовкой...

– Да я в Соломатину, что ль, опять забуровил? – спро-

сил он себя, остановился в удивлении и страхе, увидел свет в доме Кунегиных, машину у ворот...

– Бля-а-а! – плюнул он, кажется, кровью, поворачивая обратно.

За калинником опять свалился в воронку. Кое-как вылез, постоял, соображая, попробовал вычислить направление по азимуту, твёрдо зашагал в снегу и вышел к Соломатину. Захайлали, забазлали шавки. Забегали, задвигались тени в доме Кунегиных. Гришка торопливо развернулся, шёл, шёл и пришёл в Соломатину.

Силы его бросили и, отделяясь самостоятельно, ушли сами по себе. Ноги задеревенели, промеж ног образовалась сосулька. Набросился голод, начал рвать и драть его, коленки затряслись, и сам он тоже затрясся, будто взялся за голую электрическую проводку.

– Ма-а-ама-а! – слёзно протянул Гришка и замолчал, потому что сопли выпали из носа и завязали ему рот. Из глаз поползли слёзы и примкнули к соплям.

– Мама! – уже пропел он предсмертным шёпотом и сел у какой-то преграды.

Подуло острым ветром. В прорыве между туч сверкнула звезда. Кто-то облизал его умирающее лицо, и следом грудной женский голос спросил:

– Кто тут?

Опять облизали его лицо и запрыгали со всех сторон мелкими чёртиками...

– Ты кто? – спросил голос, и чья-то крепкая рука пошатала Гришку за плечо.

Он схватился за руку, всхлипнул и поднялся на ноги.

– Парнишко какой-то, – сказал голос.

– Я... я... – начал молвить Гришка, запутался языком в соплях и увидел Лушку.

– Ну-ка, пошли в избу! – скомандовала она, толкая его в спину впереди себя.

Собачонки тоже неслись и толкали его в пятки.

На кухне было тепло. На газовой плите шкворчала картошка, пахло лимонной травой.

– Да ты вроде Гришутка Хабаров? – спросила Лушка. – У Петьки-господинчика работаешь? Как попал-то сюда?

Она стала раздевать его – сняла пальтишко, утыканное шишками, шапку, усадила на стул и стянула примёрзшие к ногам ботинки.

– На охоту ходил, – потупив голову от стыда и позора, соврал Гришка. – Петли проверял, не попались ли зайчишки...

– На охоту в ботинках? – всплеснула Лушка руками. – Я вот Анне Фёдоровне скажу, чтоб отбуткала тебя по голой жопе!

– Тепло же было. Снег падал, – врал дальше Гришка. – Я в согру ходил и заблудился...

– Вот они, детки-то! Пока их вырастишь – умом тряхнёшься от горя. Ну-ка, айда в баню. У Кунегиных топились. Сват прилетел из Таиланда. Да-а!.. Прилетел и сразу в баню. И недоросточка с ним... Айда!

Лушка накинула на Гришку свою шаль и попёрла через двор, через снег, к Кунегиным. Сиверко полоснул по нему лезвием и, казалось, разрезал надвое.

– Сымай штаны и прочее! – опять приказала в бане Лушка, наливая в таз горячей воды и поддав в каменку из ковшика.

– Я... я... Чо, нагишом, чо ли? – покраснел от стыда Гришка.

– Нагишом! Чо тут ещё смотреть у тебя? Свисток фон Молля!

Она обеими руками содрала с него штаны вместе с трусами и, подсаживая на полок, шваркнула ладонью по голой заднице.

– Мойся! Я перекурю.

Она вышла в предбанник и столкнулась с Тошей Брындиным.

– Я думаю, кто здесь? Свет в бане... Это ты? – сказал Тоша. – Тревогу поднял. «Шевроле» чуть не угнали. В Кузнецово вор убежал. Из тамошних. А ты чо делаешь? Моешься?

– Ребёнка мою, – ответила Лушка.

– У тебя ребёнок есть? – удивился Тоша.

– Не мой. Анны Фёдоровны Хабаровой. Из Кузнецово. Пацан. Ходил за зайцами в согру и заблудился.

– А-а! – вяло акнул Тоша. – Кто бы это мог быть? Окошко разбил. «Шевроле»...

– Слушай, Тоша! Дай денег! – вдруг сказала Лушка. – Я верну потом...

Тоша немного помолчал, поспел и ответил:

– Ну, так протягивай руку!

Лушка помедлила, глубоко затянулась сигаретой и протянула руку. Тоша сложил кукиш и сунул в её горячую ладонь.

– Спасибо! – сказала Лушка, не то всхлипнув, не то икнув.

– На здоровье, – ухмыльнулся Тоша и вышел из предбанника.

...Гришка ночевал у неё на диване, у тёплой печки, с котом на груди. Дюжина шавок спала враспяжку на кухне, тоже у батареи. Сама Лушка смотрела телевизор в другой комнате, херакаясь и восклицая, и в сладкой дрёме, во сне Гришка тоже смотрел телевизор, где в каком-то кино Лушка играла главную роль. Она шла через цветущий луг, рвала ромашки и, запрокинув красивую голову в чёрных вьющихся волосах, счастливо и звонко смеялась...

Глава двадцать вторая

В марте снега отливают маслянистой синевой, и рано по вечерам начинает над ними играть Сириус – сначала бледно-

зелёный, потом изумрудный, блистательный, и с наступлением темноты загорается настоящим костром.

Вокруг такая тишина, что слышно, как шалит и радуется ночной морозец, играючи бросая в лицо горсть колючих брызг, звенит частоколом сосулек, и надсадно охают под громадой снегов крыши. Запах смородины, отогревшейся, оттаявшей, заслезившейся днём на солнце и застигнутой к ночи врасплох, кочует в воздухе, будоражит наступлением весны и зовёт в бесконечно зелёные дали.

Берёзы в инее, как в пене, сумрачны и кудрявы. Светится над землёй тонкая полоска вечерней зари. Бегаёт мороз невидимкой, заглядывает в щели заборов, дохнёт в окно и оставит на стекле туманное изображение допотопной растительности, напоминая, что это было когда-то...

Огонёк свечи далеко видать в окне Маши, хотя вроде и пытается его заслонить, убереечь от сглаза кружевная в инее берёза. Скоро роман будет окончен, и Маше грустно, жаль расставаться с ним.

Она вздохнула, задумалась и отложила перо, угодив его концом в чернильную кляксу, очертанием своим похожую на Ладожское озеро. Клякса шевельнулась, собралась в гуся и, стряхнув с себя чернила, улетела через форточку в синий мартовский воздух.

– А-а! – дурашливо прокричал кто-то в деревне, и побегало, запрыгало беззаботное эхо, ударяясь о деревья, оставляя вензеля гласной буквы на белокорых берёзах и голубых осинах, раскололось трещинами по гулкому, застекленевшему насту, исчезло, пропало...

Заскакали, засуетились синие огоньки на елани. Что это? Для человека, чьё сознание расширено вдохновением, мир всегда готов преподнести необъяснимые чудеса. Что же там вьётся и мечется в синих мелких огнях? Кажется, уже давно нет никаких потусторонних явлений, всё исхожено, изъезжено, перерыто, изорвано вдоль и поперёк. Но человек, сам обладающий чудом представления и видения,

непрерывно увидит что-нибудь ускользающее, запрятанное от обычных людей. А не увидит, так придумает. Но ведь и придумать его заставит Нечто, обитающее в нём самом, связующее с тем, мировым, частицей чего он является. Это как картина мастера. Для обычного зрителя она и останется всего лишь картиной, изображением. Но необычный зритель всей обеспокоенной душой своей почувствует её ореол, её трепет, услышит голоса и звуки изображённого и сам войдёт в него, с томительной светлой печалью вспоминая, что сам жил здесь когда-то... «Мой голос для тебя и ласковый и томный, тревожит позднее молчанье ночи тёмной...»

Маша погасила свечу, оделась и вышла. Звёзды в серебряных лучах безмолвствовали. Катились по елани огоньки. Закутавшись в иней, спали берёзы.

Маша прошла по улице, вернулась и столкнулась с Гришкой. Он тоже ходил по улице, подняв голову и глядя в небо.

– Много звёзд насчитал? – спросила его Маша.

– Я сейчас видел НЛО, – ответил Гришка и от волнения высморкался в рукавицу. – Сначала в одном конце свет мелькнул, потом в другом. Потом между ними появился третий огонёк и начал спускаться к горизонту. Наверное, где-нибудь приземлился. Это НЛО!

– Это сигнализация спутников, – улыбнулась Маша. – И нигде третий не приземлился. Он летел по прямой. Землято круглая, потому и кажется, что спустился к горизонту.

– А ты откуда знаешь, что сигнализация? – недоверчиво спросил Гришка.

– А что это может быть?

– Не знаю.

– Не знаешь, потому и утверждаешь, что НЛО.

– Тогда что это может быть?

– Откуда мне знать, если я не видела...

– А если бы видела?

– Да вот не видела!

Она пошла по дороге, скрипя подмёрзшим, ошетинившимся к ночи снегом.

– А за что Бог выгнал Адама и Еву из рая? – спросил вдруг Гришка.

Маша взглянула на него и рассмеялась.

– Не знаю, – ответила она.

– Но ты писатель и должна ответить на любой вопрос, – обиделся Гришка.

– Ответить можно, – вздохнула Маша. – Другое дело, будет ли верным ответ?

– И всё-таки? За то, что они увидели себя голыми? – допытывался Гришка.

Маша остановилась, любуясь Сириусом, и, подумав, ответила:

– Наверное, не за это. Скорее за то, что они попробовали запретный плод. Хотя, думаю, плод не был запретным. Просто – плод. Яблоко ли, смоква ли – неважно. Съев плод, они поняли, что всё здесь даровое. Можно ходить по райскому саду, лакомиться плодами, нежиться в траве и ничего не делать. Вот Господь их за это и изгнал, что ничего задарма не даётся. Ступайте и сами взрастите сад!

Она посмотрела на Гришку и продолжила с ухмылкой:

– Вот мы и возвращаем сад. Вернее, аллегорию сада. Я пишу роман, который никогда не напечатают. Ты воду возишь для чужих телят. Но у тебя ещё всё впереди.

– Ловко! – воскликнул Гришка, обдумывая её ответ про Адама и Еву и не обратив внимания на последнее высказывание. – Идите и зарабатывайте своим горбом. Ловко!

Вспыхнул метеор и слегка напугал их.

– Ого! – опять воскликнул Гришка и начал смотреть в ту сторону, где сверкнул метеор, словно ожидая, что это метеорит, глыба внеземной породы, сейчас она взорвётся и оглушительно бабахнет... Но стояла тишина и где-то тоненько плакала сосулька.

– Ты роман написала? – спросил Гришка.

– Ещё нет, – сказала Маша, глядя на огоньки и пытаясь понять, что это всё-таки мелькает.

– Где ты пишешь?

– Да уж скоро дуэль, Гриш! Ты видишь вон те огни? Что это, по-твоему?

Гришка посмотрел туда, куда Маша показывала рукой.

– А-а! – протянул он. – Это электросварка. Петрушка-господинчик с Вилькой Чохиным что-то варят в своём при-тоне. Гляди, погасло! Нет, опять запрыгало! Варят что-то...

«Верно, электросварка», – подумала Маша и, улыбаясь, сказала:

– А я-то подумала, что НЛЮ порхает.

Не уловив насмешки в её голосе, Гришка лишь вздохнул:

– Всё равно что-то есть. Как ты считаешь?

– Возможно, происки чьего-то сознания, – нерешительно сказала она, продолжая глядеть на далёкие синие огоньки: «До чего же необыкновенно! Преломление снегом свечения электросварки. Всего лишь!».

– Чьего? – не отступался Гришка.

– Того же, кто внушал нам видеть русалок и домовых...

– И кто же внушал?

– Кто? Да мы же сами, – рассеянно проговорила Маша, всё дальше отгоняя мысль о своём романе, который никогда не напечатают, потому что не на что. Денег у неё нет и, скорее всего, никогда не будет...

– Хороший вечер! – вздохнул Гришка полной грудью. – Весна!

– Весна, – сказала Маша.

Глава двадцать третья

Райка согласилась лежать в гробу, предъявив условие, что работу ей будут оплачивать продуктами и спецодеждой.

– Какой ещё спецодеждой? – не понял Петрушка.

– Царицу-то во что оденете? В говённую туфайку? Потребуется ведь пижама, корона, косметика, босоножки, – перечислила Райка.

– Царевна в босоножках! – вставил реплику с ехидным умыслом Вилька Чохин.

– Понял, понял, – кивнул Петрушка. – Но учти, Раица Филистёровна, работа по совместительству. Сутки лежишь в гробу, сутки ходишь на ферме за объектами.

Райка скорчила лицо, изобразив неудовлетворение во всех его чертах.

– А туалет будет на мельнице? Вдруг сбежать куда захочу...

– За угол сбегаешь! – прервал Петрушка. – Невелика царица! Там кустики растут. Сбегаешь в кустики и, не мешкая, на рабочее место! Ознакомься вот с преискурантом.

И он подал ей список расходов на месяц: хлеб, перловка, маргарин, вермишель самого быстрого приготовления, бульонные кубики, шарики, чирики...

Райка ознакомилась и спросила тоном ревизионной комиссии:

– А почему нет мясных продуктов?

– Лежать и качаться в гробу можно и на вегетарианском питании! – язвительно разъяснил Вилька Чохин.

– Тогда лежи и качайся! – на повышенных тонах посоветовала Райка.

– Я не царевна, а царевич! – опять разъяснил Вилька.

– Хер ты моржовый! – внесла уточнение Райка и пышно зацвела румянами справедливости.

– Ты, Раица Филистёровна, дома-то жрёшь то же, про что указано здесь? – закипел и запенился в нутре Петрушка. – Ты дома-то одну картошку лопаешь. А тут...

– А моральные издержки! – провозгласила Райка, меняя краснощёкую справедливость на бледнолицый гнев. – Лежать в гробу поди-ко не в кровати! Я могу и отказаться от царицы! Кто ещё в ваш гроб-то полезет, кроме меня, дуры!..

– Ладно! – проскрипел Петрушка. – Выпишем тебе варёной колбасы с ишимского мясокомбината.

– А вот! – слепила Райка кукиш.

– А какой тебе? Кровяной из Чикаго? – задал вопрос Вилька, как лицедейский персонаж.

– Омской! – рявкнула Райка. – Знаю я эту ишимскую колбасу! У меня сноха там работает. Навалят в чан туалетной бумаги, измолотой свиной шшатины, крахмала из кастрированной американской сои, загустят экскрементами космонавтов и продают...

– И в Омске то же самое! – рявкнул и Петрушка.

– В Омске у меня нет свидетелей колбасного хамства! И там колбаса говном не пахнет.

– Колбаса везде одинакова. По одной модели изготавливается. Например, краковская. Думаешь, её в Кракове готовят? Или эстонская? Ага! Повезли тебе из Эстонии колбасу!.. Чухонцы сами её слопают, а тебе грязь какую-нибудь пришлют и напишут: «Шпроты прибалтийские». Жрите, русские свињи! – терпеливо разъяснял Вилька.

– Бог видит, кто кого обидит, – со значением поджала губы Райка.

Петрушка позеленел, побелел и сорвался с цепи:

– Я не верю ни в какого Бога! Я верю только в автомат Калашникова! Дали бы мне автомат, я бы перехрюпал тут всех...

Райка со страхом разжала губы и согласилась качаться в гробу.

– Итак, притон для туристов скоро откроет свою пасть! – весело возвестил Вилька и щёлкнул перстами.

Красить гроб пригласили Люську-ЕБН. «ЕБН» потому, что она пила с ЕБН самогонку за клубом, а потом всем рассказывала, как он ей посулил: «Шта, понимаешь, сделаю тебя техничкой в самом министерстве культуры, понимаешь!».

После этого за Люськой велось контрабандное наблюдение. Вот и сейчас Петрушка нанял отряд СС, чтоб не спуска-

ли эсэсовцы с Люськи глаз. Чтоб привести её в жизненное осознание действительности, если она опять сядет с ЕБН пить самогонку в крапиве. Однако Люська не отвлекалась на выходки пошатнувшейся психологии, а терпеливо красила гроб, макая школьные кисточки в заграничные тона, источающие стеклянное сияние.

Приходил опер Мартын Молль и предупреждал:

– Чтобы тут батать без жуков-куков. А то в натуре тут все у меня заболееет, ваше!

Но... Ах, зацвела черёмуха! Вчера ещё молодую светлую зелень робко и осторожно пробеливало, как припрятанным от жаркой погоды снегом, а сегодня она хлынула метельной лавиной, щедро раскрыв всю красоту своего бытия, заволокла белыми пожарищами полсвета, разлилась над убогим человечьим прозябанием с соловьиным прищёлком и гулом ветра, пылом зари, чудотворством.

Черёмуха... Короток век твоего цвета! Два-три дня и всего-то живёт он, если прихваченный морозом не повянет в первый же день своего ликования. Или начнёт трепать его студёный вихрь и не уймётся, пока не обтреплет совсем, не усыплет землю, как саваном. А там – мошкара, липкая, как клей. Паутина заворачивает в листья жорких, жадных до всякой весенней зелени гусениц. Редко где сохранится к концу лета тучный, повислый от ягод куст. Да и то хуже червя, постылее мошки ненаедное людье спилит, обрубит сучья, оборвёт ягоды и бросит дотлевать, догнивать хламом богато цветущий весною куст, и горькая печаль терзает сердце, когда набредёшь на пустырь где-нибудь в лесу или в логу, где молча умирают поверженные черёмуховые вершины.

Но... Цветёт, цветёт роскошный куст, поёт соловей, и жаркий полдень льёт золотой поток в оконце ветряка.

– Э-эх! Заживём, бляха-муха! – потирает столичные, обкатанные в сельских трудах ладони Вилька Чохин, садится у гроба и чуть не целует его в мечтательном взлёте.

Гроб выкрасили и подвесили на цепях посреди мельни-

цы. Райку набелили, насурьмили, нарядили в пеньюар, надели на голову врачебный колпак, обшитый новогодней «бала-синой», и положили в гроб... «Мёртвая царевна!.. Мёртвая царевна!..» – изо всех сил начали распускать слух Петрушка Шалахин и Вилька Чохин.

Слух пискнул, оперился, трепыхнулся и полетел, являясь где страхом, где смехом, и долетел до областного телевидения. Приехало телевидение, засняло царевну и, зная, что это ряженая, посвятило народной выдумке целых полчаса телевизионного времени, оттяпав клочок новостей, где бойко тараторили о завозе тушёнки в торговые сети. Что тушёнка варена из бешеных английских коров, об этом не тараторили.

Сутки Райка покачивалась в гробу, сутки скребла навоз за объектами. И начала она матереть и толстеть от поедания перловки, разбухать от бульонных кубиков-ромбиков, от употребления вермишели быстрого приготовления, киселя, разукрашенного модифицированным крахмалом, и лепёшек, смачно прожаренных на нефтеналивном маргарине.

«Мёртвая царевна... Мёртвая царевна», – шелестели листики по улицам районного посёлка, бормотали поднебесные тополя, и веяли над районным человечеством то ли пух, то ли перья...

«Мёртвая царевна!» – брякнуло объявление в узорчатой рамке «Районного вестового».

Прибыл первый турист – поживший на своём веку мужчина с медалью «Мать-героиня» на пиджаке. Он снял шляпу и перекрестился.

– Вот до чего народ довели – в гроб положили! – тяжело вздохнул он, снова перекрестился и вышел.

Приехал автобус с туристами. Туристы заплатили за вход, постояли над гробом, тоже вышли и зашушукались с намеренным всеуслышанием:

– Никакая это не царевна. Обыкновенная баба.

– Да и не мёртвая она сроду. Комар сел ей на тело, и она сморщилась...

– Я слышал, как у неё в брюхе бурчало. Вот так: «Брр-рр-рр!..».

– Газы скопились, а по уставу выпустить не положено – мёртвая.

– Ха-ха-ха!

– Каждый зашибает деньгу, как может...

– Обдирают народ хуже липки. То ваучер, то мёртвая царевна.

– Эй, дежурный! – окликнули Вильку. – А покушать тут где можно?

– Не знаю! – сердито ответил Вилька, слышавший всё, что говорили туристы, и думающий о них то же самое: «Ездите тут... Деньги-то где на проезд берёте? Народ обдираете!».

– Вам надо бы кемпинг оборудовать! – посоветовал кто-то из самых прожорливых. С пивком, сосисочками, рыбкой-сухогрузом...

– Оборудуем! – грозно заверил Вилька. – Вот только наберём денежные обороты!

Услышав о денежном обороте, Райка моргнула и, когда туристы упорхнули, потребовала надбавки.

– Какая надбавка! – проревел сам Петрушка Шаляхин. – Лежишь, как колода, палец о палец не ударишь! Тут в назьме по самый детородный член хожу за бесплатный пробел, а ты надбавки запросила. Не дам ни копейки.

Райка села и спустила ноги из гроба, как из лодки.

– А чо расхайлался? – набросилась она на Петрушку. – Комары кусают, мошки беспрепятственно выедают все голые места, и, когда народ глядит на меня, надо не дышать, а лежать замертво. Без надбавки я на такую работу больше не согласна!

– Семьдесят первый объект захворал. Завтра прикажу резать. Ноги возмёшь на холодец? – спросил Петрушка.

– Возьму! – сказала Райка. – И доставь мне немедленно средство от съедения комарами!

Туристы приезжали, платили за вход, смотрели на Райку

в пеньюаре, которая, смежив глаза и запечатав рот, едва дыша и боясь, как бы не кашлянуть, лежала, упираясь ногами в корму гроба с привешенной табличкой: «Руками не трогать!».

В конце дня, отправив Райку с работы, Петрушка и Вилька делили выручку.

– Это тебе, это – мне...

– Это мне, а это – тебе...

– Это мне...

– Это тебе...

– Деловой какой! Мне «чирик», а себе «чирик» с полтиной...

– Ну, бери ты полтину!

– А тут полтины не набирается. Всего сорок копеек.

– Какой ты ничтожный, Вилька! А ещё москвич! И не стыдно Москву мордой о табуретку? Мелочный какой!

– Не стыдно! Потому и мелочный, что москвич. Это тебе должно быть стыдно как сибиряку. С широкой душой...

– Перед вами только расширься! Вы в душе-то портянки сушить будете! Жмыхари! Это – мне... И это – мне!

– А мне что?

– А тебе вот что!

– Мя... Мя...

– Не мявкай! Райке надо ещё мазь от комаров покупать. И помаду для престижа. Фон Моллю, чтоб тоже не мявкал. Ущемление, говорит, прав человеческой плесени производите. Одни расходы. А потом, кто хозяин на мельнице? Я? Я!

Горела, лилась с неба заря в душистые берёзовые рощи. Кипела, вьюжила черёмуха, и рвало, лихорадило серебро на речных изломах.

Глава двадцать четвёртая

И надо же, в один язвительный день заявила налоговая инспекция! Сам Башмет Башметович Сопилов не приехал, а при-

слал вместо себя товарищ Комукину Валерьяну Кубометровну. Происходила она из народонаселения Кромешного и при демократическом порыве вывелась в административные верхи. В какие, сама толком не знала. Была она справедливо сухожилына и требовала называть себя по-советски – товарищ Комукина! Приехала она проверять наличие мёртвой царевны и почему владыца этого наличия фермер Пётр Шаляхин, эксплуатируя в своём иждивенчестве человеческую мощь, не платит налоги.

Она сидела перед Петрушкой в сухопаром изобличении, проверяя его суровыми глазами.

– Так вы, значит, состоите в оппозиции, раз вы – товарищ Комукина? – спросил он с каверзной надеждой, потому что «товарищ» в коммунистической тоске может и освободить от налога.

– Да. Я состою в либеральном отколе! – в гордом волнении сказала она.

– В ЛДПР?

– В отколе, я сказала вам. Не поняли? Странно, что тут непонятного?

– То есть, в расколе?

– Да нет! Извольте! – товарищ Комукина чакнула сигаретницей, извлекла длинную тонкую соломинку с серебристым ободком, чакнула зажигалкой и закурила, прикрывая фиолетовый огонёк руками крестиком, как Клаудиа Кардинале.

«Вот бляха-муха!» – ошарашенно подумал Петрушка.

Товарищ Комукина продолжала:

– Создаю свою либеральную партию с полнейшей ликвидацией рогаток, устрашающих жизнь человека. В конкретном резюме: профессиональное основание гражданских и однополых браков, неуставная школьная форма для всех видов учащихся, пропагандирование нудизма при купании как оздоровительного процесса под солнцем...

Райка сидела тут же, одетая по режиму текущего момента – в густую юбку и реденькую надеташку поверх развлекательного сарафана.

– Чего? – спросила она. – Ну... ну...

– Нудизма. Купания в свободном представительстве, без обременения одеждой, – взыскательным тоном объяснила товарищ Комукина и выдохнула из себя элегантный дым.

– И так без одежды купаемся! – поддакнула Райка.

– Без трусов...

– Без трусов! – увереннее мотнула головой Райка. – Потому что трусы не на что купить.

– Это от нужды. А надо, чтоб по убеждению! – разъяснила товарищ Комукина. Она обрезала Райку представительным взглядом и, навсегда забыв о ней, перевела взгляд на Петрушку.

– Итак, товарищ Шаляхин, – начала она.

– Господин Шаляхин, – исправил её оплошность Петрушка.

– Господин Шаляхин... Гм! Гм!.. Вы что, олигарх?

– Нет, я рабочий фермер.

– Гм! Гм!.. Итак, господин фермер...

Товарищ Комукина опять выдохнула дым из себя и приступила к разоблачению нелегальных трудовых доходов, которые Петрушка вымогал с мёртвой царевны.

– Госпожа Комукина! – вскричал Петрушка.

– Товарищ Комукина!

– Товарищ Комукина! – звонче вскричал Петрушка. – Да никакой царевны у нас нет! Это шутка, розыгрыш. Чтоб жить было интереснее! Тут у нас живёт писательница, она книгу о Пушкине пишет. А мы решили её книгу снабдить живой картинкой. Поохотали да разошлись. Какая-то царевна...

– Но были же туристы, с которых вы брали деньги за билет, – напомнила товарищ Комукина.

– Да милая вы моя, Валерьяна Кубометровна!..

– Товарищ Комукина.

– Извиняйте, товарищ Комукина! Хы-хы!.. Гы-го-го!.. Вот номер так номер! Театр оперетты и балета!.. Ха-ха-ха!..

Петрушка захохотал, загоготал, в отчаянной немощи

взглянул на Райку, вздёрнул руки, забарабанил ими по столу и снова захохотал.

– Нет, это искривление истины! – вступила Райка, перехватив отчаянье Петрушки.

– Но ветряная же мельница есть! Для чего вы её построили? – в суровом изложении продолжала наступать товарищ Комукина.

– Как в Михайловском! На реке Волге! – подхватил Петрушка. – Не были в Михайловском?

– Разве Михайловское стоит на Волге? – удивилась товарищ Комукина. – Кажется, оно на Днепре...

– На Волге! На Волге! – закивала головой Райка и облилась пунцовым вдохновением от волос до волос. – Я была, видела. Там семь ветряных мельниц стоят. Так, для украшения местности. Вместе с утёсом Стеньки Разина.

– Как и у нас! – выкрикнул Петрушка, захохотал и перебежкой моргнул Райке. – Тоже для украшения местности. Для красоты! А то всё ямы да канавы, пустыри да пустыри. Вот мы в свободное время от олигархии вместе с московским резидентом Вильямом Чохиным и построили ветряк. Чтоб, значит, красивше было. Убеждаем себя ещё ивовый плетень через всю елань заплести. Для украшения пустоты. И привлечь к воспоминаниям родного края всех желающих. Может, ещё туристы приедут...

– Обязательно приедут! – кивнула Райка.

– Пусть ходят, щупают доказательства старинной жизни. Или это запрещено законом? – сказал Петрушка, надеясь, что товарищ Комукина ещё посидит здесь маленько и уедет.

Однако она докурила тоненькую сигаретку, посмотрела, куда бы положить серебристый ободок, не нашла ни пепельницы, ни консервной банки и оставила его на столе, как знак личного присутствия.

– Законом у нас ничего не запрещено, – прозвучали юридические нотки в её голосе. – Пусть ходят, смотрят. Приобщаются к народным приметам. Если эти приметы демон-

стрируются без теневой экономики. А если приметы торгуют своим телом, то пусть платят налоги государству.

– Мы телом не торгуем, – с почтенным смыслом хмыкнул Петрушка.

– Я бы хотела осмотреть ваше туристическое прибежище и составить о нём докладную записку в налоговую инспекцию – украшение оно или подпольная выгода, – сказала товарищ Комукина и встала. Встали Петрушка и Райка.

– Проводите меня туда, товарищ Шаляхин!

– Господин...

– Господин Шаляхин.

– Вот... Товарищ... Э-эм-м, госпожа Завьялова, проводите товарищ Комукину к мельнице. Там у нас, правда, это... как его... гроб вешается... То есть это, как его... кормушка для птиц в форме гроба... Э-эмм, то есть в форме корыта. Птицы прилетают, зерно клевать из... гроба... То есть из кормушки. Кхм! Хм-кка-хх!.. – проговорил Петрушка и закашлял от смущения. Даже чихнул.

– Может, вы там подпольным откормом домашней птицы занимаетесь? – очень строго спросила товарищ Комукина.

– Что вы! Что вы! – замахал Петрушка руками, трепетно желая смыться куда-нибудь с глаз долой. – Так... кормушка для воробьишек да журавлей. На гроб похоже... Гы-гы-гы!.. Вилька, резидент, придумал, холера его трепли!

«Сейчас, бляха, увидит и гроб, и подстилку в нём, выпишет штраф за приобретение нелегальных средств. Манда Ивановна! Лучше бы Башмет приехал, напоил бы, накормил его, завалил в машину и домой спровадил. А эта... Райкомовская норушка! До всего дороется, бляха-муха!» – торопливо подумал он, сильным волнением распалил свою кровь, так что она сбилась с пути в системе кровообращения, все идеи, желания, умственные линии и пунктиры переплела клубком и покатила задом наперёд...

Надвигался вечер с привидениями цветущей черёмухи. Бекасы блеяли, виляли в небе, цокал, трещал соловей, и со-

всем близко, нагоняя жутковатый холодок, по-человечьи сто-
нал филин.

– Хорошо тут у вас жить! – определила товарищ Кому-
кина по дороге к ветряку, который возвышался на пустыре
трефовым тузом и сиял оконцем в самом его верху, под кры-
шей.

– Да, у нас красиво! – со значением гордости согласилась
Райка.

Дверь ветряка держалась на планке, надетой на петель-
ку из согнутого гвоздя, и в петельку, запрещая соскользнуть
планочке, был воткнут сучочек.

– Вот, пожалста, осматривайте! Будьте любезны! Пожа-
лста! – сказала Райка, вынула из петельки сучочек, сняла пла-
ночку и открыла тяжёлую скрипучую дверь...

У неё и товарищ Комукиной ноги присосало к земле.
Страх и ужас сковал организмы. Билет либеральной и сво-
бодной партии, хранившийся по привычке коммунистиче-
ского билета у самого сердца товарищ Комукиной, оброс
ледяной щетиной. Волосы на голове с огрехами мелирова-
ния, как того требовала мода, все, до единой волосинки, под-
нялись кверху. Зубы стукнули и клацкнули так, что один зуб
выбился из общей шеренги, а губы окостенели до мёртвого
значения...

Посреди мельницы, печально осиянной оконцем, на
золотых цепях покачивался хрустальный гроб. В гробу в
короне, невиданно осыпанной алмазами, сложив на груди
руки в алмазных перстнях и золотых кольцах, лежала мёрт-
вая царевна.

Сквозь белый шёлк просвечивало красивое её усопшее
тело. В руках, меж пальцев, горела ласковая свечечка.

У Райки от страха ослабли ноги и уронили её на четверень-
ки. Товарищ Комукина издала мычание, потом взвизгнула и,
перескочив через Райку, понеслась на елань, занеслась в кочки,
перескочила и через них, попала в болото, залегла там и подума-
ла: «Надо срочно утонуть, а то в сумасшедший дом сдадут...».

Закалённая на сельскохозяйственных работах Райка оказалась хладнокровнее. Она выпятилась на четвереньках из мельницы, проползла и села на муравейник. Понюхала сырой мох, потеревила себя за нос и уши, ущипнула кожу и, ошпаренная муравьями, вскочила и по-сельскохозяйственному матюкнулась:

– Чтоб вас! Забегали, защекотали мудьями своими!..

Здравый матерок окончательно укрепил её на земле, и она таинственными движениями начала пробираться к мельнице, твёрдо решив содрать с царицы шёлковый сарафан вместе с колечками и самоцветной шапочкой...

Оконце вверху переливалось в радужных цветах. Пустой гроб с тропицей, на которой возлежала с утра, до приезда товарищ Комукиной Райка, покачивался среди мельницы. Вместе с ним покачивалась и табличка «Руками не трогать».

Райка от удивления опять ослабла организмом, упала на четвереньки, выпятилась из мельницы и, обалдевшая от жизни, опять села на муравейник...

Глава двадцать пятая

В селе Тканове на улице Николая Гастелло, в доме № 4 стояло зарево от хрустали и богемской посуды. Весёлый шум лился через приподнятые пластиковые окна в цветущую сирень, и сирень дрожала от человеческих восклицаний.

Сам Тоша Брындин, только что приехавший из бани, которую ему весь день жварили берёзовыми чурбаками сваты Кунегины, измочаливший на себе десять пахучих веников, сидел в заглавии стола, пил из хрустального бокала армянский коньяк и захлёбывал его щами.

– К осени, как только сделаем очередной денежный оборот по зерну, поедем с Забавкой в Египет. Там сей-

час в Красном море акулы плавают. Там на акулу поглядим, а если захочем, то и поймаем одну на удочку. Так, Забавка?

Тоша петлисто облапил Любавку, вломясь башкой в её взволнованные кучеряшки.

– Ой! – прошептала Любавка и выпустила на волю безнадёжный вздох. – Тоша! Чо скажу-у-у!..

– Чо?

– Я беременна...

– Так это же чудо из чудес! – воскликнул Тоша.

– Чудо, – в самом трагедийном образе промямлила Любавка. – Знаешь, чо?

– Чо?

– Я беременна от кита...

– От кита-китовича, от ерша-ершовича, – безалаберной скороговоркой проехал по ней Тоша.

– От кита... Там, в Чумпхоне, я забеременела от кита. В самую последнюю ночь перед вылетом...

– Ка-аво-о?! – сокрушённо пропел бестолковый Анатолий Павельевич Брындин. – Кого ты буровишь? Пьяная, каво ль, вдребезину?

Любавка уткнулась кучеряшками в кисель и исторгла певучее рыдание.

– Хе-хе! От кита! Придумает же!.. Пить меньше надо! – зловеще хихикнул Анатолий Павельевич и сдвинул брови в одну кучу.

Тут он сам мощно выпил из хрусталя, прихлебнул щец из «севра» и обратился к Евгению Негину, наряженному под фокусы северо-атлантического альянса. – Ну, а ты, зятёк, когда жениться будешь?

Тоша отодвинул кисель с отпечатком головного мозга Любавки и взглянул на Евгения сверхъестественно.

– На законном основании хоть сейчас, – ёрзнул на стуле Евгений. – Да вот... Акулина Анатольевна против...

– Ка-во-о?! – долбанул по северо-атлантическому зятю

громогласным раскатом Тоша. – Против? Кто-о? Акулька?! Ты?! Против?

– Да! – брызнула отважными малиновыми глазами Акулина.

– А чо это ты в шары-то напустила? – удивился отец.

– Добавку.

– Для чо?

– Для свечения.

– Ха-ха!.. Да ты кошка, каво ли?

– Кошка. А тебе-то что? Я взрослая, с паспортом и ИНН на руках. А замуж за Евгения не пойду, пока он не обнаружит своё тёмное подсознание.

Евгений таинственно вздохнул, зная, что на правах гражданского супруга он ни шиша не получит, как был голожопым, так голожопым и останется, и выбрать себе любимую невесту тоже не сумеет – Акулька Брындина таскается за ним, как комнатная собачка, кусает, царапает и тявкает. Куда он, туда и она. Можно, конечно, её отшвырнуть к чёрту... А как же богатство? Такой дом, такое убранство с мягкой мебелью, канализацией, туалетными водами, хрустальями, севрами, а главное – с «бабками»! Куда он со своей красотой и бездарностью? В алкаши? Да ведь и алкашу надо пить на что-то. А пить не на что. Это погибель в чистом поле от серого волка... И он промолвил:

– Подсознание обнаружить нельзя. Его даже учёные разгадать не могут. Подсознание наше связано с космическими глубинами или с сознанием того, что нам ещё недоступно... Тупая!

– Я тупая? – квакнула Акулина. – Да я тебя насквозь, до самого говна, как рентген, вижу!

– Я прошу меня не оскорблять! – крикнул Евгений, чувствуя, как голова оттягивает кровь в свои резервуары от нижнего устройства туловища.

– А что я такого сказала? Что вижу тебя, как на рентгене? Вон Любава призналась в беременности от кита, и ничего такого...

– От кита!

– От кита! Ну и что? Теперь можно забеременеть и от самого себя. Например, вырезать клетку на ноге и привить её к клетке на руке. И ничего такого! – продолжала Акулина с апломбом знания всех зарослей медицины.

– Вот и вырезай у себя клетки! – вскипел Евгений, побавгровевший от приливов крови, и брякнул серебряным ножиком о севрский фарфор с киселём.

– Отношения надо уравнивать на законных правах, чтоб у ребёнка был отец. Неважно, из чего он будет вырезан, из клетки или из полена, – пробубнил Анатолий Павельевич, искоса поглядывая на свою Забавку и тревожно думая: «Допилась, сердешная, что ребёнка завела от кита. Психастения! На самой правдоподобной платформе алкоголизма – психастения!».

– Я готов хоть сейчас отношения узаконить, – сказал Евгений.

– Так в чём же дело? – спросил Анатолий Павельевич.

– Дело в том, – начала Акулина, оглядывая застолье и увидев, что её слушает только отец. Любавка-Забавка слушает в себе хороводы китёнка, Евгений, насупясь над киселём, делает вид, что вообще никого не слушает, а думает о своём. О чём он думает, тупая, по его мнению, Акулина даже очень хорошо знает...

– Дело в том, что мой муж всю зиму по сю пору получает от кого-то письма. От кого, не знаю. Если бы письма носили на себе штемпель целомудрия, например, в них бы обсуждались вопросы о поставке стройматериалов или мешков с зерном, о поросятах или редиске, он бы их так загадочно не прятал. А то он их прячет! Потому что я знаю – письма приходят! А что в них написано – не знаю!

Акулина припадочно передохнула, бросила в Евгения искры из глаз и продолжила, стараясь изломать в руках вилку:

– А потому что он мне – не муж! Не токо не гражданский, а вообще никакой. И я ещё поразмыслю, продолжать ли мне

существовать по расходному ордеру его гражданской жены или отказаться от такой привилегии. На меня многие мужчины заглядываются, между прочим... Я ещё поразмыслю!

– Акулина, разъясни! – как острой бритвой взмахнул Евгений и вскочил на ноги.

– Чтоб ты обнародовал письма, которые тебе пишет... Кто пишет?

– Машка-писательша! – выкрикнул Евгений.

– Эта, которая...

– Эта, которая! Письма завтра же будут обнародованы! – кричал Евгений. – А сейчас, дорогие мои гости, давайте выпьем за наш супружеский брак! Го-о-орько!

Он выплеснул в себя остатки чего-то, приподнял закоренелую в упитанности Акулину и посадил её в кисель, раздавив в черепки севрскую посудину.

– Го-о-орько! – забазлал Анатолий Павельевич.

– То-оша!.. Кит ходит... кругами, всё кругами, – зашептала Любавка.

– Закуси огурчиком! Они, киты-то, планктон уважают.

...Ночью Евгений приготовил ведро обойного клея и весь забор и ворота оклеил письмами Маши Волоховой. Народ таскался из магазина в магазин, останавливался, читал, хлопал глазами и тащился дальше. «Простишь ли мне ревнивые мечты, моей любви безумное волнение?..»

– Вот! Вот! Это Машка-писательша излагала моему мужу свои сердечные нечистоплюйства, – объясняла Акулина с указкой в руках и водила указкой по оклеенным воротам и забору: «Близ ложа моего печальная свеча горит...».

– А это вообще!.. Без стыда и совести!

«Я к вам пишу – чего же боле?»...

– Да уж боле некуда! Вообще...

«Безумных лет угасшее веселье...», «В последний раз твой образ милый дерзаю мысленно ласкать», «Паситесь, мирные народы!»

Народы подходили, почитывали, просили у Акулины

взаимы на пиво, взаимы не получали, снова уходили и снова подходили, паслись... Шла мимо и Василиса Ермиловна Чебутыкина, тоже остановилась, стала читать...

– Вот! Машка-писательша в честь прелюбодейства к моему мужу наскитала чо попало и прислала в письмах... А у нас завтра свадьба! – разъяснила Акулина. – Же-э-энь! Иди сюда!

– Да? – удивилась Василиса Ермиловна. – Я не знала, что Маша стихи пишет. Ничего, складно. Только уж старомодно как-то...

Она засмотрелась на румяного Евгения и наступила в слякоть.

Глава двадцать шестая

В жаркий летний вечер возле кремля обсуждались обстоятельства жизни. Докладывал Васька Сорокин, самолично увидевший в районном центре Тимку Усалова:

– Зуба у него нет! Вместо зуба – бумажная затычка! Обёрнутая для этикета в конфетную золотинку. Да, товарищидрузья! Нет, значит, зуба.

– А чо новый зуб не вставит? – спросил Алька Иваров.

– Сказал, что денег нет. Мелькомбинат обанкротился! – торжественно ответил Васька, увидел на земле муху и убил её харчком.

– И к Лушке теперь не ездит. Не даёт она ему теперь! – захохотал Алька.

– Она и не давала! – сказал Гришка, тоже пытаясь убить харчком муху, но не убил, а плюнул на штанину Альки.

– Чо, блин, плюёшься? – оскалился Алька. – Лушка не давала... Она всем давала!

– Кроме тебя! – вставил злорадное уточнение Гришка.

– И тебя! – тут же нашёлся Алька, опять захохотал до встряски головного мозга. – Тимка ошивался у неё даже без зуба.

– Враньё! – заскрежетал зубами Гришка, сжимая руки в говённых перчатках. У него от ветреной погоды вывелись на руках «цыпки», и, не желая ими хвалиться при народе, он надевал перчатки. – Я ночевал у Лушки и даже мылся с ней в бане у Кунегиных. Никакого Тимки там сроду не было! Враньё всё это! А Лушка, между прочим, очень хорошая женщина. У неё всё прибрано, чисто.

Народ заметно ополоумел. Стало слышно, как вихлял хвостом в бочке артефакт, и далеко на елани во весь голос вела нецензурный диалог Райка Завьялова с отрядом СС, с весны блуждающим в целях обнаружения товарищ Комукиной. И вдруг народ пришёл в себя...

– Ты!.. У Лушки!.. Ха-ха-ха!.. Ха-ха-ха!..

– Уху-ху-ху-ху!.. Хы-хы-хы!..

– Гы...ик!.. Ик.. Гы!.. Свист.. ик!.. Ик...Ок!.. Ок...фон... Ик!.. – громче всех издавал звуки Васька Сорокин.

– Ты! – заорал Гришка, снял говённую перчатку и лупанул ею по лицу Васьки. – Ты, шмотало бесполезное! Ты до каких пор меня оскорблять будешь?

Васька не понял происшествия.

– Я вв-выз..зываю т-тебя!.. П-п-понял? В-в-вызываю! – захлёбываясь яростью, выстукивал зубами Гришка.

– К-куда ввыз-зываете? – выстукнул зубами и Васька в непонятливом истуканстве.

– На дуэль! – гаркнул на весь фальцет Гришка и срочно поспешил удалиться, чтоб Васька не догнал и не надавал пинков.

– Ничо не понял! – проговорил Васька.

– Убери с лица органику! – сказал Алька. – Вон... частица назьма прилипла к тебе...

– Блин! – махнул Васька по лицу разгневанной пятернёй. – Шмакодявка! На дуэль... На какую ещё дуэль? Он чо, вольтанулся в оглоблях? Да я ему башку отсеку саблей... Или литовкой, н-на!..

– Лучше литовкой. Саблю-то где возьмёшь? – попробовал

прохихикать Алька, но Васька так взглянул на него, что он моментально застыдился жизни.

– Ссеку башкерь! – пригрозил Васька и встал, отмеченный навозом.

В конце дня к нему припорола Александра Шустова.

Семейство Варламовых – отец, мать, сам Васька и две его сестрёнки хлебали крошку. По всему дому и даже в ограде бродяжил соблазнительный запах укропа и свежих огурцов.

Александра остановилась у порога и проглотила слюнки.

– Чо, тётка? – спросил Васька.

– Повестку тебе принесла. Гринька Хабаров попросил вручить...

– Какую повестку?

– На дуэль, – ответила Александра.

– Ха-ха! Гринька-пинька! Золотой ключик! Ты у него на побегушках, что ль, у свистка милицейского? – издевательски спросил Васька.

– Он же приносил мне повестку с возлиянием прибыть на ваш суд, теперь вот я принесла возлияние в его отместку, – сказала Александра и подала бумажку, изготовленную неизвестно каким способом.

Мать Васьки, Павлина Леонтьевна, перехватила бумажку и прочитала при всех: «Дуэль состоится за огородами у Падлой ямы в шесть часов утра местного времени, чтоб успеть убить друг друга до работы. С применением рукопашного оружия – палок. Многочисленно пострадавший от оскорблений Григорий Хабаров».

– Чо попало! – высказала Павлина Леонтьевна. – Что ещё за Григорий Хабаров? Первый раз слышу!

– Гришка Хабаров! Ну, свисток фон Молля! – сказал Васька в волнующем озлоблении. – Я его убью, как птичку!

– Чо попало! – вознегодовала Павлина Леонтьевна. – Ты уж из армии пришёл, а всё в игрушки играешь.

– И я пойду на дуэль поглядеть! – запросилась старшая сестрёнка Танька.

– И я! – подхватила младшая, Дерибанька. – Интересно, как Вася убивать фон Молля станет...

– Цыть! – прицыкнул отец Колий Николаевич. – Заблажили чо попало. Спать после ужны. Завтра всем сбором моркошку полоть!

Падлой ямой назывался старый скотомогильник. Сюда, в траншею, ещё в колхозные эпохи свозили павшую скотину, то есть падаль. Оттого и яма – Падлая. Теперь – всего лишь бугорок, заросший дикой редькой и одуванчиками. За бугорком начинается елань с кочками и болотом, в котором залегла от потустороннего глаза товарищ Комукина. За еланью – лес, замазанный грачиными гнёздами. Очень бурно властвует за Падлой ямой чертополох. Запустивший корни в центр земли, он покачивает малиновыми корзинами и очень красив в пору цветения, то есть сейчас.

Васька прибыл с опозданием и, конечно же, верхом на лошади. Бросив поводья, он кавалерийской шаркающей походкой направился к окраине чертополоха, где, умывшись перед смертью, Гришка ждал его с двумя обструганными берёзовыми палками.

Драться решили без свидетелей и секундантов. Но Шурка Шустова и её кума Настасья Кузьмовна, беспрепятственно затесавшись в чертополох, затаив дыхание, следили за концертом...

Васька подошёл, взял свою палку, подбросил её вверх, подбросил вниз, попробовал на зуб, плюнул и спросил, улыбаясь, как победитель:

– Не боишься, что захлестну, как пташку?

– А ты не боишься? – спросил и Гришка.

– Кого? Тебя, что ль?

– Палки...

– Твоей, что ль?

– Своей, блин!

– Хм! Свисток ты, блин!

Васька замахнулся, постоял так и вдруг сделал веролом-

ный выпад совсем не с той стороны. Гришка успел подставить под выпад свою палку. Палки скрестились и произвели бряк. Васька опять замахнулся. Гришка тоже замахнулся, проделал изогнутое движение и очень искромётно шмякнул Ваську по единственному уху...

– От, партизан! – шепнула в чертополохе Александра.

– Батюшки! Спаси и сохрани! Не дай попасться им в лапы обоим варнакам! – прошептала и Настасья.

– Убьют ведь...

– Да и холера их бей!

Держась за ухо, Васька вскрикнул:

– Ой, бля..! Я тебя сейчас голыми руками задавлю, как глисту!

– Давил глисту? Знаешь? – в предсмертном веселье спросил Гришка.

– Да я тебя...

– Во, видал! – И Гришка изобразил оскорбительный для всякого мужчины жест, намекнув на противоестественное сожительство фаллоса с задним проходом.

– Да я тебя! – побелел, а потом позеленел от злобы Васька, рванувшись на Гришку, но тот отпрыгнул, и Васька, не справившись с массой своего тела, пролетел мимо и упал в куст чертополоха. Гришка огрел его палкой, отбежал подальше и, кривляясь и приплясывая, стал бляеть и орать:

– Вася – сорочье-ухо! Вася – сорочье-ухо! Бе-е-е!.. Ме-е-е!.. Сикусь-выкуси! Ха-ха!

Настасья зашевелилась в укрытии и прошептала:

– Надо сообщать фоню Моллю. Убьют робятишки друг друга...

– Сиди, не мыркой! – одёрнула её Александра. – Васька Гриньку не догонит, а Гринька не убьёт его – силов мало. Анализировать надо происходящее. Ты, баба, уж в преклонном возрасте, а анализировать не умеешь...

– Поубивают! Поубивают! – продолжала, не слушая её, Настасья.

Васька выбрался из чертополоха, бросил палку и вскочил на лошадь, ударив её пятками в бока. В это время Настасья поднялась из-за другого куста чертополоха. Лошадь испугалась и прыгнула вбок. Васька скатился на землю, увидел Настасью и зашипел:

– Ты чо тут делаешь, верста, блин, коломенская! Кто тебя, блин, засадил сюда?

– Дак это, я тута... Это я...

– Пшла отсюль! – гаркнул Васька.

– Дак это, как его... Может, перевязку сделать? – пробормотала Настасья. – Ишь, из уха-то кровь бежит...

– Пшла, сказал я!..

– Ха-ха-ха! – благополучно орал Гришка издали, плясал и коверкался на кочке. Орал так, что замолчали и задумались грачи в лесу.

Глава двадцать седьмая

Быстрая езда убаюкала сердечную боль, но гнев и ненависть бушевали в груди по-прежнему, и, чтобы отвлечься от них, Пушкин принялся вспоминать, как ещё недавно вот так же быстро, со свистом ветра в ушах, ехал в Михайловское. Михайловское!.. С ослепительными проблесками лунного света в чёрном хвойном парке, с таинственным и счастливым смехом на берегу пруда...

– Анюта!.. Милая Анюта!.. – жарко, жадно шепчет Пушкин, неторопливо продлевая мучительное желание и огневую страсть, обвивая руками скользящее под сарафаном тело.

– Анюта!..

Растаявшая, как воск в раскалённом ковше, Анюта оплывает к его ногам, растекается по траве...

– Да скорей же! Скорей! – остервенело рвёт она на нём рубашку, кусает за плечо, блуждает руками, всё ниже, всё ниже – к поясу панталон, за пояс, вот уж окунула руки в его

жар, и, утопая, как в кипящей смоле, ухватила то, чего жаждала, опалённая безжалостным, буйным телесным суховеем, и застонала, извлекая то из теснин одежды, угловато и озлобленно взбивая подол к груди и подбрасывая себя в торопливой одышке...

О, нет! Дуняша молчаливей, терпеливей, сладострастней в молчанье и терпенье. О!.. Сначала, как бы испуганно, трепетно коснувшись, он начинал погружать себя в её обжигающую, как кипяток, любовную рану. Она, стыдливо издав стон и тоже как бы боясь чего-то, скользя своими знойными руками, обнимала любимую, желанную раздвоенность его мускулов, помогая погружению в бурлящую, медвяную влагу, чмокающую всё чаще, всё обильнее...

Анюта и Дуняша. Мать и дочь. Обе сладки, обе молоды. Дуняша медлит, уже зная, что её страсть скоро отцветёт и осыплется. Анюта – вся в азарте, в подъёме, освобождённая им же от бремени девичества и с ним же познавшая беспмятство в пролитой целомудренной крови, залившей белую холщовую исподницу.

Мчатся кони по снежной дороге, всё белым-бело, хлопотно-суеверные думы напоминают о саване, о перевязочном материале.

«Натали... Натали с Егоркой так же, как Дуняша со мной...»

Ненасытная ревность, свернувшаяся было в кольцо, упруго и стремительно развернулась снова, вцепилась щупальцами в сердце, в печень, в желчный пузырь, чешуйчатой дрожью покатила по рукам, ударила в виски и начала со страшной пыточной сосредоточенностью сосать мозг, кровь, желчь...

– Да скорей же! – оскалил Пушкин рот и толкнул возницу в спину.

Сонный, будто дремавший, Данзас, но мрачно раздумывавший о чём-то, повернул к нему полузакрытое бобровым воротником лицо и промолвил:

– Успокойся!

Их нагнала и обскакала тройка. Великолепный, в кавалергардских эполетах Геккерн с глуповато-надменным выражением на красивом лице, поклонился Данзасу. Данзас ответил движением головы и умной насмешкой, которую Геккерн расценил как улыбку.

– Педераст! Как она могла с педерастом!.. Бр-р!.. – скривил Пушкин побелевшие губы и, в бессилии остановить их дрожь, отвернулся.

Пронеслись ёлки в снегу. С дремучей берёзы сорвалась ворона и перелетела дорогу. Качающей волной стали приближаться лесные заросли, перед ними на поляне стояла знакомая перегнавшая их тройка, высокий, статный Геккерн, блистая эполетами, разговаривал со своими секундантами. Секундант кивнул на подъезжающего Пушкина, Геккерн, не придавая этому значения, продолжал говорить.

Кони остановились. Молодая пристяжная, роняя с удил мыло и всхрапнув, начала бить передней ногой в снег.

«Разгорячилась. Бежать надо», – подумал Данзас и открыл ящик с пистолетами.

Пушкин отошёл на дистанцию, сбросил шинель, подумал и порывистым взмахом руки в белой перчатке сдёрнул и отшвырнул прочь от себя цилиндр.

Бескровно-белый, с побелевшими от ненависти глазами, он испугал Данзаса, который в его ярости увидел неминуемую обречённость, а на лице явственный налёт смерти и в который раз подумал, что благоразумнее было бы Александру Сергеевичу вообще не принимать вызов Жоржа Геккерна-Дантеса и не участвовать в дуэли, как в мелочном, унижительном предприятии, что дуэль, затеянная Геккерном по его неотёсанной глупости, повлечёт за собой роковые последствия, развлекая ими такое же неотёсанное и напыщенное от глупости общество, и чёрным пятном навсегда ляжет на высочайшем имени императора.

Император небезучастен к Пушкину даже потому, что

считает его одним из умнейших людей в России. Но он также небезучастен и к Уварову, высмеянному Пушкиным. Его стихотворное послание «На выздоровление Лукулла» почти мгновенно разошлось по рукам. И, боже мой, кому же угодил Пушкин? Пустозвонным зубоскалам, всё тем же клеветникам России, которых ненавидит и обливает жёлчью сам. Скучающей светской черни!

Чрезмерный радетель цензуры граф Уваров из-за своего псевдопуританского чистоплюйства не вызывал сочувствия в передовых слоях общества. Тем не менее общество отводило ему почётное место, учитывая немалые заслуги перед Отечеством. Уваров – не мелкая сошка, каким, например, является приёмный отец-любовник Жоржа Дантеса, в целях конспирации обрядивший его в свою фамилию Геккерна как приёмного сына и пользующий его как постельного партнёра.

Граф Уваров – президент академии наук и попечитель Петербургского учебного округа, засим – министр народного просвещения. Будучи президентом, содействовал основанию Пулковской обсерватории, создал университет в Киеве и возобновил славный обычай посылать молодых учёных за границу. Это – авторитет. И поступок Пушкина высмеять его через эпиграмму считается рискованным.

«Возможно, возможно, анонимное письмо о "рогоносце" послано Пушкину с наущения оскорблённого Уварова», – подумал Данзас, держа в руках пустой ящик и глядя, как, щёгольски прищурясь, целится в Пушкина со своей позиции Геккерн. Что ж, судьба и тут распорядилась по-своему, одалив его первым выстрелом.

«Саша! Прикрой сердце пистолетом!» – хотел он крикнуть. Гром выстрела вспугнул лошадей. Попятилась, затрепетала, задирая высоко голову и играя кровавым глазом, пристяжная, сорвался с ёлки, рассыпаясь в воздухе, серебряный ошмёт снега.

Пушкин упал. Данзас, бросив ящик, подбежал к нему. Секундант Геккерна тоже поднимал его, поддерживая с другого

бока. Сюртук Пушкина на животе становился сырым от крови. Кровь текла на снег, зловеще и быстро пропитывая его.

– Успокойся, Саша! Успокойся! Сейчас наложим повязку, – испуганно забормотал Данзас.

– Нет! – воскликнул разъярённый Пушкин. – Attendez, je me sens assez de force pour tirer mon coup!*

«Зачем!» – опалило молнией Данзаса.

Пушкин стоял, истекая кровью, но твёрдой рукой держал пистолет и целился в Геккерна. Лицо Геккерна казалось растерянным, в глазах было недоумение. Он смотрел на Пушкина, не веря, что тот сейчас готовится его убивать, и машинально, скорее всего, по велению инстинкта защититься, остаться в живых, закрывал рукоятью пистолета то место, где находилось сердце. Пушкин же, собравшись изо всех усилий и держа себя на том, холодно отточенном лезвии, которое разрезом бритвы отделяет в такие минуты смерть от жизни, как луч, уходящий уже в горнии миры, но ещё привязанный к земле, к её могильной тяжести, стекающей с сюртука кровью, выстрелил и упал с охающим стоном.

Геккерн схватился за руку, сломавшись надвое, утратив горделивую позу и застонав тоже. Пуля всего лишь царапнула его и ушла, навечно пропала в заснеженном просторе. Пуля Пушкина...

Секунданты подняли его, набросили на плечи шинель, надели цилиндр и повели к лошадям. Он стонал, держась окровавленной перчаткой за рану.

– Мерзавец! Мог бы выстрелить в грудь. Обязательно надо было в кишечник, – сквозь зубы промолвил Данзас.

В дороге Пушкин потерял сознание. Кони неслись. Опять черкнула стена молодого ельника. Звенели копыта. Гудела кровь в висках. Кровь, страшно обгравив наспех положенную повязку, из тёмного чрева пробивалась к свету, к снегу, к солнцу...

* Подождите, у меня еще достаточно сил, чтобы сделать свой выстрел! (Фр.)

Данзас, придерживая голову Пушкина, вытирал платком противную, липкую и холодную испарину с его пожелтевшего лица.

Во дворе всю ночь выли собаки. Утром под окнами собралась толпа.

– Убийцы! Позор России!

– Долой!..

– Дантеса на мыло! – кричали разъярённые студенты.

Бледная и тоже пожелтевшая Натали ходила по комнате, то ломая пальцы, то кусая их. Глаза её были красны, тёмные впадины лежали под ними. Нос тоже был красен и распух от слёз. Ещё вчерашняя спесивая красота выцвела, завяла. В комнате пахло ладаном. Тихо горели свечи.

– Позор!.. Позор!..

– Дантес! Вон из России!

– Позор! Убить поэта... Лучшего в мире поэта!..

Толпа увеличивалась. Среди студенческих фуражек и штатской одежды сверкали офицерские эполеты, и отдельно, испепеляя всех огромными глазами, обняв себя за плечи руками, сдерживая дрожь, со страшным лицом стоял малорослый, широкоплечий, совсем ещё юный гусарский офицер...

– Позор!..

Натали обернулась к вошедшей няне со стаканом воды на подносе и резко приказала:

– Уберите детей!

Пришёл Владимир Даль. Он сел напротив умирающего Пушкина, горестно покачал головой и заплакал.

– Пётр Андреевич ещё не пожаловали?

– Пока нет...

– Придворный прихвостень!

– Зачем вы, батюшка, так? Он тоже поэт.

– В которого никогда не выстрелит безмозглый французик.

– Вы слышали, государь возмущён, что Александр Сергеевич не поставил их величество в известность о дуэли.

– Однако это претит правилам чести. Ведь Дантес вызвал

на дуэль Александра Сергеевича. Он бы подвёл Дантеса. Александр Сергеевич поступил благородно, – слышался тихий говор собравшихся в другой комнате.

Данзас осторожно вышел туда и шёпотом подозвал слугу:

– Смените простыни. Они испачканы кровью и содержимым кишечника.

– Это невозможно-с! – так же тихо, часто моргая покрасневшими от слёз глазами, шепнул слуга. – Умиравший лежит на них...

– Тогда хоть прикройте! – уже сердясь, распорядился Данзас, отошёл к окну и сквозь щель в шторе начал смотреть на толпу.

«Какой негодяй! Какой грязный, низкий мерзавец! Мог бы выстрелить в грудь!» – с ненавистью подумал он снова о Геккерне и скрипнул зубами.

Даль плакал. Подошла Натали и опустила на его плечо свою руку. Даль снял руку с плеча и, стыдясь смотреть на неё, встал...

Глава двадцать восьмая

Цвело, пылило в полях, лилось золотом на вечерней заре, шумело дождями, грохотало громами суматошное, зелёное, кудлатое лето.

Ходил безработный активист Иван Петрович Шептырин к согре, брал на поляне пахучую лесную клубнику и увидел в просвете берёз цветок. Что-то загадочное было в том цветке, какой-то тайной пленил он и звал к себе. Иван Петрович подошёл и остановился, поражённый собственным изумлением.

Распластав узорные листья в тени берёз, под облаком своего белоснежного зонтика произрастал, кажется, дягиль. Но стебель его светился чистым золотом. Сначала Иван Петрович подумал, что это солнечный блеск играет, пучком ис-

ходящий сквозь берёзовые верхушки, однако притронулся к цветку, отдёргнул руку в испуге, не поверив, и притронулся снова... Это было золото!.. Иван Петрович отломил отросток и попробовал его на зуб. Отросток зазвенел под зубом, как балалайка. Иван Петрович потрогал себя – вроде всё на месте, руки-ноги в нормальном движении, голова не болит, пульс бьётся с положенным интервалом. Огляделся вокруг – на жёлтый молочай, на пушистый лабазник, на говорливые осинки... Всё на месте. Всё цветёт и качается по закону планеты Земля... Но... откуда цветок? Дягиль? С золотым стеблем и балалаечным треньканьем?

Хитрый Иван Петрович сразу же смекнул, что золотой цветок здесь на произвол судьбы оставлять нельзя. Нагрязнит ягоду и вырвет прямо с землёй.

Он нетерпеливо вздохнул, снова огляделся, теперь уже с другой целью – не подглядывает ли кто? – и начал тихонько сламывать стебель, тащить к себе вместе с корнем. Корень поддался. Шурша нечёсаной бородою, вылез из темницы, опять удивив Ивана Петровича своим обыкновенным устройством. Ничего криминального! Серый, с землёй, корень дягиля. Пахнет эфирным маслом. Лизнёшь – и сразу ущипнёт за язык. Но от корня до самого цветка сияет и пышет золотая дудка, и в пазухах той дудки – золотые отросточки, листочки пожиже, попроще строением.

Не мешкая понапрасну, Иван Петрович вытащил ножичек, обрезал корневище, заглянул в полую внутренность стебля и обрезал цветок. Тренькнул, всплакнул сквозняк, что-то выговорил на своём языке. Иван Петрович поднёс один конец к губам и прогудел:

– У-у!..

– «А?» – спросили на другом конце.

– Ух ты!..

– «Ах ты!»

– Ты кто?

– «А ты кто?»

– Я – Иван...

– «А я – Тимофей!»

Иван Петрович опустил дудку и со страхом спросил:

– Отец Стеньки Разина, что ли?

Он огляделся в который раз, боясь неведомо чего, а может быть, и ведомо чего, потому что в просвете берёз рябила чья-то тень.

– Кто там? – крикнул Иван Петрович и, не дождавшись ответа, пристрашал: – У меня с собой финский нож. А сам я – морской пехотинец. Если по-хорошему, отзовись. А по-плохому, зарежу и кишки скормлю зайцам!

И он, ухватившийся за перочинный складешок с жалконькой, перемотанной изолентой ручкой, ефрейтор запаса, забракованный в стройбат по причине плоскостопия своего мозга, повторил, как на политзанятиях:

– Я – морской пехотинец! Попла-а-авал в толщах окяна!

Тень рябила, играла, перемежая серебро, зелень и сажу.

– Ёж твою дать! – пригляделся подробней Иван Петрович, увидев, что невдалеке на скособоченной вековой берёзе сидит канюк.

Он снова поднёс ко рту дудку и загудел-запел длинное:

– Ау-у-у-а-а...

– «Я-а-а-а», – протяжным плачем прокатилось в дудке.

– Я-а-а-! – запел-загудел Иван Петрович.

– «А я дубок, зо-ло-ло-ой зубо-о-ок, сироти-и-инушка-а под кали-и-инушкой...»

Иван Петрович опустил дудку и замёрз от страха.

«А канюк ли это?» – подумал он и сел, потому что колёнки его испортились. Дудка лежала рядом. Неважнецкая травинка заглядывала в неё, и дудка исподтишка выла: «У-у-уу...».

Иван Петрович всей своей физической сутью обнаружил, что канюк будто бы подтягивается к нему. Сейчас раскинет крылья, клюнет в голову, в самое плоскостопие, и улетит, оставив его парализованным... Держась за тра-

ву обеими руками, чтобы совсем не упасть, он опять начал озираться вокруг. Канюк исчез, а тень болталась, отражая неизвестно какую полость мира. Теперь там, под скособоченной берёзой, кто-то стоял в заячьей капелюхе и равномерно кланялся...

– Что за чёрт! – пробормотал Иван Петрович и, всё так же держась за траву, привстал. Ноги его тряслись, будто сделанные из студня.

– Кто там? – рявкнул он. – Кыш!

Что-то заплескалось в листве, полетело, захохотало. Село недалеко и весело сказало:

– Ку-ку!

– Кукушка, что ль? – спросил Иван Петрович, хорошо зная, что Петровки уже миновали и кукушка куковать никак не должна, потому что ячменным зерном подавилась. Зерно уже в колос пошло. Он вытянулся, чтобы разглядеть, кто же там кукует.

– Ку-ку! – раздалось снова.

Куковал канюк.

– Да не может такого быть! – во всю силу удивился Иван Петрович и опустил руки по швам. – Канюк верещит наподобие кошки, а не кукует. Кыш, скотина поганая!

Опять заплескалось, засвистело крыльями в берёзах и полетело в сторону кладбища.

Иван Петрович поднял дудку, оглянулся. Кланялась заячья капелюха, горел на солнце набранный пуговками слиток дикой рябины, маленькая птичка сидела на ветке и смотрела умным глазком.

– Чо, дура, смотришь? – спросил Иван Петрович.

– Я не дура, – серьёзно ответила птичка.

– Хм! – пожал он плечами и боязливо, с превеликой осторожностью, подул в дудку...

– Я дубо-ок, зо-о-олотой зубок, – спела дудка.

– Чёрт знает что! – вздрогнул Иван Петрович, взял ведёрко с ягодами и с дудкой под мышкой начал пробираться

к дороге. Вдруг его обдало холодом. Он остановился и в березнячке увидел Черву.

– Здравствуй...

Он не знал, как звали Черву. Черва да Черва. То ли фамилия, то ли прозвище.

– Здравствуй, – повторил он с поклоном. – Баушка...

– Да я ишо не шибко баушка-то. Всего шийсят годочков, – ответила Черва скрипучим голосом. – Ягодки берёшь?

– Ягодки.

«Вот оно! Колдует по лесу, карга соломатинская!..»

– И не карга я ишо. И не соломатинская. Я родом-то буду из Тканово, – сказала Черва и засмеялась, обнажая ровнёхонькие белые зубы. Такие зубы в сочетании с шестидесятилетним лицом вызвали у Ивана Петровича нервное дёрганье. Сначала прыгнул живчик за ухом, и тут же заплясала какая-то блажь под коленкой.

– Ну, ладно. Я пойду, баушка, – торопливо сказал он.

– Иди, иди! – проскрипела Черва.

Иван Петрович вышел на дорогу и посмотрел на березнячок. Червы не было, а стояла сухая, с ободранной корой осина и, оскалив белые зубы, улыбалась... «Чёрт!» – про себя чертыхнулся Иван Петрович.

На кладбище ходили какие-то тени. Чувствуя оторопь по всему телу, он свернул с дороги, пробуровил заполошной травой и с задов увидел свой дом.

Супруге Алёне Беребетьевне золотую дудку он решил строго не показывать. Тут же она её захапает и перельёт у Кузьки Клязина в районной плавильне на колечки да сережки. Та ещё баба! Потому дудку Иван Петрович заткнул под крышу курятника и для маскировки снаружи привесил тряпичный клочок. На другой день, спровадив Алёну Беребетьевну в магазин, побежал поглядеть, на месте ли дудочка, и, залезая под крышу дрожащей рукой, понял – что-то случилось! Иван Петрович пошарил, нашёл дудку, потянул к себе и увидел, что это самый обыкновенный дягиль. Сердце его

ёкнуло и скакнуло в сторону, присмирив там вместе с упавшим духом.

– Черва! Черва, подлюка, прикарманила золото! – продребезжал он. Потом заглянул в дудку одним глазом, потом другим и плюнул в неё.

– Ой-её-ей-ой-ё-о-ой!.. – прокатилось в дудке колокольчиками.

– Как звонко приговаривает! – услышал за спиной Иван Петрович голос Алёны Берebetъевны. Она стояла с сумкой пряников и, разлившись в улыбку, слушала колокольчики.

– Что это у тебя? – спросила она и потрогала дягиль. – Хорошая музыка! А звенит-то как! Сделай, Ваня, свиристель!

– Я не токо делать, я их в глаза не видывал сроду, твои свиристели! – сказал Иван Петрович, однако в творческом трепете и подумал: «А что! Можно и свиристель сделать!».

Он обрезал дудку с двух сторон, проделал в ней своим военно-морским складешком дырочки и заиграл:

*– А я дубок,
Золотой зубок,
Сиротинушка,
Под калинушкой.
Бражку выпили,
Меня выбили.
Я возрос дубком,
Золотым зубком.
Среди бела дня
Шевелил свой лист,
Да сломил меня
Активист...*

– Ишь! Как изячно поёт! – похвалила Алёна Берebetъевна. – Шёл бы ты, Ваня, по деревням да играл! И для людей, глядишь, утешенье. Теперь ни клубов, ни митингов. Одни телевизоры, и те врут... Иди, Ваня, играй! И для себя ко-

пейку заробишь. Кто рубель даст, кто с пьяных глаз и тыщу бросит!.. Шевели народ, Ваня!

Иван Петрович сидел, натужно думал и возил пятернёй в своём затылке...

Эпилог

И снова в багряных и золотых переливах мерцала тихая осень. Свялой травой, красным вином пахли осинники. В чёрных нашлёпах ягод дремали боярышники. И робко шелестел на лесных сквозняках их малиновый лист.

После дождей и звонких, опрометчиво хрупнувших пробных заморозков, по старым вырубкам на загляденье и очарованье, нарядной стряпнёй замаслились опята. И пошла, пошла густым клином казарка на юг.

Струились в воздухе золотые волосы берёз. Перелетали в чаще сороки, словно там кто-то бросался берёзовой корой. Хитроумно свистел на берёзе леший, и замшелый дед-лесовик погуливал в зарослях, трещал сучком, покашливал, делал ногтем царапины на вербах, на осинах, чтоб не потерять дорогу домой – к ручью, под талиновый кусток, где трухлявые карчи крест-накрест завалил весь склон, и только папоротник держит над ними матерчатую набивку своей лапчатой листвы. Но скоробилась, сникла и она, заржавела с приходом осени. Унылая пора!..

Пошли в воскресенье за опятами и Маша Волохова с Гришкой, сразу же наткнулись на осинничек, облепленный понизу, как сливочным маслом. Наломали опят полные сумки и сели на поваленную берёзу, полной грудью вдыхая апельсиновую свежесть падающей листвы и слушая прощальную стрекотню кузнечиков на лазурной полянке.

Гришка вытащил из кармана сигареты, авторитетно закурил и сказал:

– Кунегин твой женился...

Маша взглянула на него и спросила:

– Почему мой?

– Ну, ты ему стихи посылала.

Маша улыбнулась, а Гришка, глядя на летающих сорок, продолжил:

– Только он твоими стихами весь забор оклеил перед свадьбой.

– Это не мои стихи, – ответила Маша.

– Не твой? – удивился Гришка – А чьи?

– Это стихи Пушкина.

Маша помолчала, подняла с земли жёлтый осиновый листок и, разглядывая на нём узор, вздохнула:

– Я думала, он их на свадьбе прочитает. Как подарок, перед гостями. С волнением, от всего сердца... Это ведь стихи Пушкина! А он... забор оклеил!

Маша покачала головой и положила листок на землю, подняв другой – червонный, с чёрными точками и огненными зарубинами.

Где-то далеко-далеко, или в поле, или в деревне, почудился наигрыш. Не отдаляясь и не приближаясь, выговаривая, как флейта:

*– А я дубок,
Золотой зубо-ок...*

– Ха! – хохотнул Гришка и залихватски ударил себя по коленке. – Ваня Шептырин свистит! Дурачок!

– Почему дурачок? – спросила Маша.

– Ходил по лесу и срезал дудку из дягиля. Золотая, говорит, дудка-то была... Ха-ха! Наверное, говорит, из зуба Тимки Усалова выросла... Зуб-то, между прочим, я тогда ему выбил. Вот и дудит, по деревням ходит. А то на пустом месте встанет и играет...

Он посмотрел на Машу, смутился и замолчал. Тихо, словно украдкой, падали с деревьев листья. Звенел, прощался кузнечик.

– *Сиротинушка,*
Под калинушкой, –

плакало вдали.

– Эх! – по-стариковски вздохнул Гришка. – Стихи, романы... Кому они сейчас нужны? Волчье время! У каждого своё логово. Никто не читает – ни тебя, ни Пушкина!

– И всё-таки я вам пишу, – сказала Маша.

Апрель-январь 2011 г.

Кузнецово

Содержание

Светлана Гончаренко. *Россия. Сибирь. Деревня Кузнецово*3

САД 9

КОЛХОЗ 141

МОКОШЬ 325

Я ВАМ ПИШУ... 475

Литературно-художественное издание

Алла Васильевна Кузнецова
КОЛХОЗ
Романы

Редактор О. Г. Даниленко
Корректор Н.Ф. Шестова
Компьютерная верстка Е.А. Пичугиной

Подписано в печать 26.11.2012.
Формат 84х108/ 1/32. Бумага офсетная.
Гарнитура Times New Roman. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 32,34. Уч.-изд. л. 24,8.
Тираж 500 экз. Заказ № 1390.

ЗАО «Юстицинформ»
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.60.953.Д.010271.09.08 от 25.09.2008 г.
111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я, д. 5.
Тел. +7 (495) 232 12 42
<http://www.jusinf.ru>
info@jusinf.ru

Отпечатано
в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93



Кузнецова
Алла Васильевна
родилась в 1943 году
в деревне Кузнецово
Тюменской области.
Начинала творческий
путь с публикации
стихов в газетах
«Тюменский
комсомолец»,
«Тюменская правда»,
«Советская Россия»,
в журнале «Сибирские
огни», «Неман».
В Омске работала
в районной газете
«Призыв»
корреспондентом
сельскохозяйственного
отдела.
Была редактором
альманаха «Иртыш»
Омской писательской
организации.
Автор более десяти книг,
изданных
в разные годы.
Член Союза писателей
России.